

ИЗБРАННЫЕ
Виктор Некрасов
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ВИКТОР НЕКРАСОВ

Избранные произведения

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ

Москва · 1962

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Повести

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай обороны, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно носить и пулеметы

таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их срыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?..»

Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себе кличуть,— сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— І вас, і начхіма. Щоб через пять минут були, сказав.

Нет, значит, не поверяющий.

— А в чем дело, не знаешь?

— А біс його знае.— Лазаренко пожимает пропотевшими плечами.— Хіба зрозумієшь... Всіх связних розігнали. Капітан як раз спати лягли, а тут офіцер связі...

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

— Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда ворчит:

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся, к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР [1] — презрительно улыбается:

— Что дезокамера... У меня половина людей с такими

[1] ПТР — противотанковое ружье. *(Прим. автора.)*

вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

— А может, на переформировку, а?

— Ага...— криво улыбается Гоглидзе, разведчик.— Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

— На Валуйки прут, сволочи.— Самусев в сердцах сплевывает,— шестнадцать штук...

— Накрылись, говорят, уже Валуйки,— заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.

— Кто это — «говорят».

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают...

— Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

— А, в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется.

— Верная примета. Точно. Как вырою, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым,— копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и в залихватски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально посасывать.— Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два «максима». «Дегтярева» — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та-ак...— старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку.— Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Всё...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал всё! — круто поворачивается в его сторону Максимов.— По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы ко мне зайдите.— Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел,— говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел.— Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Я — нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем... «Колечка» нам не миновать.— Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза.— Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где-нибудь да мы будем. Не в Ново-Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев,— он строго глядит на меня,— до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами проваливалась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается.

— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало,— там нет ничего нужного.

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, до-

бавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты.— А вы женаты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего. Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

— Да-да... Идите,— скороговоркой говорит он,— идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают. Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади,— батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется.

— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

— Ну, идите,— говорит Максимов, протягивая руку.— Смотрите же...

Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

— Есть, товарищ капитан!

— Смотри же...— И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.

С Ширяевым мы уславливаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах

Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.

А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный рекогносцировщик «фокке-вульф», и мы усиленно, и всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы

и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно. Даже «Правда» стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг как снег на голову — приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыхает там на севере,— ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покидать насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А, по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем?

Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

— Мины будем грузить? — спрашивает.

— Машины не дали из штадива?

— Не дали.

— Закапывай тогда. На берегу остались еще?

— Остались. Штук сто.

— Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.

— Ясно.

— Лопаты все?

— В третьем батальоне тридцать штук.

— Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком старшины боится.

Да... Надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять: два «максима» и три «дегтярева». Особенно не разгуляешься. Ставим «максима» на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому: фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять — двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят — сто метров. Не густо, что и говорить!..

Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки — редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП [1] находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома, по-видимому в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

8

Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины.

Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и

[1] КП — командный пункт. *(Прим. автора.)*

приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты — одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей.

Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.

Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.

Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или «Анну Каренину». Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...

Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...

Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами — двадцать четвертого октября.

За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.

Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в его ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерианки — чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них.

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем: «Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени,— хоть три слова...»

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботиках. А справа — марка: станция метро «Маяковская».

В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой — зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем... Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип

киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера — это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере!.. «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Знак Зерро»... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подальше, около Прорезной, в тесном, с ненумерованными местами «Корсо» шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками... А в «Экспрессе» — потом он почему-то стал прозаическим «Вторым Госкино» — шли салонные фильмы с Поло Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные «линкольны» у «Континенталя». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшей встрече Данилы Пасунько с Маской смерти.

А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие сонные Липки, прохладные

даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И — стоп! — обрыв. Дальше — Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ощетинившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая...

Милый, милый Киев...

Как все это сейчас далеко. Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...

Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все «Чижиком» звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсшины, готовальни купили, и...

Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал — кто-то говорил, не помню уже кто.

А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко — маленький, затерявшийся среди камышей и ракит очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом

парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто-то над самым моим ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.

— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок, у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится «мессершмитт». Мы огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии «хейнкелей» и одна «юнкерсов-88» на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик, в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа — третьего батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.

— Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить.— И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то

газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.

Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, ощетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками,— все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеобструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше вас знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной по-

рошок, и помазок, и стаканчик для бритья — все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, кругологоловый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом «о». Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.

Мы редко с ним разговариваем — он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшенный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.

— Когда кончится война,— сказал он,— я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся.

— Почему именно три недели?

— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу.— Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите.— Он вынул и облизал ложку.— И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:

— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?

Он даже не улыбается.

— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по-настоящему нельзя.

— Значит, до конца войны ждать будем?

Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки — с белой, черной и защитного цвета нитками.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках — были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят — восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что «ранком в неділю проходили солдати. А увечері пушки йшли». Должно быть, наши дивизионки. «Тільки годину постояли і далі подались. Такі заморені, невеселі солдати».

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией; противника — синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три-четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное — часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра, на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкутся у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

— Будем трогаться, что ли?

Сощурив глаза, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

— Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.

— Сколько до Ново-Беленькой осталось?

— Километров шестьдесят — семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

— Два перехода еще.

— Если поднажмем — завтра к обеду будем.

— Быть-то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...

Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.

— Двух человек уже не хватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.

— Как не хватает?

— А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...

— Куда же они делись?

Саврасов пожимает плечами.

— Может, ноги потерли? А?

— Не думаю.

— Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.

Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета.— Он хлопает себя по кобуре.— Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались...— Он ругается и встает.— Подымайте людей.

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота,— все это резкими, короткими движениями,— ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стоят женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка в самом конце села подбегает меленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь.

Мы идем дальше.

5

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко — связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.

— Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.

— Перевяжи кобылу, Лазаренко...

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по-моему, комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.

— Дела дерьмовые,— коротко говорит он,— полк накрылся...

Мы молчим.

— Майор убит... комиссар тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

— Второй батальон сейчас неизвестно где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.

— Максимов сейчас за командира полка... Тоже ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

— Куда?

— А кто его знает теперь куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.

— А Афонька что, убит?

— Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...

— И медсанбат?

— И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен... У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою цигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и на соединение с ним идти.

Ширяев вытаскивает карту.

— На соединение с ним? В каком месте?

— Со штадивом связь потеряли.— Игорь скребет затылок мундштуком.— Максимов сам принял решение. По-видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново-Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

— А где сейчас немцы?

— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти — двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...

— Много их?

— Хватит! Машин сорок насчитали. Всё пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.

— И куда движутся?

— Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг...

— Максимов куда приказал?

— Максимов? — Игорь тычет пальцем в карту.— На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.

Мы подымаем бойцов.

С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба́. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках — в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока, сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился,— танки. Штук десять — двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз, когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал.

Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая,— видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять подымаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.

В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И всё туда, за лес.

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь.

Ночью идет дождь, мелкий, противный.

6

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи — каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя, сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

— Занимай оборону, инженер... Фрицы.

Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

— Какие фрицы?

— Посмотри — увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов, должно быть разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...

Подходит Игорь.

— Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?

Он тоже, по-видимому, спал,— одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.

— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются,

стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.

— Огня не открывать, пока не скажу,— вполголоса говорит Ширяев.— Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо...

Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами,— немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках,— должно быть, командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, видно устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок.

— Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что — мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

— Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.

— Прекратить!

Ширяев опускает автомат; щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

— Дай закурить.

Игорь ищет в кармане табак.

— Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

— Ничего, перекурить успеем. С цигаркой все-таки веселее.— Ширяев скручивает толстенную, как палец, цигарку.— Интересуюсь, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной, третья прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Потом перерыв в несколько секунд, и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет, высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.

Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас.

— Слушай мою команду!..

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.

Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки В сараях оставляем только два пулемета,— этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

— Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

— В том сарае почти всех перебило...— он с трудом переводит дыхание.— Осколком повредило пулемет... По-моему...— он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

— Что — «по-моему»? — резко спрашивает Ширяев.

— Надо что-то... этого самого... решать...

— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать... Сколько человек вышло из строя?

— Я еще... не... не считал.

— Не считал...

Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.

— Ну что ж? Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

— Который час? У меня часы стали.

Игорь смотрит на часы.

— Двадцать минут двенадцатого.

— Давайте тогда...— Ширяев жует губами.— Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.

— А Седых. Где Седых?

— Вон на стропилах сидит.

— Давай сюда!

Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.

— Пулемет знаешь?

— Знаю,— тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева не мигая.

Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним — точно спутал кто-то — крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.

— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.

— Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом...— И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

— Ладно, а немецкий знаешь?

— Что? Пулемет?

— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь...— и запинается.

— Ничего, я знаю,— говорит Игорь.— Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

— А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно...— Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: — Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется,— ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

— Понятно,— тихо отвечает Седых.

— Что понятно?

— Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.

— Тогда по местам.— Ширяев застегивает воротник гимнастерки — становится совсем холодно.— Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где «максим», лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью.

— Долго не засиживайтесь,— говорит Ширяев Игорю.— Час — не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.

— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых, один тяжело. Его тащат на палатке.

Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.

— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.

— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.

— Його газами ще в ту війну отруіли. І взагалі, він не німець, він австріяк, і фамілія в нього не Гітлер, а складна якась — на букву «ш». Правильно, товарищ лейтенант?

— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...

— Тиролец...— задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку.— А его немцы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.

— Правда.

— Как же это так?.. Самый главный — и ефрейтор.

Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.

— Ты давно уже воюешь, Седых?

— Давно-о... С сорок первого... с сентября...

— А сколько же тебе лет?

Он задумывается и морщит лоб.

— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.

Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.

— Ну и что же, нравится тебе воевать?

Он смущенно улыбается, пожимает плечами.

— Пока ничего... Драпать вот только неинтересно.

Даже Валега и тот улыбается.

— А домой не хочешь? Не соскучился?

— Чего? Хочу... Только не сейчас.

— А когда ж?

— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарём, как вы.

Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно.

— Что такое?

— Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...

Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.

— Сейчас из минометов начнет шпарить,— вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.

Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.

Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно — Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.

Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы.

— Капут, кажется...— Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.

— Я... товарищ лейт...— Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать.

Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо — треугольник с кривыми буквами.

Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.

Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы всё обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.

7

Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь. Какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов.

— Н-но, холера!.. Н-но-н-но... Щоб тебе, паразіта!.. Но... Холера...

И эти «холера» и «паразит», однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!

Какой-то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки — кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты — скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

— Холера паразітова... Н-но... Щоб тебе!

Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

— Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...

— Вот тебе и вот так... Не видишь — прогнила.

— А ты за ось.

— За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...

Кто-то в капюшоне задевает меня плечом.

— Сбросить ее к чертовой матери!

— Я те сброшу,— поворачивается здоровенный детина.

— Вот и сброшу... Из-за тебя, что ли, машины стоять будут?

— Ну и постоят.

— Серега, заводи машину.— Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватает его за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мель-

кают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырко не узнает.

— Чего вам еще надо?

— Не узнаешь? Керженцев — инженер.

— Елки-палки! Откуда?.. Один?

И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

— Садись на машину,— говорит Копырко, подходя,— подвезу.

— А ты куда путь держишь?

— Как куда?

— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырко устало улыбается.— Я еле-еле оттуда машину выгнал.

— А сейчас куда?

— Куда все. На юг. Миллерово, что ли... Ну, давай на машину!

— Я не один. Нас четверо.

Он колеблется, машет рукой.

— Ладно. Садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?

— Свидерский и двое бойцов — связные.

— Залезайте в кузов. Вон в тот «форд». Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.

— Нет. А где он?

— Со мной был, а сейчас не знаю где.

— Слыхал, что майора и комиссара убило?

— Слыхал. А Максимова?

— Не знаю, я с тылами был.

Копырко круто тормозит. Впереди затор.

— Вот так все время... Три шага проедем — час стоим... И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще из полка есть.

— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...

— А немцы?

— А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос,— он проводит рукой по глазам.— Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь...

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом, не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

Забираемся в какую-то хату и валимся на пол на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена — «форды», «газики», «зисы», крытые громадные «студебеккеры». Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут.

И все это с криком, гиком, шелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырко куда-то исчез со своей машиной,— раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним...Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

— Ну...— говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.
— Что — «ну»?
— Дальше что?
— Идти, по-видимому.
— Куда?
Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:
— Своих искать.
— Кого своих — Ширяева, Максимова?
— Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, кокетливые когда-то — в линеечку — усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал. Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...

А на другой карточке славненькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком.

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли.

У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекатывается к дороге.

...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д-3-54-27, Д-3-54-26. Это не наши. У нас — Д-1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица.

— Какой армии, ребята?

— А вам какую нужно?

— Тридцать восьмую.

— Не туда попали. В справочном спросите,—и смеются.

А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.

— Ну что, пошли?

Игорь встает и каблуком вдавливает в землю окурок.

— Пошли.

Мы вливаемся в общий поток.

8

— Эй вы, орлы!

Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой.

— Давайте, давайте сюда!

Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь.— Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть.— Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, не хочется что-то.

— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные.— Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу.— А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевой едет, пять подвод.

— А вы куда путь держите? — спрашиваю я.

— Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем, и все. А тебе куда надо?

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

— До Сталинграда?

— А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь...

— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.

— Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки...

— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? — Калужский прищуривает глаз.— Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...

— И пояс у тебя как будто со звездой был.

— Был. Хороший, с портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его — хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?

Мы отказываемся.

— Жаль. Хорошая, московская.— И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба. — Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

— А он где, не знаешь?

— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо — не лезет.— Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла, пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.

А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает,— он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы

хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились «дай бог как»... У них авиация, а авиация сейчас это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться. Вёшенская, говорят, уже занята,— вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим,— но это под большим секретом,— он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.

— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.

— Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...

— Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман.— Командир тоже называется... Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты — «мы еще можем пригодиться родине». Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине! Ездового хоть постыдился бы — такие вещи говорить!

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный «додж» преградил нам дорогу.

Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.

9

Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает все-таки на Вёшенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цимлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь только, чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает «рама», сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так какая-то нудная тоска.

Какой-то майор-связист — мы ему помогаем «виллис» из канавы вытащить — говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.

— А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете...— И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты!

Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же

я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены отступать, но отступление — еще не поражение,— отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть,— вера.

* * *

Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом Дон. Маленький, желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только — ведь там такой роскошный бритвенный прибор...

За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одуряющая, разжижающая мозги жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых, скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта-грузина, в свеженьких пехотинских фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

— На фронт топаете?

— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой.— И оба улыбаются.

— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

— А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.

— А Ростов?

— Ростов нет. Не писали еще.

— Не писали?

— Нет, не писали.

Лейтенанты мнутся. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом:

— Ну, а как там, на фронте... здорово драпают?

— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.

— Ну, наши...

— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.

Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами.

— А вы?

— Что мы?

— Не драпали?

— Зачем? На формировку едем.

Лейтенанты смеются, как будто услыхав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре.— Пистолеты у нас есть, что еще надо...

Лейтенанты переглядываются.

— Ей-богу, ребята... До точки уже дошли.

— Да что мы...— мнутся лейтенанты,— мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

— По всем правилам подходите,— кричат вдогонку лейтенанты,— он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам,— так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки.

— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, каким-то рокочущим басом.— Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

— Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да...— Он опять берется за ложку.

— Ну, а все-таки, товарищ майор...

— Что все-таки? — он повышает голос.— Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш! — И уже более мягким голосом добавляет: — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?

— Тридцать восьмой, товарищ майор.

— Тридцать восьмой... Тридцать восьмой...— Он чешет мизинцем переносицу.— Кто-то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...

Мы козыряем и уходим.

В Котельникове нам говорят, что штаб в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слыхал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из тридцать восьмой и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско-Почтовскую.

Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых раздобыли где-то мешок овса...

А в общем... Едем в Сталинград...

10

Сталинград встречает вылезающим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.

Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых «студебеккеров». На них длинные, похожие на гробы ящики, «катюшины» снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах — задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутыли с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы.

Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то очень проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под рождество пишущем своему дедушке на деревню.

А над всем этим — голубое небо. И пыль... И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить — злые собаки». А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора «Нижневолгокоопромсбыта»,

«Заливка калош», «Починка примусов», «Прокурор Ленинского района».

Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и подымаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. «Золото она, а не женщина — сами увидите».

Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.

Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется — веселый, без пилотки и в одной майке.

— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.

Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает.

Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой.

После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на автоскладе, что гуся прислал ей брат,— он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня постирает, ей это ничего не стоит.

Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.

К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.

Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта,— «ведь это просто безобразие, сами посудите»,— и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят.

После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линеечкой меряет расстояние от Калача, Котельниково до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты,— получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям,— эти газеты неприкосновенны.

Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.

Вечером мы собираемся в оперетту на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.

На противоположном крылечке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платьице-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.

— Совсем неплохие ножки, а, Юрка? Да и вообще...

Неистово плюет на щетку.

Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.

— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна,— и протягивает баночку.

Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые, заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме,— это еще до института было,— и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.

— Зайдите к нам, мама чай приготовит.

— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.

Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами — такие они хрупкие и изящные, и такие грубые и неловкие мы. На стене бёклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.

Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.

У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Бёклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.

Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола,— нет, позже, после сараев,— у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.

Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и

Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы, с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то просто боец на сытой буланой лошадке, весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом:

— Здорово окопались, господа военные. Ни пуля, ни мина не достанет...

И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила, еще подкинул:

— Самоварчик бы еще да вареньице...

И все опять засмеялись.

Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: «Посмотрим, что вы недельки через две запоете...»

Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.

Люся встает из-за рояля.

— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.

Стол покрыт белой хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек — мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть.

Люсина мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье и все вздыхает, и все вздыхает.

— Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал,— и опять вздыхает.— Несчастное поколение, несчастное поколение...

От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.

— Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады.

Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок.

— Ты не спишь, Юрка?

— Нет.

— О чем ты думаешь?

— Да так... Ни о чем...

Игорь ищет в темноте табак.

— У тебя есть курево?

— В сапоге посмотри, в мешочке.

Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает цигарку.

— Надоело все это, Юрка.

— Что все?

— Да болтание это. Как цветок в проруби...

— Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо, до завтрака.

— Тоже счастье — отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв, шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасный полк — еще лучше.

— Не пойду в запасный полк.

— Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.

— Ну и пускай посылают. Все равно не поеду.

Несколько минут мы молчим. Игорь мигает цигаркой.

— А с ребятами что делать будем?

— С какими? С Валегой и Седых?

— Их ведь надо на пересыльный отправлять.

— Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьет кого-нибудь.

Игорь смеется.

— Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились. Как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол,— это ты — не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.

— Ну, что ж, настоящий, значит, ординарец,— говорю я и переворачиваюсь на другой бок.— Спи, завтра вставать рано.

Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит цигарку о землю.

Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уламывать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятное — не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже других?

Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.

Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?

Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненного, с поля боя? Меня раньше это и не интересовало. А сейчас интересует. А Валега вытащит. Это я знаю... Или Сергей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой — хоть на край света.

На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосив-

шуюся хибарку где-то на Алтае, за Сталина, которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного,— он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами... Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится, было б время и желание...

Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.

11

Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.

— Деточки... Живы, здоровы? Куда топаете? — Он сует свою теплую, влажную руку.

— Туда, откуда ты.

— Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?

— Есть.

— Необходимо перекурить. И мозгой заодно шевельнуть. Вот скамеечка симпатичная.

Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике.

— Незачем прыгать очертя голову. Понимаете? Здесь дело простое. Или резерв, или передовая. Чик-чик — и ваших нет.

— Ну?

— Вас это устраивает? — подбритые брови его удивленно приподымаются.— На передовой, знаете, что творится сейчас? И не спрашивайте... С бору по сосенке. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из Калача. Комсостав почти весь вышел. Тыкают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж — держи. Понимаете? «Мессера» по головам ходят. Одним словом...

Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.

— А резерв? Пшенная каша, хлеб, как глина. Ну, может быть, селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, БУПы [1], ручной пулемет... Семечек хотите?

Не дожидаясь ответа, сыплет нам в ладони мелкие, пережаренные семечки.

— Теперь дальше...— Он слегка наклоняется и говорит загадочным полушепотом: — Встретился я здесь с одним капитаном, я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились. Оказались общие знакомые. Короче, дней через пять-шесть, максимум десять, будет здесь подполковник Шуранский. Вы его знаете? Золото, а не человек. Я с ним на «ты». Вместе выпивали. Так он, этот самый Шуранский, устроит. Сейчас он в Москве, в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет, поворачивайте-ка вы пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий.

Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.

— Одну минуточку. Вы подождите. Вон с тем майором пару слов только...

И, поправив фуражку, он скрывается за углом.

Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант, в начищенных сапогах, сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности — стрелки, минометчики, артиллеристы — в пятой комнате, с одиннадцати до пяти.

Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера.

— К черту эти противогазы. Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь.

На Туркестанской опять лейтенант, только уже черный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет и — «приходите завтра к десяти».

На другой день в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой — «Майору Забавникову, зачислить в резерв» — шагаем на Узбекскую, 16.

Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит — маленький, желчный, зеленый, со

---

[1] БУП — боевой устав пехоты. *(Прим. автора.)*

слезящимися глазами. Опять — кто, что да откуда. Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой.

* * *

Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обмотанные зеленью, точно сегодня троица, буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе.

Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит, кажется о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.

Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко... Архитектура, живопись, литература... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это потом, потом...

А завтра опять этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и после послезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что, когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и пойдет, пойдет, пойдет...

Мы проходим мимо памятника Хользунову, Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.

Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите стоит подбитый «хейнкель». Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину, ковыряются в

приборах. Взрослые угрюмо и внимательно рассматривают из-за натянутой веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы.

— Весь бронированный, сволочь...

— Да, металла не жалеют.

— Вот и суйся к ним с фанерой.

— А сколько у него пулеметов?

— Два. И две пушки.

— И бомбы?

— И бомб две тонны.

— Две тонны?

Люся тянет меня за рукав.

— Идемте. Мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.

— Куда?

— На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо. Честное слово.

Мы едем на Мамаев курган.

Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник.

Но вид отсюда действительно замечательный.

Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. «Красный Октябрь», «Баррикады» и совсем далеко на горизонте корпуса Тракторного. Там свои поселки — белые, симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.

И за всем этим Волга — спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем.

Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и

смотрим, как ползет поезд внизу. Он страшно длинный, на платформах у него что-то покрытое брезентом, должно быть танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.

— О чем вы думаете? — спрашивает Люся.

— О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.

— Юра... Как вы можете?

— А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.

— Неужели вам не надоело все это?

— Что «это»?

— Война, пулеметы...

— Смертельно надоело.

— Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...

— Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что, когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.

— А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.

— Вы недавно работаете в госпитале — вот и все.

— Второй уж месяц.

— А я второй уж год. А военный год — это добрых три мирных. А то и пять.

Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых,— длинные и загибающиеся кверху.

— А какой вы до войны были, Юра?

Ну что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в третьем ряду партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами.

Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег.

— Красиво, правда? — говорит Люся.

— Красиво,— говорю я.

— Вы любите так сидеть и смотреть?

— Люблю.

— Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?

— Сидели и смотрели.

— У вас там жена, в Киеве?

— Нет. Я не женат.

— А с кем же вы сидели?

— С Люсей сидел.

— С Люсей? Смотрите, как смешно,— тоже Люся.

— Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.

— А где она сейчас?

— Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.

— А у вас есть ее карточка?

— Есть.

— Можно посмотреть?

Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым, свежим мылом.

— А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?

— Нет, не замечал.

— А вы любите ее? Или только так?

— Мне кажется, что да. Во всяком случае — скучаю.

— Очень?

— Пожалуй, очень.

— Почему пожалуй?

— Ну, просто — очень.

Люся опускает глаза.

И вдруг вся краснеет. Даже уши, маленькие, с дырочками от серег уши ее, становятся красными.

Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки — бледные и робкие.

Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку — на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая, Люся, и мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и так же, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создаю-

щее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого.

И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет.

Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.

12

Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник — майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы — угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко—тоже из резерва.

Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. И это все.

На мою долю выпадает мясокомбинат, холодильник, четвертая мельница и хлебозавод. Игорю — пивзавод, другая мельница и завод «Метиз».

Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник.

Мы с Игорем захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый — Шапиро, располагается на стульях. Валега и Седых — в соседней комнате, на полу. Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит.

На заводах мнутся директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять — одни женщины остались. Рабочие косятся: чего это военные зачастили. Разыгрываю пожарного специалиста — щупаю огнетушители.

На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. На мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи — душные.

Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки малоутешительны. Майкоп и Краснодар оставлены.

В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие, глубокие ямы,— говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают «юнкерсы», роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.

В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.

Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывчатое — «северо-восточнее Котельникова», «излучина Дона»... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминична слыхала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками — «танки... авиация... что поделаешь...»

Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи, зубной врач с женой и двумя детьми, вчера выехали в Ленинск — «погостить к сестре».

А в оперетте — «Сильва», «Марица», «Роз-Мари». В буфетах, кроме волжской воды — пять копеек стакан,— пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.

В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый ленивый удав дремлет в углу своего террария, на старой соломе.

В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в «фашистов» и в «наших». Девочки играют в классы, прыгая на одной ножке.

У Дома Красной Армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда».

Так ползет август — душный, безоблачный, пыльный.

Как-то встречаю Калужского, в новенькой гимнастерке и в фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из эвакогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы — раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с десяток кило — все равно всего вывезти не удастся, придется сдавать фронту.

Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами «газике» куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, авось есть что-нибудь «до востребования».

13

В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят.

Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио.

Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба.

На заводы сегодня не пойду,— схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников.

Сдергиваю с Игоря шинель.

— Вставай! Идем на Волгу купаться.

Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает. Моргает сонными глазами.

Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.

— Сегодня утром сбили одного.— Он ставит сковородку на кирпич.— Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться — больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.

— В городе много зениток,— говорит Шапиро и слезает со своих стульев,— батарей двадцать пять будет.

Он очень любит цифры и всякие подсчеты.

— Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.

— А сколько у немцев самолетов? — спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.

— К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.

— Почему?

— Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает по одному самолету в день,— я беру невероятный минимум,— то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...

— Ты купаться пойдешь? — перебивает Игорь.

— Нет. У меня чирей выскочил. Шестой чирей за этот месяц. И на самом неудобном месте.

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.

Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок — байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце.

Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простуженно

гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особенного, не похожего на другие, завода.

Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так на животе и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.

Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу,— мы, и бомбы будут вздымать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю.

Игорь с размаху хлопает меня между лопаток.

— Полезли в воду... Вон пароход плывет.

С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого, скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами — почти вся спина наружу — плывет он наперерез пароходу. Голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтоб набрать воздуху. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо.

Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.

Пароход проходит — приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается, запыхавшись.

— Сердце что-то сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то.— Он весь блестит и переливается от нефти.— Идем-ка лучше в библиотеку.

Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина.

В библиотеке Игорь наслаждается «Аполлоном» за 1911 год. Я — какими-то новеллами перуанского происхождения в «Интернациональной литературе». Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Дорэ к Мюнхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном с золотом переплете и такими же рисунками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка — ворота разрезали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.

Мы сидим до тех пор, пока библиотекарша не намекает нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от двенадцати до шести работают.

— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть за тысяча девятьсот двенадцатый и тысяча девятьсот семнадцатый годы.

Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.

У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит:

— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...

Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.

Валега встречает нас насупленным взглядом исподлобья.

— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем...— Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.

Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.

— Совсем как в ресторане,— смеется Игорь, — еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.

И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор...

Что за черт!

Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.

Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать штук... Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна... две... три... четыре... десять... двенадцать... Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать.

Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно тисками, выше локтя. Лицо Валеги — остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает.

Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.

Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.

Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то — скорей бы, скорей, что угодно, только скорей.

Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет

толом. На зубах, в ушах, за шиворотом — везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.

Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.

Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.

— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.

Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито фиолетовый.

— Ну ее...— машет рукой,— не лезет в глотку...— И выходит на балкон.

Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился.

Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.

Игорь возвращается с балкона.

— А где наш капитан живет?

Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, пере-

кладывают, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

— Господи боже... Пресвятая богородица...

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.

На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут...

Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.

В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света.

— Идите домой... ждите.

Мы идем домой. Люди всё бегут, бегут, бегут... Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.

Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.

14

Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на Тракторный.

— На Тракторный? Зачем?

— Не знаю. Приказано.

— Кто приказал?

— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.

— А что там делать?

— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.

— И больше ничего?

— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.

— А так что слышно?

Капитан пожимает плечами — разве поймешь?..

Седых отзывает меня в сторону.

— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?

— Я те схожу!

— Водка, говорят, есть.

— Ты слышал, что я тебе сказал?

— Слышал.

— Иди складывай свои манатки.

Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.

— Опять летят...

Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.

— Надо в подвал идти,— дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.

— Вы Самойленко? — голос хриплый, задыхающийся.

— Я...

— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.

Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.

— Давай на машину... Слыхал?

Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.

Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расползающийся кверху, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.

Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город,— полуголые, в шубах, закопченные.

Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись, смотрит на нас, не узнает.

— Вы к кому?

— К вам. Саперы.

— Ага... Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.

Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки.

— Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага,— он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой.— Метров пятьдесят — не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие.— Смотрит на маленькие, изящные золотые часики-браслет.— Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль-ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли — все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым,— вы его там найдете,— в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль-ноль я буду там.

Он задумывается, прикусив губу.

— Ну ладно.

Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком. Записывает.

— Керженцев — ТЭЦ [1]. Свидерский — литейный. Самойленко — сборочный цех и т. д. — Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. — Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь.

Едем дальше.

Большова находим довольно быстро — по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка навыкате, иронические и умные. В углу рта окурок. Руки в карманах.

— Помощники, да? — улыбается углом рта.

— Да. Помощники.

— Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше — было б лучше. А сейчас...— он зевает и сплевывает окурок,— основное уже сделано. Омметра нет?

— Нет. А что?

— Капсюли не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня,— навряд ли выйдет. Что, бомбит город?

— Бомбит. А почему не выйдет?

— Почему? — Большов лениво улыбается.— Взрывчатка дерьмовая. Тола кот наплакал. Остальное аммонит.

---

[1] ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. *(Прим. автора.)*

Отсыревший, в грудках. Ну и капсюли не калиброваны. Цепь проверять нечем. Омметра нет...

— А детонирующего шнура? — спрашивает Игорь.

— Обещают завтра дать. И омметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня.

— Сегодня?

— Говорят. Если не отгонят, то сегодня.

Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек.

— Махорка есть?

Закуриваем. Мимо по широкой, обсаженной деревьями асфальтированной аллее проходят отряды рабочих. Несут пулеметы — танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.

Я спрашиваю:

— Где немцы?

— А вон за цехами. Там овраг. Мечётка или Нечётка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.

— А где наши объекты?

— А у вас что?

— ТЭЦ,— отвечаю я.

— ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть.

Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул.

— Эй, друг!

Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.

— Вас что, лейтенант прислал?

— Да. Большов.

— Принимать будете?

— Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.

— Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то, Львович, кажется...

— А теперь я.

Сержант, потянувшись, встает.

— Ну что ж, пошли...— Ищет в кармане махорку.—

Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные, сволочи, всё рвутся...

— И много?

— Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.

— Сеть готова?

— Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали чертову гибель, а омметра нет. Электрик тут один мне помогал, говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай.

— А где подрывная станция?

Сержант машет в сторону окна.

— Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно.

Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд — три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной — метров триста от самой станции. Цепь длиннющая, километра два. Сделана аккуратно — концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много.

Где-то, по ту сторону электростанции, слышно, как разрываются мины.

— По окраине бьет,— говорит сержант.— Из ротных всё бьет. Чепуха. В щель пойдете?

— А где телефон?

— В щели. Все там. Вроде КП устроили.

15

В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме, с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой— инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.

Все сидят и курят при свете «летучей мыши». Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н, с двумя входами.

— Что без омметра делать будем? — спрашиваю я.

Георгий Акимович искоса поглядывает на меня.

— У нас мостик Уитстона есть.

— Что же вы молчите?

— Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова — главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.

— Надо послать, значит.

— Посылали уже. Они, видите ли, на «Красный Октябрь» уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут. И вот всё едут.

У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить,— по-видимому, ему лет тридцать.

— Две ночи кряду не спишь, и толку никакого.

Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком.

— Вот позвонят сейчас по телефону — действуйте... А дальше что?

— Действовать,— отвечаю я.

— Рубильник включать? Да? Так, по-вашему?

Большие, с темными веками глаза его сердито сверлят меня.

— По-моему, так.

— А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет, — он рукой быстро проводит по горлу.— Вообще ни плана, ни организации.

— Георгий Акимович,— перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, и сгибает и разгибает какую-то проволочку.

— Что — Георгий Акимович? Нужно все-таки маломальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все-таки тар-рарах устроить. Куда? Врассыпную? Куда глаза глядят? Потом... Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот... Вообще...— Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу.— Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод — и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько

раз говорил — идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет. Воров боятся. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды.

Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стенку и встает.

— Может, приехал уже... По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе.

Игорь тоже встает.

— Ко мне в литейный не сходим? А? Посмотришь.

Мы идем в литейный.

— Как тебе этот тип? — спрашивает Игорь.

— Как сказать, не завидую его жене. Чахотка, плюс несварение желудка, должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда.

— А меня раздражает.

— Ты неврастеником стал, ей-богу,— все раздражает. Шапиро раздражает, Пенгаунис подворотнички стирает — раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?

— Не люблю ворчунов, что поделаешь. А этот уж такая экспансивность, что того и гляди полные штаны будут.

— Поживем — увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсюлях натренировать. Чтоб как часы втыкали и не боялись.

Седых улыбается.

— А чего там бояться. Я таких вот сазанов толом глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы, знаете, сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу— двумя руками не подымете. Я уже видал, тут челнок за забором лежит.

У входа в литейный группа рабочих окружила здоровенного парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна.

— До института, сволочи, добрались. Тр-р, тр-р из автоматов... А у нас — винтовки. Только ко входу подходим, а они из окон тр-р-р, тр-р-р... Хорошо КВ [1] подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне Мечетки.

Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.

---

[1] КВ — танк «Клим Ворошилов». (*Прим. автора.*)

— Только один выстрел КВ дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы с заднего хода — от дерева к дереву.

— А много их, фрицев-то? — спрашивает кто-то из толпы.

— На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше.

— А ты что, считал?

— Считал...— Парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую.— Пойди посчитай. Там только арифметикой и заниматься,— машет он здоровой рукой.— Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься.

На обратном пути опять встречаем раненых — старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут. Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А, в общем, ничего — жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И совсем по-молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать медпункт. Прибитая к фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.

В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна.

— Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик, а сказка. Другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные?

— Хоть пруд пруди,— отвечает Ведерников, — сотни две или три.

Только-только заканчиваем калибровку — подбор капсюлей с одинаковым сопротивлением — и заменяем капсюли на зарядах, как начинается обстрел. Длится около часу. Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный

зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале зияют дыры в потолке.

Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.

— Закопать надо провод, от осколков житья не будет.

И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче — цепь разбивается на участки, и каждый участок можно проверять в отдельности.

Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, чтоб он был осторожней,—другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место.

До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаза с Уитстона, но все проходит благополучно — порывов нет.

Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Это нам значительно облегчает поверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетащить из машинного зала в подвальные камеры, под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем — быть готовым к ночи.

Гольдштаб отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.

— Помните, что после предварительной команды — более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович. Керженцев — за взрыв.

— Ясно. А очередность?

— Никакой очередности. И первая и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка.

— Ясно.

— Все ясно?

— Все.

Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы.

Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам — их восемь черных ящиков, закопанных в яму; другой к зарядам — восьмидесяти мешкам с аммонитом по три пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой, на всякий случай. А через час или два, а может и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего...

Сидим и курим. Валега штопает брюки, Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок.

В двенадцать звонит Гольдштаб — проверить сеть и не спать.

В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов — нет ли десятков двух лишних капсюлей калиброванных. Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно.

— Ну, а вообще как, спокойно?

— Спокойно. А у вас?

— Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего.

Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся. Садимся. Курим. Включаем мостик. Выключаем. Молчим.

В пять снова звонок. Можно ложиться спать. Говорит Гольдштаб.

Слава тебе господи...

Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот.

Напрасно мы свои шинели у Гольдштаба оставили.

То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка — и в пять часов можно спать.

Атмосфера разряжается.

Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими паутинами.

Приказа все нет.

От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходящее облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не щурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения.

Бои идут в южной части города, у элеватора, и в северной — на Мамаевом кургане.

В нашем овраге без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии. Шли долго, беспрерывно, всю ночь напролет, батальон за батальоном. С артиллерией, обозами. Раза два немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня — обычно ночью, и Гольдштаб звонит: «Будьте готовы», — а утром все успокаивается, и мы ложимся спать.

Начинаем обживаться в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: Одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Седых приволакивает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, «Ниву» за двенадцатый год.

По вечерам, усиленно слюнявя палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит «тезоименитство» или «генерал-от-инфантерии», или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.

Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться, отчаянно фыркая, брызгаясь на версту и шумно шлепая

себя по плечам и животу. Скажешь ему — принеси немного дров, он притащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-бра и тур-де-теты.

Любознателен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему немцы не могут разгадать секрет «катюши», и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают.

Вечером однажды идет разговор о героях и наградах. Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колено,— его любимая поза.

— А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? — спрашивает он.

Все смеются.

— Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше.

Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурок.

— Тогда всё,— тихо говорит он.

— Что «всё»?

— Будет у меня орден.

И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже совершившемся. Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал.

Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.

— У старшего лейтенанта Свидерского нет ординарца — иди к нему,— угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку, из которой он мне поливает.

Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега щупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать»,— и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.

Но, в общем, живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает, критикует недоваренную кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то «шнапсом».

По вечерам Валега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.

Сержанта Ведерникова переводят куда-то в другой цех, и мы его больше не видим. Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую «Ниву», режемся в «козла» или «двадцать одно». Георгий Акимович не выносит этого, хватает письма Чехова и демонстративно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.

Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он не покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда сам, а рвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипятится, обвиняет всех в безделье, но ТЭЦ свою и каждую машину, каждый винтик в ней обожает, как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.

— Куда нам с немцами воевать,— говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины.— Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

Игорь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— А что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.

— Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.

Георгий Акимович смеется мелким сухим смешком. Игорь начинает злиться.

— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.

— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.

— Вот-вот-вот...— горячится Игорь.— Петены и лавали. Именно петены и лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта.

— Никакой.

— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.

— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению,— разве от этого легче? Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.

— Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...

— Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожить десять посредственных. Как, по-вашему?

— Подождите... Будет и у нас много танков.

— Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем?

Игорь вскакивает как ужаленный.

— Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Черта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это всё так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить.

Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.

— Чего вы злитесь? Сядьте. Ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно.— Игорь подсаживается.— Вот вы говорите, что и отступать надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под

сапогом у фашистов, мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

— В силах... В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все-таки отогнали...

— А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете — Кузбасс, Урал весь. Верно. Это мощные промышленные узлы. Но до начала войны, кроме них, были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать еще не значит пустить в ход. А тем временем, видите, что делается...

Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия «Ю-88». Медленно заворачивает и идет на другой заход.

— Они даже без истребителей ходят... Безнаказанно, сволочи, как у себя дома...

Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десяток окурков. Смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты.

Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.

И вдруг встает.

— Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут.

И уходит.

* * *

Не может быть... Это все, что пока мы можем сказать. Не может быть...

Был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. «Максим» и трехдюймовка — это все. И выкрутились все-таки. И Днепрогэс потом построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать.

Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю. Снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавший не только нас, но и всех, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.

Он как-то сказал:

— Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.

Чудо?..

Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днипро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали огоньками цигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев.

— Нет, Вась... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло, земля — жирная, настоящая.— Он даже причмокнул как-то по-особенному.— А хлеб взойдет — с головой закроет...

А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.

Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул: «Приготовиться к движению!» Все зашевелились, загремели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.

Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат.

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.

Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть.

А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.

Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджаке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие, бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок, дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим, и все его раздражало.

А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. Шагах в двадцати, не больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, вокруг места разрыва.

— Вы понимаете,— говорил он мне потом,— с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть, вы его знаете, второй от окна. Я их знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные,— вам просто жалко завод — и всё. А для меня...

Он не договорил и ушел к своему мостику.

Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали куда-то машины. И люди шли. Тоже куда-то...

Это было полтора месяца тому назад — в июле.

Сейчас сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят — значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле.

Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.

17

Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.

Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в больших, аптекарского вида, бутылях грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед.

— Ну, что ж, будем прощаться,— говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой.— Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ [1].

— А нам куда?

— На ту сторону. В штаб фронта — инженерный отдел.

Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.

С Георгием Акимовичем мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:

— Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: «Ну, кто был прав?» И я скажу: «Вы».

Он провожает нас до тропинки, сбегающей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.

Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой

---

[1] АИБ — армейский инженерный батальон. (*Прим. автора.*)

небольшой, запоминающийся след и скрылся, по-видимому, навсегда.

Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой рассохшейся лодке и смотрим на дымящиеся трубы Тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапиро рассказывает нам, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то.

Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника — ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.

Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички: «Прохода нет».

К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте — черный прямоугольничек с косой веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них,— она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее,—сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживляется.

— Замечательно! Просто замечательно! А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья... Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться.

Оказывается, только что перед нами — «вы не встретились?» — был капитан из инженерного отдела 62-й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184-я дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор — сержанты вместо полковых инженеров. В резерве — ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.

— Короче говоря... вы, вероятно, голодны? Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне.

Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у «д», надписывает конверты.

— Кто из вас Керженцев?

— Я.

— Вам отдельно. В сто восемьдесят четвертую. Советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете.— Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты.

— Постарайтесь увидать дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее.

Остальные получают общее направление в штаб инженерных войск 62-й армии.

— Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите.

— А в сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? — спрашивает Игорь.— Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.

Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.

— Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего,— и, почесав карандашом переносицу, добавляет: — Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из шестьдесят второй представитель приедет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.

Мы уходим под осинки.

— Ты пешком пойдешь? — спрашивает Игорь.

— Дойду до регулировщика, а там посмотрю.

— Я тебя провожу.

Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.

— Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.

— Обязательно,— нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.

Через несколько минут он догоняет нас.

— Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший — двойной.

Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар, таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в кар-

ман,— в него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет руку. Потом Валеге, потом опять мне.

Мы молча доходим до регулировщика.

— Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так всё машины,— говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами.

Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную, длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая — спокойная и неподвижная над горящим городом.

А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» указывает прямо в небо.

— Дорога в рай,— мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал.

Подходит регулировщик.

— Во-он журавли полетели,— и тычет грязным корявым пальцем в небо.— Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?

Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли.

— Совсем как «юнкерсы»,— говорит регулировщик и сплевывает,— даже смотреть противно.

Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся.

— Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.

— Туда.

Он качает головой и делает несколько затяжек.

— Да... Невесело там, что и говорить...— и отходит.

Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает — нет ли напиться. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.

— Ну, а как там, на передовой?

— Паршиво,— равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет.

— Здорово жмет?

— Куда там, головы не подымешь.

Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает.

— Народу мало... Вот что погано...

— А в городе кто? Они или мы?

— А кто его знает, где там город... Горит все... Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.

Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку.

К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать — не из нужной ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается.

— Говорят, сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов.

Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли.

— Ну, что ж, я пойду,— говорит Игорь.

— Ну, что ж, иди,— отвечаю я и протягиваю руку.

Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается.

— Я не прощаюсь,— говорит Игорь.

— Я тоже.

Мы трясем друг другу руки.

Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.

— Обязательно... Как же.

— Ну, я пошел.

— Всего, Игорек.

— Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.

— Разве?

— Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали,— он шарит по карманам.— Вот он, за подкладку завалился.

Игорь протягивает нож — Валегин трофей, золингеновский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.

— Ну, теперь все. Будь здоров.

— Будь здоров.

И он уходит своей обычной, непринужденно-ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.

Неужели я и с ним уже никогда не увижусь?

18

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего — ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть, и все нет.

Грузятся сразу две дивизии — 184-я и еще какая-то, 29-я, кажется.

И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.

Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.

Кто-то дергает меня за рукав.

— Слушай, друг, фонарика нет?

— Есть.

— Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь...

Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.

— Давай под лодку залезем. Две минуты только... Ей-богу.

Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло — батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке шпала. С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг перетянутой резинкой планшетки карту.

— Вот иди разбери,— тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте.— Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! — и он длинно и заковыристо ругается.— Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее — дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.

Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.

— Не у вас сегодня инженера убило?

— У нас. Цыгейка. А что?

— Я на его место прислан.

— Ну!..— крупнолицый капитан даже удивился.— Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.

Мы вылезаем из-под лодки.

— Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.

Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.

Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь»,— мелькает в голове.

Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя — могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.

Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.

Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она не плохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.

На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.

Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины — восемь штук,— когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противопо-

ложном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.

Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.

— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.

— Успел. А ты?

— Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается.

Приходит комбат. Тяжело дышит.

— Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь.— Он громко сморкается.— Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.

Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.

— Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там...

Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу; а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону, к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.

— Хорошо,— говорю я,— дашь мне две роты и петеэровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте?

— Человек по сто.

— Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.

— Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.

И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.

Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.

Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.

Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно.

Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше чего-то неопределенного, за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.

— Большой он все-таки,— говорит кто-то за моей спиной,— как Москва.

— Не большой, а длинный,— поправляет чей-то мальчишеский голос,— пятьдесят километров в длину. Я был до войны.

— Пятьдесят?

— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного.

— Ого!

— Что «ого»?

— Войск много надо, чтоб удержать. Дивизий десять. А то и пятнадцать.

— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.

Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Где-то над нами пролетают со свистом мины. Ударяются позади в воду.

— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.

Мальчишеский голос смеется:

— А чего же ему хотеть? Конечно, спихнуть. Рус буль-буль,— и опять смеется.

— Фрицу многое чего хочется,— вступает кто-то третий, по-видимому пожилой, судя по голосу,— а нам никак

уже дальше нельзя... До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше...

Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.

— Правильно, папаша. Вот это по-нашему, по-моряцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная... Правда?

И все смеются.

Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно, — я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Мы подъезжаем к берегу.

19

Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.

На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые — молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.

Берег у реки плоский, песчаный. Дальше — высокий почти вертикальный обрыв. И над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель.

Комбат — оказывается, его фамилия Клищенцов — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку:

— Ну, чего ты ее лафетом вперед тычешь. Мозги, что ли, не варят, телячья голова...

Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клищенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.

— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу за вами... Связного только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть. Все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты.— И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там... В бой без меня не впутывайся,— сует мне в руку фляжку.— На, подкрепись на дорогу.

Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри.

Командиры собирают людей. Один долговязый, сутулый,

в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов — «видите ли», «собственно говоря», «я склонен думать». Другой, Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.

Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.

Навстречу — вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа.

Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут в воздухе.

— Где немцы? — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в ту сторону, куда мы идем.

— Недалеко... Ближе чем до дому...

Проходим мимо белой постройки, должно быть водокачки; от нее тянутся трубы. Потом дорога подымается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку.

— Куда? — спрашиваю.

Никто не отвечает.

— Куда пушку тащите?

— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять.

Я вынимаю пистолет.

— Поворачивай назад...

— Куда?

Кто-то в расстегнутой шинели, в съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.

— Видали мы таких... Герой!.. Не обращай внимания, Кацура! Тащи!

Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло.

Пули ударяют уже по самому берегу.

На верху дороги,— отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки,— появляется несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.

Кто-то задевает меня плечом и чертыхается.

Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое, прыгающее передо мною лицо.

— Назад!.. — кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге.

Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда-то справа, из-под колес.

Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятный и холодный,— стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощеная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.

Немцы, по-видимому, сидят в баках,— красные, белые, зеленые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам.

Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два и, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева — прямо на баки. Мне — по дороге — в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.

Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.

Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая, изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сараи, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит.

Пора... Я закладываю пальцы в рот,— свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.

Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные, вероятно до пояса.

Я тоже что-то кричу. Кажется, просто «а-а-а-а». Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе — от

автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.

Опять появляются баки, но другие — поменьше, с трубами, извивающимися как змеи. Труб много, и через них надо прыгать.

За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать, и почему-то болят челюсти.

Немцев больше не видно.

Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше... Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.

Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло.

— Перебило автомат... Возьмите этот...

Это, кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.

Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам, и это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями.

Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.

— Селедку, что ли, ели,товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке, маленькой и мятой.

Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затяжка за затяжкой, докуривает бычок. Плюет на него и вдавливает в землю.

Впереди двор — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ним свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блок-поста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.

Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться— один низенький каменный заборчик.

Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые с крупными насечками гранаты.

— Во... правильно...— подмигивает он черным сощуренным глазом.— Я эту будку знаю. Мировая будка. И подвальчик что надо!

— Ты был там?

— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал. С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.

Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс.

Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже — Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.

Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте,— одна нога отставлена, другая согнута,— уголком глаза, напряженного, немигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото, кажется имя.

Я даю сигнал.

Что-то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий.

И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют. Потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.

Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте.

Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.

Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.

— Ты что делаешь?

Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом, смуглом лице удивленно смотрят на меня.

— Как что?.. Трофеи беру...

Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке. По-видимому, часы.

— Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было!

Кто-то толкает меня в плечо.

— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потише немножко.

Я оборачиваюсь. С сигарой во рту, парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки.

— А ты кто?

— Я? — глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки.— Командир пешей разведки — Чумак.

Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.

— Сейчас же прекрати этот кабак. Понятно?

Я говорю медленно и неестественно спокойно.

— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?

— А вы кто такой, что приказываете?

— Ты слыхал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.

Он ничего не отвечает. Смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад и вперед.

Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.

Цвик-цвик... Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилась о что-то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится насмешка.

— Не понравилось, лейтенант, а?

И ленивым, привычным движением сдвинув крохотную бескозырку свою с затылка на самые глаза, он медленно, не торопясь, поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен.

Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается.

— Какого черта вы здесь возитесь, дорогу только загромождаете! — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают.

Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке.

— Ну чего стали? Тащите дальше.

Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее.

— Точно с цепи сорвался...— доносится до меня голос одного из них.

Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет,— он почему-то скатывается.

Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, из училища. Тоненькая шейка. Широченные, болтающиеся на ногах сапоги.

— Ну как, по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик. Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами.

— Ладно, сойдет.

— А второй у меня там, за тем заворотом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно.

Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски.

Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по западной окраине завода «Метиз». Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудновато.

Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцов, юркий, раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку.

Откуда-то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа. Из-за насыпи. Там, кажется, мост есть — от нас не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали... Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки...

Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все — тело-

грейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой, гладкой спиной.

В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чертыхаются.

Танки идут прямо на нас...

Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается.

Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки, разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб гранат ему дали противотанковых.

— В подвале, в углу, где чайник стоит...

Один танк перебирается все-таки через железо. Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный, противный крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок.

Подобьет или не подобьет?

Крест все приближается...

Кто-то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать.

— Что такое?

— Немцы обходят слева. Пехота их левей паровоза пошла...

Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета.

Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента.

— Почему второй пулемет молчит?

Голубые детские глаза готовы заплакать.

— Ей-богу, не знаю. Пять минут тому назад...

— Гранаты! Давай гранаты!

Пули свистят над самой головой.

Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат...

Почему пулемет не работает?

— А-а-а-а-а...

Что-то валится на меня... Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой... Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузно оседает на дно траншеи. Я бросаю еще четыре гранаты. Это последние — больше нет. Где автомат, черт возьми?

Хочу выдернуть из кобуры пистолет, ремешок зацепился. Никак не вылезает... Черт!

И вдруг... тишина...

У ног моих кто-то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили?

Я бегу по траншее назад. Бойцы щелкают затворами. Все как было. Петров у пулемета.

— Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает.

Голубые глаза смеются весело, по-детски.

— Видали, как отсекли? Сразу побежали.

Повернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая она тоненькая и жалкая! И глубокая впадина сзади. И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми, голубыми глазами, не зная, что ответить учителю.

— А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет кое-какое отношение.

Голубые глаза смущенно опускаются вниз.

— Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант.

Он подымается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.

— Мне кажется...

Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.

Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями.

Его оттаскивают. Беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. И шея у него толстая и красная. Командиром роты назначаю политрука. Иду к белой будке.

Немцы молчат. По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тюбетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик — тот самый. Тоже кладут в щель на кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой.

Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем. Потом снова...

Так длится до обеда. Двадцать — тридцать минут отдыха — перекур, набивка патронов, кусок хлеба за щеку — и опять. Опять серые фигуры, крик, трескотня, неразбериха.

Один раз «хейнкели» высоко, из поднебесья,— мы даже их не замечаем,— бомбят нас. Но бомбы падают на немцев. Бойцы смеются.

Сидорко все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом.

После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Танков не пускают. Тот, с крестом, так и застрял на железе — подбили. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег. Тяжелых переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием.

Часам к девяти немцы выдыхаются. В десять всё успокаивается. Изредка только пулеметы пофыркивают.

20

В подвале невыносимо накурено. Дым стелется пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые — ими забит весь подвал — просят воды. А воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге всё распивают.

Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита.

Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя — маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану.

Разведчики сегодня подбили два танка. Один — Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла.

Я спрашиваю Чумака, почему он ни о чем не докладывает.

— А о чем докладывать?

— О сегодняшнем дне. О потерях. Существует в армии такой порядок — докладывать после боя.

Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника, спина.

— День, сами видали, солнечный, а потери — ну какие же потери? Бескозырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы?

— Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку.

— А там пули. Убить может.

Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу. Он тоже.

Прислонившись плечом к косяку двери, жует папиросу.

— Знаете что, товарищ лейтенант? Давайте по-мирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет.

— Лучше или хуже, другой вопрос. Сколько у вас людей?

— Двадцать четыре. Как было, так и осталось. А разведчиков, советую...

— Танк кто подбил?

— А кто бы ни подбил, не все ли равно?

— Вы подбили?

— Ну, я... Не вы же...

— Расскажите, как вы его подбили.

— Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим.

— Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата.

— А я откуда знаю?

— Вот я вам и говорю.

— Комбат — Клишенцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки.

— Их сейчас нет, поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части.

Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом.

— Вместо Цыгейкина, что ли?

— Да, вместо Цыгейкина.

Пауза. Плевок через губу.

— Что ж... Мы с саперами обычно душа в душу.

— Надеюсь, что и впредь так будет.

— Надеюсь.

— А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил?

— Корф.
— Рядовой?
— Рядовой.
— Это его первый танк?
— Нет, четвертый. Первые три у Касторной.
— Награжден?
— Нет.
— Почему?
— А хрен его знает почему. Материал подавали...
— Через час дадите мне новый материал. О нем. И о других тоже. Ясно?

На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах.

— Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части?

Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит. Режет глаза. Вероятно, от дыма — страшно все-таки накурено.

Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит Фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной цигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхивая папиросой. Доносятся только отдельные фразы.

— А у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов. А он лежит, уткнувшись лицом в землю, и серое что-то течет...

Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие, а, как у того бронебойщика, залихватски закрученные у углов рта. Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел с женщиной в когтях. Прямо на гимнастерке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастерки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет.

— Лейтенант... А, лейтенант...

Я открываю глаза.

Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой, костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное, усталое лицо. Немного слишком холодные глаза.

— Проснись, лейтенант, волосы сожжешь.

Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит.

— Что вам надо?

Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол.

— Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка.

Я встаю.

— Сидите,— переходит он вдруг на ««вы».— Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер вместо Цыгейкина, так я понял из вашего донесения?

— Да.

Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время, не мигая, смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал.

Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола.

— Петрова, говорите, значит, убило?

— Да. Снайпер, должно быть. Прямо в лоб.

— Так-с...— Нижними зубами он покусывает верхнюю губу.

— Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять. Раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя. Осколком ствол перебило.

— А соседи кто?

— Слева второй батальон нашего же полка. Справа же...

Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти.

— Справа сорок пятый, товарищ капитан,— вставляет Чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы.— От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли.

— Сорок пятый...— задумчиво говорит Абросимов и встает. Застегивает телогрейку.

— Ну что ж, Керженцев. Пройдемся по обороне, а потом, потом придется тебе батальон принимать.

Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли.

— Клишенцова — комбата — убило. Бомбой. Прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь...

И повернувшись в сторону Чумака:

— Химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер. Или комбат, вернее.

Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся связисты, двое, с желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках.

Подымаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он из-под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка.

На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая Медведица над Мамаевым курганом — косая и яркая. Где-то над головой однообразно, как мотоцикл, тарахтит «кукурузник». Точно на месте топчется. Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану.Справа, вероятно над «Красным Октябрем», висят ракеты, около десятка, осыпающиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина.

Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры. Винтовки на брустверах. «Кукурузник» бомбит уже где-то за Мамаевым курганом,— видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки — три штуки все-таки подожгли за день — все еще горят, и противный едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону.

Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге, у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон.

— Ну, смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять «сабантуй»... А патронов пришлем. И к утру уже пушки будут. С ними все-таки веселей.

И уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа.

Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо. Потом скрываются.

Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и темно. В одном только месте что-то вроде огонька. Вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель, должно быть. Курит. А может, так, тлеет что-нибудь.

До чего тихо.

А завтра опять «сабантуй». Самолеты, крик, трескотня.

Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потеснили нас немцы. У Фарбера. На самом правом фланге. Метров на сорок. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли, его фамилия. Боевой как будто парень. Мне он сегодня понравился. А часика в три — контратакуем...

Я иду в подвал.

У будки уже другой часовой — маленький, в волочащейся по земле плащ-палатке. Его я не знаю.

Бранятся в телефон связисты:

— Мрамор! Я — гранит. Как слышишь? Мрамор, мрамор! Сукин сын, опять прикуривать пошел. Мрамор, мрамор, ядри твою бабушку...

Желтеет солома в углу. Валега, конечно, позаботился. Завалюсь сейчас. Два часа, целых два часа буду спать. Как убитый.

— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего.

Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом живот, я уже сплю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

За всю свою жизнь не припомню я такой осени. Прошел сентябрь — ясно-голубой, по-майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе, курлыча, пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель.

Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.

И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и, наконец, все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.

Так начинается день. А с ним...

Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется «рама». Поблескивая на виражах

в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двухвостая рыба, уплывает к себе на запад.

Это вступление.

За ним — «певуны». «Певуны», или «музыканты» — по-нашему, «штукас» — по-немецки, красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком как-то, косой цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов.

Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнца не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хоронить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли.

Когда цепочка проплывает над нашей головой, мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков.

Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы — господи боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из «певунов» тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят они их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может, даже и не сбросит, а только кулаком помашет.

И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас, или соседей. Если не соседей, так нас. Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.

Время от времени прилетают тяжелые «юнкерсы» и «хейнкели». Их отличают по крыльям и моторам. У «хейнкелей» крылья закругляющиеся, у «юнкерсов» — обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.

Плывут высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразнобой, не снисходя до пики-

ровки. Поэтому мы их не любим — эти тяжелые «юнкерсы»: никогда не знаешь, куда уронят бомбы. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза слепить.

Целый день звенят в воздухе «мессеры», парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки, по две из-под каждого крыла, или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем как корыто.

По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши «илюши» — штурмовики, и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. «Мессеры» долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.

Задравши до боли в позвоночнике головы, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы — маленькие черненькие самолеты вертятся как сумасшедшие высоко в поднебесье — иди разбери. Один Валега никогда не ошибается, глаз у него острый, охотничий — на любой высоте «миг» от «мессера» отличит.

А дни стоят один другого лучше, голубые, безоблачные, самые что ни на есть лётные. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные, ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, тучах, дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. О ней много говорили, подняв кверху обслюненный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами.

Один только раз, в начале октября, немцы дали нам отдых — два дня: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «мессеров», самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось.

Немцы рвутся к Волге. Пьяные, осатанелые, в пилотках набекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы — не то «Викинг», не то «Мертвая голова», не то

что-то еще более страшное. Кричат как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут.

Дважды они чуть не выгоняют нас из «Метиза», но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает.

Так длится... кто его знает, сколько... пять, шесть, семь, а может быть, и восемь дней.

И вдруг — стоп. Тишина. Перекинулись правее — на «Красный Октябрь». Долбят его и с воздуха и с земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит оранжево-золотистое облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас, и тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок.

Но, в общем, спокойно, только минометы работают да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. «Посадил бы я этих изобретателей Райтов в соседнюю щель — интересно, что бы запели». Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на «Красном Октябре». Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна — продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает назло всем...

Так проходит сентябрь.

Идет октябрь.

2

Меня вызывают из «Мрамора» по телефону к «тридцать первому» — командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.

Я знаю только, что у него густой, низкий голос и немцев он почему-то называет турками. «Держись, Керженцев, держись,— гудит он в телефон,— не давай туркам завод, понатужься, но не давай». И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь,— с каждым днем людей становится все меньше и меньше.

Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь. Надолго ли только?

Впрочем, чего гадать! Захватив Валегу, иду на берег.

Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно-отеческого вида. В одном сапоге и калоше на другой ноге, пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.

Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает большую мягкую руку.

— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой; косая сажень.— Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке.— Чаю хочешь?

Я соглашаюсь, давно не пил настоящего чая.

Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом.

— Видишь, как живем. Не то что вы на передовой. Лимончиком встречаем.

Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахару и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки.

— Ну, так как же у тебя там? А, комбат?

— Да ничего, товарищ майор, держимся пока.

— Пока?

— Пока.

— И долго, ты думаешь, это «пока» протянется?

В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая.

— Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться.

— Думаю, пока... Это нехорошие слова. Не военные. Про птицу знаешь, которая думала много?

— Про индюка, что ли?

— Вот именно, про индюка.— Он смеется уголком глаза.— Куришь? Кури. Хороший. «Гвардейский», что ли, называется.

Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные

солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты.

— Так, что ли, в атаку ходите? А?

— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор.

Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным и мягкие, немного вялые губы — жесткими и резкими.

— Штыков сколько у тебя?

— Тридцать шесть.

— Это активных?

— Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хозвзвод на берегу, человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек семьдесят всего будет.

— Тридцать шесть и семьдесят. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо.

— Нехорошо,— соглашаюсь.— Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть, да ваш помощник не разрешил — за сеном, говорит, ехать должны.

Майор грызет наконечник трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызанная.

— Инженер по образованию? Да?

— Архитектор.

— Архитектор... Дворцы, значит, разные, музеи, театры... Так, что ли?

— Так.

— Вот и мне дворец построишь... Сапер наш — Лисагор... Ты его еще не знаешь? Познакомлю. Один дворец построил уже было, да Чуйков, командующий, занял. Вот и живу в этой дыре, после каждой бомбы землю из-за шиворота выколупываю.— Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз.— Ну, а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?

— Знаю.

— Этим и будем сейчас заниматься. Придут комбаты, поговорим. А пока кури,— он щелчком подталкивает мне пачку.— Комбата на твое место уже запросил, да вот не шлют, сукины сыны. А без инженера как без рук. Лисагор — парень ничего, да в чертежах и схемах — ни бе ни ме... Бывает такое.

Где-то рвутся бомбы. Звука не слышно, только в ушах что-то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает.

Потом приходят комбаты и другие командиры.

Совещание длится недолго, минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту.

Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий — километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега — 13-я гвардейская, Родимцевская. Тянется почти до самого города, до пристаней, тоненькой, не шире двухсот метров, извилистой ленточкой. Правее, на «Красном Октябре»,— 39-я гвардейская и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две-три дивизии, и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. Пять или шесть километров на полтора. И полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется.

Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада. Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.

Но с «Метизом» мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне попадается участок между «Метизом» и восточным концом извилистого, как буква S, оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.

Да, повезло Кандиди, командиру 1-го батальона. На готовенькое садится. А мне... Кто его знает, где и КП себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет.

Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не выпускает трубки изо рта. Водит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте.

— Задача простая — врыться, опутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя.

Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие, глубоко запавшие глаза.

— У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа

в твоих руках. Другая сторона — у сорок пятого полка. В этих двух местах немцы и будут рваться отрезать наш первый батальон. И два батальона сорок пятого заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение — только заплаты. Да и что это за пополнение — мальчишки.

Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол.

— У тебя стариков сколько осталось, Керженцев?

— Человек пятнадцать, не больше. Из них человек десять матросов.

— Неплохо еще. У Синицына и Кандиди и того нет. А это ваш костяк. Учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть?

С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли, ржавое, негодное, в первые же два дня поломалось. Кирко-мотыг совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку-склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем.

— Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор,— подымается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке.— Я вчера с начальником армейского склада говорил. С тысячу противопехотных нам дадут. А противотанковые не раньше, чем через неделю.

Майор машет на него рукой,— знаю, мол, садись.

— Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими, ничего не поделаешь. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. Все. Да, Лисагор.— Лейтенант в телогрейке вытягивается.— Сегодня к вечеру план оборонительных работ чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду.

И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем — и так накурили, не продохнешь.

8

На берегу Лисагор подходит ко мне.

— Разрешите представиться,— лейтенант Лисагор, командир саперного взвода тысяча сто сорок седьмого стрелкового полка сто восемьдесят четвертой стрелковой дивизии.

Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам — пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецой. Сам коренастый, крепкий. На вид — лет тридцать.

— Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем.

И берет меня за локоть.

Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве — длинный, метров в десять, никак не меньше. В виде буквы Т.

— Справа для майора, слева для начштаба,— объясняет Лисагор.— Три на четыре, представляете? А там, левее, еще один — для опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрашнему дню готово было. Ловко?

Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, по́том и сырой землей.

Лисагор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению. Закуривает.

— Одну такую же выкопали. Досками обшили. Пол, потолок. Фанерой стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, помкомвзвода мой, все своими руками сделал — печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал где ставить. А Чуйков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров двенадцать, и пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей — кот наплакал.

— А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек этак пять.

Лисагор настораживается.

— Зачем?

— Слыхал, что майор говорил давеча насчет мин?

— Это пускай дивизионные делают. На что они и существуют. А наше дело КП, НП. Их сто, а нас восемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти, знаешь, когда будут...

— Ты сам говорил, что тысячу предлагали.

— Говорил, говорил... Чего только не наговоришь. На

то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их.

— Ладно. Не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек, хоть своих, хоть чужих, остальное меня не интересует.

Лисагор сопит, ковыряет финкой землю между ног.

— Вот всегда так — организуй, сделай, завтра к утру, сегодня к вечеру... А кем и как — никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей, хоть выжимай.

Я встаю.

— Ну, что ж, придется майору доложить — саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять некем.

Лисагор тоже встает.

— Вот упорный какой... Ладно, не ходи. Пришлю людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать.

— Траншеи — траншеями, а мины — минами. Завтра вечером пришлю людей.

— За чем? За минами?

— Ну, а то за чем.

Лисагор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля.

— Пошли на воздух, пока тихо.

Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, тащат, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни. Сохнет белье — рубашки какие-то, кальсоны. Сияют медные горы снарядов — маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами. Мешки. Опять ящики. Исковерканная пушка без ствола. Распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны.

Левее — полузатонувшая баржа. Одни ребра торчат. Обшивка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами.

А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей. Копошатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Пере-

ждав несколько минут, опять сползаются, опять копошатся. Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Течение сильное, и ее сносит вправо. Быстро, быстро мелькают весла.

— Сейчас стрелять начнут,— говорит Лисагор и вынимает из кармана коробку из-под зубного порошка. Скручивает цигарку.

Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый, точно гейзер, фонтан воды.

— Вот чудаки, напрямик прут,— говорит Лисагор, аккуратно зализывая цигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся по ладони махорку.— Только вымотаются и немцам работу облегчат. Плыли б по течению, прицел пришлось бы все время менять.

— По течению плыть — к фрицам попадешь,— говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой.

Фонтанов становится все больше и больше. Лодка неистово машет веслами.

— Плохой минометчик,— авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом.— Вчера с третьего раза в щепки разнес.

— Вчера и лодка в пять раз больше была,— отвечает кто-то другой хриплым, медленным басом,— и грузу гора, еле двигалась.

Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах, и на несколько секунд прекращается махание весел. Гребцы пригнулись, должно быть.

— А это не наша? А? Не коробковская? Часа два назад поехали.

— Может и наша, разве разберешь. В ней тоже четыре весла.

— Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас.

— Сейчас пулемет начнет,— спокойно говорит Лисагор, затягиваясь цигаркой и пуская кольца.— Как пить дать застрочит.

И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков.

Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами.

— Вот сволочи...— вырывается у кого-то за моей спиной,— доконают-таки...

На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило.

Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет.

— Метров пятьдесят осталось, а там уже не видно с Мамаева будет.

— Ну, нажимай, нажимай, хлопцы!

Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают.

Кто-то на самом берегу орет во все горло:

— Давай, давай, давай!..

И машет пилоткой над головой.

И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь.

Лисагор швыряет окурок.

— Вот так вот и доставляют нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой — давай, давай патроны...

На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, 62-я — два катера с баржами. За ночь успевают максимум по шесть ходок сделать, от силы — семь, а что это для восьми или десяти дивизий, сидящих на этом берегу,— капля в море. Приходится собственными средствами доставлять.

— В нашем полку целая флотилия есть,— говорит Лисагор,— пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старье. Текут. И осколками сечет. Понтон совсем как решето. Трое моих все время сидят, конопатят,— он искоса поглядывает на меня.— А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх! И надоело же все это... Пойдем, что ли, ко мне...

Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лисагорову землянку.

— Видишь, как живем. Сапожник — без сапог. Сам рыл.

Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и прикнопленную к стенке фотографию полной девицы в берете.

Откуда-то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки.

— Что ж, чокнемся по случаю знакомства,— подмигивает Лисагор.

Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лисагор прямо из горлышка хлещет.

— А мы на передовой только один раз водку получали,— говорю я.

Лисагор ухмыляется и ладонью трет небритый подбородок.

— До передовой полтора километра, у меня склад под боком. Да и бойцов у меня человек пять непьющих. Вообще рассчитывайся ты скорей со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимаю. Мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса отходит. Землянки только хорошие любит — есть такой грех. Чуть ли не ковры ему клади. А так — жить можно. Еще будешь?

Он достает еще одну четвертушку.

— Вот закончу эти два туннеля и собственный начну делать. Куда это годится. Люди прямо на берегу спят, а через месяц — зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь...

Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири.

— Правильные?

— Правильные. Да ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой.— Он похлопывает меня по колену. — Ты не обижаешься, что я с тобой на «ты»? Фронтовая привычка. Я даже с Абросимовым на «ты», а он капитан. Между прочим,— Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо,— опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипяток. Совсем голову теряет. Бурлит и сплеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя.

Откинувшись назад, он вытягивает ноги. Хрустит пальцами. По очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки. Смеется. Два передних зуба у него выщерблены.

— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Халхин-Гол, Финляндия... Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи

скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть... Все, что хочешь, есть.

Я перебиваю его:

— Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе?

— У меня? Восемнадцать, я девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник — в Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик... загляденье. И часовщик есть. Вот тот, с усами, сержант. И краснодеревщик.

— А с минным делом как они?

— И с минным, конечно, как ты думаешь! Но вообще это не наше дело. НП, КП — наше, а мины хай батальон ставит. А взвод — дай бог. Не жалуюсь. Поработаешь, увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь. Честное слово...

Я встаю.

— Людей твоих, значит, завтра жду.

Лисагор тоже встает, слегка покачиваясь.

— Ну, и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля. Свои только подрываться будут. Ну, да ладно уж, пришлю.

— Неплохо было бы, если бы и сам заглянул.

— Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки... Мины вот еще сегодня получать надо. Я помкомвзвода пошлю, Гаркушу — мировой парень. С закрытыми глазами мины тебе натычет.

— Мне-то не надо, а вот первый и третий батальоны совсем без саперов...

Придерживаясь рукой за столик, Лисагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осоловевшими глазами.

— Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант, головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое — приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону — сапер минируй! В наступление — сапер разминируй! В разведку — сапер вперед, мины ищи! А ну их к черту...

— Как знаешь. Ты пока инженер. Сам решай, как лучше. Будь здоров.

— Бувай... Возьми на дорогу пару витаминчиков.

Он сует мне в карман телогрейки два холодных шершавых, ослепительно ярких апельсина.

— Жду, значит, на днях.

И смеется мелким рассыпчатым смехом.

4

Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая — весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом, он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем, патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмидесяти двух нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго — раза три только за всю ночь стреляют.

Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она извивается вдоль подножья кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага. Окопов, траншей — никаких. Уступающие нам место бойцы 1-го батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все-таки есть, правда без малейших признаков соединительных ходов.

Да, это не «Метиз». Там с одного конца до другого почти не согнувшись пройти можно.

Участок сам по себе не велик для нормального батальона, каких-нибудь шестьсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть. И насыпь эта проклятая разрезает участок на две неравные части — правый фланг на кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по восемнадцать человек, фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляй ими всеми без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную, отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами.

Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы.

Долговязый лейтенант, с маленькой, торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой, встречает меня в штыки.

— Не пущу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.

Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии.

— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и все... Ни с места, пока не скажу.

Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюльпаны».

Харламов, адъютант старший, близорукий, потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает, роясь под ногами.

— Должно быть, там забыл, на старом КП,— бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам.

Удивительная черта у этого человека —всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего.

Часам к пяти приходят командиры рот.

— Ну как? — спрашиваю.

Карнаухов, командир четвертой роты вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами.

— Растыкал пока. Пулеметы еще ничего, а бойцы... Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься.

У Карнаухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит, немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирает. А в общем, мне он нравится.

Пришел он к нам дней десять тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую, низкую дверь.

Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро, кружку, вытер губы, улыбнулся.

— Весь ваш запас, должно быть, выдул.

И спросил, где его рота находится.

— Да вы посидите, очухайтесь сперва.

Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший, с красной полоской от фуражки лоб.

— Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку, сами знаете, как...

Харламов дал ему закурить. Он скрутил цигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить.

Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присев в углу на собственный мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окурок, и, так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь.

— Ну? Кто меня поведет?

Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемой расположения огневых средств противника.

На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на положенной на колени тетрадке.

— Письмо на родину, что ли?

— Нет. Так... Чепуха...— смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман.

«Должно быть, стихи»,— подумал я и больше не спрашивал.

В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит.

Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка,

рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин.

Фарбер, комроты пять, сидит на кончике ящика из-под патронов — усталый, как всегда рассеянно безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились.

Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый, правое плечо выше левого, болезненно бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты, сам он никогда не говорил.

Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся, я даже не знаю, какие у него зубы.

Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то, на «Метизе» еще, я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой до колен солдатской шинели спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули цвякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.

— Вы что здесь делаете, Фарбер?

Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне.

— Так просто... Ничего...

— Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают.

— Пожалуй...— спокойно согласился он и присел на корточки.

Трудно его назвать неаккуратным, он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, по-видимому, привычка или воспитание, внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.

Я сказал ему как-то:

— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.

Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня.

— Для большего авторитета, что ли?

— Просто положено в армии носить знаки различия.

Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.

— Плохой у вас связной, Фарбер. С кубиками определенно не справился.

— У меня нет связного. Я сам пришивал.

— А почему нет связного?

— В роте восемнадцать человек, а не сто пятьдесят.

— Ну вот, один пускай и будет по совместительству вашим связным.

— Излишняя роскошь, пожалуй.

— Не излишняя и не роскошь. Вы — командир роты.

Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.

Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров — выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь» и уйдет.

Сейчас он сидит, безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками, барабанит пальцами по столу.

— Помните, Фарбер, — говорю я ему,— участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.

Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно.

На дворе, сквозь щели видно, совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена и приемо-сдаточные документы посылаю со связным.

Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.

5

Утром мы все ожидаем атаки, немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий день оказывается настолько тихим, что даже обед удается притащить с берега днем.

После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха. Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда,— «рама». Вереницы «певунов» над «Красным Октябрем»...

Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает их на примусе, потом скребет мне спину рогожей. Вода с меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.

— Я вам сейчас немецкое белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.

Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Карнаухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет подбородок.

— Ну, как жизнь?

Карнаухов улыбается сквозь пену, встает.

— Так и до конца войны жить можно... Забастовал что-то фриц.

Я присаживаюсь рядом.

Кругом одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся еще кое-где балки и трубы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город, а сейчас вот что осталось.

Я сижу на столбе. По-видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись — «2 Косой пер., № 24. Дом принадлежит Агарковой И. Н.». На куске стены, неизвестно почему сохранившейся, вывеска: «Мужский и дамский портной Авербух. Прием заказов». Розовощекий субъект в глаженых брюках и котелке сосредоточенно-равнодушно смотрит с высоты на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев, куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят.

— А у вас тут спокойно,— говорю я.

— Это сейчас только. А вообще не очень. Я побриться только выскочил, в норе повернуться негде, весь изрежешься.

Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, сплющенная из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще кого-то — молодого, кудрявого, с открытым симпатичным лицом?

— Это кто?

Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится.

— Джек Лондон.

— Джек Лондон?

Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел.

— Почему вдруг Джек Лондон?

— Да так... Уважаю его... Вот и... Молока хотите?

— Молока? Здесь? Откуда?

— Сгущенного... Американского. Ребята достали.

Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно-сладкого, похожего на липовый мед молока.

— А все-таки откуда у вас этот портрет?

— Откуда? — смеется Карнаухов.— Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А «Мартина Идена» не успел. Ну, и... взял с собой на время.

— Вы любите Джека Лондона?

— Да. Я его несколько раз перечитывал.

— Я тоже люблю.

— А его все любят. Его нельзя не любить.

— Почему?

— Настоящий он какой-то... Его даже Ленин любил. Крупская ему читала.

— Дадите мне потом почитать?

— Ладно.

— А кого вы еще любите из писателей?

Он опять смущается.

— Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был, не знаю, откуда она его взяла, знаете, в коричневых

обложках, приложение. И еще какая-то чепуха — Мельников-Печерский и еще кто-то, не помню уже, иностранный.

— Ну, это в школе. А потом?

— Потом? Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока.

— Знаю.

— Я пацаном когда был, в Америку совсем уже бежать собрался, золото в Клондайке искать. Стащил двустволку у отца, сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал.

— Ну?

Карнаухов улыбается, разглядывая ногти.

— Как видите. За шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати, сами понимаете.

И он опять смеется.

Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий, и мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским, Давыдовой и дуэтом из «Запорожца за Дунаем». Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку.

— Ну, вот и все, что у меня есть,— почесывая затылок, говорит Карнаухов.— Разве что передовую вам еще показать... Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин.

Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира. Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка.

Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка, Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завились локонами. Это придает пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид. Рядом разбитый в щепки передок.

На противоположной стороне оврага — немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать.

— А наших не видно,— шепчет Карнаухов,— склон мешает. Метров семьдесят от противника по прямой. Видите, сволочи — даже днем копают.

В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата.

— Эх, снарядов нет. Показал бы я им, как рыть у нас под

носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них столько боеприпасов?

Мы лежим долго, наблюдая за немцами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, как раз против нас. Еще один прилепился повыше, в овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас.

Да... Не такой представлял я себе до войны передовую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут? Под самым носом нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горючего, насквозь изрешеченной пулями.

Была у меня когда-то книга — «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма.

Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем.

Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет, а вот там, за насыпью, у Фарбера...

Карнаухов лежит, насупив черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазое добродушное лицо его, брови.

— А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми. Вы посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста — нам в спину. А сверху оврага — вдоль всей передовой...

И, точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета.

— Ох, и насолили бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с восемнадцатью человеками.

Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы б и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки.

Но как это сделать?

6

Вечером я отправляю всех не занятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно мины подвезти почти к самой насыпи. Рискуя, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно.

Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы — четыре бойца и сержант, тот самый, с усами — Гаркуша.

Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый.

— Целый день кайлили в туннели, а утром придем, опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь.

Гаркуша протягивает руку, жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью.

Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно, глядя немигающими глазами в одну точку.

Когда из четвертой роты сообщают, что уже штук сто мин перетащено, Гаркуша встает. Стряхивает с колен шелуху.

— Ну, что ж? Пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?

Цепляясь руками за кустарник и колючую, сухую траву, мы спускаемся к самой передовой. Окопы отдельными щелями по два-три метра тянутся как раз посредине ската.

Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты.

— Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони...

Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шепотом.

Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Сендецкий — «Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись».

Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить.

Бойцы, кряхтя и матерясь вполголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели...

— Начальнички называется...

Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы — доброй половины недосчитался бы...

Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и твердая, начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные.

Угодили в грязь. По-видимому, ручей — дождей давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую, холодную жижу. Уголком глаза из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой.

— Ну, где будем?

Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно. Даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание.

— Как вспыхнет ракета, смотри налево...— От напряжения голос у меня слегка дрожит.— Увидишь бочку железную. Начнешь от нее... И вправо метров на пятьдесят... В три ряда... В шахматном... Как говорили.

Слова вылезают с трудом, и каждое из них приходится чуть ли не силой выталкивать.

Гаркуша ничего не отвечает. Отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание.

— Товарищ лейтенант...

— Что?

— Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда...

Опять ракета. Гаркуша наваливается прямо на меня. Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я подымаю голову и говорю:

— Хорошо.

За минное поле я уже спокоен.

Вытираю рукавом лицо.

Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в тридцати шагах немцы, а свои где-то там, наверху... И каждой мине надо выкопать ямку, вложить МУВ [1] — трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсюлем,— проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся, и не шевелись при каждой ракете.

Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков.

За час они, по-моему, управятся.

А мне сейчас же на свежую память за формуляры и отчетные карточки на минные поля браться надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах, да еще схему с азимутами и привязками, и бланков вдобавок нет — все сам, от руки.

Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Все руки об кустарник колючий какой-то, в шипах, исколол.

Бойцы молча копают. Слышно только, как лопатой о землю ударяют. Кто-то, совсем рядом со мной — в темноте ничего не видно — хрипло, вполголоса, точно упрямую лошадь, ругает твердую, как камень, землю.

— Хоть бы пару кирок на батальон дали. А то лопаты называется. Масло ими резать.

Кирки... Кирки... Где же их достать? Чего бы только я не дал за два десятка кирок! Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масла искали.

Так и за месяц не окопаемся.

В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая, выползает откуда-то со стороны Волги. Заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо и сто мин...

А луна ползет, ползет, становится желтой, затем белой. На все ей плевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня подымается, точно спешит куда-то или с выходом опоздала. И, как назло, немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее, светлее. Последние остатки тени

---

[1] МУВ — тип взрывателя. *(Прим. автора.)*

медленно, точно нехотя, отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь ко дну.

Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский срывающийся голос. Связной Карнаухова, кажется.

— Лейтенанта, комбата, не видали?

— Це якого? Що з биноклем ходить? — отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно из щели.

— Да нет. Не с биноклем. Комбата. Командира батальона. В пилотке синей.

— А-а. В пілотці синій... Ну, так би і сказав, що в пілотці. А то — комбат... Хіба всіх іх за день начальників запамьятаешь...

— Ну так где он?

— А я не бачив,— добродушно отвечает голос.— Не було його, ей-богу не бачив.

— Фу ты, дура какая.

— Може, Фесенко бачив... Фесенко, а Фесенко...

Я направляюсь в сторону разговора. Фесенко из другой щели так же добродушно и неторопливо отвечает, что «якийсь тут був з начальників, на командира роти ще й кричав, що не так копаемо, але куди він подавсь —біс його знае...»

— Кто меня ищет?

— Это вы, товарищ лейтенант? — вытягивается передо мной маленькая, тоненькая фигурка.

— Я... И не вытягивайся, ложись.

Садится на корточки.

— Ну, в чем дело?

— С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно.

— Меня? Срочно? Кто звонил?

— А не знаю... Полковник, что ли, какой-то.

Какой полковник, откуда он взялся? Ничего не понимаю.

— И срочно, сказали, в три минуты чтобы...

Не доходя карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит сломя голову. Запыхался.

— Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли... С орденом... И еще какие-то с ним... Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там. А они ругаются...

Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Адъютант старший называется,— начальник штаба... На кухне ему, а не в штабе работать.

Немцы вдруг подымают стрельбу, и мы добрых пятнадцать минут лежим, уткнувшись в землю носами.

Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными, напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом — наш майор. Между колен — палочка. Еще двое каких-то.

Харламов — навытяжку, застегнутый и подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами.

Прикладываю руку к козырьку. Докладываю — батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза не мигая смотрят на меня с худого лица. Сухие тонкие пальцы слегка постукивают по столу.

Все молчат.

Я опускаю руку.

Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной.

Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются, и бескровные, в ниточку, губы как будто улыбаются.

— Вы что? Дрались с кем-нибудь? А?

Молчу.

— Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.

Кто-то подает толстый, облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.

— Ну, ладно,— смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой.— Все случается... Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло. Десять суток только получил — к пустой башке руку поднес.

Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками.

— Ну, что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки? Если на передовой то же самое, что в бумагах творится,— не завидую тебе.

— Мало сделано, товарищ полковник.

— Мало? Почему? — глаза не мигают.

— Людей жидковато, и с инструментом плохо.

— Сколько у тебя людей?

— Активных тридцать шесть.

— А бездельников, связных и тому подобное?

— Всего около семидесяти.

— А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать — двадцать человек, и ничего — воюют.

— Я тоже воюю, товарищ полковник.

— Он «Метиз» держал, товарищ полковник,— вставляет майор.— Прошлой ночью мы его передвинули вправо.

— А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на «Метизе» сидит, и немцы его не с «Метиза» выгонять будут...— и опять ко мне: — Окопы есть?

— Копают, товарищ полковник.

— А ну, покажи.

Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы.

Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему.

— А ты не учи. Сам знаю.

Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподымается.

— Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать. Пошли, комбат.

Мы — я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом — еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь.

У карнауховского подвала я останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается:

— Чего стал?

— КП ротное здесь.

— Ну и пускай здесь... Где окопы?

— Дальше. Вот за теми трубами.

— Веди!

Окопы сейчас хорошо видны — и наши и немецкие. Луна светит вовсю.

— Ложись.

Ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает.

— А где мины ставишь?

— Вот там, левее, в овраге.
— Прекрати. Людей назад.
Я ничего не понимаю.
— Ты слышал, что я сказал? Назад людей...
Посылаю Валегу вниз. Пускай отметят колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно, на брюхе, сползает вниз.
Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не подымает. Покашливает.
— Видишь его пулеметы? На сопке.
— Вижу.
— Нравятся они тебе?
— Нет.
— И мне тоже.
Пауза. Не понимаю, к чему он клонит.
— Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
— Так вот... Завтра чтоб ты был там.
— Где там?
— Там, где эти пулеметы. Ясно?
— Ясно,— отвечаю, но мне совершенно неясно, как я могу там оказаться.
Полковник легко, по-мальчишески, вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли.
— Пошли.
Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу. «Нашу марку», по-моему, перелистывает лежащего на столе «Мартина Идена». Заглядывает в конец. Недовольно морщит брови.
— Дурак. Ей-богу, дурак.
И подняв глаза на меня:
— Твоя?
— Командира четвертой роты.
— Прочел?
— Времени нет, товарищ полковник.

— Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?

Бородин смущенно улыбается мясистыми, тяжелыми губами.

— Не помню... Давно читал, товарищ полковник.

— Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости.

Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.

— Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего ребята,— слегка поворачивает голову в сторону майора.

— Боевые, товарищ полковник.

— Ну, так вот. Пустите разведку, как только стемнеет. Затем... Луна когда встает?

— В начале первого.

— Хорошо. Часов в пол-одиннадцатого пустим «кукурузников». Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно?

— Понятно.— Тон у меня не очень уверенный.

— Никаких «ура». Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Матросы есть еще?

— Есть. Человек десять.

— Ну, тогда возьмешь.

И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются.

Я совсем не могу понять, как я с тридцатью шестью, нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью человеками смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела, надо и закрепить.

Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем...

— Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин,— всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь.

Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник постукивает

костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы, непомерно большие на тонкой, сухой руке. На них четверть третьего... Встает резким, коротким движением.

— Ну, комбат...— и протягивает руку.— Керженцев, кажется, твоя фамилия?

— Керженцев.

Рука у него горячая и сухая.

В дверях он поворачивается.

— А этого... как его... что утопился под конец... Мартина Идена...никому не давай... Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.

Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу.

— Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын...— и сам улыбается не совсем удачному своему выражению.— Зайдешь утром ко мне, помозгуем.

* * *

Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь — тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дышит.

— Бояджиева ранило,— грузно опускается на койку.— Челюсть оторвало.

Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Гимнастерка в крови.

— Назад возвращались... Увидел... Из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот — челюсть.

Раненый мычит. Мотает головой. У ног его уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А внизу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...

— Лучший боец был, — устало говорит Гаркуша. Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу.—Пятьдесят штук сегодня поставил. И слова не сказал...

И немного помолчав:

— Зря, значит, всё ставили?

Я ничего не отвечаю.

Раненого уводят.

Саперы, выкурив по папиросе, тоже уходят.

Я долго не могу заснуть.

8

С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, дожно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял: стоит передо мной, моргает черными армянского типа глазами, разводит руками: «Положил в ящик, а теперь нету...» И тухлый пшенный суп надоел — каждый день, утром и вечером. И табак сырой, не тянется. И газет уже три дня московских нет. И людей с берега всего восемь калек дали.

Все злит.

У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему — перекрыть землянки рельсами, на «Метизе» их целый штабель лежит, а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него и, когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание.

Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны. Просто чтоб не болтался перед глазами.

Валюсь на койку. Чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу.

— А ну, давай сюда! Нечего чтением заниматься.

Беру у него книгу. «Севастопольская страда», III том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю наудачу.

«...Убыль в полках была велика, пополнения же если и были, то ничтожны, так что и самые эти названия — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение.

В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках одиннадцатой дивизии: Камчатском, Охотском, Селингинском, Якутском, так же как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком,

Казанском,— не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом...»

Полторы тысячи. Тысяча. А у нас? Если у меня в батальоне восемьдесят человек, а в полку три батальона — двести сорок. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек сто. Всего триста пятьдесят. Ну, четыреста. Ну, пятьсот. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест «Красный Октябрь» долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит — через три дня будут, где-то разгружают их... Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо. А пять дней этих жди и моли бога, чтоб немцы паиньками сидели.

Перелистываю дальше.

«Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города, с бастиона... В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали...»

Скрытая за буфетом кухня. Дюжина столиков для посетителей...

Я откладываю книгу в сторону. Натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть.

Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики,— Валега уже где-то достал,— маленькие, синенькие, с самодельными стрелками из консервной банки.

Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел... я даже не помню, когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя нет, то не свиная была, а так просто поджаренное мясо.

Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа.

В половине одиннадцатого прилетит «кукурузник». В одиннадцать я должен начать атаку. В начале первого

появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься в овраг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если «кукурузник» опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал «кукурузники», а не «кукурузник». Вот дурак я, не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбится, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же, после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтоб узнал точно у комдива.

Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза, у комдива. В них трудно долго смотреть.

Говорят, летом, где-то под Касторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах.

Смелый, дьявол!

А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это — показное, пусть молодежь учится? Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты... Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Тарле я вычитал.

И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют. А другие — нет. Максимов, помню, говорил как-то: «Людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди».

Вот таким именно и сам Максимов был. Был... Сейчас его, вероятно, уже в живых нет. С ним в самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледнеет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово.

Даже во время бомбежек,— а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово,— он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет.

Где Игорь? Ширяев? Седых? Может, тоже уже в живых нет...

Жили, учились, о чем-то мечтали — тр-рах! — все полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны.

Парфенон... как сейчас помню — 454—438 гг. до н. э. Замкнутая колоннада — периптер, 8 колонн спереди, 17 по бокам. А у Тезейона — 6 и 13... Дорический, ионический, коринфский стиль. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее.

Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонна из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. А атаблемент — архитрав, фриз, карниз. Или, наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акро... Акро... тьфу ты пропасть, забыл-таки... Да... Акротеры.

А кто собор св. Петра строил в Риме? Первый — Браманте. Потом, кажется, Сангалло или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колоннаду? Бернини, что ли.

Что за чепуха в голову лезет. Кому это нужно. Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба — и нету купола...

Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово.

А странно... Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет.

Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока, в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой. Чтоб меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал...

Кто-то тянет за шинель.

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... Из политотдела пришли, вас спрашивают.

Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках, с набитыми бумагами полевыми сумками. Поверяющие, должно быть, или представители штаба к ночной атаке.

Надо вставать.

Ходики показывают два часа. Впереди еще девять.

9

Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки — все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами.

Чумак козыряет — прибыли в ваше распоряжение. Глаза блестят из-под челки. С тех пор, со дня нашей стычки, мы не встречались — его отозвали на берег.

Разговор у нас строго официальный — задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает, и говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще больше нам не о чем с ним говорить. Он нисколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его — их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы,— стоят в стороне, поглядывают на нас, на губах окурки.

— Маскхалаты возьмете?

— Нет.

— Почему? У меня как раз четыре есть.

— Не надо.

— Водки дать?

— Мы свою пьем. Чужой не любим.

— Ну, как знаете.

— Можете за наше здоровье выпить.

— Спасибо.

— Не стоит.

И они уходят к Карнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет.

В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один из штадива. Начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш.

— Вы продумали ход операции? — спрашивает он, подымая бесцветные глаза. У него длинные, выдающиеся вперед зубы, налезающие на нижнюю губу.

— Да, продумал.

— Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?

— Знаю.

— А как у вас с флангами?

— С какими флангами?

— Когда вы выдвинитесь вперед, чем вы прикроете фланги?

— Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей. Мы идем на риск.

— Это плохо.

— Конечно, плохо.

Он записывает что-то в блокнот.

— А какими ресурсами вы располагаете?

— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек.

— Четырнадцать?

— Да. Четырнадцать. А четырнадцать на месте. Всего двадцать восемь.

— Я бы на вашем месте не так сделал...

Он заглядывает в свой блокнот.

Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь или всегда так торчат.

Я медленно вынимаю из кармана портсигар.

— Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится, а пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.

Он поджимает губы, насколько зубы позволяют ему это. Политотдельщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они, славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом.

Больше никто ничего не говорит.

Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан переключается на Карнаухова. Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает — чем вооружены бойцы, и сколько у них гранат, и по скольку патронов у каждого. Адское терпение у этого человека. А капитан все записывает.

Сейчас я, кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а за ходом боя могут и оттуда следить.

Часы показывают четверть десятого. Я начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже вернуться. Пришедший с передовой боец говорит, что они уже давно уползли и

сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтобы их поймали или заметили.

Я выхожу на двор.

Ночь темная-темная. Где-то далеко, за «Красным Октябрем», что-то горит. Чернеют тонкие, точно тушью прорисованные, силуэты исковерканных ферм. На том берегу одиноко ухает пушка — выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит, точно прислушивается. Постреливают пулеметы. Взлетают ракеты. Сегодня почему-то желтые. Белые, вероятно, кончились у немцев. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим, днем его хорошо видно отсюда. Все время тонкими струйками из пулевых пробоин в цистерне сочится керосин. Бойцы бегают туда по ночам наполнять лампы.

По старой, с детства еще, привычке ищу в небе знакомые созвездия. Орион — четыре яркие звезды и поясок из трех поменьше. И еще одна — совсем маленькая, почти незаметная. Какая-то из них называется Бетельгейзе, не помню уже какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится.

Кто-то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю.

— О чем задумался, комбат?

С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова.

— Да так... Ни о чем. На звезды смотрю.

Он ничего не отвечает. Мы стоим и смотрим, как мигают звезды. Выползают откуда-то затерянные обычно в подвалах сознания мысли о бесконечности, космосе, о каких-то мирах, существовавших и погибших, но до сих пор подмигивающих нам из черного, беспредельного пространства. Звезды гаснут, зажигаются. А мы ничего не знаем. И никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой тоже через миллионы лет узнают.

— А в Сибири уже снег,— говорит Карнаухов.

— Должно быть,— отвечаю я.

— И морозы.

— И молоко льдинами продают. Кусками. Правда?

— А во Владивостоке еще купаются.

— Там, говорят, море холодное.

— Холодное. Но все-таки купаются.

Где-то далеко-далеко, за Волгой, еле уловимо трещит «кукурузник». Не наш ли? А разведчиков все еще нет.

Прислушиваемся к приближающемуся звуку. Он идет где-то правее. Приближается, потом удаляется. Не наш. Глухие разрывы далеко на Тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы. Расширяются, суживаются, потухают, опять вспыхивают.

И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно-желто-зеленые цепочки немецких зениток, на медленно гаснущие в овраге ракеты. И так уж привыкли мы к этому зрелищу, что, прекратись оно вдруг, нам стало бы как-то не по себе, чего-то не хватало бы.

— Ну, как, возьмем сопку, комбат? — совсем тихо спрашивает Карнаухов.

— Возьмем,— отвечаю я.

— И по-моему, возьмем.— И он слегка сжимает мне плечо рукой.

— Вас как зовут? — спрашиваю я.

— Николаем.

— А меня Юрием.

— Юрий. У меня брат Юрий — моряк.

— Жив?

— Не знаю. В Севастополе был. На подводной лодке.

— Вероятно, жив,— почему-то говорю я.

— Вероятно,— несколько помедлив, отвечает Карнаухов, и больше мы уже не говорим.

Высоко в небе срывается звезда. Душа в другой мир ушла, говорили в старину. Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политотдельщики, сидя на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стенке и свесив набок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас, он подымает голову.

— Без четверти десять.

— Без четверти десять...

— А разведчиков нет?

— Нет.

— Это плохо.

— Возможно.

Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает.

— Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.

Глаза у капитана становятся круглыми, он откладывает газету.

— Почему?

— Потому...

— Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.

— Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.

— Я вам мешаю?

— Да. Мешаете.

— Чем же?

— Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.

Я чувствую, что начинаю говорить глупости.

— Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.

— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?

— Да. Намерен.

— И сопку со мной атаковать будете?

Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит:

— Ладно. В другом месте поговорим.

И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить. Политотдельщики смеются. Доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они понимающе смеются и, пожелав успеха, тоже уходят.

В подвале сразу становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть все время на корточках.

Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде» — «Место командира в бою». В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. Это, пожалуй, верно.

Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь

каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе,— без глаз, без ушей.

Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.

Опять звонят из штаба, вернулись ли разведчики. Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет: «Доложите обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики?» Семечки — это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчики — мины...

Голова Чумака появляется в щели, как раз когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные. Грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами. Сразу заполняют все помещение.

Я ничего не спрашиваю. Жду.

Чумак молча, вразвалку, подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.

— Закуривайте.

Всовывает в прозрачный из плексигласа мундштук сигарету с золотым обрезом.

— Можете начинать. Семафор открыт,— и кивнув своим разведчикам: — Шабашьте. До утра не трону.

Я спрашиваю:

— Мины есть?

— В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.

— Много?

— Не считал. Штук пять мы выкинули. С усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные.

В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины с тремя торчащими кверху проволочками. Саперы их называют усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударит в капсюль, капсюль воспламенит порох, порох — вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина.

— Так что левее пушки не идите. А правее — метров двести прощупали — ничего нет.

— А немцев много?

— Черт его знает... Как будто не очень... В блиндажах сидят. Патефон крутят. «Катюшу» нашу...

Чумак шарит что-то по карманам.

— Стихов не пишете?

Черный глаз с золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки.

— Нет. А что?

— Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные, в пузырьке.

— Нет. Не пишу.

— Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой, поэтический.

И, повертев в руках красивую, с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман.

— Немца там одного кокнули, в охранении сидел.

Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Валега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов сто выпиваю. Чумак иронически улыбается.

— Чтоб солдатам веселее было?

Я ничего не отвечаю. Ищу автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.

— Далеко?

— Нет. Не очень.

— Если на сопку, не рекомендую. Тут уютнее.

Бужу начальника связи. Он так и не ушел. Моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами.

— Покомандуй здесь вместо меня, а я пошел.

— Куда?

— Туда.

— Ага...

По глазам его вижу, что ничего не понимает.

— Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь.

Он встает и торопливо кулаками протирает глаза.

— Хорошо... Хорошо...

Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорит, что парень толковый. Старший лейтенант. Какие-то курсы при Академии кончил.

Валега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже похрамывает.

— Как же это так...— недоумевающе смотрит он на меня маленькими, недовольными глазками из-под круглого, выпуклого лба.

Я вставляю магазин в автомат.

— Может, покушаете на дорогу? Консервы есть. Тушенка. Вы ж и обедать-то не обедали как следует. Я открою.

Нет. Мне есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутый в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом.

10

«Кукурузник» опаздывает. Минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могут устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки на впалых небритых щеках.

Карнаухов на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Сендецкий — не очень умный, но смелый паренек. На «Метизе» он неплохо отражал немцев. Был даже ранен, легко, правда, но в санчасть не пошел.

Сосед мой перестает хрустеть.

— Слышите?

— Что?

— Не «кукурузник» ли?

Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят — не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины — обыкновенные минометные мины.

Звук приближается. Назойливый, какой-то домашний, совсем не военный... «Кукурузник», «русс-фанер»... В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Точно жук большущий гудит. Есть такие монотонные ночные жуки — гудят, гудят, и никак их не увидишь.

«Кукурузник» уже над самой головой. Делает круг, уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет, прожектором его не поймаешь, слишком низко.

Сейчас сбросит...

— Ну!

Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение.

Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять — десять покружится, чтобы дать нам возможность подползти.

«Кукурузник» делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил.

«Кукурузник» сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы.

Еще один круг... Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы.

«Кукурузник» опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине.

«Кукурузник» строчит из пулемета беглыми, короткими очередями, точно отплевываясь.

Пора...

Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.

Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: «Ну, тогда возьмешь».

Снимаю с шеи автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне — метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут.

«Кукурузник» все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо.

А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза... Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтоб противнику веселее было...

Переползаю дно оврага. Цепляюсь за кусты. Подымаюсь

по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки — кустарник сухой. Неосторожный все-таки народ.

Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда, большая, яркая, немигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее.

И вдруг — трах-тах-тах-тах... над самым ухом. Я вдавливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся?

Приподымаю голову. Ничего не разберешь... Что-то темнеет... Кругом тишина. Ни хруста, ни шороха. «Кукурузник» уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать.

Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота — саксофон, рояль и еще что-то, не пойму что.

Трах-тах-тах-тах...

Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.

Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое... Что-то вырастает перед тобой. Исчезает...

Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его неограниченна. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость — вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, все закрывающего, возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где перед, где зад.

Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... гашетка под пальцем, приклад... шаг назад, опять удар. Потом тишина.

Кто это? Свой... Где наши? Пошли. Стой!.. Наш, наш, чего орешь...

Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов?

— Карнаухов! Карнаухов!

— А они там — впереди.

— Где?

— Там, у пулемета.

Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.

11

Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.

— Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль.

— Утром найдешь. Никто не заберет.

Он смеется.

— Ну что, товарищ комбат? Взяли все-таки сопку?

— Взяли, Карнаухов. Взяли! — И я тоже смеюсь, и мне хочется обнять и расцеловать его.

На востоке желтеет. Через час будет совсем уже светло.

— Пошлите кого-нибудь на КП, пускай связь тянут.

— Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.

— Людей не проверяли?

— Проверял. Налицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый — вот здесь, по-моему, не плохо. Второй же...

— Второй — туда, правее. Видите? — говорю я.

— Может, сходим посмотрим?

— Сходим.

Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по всему видно, круговая. Самих немцев не видно и не слышно. Стреляют где-то правее и левее — на участке первого и

третьего батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два наталкиваемся на трупы убитых немцев. За «Красным Октябрем» все еще что-то горит.

— А где Сендецкий?

— Я здесь,— неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура.

— Мотай живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так, что ли, Карнаухов?

— Да, дальше никого уже нет.

— Понятно, Сендецкий? Давай! Одна нога здесь, другая — там.

Сендецкий исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.

— Комбат?

— Комбат. А что?

— Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.

Голос Чумака.

— Ты что здесь делаешь?

— То же, что и вы.

— А ты ж шабашить собирался.

— Мало ли что собирался...

Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него.

— Ну... Чего стал?

— Слушайте, комбат... Ведь вы же, оказывается...

— Что?

— Я думал вы поэт, стишки пишете... А выходит...

— Ну, ладно, веди.

Он ничего не отвечает. Мы идем дальше. Подымается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку, к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух.

Взяли все-таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон,

а сами за «Красный Октябрь» взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только сорокапятимиллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться — искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осилят, не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, до утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить.

Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь — и никуда больше.

Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?

12

Потом мы сидим в блиндаже. Глубокий, в четыре наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером — еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.

На столе лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.

Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в тонконогие с монограммами бокалы.

— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке... Спасибо ему.

Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух.

Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках.

— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.

— Какая рука?

Золотистые глаза смеются.

— Да вот эта, в которой папироса у вас.

Ничего не понимаю.

— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.

— Какое левое плечо?

— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову.— Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке.

— Постой... Постой... Когда же это?

— Когда? Да с полчасика тому назад. В окопе. За немца приняли. И как ахнули!.. Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему...

Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал — кого.

— За такой удар и часики не жалко,— говорит Чумак, роясь в кармане.— Хорошие. На камнях. Таван-Вач.

Мы оба смеемся.

В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы.

— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.

— Как так?

Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.

— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.

— По какому оврагу?

— По тому самому... где передовая у нас шла.

Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.

— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.

— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас...

Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях.

Неужели отрезали?

Связисты тянут сквозь дверь провод.

— Это точно, что немцы в овраге?

— Куда уж точнее,— отвечает белесый,— нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли.

— Может, то наши новую оборону занимали?

— Какое там наши. Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.

— А ну давай, соедини с батальоном.

Белесый навешивает на голову трубку.

— Юпитер... Юпитер... Алло... Юпитер...

По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу, что никто не отвечает.

— Юпитер... Юпитер... Это я — Марс...

Пауза.

— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь...

Лешка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет.

— Перерезали. Факт...— спокойно говорит белесый и вынимает из-за уха загодя, должно быть еще на месте скрученную цигарку.

Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы.

Потом появляется Чумак.

— Так и есть, комбат,— колечко.

— Угодили, значит?

— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.

— И много?

— Разве разберешь? Отовсюду стреляют.

— А где Карнаухов?

— Пулемет переставляет. Придет сейчас.

Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.

— Закуривайте. Трофейные.

Закуриваем.

— Да, Чумак, влопались. Что и говорить!

— Влопались,— смеется Чумак.— Но ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй, они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?

Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять нетронутых. И, кроме того, в каждой ячейке, в нишах лежат.

— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.

— А сколько людей всего у нас?

— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.

— Моих ребят еще трое,— вставляет Чумак,— да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.

— Двадцать шесть выходит,— говорю я.

Карнаухов подсчитывает в уме.

— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет, они в числе тех двенадцати.

Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспы-

хивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нам стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то — зажаты с двух сторон.

Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают; трудно определить точно, где теперь их передний край проходит.

Мы идем проверять огневые точки.

12

Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан, точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злится сейчас, должно быть. Или торжествует. Он, по-моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: «Говорил я, предупреждал... а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался...»

Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться — тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединяться с нами.

Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. От мин немецких отбоя не будет.

В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.

В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.

Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками.

Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.

Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет.

После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья — симоновских. Может, наши догадаются установить сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага.

Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко — осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат.

Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.

13

Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе.

Мы с Карнауховым чистим пистолеты.

Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура.

— Порядки, знаешь, какие там? — говорит Чумак.—

В Куйбышеве. Ворота на запор. Часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего — боевые. Только начальства боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут, но чтоб чего-нибудь — ни в какую... Нельзя — и все... Пока лежачим был — ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу — оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. «Нельзя, товарищ больной. Не разрешается. Отдыхать вам надо. Поправляться...» Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины все старые — «Александр Невский», «Пожарский», «Девушка с характером». И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Брррр...

Карнаухов улыбается уголком рта.

— Ты ближе к делу, о Мусе какой-то начал.

— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится — не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.

Тянется за другой сигаретой.

— Слабые, сволочи. Не накуришься...— и, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило — левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок — и все. Хорошо еще, ниже локтя разбило. А у тех, что выше, или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале «самолетами» называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда — на ведро сходить, и то событие. И Муси стесняюсь... А бабец — что надо! Косищи — во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку,— я еще не ходил,— яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках... Потом стали мы в окна вылазить... Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер — как ты. Культурный парень, с образованием, до войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним, в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом, пикировали.

А за углом дом был знакомый. Там переодевались — и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигали. А когда забили окно,— заведующая пропускником увидала,— наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали!.. Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку, и — как мартышка, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой, и то спикирует.

Карнаухов смеется.

— У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном — хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках.

— Что кино...— не поворачиваясь, перебивает его Чумак,— мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запикировали...

Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.

Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.

В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.

За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.

Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.

— Что — спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.

— Нет, просто так, полежу.

— Слушать надоело?

— Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.

И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру

в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.

— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.

— Хорошо.

— Лучше, чем здесь?

— Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.

— А по своим не скучал?

— По каким своим?

— По полку, ребятам.

— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.

— А говорил, в госпитале хорошо,— смеется Карнаухов,— жри и спи...

— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь — не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам.

Карнаухов собирает пистолет,— у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный «вальтер»,— впихивает его в кобуру.

— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?

— Три. А ты?

— Два.

— А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.

Карнаухов смеется.

— А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.

— Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых... Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.

Оба смеются, и Чумак и Карнаухов.

— Удивительная вот штука, товарищ лейтенант,— говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны,— когда сидишь в окопах, так кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП

батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное... Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками.

— А таких ты не видал,— перебивает Чумак; он вообще не может молча сидеть,— что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют — фронтовики, мол? У нас вот в госпитале был один...

Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери.

— Ты откуда это?

Карнаухов тоже смотрит на дверь.

Валега... Самый настоящий Валега — головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками. Стоит в дверях. В шинели, кажется моей, до самых пят. Мнется.

— Ты откуда взялся, Валега?

— Оттуда... От нас...

Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок...

— Тушенку принес, шинель...

— Ты с ума спятил?

— Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам.

— От кого?

— Харламов дали, начальник штаба.

— Это он тебя и послал?

— Вовсе не он. Я сам пришел... — Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба.— Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чего-то толковали, с вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали.

Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную вчетверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано:

«5.10.42.12.15 КП Ураган.

Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури,

что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.

Л-т Харламов (Харламов)».

Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно-барочным «Х» и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы порхающие вокруг нее.

Разрываю записку. Клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старательный даже парень, только больно уж...

Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие — Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.

— Шинель только мешала, не по росту. А так ничего. Там, левее чуть — разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант?

— Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.

— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак.

Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.

— Не стоит, Валега. И так слопаем.

И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушенка!

14

Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого... Пять... Тишина... Шесть, семь... Светает. Мы перестаем ждать.

Еще один день, значит.

Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых. Часам к трем из

шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах — немолодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.

— Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено.— Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.

Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть.

— Это столбняк,— сказал Карнаухов,— у нас в медсанбате умер один от этого.

Через два часа раненый умер.

Его фамилия Фесенко. Я узнаю это из красноармейской книжки. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат.

В наш блиндаж попадает мина — стодвадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.

Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет.

Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся

кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.

Последнюю цигарку, собранную из всех карманов,— наполовину махорка, наполовину хлебные крошки,— выкуриваем втроем — я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.

Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла: я наклонился, чтоб поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой...» — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить.

После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.

Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.

Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит...

Вечером мы подводим итог.

Людей — одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика — по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший — к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых.

Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно, у отечественных — от силы на полдня хватит.

Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться.

Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем так же

думать о воде. В термосе не больше двух литров,— пулеметный НЗ [1].

Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных, жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.

Раненые утихли. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой,— и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.

Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.

— Надо будет побаниться,— устало говорит он, почесываясь.— Соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.

— Пока война не кончится, все равно не избавишься,— успокаивает Карнаухов.— Белье не прожаривают. Постирают в Волге — и все. А что толку от такой стирки?

Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.

— Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог,— говорит он, не отрываясь от своей работы.

Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте.

Чумак натягивает на себя тельняшку. Встает.

— Эх, закурить бы...

— Да, неплохо бы. Хотя бы «Мотор» за тридцать пять копеек. Одну на троих.

— «Мотор»... Что «Мотор»? Мечтать так уж мечтать...

---

[1] НЗ — неприкосновенный запас. *(Прим. автора.)*

— Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?

— «Беломор» и «Труд». В Киеве такие были, тоже два рубля.

— И я «Беломор»... Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.

— Что вы после этого в папиросах понимаете,— говорит Чумак.— О «Беломоре» мечтают. «Казбек» — вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день. Было времечко.

Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову.

— Наденешь чарли — тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руку,— пошел по Примбулю.

— Ты кем до войны был?

— Я? Шофером, «зис» водил. Потом на «Червоной Украине» служил. По Примбулю в Севастополе хиба ж так гулял, в беленьких брючках и с лентами до пояса. Надраишь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький — «форма раз», только черноморская, белые брюки с клинушками, и па-ашел в город.

— Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб? А, Чумак?

Чумак останавливается. Как будто даже задумывается.

— О водке еще думал. О чем же еще. Денег — завались. Научным работником становиться не собирался...— Пауза.— А вот сейчас...

— Неужели простыл?..

Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова.

— Не то чтоб простыл... Но вот на войне...— Опять пауза.— Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот...— он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне,— таким вот субчикам. Но, в общем, не в этом дело.

Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.

— В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на «Червоной» служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы

попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним, как кошка с собакой, жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего — складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков...

В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку — все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.

— В общем, не любил я его. Да и он меня...

Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.

— Выбил я ему-таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело... Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцати от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. И, хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну... А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок.

Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Карнаухов, как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него, длинный и тонкий, черной струйкой лижет стекло.

— Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Települ Гаграх, в госпитале, узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью... В общем — нету Терентьева, что говорить...

Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами.

— Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну, как бы это сказать, ну, чтобы пить не скучно одному было. А сейчас... Вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу. Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью, в местечке где-то, всю целиком фашисты вырезали...

Он прерывает себя на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят сту-

пеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок.

— Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? — деликатно спрашивает он, не поднимая головы.

— Да. Что-то в этом роде,— отвечаю я.

Карнаухов улыбается.

— Рассказывал мне давеча. Из-за какого-то убитого. Так, что ли?

— Да. С немца началось.

— Не понравились вы ему тогда, говорит.

— Что ж делать, на всех не угодишь.

— А теперь как? Наладилось?

— Что наладилось?

— Помирились?

— А разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказаний не выполняют, а таких, как Чумак, задиристых.

— В этом ему не откажешь.

— Не только в этом.

— А мне казалось, не такие вам нравиться должны.

— Не такие? А какие же?

— Ну, как вам сказать... Не одного поля вы ягоды, так сказать.

— А может...

Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.

— А где бачок пустой? Из-под воды.

— Какой бачок?

— Ну термос. Не все ли равно. Он у входа стоял.

— А что — нет?

— Нет.

— Куда ж он делся?

— Вот я и спрашиваю.

— Я выходил, он у входа стоял,— говорит Карнаухов,— споткнулся еще.

— А теперь нет. Я все обшарил.

— Валега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка.

— А где Валега?

— Тут был. Недавно. Автомат чистил. А тебе зачем?

— Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.

— Что ж ты сообразишь? — не понимаю я.

— Чего-нибудь... Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит — журчит. Может, ключ какой.

— Какой там ключ. Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей метров двести, не больше.

— А почему не проверить?

— Проверяй, если охота.

Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.

— Ты где пропадал?

— Я не пропадал,— отвечает он, выковыривая грязь щепочкой из автомата.

— Бачок брал? Термос?

— Брал.

— Какого дьявола! Мы тут с ног сбились.

Валега смотрит на меня с укоризной.

— Вы же сами говорили, что воды нет.

— Ну?

— Вот я и пошел за ней.

— За водой?

— Ну да — за водой.

— На Волгу, что ли?

— Нет. До Волги не дошел.

— Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?

— Воды не принес. Вина принес.— И он опять углубляется в затыльник своего автомата.

Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую-то тропинку правее моста, в сторону третьего батальона.

— Отчего ж ты ничего не сказал?

— А вы б не пустили. Чего ж говорить.

Короче говоря, до третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую.

— Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие, битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помои выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И вполголоса что-то по-своему — хау, хау, хау... Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни

термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал. Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот, наш, оставил. Пустой... Ругаться будут.

И Валега улыбается чуть-чуть, уголком рта. Это с ним редко случается.

— Вино — дрянь, кислятина... Как раз для пулемета.

Мы выпиваем каждый по полстакану. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать.

Мне снится Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы — большие и маленькие, точно зонтики.

15

Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку.

До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает.

В семь прилетает «рама». Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом без всякой подготовки немцы переходят в атаку.

Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух — пулеметчики, на двух — Чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги.

Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо.

Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей.

Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас.

— Сволочи! — говорит Валега.

— Сволочи! — повторяю я.

Обстрел длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем.

Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку.

— Двоих левых накрыло, — кричит он.

Мы остаемся с тремя пулеметами.

Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку.

Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.

— Угробило тех двоих,— говорит он, вынимая затвор.— Одни тряпки остались.

Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке.

— Патронов хватит, комбат?

— Пока хватит.

— Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется...

— В него мина попала.

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет! — говорю я.

Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму.

Потом убивает старика сибиряка.

Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками...

Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает — срезает пулемет.

Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит. А может, то самолеты над головой? Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде.

Давай еще! Еще... Еще... Валега! Он тащит ящик. У него смешно дрыгает зад — вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий.

Давай!.. Давай!..

Потом какое-то лицо — красное, без пилотки, лоснящееся.

— Разрешите, товарищ лейтенант.

— Уйди...

— Да вы ж ранены...

— Уйди...

Лицо исчезает, вместо него что-то белое, или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое: расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее. Дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза. Ширяевские глаза. И чуб ширяевский. И лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется.

— Узнаешь, инженер?

И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот — шершавый и колючий.

Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега. И Харламов. И Ширяев. Настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев.

— Ну, узнаешь?

— Господи боже мой, конечно же!

— Ну, слава богу.

— Слава богу.

Мы трясем друг другу руки и смеемся и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются.

— Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены. Совсем растрясете.

Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается.

— Какое там раненый. Сорвало кожу, и все. Завтра заживет.

Я чувствую слабость. Голова кружится. Особенно при поворотах.

— Пить хочешь?

Я не успеваю ответить, в зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу.

— Откуда взялся, Ширяев?

— С луны свалился.

— Нет. Серьезно.

— Как — откуда? Получил назначение, и все. Комбатом в твой батальон. Недоволен?

Он ничуть не изменился. Даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь.

— А тебя малость того... подвело,— говорит он, и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица.— Не очень-то отдыхаете.

— Да, насчет отдыха слабовато... Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?

— Не все ли равно откуда. Взялись и все.

— А фрицы?

— Фрицы — фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили.

— А вас много?

— Как сказать. Два батальона. Твой и третий. Человек пятьдесят.

— Пятьдесят?

— Пятьдесят.

— Врешь!

Он опять смеется. И все окружающие смеются.

— Чего же врать. По-твоему, много?

— А по-твоему?

— Как сказать...

— Стой... А мост? Мост как?

— Сидят еще там человек пять,— вставляет Харламов,— но не долго уж им.

— Здорово. Просто здорово. А Чумак, Карнаухов?

— Живы, живы...

— Ну, слава богу. Дай-ка еще водицы.

Я выпиваю еще полторы кружки. Ширяев встает.

— Приводи себя в порядок, а я того, посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем — Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? — Он протягивает руку.— Да, Филатова помнишь? Пулеметчика. Пожилой такой, ворчун.

— Помню.

— Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе.

— Жаль старика.

— Жаль. Мировой старик был.

— Мировой.

Несколько секунд мы молчим.

— Ну, я пошел.

— Валяй. Вечером, значит.

И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь.

Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне.

* * *

Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП — в трубе под насыпью.

Рана у меня чепуховая — сорвало кожу на лбу и дорожку в волосах сделало. Я могу даже пить. Правда, не много. И мы пьем какой-то страшно вонючий не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Эта та самая, которую я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого.

— Разве можно выбрасывать. Прошлый раз выпивали, сами говорили: «Вот селедочки бы, Валега...»— и раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденной из харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры.

Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировки окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть к немцам не попали. Выкрутились. Перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом. Был легко ранен. Попал в Сталинград — в резерв фронта. Там около месяца проторчал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом.

Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева. Стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же — даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстегнутого ворота.

— О Максимове ничего не слыхал? — спрашиваю я.

— Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона. Но мало вероятно. Я всю эту сторону исколесил — ни разу не встретил.

— А из наших с кем встречался?

— Из наших? — Ширяев морщит нос.— Из наших... кое-кого из командиров рот. Начальника разведки — Гоглидзе. На машине проехал. Рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат. Парторга Быстрицкого... Да! — Он хлопает ладонью по столу.— Как же! Друга твоего, химика, как его?

— Игоря? Где? — Я даже приподымаюсь.

— На этой уже стороне. Дней пять тому назад.

— Врешь.

— Опять врешь. На «Красном Октябре» он. В тридцать девятой.

— В тридцать девятой?

— И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы, тому подобная хреновина.

— А ты что в тридцать девятой делал?

— Да ничего. Случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и двинул туда. А там, знаешь, что делается? За три шага ничего не видно. Дым, пыль,— черт те что... «Певуны» как раз налетели. Я — в щель. Даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь деревянную. Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю — Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил. Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал.

— Ну, живой, здоровый?

— Живой, здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю — и все. Пожалели мы, пожалели, а потом он и говорит, будто в сто восемьдесят четвертой ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии, знаешь, сколько. В штабе армии и попросился в сто восемьдесят четвертую. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку.

— Молодчина, ей-богу!

— Вот так-то оно и вышло...

— А Седых не видал?

— Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали.

— Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощанье мне подарил.

Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар.

— Хороший,— говорит Ширяев.

— Хороший. Сами делали. На Тракторном когда сидели. Там этого целлулоида, знаешь, сколько было?

— Здорово сделано. Неужели сами делали?

— Сами.

— А выцарапал на крышке кто?

— Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал.

— Здорово. У тебя только один?

— Один. Свой я подарил. А это от Седых — на память. Славный паренек был.

— Славный.

— Никак только поверить не мог, что земля вокруг солнца вертится, а не наоборот.

Ширяев еще наливает.

— Мне больше не надо,— говорю я,— у меня уже голова кружится.

Потом приходит Абросимов — начальник штаба полка. Бледный. Вид недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать,— полк опять собирались передислоцировать. Затем отменили.

Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона.

Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой, я с ними так и не попрощался.

Харламов протягивает руку.

— Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам,— и смотрит на меня добрыми глазами.

Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа, фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь, даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую.

— Уходите от нас, товарищ комбат?

— Ухожу.

Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь.

— Заходите, не забывайте.

— Обязательно, обязательно,— говорю я и, опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.

16

Три дня я бездельничаю. Ем, сплю, читаю. Больше ничего. Новый блиндаж Лисагора великолепен — чудо подземного искусства. Семиметровый туннель — прямо в откосе. В конце направо комната. Именно комната. Только окон нет. Все аккуратненько обшито досками: тоненькими, подогнанными, ножа не воткнешь. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком овальное, ампирное зеркало с толстощеким амуром. В углу примус, печка-колонка. Тюфяки, подушки, одеяла. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя.

— Как боги заживем,— говорит Лисагор.— Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров! И все глина. Твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго.

Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте если не половина, то, во всяком случае, четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой четвертушкой.

Утром Валега кормит меня макаронным супом, жирным и густым — ложку не провернешь, потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды из старых «Красноармейцев» и наслаждаюсь чтением московских газет.

На земном шаре спокойно.

В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ, Саламауа, Буа на Новой Гвинее и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн-Стэнли стали несколько более интенсивными.

В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска.

На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то — трудно понять с кем — воюют и даже пленных захватывают.

В Большом театре идет «Дубровский». В Малом —

«Фронт» Корнейчука. У Немировича-Данченко — «Прекрасная Елена»...

А здесь, на глубине четырнадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому. Неужели же есть еще более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых, повернешь вентиль, и вода потечет? Странно...

И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — эта вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семьдесят давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять... и так далее, в том же духе.

Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу.

По-прежнему летают на «Красный Октябрь» самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных «мессеров» обстреливает берег и «юнкерсы» для разнообразия сбрасывают бомбы не на «Красный Октябрь», а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками.

Примостившись на какой-то тянущейся вдоль берега, неизвестного для меня происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Курю сногсшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю... нет — пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами.

Подходит Гаркуша, усатый помкомвзвода. Я ему показываю часы, останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает, говорит, что дрянь — цилиндр, и тут же у моих ног, положив на колени дощечку, начинает чинить их. Движения у него поразительно точные,

хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ.

Профессии его довоенной я так и не могу уловить. Ему двадцать шесть лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в Эпроне, и даже акробатом в цирке побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья.

В разговоре он сдержан, но на вопросы отвечает охотно. От нечего делать я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполняет. От часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов.

Потом появляется Астафьев, помощник начальника штаба по оперативной части,— ПНШ-1, по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит на французский манер. По-видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то неуловимым напоминает он толстовского Ипполита Курагина. Так же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.

Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории.

— Вы понимаете, как это интересно, Жорж? — говорит он, изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль.— Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам, участникам этих событий, людям культурным и образованным. Пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу. Не правда ли?

Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами.

— И вы мне поможете, Жорж. Правда? Рассчитывать на Абросимова или других, ему подобных, не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует.

И он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя.

Как сказать, может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и «Жорж», и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом.

Над обрывом появляется вереница желтокрылых «юнкерсов». Скосив на них глаз, Астафьев делает грациозный жест рукой.

— Ну, я пошел... Формы совсем заели. По двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж,— и скрывается в своем убежище.

«Юнкерсы» выстраиваются в очередь и пикируют на «Красный Октябрь».

Высунув кончик языка, Гаркуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы.

На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, котлеты будут.

17

К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. Пятьсот противотанковых ЯМ-5 — здоровенные шестикилограммовые ящики из необструганных досок, и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с семидесятипятиграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков американской проволоки. Лопат — двести, кирок — тридцать. И те и другие дрянные. Особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки неотесанные.

Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит — на честность соседей трудно положиться.

Утром двадцати лопат и десяти кирок-мотыг мы недосчитываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения.

— Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант... Ей-богу... А так никуда...

— Оправиться или не оправиться, нас не касается,— говорит Лисагор, и голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать.— А чтобы к вечеру все было налицо...

Вечером, при проверке, лопат оказывается двести десять, кирок — тридцать пять. Тугиев сияет.

— Вот это воспитание! — весело говорит Лисагор и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата — та же винтовка и если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезывают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы.

Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру.

Он живет метрах в трехстах — четырехстах от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан. Немолодой уже — под пятьдесят. Очкастый. Вежливый. По всему видать — на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый, роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком — во-первых, во-вторых, в-третьих.

На столе в землянке груда книг: Ушакова «Фортификация», «Укрепление местности» Гербановского, наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски Военно-инженерной академии в цветных обложках и даже толстенький синий «Hütte».

Устиновские планы укрепления передовой феноменальны по масштабам, по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия.

Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобочками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно развертывает ее на столе.

— Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся,— количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы сказал даже первостепенную роль.

Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с нависшей над веками кожей глазами.

— Восемьдесят семь лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что собратья наши — саперы — и тот же Тотлебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом...

Он подробно, с целой кучей цифр, рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой.

— Как видите,— он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и апрошей в папку с надписью «Исторические примеры»,— работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше.

Он пишет на листочке бумаги цифру «1» и обводит ее кружком.

— Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к семи ноль-ноль доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах: *А* — вашими саперами, *В* — дивизионными саперами, *С* — армейскими, если будут, а я надеюсь, что будут, саперами, *D* — стрелковыми подразделениями. Кроме того...

Бумажка опять испещряется цифрами — римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратиках или совсем без оных.

Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутиями в суставах.

— Особенно прошу вас не забывать каждого четырнадцатого и двадцать девятого присылать формы — 1, 1-б, 13 и 14. И месячный отчет — к тридцатому. Даже лучше тоже к двадцать девятому. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно...

Ночью за банкой рыбных консервов Лисагор весело и громко хохочет.

— Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за три дня и прочесть-то не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и шестнадцатью саперами за три года не сделаешь. Ты не спрашивал — он не из Фрунзе? Не из Инженерной академии приехал?

18

Дни идут.

Стреляют пушки. Маленькие, короткостволые, полковые — прямо в лоб, в упор с передовой. Чуть побольше — дивизионные — с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие — с длинными, задранными из-под сетей хоботами,— с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые — двухсоттрехмиллиметровые. Их возят на тракторах: ствол — отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалованье начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь,— его все в полку так и называют,— говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка.

Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из «ишаков» по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы.

Гудят самолеты — немецкие днем, наши «кукурузники» — ночью. Правда, у немцев тоже появились «ночники», и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. «За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то, за это время разрушено то-то и то-то...»

На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера, из хворых, крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно — нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые «лодыри» — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир второго отделения Агнивцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость.

Лисагор по-прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание командира полка: то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо.

Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лопаты и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты.

После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым,— во втором батальоне я чаще всего бываю,— в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист.

Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Часов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка.

На языке сводок все это вместе взятое называется: «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова «ожесточенный» и «тяжелый» дней десять уже не попадаются в сводке, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера, и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова.

Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и с зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы — мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок — не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось.

Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательными «Сов. секретно» и «Только Керженцеву» наверху в правом углу, они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям — смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины.

Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно

курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым, звонким голосом:

— Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя.

С Валегой они дружны и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.

— Мой все пишут, все пишут,— сквозь дверь доносится голос связного.— Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.

— А мой нет, писать не любят,— басит Валега.— Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.

— Ну, уж не больше моего,— обижается связной.— Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной, я сам смотрел, пятьсот страниц. И все меленько, меленько, без очков и не разберешь.

— А на передовой твой бывает? — спрашивает вдруг Валега.

— Куда уж им. Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.

Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

Иногда приходит к нам Чумак, он живет рядом, в десяти шагах, приносит с собой карты, и мы дуемся в «очко». Иногда мы с Лисагором к нему ходим — слушать патефон.

Время от времени приезжает с того берега Лазарь, начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости — нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим, верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске.

Один раз в расположение нашего полка падает «мессершмитт». Кто его подбил — неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: «Метким ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона

сбит самолет противника». Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками гаркушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный, с металлическим ободком мундштук.

19

Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону:

— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи.

Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер.

— Помнишь,— говорит Ширяев,— как мы с тобой под Купянском тогда пили? В последнюю ночь... У меня в подвале. И картошечкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его. Под Кантемировкой. Неплохой парнишка был...—Он вертит кружку в руках.

— О чем ты думал тогда? А? Юрка? Когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?

— Да как тебе сказать...

— Можешь и не говорить. Знаю. Обидно было. Ужасно обидно. Правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил? Воевать, говорил, не хотите. Здоровые, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого.

Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали.

— А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже... Рассыпалось... Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже,— его батальон переправу там налаживал,— порядки стали

наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг — на «виллисе» майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на «виллисе» своем добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня: «Какого черта не пускаешь! Танки немецкие в трех километрах! А ты тут порядки наводишь!» Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят — значит плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног сшибли. И черт его знает, помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на «виллиса» и — хрясь! — раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все восемь штук всадил... А танков, оказывается, и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, провокаторы? А?

— Может, — отвечаю я.

Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается.

— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз.— Ей-богу...

— У кого? — не понимаю я.

— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «хейнкелями». И это после прорыва, такого прорыва!.. После июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет?

— Не знаю. Думаю, все-таки успевает.

— Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну, иногда там пистолетом пригрозишь... Да и всех наперечет знаешь,— и каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где

стоят, где отступают. «Нет, не завидую я ему. Нисколечко не завидую...» — Ширяев встает. — Сыграй-ка чего-нибудь, Карнаухов.

Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов.

— Что-нибудь такое... знаешь... чтоб за душу...

Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.

— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?

— Все спокойно, товарищ старший лейтенант,— нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лешка.— В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.

— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью — разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов.

Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни всё русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. И всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.

Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, детях, интегралах, бесконечно малых величинах? Или вообще ничего на свете его не интересует? Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает,— с таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбежкой.

Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподымается на одном локте.

— Фарбер... Ты и до войны таким был?

Фарбер подымает голову.

— Каким таким?

— Да вот таким, какой ты сейчас.

— А какой я сейчас?

— Да черт его знает какой... Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь... Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием.

Фарбер чуть-чуть улыбается.

— Я не совсем понимаю связь между вином, и женщинами, и высшим образованием.

— Дело не в связи.— Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги.— Карнаухов тихий, скромный парень — ты не слушай, Карнаухов,— а и то как загнет, так только держись.

— Да, в этой области я не силен,— отвечает Фарбер.

Ширяев смеется.

— Ты не подумай, что я хочу тебя испортить. Или ругаться научить. Упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться... А плавать ты умеешь?

— Плавать? Нет, не умею плавать.

— А на велосипеде?

— И на велосипеде не умею.

— Ну, а в морду давал кому-нибудь?

— Да что ты пристал к человеку,— вступается Карнаухов.— Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет.

— В морду давал,— спокойно говорит Фарбер и встает.

— Давал? Кому?

— Я пойду,— не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.

— Нет, кому ты давал?

— Неинтересно... Разрешите идти.

И уходит.

— Странный парень,— говорит Ширяев и встает.

Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках.

— Вчера я заходил к нему. С берега шел. Сидит и пишет. Письмо, должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал, мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть.

Ширяев еле заметно подмигивает мне.

— А может, то не письмо?

— А что же?

— Может, стихи.

Карнаухов краснеет.

— Ты чего краснеешь?

— Я не краснею,— и краснеет еще больше.

Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.

— Ну, а твои как?

— Что — мои?

— Стихи, конечно.

— Какие стихи?

— Думаешь, не знаем? В тетрадке которые. В клеенчатой. Как там у него, Керженцев, не помнишь?

Карнаухов приперт к стенке.

— Да это так... От нечего делать.

— От нечего делать... Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать.

Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся— он направо, я налево.

— А стихи все-таки прочитаешь,— говорю я ему, прощаясь.

— Когда-нибудь...— неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.

20

Ночь темная. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливают на бугре.

Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке.

Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.

— Кой черт курит?

— А отсюда все равно не видно,— отвечает из темноты глуховатый голос.

Голос Фарбера.

— Вы что здесь делаете?

— Ничего... Воздухом дышу.

Я подхожу ближе.

— Воздухом дышите?

— Воздухом дышу.

Я зачем-то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Я не знаю, о чем можно с ним говорить.

— Сейчас концерт будет,— говорит вдруг Фарбер.

— Не думаю,— отвечаю я.— «Ишаки» у них уже два дня почему-то молчат.

— Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.

— Из Москвы, что ли?

— Должно быть, из Москвы.

Проходят бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего по четыре батальонные мины зараз нести. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю я.

— Ничего,— равнодушно отвечает Фарбер.— Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение...

— Юнцы желторотые?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да...— говорю я.— Невеселая штука война...

Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает цигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.

— Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить — бычок маленький, высыпается.

— Жизнь или война? — спрашиваю я.

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем,... собственно говоря, вы...

— Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить.

Он медленно вдавливает окурок каблуком в землю. Огонек долго еще тлеет у его ног.

— Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?

— Ну?

— Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?

— Страусовский?

— Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.

— Расшифруйте.

— Я говорю о войне. О нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче — вы знали, что будет война?

— Пожалуй, знал.

— Не пожалуй, а знали. Более того — знали, что и сами будете в ней участвовать.

Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.

— До войны вы были командиром запаса. Так ведь? ВУС-34... Высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.

— ВУС-34... ВВП... Командир взвода запаса.

Ни разу я еще не слыхал, чтоб Фарбер так много говорил.

— Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом — лагеря, муштра. Напра-во, нале-во, кругом, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы, сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь.

— Откровенно говоря, мало.

— Вот тут-то собака и зарыта... На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие

танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах... Ах, как здорово, ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге, с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь — ну, не сотен, а хотя бы десятков людей... Разве думали мы тогда об этом?

Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен. Но по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым цигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю чего. И мне ясно, что он волнуется, но, как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а, наоборот, делает его еще более сдержанным.

Я молчу. Слушаю. Курю. Фарбер продолжает:

— На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги тридцать молодцов — плотников, слесарей, кузнецов, трактористов — и говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.

— В саперном, что ли?

— В саперном.

— А вы разве сапер?

— Сапер. Вернее, был сапером.

— А почему же вдруг стрелком стали?

— Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.

— А я и не знал. Коллега, значит.

— Коллега,— улыбается Фарбер и продолжает: — Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании: подрывное дело — четыре часа, фортификация — четыре часа, дороги и мосты — четыре часа. А они стоят. Переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои «сидора», сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру...

Он делает паузу. Ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит — одну за другой.

— А кто во всем этом виноват? Кто виноват? Дядя — как говорит мой старшина? Нет, не дядя... Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую,— так уже заведено, ничего не поделаешь,— но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное. Наука...

Фарбер шарит по карманам.

— Чем прикуривать будем? — говорит он.— У меня спички кончились.

— И бычок погас?

— Погас.

— Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.

— Придется.

И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным усталым голосом:

— Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. Бр-р... От одного воспоминания в дрожь бросает.

Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего «кресала». Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.

Фарбер поворачивает голову.

— Нытик? Да? — говорит он совсем тихо.

До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз.

— Кто нытик? — спрашиваю я.

— Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуется. Правда?

Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав.

Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло. Анализировать прошлое, вернее — дурное в прошлом, имеет

смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее.

— По-моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете и научить бойца с нею обращаться тоже сможете.

Фарбер смеется.

— Пожалуй, вы правы.— Пауза.— Но вы знаете... Если б я, например, встретился до войны, ну, хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать.

— А вы завидуете?

— Завидую.— Опять пауза.— Я не плохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился. Но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти непреодолимое препятствие.

— Вы склонны к самокритике,— говорю я.

— Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите.

— Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?

— Почему?..

Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то только очень далеко, за «Красным Октябрем», изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет.

— Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным. Но это так. Он человек простой, цельный, ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этими вопросами попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал в физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...

Он вдруг умолкает. Посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость.

— Ничего,— говорю я, стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом.— Всем тяжело на войне.

— Господи боже мой! Неужели вы так меня поня-

ли? — голос его даже вздрагивает и срывается от волнения.— Ведь мне предлагали совсем не плохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите — всем тяжело на войне.

Я чувствую, что действительно сказал неудачно.

— У вас жена есть? — спрашиваю я.

— Есть. А что?

— Да ничего. Просто интересуюсь.

— Есть.

— И дети есть?

— Детей нет.

— А сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Двадцать восемь. Мне тоже двадцать восемь. А друзья у вас были?

— Были, но...— Он останавливается.

— Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета. Просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.

— Ах, вы об этом...

— Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы. А впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили.

— Да, сегодня.

— Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.

— Возможно...— И опять помолчав: — Я вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, мало интересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир, в общем, неважный.

— Напрасно вы так думаете.

— Вы у Ширяева спросите.

— Ширяев вовсе не плохо к вам относится.

— Дело не в отношении. Впрочем, все это мало интересно.

— А по-моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел,— помните, там, на берегу, ночью, после высадки?

Фарбер останавливает меня движением руки.

— Стойте! — и касается рукой колена.— Слышите?

Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут

над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.

— Узнаете?

— Что-то знакомое... Страшно знакомое, но... Не Чайковский?

— Чайковский. Andante cantabile из Пятой симфонии. Вторая часть.

Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет — назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

— Вот это место...— говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену.— Точно вскрик. Правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?

— Люблю.

— Я тоже... Даже больше, чем Шестую. Хотя Шестая считается самой, так сказать... Сейчас вальс будет. Давайте помолчим.

И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, Царский сад, каштаны, липы, Люсю, красные, яркие цветы, дирижера с чем-то белым в петлице...

Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют «туберкулез».

— Странно, правда? — говорит Фарбер, подымаясь.

— Что странно?

— Все это... Чайковский, шинель эта, «туберкулез». Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальца прожектора.

Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у Фарбера.

21

Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удается — трещит эфир. Только — «и на нашей улице будет праздник» — разобрали.

Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях.

— Будет наступление,— авторитетно заявляет Лисагор; он обо всем очень авторитетно говорит.— Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз,— помнишь?—

что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай...

Сталин выступал шестого ноября.

Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Оране. Десятого вступают в Тунис и Касабланку.

Одиннадцатого ноября в семь часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалон-сюр Саон и продвигаются к Лиону. В пятнадцать часов итальянские войска вступают в Ниццу. Двенадцатого ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе.

Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. Сорок два «Ю-87» в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги. И улетают. В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина.

После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной, с семи утра до семи вечера, бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над «Красным Октябрем». Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только «рама» с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да «мессеры» иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются.

— Ясно — немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии — отчего, почему, и можно ли считать африканские события вторым фронтом. Политработники нарасхват. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, всегда возбужденный Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу, только забежит на минутку в штаб радио послушать и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: «Сенечка, сюда!», «Сенечка, к нам!» Его так все и называют — «Сенечка». И бойцы и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то:

— Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все — «Сенечка». Не годится так.

А он только улыбается смущенно.

— Ну, что я могу поделать. Привыкли. Я уж сколько раз говорил. А они забывают... И я забываю.

Так и осталось за ним — Сенечка. Комиссар рукой махнул.

— Работает как дьявол... Ну как на него рассердишься?

Работает Сенечка действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него, такого маленького и щупленького, помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор, вместе с переводчиком, немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним, а они трубу под мышку — и в другое место. Потом листовками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем не плохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специальный какой-то самострел из резины делал. Но из этой затеи ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку: «Стреляйте в меня!» — и вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на «ничейной» земле, между нами и немцами. Те рассвирепели, целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали: «Ай да Сенечка!» Очень любили его бойцы.

К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда оно наконец пришло, целый день на КП первого батальона — он там чаще всего бывал — строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов («а у нас все попрежнему, воюем понемножку»), а подписи еле-еле на четырех страницах уместились: что-то около ста подписей получилось.

Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы.

— И когда же это учеба его кончится? — спрашивали они и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся, на Северный фронт, кажется, попал.

Девятнадцатого ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже — вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко.

На этот раз Валега и Лисагор тоже что-то затевают. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся, без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже глаженое белье, потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту — озабоченный, с таинственными свертками под мышкой, кого-то ищет. Лисагор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.

Под вечер я ухожу к Устинову. Он уж третий день вызывает меня к себе. Сначала просто «предлагает», потом «приказывает» и, наконец, «в последний раз приказываю во избежание неприятностей». Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная нотация, пересыпанная историческими примерами, верденами, порт-артурами, тотлебенами и клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю.

Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится — они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор «товарищ лейтенант», «товарищ капитан», щеголяют знанием устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят — «полковая летит» или «из 152-х начали». О себе иначе не говорят, как «мы — фронтовики, у нас на фронте».

Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем не плохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанию. С кем бы он ни здоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам.

Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержанно: замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку,— все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами.

Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он подымает глаза и взглядывает на меня поверх очков.

— Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?

— Каких событий?

— Как? Вы ничего не знаете? — брови его недоумевающе подымаются.— КСП вам ничего не сказал? — «КСП» на его излюбленном языке донесений — это «командир стрелкового полка», в данном случае майор Бородин.

— Нет, не говорил.

Брови медленно, точно колеблясь, опускаются и занимают свое обычное положение. Пальцы крутят длинный, аккуратно отточенный карандаш с наконечником.

— Сегодня в шесть ноль-ноль мы переходим в наступление.

Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посредине точку.

— Какое наступление?

— Наступление по всему фронту,— медленно, смакуя каждое слово, произносит он.— И наше в том числе. Вы понимаете, что это значит?

Пока что мне понятно только одно: до начала наступления осталось десять часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние две недели, безнадежно срывается.

— Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна,— продолжает он,— овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В четыре

тридцать начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении — сейчас семь минут девятого — весьма ограниченный срок, каких-нибудь десять часов. Полку вашему придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях.

Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками.

— Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному,— вы понимаете меня? — не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесения о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посыльным.

Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки.

Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданной мне второй роты — это та самая рота, которая у меня постоянно работает,— договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи.

Лисагор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.

— Как тебе это нравится? А? Лейтенант?

От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед.

— Окопались мы, мин наставили видимо-невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет — мало этого! Делай проходы, убирай Бруно... Все, вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?

Меня начинает раздражать Лисагор.

— Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.

Лисагор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка.

— Но обидно же, господи, обидно же! Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит!

Стол действительно неузнаваем. Посредине четыре уже раскупоренные полулитровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения — дымящееся в котелке, заливающее всю землянку ароматом мясо.

— Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое... Ну, что теперь делать? На Новый год оставлять? Так, что ли?

Что и говорить — куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь — оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления, почти полтора года, шестнадцать месяцев ждали... Вот и пришел он наконец, этот день...

Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов неважно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лисагор даже подмигивает.

— Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали.

Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов.

Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться — комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой.

— Ну что, инженер, сорвалось?

— Сорвалось...

— Ладно. В буфет спрячь. Вернемся — поможем,— и весело хохочет, сверкая глазами.

Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое КП командиру полка сделать. Старое не годится — баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты.

— Смотри, инженер, не подкачай,— попыхивает труб-

кой Бородин,— картошек своих вы там на передовой понасажали, кроме вас, никто и не разберет. Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь...

Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются — коробки никуда не годятся.

— А НП рельсами покрой. И печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль-ноль — минута в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю. Понял? Давай нажимай.

Я ухожу.

Лисагор сидит и меняет портянку.

— Ну?

— Бери отделение, и к пяти ноль-ноль чтоб новое НП было готово.

— Новое? К пяти? Обалдели они...

— Обалдели не обалдели, а в твоем распоряжении семь часов.

Лисагор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко.

— На охоту ехать — собак кормить! Говорил я, что из того НП не будет баков видно. Ничего, говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам левее. Вот тебе и левее.

— Ладно. Ворчать завтра будешь, а сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?

— Все понятно. Чего же непонятно. И рельсы, конечно, велел положить? Да?

— И рельсы положишь и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать.

— А дощечками тесаными не приказал обшивать?

— Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой Новохатько с отделением.

— У него куриная слепота.

— Для НП сойдет. Гаркуша с Агнивцевым пойдут проходы делать.

— Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет.

— Как знаешь. К пяти чтоб НП был готов.

Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.

— И кто войну эту придумал. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская...

И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит.

Я остаюсь ждать дивизионных саперов.

23

К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край.

Обхожу батальоны. Агнивцев и Гаркуша кончили с проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисагора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади.

Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох, маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку.

Минут через десять вваливается Лисагор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины.

— Смотри на часы, инженер.

— Двадцать минут пятого.

— Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?

Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.

— Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо, и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? Почти от самого мясокомбината. Порвали их толом на части — и на собственных плечиках. На, пощупай, как подушка стало. Курортик что надо — Сочи, Мацеста...

— Накатов сколько положил?

— Рельсов два, да старый еще, деревянный был.

— Бугор получился?

— Да тут их, знаешь, сколько бугров? Что ни шаг,

то землянка, а что ни землянка, то бугор.

— Раненых нет?

— Тугиевская шинель. Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой!.. Началось, что ли?

Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. Четыре тридцать.

— Па-а-а щелям! — кричит Лисагор.— Прицел ноль пять, по своим опять. Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залазили.

Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами.

— А где Тугиев?

— Там еще. Наверху.

— Видал? Песочком посыпает. Красоту наводит. Давай его сюда, Седельников. Снарядом голову еще сорвет.

Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля.

Лисагор толкает меня в бок.

— Ну что? Людей домой пошлем? Пока не поздно. А то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонит.

Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем.

Только они уходят, как являются майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит: сердце, вероятно, не в порядке.

— Ну как, инженер, не угробят нас здесь? — добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой.

— Думаю, нет, товарищ майор.

— Опять — думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое «думаю». Рельсы положил?

— Положил. В два ряда.

Подходит Абросимов. Губы сжаты. Глаза сощурены.

— А где Лисагор твой?

— Отдыхать пошел. С людьми.

— Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать...

Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил.

— А остальные где?

— По батальонам.
— Что делают?
— Проходы.
— Проверял?
— Проверял.
— А дивизионные что делают?
— В разведке.
— Почему вчера не разведали?
— Потому что сегодня приказ получили.

Абросимов жует губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается.

— Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет.

Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон.

Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой.

— Хорошо работают,— говорит майор.

Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.

— Что и говорить, хорошо...— принужденно улыбается начальник разведки.— Вчера один ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел.

Майор улыбается. Я тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.

Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить.

Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин-эсок. Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит.

Абросимов не отрывается от трубки.

Неужели немцы удержатся после такой подготовки?

Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь.

— Брось подкидывать,— говорит связисту майор.— Рассветает, по дыму стрелять будут.

Связист отползает в свой угол.

К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти. Без десяти. Без пяти.

Абросимов прилип к трубке.

— Приготовиться!

Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.

— Пошли! — кричит в трубку Абросимов.

Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.

— Пошли, ядри вашу бабушку!— орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.

Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего.

Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а! Прямо на баки... А-а-а-а...

Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее.

Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут. Другие лежат. Бегущих больше нет.

Майор сопит трубкой. Покашливает.

— Ни черта не подавили... Ни черта...

Абросимов звонит во второй, в третий батальоны. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять.

Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое.

— Полтора часа громыхали, и не взять... Живучие, дьяволы.

Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными, сухими пальцами провод.

— Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?

Смотрю. Человек двенадцать лежит. Должно быть, убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пу-

лемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь.

— Керженцев,— совсем тихо говорит майор.

— Я вас слушаю.

— Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. К Ширяеву. Помоги...— и посопев трубкой: — Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.

Я поворачиваюсь.

— Вы что, к Ширяеву его посылаете? — спрашивает Абросимов, не отходя от телефона.

— Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.

— Возьмем! — неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове.— И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон, организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает.

Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит.

— Подыми их, подыми! Залежались!

— Да ты не кипятись, Абросимов,— спокойно говорит майор и машет мне рукой — иди, мол.

Я ухожу. До ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет. На передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку — ту самую, где тогда сидели в окружении.

— Как дела?

Ширяев машет рукой.

— Дела... Половины батальона уже нет.

— Перебили?

— А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь!

— А что?

У Ширяева на шее надуваются жилы.

— А то, что майор свое, а Абросимов свое... Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие...

— Знаю. Ну?

— Ну и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал. Расста-

вил саперов. И — бац! Звонит Абросимов — никаких проходов, в атаку веди. Объясняю, что там пулеметы... «Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся».

— А у тебя сколько народу?

— Стрелков — шестьдесят с чем-то. Тридцать в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси... Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони.

— А майор в курсе дела?

— Не знаю.

Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться.

— Ну, что теперь делать? Половина перебита, половина до вечера проваляется,— не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон...

Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскакивает, хватает за плечи и трясет меня.

— Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас с Карнауховым и Фарбером... Эх, как бы людей из воронок выковырять!

Хватает шапку.

— Если звонить будет — молчи! Пускай связист отвечает. Лешка, скажешь — на передовой. Понял? Это — если Абросимов позвонит.

Лешка понимающе кивает головой.

Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лешка лукаво подмигивает.

— Ушли, товарищ капитан. Только что ушли. Да, да, оба. Пришли и ушли.

Прикрыв рукой микрофон, смеется.

— Ругаются... Почему не позвонили ему, когда пришли.

Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими — на сопке в двух и в овраге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снято около десятка мин.

Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке.

— Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем! Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по десять человек на проход пустим. Не так уж плохо. А?

Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо, волосы прилипли ко лбу.

— Карнаухова и Фарбера по сопке пущу, а сам по оврагу.

— А управлять кто будет?

— Ты.

— Отставить! Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба.

— Ну так что из того, что представитель? Вот и командуй.

— А ты Сендецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь.

— Сендецкого? Молод все-таки. Впрочем...

Мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку.

— Елки-палки... Лезет уже.

— Кто?

По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.

— Ну, теперь все...

Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь.

Абросимов еще издали кричит:

— Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?

Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.

— Звоню, звоню... Хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет?

Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.

— Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет, мать вашу...

— Думаем,— спокойно отвечает Ширяев.

— Тогда воюйте, черт вас забери... Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще. А я, как мальчик, бегай...

— Разрешите объяснить,— все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат, говорит Ширяев.

Абросимов багровеет.

— Я те объясню...

Хватается за кобуру.

— Шагом марш в атаку!

Я чувствую, как во мне что-то закипает, Ширяев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты.

— Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду!

В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.

— Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете,— стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев.

Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким.

— Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним...

— В армии не договариваются, а выполняют приказания,— перебивает Абросимов.— Что я вам утром приказал?

— Керженцев только что подтвердил мне...

— Что я вам утром приказал?

— Атаковать.

— Где ваша атака?

— Захлебнулась, потому что...

— Я не спрашиваю почему...— И, вдруг опять рассвирепев, машет в воздухе пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!..

Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.

— Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать... Траншеи какие-то придумали себе. Три часа как приказание отдано...

Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.

24

Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает. Обсыпает землей. Тоже падает. Быстро-быстро перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет. Он весь в песке. Вечером Валега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть.

Никто уже не кричит «ура».

Где Ширяев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно, она сразу бросается в глаза.

Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет — веером — справа налево, слева направо.

Прижимаюсь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко. Но это только верхний слой, дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю.

Тр-рах! Мина. Меня всего обсыпает землей.

Тр-рах! Вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю.

Лежу, затаив дыхание. Рядом кто-то стонет: «А-а-а-а...» Больше ничего, только а-а-а-а... Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. И кругом земля. Кроме земли, я ничего не вижу. Сверху — серая, мелкая, как пудра, а ниже глина — красновато-бурая, потрескавшаяся, отдельными грудками. Ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег, у меня мерзнут пальцы на ногах.

Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все еще низко, над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Сендецкий и я. И еще один, командир взвода, из новеньких. Я запомнил только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел.

Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много — и вдруг никого. Должно быть, инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем,

не помню, было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке.

От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу. Но ее некуда вытянуть, из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит, мешает голенище.

Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва, но уже тише.

Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высовываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Оперщись на руки, выглядываю одним глазом. До немцев рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня — черная полоска амбразуры.

Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом и назад посмотреть, меня не увидят.

До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним согнувшись, видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне.Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него — другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках.

Всего я насчитываю четырнадцать трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок — больших и маленьких. В одной что-то чернеет. Потом исчезает.

Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не подымая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет. Совсем уже тихо.

Не отрываю от него глаз. Не знаю, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой.

Он совсем уж рядом. Рукой можно дотянуться.

— Давай, давай сюда,— шепчу я и протягиваю руку.

Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутью глаза. Харламов... Мой бывший начальник штаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые.

— Давай, давай сюда...

Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны.

С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс. Подымаю рубаху. Две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет.

Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся, что-то говорят. Я могу разобрать только: «Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант...» Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше уже не подымает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать.

Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой.

Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым — земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши тоже. Я подымаю воротник.

Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой.

Так мы лежим — я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с не тающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать. Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром тринадцать человек.

В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро, быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.

Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь — десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет...

Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере. Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.

Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.

Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить бы... Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане.

Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обоймы тоже нет.

Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.

Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.

Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко, они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы, из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. В маленькую клееночку аккуратно завернуты и зашпилены английской булавкой кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно. Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал.

Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные вьющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок, такие же черные большие глаза, как у отца. На другой — та же женщина, только одна и в берете. На третьей — компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах, лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано:«Черкизово, июнь 1939 г. Вторая слева Мура».

Я заворачиваю все опять в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман.

Маленький комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподымаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое, небритое лицо.

— Браток... Спички есть?

— Есть.

— Кинь, бога ради...

— «Сорок» оставишь?

— Ладно.

Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты, черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается.

В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок.

— Поосторожней...— шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит.

Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, обслюненным окурком внутри. Я его сосу, сосу что есть мочи. Все губы обжигаю.

— Боец! Часов нет у тебя?— спрашиваю я шепотом.

— Без четверти двенадцать,— доносится из воронки.

Я ушам не верю. Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет. В довершение всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв. Потом опять налет.

Надо бежать. Ждать еще шесть часов! Не выдержу. Убьют так убьют — от смерти не спасешься.

Из воронки опять хрипит:

— Друг... э-э-э... друг...

— Что тебе?

— Давай побежим.

Тоже не выдержал.

— Давай,— отвечаю я.

Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо, не добегая до наших окопов, упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов. Лишь бы опять судорога не схватила. Местность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом.

— Ну, готов?

— Готов.

Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Руки на животе. Ему уже ничего не нужно.

— Пошел!

— Пошел.

Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю. И почти сразу же — та-та-та-та-та... Не дышу. Та-та-та-та... Лежу. Та-та-та-та-та...

— Жив?

— Жив.

Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов пять шагов или шесть. Уголком глаза пожираю этот клочок земли.

Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко.

Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно.

— Ну — пора.

— Приготовьсь,— не подымая головы, в снег говорю я.

— Есть,— отвечает слева.

Я весь напрягаюсь. В висках стучит.

— Давай!

Отталкиваюсь. Три прыжка и — в окопе.

Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок.

Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти — девять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.

Утром мы хороним товарищей — Харламова, Сендецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб.

Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса тому назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.

Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых.

Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.

Мы хороним товарищей над самой Волгой.

Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге — осеннее сало. Темнеют три ямы.

Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же

глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится.

Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.

И это все. Мы уходим.

Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову — двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там — у немцев.

Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые — такие, каким он сам был.

...Ты от этой землянки низкой
Так далеко, как мир иной,
Мне ж такою видишься близкой,
Будто вот — держусь рукой.

Вижу, как шевелятся ветви,
Молодой шумит березняк,
Как твоими косами ветер
Оплетает, вяжет меня.

Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи — Лондон и Карнаухов.

В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него — не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.

Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.

Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрав ноги. Сопит. Не ругается. Молча курит, опершись подбородком о колени.

— Судить, говорят, Абросимова будут,— мрачно говорит он.

— Кто сказал?

— Писарь Ладыгин слыхал.

— Брехун...

— Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.

— Ты что, в штабе был?

— В штабе.

— Что там?

— Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо востро держать. Чернильная душа.

— Майора не видел?

— Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял.

— Эх... напиться бы сейчас... До чертиков...

Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.

— Подготовься к завтраму, инженер.

Я не понимаю.

— К чему?

Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.

— К чему? — повторяю я.

Он медленно поднимает голову.

— Расскажешь того... как это все было... там, на сопке,— и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает.

Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно.

Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал.

— Связной его на продскладе чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж его — всё карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.

И он подмигивает наглым зеленым глазом.

25

На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит, майор. В трубе второго батальона — это самое просторное помещение на нашем участке — накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза — в стенку.

Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое — начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подносит к губам стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.

— Нельзя на войне без доверия,— говорит он,— мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя...

Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.

— С Абросимовым мы прошли большой путь... Большой боевой путь. Орел, Касторная, Воронеж... Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен, может быть, на войне только учится, знал, что может ошибки делать,— кто из нас не ошибался,— но верить — я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба.

Повернув голову, он долгим, тяжелым взглядом смотрит на Абросимова.

— Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав.— Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом.— Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера,— это уже не война. Это истребление, Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды. Утром — по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку.

— Приказано было атаковать баки...— сухим, деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. — А люди в атаку не шли...

— Врешь! — Майор ударяет кулаком по столу, так что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана.— Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло... Противник

оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев — парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... А Абросимов что сделал?

У Абросимова начинает подергиваться губа.

Обычно добродушное, мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся.

— Я знаю, как ты кричал там... Как пистолетом размахивал.

Он отпивает еще глоток чаю из стакана.

— Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть. А люди погибли. Всё. По-моему, достаточно.

Майор тяжело опускается на табуретку.

Абросимов как сидел, так и сидит,— руки на коленях, глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет.

Говорят еще несколько человек. Потом я. За мной — Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили.

— Струсили?.. — раздается откуда-то из глубины трубы.

Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой, смешной шинелишке своей, протискивается к столу Фарбер.

— Струсили, говорите вы? Ширяев струсил? Карнаухов струсил? Это вы о них говорите?

Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами — очки он вчера разбил, — щурится.

— Я все видел... Собственными глазами видел... Как Ширяев шел... И Карнаухов, и... все как шли... Я не умею говорить... Я их недавно знаю... Карнаухова и других... Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. Абросимов... капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки.

Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием. Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтоб они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю...— Голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой.— Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать...

Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает:

— Вы сами трус! Вы не пошли в атаку! И меня еще при себе держали. Я все видел...— И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад.

Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе.

— Хорошо говорили, Фарбер.

Он вздрагивает.

— Какое там хорошо. Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так, знаете... И сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет... Нет. Не то все это.

Он тяжело дышит.

— Последних моих двух стариков убило. Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был.

— А тот молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью, ваш был?

— Калабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл — все рассказывал, как манной кашей их там закармливали.

— Новых командиров не прислали еще?

— Командиров роты из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. Адъютанта старшего пока нет.

— Без адъютанта трудновато,— соглашаюсь я.

Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне появились какие-то новые, твердые нотки. Их раньше не было.

— А что с Ширяевым? Так и не узнали точно?

— Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было, но болталась, как тряпка.

— Правая?

— Нет, левая...

— И то хорошо...

— Не хотел уходить. Ругался. Все равно, говорит, вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. А с Абросимовым хоть на краю света, а встречусь.

— Не завидую Абросимому, кулачок у Ширяева — дай бог...

Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд.

Валега жарит хлеб на сковородке. В углу шумит самовар.

Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.

— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.

— А кофе с чем?

— С молоком сгущенным.

— Тогда кофе.

Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова.

Потом приходит Лисагор. Хлопает дверью. Заглядывает в сковородку. Останавливается около меня.

— Ну? — спрашиваю я.

— Разжаловали и — в штрафную.

Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами.

Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слыхал.

26

Ночью приходят танки. Шесть стареньких, латаных и перелатанных «тридцать четверок». Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то веселей становится.

Мы их давно уже ждем. Дней десять носятся слухи. Говорили, целая дивизия танковая идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка, до батальона. Приходит же всего шесть видавших виды старушек, и не из тыла, а с «Красного Октября», где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника... И вид у них довольно грозный...

К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу для них.

Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у шлагбаума. Посылаю туда Лисагора и Агнивцева.

Трое танкистов заходят ко мне погреться — два лейтенанта и сержант,— черные, грязные, промасленные с головы до ног.

— Поесть ничего нет? — спрашивает старший из них с испещренным шрамами лицом,— обгорел, должно быть. — С утра во рту ничего не было...

Валега подает на стол остатки именинного зайца. Лейтенанты с аппетитом уплетают его за обе щеки.

— Ну как? Воюете? — спрашивают.

— Воюем понемножку,— отвечаю я.

— Баков до сих пор не взяли?

— Баков не взяли. Голыми руками не очень-то...

Танкисты пересмеиваются.

— На нас надеетесь?

— А на кого ж? Без техники все-таки...

Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется.

— А знаешь, где эта техника только не перебывала?

— По машинам видно, что поработали основательно. На Юго-Западном были?

— Ты спроси, где мы не были.

— Под Харьковом были?

— Под Харьковом? А ты что, был там?

— Был.

— Непокрытую, Терновую знаешь?

— Еще бы. Мы там в наступление шли.

— Тоже мне — шли... Из-за вас, пехтуры, и Харьков прозевали. Мы на Тракторном уже были... Зайца нет больше?

— Весь. Шкура только осталась.

— Жаль. А то спирт у нас есть...

— А мы сообразим чего-нибудь.

Я посылаю Валегу к Чумаку.

— Скажи, чтоб приходил. И закуску тащил с собой. У вас сколько спирту?

— Хватит. Не беспокойся.

Валега уходит. Сержант тоже.

— А вы, как боги, живете,— говорит лейтенант с шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале.— Как паны...

— Да, на жилплощадь пожаловаться не можем.

— И книжечки почитываете.

— Бывает.

Он перелистывает «Мартина Идена».

— Я уже и не помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился,— и смеется.— После войны придется заново учиться.

Потом приходит Чумак. Заспанный, почесывается, в волосах пух.

— Инженер называется... Посреди ночи водку пить... Придет же в голову. На, бери.

Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба.

— Валега твой пошел за старшиной моим. Тушенки пару банок притащит.

Смотрит на танкистов.

— Ваши коробки на берегу?

— А чьи же?

— Я б и сесть на них постыдился. До передовой не доберутся — рассыплются.

Бородатый обижается.

— А это уж наше дело.

— Конечно ж, не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо.

— А ты кто?

— Я? А ты инженера спроси. Он тебе скажет.

— Разведчик, должно быть. По морде видать.

— По какой морде? — Чумак сжимает кулаки.

— Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить?

— А что? Ваш?

— Наш.

— Тогда все. Молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах и не взять...

Танкисты смеются. Чумак потягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы.

— Куда же это Приходько запропастился?

— Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий, девяносто шесть.

— За водой остановки не будет. Волга под боком.

— Вы что — завтра в атаку? — спрашивает Чумак.

— Бог его знает. Велено стать на исходные, а там посмотрим.

— Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили.

— Скажут еще.

— Если не завтра,— задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак,— немцы вас за день прямой наводочкой, знаешь, как разделают...

— Там, говорят, склон, не видно будто.

— Говорят, говорят... А «мессеры» зачем?

— А противотанковой артиллерии много у них? —настораживается бородатый.

— На вас хватит.

В коридоре что-то с грохотом летит. Кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками.

— Какой дурак у вас там лопаты раскидал. Чуть все фляжки не пококал.

Он кладет фляжки на койку. Поворачивается, сияющий, веселый.

— Что мне за новость будет?

— Какую новость?

— Мировую. Скажите, что будет,— расскажу.

— Сто грамм лишних,— морщится Чумак, пробуя спирт на язык. — Силен, черт...

— Мало.

— Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер.

Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника.

— Ну — что за новость? — спрашивает лейтенант с шрамами.

— Сказал, что мировая. В шестнадцатой машине передачу только что слушал.

— Гитлер сдох, что ли?

— Почище...

— Война кончилась?

— Наоборот. Началась только...—и, выдержав паузу:— Наши Калач заняли. Потом эту, как ее, Кривую... Кривую...

— Кривую Музгу?

— Музгу... Музгу. И еще что-то на Г...

— Неужто Абганерово?

— Вот, вот... Абганерово...

— А ты не врешь?

— Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных... Четырнадцать тысяч убитых!

— Елки-палки!..

— Когда же это?

— Да вот за эти три дня. Калач, Абганерово и еще что-то. Целая куча названий.

— Ну, все. Фашистам капут!

Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык.

— За капут, хлопцы!

И мы пьем все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника.

— Вот дела! Вино хлещут...

В дверях Лисагор. Даже рот раскрыл от удивления.

— Я там вагоны рву, а они водку дуют.

Я протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает. Закрывает глаза. Крякает. Ощупью берет корку хлеба. Нюхает.

— Разлагаетесь здесь, а в пять наступление. Знаете? Батальонам уже завтрак повезли.

— Врешь...

— Посмотрите, что на берегу делается.

Танкисты срываются, не дожевав колбасы.

— Ширяев ругается, что с проходами задерживаем.

— Какой Ширяев?

— Как — какой? Начальник штаба. Старший лейтенант.

— Господи... Откуда ж он взялся?

— Всю войну так прозеваете...— смеется Лисагор.— Из медсанбата прибежал. Разоряется уже там на берегу.

Я натягиваю сапоги. Ищу пистолет. Смотрю на часы. Без четверти три.

— Проходы сделал?

— Сделал.

— На всю ширину?

— На всю. Как миленькие проедете.

Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый. Опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то:

— Чтоб через пять минут пришел и доложил... Понятно? Раз-два...

Пробегает Чумак, застегивая на ходу бушлат.

— Дает дрозда новый начальник штаба. Держись только, инженер...

Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из-под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой.

— Галопом на передовую, Юрка! Танкистам помогать... Никто не знает, где там проходы ваши...

— Как рука? — спрашиваю.

— Потом, потом... Топай... Два часа осталось.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти?

— Топай... А Лисагора ко мне...

Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкивая каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом.

— Отставить! Два часа строевой...

Холодный крепкий снежок влепляется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот.

Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу.

Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минуют шлагбаум, взорванные платформы. Выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют — танки неистово громыхают.

Медленно кружась в воздухе, падают снежинки.

Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган.

До наступления осталось час сорок минут.

27

Атака назначена на пять. Без двадцати пять прибегает запыхавшийся Гаркуша.

— Товарищ лейтенант...

— Ну, чего еще?

Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью.

— Разведчики вернулись.

— Ну?

— На мины напоролись.

— Какие мины?

— Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за пятьдесят. Какие-то незнакомые.

— Тьфу ты, черт! Чего же они вчера смотрели?

— Говорят, не было вчера.

— Не было?.. Где этот... Бухвостов?

— В петеэровской землянке сидит.

— Ширяев, позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас.

Бухвостов, рябой, щупленький командир разведвзвода саперного батальона, разводит руками.

— Сегодня ночью, очевидно, поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил — ничего не было. Ей-богу...

— Ей-богу, ей-богу! Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там?

— Да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов, но не совсем. Взрыватель где-то сбоку.

— Гаркуша, тащи маскхалаты. А ты... поведешь.

На наше счастье луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Гаркуша, я. Мелькают перед носом подбитые подковами гаркушинские каблуки. Проползаем за линию наших минных полей. Кругом белым-бело. Темнеет впереди линия немецких траншей. Сержант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза! Самая обыкновенная помза — насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку добавочный колышек, чтобы крепче стояла. А он его за взрыватель принял. Шляпа, а не разведчик.

Гаркуша, лежа на животе, ловко один за другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит.

Пш-ш-ш-ш... Ракета...

Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться как бешеное. Увидят, сволочи.

Пш-ш-ш-ш... Вторая... Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров за десять. Ну, что за человек! Сейчас увидят немцы.

Короткая очередь из пулемета.

Увидели.

Опять очередь.

Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, нос, уши. Как приятно... Хрустит на зубах... Как мороженое... А он говорил, что не помзы... Самые обыкновенные помзы... Только колышек сбоку. Чудак сержант. Все... Больше ничего... Только снег на зубах...

«Ну и сукин же ты сын, Юрка. После записки из медсанбата два месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была б отговорка, а то ведь в левую. Нехорошо, ей-богу нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю —разжирел, мол, на госпитальных харчах, с санитарками романы разводит, куда уж о боевых друзьях вспоминать. А они, настоящая ты душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет (шесть звездочек!), никому пробовать не дает. Я уж подбирался, подбирался — ни в какую.

А вообще надоело. Сидение надоело. До чертиков надоело. Другие наступают, вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повыводило из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь... После того как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один немцы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать, и немецкий комдив, вероятно, то же самое решил, вот и дрались из-за этого танка как скаженные. В лоб не выходило — в батальонах по пять — семь активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт как камень, и взрывчатки нет. Волга недели две никак стать не могла. Сухари и концентрат «кукурузники» сбрасывали.

В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в двадцать два метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы! Я Тугиева, Агнивцева (он сейчас в медсанбате — ранен) и твоего Валегу к звездочке представил — молодцы хлопцы, а остальных — к отваге. Сейчас под танком фарберовский пулемет,— сечет немцев напропалую. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты, ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает, вот в чем заковыка. Артиллерией в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионок поставили, спать не дает. Родимцева и 92-ю правее нас перекинули, в район Трамвайной улицы. А 39-я молодцом. «Красный Октябрь» почти полностью очистила.

Во взводе нас сейчас трое — я, Гаркуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овсом и угодил в штрафной. Чепурного, Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаевом. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а от Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на мине, оторвало ступню. И троих еще отправил в медсанбат, из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. «Любимцу» твоему с бакенбардами, Астафьеву, немцы влепили осколок прямо в задницу (как он его поймал, никак не пойму,— из землянки он не вылазил), лежит теперь на животе и архив свой перебирает.

А мы сейчас все НП строим. Каждый день новый. Штук пять уже сделали — все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. Один в трубе фабричной сделали — около химзавода, где синьки много. Другой — на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит — холодно, сквозит, велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз «ФД» стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом — куда ж майора туда тянуть.

А в общем, приезжай скорей, вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь (ха-ха!), а то у меня такие уже волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой, дивинженер, плотно поселился в моих печенках — все схемы да схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон, рука у него совсем прошла.

Да... Во втором батальоне новый военфельдшер. Вместо Бурлюка, он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем — приезжай скорей. Ждем.

Твой *А. Лисагор*

P. S. Нашел наконец взрыватель «LZZ» обрывнонатяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция — мины

«S» и «TMI-43», есть совсем новенькие, пять типов взрывателей в мировых коробочках (на порттабачницы пойдут) и замечательная немецкая зажигательная трубка с тёрочным взрывателем.

А. Л.»

На оборотной стороне приписка большими, кривыми, ползущими вниз буквами:

«Добрый день или вечер, товарищ лейтинант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтинант, книги ваши в порядке, я их в чимодан положил. Товарищ командир взвода достали два окумулятыря, и у нас в землянке теперь свет. Старший лейтинант Шыряев хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтинант, приезжайте скорей. Все вам низко кланяются, и я тоже.

Ваш ординарец *А. Волегов*».

Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к начмеду: он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладом, чтобы новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран.

Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах — в Сталинград, прощаюсь с ребятами.

Они провожают меня до ворот.

— Паулюсу там кланяйся!

— Обязательно.

— Мое поручение не забудь, слышишь?

— Слышу, слышу.

— Это совсем рядом. Второй овраг от вашего. Где «катюша» подбитая стоит.

— Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя.

— Ладно... Всего... «Следопыты» в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет.

— Есть — привет.

— Ну, бувайте.

— Пиши... Не забывай...

Шофер уже машет рукой.

— Кончай там, лейтенант.

Я жму руки и бегу к машине.

До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь — начфин. У него и ночую в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке.

— Ну, как там, в тылу? — спрашивают.

— Обыкновенно...

— Ты в Ленинске лежал?

— В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь.

Лазарь смеется.

— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешаны. Красота!

— А ты давно оттуда?

— Вчера только вернулся. Жалованье платил.

— Сидят еще немцы?

— Какое там! С Мамаева уже драпанули, за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем...

Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок.

Рано утром на штабном «газике» еду дальше.

К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне... Фу ты, черт, как время летит! Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, «виллисы», пестренькие, камуфлированные «эмочки». Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.

Проезжаем КПП.

— Ваши документики.

— А без них нельзя, что ли?

— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен.

Вот это да. Вокруг чуйковского штаба проволочный забор, у калиток часовые по стойке «смирно», дорожки посыпаны песком, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.

Указатель на полосатом столбике: «Хоз-во Бородина — 300 метров», и красным карандашом приписано: «Первый переулок налево». Переехали, значит. Переулок налево, по-видимому, овраг, где штадив был.

Волнуюсь. Ей-богу, волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на 26-м номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь.

Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, залатали, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель, мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли,—никакого следа. А тут кто-то лестницу построил, не надо уже по откосам лазить. Совсем культура, даже перила тесаные.

Над головой проплывает партия наших «петляковых». Спокойно, уверенно. Как когда-то «хейнкели». Торжественно, один за другим, пикируют...

— Вот это да — черт возьми!

В овраге пусто. Куча немецких мин в снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок, узнаю, Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать немцев — грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают.

— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.

Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает.

— Живы, здоровы, товарищ лейтенант?

Веселая, румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза.

Седых!.. Провалиться мне на этом месте!.. Седых!..

— Откуда ты взялся... черт полосатый?!

Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян.

— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним — пух летит. Наше КП тут же в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Пленных стеречь.

— А Игорь?

— Жив, здоров.

— Слава богу!

— Приходите сегодня к нам. Ох, и рады же будут!.. А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.

— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.

Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет — возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными закручивающимися, как у девушки, ресницами.

— Стой, стой!.. А что это у тебя там под телогрейкой блестит?

Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.

— Ну и негодяй!.. И молчит. Дай лапу. За что получил?

Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони.

— Не стыдно теперь в колхоз возвращаться?

— Да чего ж стыдиться-то...— И все ковыряет, ковыряет ладонь.— А вы этот самый... портсигарчик мой сохранили или...

— Как же, как же. Вот он, закуривай.

И мы закуриваем.

— Огонь есть?

— Ганс, огня лейтенанту! Живо! Фейер, фейер... Или как там, по-вашему...

Щупленький немец в роговых очках, должно быть из офицеров, моментально подскакивает и щелкает зажигалкой-пистолетиком.

— Битте, камрад.

Седых перехватывает зажигалку.

— Ладно, битый, сами справимся,— и подносит огонь.— Ох, и барахольщики! Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же — зажигалку. У меня уже штук двадцать их. Дать парочку?

— Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше... Как-никак — четыре месяца, кусочек порядочный.

— Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же...— И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую... Тогда-то минировали, и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении сидели недели две в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, пить, и он четыре раза на Волгу за водой ходил, а потом... потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили...

— В общем, сами знаете...— и улыбается своей ясной, славной улыбкой.

— Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Давай-ка еще по одной закурим, и пойду наших искать. Где они, не знаешь?

— Да там все... На передовой. За Долгим оврагом, должно быть. Один я остался — хромой.

— И никого больше?

— Штабной командир ваш еще какой-то. Вот в той землянке. Раненый.

— Астафьев, что ли?

— Ей-богу, не знаю. Старший лейтенант.

— В той землянке, говоришь? — И я направляюсь к землянке.

— Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант,— кричит вдогонку Седых.— Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж. Налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях.

Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон.

— Жорж! Голубчик!! Вернулись!— Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную, пухлую руку.— Здоровы, как бык?

— Как видите.

— А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком, донесения пишу.

— Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать.

— Как сказать... Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте.— Он пытается повернуться, но морщится и ругается. — Седалищный нерв задет, боль адская.

— Война, ничего не поделаешь. А где наши?

— В городе, Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил — гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются. Да вы садитесь.

— Спасибо. А Ширяев, Лисагор где?

— Там. Все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные...— Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами.

— Не люблю. В горле першит от них. А это что — тоже трофей? — На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон.

— Трофей. Ширяеву Чумак подарил. Там их, знаете, сколько!

— Ну, ладно, я пойду.

— Да вы посидите, расскажите, как там в тылу.

— В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен. Астафьев улыбается.

— Трофеи боитесь прозевать?

— Вот именно.

Астафьев приподымается на локте.

— Жоржик, голубчик... Если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю.

— Ладно.

— «Лейку» лучше всего. Вы понимаете в фотографии? Это вроде нашего «феда».

— Ладно.

— И бумаги... И пленку... Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше...

30

К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк! Тот самый, чумаковский, шесть звездочек.

Чумак наливает стакан за стаканом.

— Пей, инженер, пей! Отучился небось за четыре месяца. Манные кашки все там жевали, бульончики. Пей, не жалей... Заслужили!

Мы лежим в каком-то разрушенном доме,— не помню уже, как сюда попали,—я, Чумак, Лисагор, Валега, конечно. Лежим на соломе, Валега в углу курит свою тру-

бочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое в конце концов — шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую, по колено, принес. Куда ж это годится! И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые.

— Я вам хромовые там достал,— мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. — В блиндаже... Подъем только низкий...

Я оправдывался, как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил.

— Пей, пей, инженер,— подливает все Чумак,— не стесняйся...

Лисагор перехватывает кружку.

— Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло. Налегай.

И я налегаю.

Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба «Красного Октября», единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые... Целое море ракет. И стрельба. Целый день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадется. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та...

Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, четыре зеленые подряд.

Чумак что-то говорит. Я не слушаю его.

— Отстань.

— Ну, что тебе стоит... Просят же тебя люди. Не будь свиньей.

— Отстань, говорят тебе, чего пристал.

— Ну, прочти... Ну, что тебе стоит. Хоть десять строчек...

— Каких десять строчек?

— Да вот. Речуху его. Интересно же... Ей-богу, интересно.

Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты.

— Что за мура?

— Да ты прочти.

Буквы прыгают перед глазами, непревычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек.

«Фелькишер Беобахтер». Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года.

Почти три месяца тому назад...

«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.

Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики...»

Чумак весь трясется от смеха.

— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по писанному вышло.

Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что «почему»?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь.

Я встаю и, шатаясь, выхожу в отверстие, бывшее, должно быть, когда-то дверью.

Какое высокое, прозрачное небо — чистое-чистое, ни облачка, ни самолета. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга — широкая, спокойная, гладкая, в одном только месте, против водокачки, не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает.

Величайшая русская артерия... Парализована, говорит... Ну и дурак! Ну и дурак! В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело...

Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый. И, точно прыщи, два прыща на макушке — баки... Ох, и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами,— только стены как решето остались,— начинались позиции Родимцева — полоска в двести метров шириной. Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!

А Чумак спрашивает почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня — почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.

Эх, Чумак, Чумак, матросская твоя душа, ну и глупые же вопросы ты задаешь, и ни черта, ни черта ты не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди... Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И Валегу давай. Давай, давай... Пей, оруженосец!.. Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали... Кирпич, и больше ничего... А мы вот живы. А город... Новый выстроим. Правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла. О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой — увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку, на стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня, старики, ей-богу... Давай выпьем за них,— есть там еще чего, Чумак?

И мы опять пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то, не помню уж за что. А кругом все стреляют

и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке «Барыню».

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

— Чего там еще?

— Начальник штаба вызывает.

— А ты кто такой?

— Связной штаба.

— Ну?

— Велено всех к восемнадцати ноль-ноль собрать. На КП в овраге...

— С ума спятил!.. Какого лешего. Сегодня выходной, праздник.

— Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, я и передал.

— Да ты толком объясни. А то — приказал, передал... На банкет, что ли, вызывают? По случаю победы?

Связной смеется.

— Северную группировку, слыхал, завтра будут доканчивать на «Баррикадах». Нашу и тридцать девятую бросают туда.

Вот те на!..

Чумак ищет в темноте бушлат, пояс. Шарит по земле. Лисагор отряхивает солому с шинели.

— Валега, собирай манатки и живо за Гаркушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз-два...

Валега срывается.

— Лопаты чтоб не забыл, смотри,— и повернувшись ко мне:— Ну, что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер — мозоли наращивать.

— Лопат хватит?

— Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Гаркуше, Валеге. За ночь сделаем — факт. А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна... Пошли.

На улице слышен зычный чумаковский голос:

— В колонне по четыре... Стр-р-роевым. С места песню... Ша-а-агом марш!

А во взводе у него всего три человека.

Лисагор хлопает меня по плечу.

— Не вышло нам к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так... Завтра придется. Даст бог, живы останемся.

Где-то высоко-высоко в небе тарахтит «кукурузник» —

ночной дозор. Над «Баррикадами» зажигаются «фонари». Наши «фонари», не немецкие.

Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик — молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает нам на ходу.

— Экскурсантов веду... Волгу посмотреть хотят.

И весело, заразительно смеется.

1946

В РОДНОМ ГОРОДЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Трамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочел идти с вокзала пешком. День был солнечный, яркий, и после шести дней тряски в душном эшелоне пройтись по улице было даже приятно.

Дойдя до Владимирской, Николай почувствовал легкое головокружение — он отвык от ходьбы — и присел на ступеньки возле аптеки.

Напротив, через улицу, под козырьком из фанерного листа бойко торговал мороженым и водами веселый, громогласный продавец. Покупатели то и дело подходили к нему.

Николай, посидев, тоже подошел. Продавец дружески подмигнул, указывая глазами на подвязанную к лангетке руку Николая.

— С фронта небось, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Может, тогда сто грамм прикажете?

— Нет, не надо.

— А то хорошая, «Московская»...

— Нет, не надо,— ответил Николай, чувствуя, что после третьего предложения он уже не сможет отказаться.

— Напрасно, товарищ капитан, ей-богу напрасно. В вашем возрасте я не отказывался.

Продавец был явно расположен разговаривать, но Николай выпил свой стакан воды, расплатился и пошел дальше.

Возле шестиэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжен. Сквозь пустую витрину молочного магазина — еще вывеска сохранилась — видны были груды обгорелого кирпича и на них две застывшие друг против друга кошки — черная и рыжая.

«Фу ты, кошки...» — подумал Николай и быстро, чтоб они не перебежали дорогу, свернул за угол.

Соседний с угловым, двадцать четвертый номер, тоже был сожжен. На стене у входа еще виднелись надписи, сделанные мелом. Из них только две можно было разобрать: «А. Вайнтрауб живет на М. Васильковской, 16, кв. 3» и «Гуреевы — Жилянская, 6». Остальные за год стерлись.

До войны Вайнтраубы жили в пятнадцатой квартире. Николай их хорошо помнил: муж, жена и восьмилетний мальчик Жора. В обеденный час мамаша высовывалась из окна и кричала на весь двор: «Жора, Жо-ора!» Это длилось очень долго, так как Жора никогда не слышал, а когда слышал — убегал на задний двор. Гуреевых Николай не помнил.

Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрав голову, смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь окна было видно небо и изогнутые железные балки.

Из ворот вышла женщина с корзинкой и торопливо пошла вниз по улице.

«Флигель, вероятно, цел»,— подумал Николай и вошел в ворота. Первый флигель был сожжен, второй сохранился. Через весь двор была протянута веревка, на ней сохло белье, а рядом на табуретке сидела старушка и чистила картошку. Николай подошел и спросил довольно спокойно:

— Простите, бабушка, вы и до войны жили в этом доме?

Бабушка вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая.

— А?

— Я спрашиваю: вы и до войны жили в этом доме?

— В этом доме? Нет, нет... — Она с испугом смотрела на его перевязанную руку.— Нет, мы в восемнадцатом номере жили. Здесь с ноября только.

— Я о жильцах одних хотел узнать,— сказал Николай и, заметив, что старушка плохо слышит, повторил погромче: — О жильцах спросить хотел...

— Не знаю, не знаю...— Старушка замотала головой.— Мы здесь только с ноября живем, как наши пришли.

Она тревожно глянула на развешенное белье, потом на Николая, словно проверяя, не взял ли он чего-нибудь.

— Не знаю, не знаю... Мы здесь с ноября только живем...— в третий раз сказала она и опять принялась за картошку.

— Вы кого ищете? — раздался за спиной Николая женский голос.

Николай обернулся. Невысокая, очень худая женщина, в калошах на босу ногу, с мусорным ведром в руке, внимательно смотрела на него.

— Вы из какой квартиры? — спросила она и поставила ведро на землю.

— Из семнадцатой,— ответил Николай.

— Митясов ваша фамилия?

— Митясов...

Женщина серьезно, без улыбки смотрела на него.

— Ой-ой-ой, как вы изменились! Такой молоденький были, а теперь...— Она, как и все, посмотрела на его повязку.— Ранены? Да?

— Как видите.

Женщина покачала головой.

— Ужасно как изменились... Просто ужасно,— она сочувственно покачала головой.— Вот вы меня не узнаете,— Николай действительно никак не мог ее припомнить, — а я сразу узнала. У вас, я помню, еще собака была.

— Была. Рыжик. Щенок. Ему и года еще не было.

— И ваш сынишка прогуливал ее еще в этом дворе.

— Нет, у нас детей не было. Это не наш сынишка.

— Разве не было? А мне казалось, что был.

— Нет, не было. Это соседский, Смирновых...

Они помолчали. Николай ждал, что женщина еще что-нибудь скажет, но она молчала и только сочувственно, очевидно уже машинально, качала головой.

Подошел мальчик лет восьми и, раскрыв рот, стал смотреть на Николая.

— А про Шуру вы ничего не знаете? — спросил Николай, не глядя.

Женщина зачем-то развязала и опять завязала платок на голове.

— Они, кажется, при немцах оставались? — спросила она.

— Оставались. У нее мать больная была.

Женщина почему-то вдруг оживилась.

— Да-да. Старуха умерла. У нее, кажется, рак был.

— А Шура?

— Шура? — Женщина задумалась и опять поправила на голове платок.— Шура сейчас здесь не живет. Она на Жилянской, кажется, живет.

— Не... В тридцать восьмом номере вовсе,— сказал мальчик и опять раскрыл рот.

Николай пристально посмотрел на него.

— А ты откуда знаешь, о ком мы говорим?

— Знаю, о тете Шуре, что в семнадцатой квартире жила.

— А теперь, значит, в тридцать восьмом? Ты точно знаешь?

— Точно. С улицы, на третьем этаже. Я ей раз помогал дрова нести. У нее тогда рассыпались, а я помог собрать. И нести помог.

— Это четвертый или пятый дом от угла,— сказала женщина.— Там, где примусная мастерская. Теперь я вспомнила, она туда переехала,—и улыбнулась,— не в мастерскую, конечно, а в дом.

Николай тоже улыбнулся.

— Ну, спасибо, большое спасибо,— и торопливо, точно боясь, что его задержат, зашагал по направлению к улице.

Женщина некоторое время смотрела ему вслед, опять покачала головой, потом взяла свое ведро и, шлепая сваливающимися с ног калошами, пошла к мусорному ящику.

Николай быстро шел по улице и смотрел по сторонам. Прошли мимо две девушки и обернулись. Николай тоже обернулся. Девушки рассмеялись. Николай расправил складки гимнастерки. Она была коротенькая, выцветшая, с наполовину оторванным и засунутым за ремень рукавом. Широкие маскировочные шаровары, рука на перевязи — вид не совсем обычный для тылового города. Прохожие оборачивались. Николай невольно поймал себя на том, что это ему даже приятно.

Дойдя до угла, он увидел парикмахерскую и вспомнил, что надо побриться. Парикмахерская была та самая, в которой он брился еще до войны. Николай зашел. Парикмахер, новый, узкоплечий, с копной удивительно мелко вьющихся

волос, с презрительно-скучающим выражением лица чистил ногти, развалившись в кресле. При виде вошедшего сразу вскочил.

— Усы и бачки сбреем? — неожиданно весело спросил он, бросая под стол грязную и вынимая из ящика свежую салфетку.

— Сбреем,— сказал Николай и посмотрел на себя в зеркало.

Он давно не видел себя в таком большом красивом зеркале. Оказалось, что лицо его стало совсем медным от загара, брови и ресницы выгорели, а отпущенные от нечего делать в госпитале усы и баки выросли почему-то рыжими. Лицу они, безусловно, придавали лихость, но в то же время явно старили. Николай решительно повторил:

— Сбреем, ну их...

Парикмахер спросил, где и как Николая ранило и скоро ли наши будут в Варшаве. Николай отвечал и чувствовал, что к ответам его прислушиваются. Даже кассирша — пышная, полногрудая девица с сонными от жары глазами — вылезла из-за загородки, чтоб лучше слышать.

Парикмахер стал брить усы. Николай не мог отвечать на вопросы и, следя в зеркале за движениями парикмахера, старался припомнить, как выглядит тридцать восьмой номер, о котором говорил мальчишка во дворе. Сначала ему показалось, что это тот большой серый дом, в котором была мясная лавка. Затем,— что маленький, двухэтажный, с обваливающимся балконом. Потом вспомнил, что маленький — это тридцать четвертый, серый — тридцать шестой, а следующий за ними,— он не помнил какой,— но помнил, что перед ним рос старый, дуплистый вяз с кучей вороньих гнезд, под которыми тротуар всегда был белым. Очевидно, это и есть тридцать восьмой.

Николай стал думать о Шуре, но сразу же постарался отогнать эту мысль: Шура почему-то представилась ему похожей на ту женщину из двадцать четвертого номера — худой, поблекшей, с морщинками возле глаз. Чтоб не думать об этом, он стал рассматривать в зеркало пышную кассиршу, которая опять забралась за свою перегородку и от жары и безделья клевала носом.

Парикмахер сделал компресс, массаж, запудрил все лицо, отчего оно стало розово-лиловым, и, стряхнув последние волоски, сказал:

— Ну что? Правильная работа?

— На десять лет помолодели,— сказала из-за своей загородки кассирша,— жена не узнает.

— Узнает,— рассмеялся Николай и еще раз, издали, посмотрел на себя в зеркало. Если б не белесые, выгоревшие брови и слишком широкий нос, он совсем был бы собой доволен.

Он заплатил лишнюю десятку и вышел. Парикмахер, прощаясь, усиленно приглашал его заходить почаще.

2

Тридцать восьмой номер оказался именно тем домом, о котором подумал Николай. Вяз по-прежнему стоял на своем месте, и по-прежнему над ним вились вороны, а на тротуаре белели пятна. Дом был пятиэтажный, кирпичный. Маленькие тонконогие девочки, отчаянно визжа, играли на тротуаре «в классы».

Переходя с противоположной стороны, Николай посмотрел на окна третьего этажа (мальчик говорил, что на третьем этаже) и решил, что второе справа, с беленькой занавеской, из-за которой выглядывал фикус, и есть Шурино.

Николай вошел в парадное и по темной лестнице, с забитыми фанерой окнами, поднялся на третий этаж. Там оказалось две двери, одна против другой. На правой висела бумажка с указанием, сколько кому стучать. Фамилии Митясовой на ней не было. Николай постучал в дверь напротив. Где-то в глубине, очевидно на кухне, слышны были голоса, но никто не открывал. Он постучал еще раз. Никто не подходил.

«Если и сейчас не откроют — значит, все в порядке»,— загадал Николай, и в ту же секунду донесся далекий женский голос:

— Эмма, слышишь же, стучат! У меня руки мокрые...

Не дожидаясь Эммы, Николай торопливо постучал третий раз, и за дверью раздалось веселое детское: «Сейчас, сейчас!..»

Дверь отворила девочка лет двенадцати.

— Вам кого? — спросила она.

— Скажите, Митясова здесь живет? Или Вахрушева, может быть?

— Александра Павловна?

— Александра Павловна.

— Здесь.— Девочка повернулась в сторону кухни и крикнула: — Мама, это к тете Шуре.

Из темного коридора, вытирая руки об юбку, вышла женщина с озабоченным лицом.

—Что ж ты свет не зажигаешь, Эмма? — Девочка повернула выключатель. — Вы к Александре Павловне?

— Да.

— Ее нет дома.

Женщина вопросительно смотрела на Николая, придерживая одной рукой дверь. Николай по-прежнему стоял на площадке.

— Вы хотите ей что-нибудь передать? — спросила женщина.

— Нет... То есть... Я хотел ее видеть.

— Но ее сейчас нет дома. У нее замок висит на двери.

Женщина почему-то не приглашала его войти, и Николаю пришлось самому сказать, что он хотел бы дождаться Александру Павловну.

— Ну что ж,— сказала женщина,— пройдите тогда на кухню. Эмма, покажи.

Женщина пропустила в дверь Николая, и он пошел вслед за Эммой по очень длинному и темному коридору.

На кухне шипело три или четыре примуса. Эмма сняла с табуретки таз с мыльной водой. Николай сел. Эмма подкачала один из примусов и, так ничего и не сказав, ушла.

Потом пришла женщина с озабоченным лицом. Она, очевидно, почувствовала какую-то неловкость в том, что офицер, к тому же раненный, сидит на кухне, и предложила Николаю перейти в комнату, хотя у них там и беспорядок. Николай сказал, что, если он не мешает, ему и здесь хорошо, и спросил, когда приходит обычно Шура.

— По-разному,— ответила женщина, мешая что-то в кастрюле и стоя к нему спиной. — В три, четыре, пять... Иногда и поздно вечером.

Помолчав, она спросила:

— А вы что, родственник ее или знакомый?

— Родственник,— ответил Николай.

Женщина потушила примус и ушла.

Зашли и ушли, ничего не говоря, но с любопытством взглянув на Николая, еще две женщины. Потом вбежал на кухню очень хорошенький мальчишка лет пяти, курчавый, светлоглазый и общительный. Его сразу заинтересовала повязка.

— У дяди Феди тоже такая была,— сказал он,— только не тут, а тут. Он на костылях ходил. Вы ходили на костылях?

— Нет, не ходил,— ответил Николай.

Мальчик старательно поковырял в носу и опять спросил:

— А почему у вас одна Красная Звезда?

— Не заслужил больше.

— У дяди Феди две. И такая медаль, как у вас. И еще одна. На ней винтовка и шашка. Как вас зовут?

— Дядя Коля. А тебя?

— Вова. Вы к тете Шуре пришли?

— К тете Шуре.

— А зачем?

Николай рассмеялся.

— Хочу на нее посмотреть.

Вова сел на корточки, провел пальцем по сапогам Николая и сказал:

— Принести щетку?

Николай улыбнулся:

— Вот это ты правильно заметил, Вова. Валяй-ка, принеси.

Вова застучал голыми пятками по коридору и через минуту принес старую, облезлую сапожную щетку. Николай почистил сапоги. Вова сосредоточенно за ним следил, сидя рядом на корточках.

— А зачем вам надо на тетю Шуру смотреть? — спросил он.

— Да просто так, хочется.

— А ее столик вы знаете какой?

— Какой столик? — не понял Николай.

— Как какой? У всех тут есть столик. Показать?

— Ну, покажи. Или нет: я сам угадаю.— Николай оглядел кухню.— Вот тот? Да?

— Ага. А откуда вы знаете?

— Угадал.

Николай подошел к столику. Он был очень чистый, опрятный, покрыт свежей клеенкой. Стояло несколько кастрюлек, повернутых вверх дном, горшочек с солью. Справа, на приделанной к стенке полочке, тоже покрытой клеенкой, лежало мыло, две зубные щетки и бритвенный прибор с помазком.

— А это чье? — спросил Николай.

— Что? Щеточки? Красная — тетя Шуры, а желтая — дяди Феди. Нельзя ж одной щеткой чистить зубы, правда?

— Нельзя,— сказал Николай и подошел к окну.— Конечно, нельзя.

Внизу, на дворе, двое парней пилили дрова. Несколько минут Николай следил за мерно раскачивающимися фигурами, потом, не оборачиваясь, спросил, давно ли дядя Федя здесь живет.

— Как давно? — удивился Вова. — Всегда. Мы из Уфы приехали, он уже жил... Вы умеете в крестики и нолики играть?

— Нет, не умею.

Николай провел рукой по шелковистым Вовиным кудряшкам и направился к выходу.

3

Очень молоденькая и очень тоненькая сестра с подхваченными марлевой косынкой волосами сидела у окна в приемном покое и читала растрепанную, пухлую книгу.

— Вам надо еще в центральный распределитель сходить,— сказала она, взглянув на Николая и не притрагиваясь к протянутым ей бумагам.

— Зачем? — спросил Николай.— Мне сказали прямо в Окружной госпиталь идти.

— Нет, у нас так не принимают. Обязательно нужно через распределитель. — Она посмотрела на него снизу вверх и чуть-чуть улыбнулась.— Ведь вы с фронта, да?

— Так точно,— ответил Николай.

— С фронта все через распределитель. Это на Красноармейской, пятьдесят шесть. У нас только по направлениям Округа.

Он молча взял свои бумаги и стал запихивать их в планшетку.

— Простите,— сказала вдруг девушка,— дайте мне их на минутку.

Она вышла и почти сразу же вернулась.

— Знаете что? — Она глянула на часы.— Сейчас начало девятого. В десять часов придет майор Свешников. С ним всегда можно договориться. Приходите к десяти.

— Спасибо.

— Температура у вас нормальная?

— Спасибо. Нормальная.

Николай кивнул головой и вышел.

На перилах госпитального мостика, у массивных в виде арки ворот,— госпиталь был старинный и походил больше на крепость, чем на лечебное учреждение,— сидели, болтая ногами и покуривая, раненые.

— Эй, браток, с какого прибыл? — крикнул кто-то из них, но Николай не расслышал и молча прошел мимо.

— Не приняли, должно. В распред послали. Всех они в распред посылают...

Дойдя до старого вала, Николай остановился. Солнце садилось, и сквозь зелень тополей был виден город, освещенный косыми лучами. В воздухе пахло мятой, свежескошенным сеном. Где-то неподалеку, совсем как в деревне, грустно мычала корова. Стоял ясный, тихий августовский вечер.

Николай вынул кисет и сел под тополем. Это был старый, раскидистый, потерявший свою былую стройность тополь.

Прямо под валом расстилалось зеленое поле стадиона, а за ним, невероятно рельефные и четкие в вечернем освещении, громоздились друг на друга дома среди густо-зеленых, кое-где только начавших золотиться осенних садов. Чуть правее ярко-белым пятном на фиолетовом вечернем небе выделялась колокольня Софийского собора. Левее крепкой, точной линией вырезывался горизонт с разбросанными маленькими построечками на пологих холмах и почти черной линией дальних лесов.

Отсюда, с высоты, совсем не было видно, что город разрушен. Он казался таким, каким был всегда, каким помнил его Николай пять, десять лет тому назад. Только купол на соборе был тогда не красным, а золотым и стадион не имел такого заброшенного вида, как сейчас.

Солнце давно уже село, погас крест на колокольне, город стал плоским и расплывчатым, только линия горизонта по-прежнему четко и ясно огибала его. Подул легкий ветерок. Зашумели тополя.

Николай посмотрел на часы. Было всего лишь девять часов. Он встал, отряхнул траву с брюк и пошел вниз по Госпитальной улице.

Улица упиралась в базар. Несмотря на поздний час, торговля шла полным ходом. Иногда где-то раздавались милицейские свистки, и торговки, подхватив свои корзины,

забивались во дворы, но через минуту все опять выползало на улицу и растекалось среди рундуков и киосков.

Николай зашел в закусочную — он с утра ничего не ел. В закусочной было накурено и тесно. На стойке горела большая керосиновая лампа, и на двух столиках стояли свечи. Николай взял двести граммов свиной, называемой почему-то домашней, колбасы, хлеба и кружку пива.

Три столика из четырех были заняты. За четвертым сидел хмурый человек с подвязанной щекой и ел винегрет. Николай подсел к нему и отхлебнул пива,— оно было теплое и противное. Хмурый человек ел молча, быстро, не глядя на Николая. Потом он встал и ушел. На его место сел другой — светловолосый, румяный, с маленькими закручивающимися усиками. На нем была песочного цвета— очевидно, иранская, подумал Николай — гимнастерка с расстегнутым воротом, обнажавшим загорелую шею. Военная фуражка с голубым околышем сдвинута была на затылок.

Парень поставил на стол две бутылки пива и сразу же, привычным жестом, ударив о край стола, сбил с них металлические пробки.

— Никогда не бери бочкового,— сказал он, смахнув на пол пену.— Только жигулевское. И только четвертого завода. У Фимки всегда есть.

Его быстрые серые глаза остановились на руке Николая.

— Дать полтора за Лонжин?

— Что? — не понял Николай.

— За Лонжин, говорю, полтора куска дать?

— Я не продаю часы,— сухо ответил Николай.

Светловолосый повернулся и, как свой в этом заведении человек, крикнул через головы соседей хозяину:

— Фима, налей два по двести.

На столе появилось два стакана. Парень подвинул один Николаю.

— Поддержи, капитан. — И, не спрашивая, взял с тарелки Николая ломтик колбасы. — С Первого Белорусского?

Николай кивнул головой.

— Ну, как там наши?

— Ничего, воюют.

Парень глянул на перевязанную руку Николая.

— Перелом?

— Перелом.

— Пальцы работают?

— Нет.

— Знакомая картина. Нерв. Тебя где ранило?

— В Люблине.

— Ничего, заживет. Будь здоров.— Парень выпил и сморщился. — Хороша!

Николай тоже выпил. Водка была крепкая, захватывала дух.

— По особому заказу,— сказал парень и улыбнулся. Передние зубы у него оказались металлическими.

Он стал расспрашивать о последних событиях на фронте. Потом, посмотрев на стаканы, подмигнул:

— Еще по одной?

— Погоди, — сказал Николай, чувствуя, что с непривычки захмелел.

— Можно и подождать,— согласился парень,— нам торопиться некуда. Ты отсюда куда?

— В Окружной.

— К Гоглидзе?

— Как? — не понял Николай.

— К Гоглидзе, говорю? Мировой хирург. Я его знаю. Лучший в городе. Если перелом, к нему попадешь, как пить дать... Слушай, я все-таки еще возьму.

Парень встал и почти сразу же вернулся с двумя стаканами и порцией сыра.

За соседним столиком оживленно спорили о каком-то судебном деле. Парень крикнул:

— Прекратите дискуссию. Надоело.

За столиком стали говорить тише. Доносились отдельные фразы: «А прокурор как встанет.. Я ж Сашке говорил, стервецу... А прокурор как встанет...»

Входили и выходили какие-то люди. Когда дверь отворялась, с площади доносился хриплый голос, певший по радио «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Дверь закрывалась, и опять настойчиво лез в уши разговор о прокуроре, потом снова открывалась, и с улицы доносилось «...немно-о-ого поспят...»

Николай посмотрел на своего соседа: тот, смеясь и поминутно сдвигая то на затылок, то на лоб фуражку, о чем-то оживленно говорил.

— Ты женат? — спросил вдруг Николай.

Парень удивленно на него посмотрел.

— Нет. А что?

— Просто так. Интересно.

— Нет, не женат.

Николай рассеянно посмотрел на него, потом залпом выпил свой стакан и встал.

— Мне идти надо.

— Куда?

— Надо...

— В госпиталь? Подождет, не убежит.

— Да не в госпиталь, черт с ним...

Николай вдруг почувствовал, что у него кружится голова, и, чтобы не упасть, схватился за стол. Парень удержал его за руку.

— Садись, черт, куда сейчас идти? Тебя и ноги-то не несут, герой...

Николай сел. Расстегнул воротник. Парень принес бутылку нарзана и налил в стакан.

— Пей. Легче станет.

Николай выпил.

На противоположной стене висел плакат — женщина с довольным лицом указывала рукой на какие-то стулья, столы, зеркальные шкафы. Николай никак не мог понять, что это значит. Потом прищурил один глаз и прочел надпись: оказывается, женщина, скопив деньги в сберкассе, купила на них всю нарисованную обстановку и рекомендовала всем поступать точно так же.

— Что? Соблазнительно? — спросил парень, перехватив его взгляд.

— Плевал я на это,— мрачно сказал Николай.

— И правильно, и плюй. Не обращай внимания. Это главное. Это самое главное — не обращать внимания.

— На что?

Николай медленно повернулся и посмотрел на парня: тот сидел и крутил пальцами ус.

— На все! Как я. Иначе свихнешься. Можешь мне поверить. У меня вот фрицы стариков и двух братьев на тот свет отправили. Понял? А я вот под трамвай не бросаюсь. Один инженер, другой полковник. В двадцать пять лет — и полковник. А? Не то, что мы с тобой. Ты кем на гражданке был?

Николай пожал плечами.

— Д-два к-курса физкультурного института.

Парень протянул руку, на ней не хватало пальца.

— Дай пять. Два сапога пара.— Он зло рассмеялся, сверкнув вставными зубами.— Будем знакомы. Сергей. Человек без профессии.

Он вынул из кармана толстую пачку денег и бросил на стол.

— Видал?

Пачка состояла вся из сотенных. Сергей небрежно сунул ее в карман.

— И я один. Ни семьи, ни жены, ничего... Могу все Фимкино заведение купить. А завтра столько же будет. Понял?

Он придвинулся к Николаю. Его серые, широко расставленные глаза блестели, на лбу выступил пот.

— А наши там вперед идут, пока мы с тобой здесь...— Он вытер рукой лоб.— Будешь еще?

— Нет.— Николай прикрыл свой стакан ладонью.— Нарзану выпью.

Сергей усмехнулся.

— Фимка, дай-ка еще нарзану. Так на чем мы остановились? На женах, кажется?

Николай, сощурившись, посмотрел на Сергея. Хмель постепенно проходил.

— А ты женат? — спросил Сергей.

— Нет,— коротко ответил Николай.

— Совсем нет?

— Совсем.

— И не был?

— А что вспоминать, что было?

Сергей понимающе улыбнулся.

— Ясно. И давно?

— С сорокового.

— А знакомы?

— С тридцать девятого.

— Красивая?

— А бог ее знает. Разве в красоте дело?

— В красоте,— уверенно сказал Сергей и сдвинул фуражку на затылок.— А у меня вот нет жены. Не было и не будет.

Николай согласился: «Может, так и надо, все мы дураки в девятнадцать лет...» — и вдруг почувствовал, что случилось то, чего он больше всего боялся, что он дольше

не может, что он сейчас все расскажет этому парню, которого он видит в первый раз и, может, никогда больше не увидит. И про Шуру, и про то как он бегал к ней каждый день из института на Осиевскую, через весь город — она работала на Кабельном чертежницей,— и про ее мамашу-старушку, которая все хотела, чтоб они поженились. «Я,— говорит,— старая, скоро умру, так чтоб увидеть еще...»

Сергей внимательно слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, потом спросил:

— А сколько ей лет?

— Умерла. Сегодня только узнал, что умерла.

— Да не ей, Шуре твоей!

— Моей? — Николай попытался улыбнуться.— Дяди Фединой, а не моей.

— Ну, дяди Федина, черт с ним, я его не знаю. Лет двадцать пять?

— Двадцать четыре. Когда на фронт шел, двадцать один был. Теперь, значит, двадцать четыре. Три года прошло... Три года,— повторил он,— и три года верил. Письма писал. Как город освободили, раза три или четыре писал. И все впустую. Дом фрицы сожгли, она перебралась... И вот теперь дядя Федя....

Сергей опять подмигнул — это было у него чем-то вроде тика.

— А ты, брат, ни разу дядей Федей не был? А?

— Я? Дураком я был, вот кем я был...

Николай посмотрел на часы. Сергей протянул руку и закрыл ладонью циферблат.

— Не уходи!

— Мне к десяти в госпиталь надо...

— Да плюнь ты на госпиталь. Наваляешься еще. А мне говорить хочется...— Он перегнулся через столик и, обхватив Николая за плечи, задышал в самое ухо.— Я десять тысяч заработал. А говорить не с кем. Понимаешь? Не с кем...

Николай опять посмотрел на часы. Он никак не мог разобрать, сколько они показывают.

— А ночевать?

— Ночевать? Ты на пуховой перине будешь ночевать, понял? И утром тебе в постельку какао принесут.

Он вдруг откинулся и надвинул фуражку на глаза.

— Иди... Со мной связываться... Иди лучше.

— Ладно,— сказал Николай и заказал еще водки.

Сергей молча исподлобья следил за ним. Когда стаканы появились на столе, он отодвинул их и аккуратно прикрыл тарелкой от колбасы.

— Спасибо, капитан,— потом добавил совсем тихо:— Я давно никому спасибо не говорил.

Какой-то парень с лошадиным лицом, в кепочке с крохотным козырьком подсел к их столику и попытался завязать разговор. Сергей мрачно взглянул на него:

— Пей свое пиво и закругляйся.

Парень, торопливо допив свою кружку, ушел. Сергей поднял голову, посмотрел на Николая.

— Вот такие-то дела, брат... Пойдешь ты завтра себе потихонечку в госпиталь. Месяца два-три поваляешься на чистых простынках, а потом фью... Разведчик?

— Разведчик.

— По штанам вижу... Наводчик зорок, разведчик смел. Своих, вероятно, уже в Германии застанешь.

— Надо еще всю Польшу пройти.

— Пройду-ут... — Он потянулся, хрустнул пальцами и посмотрел на Николая. Глаза его стали серьезны, и хмель как будто совсем прошел. — Ну, а мне куда прикажешь деться, товарищ?

— Как куда?

— Вот ты на фронт, а я куда?

Он медленно отодвинулся, засучил штанину на правой ноге и показал протез — коричневый, кожаный протез, выше колена.

— Понял теперь?

Николай молча смотрел на протез. Сергей хлопнул по нему ладонью.

— Курская дуга, четыре «фоккера» на одного «Лавочкина».

Он опустил штанину и ногтем почистил прилипшую к ней грязь.

— А Васькины косточки даже собрать не удалось... А ты говоришь, дядя Федя, жена... Да ты завтра другую найдешь, захоти только. А где я Ваську найду? Я тебя спрашиваю: где я его найду? — Он встал, с шумом отодвинул табуретку.— Пойдем-ка лучше, капитан, я тебя с хорошими девушками познакомлю. Фимка, сколько с меня?

Они расплатились и вышли. На улице было темно, накрапывал теплый летний дождик. Был первый час ночи.

4

Николай долго потом не мог отделаться от какого-то неприятного ощущения, когда вспоминал проведенную с Сергеем ночь. Где-то еще пили, и пили много. Потом проснулся в незнакомой комнате. Долго не мог понять, как сюда попал. Голова трещала, хотелось воды. На маленьком столике у окна — оно выходило куда-то во двор, набитый автомашинами,—стояла наполовину пустая четвертинка, а рядом лежал огурец и записка, написанная красным карандашом на обрывке газеты:

«Опохмеляйся и топай в госпиталь. Я срочно уехал в Ростов. Если нужны деньги, возьми под кроватью, в чемодане. Ты хороший парень. *Сергей*».

Николай съел огурец — на водку он и смотреть не мог,— а через час он был уже в белом госпитальном костюме, и на температурном листе над его койкой появилась первая цифра — 36,8.

В палате, кроме него, лежало еще пять человек. Все пятеро попали в госпиталь не с передовой, как Николай, а по болезни: госпиталь был Окружной, и фронтовиков в нем было относительно мало. У двоих была язва желудка, у одного — пожилого майора — карбункул на шее, у другого остеомиелит бедра и у пятого — самого молодого — геморрой, доставлявший ему не столько физические, сколько моральные мучения, а остальным повод для бесконечных шуток.

Рана Николая, как это ни странно, оказалась в хорошем состоянии. Рентген показал, что раздробленная пулей плечевая кость начала уже срастаться, гипс решено было не накладывать, ограничились лангеткой, и надо было только раз в неделю, а то и реже ходить на перевязку. Зато нерв, приводящий в движение пальцы, был поврежден, и о полном восстановлении его раньше чем через пять-шесть месяцев, даже при самом интенсивном лечении, не могло быть речи. Иными словами, возвращение на фронт откладывалось надолго.

Товарищи по палате относились к Николаю хорошо, с тем особым уважением, с которым относятся к людям, раненным на фронте. Но он как-то мало с ними разговаривал. Ложился задолго до отбоя, в шахматы и домино не играл, а проснувшись,— он просыпался раньше всех,— долго лежал и смотрел в окно. После завтрака пролезал

через дырку в заборе и устраивался где-нибудь на тенистых склонах стадиона, того самого, на котором когда-то сам занимался. Внизу, на зеленом поле, тренировались футболисты, и Николай следил за игрой, или читал, или просто лежал и смотрел в небо.

На пятый или шестой день пришел Сергей. Николай не очень этому обрадовался — ему не хотелось ни вспоминать о той вечеринке, ни вообще вести какие-либо разговоры. Он лежал на своей излюбленной, крохотной, закрытой кустами лужайке, с которой был виден весь город и стадион, и перелистывал «Красноармеец» за сорок второй год.

Сергей пришел в сияющей белизной новенькой выглаженной рубашке и сразу же с подмигиваниями и усмешками заговорил о том, что местечко Николай выбрал чудесное, но не мешало бы сюда кого-нибудь из обслуживающего персонала,— и дальше все в том же тоне.

Николай мрачно слушал, ковыряя спичкой в зубах. Когда же Сергей заговорил о том, что девочки (речь шла о тех девицах, с которыми они тогда пили) не дают ему покоя и все спрашивают, где тот капитан с рукой, Николай не выдержал и сказал:

— И чего ты со всей этой дрянью возишься? Не противно разве?

Сергей обиделся и сухо сказал:

— Я не люблю этих разговоров, капитан.— И вдруг разозлился: — Каждый считает своим долгом читать мне нотации. Все вдруг учителями заделались. Надоело!

— Не учителями, а просто...— попытался вставить Николай, но Сергей его перебил:

— Нет, учителями! И ты в учителя лезешь. Кому какое дело? Противно или не противно, это уж мое дело. Ну, чего смотришь? Вылупился, как баран на новые ворота.

— Смотрю и думаю... Ведь я и фамилии твоей не знаю.

— А зачем она тебе? Ну, Ерошик. Старший лейтенант Ерошик. Двадцать первого года рождения. Холост. Из крестьян. Что еще надо?

— Больше ничего.

Они помолчали, потом Николай попросил Сергея, когда он будет в городе, зайти в адресный стол и узнать адрес одного его приятеля.

— Тоже двадцать первого года, Куценко, Григорий Тимофеевич. Уроженец, не помню уже, не то Житомира, не то Умани.

— Ладно,— сказал Сергей и, помолчав, спросил: — Рентген делали?

— Делали.

— Ну и что?

— Ничего. Срастается. Но поваляться придется.

Опять помолчали.

— А он не летчик? — опять спросил Сергей.

— Кто?

— Да этот самый Куценко.

— Нет. Со мной в институте учился.

— А то у нас тоже один Куценко был. Во второй эскадрилье.

Опять помолчали. Разговор явно не клеился. Сергей, лежа на животе, ковырял ножом землю, потом повернулся.

— Не сердись, капитан. У меня бывает такое.— Он улыбнулся и в улыбке его неожиданно появилось что-то виноватое. — Контуженный все-таки. Псих. Надо считаться.

Николай пожал плечами.

— А Васька вот не был. Ты знаешь? И водки не пил. Настоящий был человек. Такого теперь не сыщешь. Два года вместе летали. С ишаков еще начали. Потом на «Лавочкиных». На «Ла-5», знаешь?

— Хорошие, говорят, машины.

— Первый класс. Почище «фоккера». И вооружение дай бог. В какой хочешь бой ввязывайся. И ты б видел, что Васька на этой машине выделывал! Уму непостижимо! Ты был на Курской?

— Нет, не был.

— Жаль. Были там дела в воздухе. И ты б видел, что он там вытворял!

Сергей стал рассказывать о воздушных боях. Как все летчики, он неистово жестикулировал и несчетное количество раз повторял слово «бенц», заменявшее ему по меньшей мере десяток других слов.

Откуда-то, очень издалека, донесся звук летящего самолета. Его долго не было видно, потом он появился — крохотная, едва заметная точка.

Сергей уткнулся лицом в землю.

— Слышать не могу.

Самолет долго кружился, потом улетел, остался только длинный, серебристый, медленно расплывающийся в высоком небе след.

— В тот день Васька как раз девятого фрица сбил. Еще б одного — и получил бы Героя.

Сергей лег на спину и долго так лежал, закинув свои черные от загара руки за голову.

— Я знаю, что ты обо мне думаешь, капитан,— произнес он после нескольких минут молчания.— Сказать?

— Говори.

Сергей усмехнулся и скосил глаза на Николая.

— Распутный малый, приземлившийся летчик, работать не хочет, спекулирует своим протезом... Так ведь? Правда?

— Не совсем, но...

— Приблизительно? Да? Нет, брат, не приблизительно, а точно. Абсолютно точно.— Он помолчал.— А почему это так? Если это действительно так, то почему?

— Ты ж не хотел об этом говорить.

— Тогда не хотел, а сейчас хочу.

Он перевернулся на живот и, запустив руки в волосы, посмотрел на Николая своим обычно насмешливым, а сейчас настороженно вопросительным и каким-то не допускающим к себе взглядом, который как будто говорил: «Я вот тебя спрашиваю, но отвечать мне не надо, ты все равно не сможешь, я сам себе отвечу».

— Мне вот недавно одна цыганка гадала. И знаешь, что нагадала? «До глубокой старости,— говорит,— доживешь, а счастья не будет. Все будет — любовь, деньги, друзья, а счастья не будет».

— Дура она, твоя цыганка.

— Не-ет, не говори. Совсем не дура. Правильно старуха сказала. Биография-то у меня кончилась. Так, мура какая-то осталась. А ведь летчиком был. И неплохим летчиком. Восемь машин на счету имел. И это за каких-нибудь десять месяцев, со Сталинграда начал. Был и комсомольцем, думал в партию вступать. А теперь что? Обрубок... Летать уже не буду, из комсомола выбыл. Мотаюсь по городам с какими-то чертовыми тапочками. В Ростове инвалидная артель их делает — хорошие, на лосевой подошве. Я перевожу их в Харьков, в Одессу, сюда: с протезом всегда проедешь, никто не задержит. А трое ребят — жуки такие, дай бог — загоняют их. Вот так и живу: заработаю — пропью, опять заработаю — опять пропью. А ты говоришь— счастье. Нет его! Нога не вырастет. И жена к тебе не вернет-

ся. Нет счастья... — И вдруг подмигнул: — А может, вернется, а?

— Не знаю.

— Чего не знаешь?

— Ничего не знаю...

Сергей ловко на локтях подвинулся к Николаю и положил ему подбородок на колено.

— Э-э, брат! Да ты, я вижу, вроде меня...— И почему-то шепотом добавил: — Я ведь тоже не знаю... Раньше знал, а теперь не знаю.

— Н-да... — неопределенно сказал Николай и понял, что сейчас, так же как и тогда, в пивной, заговорит о Шуре. Черт его знает, но в Сергее, в этом, как он сам себя называл, приземлившемся летчике и распутном малом, было что-то, что располагало к нему.

Николай говорил долго и много, что с ним редко случалось. Сергей слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, перебивая иногда вопросами.

Думает ли он о Шуре? И не проще ли послать ее к черту, забыть о ней? Может, и проще, но думает. Целыми днями думает. Читает книгу и вдруг замечает, что прочел пять страниц, но не помнит из них ни одного слова,— думал о Шуре. В столовой официантка подает обед или ужин, а он смотрит на ее руки и вспоминает Шурины руки: как она расставляла тарелки, резала хлеб, разливала суп. Он вспоминает все. Ее голос, улыбку, забавную привычку влезать в пальто, натягивая его на голову. Вспоминает какие-то пустяковые мелочи — как учил ее вскакивать на ходу в трамвай. Трамвай проходил как раз мимо их дома, но до остановки было далеко, и, чтоб не опоздать в кино, они всегда вскакивали на ходу. Не всякий это умеет, а Шура наловчилась не хуже парня. Потом они пешком возвращались домой — трамваи уже не ходили — по тихой, заросшей каштанами Дорогожицкой, и Шура все боялась, что на них нападут хулиганы — она была трусихой, а он, напротив, не прочь был показать перед Шурой свою силу и уменье драться. А весной они переехали с Лукьяновки в город. Шура с азартом принялась обставлять комнату. Какие-то салфеточки, вазочки с ковылем... Все мечтала о тахте. Она могла целыми днями возиться в комнате — что-то вытирать, переставлять, перевешивать. Николай смеялся. Она чуть-чуть обижалась и говорила: «Не нравится, не смотри, а я люблю, чтоб красиво было».

Николай вспоминал. Вспоминал и рассказывал обо всех этих мелочах, о которых обычно не рассказывают, так как они интересны только тебе и уж, во всяком случае, не человеку, которого ты видишь второй раз в жизни. И все-таки он рассказывал и не думал, для чего он это делает,— просто хотелось.

— А вон и тот дом, где мы жили. Вон там, за стадионом. Видишь? Желтый, с башенкой. Рядом с разрушенным. Только окна не сюда, а во двор.— Николай бросил камешек в ту сторону, куда указывал.— И сколько прожили-то, каких-нибудь семь-восемь месяцев. Расписались в ноябре, как раз перед праздником, а в июне меня уже в армию взяли... Но, ей-богу, можешь поверить, за эти семь-восемь месяцев...— Николай вдруг умолк, взглянул искоса на Сергея (тот по-прежнему лежал на животе, глядя на город), потом сказал: — Тебе, холостяку, рассказывать? Разве ты поймешь? Мне вот тоже когда-то казалось, жена — это так, для стариков: спокойно, удобно, белье выстирано. А молодому... В кино обязательно с женой, и по субботам в театр, и чтоб галстук, воротничок, иначе нельзя. И вообще...

Сергей повернул голову, подмигнул хитрым глазом:

— Главное, «вообще». Вот оно-то и не разрешалось.

Николай помолчал, потом, не улыбаясь, сказал:

— Знаешь что, друг: иди-ка ты домой.

— Ну вот, обиделся.

— Не обиделся, а... иди-ка домой.

Сергей вытянул губы, и усики его смешно задвигались.

— Картина ясная. Вернешься.

Николай ничего не ответил. Встал. Сергей взглянул на часы.

—Тю-ю, седьмой час! Вот оно, про любовь говорить...— И тоже встал.— Так как ты сказал? Куценко, Тимофей Григорьевич?

— Григорий Тимофеевич.

— А стоящий хоть парень?

— Хороший.

— Водку пьет?

— Пьет.

— Тогда не забуду.— Он отряхнул брюки, взглянул на Николая: — А может, мне все-таки сходить к ней, к твоей Шуре? А?

— Уходи уж... Ей-богу, не посмотрю, что ты с палочкой.

Сергей рассмеялся, ловко, почти не опираясь на палку, спустился с пригорка и помахал на прощанье рукой. Николай еще полежал немного, попытался читать «Красноармеец», но не вышло, и, сделав крюк через футбольное поле, чтоб размяться, пошел на ужин.

5

В адресном столе Сергей просидел около часа. Куценко так и не нашли, зато у Митясовой оказалось два адреса: улица Горького, 24 и 38. Один из них, очевидно, был довоенный.

Сергей сунул бумажку в карман, вышел на улицу и сразу же поймал «виллис», который отвез его на улицу Горького. В двадцать четвертом Митясовой не оказалось. Он пошел в тридцать восьмой. Две беленькие девочки, сидевшие у подъезда на скамейке, сказали ему, что она живет в восьмой квартире, надо только погромче стучать. Сергей постучал погромче. Дверь почти сразу же открыли. Он спросил Митясову. Ему сказали, что надо пройти по коридору и постучать во вторую дверь налево. Он прошел по коридору и постучал.

— Войдите,— раздался высокий женский голос.

В небольшой, очень скромной комнате, почти сплошь заставленной цветами, сидела женщина за швейной машиной. Не вставая и продолжая шить, она повернулась и, сощурившись,— очевидно, она была близорука,— посмотрела на Сергея. Сергей вошел и остановился около стола.

— Вы ко мне? — спросила женщина, внимательно через плечо разглядывая Сергея, точно стараясь вспомнить, где она его видела.

Сергей кивнул головой. Женщина встала и подошла к столу.

Она была небольшого, скорее даже маленького роста, тоненькая, с густыми, падавшими на лоб каштановыми волосами и, что прежде всего обращало на себя внимание, большими, серьезными, сейчас немного недоумевающими серыми глазами. На первый взгляд ей никак нельзя было дать больше двадцати лет, и только потом, присмотревшись, Сергей увидел первые седые волосы, а возле рта две морщинки, которых не должно было быть. Одета она была в какой-то домашний халатик, который сразу же немного ис-

пуганно запахнула, и стоптанные туфли на босу ногу.

— Вы ко мне? — повторила она, машинально продолжая втыкать иголку в бортик своего халата.

— К вам,— сказал Сергей.— Можно сесть?

— Пожалуйста, пожалуйста.—Она торопливо подвинула стул и привычным жестом хозяйки смахнула с него предполагаемую пыль.

Сергей сел и вынул портсигар.

— Можно?

Женщина ничего не ответила. Облокотясь о спинку стула, она следила за пальцами Сергея, разминавшими папиросу. Потом тихо, точно в себя, спросила:

— Вы от Николая?

— От Николая,— сказал Сергей и отвел почему-то глаза.— Он сейчас в госпитале. В Окружном госпитале. Он не знает, что я к вам пришел.

— Что с ним? — спросила Шура.

— Пулевое ранение с переломом кости. Рука. И нерв поврежден.

— И нерв поврежден,— повторила Шура.

— Это значит, что он не может двигать пальцами,— пояснил Сергей.— Это надолго.

— Надолго,— опять повторила Шура и посмотрела на часы, висевшие на стенке. Они показывали без пяти шесть.

Кто-то легкими шагами прошел по коридору. Проходя мимо двери, крикнул:

— Шура, я сняла ваш суп!

— Одну минуточку! — Шура запахнула халатик и выбежала в кухню.

«Сейчас ввалится муж»,— подумал Сергей и невольно огляделся, ища признаков его существования в этой комнате.

На гвозде висел ремень с портупеей, а в углу, возле печки, стояли брезентовые, очевидно сшитые из плащ-палатки, сапоги. Фотографий ни Николая, ни кого-либо другого не было. На стенах висели картинки, вырезанные, очевидно, из журнала: мишки в лесу, бурное море с черными тучами, а возле окна большая карта с нанесенной линией фронта. В комнате было чисто и уютно, хотя и были видны следы оккупации — закопченный потолок и большой рыжий потек над самым окном.

Особый уют придавали цветы. Их было очень много: на комоде, на тумбочке, на письменном столе, но больше всего

на окне. Маленький горшочек с плющом висел на веревочке. Тут же стояли кактусы, один из них даже цвел, в нескольких бутылочках торчали молоденькие листья фикуса.

В коридоре хлопнула входная дверь. Послышались быстрые мужские шаги, и в комнату, не стучась, вошел совсем молодой, лет двадцати, не больше, парнишка в военной форме, без погонов. Увидев Сергея, он как будто немного смутился, но, ничего не сказав, подошел к письменному столу.

Почти сразу же за ним вошла Шура.

— Познакомься. Это товарищ Николая.

Молодой человек повернулся.

— Вот видишь. Я ж говорил, что это он приходил, а ты...— Он протянул руку Сергею: — Бунчужный. Он что, в госпитале?

— В госпитале.

— Очевидно, ранение не серьезное, раз он...— парень замялся.

У него было очень приятное курносое лицо с пухлыми, придававшими ему совсем детское выражение губами и смешной, тоже какой-то детский, хохолок на лбу.

— Я хотел сказать: раз он мог сюда прийти, значит...

— Нет, ранение серьезное,— сухо ответил Сергей.— Я думаю, что на фронт он уже не вернется.

— Не вернется? — Сергею показалось, что парень покраснел.— Вы думаете, что не вернется?

— Да, я так думаю.

— Вы с нами пообедаете? — спросила Шура, ставя на стол тарелки и не глядя на Сергея.

— Спасибо. Я уже обедал.

Бунчужный вынул из кармана кисет и аккуратно сложенную газетную бумагу.

— Вы курите?

— Спасибо. Только что потушил папиросу.

— А я вот махорку курю. Никак не отвыкну. Шурочка, правда, ругается,— он улыбнулся, и на щеках его появились две ямочки,— но махорка, по-моему, все-таки лучше. Правда?

Сергей ничего не ответил. Бунчужный старательно свертывал папиросу. Шура протирала тарелки.

— С посудой совсем беда. Все тарелки перебила, а новых нигде не достанешь. Может, вы все-таки пообедаете?

— Нет, я уже обедал.

Шура положила на стол ножи и вилки и вышла на кухню. Сергей сидел и крутил пальцами пепельницу. Он сам не мог понять, чего он сидит? То, что ему надо было, он сделал: сообщил Шуре о Николае, посмотрел на нового мужа,— чего ж еще сидеть? Откланялся и ушел. Вместо этого Сергей встал и подошел к карте с линией фронта.

— Тут не все отмечено,— оживленно, точно радуясь теме для разговора, сказал Бунчужный, подходя сзади к Сергею.— Сегодня передали — вы не слыхали? — наши заняли в Румынии больше ста населенных пунктов. Турну-Северин — это вот здесь — и еще какой-то, на «лунг» кончается.

— Н-да...— сказал Сергей.

— Просто не успеваешь отмечать. Уже к югославской границе вышли. В этом, кажется, месте. Постойте, я сейчас посмотрю.

Бунчужный, став на стул, начал искать газету в большой кипе на шкафу.

— Да вот она. — Он соскочил со стула.— Так... Наши части вышли на границу Румынии и Югославии. А где — не сказано. Мне почему-то казалось...

— Вы где-нибудь работаете? — неожиданно спросил Сергей, оборачиваясь к нему.

Бунчужный удивленно посмотрел.

— Работаю. А что?

— Да ничего. Просто так. Интересуюсь. На каких фронтах воевали?

— На разных. На Юго-Западном, Донском, Сталинградском..

Вошла Шура с кастрюлей в руках.

— Может, вы все-таки...

— Нет, нет... Я пошел.— Сергей посмотрел на часы.— Уже седьмой час.

— Так скоро? Мы даже...— Она стояла с кастрюлей в руках и смущенно-вопросительно смотрела на Сергея.— Вы торопитесь, я понимаю.

— Да, я тороплюсь. Всякие дела еще... Всего хорошего!

— До свидания,— скороговоркой сказал Бунчужный и протянул руку.— Вы там от меня...— Он прижал руку к груди и слегка поклонился.

Шура поставила кастрюлю на стол.

— Одну минуточку! У нас темно. Разрешите, я вперед пройду.

Открывая наружную дверь, она спросила:

— Вы не сказали, где он там лежит.

— Первое хирургическое. Третья палата. Это второй корпус слева. Большой двухэтажный корпус.

— Спасибо. Большое спасибо. Я обязательно... Осторожнее, там выбиты ступеньки, не споткнитесь.

— Ничего, ничего. Я вижу. До свидания.

— До свидания.

Сергей стал спускаться. Шура постояла у раскрытой двери, прислушиваясь к удаляющимся шагам Сергея. Лестница была темная, и он на своем протезе спускался очень медленно. Потом хлопнула входная дверь. По коридору прошла соседка. Шура дождалась, пока она не скрылась в своей комнате, прошла на кухню и там заплакала.

6

Дни по-прежнему стояли теплые, совсем летние, и Николай целыми днями, скинув рубашку, загорал на своей лужайке.

Он привык к чтению. До войны он мало читал, а если и читал, то урывками, когда нечего было делать, да и то те книги, которые откуда-то приносила Шура. Это были все старые, растрепанные, пахнувшие почему-то мышами и пылью книги про любовь, которые Николай тут же забывал — он не любил читать про любовь.

В госпитале он стал читать. Сначала тоже от нечего делать. Зашел как-то после кино в библиотеку, просмотрел газеты, увидел на полках книги и попросил, чтоб ему дали что-нибудь интересное, только не про войну и не про любовь.

Библиотекарша, пожилая, коротко остриженная и приветливая, улыбнулась и дала ему «Всадник без головы». Он на следующий же день его вернул и получил «Баскервильскую собаку», затем «Гиперболоид инженера Гарина». Эта книга ему не понравилась — слишком уж выдуманная, и он попросил что-нибудь попроще, без фантазии. Анна Пантелеймоновна улыбнулась и дала ему рассказы Горького, Николай увлекся, потребовал еще.

Он сам себе удивлялся. В прошлом году, когда он лежал в госпитале в Баку, он был первым заводилой, душой палаты. Под его руководством чуть ли не ежедневно «пикировали» в город, пользуясь выходившим на улицу окном

физкультурного зала, ходили в театр и кино, по ночам долго сидели в коридоре, развлекая дежурных сестер, или, запершись в палате, занимались недозволенной игрой в карты. Здесь же было не то. Большинство находившихся в госпитале были из местного гарнизона. К ним приходили жены, сестры, знакомые. Устроившись где-нибудь на травке, они уничтожали принесенные ими продукты и рассказывали, рассказывали без конца о своих болезнях. Николая это раздражало. А может быть, он просто завидовал. К нему никто не приходил, даже Сергей и тот исчез.

Как-то ребята из соседней палаты (там было два фронтовика) достали где-то обмундирование и предложили Николаю «спикировать» в город.

— Хватит читать. Глаза опухнут.

Николай пошел, но с ужасом заметил, что совершенно разучился веселиться, и с завистью смотрел на своих товарищей, которые, подцепив в кино каких-то барышень, просто и непринужденно болтали с ними, вызывая поминутно вспышки хохота своими незамысловатыми анекдотами и фронтовыми рассказами. Николай тоже пытался острить, но у него почему-то не получалось. Одна из девушек сказала:

— Можно подумать, товарищ капитан, что вы вчера свою бабушку похоронили.

«Черт! — выругал сам себя Николай.— Действительно, точно бабушку похоронил. На человека перестал быть похож. И из-за чего? Из-за какого-то там Феди. А ну его...» И тут же, чтоб отвлечься от этих мрачных мыслей, предложил после кино зайти посмотреть аттракцион «Петля смерти», мимо которого они как раз проходили.

После аттракциона, где двое ребят с отчаянным треском носились на мотоциклах по вертикальной стенке, Николай оживился, стал тоже рассказывать какие-то фронтовые эпизоды и вскоре даже почувствовал, что молодым девушкам не так уж с ним скучно. Потом проводили девушек домой и условились встретиться в ближайшую субботу.

Но встреча эта не состоялась. Помешали два события, происшедшие на следующий же день.

Первым событием были полученные с фронта письма. Их пришло сразу три — в одинаковых конвертах, со штампами военной цензуры.

Замполит Кадочкин, исполняющий сейчас обязанности командира роты, своим красивым круглым почерком писал, что «солдаты и офицеры вверенного вам подразде-

ления» (из деликатности он писал, что рота вверена все еще ему, Николаю, чем хотел подчеркнуть свою веру в его возвращение) по-прежнему отлично выполняют задания командования, что противник все еще упорен, но упорство это будет сломлено и день победы не за горами. В конце письма Кадочкин перечислял, кто чем награжден, и сообщал, что Николая тоже представили к ордену Отечественной войны первой степени за Люблин.

Второе письмо было от бойцов. По цветистости и замысловатости фраз Николай сразу понял, что писалось оно Толей Семушкиным, новым комсоргом, ротным поэтом, без конца снабжавшим дивизионную газету своими стихами, которые никогда не печатались. Письмо кончалось следующими строфами:

Мы скорейшего желаем
Излеченья ваших ран,
Чтоб в Берлине, мы мечтаем,
Удалось побыть и вам.

Третье письмо было от штабной писарши Лели — веселой, смешливой и тайно, хотя это знали все, влюбленной в своего командира роты.

В нем писалось с бесконечным повторением слов «товарищ капитан», что все скучают о своем бывшем командире, что Польша и поляки Леле очень нравятся, особенно польки, что на смену вишням («помните, товарищ капитан, Лущув под Люблином») пришли антоновки, что в роте есть теперь собственный павлин, которого, раненным, подобрал санинструктор Павлищев, что сама Леля теперь уже тетя — она получила письмо из дому, что у нее родился племянник («не у меня, конечно, а у моей сестры Клавы»), а пятнадцатого была годовщина части, и она выпила два стакана вина «и была совсем, совсем пьяная». Письмо было на шести страницах, кончалось пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой, что товарищ капитан не забыл своих лучших друзей, которые часто-часто его вспоминают.

Николай раз десять перечитывал письма. Он представлял себе, как их писали, как Леля бегала в штадив за конвертами (все три письма были не обычные фронтовые треугольнички, а в настоящих, совсем как в мирное время,

конвертах), как Толя Семушкин, распластавшись на животе в кустах, сочинял стихи, как долго искали и не могли найти, а потом находили наконец где-нибудь храпящим вестового Лободу, чтоб поставил свою подпись, и он, сопя и кряхтя, выводил ее аршинными буквами... Представил себе и павлина, которого, наверное, возит Михеич поверх своих мешков, и вспомнил, как Михеич после Одессы точно так же возил зачем-то козу, которая окотилась потом тремя козлятами.

Вспомнил и всех своих друзей,— и последних, и сталинградских, и первых дней войны, когда он был еще в запасном полку, и, как это всегда бывает, вспоминалось почему-то не страшное и тяжелое, связанное с войной, а какие-то веселые, забавные случаи, все то хорошее и сближающее людей, что встречалось ему за эти последние три года.

И так вдруг захотелось туда, к своим разведчикам, к своему связному Тимошке, замполиту Кадочкину, Лободе, туда, где есть для тебя настоящее дело, где ты чувствуешь себя нужным, что Николай решил сейчас же поговорить с замполитом госпиталя о своей скорейшей выписке.

Майор Касаткин — Николай столкнулся с ним, когда платил партвзносы,— произвел на него хорошее впечатление: спокойный, немногословный, сам в прошлом фронтовик. Договориться с ним, вероятно, будет нетрудно. А на фронте в конце концов, если не в дивизии, то в штабе армии, всегда можно найти работу — поверяющим или еще кем-нибудь,— работа всегда найдется.

Решение это еще больше укрепилось после второго, происшедшего в тот же день события.

7

Николай, как обычно, шел после завтрака на свою лужайку. Дойдя до «второй хирургии», он собирался уже свернуть налево, когда кто-то окликнул его:

— Товарищ капитан, а товарищ капитан!

Он обернулся. Сестра-хозяйка с кипой стираного белья в руках делала ему головой знаки, чтоб он подошел.

— Только для вас исключение сделала,— сказала она басом и не улыбаясь (она была строга, ее все боялись).— Приемные часы у нас только вечером, вы так и скажите своим друзьям. С шести часов. А днем, когда процедуры, чтоб не ходили. Там вас дожидаются.

— Кто? — удивился Николай. Сергей прошел бы прямо на лужайку.

— А мне откуда знать? — Сестра пожала толстыми плечами.— Сидит какая-то с чемоданчиком.

«Какая-то с чемоданчиком»?..»

Еще издали он увидел сидевшую на скамейке Шуру. Лица ее не было видно; она, наклонясь, что-то поправляла в туфле. Рядом на скамейке стоял маленький спортивный чемоданчик; Николай сразу узнал его,— тот самый, в котором он когда-то носил свои спортпринадлежности.

Николай часто представлял себе мысленно эту встречу. Он знал, что она должна произойти, —в трамвае ли, на улице ли, но произойти должна,— и заранее приготовил даже первую фразу. Он собирался начать первым, чтобы задать тон всему разговору и сразу же дать понять Шуре, что он ко всему относится асболютно спокойно, что прошлое должно остаться прошлым, искусственно восстанавливать его незачем, и пускай идет все так, как пошло. Что он чувствует и что думает на самом деле — это другой вопрос, но говорить он будет именно так. Так он решил. Но сейчас, подходя к Шуре, он вдруг почувствовал, что не знает ни как держать себя, ни о чем говорить.

Шура, очевидно, тоже не знала, потому что, встав, сделала навстречу ему два маленьких шажка, остановилась, держа чемоданчик обеими руками, и улыбнулась. Возле рта появились две глубокие складки — раньше их не было.

«Бог ты мой, как изменилась!» — подумал Николай и только сейчас заметил, что на скамейке, кроме Шуры, сидят еще двое раненых и что они оба с нескрываемым любопытством людей, соскучившихся по посторонним лицам, смотрят на него и на Шуру.

Один из них, круглолицый, совсем молоденький парень с мохнатым подбородком и повязанной головой, улыбнулся и сказал:

— А вы, дамочка, волновались! Видите, какой жирный стал. По две порции ест,— он подмигнул Николаю.— Солдат спить, а служба идеть. Правильно я говорю, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Они уже уходить собирались,— весело улыбаясь, объяснил парень.— Тут на них хозяйка малость накричала. А я говорю: погоди трошки, капитан, говорю, после

завтрака обязательно за книжкой придут. А тут, вижу, вы туды, за кухню, пошли. Хотел крикнуть, а тут хозяйка вас. Да вы садитесь, что вы стоите, всем места хватит.

Он гостеприимно подвинулся и смахнул полой халата какие-то щепки со скамейки.

— Да нет уж! Спасибо, мы пойдем...— Николай протянул руку за чемоданчиком.— Пойдем.

— Узнаешь? — тихо спросила Шура, отдавая чемоданчик.

— Узнаю, — сказал Николай и слегка коснулся Шуриного локтя. — Пойдем.

Они молча дошли до забора.

— Осторожно, здесь проволока,— сказал Николай, раздвигая колючую проволоку,— я уже два раза рвал пижаму.

Шура ловко протиснулась в дырку.

Они пересекли овраг и вышли на лужайку.

— Здесь хорошо,— сказала Шура и села на траву.

— Хорошо,— согласился Николай и тоже сел.— Я здесь целыми днями валяюсь.

— А почему у тебя нет гипса? — спросила Шура.— Я думала, что ты в гипсе.

— Теперь стараются без гипса. Так, говорят, лучше.

Николай полез в карман и вынул трубку, хотя ему совсем не хотелось курить. Шура сидела в трех шагах от него, опершись спиной о тоненькую, совершенно случайно попавшую сюда березку, и смотрела на город. На ней была белая, очень шедшая ей блузка с вышитыми рукавами.

— Так мама, значит, умерла? — тихо спросил Николай.

— Да.

— От рака? Это все-таки рак оказался?

— Да.

— И очень мучилась?

— Очень. Особенно последние дни.

Николай чиркнул спичкой и долго разжигал трубку.

— Мне соседка из двадцать четвертого номера сказала. При немцах еще умерла? — И, помолчав, добавил: — Так я ее и не увидел...

Шура ничего не ответила, потом спросила:

— А где тебя ранило?

— В Люблине.

— Осколком?

— Пулей. Автоматчик с крыши. Дырка пустяковая, а вот пальцы не работают.

Шура посмотрела на его пальцы: они безжизненно свисали из-под черной повязки, и сказала:

— Плохо, что правая.

— Ничего. Зато левая приучится работать.

Потом Шура стала расспрашивать, чем их кормят в госпитале и как лечат. Николай отвечал. Отвечал, машинально посасывая погасшую трубку, и думал о том, что все происходящее сейчас на этой лужайке нелепо и фальшиво до крайности.

К чему все это, думал Николай, изредка уголком глаза взглядывая на Шуру, изменившуюся, похудевшую, но все-таки почти прежнюю. К чему все это? Вот она пришла. Пришла в белой блузке с вышитыми рукавами, которая ему всегда так нравилась. И именно поэтому она ее надела. И именно для того, чтоб напомнить прошлое, она пришла со спортивным чемоданчиком и спросила, узнает ли он его. Да, он его узнал. И что же? Он и Шуру узнал. Она так же, как и раньше, немного щурит глаза, так же разглаживает юбку на коленях, и все-таки... Все-таки она чужая. Между ними выросло то, о чем,— Николаю это сейчас совершенно ясно,— ни он, ни Шура говорить не будут. Да и нужно ли?..

Они посидят так еще десять, двадцать, тридцать минут и будут смотреть на город, потому что смотреть друг на друга неловко и тяжело, и будут говорить о том , чем кормят в госпитале и почему ему не надели гипсовой повязки, и обоим им это неинтересно и не нужно, и все-таки они будут говорить только об этом, а потом Шура встанет и скажет, что ей надо куда-то идти, и Николай тоже встанет, и они попрощаются и разойдутся.

Внизу по аллее прошла парочка — знакомый Николаю интендантский майор из «терапии» с полной, коротконогой дамой. Увидев Николая, он помахал рукой, потом подошел.

— Надеюсь, не помешал вашему уединению?

Николай ничего не ответил.

— А мы вот прогуливаемся, врачи велят побольше ходить. Вот и хожу. А погодка-то, погодка-то какая!.. Как говорится, старожилы не припомнят такой осени.

Дама тоже что-то сказала насчет погоды. Шура взглянула на часы: у нее на руке были маленькие часики на черненькой тесемке. «Их раньше не было»,— подумал Николай и впервые почувствовал, как в нем зашевелилось что-то

недоброе к тому, кого он знал только как дядю Федю и кто, очевидно, подарил эти часики Шуре.

— Ну, я пойду,— сказала Шура, вставая.— Первый час уже.

Николай тоже встал. Майор приветливо помахал рукой и стал помогать своей даме спускаться с пригорка.

— Ты спешишь? — спросил Николай.

— Да. Мне надо еще... — ответила Шура и стряхнула приставшие к юбке листья.— Ты меня не провожай, я знаю дорогу.

— А чемоданчик? — сказал Николай.

— Ах да...— Она приостановилась.— Там я тебе коечто принесла. Ты возьми...— и быстро сбежала с пригорка на аллею.

Она больше ничего не сказала, даже не обернулась, а обычным своим мелким, но быстрым шагом дошла до каменной лесенки и, как всегда, бочком спустилась по ней.

Николай тоже ничего не сказал. Постоял немного, потом подошел к чемоданчику,— он так и лежал нетронутый возле березки,— раскрыл его. В нем лежала аккуратно завязанная тряпочкой бутылка молока, два пончика, яблоки и пачка печенья. Все было тщательно завернуто в бумагу. На самом дне, тоже завернутая в бумагу, лежала фотография. Николай посмотрел на нее, они были сняты вдвоем: он в белой майке, напружинившийся, чтоб лучше выделялись мускулы; Шура в той самой блузке с вышитыми рукавами, в которой она пришла сейчас, потом положил все обратно так, как оно лежало, взглянул на часы — до обеда было еще целых два часа,— старательно вычистил и продул трубку, опять набил ее табаком.

...Ну, вот и все. Встретились, поговорили и разошлись. Просто и спокойно. И ни одной слезинки. И голос ровный, спокойный. «Да... Нет... Где тебя ранило?.. Жаль, что правая». И ушла. Оставила чемоданчик,— раненым всегда что-нибудь приносят,— и ушла. И, вероятно, он больше никогда ее не увидит. А может, будет иногда встречать. Впрочем, стоит ли об этом думать? Он хочет сейчас только одного — назад, туда, где самые близкие для него люди: Тимошка, Кадочкин, веселые его разведчики.

Николай встал — начал накрапывать дождик,— пошел к замполиту. Но майор Касаткин развел руками и сказал, что хотя он и вполне сочувствует Митясову, но, к сожалению, вопросами выписки занимается начмед.

Пришлось идти к начмеду.

Разговор с ним занял не больше двух минут. Начмед, изящный капитан в пенсне, со скучающим видом человека, которого по пустякам отрывают от важного дела, выслушал Николая и коротко сказал:

— Безрукие разведчики на фронте не нужны. Это вам так же ясно, как и мне. Вылечитесь, пошлем,— и стал набирать какой-то номер по телефону.

8

Шура вышла со стадиона и остановилась возле Музкомедии. Ей надо было зайти в три места: в Стройуправление узнать насчет работы — для этого надо было свернуть налево по Красноармейской; на базар за керосином (утром она вылила последний в примус) — для этого надо было зайти домой за бидоном, и в магазин за пайком — для этого тоже надо было зайти домой и взять карточки. Все это необходимо было сделать именно сегодня, не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Шура это хорошо знала и все-таки повернула почему-то направо и пошла по Красноармейской.

Откуда-то нагнало тучи, первые за этот месяц. Стал накрапывать дождь. Он становился все сильнее, и Шура — она была в легоньких белых босоножках — зашла переждать его в обувной магазин.

В магазине выдавали резиновые тапочки. В нем была уйма народу. Шура пристроилась между прилавком и витриной, стала смотреть на улицу. Дождь припустил, превратился в ливень. Прохожих загнало в подъезды и ворота. Только наиболее смелые и торопящиеся, завернув брюки до колен, забавно прыгали через лужи и бурлящие ручьи.

— Вот это дождик так дождик...— сказал кто-то над самым ее ухом.

Шура вздрогнула. Перед ней стоял парень с маленькими, залихватски подкрученными усиками — тот самый, который приходил к ней,— стоял и улыбался.

— Узнали?

— Узнала,— сказала Шура.

— Вас что, дождь сюда загнал?

— Дождь.— Шура почему-то старалась не смотреть ему в глаза. — Вас тоже?

— Меня? Допустим, что тоже. Кстати, вам не нужны тапочки?

— Нет, не нужны.

— А то я мигом... Вы какой номер носите?

— Тридцать пятый... Но, ей-богу, мне не нужны..

— Одну минуточку!

Сергей исчез в толпе. Через минуту вернулся с маленьким свертком в руках.

— Берите. И не делайте вид, что они вам не нужны... В крайнем случае загоните на толкучке.

Шура растерянно посмотрела на Сергея снизу вверх: он был почти на две головы выше ее.

— Да, но...

— Тринадцать пятьдесят. Деньги можете прислать по почте: Главпочтамт, до востребования, Ерошик, Сергей Никитич... Смотрите, дождик-то уже прошел. И солнце вовсю.

Они вышли на улицу.

— Вам куда? — спросил Сергей.

— Мне? — Шура замялась. — Мне туда. — Она показала направо.

— Ну и мне туда.

Они пересекли площадь и пошли по направлению к центру. Небо совсем очистилось, и только ручьи, весело бегущие вдоль тротуаров, напоминали о прошедшем дожде.

— Может, вас на машине подвезти? — спросил Сергей.

— А у вас есть машина?

— Упаси бог! Деньги есть. А это то же самое. Вам далеко?

— Мне? Нет. Мне совсем близко. До этой... до площади Сталина. — Она только сейчас заметила, что Сергей прихрамывает, и смутилась. — Может, вам...

— Нам ничего. Мы привычные. А свежим воздухом дышать только полезно.

По дороге Сергей рассказывал о последнем матче «Динамо»—«Спартак» и о том, сколько какой футболист зарабатывает. Шура молча шла рядом. Когда они дошли до площади Сталина, Сергей спросил:

— Вы очень торопитесь?

— Так себе, — сказала Шура.

— Ну, если так себе, пойдем на Днепр, посмотрим. Поверьте мне, очень хорошая река.

Они свернули на Петровскую аллею. Шура по-прежнему шла молча. Ей хотелось спросить Сергея, давно ли он знает Николая, когда они в последний раз виделись и говорил

ли что-нибудь ему Николай о ней, но она не знала, как об этом заговорить, а Сергей все рассказывал о матчах, футболистах и о каком-то волосатом мальчике, который родился у его соседей и которого чуть-чуть не удушили от страха.

Они миновали стадион «Динамо» и вышли на днепровские откосы. После дождя воздух был настолько прозрачен, что, казалось, можно было рассмотреть каждый домик, каждое деревце до самого горизонта.

Тучи угнало далеко за реку, и там, где-то над Дарницей или Броварами, шел еще дождь — отсюда была видна только серая косая полоса и клубящиеся, нежно-белые вверху и почти совсем черные внизу, облака. По реке, лениво шлепая колесами, плыл маленький черненький буксир, таща за собой длинный хвост плотов.

— Смотрите, а на пляже еще люди есть,— сказал Сергей.— Интересно, что они делали во время грозы. Кстати, мой вам совет — наденьте тапочки. Вы потом не отмоете свои босоножки.

Шура осмотрелась по сторонам, куда бы сесть.

— А вот на этот дренажный колодец. Я вам газету подстелю.

Они сели на деревянный сруб. Шура скинула босоножки и надела тапочки.

— Видите, как раз по ноге. А говорили, что не нужно. Давайте, заверну.— Он аккуратно завернул босоножки и отдал Шуре.— Не хуже, чем в магазине.

— Спасибо.

— Если хотите, я могу вам и на коже достать.

— Ради бога, мне и так неловко!

— Хорошие, лосевые.

— Да перестаньте об этом говорить! Ведь мы пришли на Днепр смотреть.

— Так мы же смотрим. Вы разве не смотрите? Я смотрю. Между прочим, довольно незначительная река. Волга лучше.

— А вы видели Волгу?

— Видел. В Сталинграде.

— Вы были в Сталинграде?

— Был. Только не в, а над.

— Вы летчик?

— Был...

Пауза.

— А теперь?

— Инвалид второй группы. Отличная профессия.

— Не надо так говорить,— сказала Шура.

— Почему же? Если не ошибаюсь, ваш... Простите, я не знаю имени и отчества.

— Вы о Феде говорите? — совершенно спокойно сказала Шура. — Да, он тоже инвалид. Что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Только то, что сейчас много таких, как я и он. Вот и все. — Он помолчал. — Вы были у Николая?

— Была.

— Ну?

— Ничего...

Буксир хрипло загудел. На мостике кто-то махал белым флажком — навстречу шел пассажирский пароход.

— Простудился, бедняжка,— сказал Сергей.

— А вы давно с ним знакомы? — спросила Шура.

— С кем? С Николаем?

— Да.

— Две недели, даже меньше.

— А я думала, вы вместе воевали.

Они помолчали. Теперь загудел пассажирский пароход, низко и густо, и на нем тоже замахали флажком.

— А зачем вы тогда приходили? — спросила Шура.

— Как зачем? Чтоб сообщить вам...

— О чем?

Сергей удивленно посмотрел на Шуру. Она сидела совершенно прямо, не отрывая глаз от буксира, и машинально разглаживала юбку на плотно сжатых коленях.

— О чем вы хотели сообщить?

— По-моему, вы знаете о чем.

— Знаю. Но не знаю зачем.— Она пристально посмотрела на него и сразу же отвела глаза.— После того вы у него не были?

— Не был.

— Я была у него сегодня. Через двадцать пять минут я ушла. Я смотрела по часам... — Она соскочила со сруба.— Пойдемте. Что-то холодно стало.

Господи, как трудно, когда все надо держать в себе! И не день, не два, а годы, целые годы! Да разве об этом расскажешь? И кому? Постороннему человеку, которого видишь второй лишь раз...

Она думала, что сможет все рассказать Николаю. Но она не смогла. А если б даже и смогла? Понял бы он ее? Понял бы, что значит три года жить в оккупации? Ну не три, два с половиной. Разве могут они это понять, люди, никогда этого не испытавшие?

Две женщины. Две одинокие женщины. Причем одной за шестьдесят, и она прикована к постели. Она тает на глазах. Она не жалуется, не плачет, а когда ее особенно сильно схватит боль, поворачивается лицом к стенке, и только по вздрагивающей под одеялом спине видно, как ей больно. В комнате так холодно, что замерзает вода в стакане. Под окном весь пол покрыт инеем.

«Ах, какая сегодня вкусная каша!» — говорит мама, чтоб доставить Шуре удовольствие. Она знает, что для того, чтоб купить стакан пшена, нужно полдня просидеть на морозе с мешочком семечек. «Ах, какая она вкусная!» — говорит она, а потом всю ночь мучается от изжоги.

Мать умирает на глазах, и ничем ей нельзя помочь. До последнего дня она оставалась в сознании. Правда, она многого не понимает. Она каждый день говорит о Николае и все сокрушается, что он не попал в плен. «Мама, что ты говоришь? Разве можно такое?» — «Нет, нет, Шурочка, я понимаю. Я только думаю, что он мог бы убежать или его освободили бы: ведь они кого-то там освобождают,— и он пришел бы к тебе, к нам. А потом пришли бы наши. Разве ты не хочешь видеть Николая?» — «Хочу, очень хочу, но разве можно плен?» — «Я знаю, Шурочка. Я все понимаю. Но разве нельзя помечтать?»

Она так и не дождалась ни Николая, ни наших. Она умерла в тот день, когда немцы подожгли соседний, двадцать шестой номер. «Почему такой дым? — спрашивала она.— Надо, вероятно, прочистить дымоходы. Ты попроси Егора, он согласится. Он всегда соглашается, когда его попросят». Она умерла в восемь часов вечера, а в девять пришли эсэсовцы и вынесли всю обстановку, оставили только кровать, на которой лежала мать — маленькая, совсем как ребенок,— два стула и стол. Они были поедены шашелем, и эсэсовцы не захотели их брать.

Она похоронила маму без гроба. Егор помогал копать могилу. Он же достал подводу, на которой везли маму — просто так, завернутую в простыню. Это было в конце октября прошлого года. Через две недели пришли наши.

Она даже не помнит, как попала в эту квартиру. Вероятно, соседи привели. Сначала их было много — человек десять в одной комнате, с детьми, с какими-то узлами. Потом, когда гитлеровцы стали угонять жителей, соседки одна за другой исчезли, разбежались по окраинам, пригородным селам. Она осталась одна, совсем одна в пустой квартире. Днем сидела на чердаке, когда немцы ходили по квартирам, на ночь спускалась вниз.

В ночь на 6 ноября на улице все время была перестрелка. Всю ночь она просидела на чердаке. Сквозь слуховое окошко было видно, как горит город. Утром она спустилась в квартиру. В ней были бойцы, наши бойцы.

Может ли понять Николай, что значит увидеть своих после двух с половиной лет? После того, как немцы были под самым Сталинградом и целый день их радио кричало, что Советская Армия почти полностью уничтожена? Может ли он это понять? Она смотрела на этих солдат — грязных, обросших, пропахших насквозь махоркой и потом, и они ей казались красивее всех. Она стирала им белье, латала и штопала обмундирование, варила им обед. Один из них был ранен, совсем молоденький лейтенант, какой-то их начальник. Его нельзя было переносить, и он лежал тут же, на единственной кровати, и она за ним ухаживала. Госпитали были переполнены, люди лежали на полу. Его часть ушла вперед, он остался у нее.

Соседки — новые, появившиеся после освобождения города,— стали шушукаться чуть ли не с первого дня. В разговорах с ней они называли его не иначе, как «ваш». «Вашему там письмо пришло... Ваш опять расплескал вокруг умывальника воду».

У него были перебиты обе ноги. Это было, очевидно, очень больно, но он не стонал, а только стискивал зубы и смотрел в потолок. Когда бойцы уходили, многие из них плакали. Они любили своего лейтенанта и за глаза называли его Федюшей. Он был моложе самого молодого из своих бойцов — ему было только девятнадцать лет, а на вид и того меньше. У него еще был пушок на верхней губе, а бороды совсем не было.

Боже мой, Шура чувствовала себя совсем старухой рядом с ним! Когда перед стиркой, меняя ему рубашку, она смотрела на его совсем еще мальчишеское тело с выдающимися ключицами и лопатками, ей казалось, что это ее сын, хотя она была всего лишь на пять лет старше его.

Потом его забрали в госпиталь. Она носила ему передачу — какие-то жалкие булочки и сметану, которую он очень любил. Через полгода он уже ходил на костылях. Его демобилизовали и дали ему вторую группу. Жить ему было негде. Семья его, отец и мать, жили где-то около Риги — отец до войны работал на заводе ВЭФ, но там были еще немцы. Она поступила так, как, по ее мнению, поступил бы каждый на ее месте,— ведь он прожил здесь почти три месяца, и все равно соседки называли его «ваш».

И случилось то, что не могло не случиться, когда двое молодых людей живут под одной крышей.

Была ли это любовь? Со стороны Феди — да. Возможно даже, что это была его первая настоящая любовь, первая любовь человека, прямо со школьной скамьи попавшего в водоворот войны и в этом водовороте столкнувшегося с приласкавшей его женщиной. А со стороны Шуры? Очевидно, тоже да. Но это была какая-то другая любовь, совсем особая, родившаяся из сострадания к этому молоденькому, тяжело раненному человеку, первому человеку с красной звездочкой на пилотке, которого она увидела после двух с половиной лет оккупации.

Как это могло случиться? Ведь все эти годы она думала только о Николае. Она и теперь о нем думала. Часто по ночам, закрыв глаза, она лежала и думала о нем. Она старалась представить его себе в военной форме, в которой никогда его не видела,— когда она с ним прощалась, он был в лыжном костюме и тапочках на босу ногу,— и он рисовался ей почему-то в каске, которая, как ей казалось, очень должна была ему идти, и с гранатами на поясе. «Солдаты должны его любить,— думала она,— любить и уважать, потому что он прост, весел и смел», — в этом она не сомневалась. Она не верила в его смерть, она ждала его. Она тысячу раз представляла себе, как он постучит в комнату, войдет, посмотрит на нее. И ей становилось вдруг радостно и весело.

Может ли Николай все это понять? И захочет ли? Понять ее одиночество, ее тоску. Она ждала Николая, но его не было. Она ждала писем, их тоже не было. Она понимала, что чем дольше Федя живет у нее, тем положение становится сложнее. Но она ничего не могла поделать. Ей нужна была помощь. И вот бедная, растерявшаяся, сама не понимающая, что происходит, Шура ждала ее от Николая. Ждала все эти годы, ждала и сейчас. Он один может все

это распутать. Он один... Пусть бы он только приехал.

И вот он приехал. И она ему ничего не сказала. Она не нашла в себе смелости заговорить об этом первой. А он даже ни разу не улыбнулся. Он сидел и курил трубку. Вот и все.

...Шура и Сергей молча прошли Петровскую аллею. Возле сожженной библиотеки расстались. Сергей пошел направо; Шура подождала, пока он скроется, потом пешком пошла домой.

9

Рана Николая быстро заживала. Тот самый Гоглидзе, о котором говорил когда-то Сергей, флегматичный, невозмутимый хирург, произносивший не больше десяти—двенадцати слов в день и со скучающим, безразличным видом делавший самые сложные операции, щупал своими большими красивыми пальцами с коротко остриженными ногтями рану Николая и, позевывая, говорил:

— Что ж, можно уже и к физическим приступать...

Это значило, что грануляция идет хорошо, а на месте перелома появилась костная мозоль.

Николай стал ходить в физиотерапевтический кабинет. Маленькая, черненькая, почти совсем глухая от контузии, но живая и проворная, несмотря на свои пятьдесят лет, сестра-татарка, которую все звали просто Бариат, потому что никто не мог запомнить ее отчества — Бадрутдиновна, делала ему диатермию и гальванизацию и восторгалась его аккуратностью. Николай приходил ежедневно в точно назначенный час и терпеливо сидел на своей скамеечке, обложенный мешочками с песком. Он даже находил какое-то удовлетворение и успокоение в этих ежедневных хождениях к Бариат. Хоть и скучно, но все-таки как-то приближает выписку, приближает фронт.

Сергей так и не появлялся: очевидно, опять куда-то уехал. Один из двух язвенников выписался. На его место, как раз рядом с Николаем, лег пожилой полковник с трофической язвой на ноге. Он был ворчлив, подолгу и еще подробнее, чем остальные, говорил о своей болезни и не разрешал курить в палате. Николай стал еще реже в ней бывать и все чаще ходить в библиотеку помогать симпатичной Анне Пантелеймоновне сортировать книги. Это было

чем-то вроде партийной нагрузки, придуманной специально для него майором Касаткиным, считавшим, что этим самым он убивает двух зайцев: с одной стороны усиливает, так сказать, партийное ядро библиотеки, а с другой — отвлекает «ранбольного» от иных, менее полезных занятий.

Как-то, придя в библиотеку перед самым ее закрытием, Николай застал Анну Пантелеймоновну завязывающей толстую стопу книг. Увидев Николая, она, слегка смущаясь, попросила его дотащить их до ворот.

— Там дочка будет ожидать, на территорию ее не пускают, а до ворот я сама не дотащу. Это все не ходкие книги. Хочу завтра обменять в коллекторе на новые.

Николай охотно согласился. На полпути Анна Пантелеймоновна забеспокоилась, что ему тяжело их нести в одной руке, и предложила разделить пачку на две, чтобы и она могла что-нибудь нести. Николай рассмеялся.

— Я спортсмен, мамаша. Когда-то этой самой левой рукой двухпудовую гирю раз пятнадцать выжимал.

— Ну, смотрите, смотрите. А то я тоже физкультурница. При немцах на четвертый этаж два ведра таскала.

Они подошли к воротам. Кроме облокотившегося о перила часового, там никого не было.

— Вероятно, на лекциях задержалась,— сказала Анна Пантелеймоновна.

— А где ваша дочка учится?

— Не учится, а учит. Английский язык преподает. В строительном институте, не как-нибудь.

Они немного постояли.

— А где вы живете, Анна Пантелеймоновна?

— В двух шагах. Вон за тем домом, видите? — Она указала рукой в сторону стадиона.— По тропинке только спуститься, и сразу же налево.

Николай подхватил книги.

— Пошли.

— Что вы, что вы! — испугалась Анна Пантелеймоновна. — Вам неприятности потом будут.

— Чепуха, мамаша, я к ним привык.

Когда они дошли до запущенного четырехэтажного дома с какими-то облупившимися полуголыми старцами на фасаде, Николаю так вдруг не захотелось возвращаться в свою палату с нудным полковником, что он, даже не отказавшись из приличия, сразу согласился зайти попить чаю.

Они поднялись на четвертый этаж.

Таких комнат, как та, в которую он попал, Николай никогда еще не видел. Большая, почти квадратная, с большим окном и дверью, выходящими на заросший виноградом балкон, залитая сейчас лучами заходящего солнца, она поражала невероятным количеством книг. Они были везде: на изогнувшихся под их тяжестью полках вдоль стен, на полках дивана, на подоконнике, но больше всего на полу, прикрытые какими-то ковриками и старыми одеялами. На свободных от полок кусках стен и на самих полках висели фотографии. Их было тоже очень много: какие-то мужчины и женщины в смешных туалетах, виды незнакомых городов, озер и гор. Над диваном висела небольшая, но сразу бросавшаяся в глаза картина — озеро или пруд и склонившиеся над ним, тронутые осенью деревья.

Николай стал рассматривать фотографии. Чаще всего попадался мужчина с усами и в пенсне («Очевидно, муж»,— подумал Николай) и хорошенькая девочка с косичками и смеющимися глазами («Вероятно, дочь»). Потом выяснилось, что мужчина с усами вовсе не муж, а отец, а девочка с косичками — сама Анна Пантелеймоновна.

— А где ваш муж? — спросил Николай.

— Мой муж?

Анна Пантелеймоновна указала на маленькую, выцветшую фотографию, висевшую над диваном. Подстриженный бобриком мужчина с ружьем в руках и дама, подпоясанная широким поясом, с перекинутым через плечо биноклем, стояли возле нагруженного тюками ослика.

— Это мы в Монголии. В тринадцатом году. Видите, какая я была тогда молоденькая... Ага... Явилась наконец.

В комнату быстро вошла очень похожая на Анну Пантелеймоновну в молодости стройная девушка, с бросающимися в глаза бронзово-рыжими, по-мужски подстриженными волосами. На ней была старенькая лыжная курточка, в руках военная полевая сумка.

— Ты где пропадала, а? Пришлось вот капитана нагружать. Сколько мы с вами там простояли, Митясов? Минут двадцать, вероятно.

— Ну вот и сочиняете! — Девушка бросила сумку на диван.— Мне часовой сказал, что вы и пяти минут не ждали. Так что не надо, пожалуйста.— Она прямо и с некоторым как будто любопытством посмотрела на Николая.— А вы, значит, тот самый капитан, который про войну и любовь не любит читать?

— Тот самый,— смутился Николай.

Анна Пантелеймоновна тоже смутилась.

— Ведь и ты не любишь про войну.— Она взглянула на Николая так, будто хотела его убедить, что ничего дурного нет в том, что он не любит читать какие-то там книги.— Валя сама в «Войне и мире» всю войну пропускает.

— Вот и не пропускаю. Там, где Пьер, не пропускаю.

— А где Андрей? — Анна Пантелеймоновна чуть-чуть улыбнулась.

— Где Андрей, пропускаю. Я его не люблю ни на войне, ни дома.— Она повернулась к Николаю.— А вы любите Андрея?

Николай замялся — он не читал «Войну и мир».

— Как вам сказать...

— А Николая? Ростова?

— Ничего.

— А Пьера?

«Вот пристала»,— подумал Николай и сказал, что Пьера любит, но вообще читал уже давно и многое забыл.

— Мать, завтра же дай ему первый том.

Потом пили чай, и Валя рассказывала про какого-то студента, который сдавал за другого и сдал, но не тому преподавателю, и в связи с этим произошло что-то очень смешное. Потом мать и дочь опять заспорили об Андрее и Пьере, и Николай, чтоб отвлечь их от этой опасной темы и переключить на что-нибудь более знакомое ему (в конце концов нельзя же все время молчать), заговорил о появившемся сегодня в газетах сообщении о взятии Праги, предместья Варшавы. Но и здесь инициатива почти сразу же была выбита у него из рук. Обе женщины заспорили вдруг о варшавском восстании.

Спор длился довольно долго. Спорщицы взывали к Николаю, к его справедливости, к знанию военного дела, но только он успевал открыть рот, как они опять набрасывались друг на друга. Потом спор неожиданно прекратился. Николай никак не мог уловить, отчего и почему он прекратился, но разговор вдруг зашел о Монголии и Тянь-Шане, где Анна Пантелеймоновна была со своим мужем-геологом тридцать два года тому назад. Анна Пантелеймоновна весело и остроумно рассказывала об их злоключениях.

Николай незаметно выпил три или четыре стакана чаю и, только когда с ужасом увидел, что съедено почти полбанки варенья, стал откланиваться.

— Идите, идите,— засуетилась вдруг Анна Пантелеймоновна.— Ей-богу, неприятности будут. Идите...

Николай распрощался и ушел.

Впервые за месяц своего пребывания в госпитале он чувствовал себя легко и весело. Мать и дочь ему очень понравились. Валя, правда, показалась ему немного грубоватой, похожей на парня,— как-то очень уж по-мужски стриженные волосы, и курточка эта лыжная, и слишком энергичные для девушки манеры, зато в Анну Пантелеймоновну он просто влюбился.

Хорошие люди, думал Николай, взбираясь в темноте по знакомой тропинке, очень хорошие. И сколько книг! Но живут, видать, туговато. Туфли-то у мамаши совсем стоптанные и чулки штопанные-перештопанные. А он-то полбанки варенья умял, дурак! На зиму, должно быть, с трудом сварили, а он за каких-нибудь полчаса... А отец-то ее, очевидно, крупный какой-нибудь, важный человек был — воротничок стоячий, пенсне... Наверное, недоволен был, когда она за своего геолога вышла. Тот, видно, из простых был — все в рубашечках да сапогах. Куда он девался, интересно? Погиб, или, может, разошлись? Они ничего об этом не говорили, а спрашивать как-то неловко. А вообще хорошие люди, очень хорошие.

Вернувшись в отделение (к ужину он опоздал), Николай, не заходя в свою палату, прошел в двадцать шестую и там до двух часов просидел, болтал с сестрами и больными.

— Что-то у вас вид утомленный и синяки под глазами,— говорил наутро полковник и многозначительно тряс своей плешивой головой.— А я-то вас весь вечер ждал. Соня меняла повязку, и я хотел похвастаться. Знаете, насколько уменьшилась язва? Вы никогда не поверите. Идите-ка, я вам покажу по секрету,— если просунуть карандаш и приподнять повязку, хорошо видно.

10

Так началось знакомство Николая с семейством Острогорских. Сначала редко, потом все чаще и чаще стал заходить он к ним в промежутке между обедом и ужином. Варенье скоро кончилось, и Николай, как ни возражала Анна Пантелеймоновна, приносил с собой госпитальный сахар и масло, которого не ел.

Обычно Николай заходил за Анной Пантелеймоновной в библиотеку, и они вместе шли домой, а потом, до прихода Вали из института, он помогал Анне Пантелеймоновне на кухне чистить картошку — врачи велели ему как можно больше двигать правой рукой, и чем мельче движения, тем лучше.

Потом приходила Валя, всегда полная новых впечатлений и рассказов, и тут-то начиналась жизнь. Мать и дочь не умели говорить спокойно, они всегда спорили очень горячо и никогда друг на друга не обижались. Николая это очень забавляло. Особенно повторявшийся изо дня в день спор о сервировке стола.

— Когда ты наконец от всех этих своих фронтовых привычек отделаешься? Разве не приятнее есть за чистым столом со скатертью, чем...

— Скатерть стирать надо, а у меня времени нет.

— Видали? — Анна Пантелеймоновна искала поддержки у Николая.— Хорошо еще, курить отучилась, а то разило махоркой за версту, как от солдата.

— Так я ж и есть солдат,— смеялась Валя.

— Была. А теперь педагог. Не представляю, как и чему ты своих студентов учишь. Ты хоть их по фамилии называешь или Ваньками и Петьками, как своих зенитчиков?

— Как случится.

— Нет! Ни грана женственности. Запомните мои слова, Николай Иванович, так в старых девах и умрет! Кому она нужна такая?!

Николай смеялся и, соблюдая разумное равновесие, принимал сторону то одной, то другой. Иногда, правда, мать и дочь объединялись,— это было тогда, когда к ним приходил Валерьян Сергеевич, сосед из первой комнаты направо.

Валерьян Сергеевич был корректором. Этим делом он начал заниматься еще тогда, когда ни Николая, ни Вали не было на свете, в петербургской «Биржевке», и, пройдя штук пятнадцать газет, включая армейскую, работал сейчас в местной, городской.

Он был холост, держал не то пять, не то шесть кошек, которые без конца плодились и съедали почти весь его паек, ходил дома в мохнатом халате с длинными висящими нитками, которые за все цеплялись, и не выпускал изо рта трубки с невероятно вонючим и крепким самосадом собственной резки. От него пахло всегда табаком и одеколоном, так как брился он каждый день, и всегда неудачно: сухое,

пергаментное лицо его было усеяно бумажками и ватками, а где-нибудь возле уха или на шее оставался недобритый кусочек.

Обычно он приходил за какой-нибудь книгой, но это было только предлогом. Взяв книгу, он говорил: «Зачем вы держите эту гадость? Я б ее давно сжег», или: «Ну вот, опять подсовываете мне Чехова. Я ж его наизусть знаю, от корки до корки».

— Так не берите, если знаете.

— А что ж брать? У вас ничего нет. Дайте мне Элизе Реклю. Есть? Нету. Фабра о муравьях. Есть? Нету. Что ж у вас есть? Ведь вы библиотекарь, Анна Пантелеймоновна.

— Ладно. Вы чаю выпьете?

— Нет,— решительно говорил он и, сев за стол, машинально, ни на минуту не прекращая разговора, выпивал полчайника.

Он все и всегда осуждал, но только до того момента, пока кто-нибудь, в свою очередь, не начинал что-нибудь осуждать. Тогда он принимался яростно защищать.

— Ох, сегодня опять вечером собрание! — говорит Валя.— Совсем замучили.

— Замучили, потому что вам безразлично, что там происходит,— говорил Валерьян Сергеевич, заполняя комнату клубами своего вонючего дыма.— Вы думаете только о том, чтоб оно поскорей кончилось. Вам наплевать на то, что там говорят, наплевать, потому что вы торопитесь на свидание, потому что вы не общественница и вам ничуть не интересно, чем живет ваше учреждение.

— Вы ошибаетесь, Валерьян Сергеевич.

— Нет, не ошибаюсь. Я знаю, что вы мне сейчас скажете. Я все знаю. Про снайперский кружок. Да? Угадал? Чепуха! Это не общественная работа. Это привычный рефлекс. Когда вы были в армии, вы стреляли в самолеты; теперь самолетов нет, но вы не можете не стрелять. Ясно? Где моя книга? Я ушел.

После этого он сидел еще добрых полтора-два часа, и если уходил, то только потому, что надо было идти на дежурство или начинала орать в коридоре кошка.

Заходили и другие соседи. Вообще эта квартира, как говорила Анна Пантелеймоновна, была, пожалуй, одной из немногих в городе коммунальных квартир, в которой все живут дружно. В ней было пять комнат, и в каждой жило по семейству.

Ближайшими соседями были Блейбманы — Муня и Бэлочка. Оба были художниками: Муня плакатистом, Бэлочка книжным оформителем. Мунины плакаты — ими была увешана вся их комната — изображали стремительных бойцов с энергичными лицами, и, глядя на них, трудно было себе представить, что рисовал их тихонький, скромненький, грустно на всех смотрящий большими библейскими глазами из-за очков Муня.

Бэлочка, не под стать ему, красивая, полная, может быть даже слишком полная, чтоб быть красивой, брюнетка с маленькими усиками, обожала своего Муню и не сводила с него влюбленных глаз.

Блейбманы были молодоженами и никогда не говорили о себе в единственном числе, всегда во множественном: «Мы еще не читали этой книги», «У нас с Бэлочкой сегодня вечером занятия», «Мы с Муней сделали новую обложку». Работали они дома и почему-то преимущественно ночью. Работы свои — плакаты и обложки — относили заказчикам всегда вместе. Вообще все, что они ни делали, они делали вместе, даже гриппом заболевали в один и тот же день.

Муня был мучительно застенчив. Вероятно, именно поэтому Яшка Бортник — квартирный остряк и весельчак, шофер, живший в бывшей комнате для прислуги,— плескаясь по утрам на кухне и хлопая себя по здоровенной спине, спрашивал громким шепотом, так, чтоб все слышали:

— Скажите, Муня, с какой это девушкой я видел вас вчера на улице, а?

Муня краснел, а Яшка ржал на всю кухню так, что с потолка сыпалась штукатурка, и подсовывал свою кудлатую голову под кран.

— Ну ладно, ладно уж, не скажу Бэлочке.

Яшка Бортник работал в «Союзтрансе». Работой своей он был доволен, зарабатывал неплохо, но, как говорила Валя, деньги ему жгли карман. Приходил вдруг к Анне Пантелеймоновне и говорил:

— Слушайте, возьмите-ка у меня пару сотен.

— Это зачем же, Яша?

— Зачем или не зачем, а возьмите...

— Да не надо мне, Яша. Пятнадцатого у меня получка, а у Вали двадцатого.

— Так не для вас, а для меня. Возьмите. Меньше потрачу, ей-богу! — и совал растерянной Анне Пантелеймоновне грязные, пахнущие бензином бумажки.

После недолгого сопротивления Анна Пантелеймоновна брала (до пятнадцатого оставалась еще неделя, а денег действительно не было), но когда в получку пыталась вернуть, Яшка говорил:

— Ой, только не сегодня! Сегодня как раз хлопцы собирались ко мне прийти, вот и полетит все в трубу. Давайте лучше до завтра отложим.

А завтра опять что-нибудь придумывал.

Вообще парень он был хороший, всегда был весел, услужлив, всему дому чинил примусы и замки. Дома ходил всегда в каких-то маечках и сеточках, чтоб все видели его мускулатуру, и большего счастья для него не было, как передвинуть с места на место какой-нибудь тяжеленный шкаф или втащить на пятый этаж пятипудовый мешок картошки, обязательно бегом, через одну ступеньку.

— Сердце — будь здоров. Послушай. — И все должны были слушать его безмятежно спокойное и ровное сердце.

В пятой комнате жили Ковровы: отец, мать и шестнадцатилетний Петька — здоровенный, на голову перегнавший отца, длиннорукий, неуклюжий парень с ласковыми глазами. Он был заядлым шахматистом, фотографом и, если б не война, наверное, был бы радиолюбителем.

Отец, Никита Матвеевич, работал столяром-краснодеревщиком на мебельной фабрике, а по вечерам «халтурил» дома, и в комнате их всегда приятно пахло сосновыми стружками и опилками. Мать Петина, или «старуха», как называл ее Никита Матвеевич, хотя ей было немногим больше сорока, а самому Никите Матвеевичу порядком уже за шестьдесят, коренная москвичка, говорила с таким певучим замоскворецким произношением, что Анна Пантелеймоновна, слушая ее, восторгалась: «Ну просто Малый театр, собственная Турчанинова или Рыжова...»

Был у Ковровых еще и старший сын, Дмитрий, но он был на фронте, в Румынии. Над ковровским верстаком висел его портрет в золоченой, собственного Никиты Матвеевича изготовления рамке,— молоденький, курносый, очень похожий на отца сержант, на фоне замка и плывущих по озеру лебедей. Письма от него приходили не часто, но довольно регулярно, и хотя в них, кроме бесчисленных поклонов и «воюем помаленьку», ничего не было, обсуждались они до малейших деталей всей квартирой.

Николай почти сразу стал своим человеком. Валерьян Сергеевич, любивший поговорить о политике и событиях на фронтах, заводил его к себе, и там на громадной, во всю стену, карте Европы обсуждал с ним предполагаемые удары и делал прогнозы на ближайший месяц. Блейбманы преимущественно консультировались на всякие медицинские темы, и Николай приносил из госпиталя Муне пирамидон с кофеином,— его по ночам одолевали головные боли. Яша Бортник полюбил Николая потому, что он вообще всех любил, а к тому же оказалось, что они в сорок втором году были в одной армии и вспоминать им обоим было о чем.

Но кто больше всего полюбил Николая, так это Анна Пантелеймоновна. Может быть, именно поэтому она часто пилила его:

— Ну, почему бы вам не заняться языками? Целый день ничего не делаете, а ведь я знаю французский, Валечка — английский... Ведь вы офицер. Офицер должен быть культурен.

— Ох, мамаша,— смеялся Николай,— где там о языках думать? На фронт скоро, а вы о языках.

— И отучитесь, пожалуйста, от этих «мамаш». У меня есть имя, есть отчество — неужели так трудно запомнить? А насчет думать... Сколько вам лет?

— Двадцать пять уже.

— Господи боже мой, почему вы все считаете себя стариками? Вы и жизни-то по-настоящему не видели.

— Ну, это уж, мам... Анна Пантелеймоновна, не говорите! Три года на фронте...

— Чепуха! Честное слово, Колечка, посмотрю я на вас, и мне кажется, что я ку-уда моложе вас всех.

Николай соглашался: в Анне Пантелеймоновне действительно молодости хватало на десятерых. Маленькая, подвижная, она, казалось, никогда не устает. Придет в девятом часу, наскоро чего-нибудь хлебнет и уж бежит куда-то.

— Ты куда, мать?

— К Пустынским. У них, кажется, «Анна Каренина» есть. Третий день уж Ковальчук из хирургического просит, а она на руках. Я мигом...

Старик Ковров только улыбался и поглаживал свою лысину. Кстати, сам он тоже не прочь был, подобно Анне Пантелеймоновне, попилить Николая.

— Вот ты, капитан, ей-богу, чудак,— говорил он, откладывая рубанок и сворачивая цигарку толщиной в свой

корявый коричневый палец.— Ну что ты все на фронт рвешься? Чего, спрашивается? Свое дело ты уже сделал, хай другие теперь повоюют. Ну, в сорок первом, сорок втором, я понимаю, все на фронт рвались. А сейчас? Куда уж ему? («Он» — это означало Гитлер.) И без вас до него доберутся и шею свернут.

— Вот и не хочется, батя,— здесь Николаю разрешалось так говорить.— Вот и не хочется, чтоб без нас.

— А еще чего тебе не хочется? Работать тоже не хочется? А? Разбаловался там, на войне. Немец бежит, а тебе бы за ним, трофеи только подбирать.

Николай смеялся.

— Не всегда и не везде бежит, батя. Сейчас, например, на Висле, ребята пишут...

— Ну и пусть пишут. Наш Митька тоже пишет. Я же про него ничего не говорю. У него руки и ноги целы.

В этом месте Марфа Даниловна всплескивала руками:

— Да что ты говоришь! Побойся бога!

— А ничего я не говрю,— дразнил ее старик,— говорю, что руки и ноги целы, может еще и повоевать. А у этого... Покажи-ка, пальцы работают?

Николай пытался пошевелить пальцами, но это еще не выходило,— чуть-чуть только удавалось на несколько миллиметров отодвинуть большой палец.

— Тоже мне вояка!—Никита Матвеевич, сплюнув на пол, после чего всегда оборачивался, не заметила ли «старуха», растирал ногой плевок и брался за рубанок.—Пока твои пальцы заработают, война кончится. Что тогда делать будешь?

— Еще не знаю, Никита Матвеевич.

— А пора бы знать. Не нам же, старикам, после войны все делать! Бездельник ты, вот что...

Николай любил заходить к Ковровым, хотя там всегда был отчаянный беспорядок. Старик мастерил какие-то этажерки и полочки, Марфа Даниловна что-нибудь гладила или штопала, Петька, сидя в углу на полу, путался в каких-то проволоках и паял детали какой-то никому не известной машины. Николай сидел в углу, покуривая, и с завистью смотрел на всех троих. Шипит примус с кипящим на нем столярным клеем, шипит Петькин паяльник, пахнет клеем, смолой, керосином, и от всего этого становится как-то уютно и весело. Что и говорить! Иногда просто приятно посмотреть, как другие работают, когда сам лишен этой возможности.

Вообще с того дня, как он выпил в этой квартире первый стакан чаю с малиновым вареньем, Николай почувствовал, что дни вовсе не так уж длинны. Его даже перестал раздражать полковник Зилеранский со своей язвой. Нашлись какие-то общие, помимо лечения, темы для разговоров, и все чаще строгая, всем недовольная сестра-хозяйка, заглядывая в палату, говорила: «Нельзя ли потише, товарищ Митясов? Ваш голос даже в операционной слышно. Просто не узнаю вас...» А операционная сестра Дуся, все и всегда обо всех знавшая, начиная от главного врача и кончая вчера только поступившим больным, как-то после перевязки покачала головой и сказала дежурной няне:

— Появилась женщина. Факт.

11

Острогорским должны были привезти дрова. Валин институтский завхоз был расторопен и загодя, еще до наступления первых осенних холодов, обеспечил всех сотрудников хорошими дубовыми дровами. Договорено было, что Яшка привезет их на своей машине, а Николай с Петькой Ковровым распилят и наколют.

Дрова должны были привезти в четыре, но Николай задержался со своими процедурами и вышел из госпиталя в начале пятого.

На мосту, у входа, столкнулся с Сергеем.

— Ты куда? — спросил Сергей.

— В гости.

— К кому?

— К знакомым.

— Обзавелся уже?

— Да, обзавелся.

Николай ожидал дальнейших вопросов в стиле Сергея, но тот только сказал:

— Я тебя провожу. Не беги только, мне под гору трудно.

— Ты где пропадал? — спросил Николай.

— Где надо, там и пропадал.

— Просьбу мою, конечно, не выполнил?

— Почему конечно? В адресном столе Куценко нет. Если б был, я б тебе сообщил.

Когда они спустились с горы, Сергей сказал:

— Ты что, в театр торопишься? Боишься опоздать?

— Нет, не в театр.

— Так чего ж ты бежишь? Двуногий... Мне протез ногу натер.

Они пошли тише.

— Я видел твою Шуру,— сказал Сергей.

— Где? — Николай удивленно посмотрел на него.

— Не все ли равно где.

— А откуда ты ее знаешь?

— Знаю, и все. По-моему, ты должен к ней сходить.

Николай остановился.

— Говори толком!

— Ага... Заело.

— Брось дурака валять! Когда ты ее видел?

— Может, сядем?

Они сели на парапет у входа на стадион.

— Так где ты ее видел?

— В обувном магазине встретил.

— Ну?

— Я считаю, что ты должен к ней пойти.

— Зачем?

— Это уж твое дело. Но я так считаю.

— Слушай, Сергей: какого дьявола ты говоришь загадками?

Сергей мрачно улыбнулся.

— Она тебе говорила, что я у нее был?

— Ты? У нее? Нет, ничего не говорила. Зачем же ты к ней ходил?

— Так просто. Захотелось.

— А ну тебя!..

Николай встал.

— Сядь, сядь... Я тебе серьезно говорю: сходи к ней. Я видел ее после вашей встречи. Тут что-то не то. У меня ведь есть на это чутье.

— Что она тебе говорила?

— Ничего не говорила. Я говорил. Мы прошлись с ней до Днепра и обратно. Ей надо было на площадь Сталина. Кроме того, я познакомился с дядей Федей. Не в этот раз, а в первый, когда заходил к ней.

Николай вопросительно взглянул на Сергея. Сергей смотрел куда-то в сторону.

— Пацан! Верь моему слову, тут что-то не так.

Николай промолчал. Ему было неприятно, что Сергей заговорил о Шуре. При чем тут Сергей? И зачем он к ней

заходил? И зачем вообще он вмешивается? Сергей дернул его за рукав.

— А может, в забегаловку заскочим? Здесь недалеко. Та самая, где мы познакомились. Тяпнем по маленькой, и катись на все четыре стороны.

— Не хочу.

— Вот черт трезвый! Ты что, вообще перестал водку пить?

— Просто не хочется. Не интересует сейчас.

— И что собой представляет дядя Федя?

— Тоже не интересует. И вообще это мое дело. Не твое и не чье-либо, а мое. Понял?

Сергей пожал плечами:

— Ну, раз не мое, тогда... будь здоров!

Он крутнул в воздухе палкой и ушел.

Только пройдя квартал, Николай почувствовал, что разговаривал с Сергеем не так, как надо. Ну чего, спрашивается, он на него разозлился? Ну, не его дело, допустим, но ходил-то он ведь к Шуре не для себя, а для него, Николая... Может, вернуться?

Николай взглянул на часы. Без четверти пять. Поздно!

Придя к Острогорским, Николай застал всю квартиру толпящейся вокруг сваленных на полу здоровенных плах и обсуждающей, на сколько времени их может хватить и что экономнее: на две или три части пилить каждую плаху? Петька разводил пилу.

— Мы сейчас с дядей Колей покажем класс. Он теперь тоже левша,— Петька был левшой.

Яшка с шумом расчищал место для козел.

— Бесплатно делать не будем, учтите это, Анна Пантелеймоновна. Всякая работа вознаграждения требует.

— Ладно, ладно! Уходите же.

— Я не шучу. На четвертый этаж все-таки таскали.

— Да уходите, ради бога, не мешайте! — Анна Пантелеймоновна пыталась вытолкнуть здоровенного Яшку из кухни, но тот упирался.— По рюмке наливки, так и быть, уж дам.

— И не на кухне, а у вас, из рюмочек, по-интеллигентному.

Наконец всех удалось выпроводить, и Николай с Петькой приступили к пилке. У них не очень-то получалось — пила все время заскакивала, оба обвиняли друг друга в не-

умении пилить. Когда пришла Валя, Николай прогнал Петьку учить уроки, взял пилу в правую руку. Дело пошло лучше, хотя руку приходилось все-таки привязывать бинтом к рукоятке пилы. Рука скоро уставала, и приходилось опять переходить на левую.

Валя раскраснелась, ее бронзово-рыжие волосы растрепались и падали на глаза, левая рука упиралась в плаху, а правая равномерно и с силой тянула к себе пилу.

— Вы хороший пильщик,— сказал Николай.

— Хороший,— согласилась Валя и ловко подхватила отвалившийся кусок плахи.— Только спина с непривычки болит.— Она отбросила чурбак в сторону и посмотрела на форточку.— Какой дурак ее закрыл? Жарко...

Она легко вскочила на подоконник, открыла форточку, хотела соскочить на пол, но зацепилась юбкой за шпингалет.

— Вот черт! Единственная юбка.— Стоя на подоконнике, она наклонилась и пыталась отцепить юбку.— Ну, чего вы смотрите? Помогите!

Николай подошел. Валя стояла над ним, и от неудобного положения и досады лицо ее еще больше покраснело. Волосы почти совсем закрывали лицо, и видны были только зубы, которыми она прикусила нижнюю губу.

Николай отцепил юбку, потом, обхватив левой рукой, снял Валю с подоконника, но не сразу поставил на пол, а, крепко прижав к себе, донес до козел. Валя, чтоб не упасть, схватила его за шею.

— Эге, да вы совсем легонькая! — сказал Николай, смотря на нее снизу вверх.

— Пустите! — Валя обеими руками оттолкнула его голову.

Николай осторожно поставил ее на пол и улыбнулся. Валя не смотрела на него, она рассматривала порванное место юбки. Потом взяла пилу, тряхнула ею так, что она жалобно запела, потрогала пальцами зубцы и поставила в угол.

— Чего ж это вы, Валя?

— Хватит на сегодня,— не глядя, сказала она и быстро вышла из кухни.

Через полчаса собрались у Острогорских. Петька под шумок подливал в рюмку и сидел потный, довольный, с блестящими глазами. Валерьян Сергеевич оседлал Муню. Поминутно всовывая в лампу бумажку и зажигая от нее

гаснувшую трубку, ничего не слушая, он доказывал Муне, что к Новому году война обязательно должна кончиться. Муня соглашался.

Валя вначале сидела молча, с безразличным видом ковыряя консервы. Анна Пантелеймоновна несколько раз на нее взглядывала, потом спросила, не случилось ли у нее что-нибудь на службе. Валя, сказав, что ничего, вдруг оживилась, налила себе и пытавшейся сопротивляться Бэлочке по полной рюмке наливки и стала громко и возбужденно о чем-то ей рассказывать. Бэлочка сонно кивала головой и отодвигала рюмку.

— Да, да, ей нельзя! — Муня отодвигал рюмку еще дальше.— Сейчас ей никак нельзя! Даже наливки нельзя!

По радио объявили «Московское время двадцать два часа одиннадцать минут. Передаем беседу...» Валя встала, выключила радио и, сказавши: «Фу, как жарко!» — вышла на балкон.

В комнату постучался и вошел, смущенно поглаживая лысину, Никита Матвеевич.

— Моя старуха не у вас?

Яшка блеснул глазами.

— Давай, давай, старина. Тащи только свое «энзе». Я знаю, у тебя там есть в сундучке.

Николай уступил место Никите Матвеевичу, постоял немного у дивана, перелистывая книгу, потом тоже вышел на балкон.

У Острогорских был большой, величиной почти с комнату, густо увитый виноградом балкон. Днем с него открывался прекрасный вид на Новое Строение, Сталинку и Голосеево. Сейчас же ничего этого не было видно — город маскировался, и только изредка, справа, проносились по Красноармейской автомашины с синими фарами. Где-то очень далеко, очевидно над Каневом или Трипольем, беззвучно вспыхивали зарницы. Недавно прошел дождик, и в воздухе пахло свежей землей и отцветающим уже табаком.

Валя стояла, опершись о перила, и узенький луч света, пробивавшийся сквозь маскировку, светлой полоской лежал на ее волосах и спине.

— Вам не холодно? — спросил Николай.

— Нет, хорошо,— не поворачивая головы, сказала Валя.

Николай закурил.

— Вас оштрафуют,— сказала Валя.

— Не оштрафуют. Я осторожно. Как на фронте.

Они помолчали.

— Вы знаете, о чем я думаю? — сказала Валя.

— Нет, не знаю. Откуда мне знать?

— Ведь на фронт-то вы уже не попадете, Николай. А? Она впервые назвала его Николаем, до сих пор она говорила всегда «Николай Иванович» или «товарищ капитан».

— Почему? — спросил Николай.

— Не знаю почему, но я так чувствую. А я никогда не обманываюсь, вы знаете? Никогда. Я знала, например, что не увижу отца, и знала, что увижу мать... Дайте мне потянуть, пока мать не глядит.— Она сделала несколько затяжек и закашлялась.— Отвыкла, голова уже кружится... А вам хочется на фронт?

— Хочется. А вам?

— И мне. Но вы уже не вернетесь, я знаю. А почему вам хочется?

— Странный вопрос!

Валя насмешливо улыбнулась.

— Чем же странный?

— Не надо, Валя. Ведь вы сами были солдатом.

Валя сорвала листок, и с винограда, шурша, посыпались капли.

— Простите. Я вовсе не хотела... Просто... Вот смотрю я на вас, и иногда мне кажется... Ведь вам здесь, у нас, в тылу, очень скучно, правда?

Николай ничего не ответил.

— У вас нет семьи? — спросила Валя.

— Нет.

— Ни отца, ни матери?

— Ни отца, ни матери. Еще перед войной умерли. Да и до этого отец с матерью... В общем, не очень сладкое детство.

Валя опять сорвала листок, и опять зашуршали капли.

— И больше у вас никого не было?

Внизу, откуда-то из-за угла, выехала машина и затормозила.

— Ну куда, куда ты заворачиваешь? — крикнул кто-то снизу. Голос был хриплый и недовольный.— Глаза, что ль, повылазили?

— Как куда? По Красноармейской,— ответил другой голос.

— А кто тебя сейчас там пустит?

— Тогда по Горького. Здесь же проезда нет — стадион.

— Ну, валяй,— ответил первый голос, и машина тронулась.

Довольно долго был виден ее тусклый свет, потом она свернула на Горького и скрылась.

«...Горького... Горького... Горького, тридцать восемь... Кирпичный пятиэтажный дом, а перед ним вяз...»

Николай посмотрел на Валю. Она стояла рядом, облокотившись о перила, закрывши ладонями щеки, и смотрела на изредка вспыхивающие зарницы.

Николай придвинулся к ней, обнял ее за плечи и только сейчас, в темноте, увидел, что глаза у нее светятся, как у кошки,— маленькими красными огоньками...

12

Анне Пантелеймоновне удалось наконец уговорить Николая заняться английским языком. Как он ни мялся, как ни убеждал, что к языкам он не способен и что если уж заниматься, то потом, после фронта, ничего у него не получилось: пришлось-таки сесть за учебник.

Николай не ошибался: у него действительно не было способностей к языкам. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в английском «а» читается как «э», а «е» — как «и», перочинный ножик упорно называл «кнайф», а артикль «the» произносил «тхе» или «зи», чем приводил в неистовство нетерпеливую, горячую Валю.

— Ты это нарочно, чтоб меня разозлить! Ну, пойми, ради бога,— она брала себя в руки и начинала сначала: — надо кончиком языка упираться не в нёбо, а в зубы, пусть он даже немножко высовывается. Вот так, видишь? Ну, теперь скажи.

— Зи,— говорил Николай.

— Ах, господи! Не упирай же его в нижние зубы. В верхние, ты понимаешь, в верхние! Ну, еще раз.

— Зи,— жалобно произносил Николай.

— Нет, это невозможно! Мать, я не могу с ним заниматься. Он нарочно меня дразнит.

И все-таки она терпеливо высиживала свой час, а когда он наконец, к удовольствию обоих, истекал, Валя, энер-

гично захлопывая учебник английского языка для восьмых, девятых и десятых классов, говорила:

— В наказание иди разожги примус.

Николай покорно шел на кухню и разжигал примус. После третьего или четвертого урока вид наказания был изменен.

— Сегодня за незнание глаголов проводишь меня в институт. У меня целая куча тетрадок, в портфель не влезают.

Проводы эти постепенно из наказания превратились в привычку. Обычно Валя опаздывала на свои лекции, поэтому приходилось бежать сломя голову, и прогулки эти напоминали скорее скачки с препятствиями. Чтоб не попадаться на глаза патрулям и вовремя поспеть в институт, они шли не по улицам, а напрямик, через проходные дворы и развалины.

Как-то Валя задержалась в институте, Анна Пантелеймоновна стала беспокоиться:

— На дворе уже темно, а я уверена, что эта девчонка для скорости через пустырь побежит. Солдат солдатом, а все-таки...

Николай пошел навстречу. Валя действительно шла через пустырь и провалилась в какую-то яму. Николай обнаружил ее сидящей на груде битого кирпича и растирающей коленку.

— Матери только не говори. Придем домой — я живенько в ванной сделаю себе перевязку.

С тех пор, когда у Вали были вечерние занятия, Николай заходил за ней в институт и провожал до самого дома.

Каждый раз, когда он приходил, Валя говорила:

— Ну, что за глупости! Будут еще у тебя неприятности из-за этого в госпитале.

Николай ничего не отвечал, но на следующий день, если у Вали были вечерние часы, приходил опять.

Он полюбил эти прогулки. Полюбил потому, что кругом тихо, а над тобой — звезды, луна. Потому, что приятно идти вот так, по узкой тропинке среди полуразрушенных стен, напоминающих при лунном свете руины средневековых замков. Николаю они, правда, напоминали скорее Сталинград — средневековых замков он никогда не видел, но Валя говорила, что они похожи, и, чтоб не спорить, Николай соглашался. Полюбил он эти прогулки потому, что с Валей было легко и просто. С ней не надо было как-то по-

особенному держаться, выдумывать темы для разговоров. Они сами находились. У них был общий язык — немного грубоватый фронтовой язык. Вале частенько за него доставалось от матери, но что поделаешь, обоим он был близок.

Иногда, если было не очень поздно и не надо было торопиться домой, они возвращались через Ботанический сад. После десяти ворота закрывали, и приходилось перелезать через забор. Валя обычно подсмеивалась над Николаем — «разведчик, физкультурник...» — и Николаю нечего было ответить. Рука ему мешала, и он действительно не очень ловко перебирался через решетку. Сад большой, почти лес, заросший кустарником, старыми дубами и кленами, с шуршащими под ногами листьями, папоротником по пояс. В нем было темно, немного сыро, и почему-то невольно хотелось говорить шепотом.

Как-то в этом самом саду их застала гроза — неожиданная для сентября, совсем майская гроза, с молнией, громом, потоками воды. Они спаслись в какой-то вырытой, очевидно детьми, на дне оврага пещере. Сидели рядом: Николай — на корточках, чтоб не запачкать свой госпитальный костюм, Валя — примостившись на своем портфеле, обхватив руками колени. Когда ударял гром, Валя закрывала лицо руками. Николай смеялся:

— Зенитчица, фронтовичка...

— Ну и зенитчица и фронтовичка, а грозы боюсь.

Николай улыбался в темноте.

— Напоминает бомбежку?

— Нет, не то... не бомбежку. А может, и бомбежку. Когда в лесу и ночью. Тоже вот так сидишь, и смотришь вверх, и ничего не видишь, и хочется, чтоб только скорее кончилась.

— Хочется?

— Хочется.

— И сейчас хочется, чтоб скорее?

Валя промолчала. Николай слегка придвинулся к ней, обнял рукой за плечи.

— Не надо...— сказала Валя и отодвинулась.

Опять ударил гром. Валя закрыла ладонями уши и уткнулась в колени. При свете молнии ее сжавшаяся в комочек фигура казалась детски беспомощной. Николай снял пижаму и накинул ее на Валю.

— Мне не холодно,— сказала она.

— Неправда, холодно.

Опять загрохотало. Но уже не над головой, а где-то левее. Гроза уходила.

— Ты будешь мне писать, когда я уйду на фронт? — спросил Николай.

— Я не умею писать,— сказала Валя.

— А разве надо уметь? Надо хотеть.

— И на фронт ты не уйдешь.

— Почему?

Валя пожала плечами. Высунула руку из-под пижамы ладонью кверху.

— Дождь, кажется, прошел. Можно идти.

— Нет. Еще идет.— Николай прикрыл ее ладонь своей.— Так будешь?

Валя сделала движение, чтоб встать. Николай удержал.

— Будешь? Скажи...

Она молчала.

— Почему ты молчишь?

Валя сжала руки в кулаки и уткнула в них лицо.

— Господи... Почему я ничего не понимаю? Почему?

Она повернулась к Николаю, посмотрела ему в лицо. И совсем вдруг тихо и просто сказала:

— Я не хочу, чтобы ты уходил, не хочу... Вот и все...

Николаю показалось, что у него вдруг остановилось сердце. Потом оно застучало, во всем теле застучало — в руках, в груди, в голове. Захотелось вдруг обнять Валю, всю целиком, с головы до ног.

Но Вали уже не было. И портфельчика ее не было. И грозы не было.

Где-то вдалеке еще гремел гром, вспыхивали молнии. И небо было уже чистое.

13

Парадная дверь в отделение, как того и следовало ожидать, была закрыта. Николай, как обычно, обогнул корпус и, взобравшись на стоявшую под водосточной трубой бочку, подтянулся к окну. Оно открывалось легко и почти беззвучно. Несмотря на больную руку, Николай за последние дни так наловчился, что влезал в окно без всяких осложнений. Один только раз, зацепившись за гвоздь, слегка разодрал рукав на пижаме.

Сегодня ему не повезло. Только успел он бесшумно соскочить на пол и, стоя на цыпочках, стал закрывать верх-

нюю щеколду, как за спиной его послышались шаги. Николай обернулся. Прямо на него по коридору шел дежурный врач Лобанов. Лобанов был самый молодой, а потому и самый строгий врач в отделении. Все знали, что он ухаживает за хорошенькой, веселой блондиночкой Катюшей, сестрой со второго этажа, и свои дежурства всегда старается приурочить к дежурствам Катюши. Сегодня это, очевидно, ему не удалось, поэтому он был зол. К тому же в отделение только что привезли двух больных, чего он тоже не любил, и он с радостью выместил свою злобу на Николае.

— Завтра же доложу начальнику отделения. Безобразие какое! Капитан называется, офицер!..

Он стоял, расставив короткие толстые ноги, красный, возмущенный, а Николай весело улыбался и пожимал плечами.

— Что поделаешь, товарищ майор, бывает...

— Так вот, больше этого не будет. Понятно? Безобразие какое, в окна лазить! Завтра же доложу начальнику отделения... Извольте идти в свою палату.

Лобанов сдержал свое обещание. На следующее же утро он доложил обо всем случившемся подполковнику Рисуеву. Рисуев, мягкий, добрый, но бесхарактерный и больше всего боявшийся неприятностей, только развел руками и, чтобы снять с себя ответственность, обратился к Гоглидзе, главному хирургу и фактическому хозяину отделения.

— Что ж! После фронта и через трубу из госпиталя удерешь,— сказал Гоглидзе.— Понимаю, понимаю. Но окна все-таки придется замазать,— и взглянул на Николая.— А вам, молодой человек, делать у нас больше нечего. Рана зажила, а с нервом провозитесь еще порядком. Переведем-ка вас к Шевелю, в невропатологию. Не возражаете?

Но у Шевеля не оказалось свободных мест, и в один прекрасный вечер Николай, вытащив из-под кровати спортивный чемоданчик, стал складывать в него свое имущество: два носовых платка, бритвенный прибор и маленькие трофейные ножнички для ногтей.

— Куда же это вы, Митясов? — удивился Зилеранский.

— На волю, товарищ полковник. Залежался.

— То есть как это на волю? — Полковник собрал лоб в морщины.— А рука? А пальцы?

— И рука и пальцы — все будет в порядке. Заживе, як на собаци.

— Простите, но я все-таки не понимаю. Как же все-таки...

— А очень просто. Это называется лечиться амбулаторным способом. Буду приходить каждый день на лечение.

— А жить?

— Найдется где. Мир не без добрых людей. Давайте-ка ваш стаканчик для бритья...

В самый разгар прощального торжества, когда покрасневший и несколько уже возбужденный полковник Зилеранский провозглашал какой-то тост о дружбе, рожденной в госпитальных стенах, появился Лобанов.

— Кабак устраиваете, да? — произнес он, не повышая голоса, но достаточно громко, чтобы было слышно в коридоре.

Стоявшая за его спиной дежурная сестра глазами показала Николаю, чтобы он убрал стоявшую на тумбочке бутылку.

— Кабак в госпитале устраиваете,— не находя других слов, повторил Лобанов, уставившись маленькими глазами на Николая.— Сначала цирк, а теперь кабак? Немедленно прекратить!

Маленький, в халате не по росту, с завернутыми рукавами, он стоял в дверях, расставив, по обыкновению, свои коротенькие ножки, и чего-то ждал. Николаю стало вдруг смешно.

— Слушайте, товарищ майор,— сказал он, вставая с кровати и протягивая Лобанову свой стаканчик.— Зачем сердиться? Выпьем-ка лучше по «маленькой».

Дежурная сестра не выдержала и прыснула в рукав. Это окончательно вывело Лобанова из себя.

— Ладно,— сказал он.— Завтра поговорим! — И, круто повернувшись, вышел.

— Интересно, где? — подмигнул своему соседу Николай.— Очевидно, опять с Катюшей не получилось. Ну, да ладно... Не мне на него сердиться. Не будь его, черт его знает сколько бы еще проторчал здесь. За его здоровье, чтоб веселее ему на свете жилось!

Через полчаса в своем старом, измятом от дезинфекции обмундировании он уже весело сбегал по знакомой дорожке к стадиону.

Сначала Николай думал обосноваться у Сергея, но шестнадцатая квартира, узнав об этом, энергично запротестовала. Николай был тронут. Несмотря на тесноту и общую

неблагоустроенность, каждый предлагал угол у себя. Ковровы, Яшка и Валерьян Сергеевич долго спорили, пытаясь доказать, что именно у них Николаю будет лучше всего.

— Ну, где ты у Ковровых поместишься? — возмущался Яшка, таща Николая за рукав.— На верстаке, что ли? Четыре человека на шестнадцати метрах — с ума спятить!

— Зачем на верстаке? — Никита Матвеевич вытягивал из-под кровати какие-то доски.— Через два часа и козлы готовы. И не шестнадцать у нас, а восемнадцать.

— Ну, восемнадцать, не все ли равно? А я один в десяти.

— Один? Вы слышите? — Старик весело подмигивал, потирая лысину.— Он, оказывается, один живет.

Валерьян Сергеевич отводил Николая в сторону и, доверительно понизив голос, говорил ему:

— О чем тут спорить? Даже младенцу ясно, что если выбирать между тремя людьми на восемнадцати и...

— И пятью кошками на двенадцати,— перебивал Яшка, — да ты просто задохнешься там!

Николай только смеялся, а вечером, несмотря на мрачные Яшкины пророчества, въехал со всем своим багажом на двенадцатиметровую Валерьян Сергеевичеву жилплощадь и стал седьмым ее жильцом.

Так началось мирное квартирное житье-бытье Николая.

На первых порах все шло хорошо. Вставал рано, на кухне завтракал (Острогорские в это время еще спали), потом отправлялся в госпиталь на свои процедуры. Часам к двенадцати возвращался.

Отвыкший за последние годы от полезной и созидательной, как говорил Валерьян Сергеевич, деятельности, Николай с азартом принялся за работу. Начал с крыши. О ней давно уже все говорили, но как-то при всеобщей занятости ни у кого до нее руки не дотягивались. Насквозь проржавевшая и побитая осколками, она не спасала ни от какого самого ничтожного дождя. Как только дождь начинался, все бросались на чердак и лихорадочно подставляли под струи старые корыта, тазы и банки от свиной тушонки. Яшка достал три рулона толя, и Николай с Петей растянули его с грехом пополам над самыми аварийными местами. Там, где не хватало толя, заткнули дырки тряпками и замазали суриком.

Потом Николай принялся за комнату Валерьяна Сергеевича, несмотря на отчаянное сопротивление хозяина.

Это было, пожалуй, труднее, чем крыша. Комната утопала в ворохе газет, пустых консервных банок, бутылок, каких-то никому не нужных брошюр, старого белья и разбросанных по всей комнате одиноких носков.

Николай действовал решительно и энергично:

— Газеты собрать в кучу и на кухню — для общего пользования! Кефирную тару сдать! Носки — в печку!

С боем, шаг за шагом, завоевывал Николай новые позиции, а Валерьян Сергеевич, мечась по комнате, цепляясь халатом за все гвоздики и опрокидывая кошачьи блюдечки с молоком, грудью защищал каждый сантиметр своей комнаты. Но силы были неравные — он сдался. Пол и окна были вымыты, носки сожжены, банки и бутылки доведены до самого необходимого минимума.

И случилось чудо: Валерьян Сергеевич, вначале проклинавший тот день и час, когда появился Николай, на второй день после окончания боев, сидя на своей койке и с удивлением озираясь по сторонам, вдруг сказал:

— А вы знаете, как будто даже лучше стало. Честное слово! А? — И в знак высокой оценки проделанной Николаем работы угостил его своим спирающим дух, дерущим глотку табаком.

Такую же чистку Николай попытался организовать и у Острогорских, но здесь запротестовала Анна Пантелеймоновна. «Это дело подождет до весны»,— заявила она и разрешила Николаю только подремонтировать книжные полки. Николай принялся за полки со всем рвением, но подвигался вперед очень медленно: он рассматривал почти каждую книгу, а их были тысячи.

Он хватал все — Брема, Энциклопедический словарь, «Всемирный следопыт», пудовые комплекты старой «Нивы». Как ребенок, с увлечением рассматривал он картинки и фотографии прошлой войны.

Валя, сдерживая улыбку, поглядывала то на него, то на мать. Она прекрасно понимала, что вся эта канитель с полками затеяна матерью главным образом для того, чтобы приблизить Николая к книгам. И Николая уже нельзя было оторвать от них.

— Вы только посмотрите, из каких пушек шпарили немцы по Парижу в четырнадцатом году. Нет, вы только гляньте, Анна Пантелеймоновна! За сто двадцать километров! Бред. А после трех-четырех выстрелов выходила из строя.

Анна Пантелеймоновна подсаживалась к Николаю и вместе с ним рассматривала фотографию знаменитой «Большой Берты». Валя, сидевшая над своими тетрадками, пыталась прекратить эти мешающие ей разговоры, но в этот самый момент Анна Пантелеймоновна находила вдруг пропавшую папку с зарисовками ее покойного мужа, и тогда уже все трое, усевшись на полу, начинали рассматривать эти рисунки, и суп на печурке выкипал, а книги до вечера так и оставались неубранными.

14

Но всему приходит конец. Настало время, когда все возможное оказалось сделанным: полки отремонтированы, книги расставлены, окна вымыты и замазаны на зиму, дымоходы прочищены — Николай добился все-таки и этого, — а стол и четыре колченогих стула, с помощью Никиты Матвеевича, починены и даже отлакированы. Делать больше было нечего. Да и вообще, откровенно говоря, вся эта ремонтно-квартирная возня в конце концов тоже приелась.

Чем заняться? Куда себя деть?

Возвращаясь из госпиталя, Николай заставал пустой дом. Кроме спящего после дежурства Валерьяна Сергеевича и Блейбманов, вечно занятых своими плакатами и обложками, никого не было

Заглянет к Блейбманам, посидит там с полчасика (дольше не получалось: Бэлочка не переносила махорочного дыма, да и вообще у них было скучно), потом завернет к Ковровым — не вернулся ли Петька из школы? — и, так как обычно его не было (возвращался он только к четырем), сидел с Марфой Даниловной, пришедшей только что с базара, и выслушивал ее рассказы о том, что где дают и, как трудно на какие-нибудь тысячи полторы прокормить семью из трех человек. Потом начинался разговор о Дмитрии, о том, почему он так редко пишет. Николай успокаивал, доказывал, что на фронте во время затишья как раз и не хватает времени: всякие там занятия, поверки, инспекции,— дохнуть некогда.

Марфа Даниловна только качала головой.

— Все это мы знаем, Коленька, но какое ж там затишье? Газет вы не читаете. Вот пишут, опять они из Румынии какую-то границу перешли, опять сколько-то там населенных

пунктов захватили. Никакого там затишья нет.— И вздыхала: — Господи, когда ж этому конец будет!

Потом приходил Петька, но, как назло, оказывалось, что завтра у него какая-нибудь контрольная и надо готовиться, и Николай от нечего делать плелся к Острогорским и в десятый раз рассматривал надоевшую уже «Ниву» за 1914 год.

К тому же и с Валей вдруг разладилось. Разладилось после того, как он однажды подбил Яшку (это было не очень трудно) пойти к Сергею. Сергея они, правда, не застали, но зашли в какое-то другое место и вернулись домой в четвертом часу ночи.

Дверь отворила им Валя. С места в карьер набросилась:

— Вы что, с ума сошли? Мать до сих пор заснуть не может. Сказали — до двенадцати, а сейчас...

Николай с Яшкой стали весело оправдываться, но Валя не пожелала разговаривать и хлопнула дверью перед самым их носом.

На следующий день, когда Николай, как обычно, зашел за ней в институт, Валя сказала ему, что сейчас она не может идти и что вообще ему беспокоиться нечего: преподаватель марксизма-ленинизма живет в соседнем доме, она пойдет с ним.

Николай обиделся. Ну и черт с ними со всеми! Через неделю комиссия, выпишут наконец и отправят на фронт. Хватит. Повалялся на диване, попил чайку с вареньем — и хватит. Пора и честь знать...

Но мечтам этим не суждено было сбыться. Через неделю Николая действительно вызвали на медкомиссию. Шестеро врачей специальной электрической машинкой проверили работоспособность его пальцев на правой руке, покачали головами и на выписке из истории болезни поставили штамп: «К военной службе не годен. Подлежит переосвидетельствованию через шесть месяцев».

Николай понял — фактически это была демобилизация. Ему выдали два аттестата, вещевой и продовольственный, справку о том, что с такого-то по такое-то капитан Митясов находился на излечении в таком-то госпитале, и велели 15 апреля будущего года явиться в военкомат на комиссию.

Николай сунул бумажки в карман и, не заходя в отделение, медленно стал спускаться по знакомой дорожке. У входа на стадион он остановился, посмотрел в ту сторону, где было Фимкино заведение, подумал, не зайти ли, но не зашел, а пошел домой.

Дома никого не было: Острогорские еще не вернулись, Валерьян Сергеевич был на дежурстве, Ковровы куда-то ушли. Николай заглянул в Яшкину каморку. Яшка спал на животе, раскинув ноги и засунув голову под подушку.

Николаю хотелось говорить. Он сделал последнюю попытку — постучался к Муне. Нагнувшись над столом, Муня дорисовывал ноги очередного красноармейца.

— Я вам не помешал? — спросил Николай.

— Нет, что вы, что вы... Пожалуйста.

Муня поднял голову и, как обычно, приветливо улыбнулся.

Было совершенно ясно, что Николай ему помешал.

— Работаете? — спросил Николай.

— Работаю.

— И как всегда, завтра утром сдавать?

— Завтра утром.

— Жаль, а то бы....— Николай огляделся по сторонам.— Бэлочки нет, мы бы с вами... Впрочем, вам нельзя, вам завтра сдавать.

— Да, завтра сдавать,— Муня почесал линейкой затылок.— Такие сроки, такие сроки, просто ужас!

Николай сел на кровать — более подходящей мебели не было.

— А я вот только что с комиссии вернулся.

— С комиссии? Ну-ну, и что же?

— Шесть месяцев дали.

— Поздравляю. Чудесно! — Муня сделал какое-то движение — очевидно, хотел пожать Николаю руку, но тот удивленно на него посмотрел.

— Что ж тут чудесного?

Муня, как всегда, смутился, боясь, что сказал какую-то бестактность.

— Как что? Отдохнете, поправитесь, ну и вообще...

— Муня, дорогой, простите, но вы ничего не понимаете. Это только называется шесть месяцев, а на самом деле...— Николай хлопнул себя по плечу.— Посыпай погоны нафталином — и в комод.

— Ах, так... Ну, тогда, конечно...

— Что — конечно?

— Ну...— Муня стал опять чесать линейкой свою голову.— Я понял вас так, что вам не хочется демобилизовываться?

Николай встал.

— Слушайте, плюньте на свой плакат, давайте выпьем.

Муня зачем-то посмотрел на часы.

— Ну чего вы на часы смотрите? У меня сегодня такой день чертов, а вы... У вас есть деньги?

Муня торопливо стал искать в карманах, потом заглянул в какую-то книгу, коробочку на окне. Общими усилиями наскребли рублей двадцать. Николай вздохнул.

— Плохо дело.

— А может, Яшка? — робко сказал Муня.

Николай весело рассмеялся.

— Муня, вы определенно подаете надежды.

Яшка сначала недовольно что-то бурчал из-под своей подушки, но потом, узнав в чем дело, мигом натянул сапоги, хлопнул дверью, а через десять минут явился с бутылкой.

Муня скоро увял, а Николай с Яшкой завели спор.

Собственно говоря, это был даже не спор,— просто обоим хотелось говорить и не хотелось слушать. Поминутно друг друга перебивая, они упорно возвращались каждый к своему. Яшке, как и всегда, когда он выпьет, начинало казаться, что все недооценивают его службу в армии (до конца прошлого года он был шофером — сначала в дивизии, потом в армии и, наконец, в штабе фронта, откуда его демобилизовали, как бывшего железнодорожника). Работа шофера, по его словам, была наиболее ответственна и опасна, и он весьма энергично доказывал это, приводя бесчисленное количество примеров. Николай соглашался, но довольно вяло. Ему самому хотелось говорить — о сегодняшней комиссии, о какой-то несправедливости, о том, что вот он три года провоевал, а теперь, когда Берлин уже не за горами, приходится — ему очень понравилось это выражение, и он несколько раз его повторил — посыпать погоны нафталином и прятать их в комод.

— В сорок первом, когда меня в первый раз ранило,— Николай расстегивал рубашку и показывал какие-то рубцы на плече,— черта с два, не демобилизовали. Тогда люди нужны были. А теперь? Теперь, я тебя спрашиваю? Уже не нужны? Как Берлин брать — так спасибо, товарищ, можете отдохнуть. А если я не хочу? А? Не хочу еще отдыхать?..

Яшка ждал только паузы.

— Ты говоришь — ты. А я? Вот вы все думаете, что шофер на войне — это просто так, задницу на мягоньком

отсиживали. Говорить легко. А ты вот сядь за баранку, сядь! Интересуюсь, что ты запоешь.

— Да я ж ничего...

— Постой, постой, не перебивай! Ну, не ты, так другие... которые языками мелют. Посадил бы я их всех на «зиса» и спросил бы. А кто связь с Ленинградом по льду поддерживал? А? Кто с «катюшами» по всему фронту мотался? А? Молчат, сукины сыны. Так какого же дьявола они мне голову морочат?

Кого Яшка подразумевал, когда говорил «они», было не совсем ясно, но, так или иначе, на «их» голову сыпались проклятия, а роль Яшки в разгроме гитлеровских полчищ принимала поистине грандиозные размеры.

Оба доказывали свою правоту с таким азартом и так громогласно, что не заметили, как приоткрылась дверь и в щель просунулась Валина голова.

— Слушайте, товарищи: ведь вас на лестнице даже слышно.

Яшка стукнул кулаком по столу.

— Валя! Молодчина. Старший сержант! К нам!

Валя сморщила нос:

— Не пью.

— А если попросим? — Яшка попытался придать своему лицу трогательно-просительное выражение.

Валя не выдержала и рассмеялась.

— Ладно. Переоденусь только. На дворе такой дождь, до нитки промокла,— и убежала.

Яшка подмигнул.

— Бабец что надо, а?

Николай ничего не ответил.

— Чего жмешься? Взял бы и женился. Ей-богу, пара. Фронтовичка, своя в доску.

— Чего ж ты не женишься? Взял бы и женился.

— Я? Я совсем другое дело. Во-первых, она на меня даже и не смотрит. А потом, куда мне торопиться? Мне и так хорошо.

— Ну и мне хорошо.

— Врешь!

— Почему вру?

— Потому что врешь. Думаешь, я не вижу? У Яшки глаз дай боже. Женись, не пожалеешь. Она и варить, и стирать...

Окончить ему не удалось. Заснувший Муня вдруг с гро-

хотом свалился со стула. Лежа на полу, испуганно моргал глазами. Яшка ловко его подхватил и уложил на кровать.

— Бывает. Спи, Муня. Мы Бэлочке ничего не расскажем.

Муня свернулся комочком и, подложив по-детски руки под щеку, моментально заснул.

Вошла Валя. На ней было синее, с какими-то складками на груди и белым воротничком платье. Оно ей не шло, было узко в груди, и по всему видно было, что она чувствует себя в нем неловко.

Яшка с Николаем, привыкшие видеть ее всегда в гимнастерке или лыжной курточке, тоже слегка опешили.

— Вот это да! — Яшка даже сощурился, будто не мог выдержать такого ослепительного зрелища.

Потом он повторил все то, что говорил Николаю, о роли шоферов на войне, и начал было рассказывать какой-то фронтовой эпизод, в котором шофер спас чуть ли не целую дивизию, но в середине рассказа вдруг спохватился, сказал, что ему куда-то еще надо, и, выходя, весьма выразительно подмигнул Николаю.

После Яшкиного ухода несколько минут молчали. Валя старательно смывала какое-то пятно на клеенке.

Первым заговорил Николай:

— Ну так как же? Сменила наконец гнев на милость?

Валя, до сих пор делавшая вид, что разговаривает главным образом с Яшкой, подняла голову.

— Просто интересуюсь, чем у тебя комиссия кончилась.

— И только?

— И только.

— И в институт за тобой по-прежнему не заходить?

— Там видно будет.— Она чуть-чуть, краешком губ, улыбнулась и посмотрела на Николая.— Ты был на комиссии?

— Был.— Николай указал на пустую бутылку.— Потому и пьем.

— Что сказали?

— Нафталин есть?

— Какой нафталин?

— Погоны посыпать — и в комод. Понятно? — Николай встал и прошелся по комнате.— Нет больше капитана Митясова. Есть гражданин Митясов Н. И.— Он искусственно рассмеялся.— Отвоевался, голубчик. Разведчик в отставке. Квартирант на продавленном диване.

Валя помолчала, потом сказала:

— Ну что ж, я очень рада.

— Чему?

— Тому, что нет больше капитана Митясова.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно.

Николай остановился.

— Чепуха! Ты говоришь чепуху.—Он даже покраснел.— Понимаешь, чепуху!

Валя ничего не ответила. Николай прошелся по комнате, постоял над плакатом, который Муне так и не суждено было сегодня докончить,— солдат с открытым ртом указывал на что-то еще не нарисованное,— потом зло, раздраженно заговорил опять о трех годах войны, о Берлине, о своем первом ранении, о том, что теперь он никому не нужен. Валя слушала молча, с таким видом, с каким слушают давно известные вещи. Николай сел рядом с ней на кровать.

— Ну, чего ты молчишь?

— А о чем мне говорить? Я уже сказала. И Муня вот спит. Мы его разбудим.

— Ну и черт с ним, с Муней! Ему завтра работу сдавать. Нечего ему спать. Вставай, Муня!

Николай повернулся на кровати и хлопнул Муню между лопаток. Муня даже не шелохнулся, только почмокал губами. Валя поднялась. Николай схватил ее за руку.

— Куда?

Валя спокойно высвободила руку.

— Чай ставить. Скоро мама придет.

— Ну, погоди! Куда ты торопишься? — Он опять взял ее за руку и, потянув, посадил на кровать.— Ну, я выпил немножко. Что ж тут такого? Ну, выпил, и говорить хочется, а ты... Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю. Только давай в другой раз, не сейчас.

— Ладно,— сухо сказал Николай и сделал движение, чтобы встать. Но не встал, а взял лежавшую на столе Валину руку и поцеловал ее. Валя на этот раз не выдернула руку.

— Ох, Николай, Николай. Почему все мужчины такие глупые? Ужасно глупые, ей-богу! Думаешь, я не поняла, что означало твое «ладно».

— Ну?

— Ладно. Не хотите меня слушать, буду тогда действовать. Пойду завтра в военкомат и подам заявление, чтобы

на фронт послали. А не разрешат — плюну на все, сяду на поезд и поеду в свою часть. Там меня всегда примут. Угадала?

Николай дунул Вале в лицо и рассмеялся.

— А что, не примут, скажешь?

— Конечно, примут. Я ж и говорила.— Валя встала.— Пошли примус разведем. Придет мать, достанется нам.

Они вышли в кухню. Валя сняла с полки примус и налила в него бензин. Николай сел на подоконник, закурил.

— У тебя есть спички? — спросила Валя.

Николай молча подал коробку. Валя зажгла примус и, прищурившись, смотрела на тихое голубое пламя.

— А в общем, все мы одинаковые,— сказала она, оторвавшись наконец от пламени.— Думаешь, я не бегала в военкомат, не подавала рапорты? А у меня ведь мать. И я ее почти три года не видела. А вот бегала...

Пламя стало гаснуть. Валя накачала примус и поставила на него большой жестяной чайник. Николай, сидя на подоконнике, смотрел на нее, на ее быстрые, ловкие движения, на стройную фигуру с немного слишком широкими плечами и невольно улыбнулся, вспомнив Яшкино — «фронтовичка, своя в доску».

Валя подошла к окну, вытирая руки полотенцем. На дворе шел дождь, противный, серый, осенний дождь. У самого окна проходила сломанная водосточная труба, и струя воды с шумом била о карниз.

— Да. Странно все это...— сказала Валя.

— Что это?

— Да все...— Валя пальцем нарисовала какую-то фигуру на запотевшем окне, потом стерла.— А ведь на фронт-то тебе хочется не только потому, что тебе воевать хочется. Я говорю — не только, понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— Тебе в тыл не хочется. Вот в чем вся заковыка.

Николай посмотрел в окно, на мокрые крыши и тротуары, на перебегавшего улицу человека в коротеньком пальто с поднятым воротником.

— Да...— неопределенно сказал он и с силой раздавил остаток цигарки о подоконник. В коридоре хлопнула дверь. Вернулась Анна Пантелеймоновна.

За чаем все молчали. Анна Пантелеймоновна после долгого, утомительного собрания пришла усталая, бледная. Разговор не клеился. Николай, против обыкновения, выпил

только один стакан чаю и пошел спать, хотя не было и десяти часов.

Валерьян Сергеевич был на дежурстве. Не зажигая света, Николай вытянулся на диване и натянул на себя шинель. В углу, в ящике из-под консервированного молока, на остатках старого стеганого одеяла, копошились родившиеся сегодня утром котята, и старая серая Грильда о чем-то тихо и ласково с ними разговаривала.

Николай лежал на спине, глядел в черный потолок и думал о том, почему так глупо устроен мир, почему человек, имеющий возможность спать под железной крышей после трех лет бездомной солдатской жизни, не только не радуется этому, а, наоборот, хочет вернуться туда, где, как о чем-то несбыточном, мечтаешь о сне, а спать нельзя.

И, может быть, только сейчас, лежа на этом продавленном диване и глядя в потолок, он впервые понял и ощутил то, о чем говорила сегодня Валя. Да, он отвык от мирной жизни. Он привык к фронту, привык к людям, к своим обязанностям, своему положению. Фронт стал его домом. Больше домом, чем эта комната с четырьмя стенами, потолком, пролежанным диваном. Там, на фронте, он был своим, там он знал что делать, здесь, даже здесь, где к нему все так хорошо относятся,— нет.

Кому нужно теперь его умение бесшумно подползти к немецкому часовому и снять его с поста, мастерить из набитых соломой плащ-палаток плотики, выкручивать взрыватели из мин, ходить по сорок — пятьдесят километров, не натирая ног, умение сплотить различных, не похожих друг на друга людей в маленькую семью разведчиков, веселых, озорных, часто, может быть, и грубых, но всегда готовых так же весело и бодро выполнить любую самую сложную задачу. Кому теперь все это нужно?

Ну хорошо, завтра или послезавтра он сдаст свое офицерское удостоверение с фотокарточкой, где он еще с усами и с бачками, потом пойдет в милицию, получит паспорт, а потом.... Что же потом?

Старая Грильда вылезла из своего ящика, подошла к Николаю и тихо мяукнула. Николай понял. Встал, налил в блюдечко молока, купленного сегодня специально для нее, как для кормящей матери. Сел рядом на корточки.

Как-то в Сталинграде к ним в блиндаж бог весть откуда забрела кошка. Худущая, кожа да кости. Бойцы весь вечер провозились с ней. Накормили, сделали ей возле печки

гнездышко из старых телогреек, прикрыли суконной портянкой. Прожила она на передовой что-то около месяца. Поправилась, похорошела, бегала, задравши хвост, по окопам, когда было затишье. Потом ее ранило осколком. За ней ухаживали, но через три дня она умерла. Бойцы выкопали ямку и похоронили ее.

Милое, уютное, домашнее... Как его не хватало на фронте! Как часто о нем говорили, вспоминали, сидя на корточках вокруг раскаленной печурки в тесной накуренной землянке! Как радовались сталинградцы, услыхав в одно ясное февральское утро крик петуха! Его везли на подводе, он хлопал крыльями и кукарекал — красивый, черный, возвращавшийся из эвакуации петух.

Милое, уютное, домашнее...

С сегодняшнего дня Николай тоже мирный человек. Скоро он получит паспорт. И будет здесь жить и где-то работать, а по вечерам сидеть за столом, пить чай, разговаривать. И придет Валерьян Сергеевич со своим вонючим табаком и начнет о чем-то спорить с Валей. А Валя будет что-то доказывать, а Валерьян Сергеевич опровергать. А Муня сидеть на том вот конце стола, с измазанным краской носом, и молча помешивать ложкой свой чай. А потом встанет, посмотрит на свою Бэлочку и скажет: «Ну что ж, нам пора...»

И так будет каждый день. Каждый день...

В коридоре послышался веселый Яшкин голос. Николай слышал, как Яшка о чем-то оживленно говорил со «старухой» Ковровой, потом прошел к Острогорским, вернулся, постучал к нему в комнату и сказал: «Алло, старик, ты спишь?» — и еще два или три раза повторил это. Но Николай, закрыв зачем-то в темноте глаза, сделал вид, что спит, и даже немного всхрапнул. Вскоре он на самом деле заснул.

15

Так началась новая полоса в жизни Николая.

Началась с беготни по учреждениям. В военкомате надо было стать на учет, получить пенсионную книжку, в милиции сдать какие-то анкеты и фотографии для оформления паспорта, получить продуктовые карточки. Везде были очереди, и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то справки, или надо было ее заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то

дожидаться.— одним словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжелой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью тылового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался.

Он, правда, знал, что гражданскому населению во время войны нелегко и что за килограммом крупы или макарон надо несколько часов простоять в очереди. Знал, что существует слово «отоваривать» (оно его очень смешило), что есть «стандартная справка», без которой не давали карточек на следующий месяц. Знал, что стакан махорки на базаре стоит десять рублей, а литр керосина шестьдесят—семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и что поэтому нельзя пользоваться лампами, а приходится довольствоваться коптилками; знал, что выгоднее всего сейчас торговать пивом и газированной водой, что девяносто девять процентов судебных заседаний посвящены квартирным конфликтам — население города увеличивалось с каждым днем, а город был разрушен и квартир не хватало,— что для многих ордена, которые они честно заработали на фронте, и нашивки о ранении превратились в средство без очереди проходить к начальству, стучать там кулаком по столу и требовать различных законных и незаконных льгот и выдач.

Все это Николай знал, и на фронте, и особенно в госпитале, об этом говорили достаточно. Сейчас он с этим столкнулся лицом к лицу. И так же, как человек, впервые попавший на фронт, хотя и много слыхавший о нем, долго не может свыкнуться со всем происходящим вокруг него, так и Николай, очутившийся в этом большом, удаленном на сотни километров от фронта городе, именуемом коротким словом — тыл, никак не мог к этому тылу привыкнуть.

— Ну что это такое в конце концов,— возмущался он, вернувшись домой злой и усталый после целого дня стояния в очереди,— куда ни ткнись, всюду хвосты, везде все с бою добывай. Паршивую справку получить, и то до хрипоты кричать надо. Бред собачий!

Слушатели только переглядывались.

— С непривычки, Николай Иванович. Скоро привыкнете. Сами рассказывали, как спят у вас солдаты под любой бомбежкой и обстрелами, ничем не разбудишь.

— Так то фронт...

— А то тыл...

И опять переглядывались.

Николай только удивлялся. Странные они люди...

Он не понимал, что для этих странных людей, перенесших три года войны кто в оккупации, как Анна Пантелеймоновна, а кто, как Ковровы, в далеком холодном и жарком Казахстане, нынешний 1944 год — здесь, дома, за каменными стенами, с дровами на кухне — казался если не сказкой, то, во всяком случае, чем-то очень и очень неплохим. Одно уже то, что жили они в своем родном, пусть разрушенном, искалеченном, но избавленном от оккупантов городе, помогало переносить любые, связанные с войной лишения.

Год тому назад Анна Пантелеймоновна жила в этой самой заваленной книгами, пустой, без Вали, комнате, одна-одинешенька, никому во всем городе не нужная, потерявшая мужа, лишившаяся работы, друзей. Почти все ее знакомые и друзья эвакуировались. Остался только один, бывший сослуживец ее мужа. До войны он довольно часто приходил. При немцах он тоже как-то зашел, чистенький, выбритый, пахнущий одеколоном. Принес какие-то продукты, селедку. Анна Пантелеймоновна его выгнала. Он работал на немцев. Для Анны Пантелеймоновны этого было достаточно — такие люди для нее не существовали. И вот она осталась совсем одна. Сидела на базаре перед двумя стопками никому не нужных книг, стараясь не видеть ненавистных ей, чужих людей в серо-зеленых шинелях, и считала праздником тот день, когда за полупудовый географический атлас в тисненном золотом переплете получала стакан пшена или когда отогрели водопроводную колонку возле стадиона и можно было уже не таскать воду за четыре квартала, с Жилянской улицы.

И вот все это уже позади. По-прежнему работа, по-прежнему рядом Валя, и все чаще слышишь, что такой-то вот вернулся с фронта, пусть даже раненный, но голова все-таки на плечах, и скоро, говорят, выпишут уже из госпиталя. Правда, бывало и другое. У Сушкевичей погибли оба сына — Анна Пантелеймоновна хорошо их помнит, как они, всегда опаздывая в школу, скатывались по лестнице, сбивая прохожих. Саша и Котик — два близнеца. А Крыловы, такие славные старичок и старушка из четырнадцатой квартиры, вчера только получили похоронную откуда-то из Польши. А ведь на прошлой еще неделе старушка Крылова остановила Анну Пантелеймоновну на лестнице и долго рылась в своей сумке, чтоб показать карточку своего внука. «Красивый какой стал, а? Совсем мужчина». А бедная Марфа Даниловна? Как только постучит почтальонша Клава (она уже

знает ее стук), сразу меняется в лице: «Пойди, Петя, открой»,— сама боится, вдруг по курносому личику Клавы все поймет. А потом, когда письмо оказывается от Мити (все те же «воюем помаленьку»), угощает Клаву чаем и без конца расспрашивает о Ване, Клавином кавалере, который где-то там на фронте, у черта в зубах, в Баренцовом море...

Бог ты мой, бог ты мой!.. Четвертый год пошел, подумать только — четвертый год!.. И четвертый год только и слышишь: убили, разрушили, уничтожили, потопили, взорвали... В газетах, по радио, на улицах, везде...

И Анна Пантелеймоновна не на шутку сердилась, когда Николай начинал сравнивать фронтовую жизнь с тыловой, отдавая иногда предпочтение фронту.

— Замолчите! Слышать не хочу! Как можно такое говорить? Дурно или хорошо у нас здесь, но люди все-таки ходят по улицам во весь рост и не боятся, что их убьют. Очереди надоели? Без работы скучно? Так ищите работу, а не расхваливайте мне войну. И не поддерживай его, Валя, пожалуйста... Пусть работает. Или учится. Вот что вам надо. Учиться вам надо.

Николай почесал затылок.

— Вот получу на днях паспорт, и тогда...

А что «тогда», Николай и сам толком не знал.

Выхода было два. Вернее — три. Но третий, хотя он был, пожалуй, самым легким и выгодным, Николай в конце концов отбрасывал.

Первый выход — закончив все свои дела, отправиться в райком и сказать там: «Вот я такой-то и такой-то, вернулся с фронта, специальности не имею — назначайте куда хотите, вам виднее». Это был выход самый простой.

Второй — тот самый, на котором настаивала Анна Пантелеймоновна — пойти учиться. Поступить в какой-нибудь техникум или институт, любой — строительный, индустриальный, горный, и, помучившись над книгой столько-то там лет, получить специальность. Этот вариант был сложнее: за время войны Николай перезабыл все то немногое, чему когда-то учился, и, откровенно говоря, без особого восторга думал о парте и книге. Но с точки зрения здравого смысла, как говорил Валерьян Сергеевич, этот выход был наиболее правилен: раньше или позже, специальность получить надо было.

Но первый вариант пугал неясностью перспективы, второй — относительно далекой перспективой, и оба, чего

греха таить,— скудостью заработка. На первых порах, правда, была пенсия, но рука заживает, и пенсию снимут,— сиди тогда на стипендии или каких-нибудь четырехстах— пятистах рублях.

И вот тут-то всплывал третий, самый соблазнительный вариант, автором которого был дьявол-искуситель в лице Яшки.

Яшка был человеком дела. Он не любил разговоров впустую, которыми занимались, на его взгляд, остальные жильцы квартиры. Все разговоры об учении он называл разговорами «до лампочки» и ни одной минуты не сомневался, что в первых же экзаменах Николай «засыплется». В то, что райком сможет найти для Николая хорошую работу, он тоже не верил.

— Это не для тебя, брат. Физическим трудом заниматься ты пока не можешь, вот и предложат тебе что-нибудь бумажное.

А это по нынешним временам Яшка считал самым неподходящим.

— Это тебе не фронт — винтовку в руки и «ура, вперед!» Тут на таких можешь нарваться — раз-два! — обведут вокруг пальца. Пикнуть не успеешь, и будьте любезны — ты меня видишь, я тебя нет! — Яшка четырьмя пальцами изображал решетку.— Нужно это тебе?

Нет, Яшкин план был прост и ясен. Время сейчас нелегкое, Николаю надо содержать семью (крутись, не крутись, все равно женишься на Вале). А кто больше всех сейчас зарабатывает? Конечно, шофер. Значит, надо становиться шофером.

— За две недели я из тебя такого водителя сделаю — закачаешься. Что пальцы плохо работают —это ерунда, важен локоть, плечо и вот это вот место,— Яшка показывал на свое широкое костистое запястье, не зная, как его назвать.— Права получишь в два счета. На работу устрою к нам в гараж, в субботу как раз новые машины получаем,— одним словом, заживем мы с тобой, Николай Иванович, ты даже не представляешь, что это за жизнь будет.

Яшка хлопал себя по коленке и прищелкивал языком.

— Скажи, что Яшка неумный. А? В этих вопросах я всех твоих Валерьянов за пояс заткну. Согласен?

Николай смотрел в окно и рассеянно отвечал:

— Согласен.

— А раз согласен, завтра же и начнем.

— Нет, завтра я еще не могу.

— Тогда послезавтра.

— И послезавтра не смогу — в райком надо.

Яшка начинал злиться:

— Вот заладил одно и то же: не могу да не могу. Ты не юли. Говори прямо: хочешь или не хочешь?

Яшка был парень напористый, но ответа он так и не получил,— другие, совершенно неожиданные события не дали Николаю возможности принять окончательное решение.

16

В самый канун Октябрьских праздников Николай получил паспорт.

— Пока что временный,— сказал сидевший за окошком румяный, похожий на девушку сержант милиции.— Распишитесь. Через шесть месяцев выдадим постоянный. И здесь тоже.

Николай с трудом расписался, держа перо между большим и указательным пальцем, посмотрел на фотокарточку, — до чего ж унылое лицо! —сунул паспорт в карман и пошел в райком: он находился напротив.

Райком занял около часу. В шесть Николай вернулся домой.

На лестнице столкнулся с управдомшей — энергичной, хриплоголосой женщиной в стеганой военной телогрейке. В последние дни, встречаясь с ним, она как-то странно на него поглядывала. Сегодня она просто подошла и сказала:

— Простите, вы, кажется, в шестнадцатой квартире живете?

— В шестнадцатой,— ответил Николай.

— И, если не ошибаюсь, вы сейчас уже не военнослужащий?

Николай, до сих пор ходивший в погонах (как Яшка говорил, для облегчения жизни), немного смутился.

— Да, вроде как уже не военнослужащий.

— И живете на жилплощади Гиреева?

— Так точно.

— И не прописаны?

— Совершенно верно.

Управдомша многозначительно помолчала, глядя на Николая недружелюбным взглядом, потом сказала:

— Но вам должно быть известно, что непрописанными на чужой площади могут жить только военнослужащие.

— Нет, это как раз мне и неизвестно,— ответил Николай.— Но если это необходимо, я, конечно, сейчас же пропишусь. Паспорт у меня в кармане, только что получил.

На управдомшу это не произвело никакого впечатления.

— Вашего желания недостаточно,— сухо сказала она.— Вам придется сходить в райжилуправление к товарищу Кочкину.

— А зачем мне нужно идти в райжилуправление к товарищу Кочкину? — Николай почувствовал, что начинает раздражаться.

— А затем, что без его разрешения я не имею права выдать вам форму номер один.

— Что это еще за форма?

— Справка о том, что санминимум разрешает вам поселиться на данной площади. У Гиреева сколько метров?

Николай на минуту задумался.

— По-моему, двенадцать.

— А по-моему — одиннадцать,— так же сухо и недружелюбно сказала управдомша.— Вряд ли Кочкин разрешит. На человека полагается шесть метров.

— Ну, это уж я с ним буду решать! — резко сказал Николай и стал подниматься по лестнице.

Управдомша крикнула ему вдогонку:

— Прошу только не задерживать решения. Я вовсе не намерена иметь из-за вас неприятности от участкового.

Николай ничего не ответил, но, открывая дверь, подумал, что, очевидно, с этой дамой надо разговаривать на другом языке.

В коридоре, стоя на табуретке, возился со счетчиком Яшка. Николай чуть не сшиб его.

— Чего это ты там возишься?

— Обещают свет на праздники дать. Такую иллюминацию запустим — держись только.

— Ну, а меня можешь поздравить — получил паспорт наконец.

Яшка соскочил с табуретки.

— Ого! Праздники, значит, погуляем, а девятого — ко мне. Идет?

— Черта с два. Встретил сейчас эту мымру на лестнице. Не хочет прописывать.

— Кто? Управдомша?

— Ага. Говорит, не хватает какого-то санминимума у Валерьяна Сергеевича.

Яшка свистнул.

— Это все Кочкин. Из райжилуправления. С ним надо... — Яшка ткнул вдруг Николая пальцем в грудь.— Ничего с ним не надо. Пропишешься у Острогорских. Ну, чего смотрищь? Муж имеет право прописываться на площадь жены. Такой закон есть,— и весело подмигнул.— Понял теперь? Подай-ка мне плоскогубцы. Вон там, на полу лежат.

Анна Пантелеймоновна второй день не ходила на службу. У нее был грипп. Температура подскочила до тридцати девяти, и Валя с великим трудом — Анна Пантелеймоновна отчаянно сопротивлялась — уложила ее в постель. Собственно говоря, даже не в постель, а на диван, так как, по теории Анны Пантелеймоновны, ни в коем случае нельзя показывать болезни, что ее боишься, иными словами, нельзя лежать в кровати, а надо целый день слоняться по комнате или, в крайнем случае, лежать на диване, укрывшись, упаси бог, только не одеялом, а обязательно стареньким, изъеденным молью пальто.

Когда Николай вошел, Анна Пантелеймоновна лежала на диване и спала. Рядом на стуле стоял стакан воды, а на полу валялась выпавшая из рук книга.

Николай поднял книгу и поправил сползшее пальто. В комнате было холодно. Он вышел на кухню, нарубил дров, затем вернулся и принялся растапливать печурку.

Анна Пантелеймоновна заворочалась. Скрипнули пружины — повернулась, очевидно, на другой бок. Слышно было, как она шарила рукой по стулу, ища стакан. Николай обернулся.

— Может, вам свеженькой принести?

— Ах, это вы? Я и не заметила. Нет, нет, не надо.— Она сделала несколько глотков.— Валя дома?

— Нет, не приходила еще. Зажечь коптилку?

— Нет, спасибо, не надо. Я так полежу.

Николай удивился. Анна Пантелеймоновна не умела просто так лежать. Она всегда находилась в действии, а если уж лежала, то обязательно что-нибудь читала. Очевидно, она сейчас себя по-настоящему плохо чувствовала. Но Николай ничего не спросил: он знал, что Анна Пантелеймоновна не любит этих расспросов. На цыпочках вышел в кухню, наполнил чайник, вернулся, поставил его на печку

и опять сел возле нее, подбрасывая время от времени чурки.

Он долго так сидел и смотрел на весело потрескивавшие в огне дрова. Вот так вот сидел он и в Сталинграде, в своей землянке. И такая же была у него печурка, и так же весело горел огонь, а забавный курносый Тимошка старательно всовывал в нее кирпичи. В Сталинграде топили кирпичами, пропитанными керосином. Керосина было много, целый состав, и битого кирпича тоже хватало — вот и мочили его в ведре с керосином, а потом топили им. Очень хорошо горело.

Эх, Сталинград, Сталинград... Как часто о нем вспоминаешь! Об этом городе, стертом на твоих глазах с лица земли и все-таки оставшемся живым. Как хочется посмотреть на него сейчас! Как радуешься каждому человеку, для которого такие слова, как Мамаев курган, Банный овраг, Соляная пристань, не только слова, названия, а часть жизни,— может быть, самая значительная часть ее.

И, может быть, именно потому Николай просидел в кабинете секретаря райкома дольше, чем положено сидеть у занятого человека, что секретарь тоже оказался сталинградцем. Немолодой уже, грузный человек, с розоватым шрамом на усталом небритом лице. Оказывается, воевал совсем рядом, у Родимцева, начальником артиллерии дивизии. Его НП на кургане находился в каких-нибудь ста метрах от НП Николая. Может, они и встречались там. Может, даже и переругнулись когда-нибудь.

Секретаря поминутно отрывал телефон, несколько раз кто-то заглядывал, в приемной сидели люди,— но как не вспомнить о прошлом?

А потом обычный, звучащий всегда немного иронический вопрос:

— Ну, где легче, здесь или там?

И за ним уже деловой:

— Так что же мне тебе, друг, предложить? А?

Повертел пальцами самопишущую ручку — «понимаю тебя, разведчика, но что поделаешь, жизнь того требует»,— и предложил должность инспектора райжилуправления.

— Это у нас сейчас самый тяжелый участок. Людям жить негде, а с каждым днем их прибывает.— И, подумав, почесав ручкой лоб, добавил: — Место скользкое, знаю, не всякий на нем усидит. Тут рта не разевай. Присматривайся к людям, кому можно доверять, кому нет. Попадаются у

нас еще людишки, которые и на немцев работали, и на нас хотят заработать. А есть и просто жулики. Смотри не попадись им на удочку. А главное, в деле разберись. Придется тебе там и со строительством столкнуться. Не Днепрострой, конечно, но дома в большинстве все-таки аварийные, еле-еле дышат. Завалится какой-нибудь — кому отвечать придется? Тебе придется. А коммунист ты молодой, опыта нет, знаний нет. Небось, кроме как стрелять, да гранаты бросать, да на брюхе ползать, ничего не умеешь? Так ведь?

Николай молча кивает головой. На этот вопрос не ответишь.

Кем, в сущности, он был до войны?

Обыкновенный малый. В детстве гонял голубей, не очень усердно ходил в школу, не любил математику, любил физкультуру, не пропускал ни одной кинокартины, бегал «зайцем» в цирк на чемпионаты французской борьбы, летом пропадал на пляже.

Родители мало им интересовались. Мать умерла, когда ему не было еще шести лет. Отец женился на другой, потом разошелся, опять женился. Был он слесарем, работал в артели, чинил примусы, замки, изрядно пил. В маленьком домике их, на Лукьяновке, на самой окраине города, всегда толкались какие-то люди, что-то покупали, продавали. Николай ушел. Сначала думал поступить в морской техникум, послал даже заявление в Одессу, но его не приняли из-за отца-кустаря.

Пятнадцати лет он уже неплохо крутил сальто. Какие-то циркачи на пляже предложили ему поступить к ним в труппу. Но циркачей вскоре почему-то арестовали, и Николай (все благодаря тому же пляжу) устроился матросом на спасательной станции. Потом был мотористом на переправе через Днепр. Потом опять же матросом на пароходе «Котовский», ходившем в Херсон. В тридцать седьмом году поступил в физкультурный техникум, в тридцать девятом в институт. Окончить его помешала война.

Для полноты биографии добавим еще, что перед самой войной он женился. Женился на Шуре Вахрушевой, которую знал, когда еще был мальчишкой (она с мамой жила через три дома от них, на Лукьяновке), а потом встретился опять на городских легкоатлетических соревнованиях, в которых завоевал второе место по прыжкам с шестом.

По натуре своей человек он был тихий, не любил скандалов и так называемых «заводиловок», но если уж разо-

злят или заденут, в долгу не оставался. За один из таких случаев его раз чуть не исключили из комсомола, и только потому, что на пароходе он был одним из самых дисциплинированных матросов, дело ограничилось замечанием.

Вообще же парень он был хороший, компанейский, и, может, именно поэтому Шура на него иногда и обижалась. Как и большинство женщин, она не всегда понимала, что мужчинам иногда хочется побыть вместе, без жен, что куда интереснее и веселее, например, в субботу вечером взять лодку и поехать на ночь и на воскресенье с ребятами на Десну, чем напяливать на себя рубашку с воротничком и галстук, которого он терпеть не мог, идти с ней в театр, ходить под руку по фойе и, толкаясь у прилавка, покупать теплый клюквенный напиток.

Иногда Николаю даже казалось — это бывало, правда, не часто, обычно когда он возвращался откуда-нибудь навеселе и Шура с обиженным видом сидела что-нибудь чертила (она работала чертежницей на Кабельном заводе) и ничего не спрашивала,— иногда ему казалось, что не стоило так рано жениться и что вообще, быть может, жениться совсем не надо или, в крайнем случае, лет до сорока. А через час они уже бежали куда-нибудь в кино, и Николай не без гордости замечал, что в фойе на его Шуру все оборачиваются. Оборачиваются, хотя она вовсе не считалась хорошенькой, и у нее много было подруг, которые были куда красивее ее, и делали себе перманент, и брови выщипывали, а вот оборачивались больше на Шуру. А она не обращала на это никакого внимания — только смеялась. «Я вообще мужчин не люблю,— говорила она,— от них табаком пахнет, и бриться почему-то не любят. Я б и за Николая не пошла, если б не мама. Только для нее и вышла замуж...»

Но это было, конечно, неправдой. Шура любила его. И он Шуру. И вообще жили они хорошо и дружно и, может быть, не случись война, жили бы так и до сегодняшнего дня...

Вот, собственно говоря, и все, что можно рассказать о довоенном Николае. Хороший парень — вот и все. Если вы зайдете к нему, он всегда будет вам рад. Быстренько сбегает на угол, купит все что полагается. Через полчаса будет уже петь песни, стараясь перекричать вас, потом выжмет стойку на стуле и, посмотрев на пустой стол, предложит опять сбегать на угол. Тут запротестует Шура, а он, весело подмигнув вам, скажет: «А что, если мы мотнем на Днепр?»

Это в случае, если вы зашли к нему летом и в воскресенье. И вы не пожалеете, если поедете с ним. У него и удочки, и червяки, и лодку он выберет самую легкую, и места он знает на Днепре самые хорошие,— одним словом, время вы проведете с ним неплохо. Только не заводите с ним разговора на международные темы: в этом он мало разбирается. Правда, если б вы в свое время заговорили с ним об испанских событиях, он вздохнул бы и сказал: «Эх, вот куда бы я поехал! Хороший народ. И воюет хорошо. Наших вот только там маловато». И тут, может быть, даже выругался бы.

Но в Испанию поехать ему не довелось, воевать пришлось гораздо ближе. Провоевал он три года — с 22 июня по 24 июля. Тяжелые три года. Но именно в эти три тяжелые года Николай узнал то важное и нужное, чего не знал раньше.

До войны у него были товарищи — и на пароходе, и в техникуме, и в институте,— со многими из них он по-настоящему дружил. Но это было только товариществом, не больше. Дружба людей, рожденная общностью работы, учения, а может быть, и просто молодостью.

На фронте все это стало другим. Именно на фронте Николай понял, что товарищи — это не просто твои товарищи, к которым ты привязан потому, что они тебе нравятся, а что это и есть народ, то самое, что для Николая было до войны большим, но все-таки до какой-то степени отвлеченным понятием. На фронте Николай узнал народ. Узнал и оценил.

Узнал он там и другое — чувство ответственности. Ответственности перед людьми, перед самим собой, ответственности за их жизнь, за правильно принятое решение, за выполненную задачу. Без этого нельзя воевать. Об этом надо помнить каждую минуту, каждую секунду, всегда, везде, при любых обстоятельствах. Помнить, когда посылаешь людей в разведку, когда ведешь их в бой, когда приказываешь отступать или окопаться перед противником, который впятеро сильней тебя. Помнить, что приказ свят, что не выполнить его нельзя, что, взяв эту высоту, ты, может быть, на день, на час, на минуту приблизишь день победы. И помнить, что выполнять приказ будут люди, жизнь которых зависит от твоей находчивости, сообразительности, ума и опыта и у которых больше дней впереди, чем позади, у которых матери, сестры, жены, дети.

Помни об этом. Каждую минуту помни. Помни, потому

что именно это великое чувство ответственности рождает другое, не менее важное на войне чувство — чувство доверия солдат к тебе, своему командиру; именно оно — великое и трудное чувство ответственности — убивает страх перед смертью, рождает стойкость, упорство, волю, рождает победу, и именно оно превращает веселого, беспечного, живущего своей молодостью малого в человека.

И Николай понял это.

17

Николай сидит, смотрит на прыгающий по щепкам огонь и думает.

Секретарь со шрамом на лице сказал: «Это очень тяжелый участок».

Тяжелый участок. Николай три дня сидел с группой разведчиков в отрезанном от своих блиндаже. Дважды пересекал днем Волгу под обстрелом двух пулеметов и минометной батареи. Отражал со своим взводом атаку танков. Дай бог, чтоб этого никогда больше не было. Даже сейчас, как вспомнишь...

И вот опять тяжелый участок. Не окоп, нет,— колченогий стол с ящиками, бумагами, шкаф, набитый папками, протоколы обследований, акты... «Я, инспектор такой-то, обследовал квартиру такую-то...»

Тяжелый участок... На фронте нелегко, но там сознание, что ты делаешь самое главное. А здесь? «Место скользкое, не всякий усидит».

Заявления, жалобы, протесты. Десятки, сотни, тысячи. Мать с двумя детьми, муж погиб, жить негде... Стоит и смотрит на тебя. Жить негде. На руках дети. Плачут.

А может, это так же важно, как захватить сопку, отбить атаку? Подумай хорошенько.

И Николай думает. Смотрит, сощурившись, на огонь и думает.

В печке что-то зашипело и треснуло. Вывалился на пол уголек — маленький, красный. Николай бросил его обратно, подкинул еще несколько полешек. Одно смешное, какое-то изогнутое, с кривым сучком, похожее не то на собаку с хвостом-бубликом, не то на лицо старика с крючковатым носом. В комнате совсем тихо, только потрескивают дрова и равномерно тикают над головой часы с подвешенным вместо гири замком.

Как трудно принять решение! Ох, как трудно! И если б одно, а то ведь не одно. Все навалилось сразу... На фронте, там приказ. Он усложняет жизнь, но и упрощает ее. О многом можно не думать. Здесь приказа нет. Здесь ты сам себе должен приказать. Приказать и выполнить.

...Сегодня по дороге в милицию Николаю показалось, что он увидел Шуру. Он даже вздрогнул. Шура или похожая на нее женщина,— Николай видел ее со спины,— стояла в очереди у самого входа в распределитель. Когда он подошел, часть очереди впустили внутрь, и ему так и не удалось увидеть лица.

А ведь прошло уже два месяца, даже больше, с тех пор, как они виделись в последний раз. В первый и последний. Возможно, если б они встретились еще... Но зачем об этом думать? Ведь он принял решение еще там, на своей лужайке, и это правильное решение. Надо только, чтобы все стало на свое место, стало так прочно, чтобы уже не сдвинуть.

Часы вдруг остановились. Крак — и стали. Опять этот чертов замок — все время цепляется за маятник. Сколько раз повторял себе: надо заменить его, повесить настоящую гирю. Завтра же он это сделает. Валя раз пять уже опаздывала из-за этих часов на работу.

Николай встает, на цыпочках подходит к часам, подталкивает пальцем маятник — опять пошли.

Восемь часов. Без пяти восемь. Через полчаса придет Валя. Сегодня пятница, по пятницам она всегда приходит раньше. Нет, сегодня у нее вечер, он совсем забыл,—предпраздничный вечер в институте. Раньше двенадцати часов она не вернется.

А может, пойти ей навстречу? Пройтись опять по Ботаническому саду — сейчас там так хорошо, последние осенние дни. Дубы и тополя еще зеленые, еще осыпаются клены — в этом году все как-то запоздало. Валя насобирает листьев — красных, желтых, золотистых, заполнит ими всю квартиру. Набьет ему все карманы каштанами. Милый, забавный, рыжий сержант... Сколько еще детского в этом солдате. Смешная... Убежала тогда. А потом три дня ходила с таким лицом — страх,— не подходи. Вот тебе и сержант...

Анна Пантелеймоновна зашевелилась на своем диване. Потянулась за стаканом.

— Может, вам чайку налить? — спрашивает Николай.

— Чайку? — Анна Пантелеймоновна отвечает тихо и

как-то неопределенно, точно сама не знает, хочет она чаю или нет.— Ну что ж, налейте.

Николай достает старую фаянсовую кружку Анны Пантелеймоновны, с которой она не расстается последние тридцать лет,—большую кружку с охотником и бегущим зайцем такого же роста, как охотник.

— А я сегодня паспорт получил,— говорит Николай, ставя чашку совершенно черного, как любит Анна Пантелеймоновна, чаю на стул.— Можете меня поздравить.

— О! Знаменательное событие.

— И в райкоме был. Работу предложили.

— Хорошую?

— Как сказать! Бывает, конечно, и лучше.

Прикрыв чайник подушкой, Николай садится в ногах у Анны Пантелеймоновны верхом на валик.

— А с паспортом... смешно. Получить-то получил, а вот прописать не хотят. Говорят, санминимума у Валерьяна Сергеевича не хватает. Шесть метров, говорят, на человека надо, а у него одиннадцать.

Анна Пантелеймоновна мешает ложечкой чай, наливает его в блюдечко — она не любит горячего чая.

— Да,— Николай смеется, но смех какой-то невеселый.— Ввалишься, бывало, после похода в хату, хозяйка о санминимуме ничего не говорит. А здесь вот пожалуйста,— шесть метров на человека. В вашей, например, комнате могла бы рота расположиться. И еще считалось бы, что свободно.

Анна Пантелеймоновна ничего не отвечает. Неловко. Получилось, будто он напрашивается в эту комнату. Он этого вовсе не хотел, сказал просто так, к слову, а получилось вроде напрашивается.

Анна Пантелеймоновна молчит. Держит в руках кружку и машинально размешивает сахар, глядя куда-то в сторону. Потом ставит кружку на стул.

— Добавочку? —спрашивает Николай.

— Спасибо, Коля, не хочется.

Николай идет на кухню, приносит еще несколько поленьев. Вернувшись, застает Анну Пантелеймоновну уже сидящей на диване, в накинутом на плечи пальто. Ее, очевидно, все еще знобит.

— Коля, я поговорить с вами хотела,—тихо говорит она.

— Сейчас, одну минуту!

Николай накладывает дрова, раздувает начавшую уже потухать печку, потом садится верхом на валик, на свое любимое место.

— Я хотела поговорить с вами, Николай,— говорит Анна Пантелеймоновна, и голос ее слегка дрогнул.— Давно хотела. Но все как-то... То времени нет, то... Об этом трудно говорить. Может, вы меня и не поймете. Вы молоды, у вас все это как-то по-иному, а для нас, для людей,— она подыскивает подходящее слово,— ну, не вашего поколения, скажем стариков...

— Ну, какой же вы старик, Анна Пантелеймоновна! — смеясь, перебивает Николай и тут же видит, что не надо было этого делать,— слова прозвучали развязно, фальшиво.

Анна Пантелеймоновна как-то необычно, с несвойственной ей серьезностью, взглядывает на Николая и сразу же отводит глаза.

— Я хотела вас спросить... Вы как-то никогда об этом не говорили. И вы не будете сердиться на меня. Но...— Она немного растерянно улыбается.— Скажите мне, Николай, у вас есть жена?

Она говорит это так тихо, что Николай скорее догадывается, чем слышит ее.

— Есть,— не поднимая головы, говорит Николай и, помолчав, добавляет: — Мы не встречаемся.

По коридору кто-то прошел. Не то Валерьян Сергеевич, не то Муня,— оба они дома ходят в шлепанцах, и Николай никогда не может угадать, кто же из них прошел. Когда хлопнула дверь в ванну, Анна Пантелеймоновна спросила так же тихо, как и раньше,— ей трудно говорить.

— Вы развелись?

— Нет.

— Тогда... Как же?

— Да так...— Николай не знает, что ответить. Об этом трудно говорить.— Так получилось...

Сидя на валике дивана, он перебирает бахрому свисающей с него кисти.

— Ну, вот и все,— говорит Анна Пантелеймоновна.— Спасибо. Я знала, что вы прямо все скажете.

Молчание. Оно длится довольно долго. Как громко тикают эти проклятые ходики! Анна Пантелеймоновна положила руку на колено Николая — маленькую худую руку, когда-то, видно, красивую, а сейчас потрескавшуюся от старости, черную от кухни и картошки.

— Сейчас война, Коля. И на войне многое очень просто. Я знаю. И, может быть, даже понимаю. Но это страшная простота. Не надо ее.— Она смотрит на Николая своими молодыми, живыми, сейчас чуть чуть как будто извиняющимися глазами.— Вы понимаете меня?

Николай молча кивает головой. Он понимает, о чем говорит Анна Пантелеймоновна. Он понимает, что для этой доброй, хорошей, перенесшей такую тяжелую жизнь женщины все счастье заключено сейчас только в одном — в ее дочери. Он понимает, о чем говорит Анна Пантелеймоновна. Это не требование соблюдения формы, это требование быть честным. Он встает и молча выходит из комнаты.

18

Снег. Первый в этом году снег. Николай идет по улице, все с тем же чемоданчиком в руке, в непригнанной госпитальной шинели, в ушанке на затылке — все-таки жарко еще в ней.

Завтра праздник. На фасадах домов вешают портреты, лозунги, пятиконечные звезды с выкрашенными красной краской лампочками.

— Эй, друг! — кричит Николаю кто-то, стоящий на приставленной к стенке лестнице.— Поддержи, пожалуйста, скользит проклятая лестница.

Парень в расстегнутой телогрейке, с папиросой за ухом, старательно вбивает костыль в стенку. Внизу, возле лестницы, стоит портрет.

— Теперь подай портрет. Осторожно только, тяжелый.

Николай подает портрет. Парень пристраивает его, потом соскакивает с лестницы и отходит на мостовую.

— А ну глянь! По-моему, хорошо.

Николай соглашается — немного криво, но хорошо. Парень вытирает лоб.

— Это мы поправим. Это нам раз-два, и все. Но вообще неплохо. Правда?

— Неплохо.

— Ну, а теперь давай лозунг.

После лозунга еще один портрет. Потом герб и флаг над самым подъездом. Становится жарко. Шинель и телогрейку приходится скинуть. Флаг пристраивают к балкону, для чего надо зайти в чью-то квартиру. Там уже празднуют.

Никто не удивляется их приходу. Без всяких возражений открывают заклеенный балкон, и каждый дает совет, как лучше пристроить флаг. Потом подносят обоим по рюмочке и суют в руку бутерброды с колбасой.

— Ну спасибо. Простите, что помешали.

Парень порывается еще куда-то идти с Николаем, но денег нет ни у того, ни у другого. Они прощаются.

— Заходи,— говорит почему-то парень, неистово тряся Николаю руку.— Во дворе, лестница направо, шестая квартира. Колесниченко. Юрий Колесниченко.

А снег все идет. Ватага школьников уже перебрасывается снежками. Хохочут. Твердый, холодный снежок угодил Николаю прямо в ухо.

— Ох, простите! Мы не нарочно, простите! — и опять хохочут.

— Черта с два!

Николай ставит свой чемоданчик на землю, лепит снежок и ловко попадает в засыпанного снегом парнишку. Ничего, не разучился еще...

В зоне обстрела какой-то прохожий с поднятым воротником.

— Безобразие! — ворчит он.— Ну просто безобразие...

Ватага разбегается.

Снег вдруг перестал. Уже начинает таять. Жаль. Николай сгребает его с какого-то подоконника и с удовольствием глотает — мягкий, холодный, сразу тающий во рту.

Только часам к двенадцати Николай попадает к Сергею. Тот лежит на своей скрипучей железной койке, положив ногу на спинку, и курит. Протез стоит рядом, прислоненный к стенке.

Николай ставит чемоданчик в угол.

— Принимаешь?

Сергей свистнул.

— Вот это да! Пропавшая грамота! — И тут же, с грустной уже интонацией: — А встретить-то и нечем! — Наклонившись, он долго шарит рукой под кроватью.— Вот всегда так: когда надо — нету, а когда не надо— есть.

— Ну и бог с ней.

— Ладно. Рассказывай. Где пропадал?

— Пропадал или не пропадал, а вот нашелся. Где спать положишь?

— Из госпиталя, что ли? Прогнали?

— Нет, не из госпиталя.
— Шура?
— И не Шура.
Сергей смотрит на шинель без погон.
— Демобилизовали?
— Шесть месяцев. Один черт! Паспорт уже в кармане.— Николай хлопает себя по боковому карману.— С сегодняшнего дня новую жизнь начинаю.
Сергей криво улыбается.
— Вот и мне предлагают...
— Что предлагают?
— Новую жизнь начинать. А я не хочу.
— Почему?
— А потому. Не хочу, и все. Старая нравится.
— Не говори ерунды. Противно слушать.
— Не слушай, раз противно.
— Ну, на кой черт тебе все это надо? Ей-богу. Плюнь ты на них, брось ты эту лавочку, пока не поздно. Паспорт есть у тебя?
— Есть.
— Ну вот и давай вместе начинать. Вдвоем легче.
— Что? Работу искать? Да подавись она... Разучился я работать. Да и платят мало. А я деньги люблю.
— Врешь — не любишь! Вид только делаешь.
— А зачем мне делать? И вообще хватит об этом. Надоело.— Он сердито смотрит на Николая, небритый, обросший.— У Шуры был?
— Нет.
— Почему?
— Завтра собираюсь.
— Вот это да! — Он весело смеется, хлопая Николая по плечу.
— Развестись решил,— мрачно говорит Николай.
Сергей перестал смеяться, смотрит на Николая — глаза уже злые,— потом говорит одно только слово:
— Дурак!
Николай молчит.
— Нет, видали дурака... Сам себе жизнь портит.
— Не знаешь, не говори.
— А я ничего и знать не хочу. Дурак, и все. Безмозглая башка. Ну, я, дрянь, пьяница, бузотер, безногий инвалид, кому я нужен? А ты! Красавец парень — ну, немножко там нос подгулял, бывает,— но, в общем, парень

гвоздь. Капитан, гвардеец, член партии, ноги на месте, что еще надо? — Он долго, точно проверяя сказанное, смотрит на Николая.— И чего я только полюбил тебя, подлеца? Пес его знает почему. И видал-то всего три-четыре раза, а люблю, и хочется мне, чтобы все у тебя хорошо было. А ты вот не хочешь. Не хочешь, и все. Вбил себе в голову какую-то ерунду...— Он хватает Николая за голову и смотрит ему в глаза.— Ведь Шура ждет тебя, понимаешь? Ждет.

— Так не ждут,— говорит Николай.

— Ждут, ждут... Ты ничего не понимаешь. Ждут!

Они долго спорят. Сергей убеждает. Николай упорствует. Никаких жен. Это он твердо решил. И завтра же пойдет к Шуре. Тянуть нечего. А то ерунда какая-то — муж не муж, жена не жена. Надо точку поставить. И он свободен, и она свободна. Сядет в поезд, и — ту-ту!— подальше отсюда. В Сибирь куда-нибудь? А? Поехали в Сибирь.

— Там холодно, не хочу. И вообще — ну тебя в болото!

— Тогда на юг, на Кавказ, в Баку. Я там четыре месяца в госпитале провалялся. Хороший город. И винограду — завались! И вина. И рыбы. Устроимся где-нибудь на рыбном промысле, как боги. И корешок у меня там есть. Хороший парень. В госпитале сдружились. И сестра у него красавица. В самый раз тебе. Чернобровая азербайджаночка. А глазищи — во! Женим вас, и родится у вас черноглазый такой пацан, и будешь ты его качать на коленке, а я сидеть рядышком и улыбаться, винцо попивать...

Сергей качает головой:

— Красиво все это, брат, да не про меня. Не умею я этого. А учиться поздно.— Он шумно вздыхает.

Стол полон окурков. Накурено так, что приходится открывать окно.

Часам к пяти Сергей говорит:

— Точка. Пора спать. Тикай на свой тюфяк.

Николай вытягивается на тюфяке, прикрывается шинелью. Рядом ставит голубенький трофейный будильничек. Устанавливает его на одиннадцати. Пусть в одиннадцать разбудит. Он твердо решил пойти сегодня к Шуре. Кончать так кончать...

Только подходя к Шуриному дому, Николай подумал, что может ее не застать. Сегодня ведь демонстрация. Ну, ничего, подождет. Сядет в той же самой кухне, где уже си-

дел когда-то, и дождется в конце концов. Торопиться ему некуда.

Он поднялся на третий этаж и постучал. Шура была дома. Он застал ее моющей пол. В подоткнутой юбке, стоя на коленях, она скребла ножом пол возле печки.

Николай вошел молча. За него громко постучала в дверь какая-то соседка и крикнула: «Шура, к вам!» Шура, не подымаясь, через плечо взглянула на вошедшего. Потом медленно встала, держа в одной руке нож, в другой тряпку, сделала несколько шагов, и тут произошло то, что должно было произойти еще тогда, два месяца тому назад, в госпитале,— она заплакала.

Она ничего не сказала, она стояла посреди комнаты, с тряпкой и ножом в руках, с испачканным носом, и по щекам ее, совсем как у ребенка, катились большие прозрачные слезы.

Николай почувствовал, что у него щекочет в горле. Он шагнул вперед, притянул Шуру к себе и несколько минут смотрел ей в глаза — большие, сияющие радостью глаза, потом поцеловал их, по очереди, сначала один, потом другой...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Самое необходимое в жизни человека, без чего ее никак нельзя назвать счастливой,— это мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. Во всяком случае, в известном возрасте оба эти жизненные условия необходимы.

Так говорил Валерьян Сергеевич, любивший всякого рода определения, касающиеся жизни. И, как казалось Николаю, он этого всего достиг.

Шел тысяча девятьсот сорок пятый год. Война еще не кончилась. Но гремела она уже далеко, в Германии. Жизнь мало-помалу начинала входить в колею. С окон исчезла маскировка, на улицах появился свет, сначала робкий, приглушенный, потом уж настоящий, почти довоенный. Появилось, хотя еще и с перебоями, электричество в квартирах. Разбирали и взрывали развалины. Выросли первые строительные заборы с таинственными буквами

«Ж. С.» — Жилстрой. В газетах появились фотографии новых домов, запроектированных на месте старых, разрушенных. Поговаривали даже о полной реконструкции центральной части города. Архитекторы и строители были нарасхват.

Кривая жизни ползла вверх.

Шла вверх она и у Митясовых. Они переселились в другую комнату: Шура не хотела оставаться в этой, с ненавистными ей соседями и сложными воспоминаниями. Обменяли они свою комнату на меньшую, и не на третьем, а на пятом этаже, но оба были молоды, лестниц не боялись, а комнатка была светлая, с балконом, с чудным видом на Печерск, Черепанову гору и, как утверждал Николай, на ту самую лужайку, где они сидели когда-то с Шурой.

Шура перетащила свои цветы, и оттого, что комната была маленькая, казалось, что их стало больше. Соседи были славные, тихие, незаметные и очень были довольны новой парой; у предыдущих жильцов было трое детей, по рассказам, довольно беспокойных.

Жизнь текла мирно и тихо. О Феде никогда не говорили. Он, еще до прихода Николая, уехал в Ригу, как только ее освободили. Он понял, что ему надо уехать. Понял с того самого дня, как пришел Сергей. Шура замкнулась, стала молчалива,— она ждала Николая. Федя понял это. И уехал. Как-то от него пришло письмо. Коротенькое, на двух страничках. Отец и мать его оказались живы, брат погиб на фронте. Сам он устроился на завод ВЭФ, тот самый, где когда-то слесарничал и сейчас продолжал слесарничать его отец. Вот и все. О Шуре очень скучает. Шура прочитала письмо на кухне, хотела порвать, потом раздумала, положила в сумочку и пошла на службу. Больше от Феди писем не было.

С октября прошлого года Шура работала в крупной проектной организации чертежницей. Николай прошел комиссию, получил третью группу и работал сейчас физруком в школе.

В школу эту он попал совершенно случайно. До этого работал в райжилуправлении.

Это были тяжелые три месяца — ноябрь, декабрь и январь. Ленинский район был самый разрушенный в городе. Квартир не хватало. Дома на девяносто процентов были аварийными. Люди жили в кухнях, в ванных комнатках, в каких-то коридорах и кладовках.

Николай был инспектором. Ходил по квартирам, прове-

рял заявления, выслушивал жалобы, составлял акты, присутствовал при страшных квартирных ссорах. Везде — на улицах, в магазинах, в кино, на темных лестницах, в еще более темных коридорах — его останавливали и, приперев к стенке, просили, угрожали, плакали, совали ему деньги, а у кого их не было, смотрели жалобными глазами и говорили: «Мы поблагодарим вас, товарищ Митясов, поблагодарим». Ему приносили прямо на службу и старались навязать завернутых в газету кур, кошелки с яйцами и творогом, а один раз даже живого поросенка.

Одним словом, дело было нелегкое. И все-таки первые недели Николай работал с увлечением. Целый день вокруг были люди — демобилизованные, реэвакуированные, погорельцы,— люди, которым нужна была помощь и которым по мере сил и возможности он пытался ее оказывать.

Но вскоре оказалось, что взгляды на эту помощь у Николая и его начальника Кочкина не совсем совпадают. Начались трения, мелкие, а потом и крупные стычки. Чем бы все это кончилось, трудно сказать, Кочкин был хитер и оборотист, чего, к сожалению, о Николае никак нельзя было сказать. Но тут, на счастье его, подвернулся Ромочка Видкуп.

Пришел он к нему с кучей бумажек и отношений, с желтыми от тола пятнами на шинели и долго доказывал свои, к сожалению, совершенно несостоятельные права на какую-то пятиметровую комнату без окна. Они даже поспорили тогда. Видкуп грозился, что пойдет куда-то жаловаться и напишет письмо Михаилу Ивановичу Калинину, и говорил об этом настолько несдержанно, что Николай вынужден был попросить его выйти из комнаты и не мешать работать. Потом они совершенно случайно встретились не то в прокуратуре, не то в горсовете, и тут вдруг выяснилось, что оба они лежали в Баку, в одном отделении, у одних и тех же врачей. Начались воспоминания, потом кружка пива, и кончилось тем, что Видкуп затащил Николая в 43-ю школу, где работал сначала истопником, потом комендантом, а сейчас, по совместительству, и старшим пионервожатым.

— Слушай,— сказал на прощание Ромочка,— переходил бы ты к нам, ей-богу. Нам как раз физрук нужен, третий месяц ищем. А там тебя слопают, это ясно. И если свернут когда-нибудь твоему Кочкину шею,— а от этого ему не уйти,— то, поверь мне, до этого он раз двадцать успеет тебе свернуть.

Николай вздохнул, почесал затылок, а через неделю между ним и Кочкиным произошла стычка, чуть не кончившаяся скандалом. К счастью, все обошлось относительно мирно,— Николай только обозвал его жуликом и взяточником, хлопнул дверью и пошел в райком.

— Если хотите, чтоб вышло дело,— сказал он там секретарю, тому самому, который послал его в РЖУ,— направьте в эту шарашкину контору человека поопытнее во всех этих делах, чем я. А мне разрешите вернуться к моей довоенной специальности. Вот в школе, говорят, физрук нужен. А у меня все-таки два года института...

Секретарь отчитал его, сказал, что для того и послал в эту «шарашкину контору», чтобы он там порядок навел. Но, по-видимому, секретарь нотацию свою прочел главным образом из воспитательных соображений. Дней через десять в РЖУ появился новый инспектор — демобилизованный инженер-сапер.

Так началась педагогическая деятельность Николая.

После РЖУ школа показалась Николаю раем. То ли потому, что дети вообще больше любят учителя физкультуры, чем, скажем, учителя немецкого языка, то ли потому, что в самом Николае, опять столкнувшемся после такого перерыва со спортивными снарядами, проснулось что-то довоенное, физкультурное, а может, и потому, что в Николае таилась какая-то не обнаруженная до сих пор педагогическая жилка,— так или иначе, но уже на второй день с полдюжины ребят провожали его домой.

Было это в январе.

С тех пор прошло три месяца. Тихие, спокойные, занятые работой и обычными, не очень сложными житейскими событиями.

Забежит Ромочка Видкуп — веселый, шумливый парень, мастер на все руки, инициатор всех школьных вылазок, экскурсий и походов.

Реже — раза три-четыре в месяц — появляется Сергей.

В его жизни тоже произошли перемены. Пришлось и ему начать «новую жизнь».

— Инструктор Осоавиахима. Удавиться! Шестьсот пятьдесят рублей. Ну что за работа, я тебя спрашиваю? Ни уму, ни сердцу, ни, главное, карману...

Почему и как это произошло — на эту тему Сергей особенно не распространялся. Разругались и все, ну их в баню...

Он действительно разругался. Разругался со Славкой

Игнатюком, в прошлом старшиной, демобилизованным по какой-то никому не известной болезни, а сейчас организатором и главой «тапочного дела».

С чего ссора началась, бог его знает; кажется, с того, что Сергей привез не те тапочки, какие надо было. Славка ругался, говорил, что не хочет докладывать своих денег. Потом сказал, стукнув себя согнутым пальцем по лбу:

— Вот что в нашем деле главное. Понял? А не только это,— он щелкнул Сергея по протезу.— И намотай это себе на ус. Перевозить мало, надо думать!

Сергей еле сдержался, чтобы не отхлестать Игнатюка этими самыми тапочками по его жирной морде, но как подумал, что их обоих могут сейчас заграбастать — дело было на вокзале — и что ему вместе с ним придется отвечать,— плюнул, швырнул тапочки и ушел.

На этом кончилась «старая» и началась «новая» жизнь Сергея.

Приходил он мрачный, но водкой от него пахло реже. Садился на кровать и начинал поносить свою новую работу. Николай и Шура пытались его переубедить, но он вынимал из кармана маленькую черненькую коробочку, говорил: «Давай-ка лучше в козла постучим, скорее время пройдет»,— и Николай, чтобы не обижать Сергея, играл с ним в домино, которым даже в скучные госпитальные дни никогда не увлекался.

На полях Германии по-прежнему еще гремели пушки, солдаты ходили в атаки, санитарные эшелоны отвозили раненых в тыл — война еще шла,— но здесь, в маленькой комнате на пятом этаже, все было тихо и мирно. И если б все так продолжалось и дальше, тогда, пожалуй, и писать бы не о чем было. Но дальше пошло не так. И пошло с того самого дня, когда в этой самой уставленной цветами комнатке на пятом этаже появился, кроме Николая и Шуры, еще один человек, которому суждено было сыграть весьма существенную роль в жизни Николая.

2

Человеком, сыгравшим такую роль в жизни Николая, оказался средних лет капитан, в габардиновой гимнастерке с двумя рядами орденских планок, невысокий, плотный, слегка лысеющий. Явился он как-то ясным весенним утром,

позвонил в маленький звоночек, совсем недавно проведенный Николаем, и осведомился у открывшей ему дверь Ксении Петровны — учительницы русского языка, жившей в конце коридора направо,— может ли он видеть ответственного съемщика квартиры.

— Я ответственный съемщик,— упавшим голосом ответила Ксения Петровна.

— Моя фамилия Чекмень. До войны я жил в той вот комнате.— Капитан указал на дверь Митясовых.

Ксения Петровна ничего не ответила,— она не знала, что в таких случаях надо отвечать. Тогда капитан поинтересовался, дома ли нынешние хозяева этой комнаты, и, узнав, что нет, слегка свистнул.

— Жаль. Тогда я попрошу передать им, что в девять часов я опять приду. Мне очень хотелось бы их видеть.

В дверях он на минуту задержался.

— А старых жильцов никого не осталось?

— Нет, никого.

Он козырнул и ушел.

Весь день Ксения Петровна со страхом ждала наступления девяти часов. Рассказывали, что в соседнем доме, когда вселялся какой-то майор, разыгралось чуть ли не настоящее сражение. Майор явился с солдатами, его не впустили, вызвали милицию...

Но на этот раз ничего подобного не произошло. Капитан пришел ровно в девять часов, но без всяких солдат.

Впустил его Николай. Сразу же проводил в свою комнату. Капитан вошел, поздоровался с Шурой и, взглянув при свете на Николая, сказал, чуть-чуть прищурив глаза:

— Хо-хо, дело плохо,— и протянул руку.— Чекмень. Капитан Чекмень.

— Вижу, что капитан,— без улыбки ответил Николай.— Моя фамилия Митясов. Садитесь.

Капитан сел.

— Демобилизованный, да? — Он посмотрел своими чуть-чуть смеющимися глазами на Николая. Тот до сих пор ходил в гимнастерке и сапогах.

— Как видите.

— Дело, безусловно, осложняется.

— Какое, интересно?

— Мирного устройства отвоевавшегося воина, который когда-то жил в этой комнате.

— Боюсь, что осложняется.

Капитан улыбнулся.

— Придется подавать в прокуратуру. Ничего не поделаешь.

— Подавайте. Если есть основания, конечно, надо подавать.— И, помолчав, добавил, точно между делом: — Кстати, вас именно из этой комнаты в армию взяли?

Капитан искоса взглянул на Николая.

— А вы что, все законы уже знаете?

— Кое-какие знаю.

Капитан промолчал. Потом встал, прошелся по комнате.

— Забавно. Ей-богу, забавно.

— По-моему, скорее грустно.

— Нет, все-таки забавно.

Он подошел к балконной двери и, наклонившись, стал рассматривать что-то рядом на обоях.

— Так и есть. 4-78-16 — Михеев. Смешно! Здесь когда-то телефон висел, понимаете?

Он опять подошел к столу, сел и посмотрел на потолок.

— Все-таки вам надо было ремонт сделать. Сменить обои, побелить потолок. Впрочем, этим уж я сам займусь.

Николай и Шура переглянулись. Шура стояла возле маленького столика, вытирала тарелки, изредка поглядывая встревоженным взглядом на пришельца. По всему видно было, что сочувствия он в ней не вызывал. Николаю же, как ни странно, капитан этот чем-то даже понравился. Трудно даже сказать чем: то ли спокойствием, то ли чуть-чуть ленивой манерой говорить, а может, и просто взглядом: в маленьких, очень черных, широко расставленных глазах его где-то на дне все время светилась не то насмешка, не то ирония.

— Ну, так как же? — Капитан повернулся в сторону Николая.

— А никак. Будете ли вы подавать в прокуратуру или не будете, дело от этого не изменится. Комнаты вы этой не получите.

— Не получу? — Капитан приподнял брови.

— Не получите.

— Вы в этом уверены?

— Как дважды два — четыре.— Николай вынул портсигар и протянул капитану, тот отказался.— Вы где остановились?

— Нигде. Между небом и землей. На вокзале.

— Вещи есть?

— У каждого, приехавшего из-за границы, есть вещи.

— Тогда сделаем так. Тащите их сюда, переночуете у нас, а завтра, в девять утра, пойдем с вами в райисполком.

— И...

— Там увидим. Может, что-нибудь и получится.

Капитан пожевал губами, сощурился.

— Яволь! Иду на компромисс. Прокуратура временно откладывается.

На этом разговор кончился. Капитан пошел на вокзал за вещами.

Так началось знакомство Николая Митясова с Алексеем Чекменем, офицером штаба инженерных войск армии, прибывшим из Австрии с направлением в Округ для демобилизации.

8

Прожил Алексей Чекмень у Митясовых не день и не два, как предполагалось, а добрых две недели. Спал на балконе, на совершенно плоском волосяном тюфяке, вставал рано, раньше всех, делал зарядку, сворачивал и засовывал за шкаф свой тюфяк, выпивал стакан чаю из термоса и исчезал. Приходил поздно вечером.

Где он пропадал, никто толком не знал. Кажется, в штабе Округа или инженерном отделе — он мельком об этом упоминал, но никогда не вдавался в подробности.

Как жилец он был идеален. Он не требовал за собой никакого ухода, был аккуратен, не тыкал, как Сергей, во все углы свои окурки, не ходил, подобно Николаю, по комнате в одной майке и не разбрасывал повсюду свои ремни, планшетки и подворотнички. Моясь на кухне, всегда вытирал после себя пол и перебрасывался с соседями двумя-тремя ничего не значащими, но любезными фразами, что те очень ценили.

Одному Сергею он не понравился.

— Не люблю я таких типов. Планки нацепил и думает, что герой. Знаем мы этих героев. И потом: чего он всегда спрашивает, можно ли закурить?

— Просто воспитанный человек,— улыбалась Шура.

— Да кому она нужна, эта воспитанность? В Европе, мол, побывал. Интеллигенция. Дал бы я ему по этой

Европе, да вас, хозяев, жалею. И вообще, Николай,—это уж Сергей говорил в отсутствие Шуры,— смотри, как бы это гостеприимство тебе боком не вышло. Что-то мне глаза его не нравятся. Больно хитры.

Предположение это было неосновательным. Шура, правда, немного побаивалась и стеснялась Алексея. Он был остер на язык, и никогда нельзя было понять, говорит ли он в шутку или всерьез. Шуру это всегда смущало. Поэтому, как только он появлялся, она сразу же умолкала, боясь сказать какую-нибудь глупость. Вот и все. При всем желании Сергей не мог обнаружить в их отношениях ничего предосудительного.

Не в пример многим фронтовикам, любящим поговорить о своих успехах и на женском фронте, Алексей был сдержан и никогда об этом не говорил. Вообще о себе и своем прошлом говорил мало и неохотно. Если его спросить — ответит кратко, без лишних подробностей, даже почти совсем без них. Было известно только, что по образованию он инженер — незадолго до войны кончил здешний строительный институт и оставлен был при какой-то кафедре. На войну попал в начале сорок второго года. Воевал на юге, потом в Польше, Австрии.

Вот, собственно говоря, и все, что было о нем известно. О родителях своих никогда не говорил. Семейное положение тоже было неясно. Шуру, как всякую женщину, этот вопрос, конечно, интересовал, но вразумительного ответа, как она ни старалась, добиться ей не удалось.

— Я убежденный холостяк, Шурочка. Штопать носки я и сам умею. И стирать тоже.

— Не говорите так, Алексей. Так говорят только легкомысленные люди, которые...

— Которые что?

— Вы знаете что. А вы ведь не такой. Неужели вам не хочется...

Нет, не хочется.

— Постойте, ведь вы же не знаете, что я хотела сказать.

— Знаю. Неужели вам не хочется, чтобы рядом с вами был человек, который... Ну и тому подобное. Так вот, Шурочка, мне не хочется. Понимаете — не хочется. Любовь кончается тогда, когда в паспорте появляется штамп.

— Алексей...

Он чуть-чуть улыбался одними глазами, но лицо оставалось серьезным.

— А вы уже и поверили? Нет, Шурочка, дело не в этом. Дело куда хуже. Ведь мне тридцать четыре года, а чувствую я себя на целых сорок. В этом возрасте уже трудно влюбляться. А жениться без любви — вы бы меня сами осудили.

— Ну, вы еще найдете.

— Найду? — Все та же улыбка на дне глаз.— Нет, Шурочка, искать мне уже нечего. Давно уже нечего.

— Почему?

— Почему? Да по очень простой причине. В этом году будет ровно десять лет, как я уже нашел то, о чем вы говорите.— Тут он вдруг начинал смеяться, и Шура, как всегда, разговаривая с ним, становилась в тупик.— Десять лет. Ровно десять лет. А вы и не знаете? Ай-ай-ай! У меня ведь даже двое детей — Ваня и Маша. Ваня — черненький, Маша — беленькая. Они письма мне пишут вот такими буквами.

— А ну вас! С вами разговаривать...

Так Шуре и не удалось ничего выяснить.

Любимым изречением Алексея было — «все подвергай сомнению».

— Все подвергай сомнению, вот лозунг мой и Маркса,— говорил он совершенно серьезно, а глаза его, как всегда, чуть-чуть смеялись.— И не делайте, пожалуйста, удивленного вида. Старик действительно так сказал. Прочитайте-ка его «Исповедь».

Николай читал «Исповедь» и приходил в восторг от ответов на шуточные вопросы, поставленные Марксу его дочерьми. Особенно нравилось ему, что любимое занятие Маркса было рыться в книгах («и мое тоже...»), а любимое изречение — «ничто человеческое мне не чуждо».

Алексей только улыбался. Он был трезв и скептичен. Он много читал, многое видел. Он исколесил на фронтовых машинах пол-Европы и очень интересно умел рассказывать о людях, подмечая, правда, преимущественно забавные, комические черточки. Он был не прочь подтрунить и над Николаем. Особенно над его увлечением своими школьниками или над слишком идиллическими порой воспоминаниями о фронтовой жизни и дружбе.

— Это, брат, дело скользкое, фронтовая дружба. Окопное братство и тому подобное. Фашисты здорово сумели все эти штучки обыграть. Ну их...

— То есть как это «ну их»? — горячился Николай.— Самое святое, что есть в жизни...

— Святое-то оно святое, а обыграть сумели. И это один из важнейших пунктов гитлеровского культа войны. Перед смертью все равны, говорят они. Пуля не считается с тем, что ты фабрикант или рабочий, солдат или генерал. Война, мол, объединяет и уравнивает всех, и в этом ее величие. А отсюда и культ всевозможных окопных братств и товариществ по оружию, «кампфкамерадшафт» по-немецки. Вот так-то, брат, а ты говоришь...

Николай с интересом слушал все эти новые и неожиданные для него вещи, иногда соглашался, чаще спорил, вернее пытался спорить — с Алексеем это было нелегко.

Происходило это обычно ночью, перед сном, на балконе. Комната Митясовых выходила на юг, за день нагревалась — весна в этом году была на редкость жаркая,— и к вечеру в ней нечем было дышать. Николай вытащил на балкон и свой тюфяк, и вот тут-то, погасив огонь, они с Алексеем лежали, смотрели в небо и подолгу разговаривали.

Николай полюбил эти ночные разговоры. Кругом тихо. Позванивают редкие ночные трамваи, гудят на станции паровозы, пробуждая желание куда-то ехать. Изредка упадет звезда. Пройдет кто-то с баяном. Проедет машина. И опять тишина.

Набегавшийся за день Алексей вскоре засыпал, а Николай долго еще лежал и, прожигая махоркой простыни, обдумывал все, о чем они говорили.

Один из таких ночных разговоров особенно озадачил Николая.

Начался он, собственно говоря, еще с прихода Сергея. Весь вечер он был мрачен, мрачнее обычного. Скинув гимнастерку и развалившись в плетеном кресле на балконе, он ругал свою службу, начальника. Потом, когда Шура, разливая чай, предложила ему для приличия одеться и привела в пример всегда подтянутого и опрятного Алексея, он вдруг обиделся, от чая отказался и ушел.

Шура заговорила о том, что надо было бы Сергея женить, больно уж он одинок. Николай не согласился: дело, мол, не в одиночестве, а в том, что Сергей потерял жизненную цель.

— Как сел в кабину своего самолета, так и не выберется из нее до сих пор. Сидит и сидит.

Алексей задумчиво катал хлебные шарики. Потом спросил вдруг:

— А у тебя она есть?

— Кто?
— Цель.
Николай пожал плечами.
— Глупый вопрос.
— Почему глупый?
— Потому что глупый.
Алексей улыбнулся.
— Возразить, конечно, нечего. Сдаюсь.
Шура, как всякая хорошая жена, заступилась за мужа.
— А школа? Разве это не цель? По-моему, воспитание молодежи — это ничуть не менее важно, чем... ну, хотя бы...— она запнулась, не зная, с чем бы сравнить,— ну, чем что-нибудь другое.
Алексей с улыбкой смотрел на нее.
— Ну конечно же ничуть не менее важно... Кто же спорит? Но я ведь ничего не утверждал, я только задал вопрос.
— Ну, а я ответила.
— И хорошо ответили. Разве я говорю, что плохо? Я сам великий поклонник Ушинского и Макаренко. Только мечтаю о том дне, когда с меня снимут погоны и разрешат вернуться к педагогической деятельности. Но это я. А вот ваш супруг.— Он подмигнул в сторону Николая, молча вынимавшего из дивана тюфяки.— Для него, боюсь, школа скорее средство, чем цель.
Шура ничего не ответила, старательно вытирала тряпкой клеенку.
— Не цель, а средство,— повторил Алексей,— средство заполнить некую, образовавшуюся после фронта пустоту.
Шура продолжала вытирать клеенку.
— Не понятно? Могу объяснить. На фронте были разведчики. Здесь их нет. Они далеко. Здесь школьники. Вот вам и замена. Своеобразный эрзац разведчиков. А походы, вылазки, всякие там «маневры» — эрзац войны. Игра в войну... Иными словами, все тот же самолет Сергея.
Он посмотрел на спину Николая, все еще возившегося с тюфяками, потом на Шуру.
— Не согласны?
Шура сосредоточенно счищала что-то. Как всегда, она не умела сразу ответить.
— Не знаю,— сказала она.— Так или не так, но что касается меня, так я только рада этой школе. Все-таки школа, а не это чертово РЖУ.

— Ну, это уж другой разговор,— сказал Алексей. Николай приостановился у балконной двери, держа в руках тюфяки.

— Почему другой?

— Да потому, что там, в РЖУ, у тебя была одна цель: поскорее убраться, и все.— Алексей встал из-за стола и потянулся.— В каком это фильме было? Самое важное в жизни — вовремя смыться...

Все еще стоя в дверях, Николай сказал:

— Если б это не ты, а кто-нибудь другой, я бы дал ему за такие слова в морду. Понятно? — и вышел на балкон.

Шура взглянула на Алексея и приложила палец к губам. Алексей понимающе кивнул, взял полотенце и вышел на кухню.

Когда он вернулся, Николай уже лежал в одних трусах на балконе и курил.

— Так, по-твоему, я все еще в «самолете» сижу?

— По-моему, да,— ответил Алексей.

Николай помолчал, потом спросил:

— А из РЖУ, значит, смылся?

— На эту тему я говорить не буду. После твоих угроз остерегаюсь.

— И правильно. Остерегайся. Не знаешь, не суди...

Алексей промолчал. Николай мигал папиросой.

— Смылся... Все вы так о других. Посмотрел бы я, что бы ты на моем месте запел. А то — смылся... Уютного местечка, по-твоему, искал, да? Так если хочешь знать, именно таким, как ты, надо там работать. Чтоб во всех этих балках чертовых и перекрытиях разбирался. Чтоб вокруг пальца не обкрутили, как меня хотели.

— Не понял.

— Поработал бы, понял,— Николай зло усмехнулся,— на второй день понял бы. Подсунули бы аварийный домик, составить акт на ремонт — сразу бы понял. Особенно когда спросят потом, сколько тебе жильцы за это дали. Тихонько так спросят, с улыбочкой, между делом будто...

— Кто это спросит?

— Тот же Кочкин хотя бы, начальничек. А потом подсунет другой домик, почище этого. Ты, мол, испугаешься, под немедленный ремонт не подведешь, а он в один прекрасный день возьми да обвались. Вот тебе и подсудное дело. А ты баран бараном, глазами только хлопаешь — иди разберись, какая там балка гнилая, какая нет.

Николай выругался, щелкнул окурком о стену.

— Эх, будь у меня знания!.. Нету вот, нету... Ну, хоть десятая часть, что у тебя. Разогнал бы, к чертовой матери всю эту шпану разогнал бы...

Алексей улыбнулся в темноте.

— Иди учись тогда. За чем же дело стало?

— Иди учись...— Николай перевернулся на спину, уставился в небо.

Из комнаты донесся звук заводимого будильника. Очевидно, Шура забыла завести его с вечера и заводила сейчас.

— Не спится что-то твоей жене,— сказал Алексей.

— Жарко в комнате, потому и не спится.

— Жарко, конечно,— Алексей помолчал, потом добавил тихо: — Грустная она у тебя почему-то. Всегда такая была?

— У нее умерла мать. При немцах еще.

Опять помолчали.

— А ты давно женат? — спросил Алексей.

— С сорокового. Пятый год уже. А что?

— Да так просто. Я тоже был женат. И тоже ничего не получилось.

Николай повернул голову.

— Почему «тоже»?

— А ты считаешь, не тоже?

— Я ничего не считаю. Просто не понимаю, о чем ты говоришь.

— О жизни, вот о чем. Сложная она штука... Как это твой старик говорил? Самое важное в жизни — это... Что-то там в семье, что-то на работе...

— Мир и благополучие в семье и удовлетворение работой.

Алексей зевнул и натянул на себя простыню.

— А как этого достичь, он не говорил? Спроси при случае. Обязательно спроси,— он повернулся спиной к Николаю.— Давай спать, завтра вставать рано.

4

Мир и благополучие в семье? А что это такое?

Вот у Николая мир и благополучие в семье. Он вернулся к Шуре. Она вернулась к нему. Они живут тихо и спокойно. Они никогда не ссорятся. Утром они встают,

завтракают. Шура кладет в его спортивный чемоданчик чистые трусы и майку, завернутый в газету завтрак. Они уходят каждый на свою работу. Вечером встречаются, пьют чай. «Ну, как твои ребята сегодня? Как Вадик Суханов?» Николай рассказывает о Вадике Суханове, о волейбольном матче, о предполагаемом походе за город. «Ну, а у тебя как? Кончили этот злополучный лист, о котором ты говорила?»— «Кончили. Беленький даже похвалил. В этом месяце, говорят, премиальные получу».

Мир и благополучие в семье? Конечно, мир и благополучие.

Николай никогда не говорит о Феде. Он нисколько не ревнует к нему и вспоминает о нем, только когда подходит к оставшейся от него в наследство карте, чтоб отметить продвижение наших войск. Федя, кажется, живет сейчас в Риге, работает. Николай рад за него. Шура никогда не спрашивает Николая, увлекался ли он кем-нибудь на фронте. Она вообще не расспрашивает его о фронте. А он ее об оккупации. Они не говорят о прошлом. Как будто его никогда и не было. «Ну, как твои ребята сегодня?» — «Как твой чертеж?»

По субботам и воскресеньям они ходят в кино. Они видели много хороших картин. Видели «Кутузова», «Сражающуюся Францию», «Леди Гамильтон». Возвращаясь домой, они говорят о том, что понравилось. Мужчины попрежнему оборачиваются на Шуру: за последнее время она поправилась, стала лучше выглядеть, почти совсем разгладились складки у рта, которые так поразили в первый раз Николая. Да, мужчины оборачиваются и смотрят на Шуру, и ему, как мужу, это должно быть даже приятно. Один раз на улице он слыхал, как кто-то сказал: «Смотрите, какая хорошая пара». Это про него и Шуру.

Ну конечно же мир и благополучие... И что б там ни говорил Алексей — «тоже не получилось», все это чепуха. У него, может, и не получилось, а у Николая получилось. А то,что он иногда вспоминает о Вале и как-то даже зашел в Ботанический сад, разыскал ту самую пещеру, где они сидели с ней, и посидел там немного, повспоминал прошлое — что ж тут удивительного? Да, ему с ней было хорошо, он и не собирается скрывать это от себя. Но это было. И все это уже позади. И хотя, может, это и некрасиво, что он ни разу с тех пор не был в шестнадцатой квартире, но пусть пройдет время... Сейчас у него Шура, и в семье

у него мир и благополучие, и никуда он не будет ходить.

Теперь другой вопрос. Работа. Удовлетворен ли он своей работой?

Удовлетворен. У него не действовала рука — теперь она действует. Он занимается с ребятами. Он готов круглые сутки возиться с ними, ходить на Днепр, красить лодку, составлять по карте маршруты походов. И, ей-богу же, он приносит им какую-то пользу, сколько бы там ни иронизировал Алексей.

Что же еще надо?

А может, дело не только в том, доволен ли ты сам своей работой? Подумай-ка хорошенько. Проще всего ухватиться за что-то хорошее, что ты уже имеешь, и убеждать себя, что это именно и есть то, что нужно. Сделал какую-то работу, тебя похвалили, вот ты и доволен: видите, нас даже похвалили.

Нет, очевидно, важно не только это. Важно и другое: а то ли ты делаешь, что нужно? И если то, в полную ли силу ты это делаешь, все ли отдаешь, что у тебя есть?

На фронте, например, Николай знал, что он делает самое нужное и отдает все, что у него было. И задача была ясна. Она была крохотная и в то же время громадная. Он получал приказ захватить «языка». Это бывало очень трудно, иногда просто невозможно. В Сталинграде он целый месяц не мог достать «языка» и взял его с величайшими трудами только к концу месяца. Задача была захватить «языка», его задача была разведать нейтральную полосу, обнаружить минные поля, определить, сколько у немцев пулеметов — тяжелых и легких. И его цель была — изгнать немцев из России, Украины, Белоруссии, уничтожить фашизм. И он это делал. Один из многих миллионов, таких же как он, людей, сидящих в окопах, работающих в Сибири на заводе, взрывающих поезда в тылу у противника. Он это делал и сделал.

Но это фронт. А до фронта? До фронта у него тоже была своя задача. Не такая большая и важная, как на войне, но была. Он любил спорт и знал, что в этой области может неплохо работать. На втором курсе он завоевал уже второе место на городских соревнованиях и мечтал о первом. Сам Синцов, никогда и никого не хваливший, одобрил его прыжки с шестом...

А сейчас? Что должен делать он сейчас? В каком деле он может принести настоящую пользу, отдать себя целиком, как делал это на фронте? Ведь товарищи его, оставшиеся там, делая самое нужное сейчас, работают для будущего, для той мирной жизни, которая начнется после войны и должна быть еще лучше, чем довоенная. Что же делать ему сейчас?

О спорте можно уже не думать. Сделаешь два-три самых легких упражнения на перекладине и минут пять потом не можешь отдышаться. Врачи, правда, говорили, что раньше чем через год можно и не мечтать о перекладине, а он вот работает, и, говорят, даже неплохо. А разве в руке дело? Не в руке — в сердце, а оно-то уже не прежнее. Значит, точка. Примирись.

РЖУ? Вот где, казалось, можно было поработать, пользу принести. Город разрушен, людям жить негде,— помогай им, что может быть лучше? Но не вышло. Подготовки не хватило, знаний, черт бы их побрал! А без них и не суйся — в два счета блин сделают. Опять осечка...

Школа?

Вот это сложный вопрос. Когда тебя спрашивают, доволен ли ты своей новой работой, ты всегда отвечаешь: «Доволен. Ребята мировые. Веселые, азартные. И сдружились мы крепко». Ну, а если сам себя спросишь? Вот так вот, честно, положа руку на сердце,— доволен?

Алексей смеется, говорит: «Все тот же «самолет». Нет, не «самолет». Не прав Алексей. Не в воспоминаниях, не в разведчиках дело — хотя, может быть, немного и это есть,— нет, дело тут посложнее. Школа не райжилуправление, это правда. Здесь мило, весело, ребята хорошие, и директор тебе обрадовался: все-таки пришел фронтовик, член партии, а в школе почти все преподаватели беспартийные. А что толку, оказалось? Сидишь на педсовете и чувствуешь себя, как в первый раз у Острогорских. Любите ли вы Андрея Болконского, Николая Ростова? А ты впервые о них слышишь. Может, и проходили когда-нибудь в школе, да разве все запомнишь?

И вообще, какой ты, к черту, педагог? Учишь ребят гимнастике, а сам думаешь: вот этого ты уже не сделаешь, и этого тоже. Повел как-то раз ребят поглядеть на соревнования и еле до конца досидел, обидно стало... Двадцать пять лет человеку, а что впереди? Топчись на одном месте и

радуйся, что хоть что-то от прежнего осталось. И так всю жизнь? Как старик певец какой-нибудь отпел свое, вот и принимайся за молодежь. Но тот хоть пел раньше хорошо, а ты?

Нет, не то все это... Не то.

5

В конце апреля Шура уехала в Харьков. Поехала их целая бригада — человек пять инженеров и две чертежницы: предстояла какая-то срочная работа на восстанавливаемом тракторном заводе, которую надо было выполнить на месте. Предполагалось, что к празднику они вернутся, но, как это всегда бывает, что-то не утвердили, что-то надо было еще переделывать, и только восьмого вечером пришла от Шуры телеграмма, что она приедет девятого вечерним поездом.

Николай, как и все в эти дни, ходил возбужденный и радостный. По городу распространился слух, что подписан мир. У громкоговорителей стояли толпы, во всех очередях говорили только об одном — о мире, кто-то даже сам слышал по радио, что он где-то уже подписан. Но официальных сообщений не было. Репродукторы передавали легкую музыку, беседу о лауреатах, оперу «Иван Сусанин» из Большого театра.

Восьмого вечером Николай вернулся домой поздно — педагогический совет затянулся и кончился только в начале одиннадцатого. Николай окинул взглядом комнату, подумав без особой радости, что к Шуриному приезду надо будет ее прибрать, и, не ужиная — лень возиться, завтра позавтракаю,— лег спать. Алексей уже храпел на своем балконе.

Посреди ночи Николай проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо.

— Подъем! Подъем!

Спросонья стал шарить вокруг себя, ища спички.

— Подъем! Подъем! — с веселой настойчивостью повторял над ним все тот же голос, голос Ромки Видкупа.— И как у вас тут свет зажечь, черт вас забери?

Николай наконец нашел спички, чиркнул, зажег коптилку. Посреди комнаты стоял Ромка — рыжий, веснушчатый, сияющий.

— Выходи строиться! Живо!

Николай и Алексей, ничего не понимая, сидели на своих тюфяках, хлопали глазами.

— Война кончилась! Понимаете — кончилась! Кончилась, кончилась, кончилась...

Четвертый час ночи. На дворе еще темно.

Прошел дождик — теплый, весенний, оставив на тротуарах под деревьями светлые серые круги. С мокрых каштанов еще каплет. Точно на глазах распустились их зеленые гусиные лапки. Вчера еще были почками, а сегодня уже стали листьями. В воздухе пахнет свежим — опрыснутой дождем землей, молоденькой зеленой травкой.

Они идут по улице, прямо по мостовой, по трамвайным путям, куда глаза глядят.

Откуда-то — то ли из раскрытого окна, то ли из далекого уличного репродуктора — доносится голос Левитана. Где-то поют. Нестройно, вразнобой, стараясь друг друга перекричать: «Ой, Днипро, Днипро, ты силен, могуч...»

Сквозь молоденькую зелень сада виден университет — большой, печальный, с дырявыми закопченными окнами, облупившимися колоннами. Ему грустно. Всем весело, а ему грустно. Ничего, старина, скоро и за тебя примутся. Не грусти! Смотри, как хорошо разрослись вокруг тебя каштаны — уже касаются друг друга своими ветками, а ведь до войны совсем малютками были.

Взвилась ракета. Осветила улицу, сад, колонны сожженного здания и погасла. Метнулся по небу луч прожектора. Раз-два, туда-сюда, расширился, сузился и тоже погас. Каждому хочется как-то отметить сегодняшний день.

Молоденький безбровый милиционер в белой гимнастерке стоит на углу, скучает. Ему, бедняжке, тоже, вероятно, до смерти хочется вот так вот пройтись по улице, в обнимку, по мостовой, петь песни.

— С праздничком тебя, старший сержант, с победой!

— И вас также, — и улыбается.

Визжа тормозами, подкатил «виллис».

— Как к вокзалу проехать, друг?

— Прямо, потом налево, до бульвара, а дальше увидите.

— Ну, спасибо. И за твое здоровье по маленькой выпьем...

Опять улыбается. Ничего другого ему не остается.

Пошли дальше....

Восток уже порозовел. На небе четко рисуется уступчатая колокольня Софии. Повезло тебе, очень повезло. Пережила войну, и какую! Не тронули тебя. Не успели — убежали. Дай бог тебе столько же еще стоять, сколько ты простояла. И еще столько же.

Пошли, пошли дальше... Пошли к Андреевской. Смотри, как хороша она сейчас, стройная, легкая, с тоненькими своими колоколенками. И почему мы, дураки, не приходили сюда по утрам, именно по утрам, когда она так красива на золотистом утреннем небе? Теперь мы всегда будем приходить сюда по утрам, обязательно по утрам...

Как гулко звенят твои чугунные ступени! Как хорошо стоять возле тебя, облокотившись о парапет, и смотреть на Днепр — широкий, разлившийся до самого горизонта. Он сейчас совсем розовый, как и небо на востоке. Только там, у Никольской слободы, осталось еще немного синего и фиолетового. Тихо-тихо кругом...

И даже не верится, что были другие утра. С таким же прозрачным, как сейчас, небом, с капельками росы на траве и первыми появлявшимися в воздухе самолетами. А потом всходило солнце и начинался страшный, насквозь пронизанный ревом моторов и разрывами бомб, нескончаемый, мучительно длинный день.

Тяжелые дни войны. Тяжелые, ох, какие тяжелые... Июнь, июль сорок первого года. Немецкие листовки — «Сдавайтесь! Вы окружены! Штык в землю!» Горящие села, горящие города, осыпающиеся хлеба — какие хлеба! — и ползущие в них, обросшие бородами люди, прошедшие уже сотни километров, чтоб прорваться к своим... Сентябрь, октябрь. Страшная сводка Информбюро, когда бои шли уже на самых подступах к Москве: «Положение угрожающее...» Казалось, еще шаг, еще один только шаг... И вдруг... Брошенные в снег машины, подбитые танки, первые пленные — замерзшие, закутанные в одеяла. «Зимний фриц...» И в эти дни парад на Красной площади, в нескольких десятках километров от передовой. И потом прямо с парада — на фронт. Мимо Василия Блаженного, по набережной, через Бородинский мост, на Можайское шоссе.

«Не так страшен черт, как его малюют»,— сказал тогда Сталин.

Он стоял на Мавзолее в хмурый ноябрьский день, и перед ним проходили войска — пехота, танки, артилле-

рия, — войска, пришедшие с фронта и уходившие на фронт.

Кто знает, может, это были самые счастливые минуты за все время войны. Значит, умеем еще воевать! Умеем, черт возьми!

А потом Сталинград, Курская дуга, Польша, Германия, Берлин...

И вот — все!

Странное чувство. Вот так до войны никак нельзя было себе представить: а как же это будет, когда она начнется? Так и сейчас. Все, чем люди жили все эти годы — страшное, тяжелое и ставшее в этой тяжести чем-то даже привычным,— кончилось.

В Сталинграде было не так. Там тоже было странное чувство: только что ты еще стрелял, согнувшись, перебегал по окопам, с опаской поглядывал на небо — и вдруг конец! Тишина. Непонятная, незнакомая тишина. Только какой-нибудь веселый сержант, не зная, куда девать патроны, пустит в воздух очередь из автомата.

Но там было другое. Там ты, после пяти месяцев войны, оказался вдруг в тылу. Но фронт еще был. Далеко, за десятки километров, но был. И ты знал, что еще попадешь туда. А сейчас его нет. Совсем нет. Возьмешь завтра газету, посмотришь в то место, где была сводка Информбюро, а вместо нее уже про комбайнеров пишут.

И все-таки война кончилась. Кончилась в Берлине. Не на Волге, не на Урале, а в Берлине. В том самом Берлине, о котором мечтал каждый солдат. Все мечтали: вот придем в Берлин, разыщем среди развалин имперскую канцелярию, доберемся до Гитлера...

Стало совсем светло. Подул ветерок. Откуда-то появились две девушки, какой-то танкист в шлеме, парень с баяном. Поеживаясь, тихо наигрывает что-то. Что ты стесняешься? Смелей, смелей! Что-нибудь фронтовое. «Землянку» или «Темную ночь». Давай, не стесняйся. «Те-е-емная но-о-очь...»

Как любил эту песню Веточкин, славный, в кубаночке своей набекрень, лейтенант Веточкин. И пел ее хорошо. У него был чистый высокий голос, и бойцы часто просили его спеть что-нибудь. И он пел. Последний раз это было недалеко от Ковеля, в лесу, на лужайке, за день до наступления. Он много пел в тот вечер. А на следующий день он подорвался на противотанковой мине. Никто не мог понять, как это произошло. Нашли только его пилотку и полевую сумку.

Нет его больше. И Кадочкина, замполита Кадочкина тоже нет. В последнем письме, откуда-то уже из Германии, Леля писала, что он погиб во время бомбежки. Похоронили в небольшом разрушенном селе на берегу Одера, недалеко от Франкфурта.

Многих уже нет. Не дожили. Казаков, Трофимов, Майборода, медсестра Наташа, которую, как говорили, даже пуля жалела...

А ты вот жив...

Прозвенел где-то внизу, на Подоле, первый трамвай. Зажегся кое-где уже свет в окнах. Люди собираются на работу. И может, даже не знают, что уже мир.

Лейтенант-танкист разложил на коленях карту, что-то показывает Алексею и Ромке. Должно быть, пройденный путь. Склонили головы, разглядывают.

Николай смотрит на лейтенанта. Немолодой уже, со следами ожогов на руке. Горел, должно быть. Повидал войну.

Николай смотрит на него и думает... Вот встреться они недели две-три тому назад, и он не то что позавидовал бы лейтенанту, но что-то екнуло бы в груди. Парень, может, из госпиталя выписался, на фронт едет. А Николай уже не поедет, отвоевался.

Но это было бы две-три недели тому назад. А сегодня? Парень вот уже тоже вспоминает войну, карту показывает. Для него война уже кончилась, как и для Николая, как для всех. И скоро он скинет свои погоны и, может быть, так же как и Николай, задумается: а что ж дальше?

Но ему будет легче. Война уже кончилась. Самое главное в нашей жизни уже другое — не война.

И Николаю вдруг от этой мысли стало легко и весело. Именно здесь, в это свежее радостное утро ему вдруг стало ясно, что все то, что его так мучило последнее время,— сознание, что ты делаешь не самое важное, не самое нужное, что ты — пусть не по своей вине, но отстранился от самого важного и нужного,— что этого больше нет.

6

Как-то, укладывая в чемоданчик Николая завтрак, Шура обнаружила на дне его серенькую тоненькую книжицу — программу для поступающих в средние и высшие учебные заведения.

— Это что, твое? — удивилась она.

— Мое,— ответил Николай.

— Зачем?

— Да так. Решил посмотреть.

Ответ был по меньшей мере уклончивый, но в тот же вечер Шура, при содействии, правда, Алексея, добилась более ясного.

Да, Николай решил попробовать силы. Дело, конечно, не легкое,— за каких-нибудь два с половиной месяца надо подготовиться и по математике (в объеме десяти классов!), и по русскому, и по истории СССР, и по иностранному языку,— но в конце концов у него скоро начнутся каникулы, и почему бы не попробовать...

Встал вопрос — куда?

Шура считала самым подходящим геолого-разведочный («был на войне разведчиком, вот и сейчас им будешь»), но Алексей запротестовал:

— Только в строительный. Строительный — и никаких разговоров.

Во-первых, строители сейчас очень нужны, во-вторых (тут Алексей подмигивал Шуре), окончив институт, Николай сможет вернуться в свое РЖУ («будешь уже знать, какая балка гнилая, а какая нет»), а в-третьих, и в самых важных, в начале будущего месяца Алексея демобилизуют (это почти факт), а в институте он уже договорился относительно места декана факультета ПГС (промышленно-гражданского строительства),— иными словами, протекция обеспечена.

Какой именно из этих аргументов подействовал на Николая, трудно сказать. Возможно, что все три, а может, и еще какие-нибудь. Много времени спустя Николай в шутку говорил, что поступил в строительный институт просто потому, что ему была знакома туда дорога. А может, и не только дорога, бог его знает... Так или иначе, по этим или другим причинам, но выбран был именно строительный институт.

Экзамены должны были быть в августе. Николай сел за книги.

Сергей, глядя на него, только посмеивался.

— Учишься? Ну, учись, учись, авось и в академики выберешься. Возьмешь меня тогда к себе шофером, а?

Николай отмалчивался.

Не одобрил Николая и Яшка. Встретились они как-то

на улице. Яшка ехал на своем «студебеккере» и, увидев переходившего улицу Николая, заорал во всю глотку:

— Э-э, капитан!

Николай обернулся. Яшка круто подрулил к тротуару.

— Куда ж ты провалился, друг, а?

Николай посмотрел в сторону.

— Да так как-то все... Работы много, и вообще...— он повернул ручку дверцы.— В институт вот надумал поступать.

— Уговорили-таки? — Яшка иронически ульюнулся.— Ну, а друзей почему забыл?

— Что поделаешь, женатый человек! А жены, знаешь, теперь какие — никуда не пускают.

Яшка раскрыл рот.

— Постой, постой! Какая еще жена?

— Обыкновенная, довоенная.

— Нашел, что ли?

— Нашел.

Яшка протяжно свистнул.

— Вот это да, — и почесал свою лохматую голову.— А ведь такая парочка была, такая парочка...

Он стал рассказывать о шестнадцатой квартире. Анна Пантелеймоновна все еще болеет. Два раза было воспаление легких. Совсем сдала старуха, а ведь какая бойкая была. Зашел бы все-таки, навестил. Неловко как-то получается. Бэлочка в этом месяце, вероятно, родит. Муня работает как вол,—на пеленки зарабатывает. Старики Ковровы как всегда. У Валерьяна Сергеевича опять кабак в комнате, еще одну кошку завел. Сам Яшка работает все там же, в «Союзтрансе».

— Напрасно ты тогда не согласился. Давали бы дрозда на пару. Жить все-таки можно. Надоест учиться — приходи, всегда устрою.

На этом разговор кончился: подошел милиционер и велел Яшке следовать дальше, если он не хочет уплатить штраф.

— Есть, товарищ начальник! — весело козырнул Яшка и помахал Николаю рукой.— А зайти все-таки надо. Нехорошо друзей забывать, ей-богу нехорошо!

— Зайду, обязательно зайду! — крикнул вдогонку Николай.

Но прошел июнь, июль, а он так и не зашел.

7

Всю ночь с тридцать первого июля на первое августа Николай не спал. В голову лезли какие-то формулы, длиннущая фраза из диктанта: «Большая, без единого деревца и кустика, освещенная красным, лишенным лучей солнцем, выжженная, сухая степь казалась сейчас вымершей и пустынной на всем своем протяжении с севера на юг, от того места, где стоял офицер, до крохотного, почти незаметного курганчика на горизонте».

Проклятая фраза! Николай сделал в ней десять ошибок и надолго запомнил эту идиотскую степь с курганчиком, солнцем и офицером... Потом вспомнилось почему-то, что три года тому назад, в эту самую ночь, с июля на август, он лежал где-то в степи, под Сталинградом. Лежал вот так же, как и сейчас, закинув руки за голову, смотрел на крупные немигающие звезды и думал о том, что творится сейчас на правом берегу Дона, у Калача, и что ожидает его с товарищами в Сталинграде.

И вот прошло три года, ровно три года, и он так же лежит и опять никак не может заснуть. И отчего? Оттого, что завтра долговязый желтолицый математик будет спрашивать его, что такое бином Ньютона или еще что-нибудь похуже. Смешно. Ей-богу, смешно...

В семь он уже был на ногах. Есть не хотелось — выпил стакан чаю, с трудом впихнул в себя кусок хлеба с колбасой. Шура пожелала «ни пуха ни пера», велела обязательно позвонить после экзамена к ней на работу. Он сказал, что непременно позвонит, чмокнул ее в лоб и ушел задолго до назначенного часа.

К двенадцати часам он был уже свободен. Ему повезло. Желтолицый математик оказался вовсе не таким несимпатичным, как показалось вначале. Прежде чем дать пример, он спросил Николая, не родственник ли ему известный академик Митясов, Сергей Гаврилович (вопрос этот вызвал неожиданное веселье у экзаменующихся), а после того как Николай с грехом пополам решил пример, подмигнул и сказал:

— Ну как, на фронте легче?

В письменной Николаю помог его сосед, молоденький паренек с торчащими ежиком волосами: сунул шпаргалку с решением не получавшейся у Николая задачи.

По телефону Николай сообщил Шуре:

— Все в порядке. Троечка обеспечена.

Привычным жестом проверив, не выскочил ли обратно пятиалтынный из автомата, он направился к выходу. В дверях его задержал паренек с торчащими ежиком волосами. Спросил, не знает ли он, где можно пообедать подешевле: он, мол, приезжий и ничего еще здесь не знает. Николай хотел ему сказать, что лучше всего в университетской столовой, что там даже пиво есть и не грех после экзамена пропустить по кружечке, но сказать это ему так и не удалось,— из профессорской вышла Валя.

Она вышла с каким-то низеньким, очень толстым, лысым человеком — очевидно, тоже педагогом,— держа в руках большой лист бумаги и о чем-то оживленно с ним разговаривая. На ней была обычная ее, только еще более выцветшая гимнастерка и полевая сумка через плечо.

Парень с ежиком продолжал что-то говорить, но Николай не слышал его. Он прошел через вестибюль и остановился возле профессорской. Валя стояла к нему спиной. Потом обернулась. И тут Николай, совсем неожиданно для самого себя, сказал:

— Здравствуй, Валя!

Лысый толстяк обернулся.

— Одну минуту! Неужели нельзя подождать одну минуту? Видите, мы заняты.

Валя спокойно, слишком даже спокойно, как показалось Николаю, посмотрела на него и сказала:

— Сейчас я кончу. Подожди.

Толстый и Валя еще минут пять говорили о каком-то расписании: толстый говорил, что ему что-то неудобно в четверг, а что-то в пятницу, в конце концов выхватил у Вали из рук лист и с неожиданной быстротой побежал вверх по лестнице.

— Я сейчас, — сказала Валя Николаю и опять зашла в профессорскую.

Она похудела, осунулась, еще больше стала похожа на Анну Пантелеймоновну. Он не видел ее десять месяцев. И как спокойно она на него посмотрела! Как на любого другого студента. Как будто они виделись только вчера и между ними ничего не произошло. Но как бы там ни было, хочет этого Валя или нет, он пойдет сейчас к ней, пойдет к Анне Пантелеймоновне, а если ее сейчас нет, она на работе, придет к ней вечером. Он не будет придумывать никаких предлогов, он скажет Анне Пантелеймоновне все как есть.

В конце концов последний разговор у него был именно с ней, и никто, кроме нее, не поймет его по-настоящему,— не поймет, как трудно после такого разговора приходить...

Валя вышла из профессорской и, кивнув Николаю, быстро пошла к выходу.

— Ты домой? — спросил Николай.

— Домой.

— Я с тобой пойду. Можно?

Валя ничего не ответила. Они прошли несколько шагов молча. Да, она похудела, под глазами появились синяки. Неужели она не отдыхала все лето? Рядом с загорелым, обветренным в своих школьных походах Николаем она казалась неестественно, болезненно бледной.

— Анна Пантелеймоновна сейчас дома или в библиотеке? — спросил Николай.

Валя, не поворачивая головы, сказала:

— В позапрошлое воскресенье мама умерла.

Николай остановился.

— Сердце не выдержало,— сказала Валя.

Они шли через пустырь, по которому столько раз ходили. Невдалеке от них группа саперов привязывала веревку к высокой одинокой стене, которую, очевидно, собирались валить. Один из них сидел на самом верху, — бог его знает, как он туда забрался. Николай и Валя сели на груду кирпичей. Со стороны могло показаться, что они с интересом следят за этим сапером.

— За два часа до смерти мама говорила о тебе. Она ни на минуту не теряла сознания... Она лежала лицом к окну и за два часа до смерти сказала: «Все-таки как хорошо Коля полки починил, того пятна совсем не видно». Знаешь, какого? Которое выглядывало из-за той полки с толстыми журналами. Потом она сказала, тоже про тебя: «Так и не прочел «Обломова». А я все забываю вернуть. Напомнишь мне, когда я на работу пойду». А через два часа она умерла.

Умерла... Какая она была тогда маленькая на этом большом удобном диване! Он предложил ей зажечь коптилку. Она отказалась. «Не надо, Коля, я и так полежу». Он удивился — это было так не похоже на нее. Он вспомнил ее глаза: в тот вечер они не были веселыми, они были серьезны, непривычно серьезны и какие-то смущенно-извиняющиеся. «На войне многое очень просто. Я знаю. Но это страшная простота. Не надо ее...» Николай на всю жизнь

запомнил эти слова, эти глаза. Она положила ему тогда на колено руку, маленькую худую руку, и ему хотелось поцеловать эту руку, руку человека, прожившего долгую, хорошую и такую тяжелую жизнь.

...К ним подошел очень молоденький румяный лейтенантик в кокетливо сдвинутой на левое ухо пилотке и, козырнув, сказал:

— Придется вас попросить. Сейчас рушить будем.— Он улыбнулся, сверкнув зубами.— Оттуда, с улицы, даже лучше видно будет.

Он не сомневался, что Валю и Николая больше всего интересует сейчас, как будет рушиться его стена.

— Филонов, погоди! — звонко крикнул он и побежал в сторону своих саперов.

Валя и Николай встали и, миновав стену, начали спускаться с горы.

Николай видел много смертей. Он видел, как убивали юношей, почти мальчиков, самых дорогих ему людей. Но сейчас, когда ему сказали, что умерла немолодая женщина, которую он знал всего каких-нибудь три-четыре месяца, он почувствовал такой прилив горя, что, не подойди к ним лейтенант, он, может быть, даже заплакал бы. Возможно, в Анне Пантелеймоновне он почувствовал то, чего он не знал в своей жизни — любовь старого человека, любовь матери.

Он проводил Валю до самого дома. Дальше он не пошел, ему не хотелось никого сейчас видеть — ни Валерьяна Сергеевича, ни Ковровых, ни Яшку, ни Муню с Бэлочкой.

— Так ты, значит, в наш институт поступаешь? — спросила Валя.

— Да,— ответил Николай.

— Ну что ж, пожалуй, это самое правильное.

Она протянула руку — он крепко ее пожал,— повернулась и вошла в подъезд.

8

Валя еще долго стояла на лестнице. Поднялась на самый верхний этаж и, облокотясь на подоконник, смотрела на улицу. Когда Валя была маленькой, она тоже приходила сюда. Тогда стекла в окне были разноцветными — красными, зелеными, желтыми, и очень забавно было

сквозь них смотреть на город. Сейчас стекла были обыкновенными, грязными и немытыми, но Валя по-прежнему сюда приходила, если хотелось побыть одной.

Когда она услышала голос Николая, его «Здравствуй, Валя», ей показалось, что сейчас обрушится потолок или провалится пол. Что она ему ответила и ответила ли вообще? Кажется, ответил Игнатий Петрович. Потом она еще долго говорила с Игнатием Петровичем и все время чувствовала Николая за своей спиной, даже слышала, как он чиркал спичками. О чем она говорила, что ей отвечал Игнатий Петрович, она не помнит. Потом эти проводы домой, сидение в развалинах...

У Вали странно сложилась жизнь. До двадцати лет она училась. В двадцать лет попала в армию. У многих в этом возрасте уже муж, дети. У Вали не было ни мужа, ни детей. Она вбила себе в голову, что семья — это конец свободной жизни, и хотя мужское общество всегда предпочитала женскому, но это главным образом потому, что она считала себя скорей «мальчишкой», чем «девчонкой».

В армии не все разделяли эту точку зрения, что, безусловно, осложнило и без того не слишком легкую жизнь сержанта 34-го зенитного полка. Но Валя была девушкой сильной, и кое-кто из веселых лейтенантов почувствовал это на собственной шкуре, хотя об одном из них, о Толе Калашникове, командире артвзвода противотанкового дивизиона, никак нельзя сказать, чтоб он был так уж противен Вале. Но что поделаешь, фронт остается фронтом, другого выхода у нее не было. В полку скоро свыклись с мыслью, что она «парень» и что держаться от нее надо подальше.

Когда в шестнадцатой квартире появился Николай Митясов, Валя подумала: «Ну, этот тоже...», и в силу сложившейся за годы войны привычки сразу заняла активно-оборонительную позицию. Но Николай приходил, пил чай, рассматривал книги. Потом начались уроки английского языка, вечерние проводы... Николай одинок — Валя понимала это. У него в жизни что-то не получилось. Но и у нее-то самой после фронта тоже не было настоящих друзей. Любимая мать, хорошие соседи, институт? Нет, очевидно, в двадцать четыре года этого мало.

Потом Николай исчез. Это было настолько неожиданно, что Валя сначала подумала, не произошло ли какое-нибудь недоразумение. В ее голове никак не укладывалось, что человек, в которого она поверила, который за

каких-нибудь два-три месяца стал членом их семьи, человек, с которым ей было так легко и просто, который понимал ее с полуслова и которого — чего уж тут скрывать!— которого она полюбила, — она не могла поверить, чтобы он мог вот так вот просто повернуться и уйти. Но он ушел.

Когда мать ей обо всем рассказала, она чуть только пожала плечами. Они ни разу потом об этом не говорили. Анна Пантелеймоновна часто заговаривала о Николае —она любила его. Валя слушала, но не отвечала ни слова.

Мать и дочь любили друг друга. И вот одной из них нет. Пустая комната, пустое сердце.

Валя стоит, облокотясь о холодный каменный подоконник, и смотрит, как галки вьются вокруг старого сухого тополя. Когда-то он тоже был зеленым, и рядом с ним стоял другой. При немцах его срубили.

Завтра она опять пойдет в институт, и опять увидит Николая, и опять будет с ним разговаривать, и опять не сможет ему сказать, чтобы он не провожал ее домой.

9

В этот день Шура ушла с работы на час раньше. Ей захотелось отметить чем-нибудь первый Колин экзамен — купить вина, чего-нибудь сладкого. Но магазины закрывались в шесть,— тогда же, когда и Шурина контора, — поэтому, придумав какой-то предлог, Шура пошла к Беленькому. Против ожидания, Беленький — неисправимый формалист и педант — сразу же согласился, сказав, правда, что отпускает ее только в порядке исключения и только потому, что последние дни Шура много работает по вечерам.

Шура купила полбутылки портвейна, кекса с изюмом — единственная сладость, которую признавал Николай,— а на последние десять рублей два билета в кино на семичасовой сеанс. В шесть она была уже дома.

Николай лежал на кровати и смотрел в потолок.

— Я достала два билета в кино,— сказала Шура,— на «Крейсер «Варяг».

Николай рассеянно взглянул на нее и сказал, что в кино не пойдет: картину он эту видел, и она неинтересная. Где он мог ее видеть, было не совсем ясно, она только что вышла на экраны. Но потом выяснилось, что у него просто нет настроения, что он узнал о смерти близкого ему человека,

Анны Пантелеймоновны: «Я тебе говорил о ней, наша госпитальная библиотекарша», и, чтоб не портить Шуре настроения, выйдет немножко прогуляться один.

Шура молча все выслушала. Не разворачивая покупки, положила в буфет, пошла на кухню, разогрела обед. Потом в одиночестве пообедала: Николай отказался — у него не было аппетита,— вымыла посуду.

По радио передавали музыку украинских композиторов. Козловский и еще кто-то, Шура не расслышала фамилии, пели любимый ее дуэт Лысенко — «Колы розлучаются двое». Николай попросил выключить или хотя бы сделать тише. Шура выключила репродуктор и вдруг расплакалась.

Николай удивленно на нее посмотрел.

— Ничего, ничего,— сквозь слезы сказала Шура.— Просто я очень люблю эту вещь.

— Тогда включи. Я не знал, что ты ее любишь. Включи, ради бога.

— Не надо,— сказала Шура.

Николай встал, вышел на балкон, постоял там, выкурил папиросу.

«Сейчас вернется и начнет искать свой ремень»,— подумала Шура.

Николай действительно вскоре вошел в комнату и, застегивая воротник, взглянул на стул, куда он обычно вешал ремень. Его там не было.

— Ты не видела моего ремня, Шура?

Шура подала пояс, он упал под стул.

— Ты к Вале?—спросила она.

— К Вале,— ответил Николай.— Надо зайти все-таки. Ей сейчас, вероятно, очень одиноко.

Он стоял возле дверей, застегивая ремень и старательно расправляя складки. Несколько раз провел большим пальцем под ремнем, хотя все складки были уже расправлены.

Шура вышла на балкон.

Напротив, через улицу, строился дом — один из первых новых домов в городе. Шура любила на него смотреть, следить за каменщиками, за тем, как изо дня в день все выше становятся стены. Обычно, глядя на него, Шура гадала, сколько в нем будет этажей. Если четыре — хорошо, он не закроет собой Черепановой горы, если пять — закроет, и не будет уже видно лужайки, где они с Николаем сидели в первый раз.

Сейчас, выйдя на балкон, она увидела, что каменщики начали кладку пятого этажа, и подумала со злостью: «Ну и пусть, пусть будет пять, очень хорошо, пусть...»

То, что семейная жизнь у нее не получилась, Шура поняла не сразу.

Николай был заботлив и внимателен. Он старался помочь ей во всем. Бегал на базар, стоял в очередях за пайком. Когда она приходила по вечерам усталая и, сев на стул, не могла уже с него подняться — работать ей приходилось главным образом стоя,— он всегда убирал со стола, мыл посуду. Соседи умилялись их дружбе, и на кухне, где женщины особенно любят поговорить на житейские семейные темы, Митясовых часто приводили в пример, как надо жить мужу и жене.

Но вскоре Шура поняла, что это не так. Нет, не то, что поняла, это не то слово. Умом, рассудком она пыталась убедить себя, что все идет хорошо. Но это умом, который всегда старается помочь,— старается, но, увы, не всегда удачно. А вот тут, где-то внутри, каким-то чутьем Шура понимала, что вовсе не так уж все и хорошо. Скованность, появившаяся еще при первой их встрече, когда они говорили о чем угодно, только не о том, что нужно было обоим,— эта скованность, как появилась тогда, так и осталась. Николай заботлив и вежлив, это верно. Даже слишком. До войны он был куда менее заботлив. Он не умел по-настоящему «ухаживать», ходил в кино на ее деньги, что было нарушением всех традиций, прибегал прямо с тренировки в спортивных шароварах и вылинявшей майке, иногда где-то пропадал с ребятами и потом ее же за что-то отчитывал. Теперь он никогда не раздражался, не повышал голоса. Иногда ей просто хотелось, чтобы он рассердился на нее, обиделся, пусть даже накричал,— что угодно, только не это сдержанное внимание, это не нужное благородство человека, любящего тебя только из жалости. Да, он ее любит только из жалости. Когда он пришел, она расплакалась, не выдержала и расплакалась. Вот он ее и пожалел. Несчастная, одинокая, пережившая оккупацию.

Оккупация... А может... Нет, Шура гнала от себя эту мысль. Не может этого быть! Есть еще, конечно, такие, которые смотрят на всех переживших оккупацию как на людей сомнительных, чуть ли не изменников. Но при чем тут

Николай? И как она могла о нем подумать? Нет, нет, нет...

Потом появилось другое. Сначала она гнала и эту мысль, потом все чаще и чаще стала к ней возвращаться. Просто ему с ней скучно. Ему нужна совсем другая жена, не такая, как Шура, ему нужна умная жена, с которой можно поговорить и о том, и о сем, и о всяких там прочитанных книжках. Вот такая, как та самая Валя. Она где-то там что-то преподает, и отец у нее, кажется, каким-то ученым был, и сама она, как и Николай, была на фронте, а не в оккупации (ох ты, господи, опять эта оккупация!), ну и вообще... Она хотела как-то спросить Николая, сколько ей лет,— вероятно, столько же, сколько и Шуре,— но потом не решилась: а вдруг подумает... Нет, просто ему с ней скучно. Она возвращается с работы, а он уже за книгой. Никогда раньше столько не читал. А теперь уткнется в книгу и молчит.

Однажды она пошла на хитрость: купила пол-литра, может, это подействует, развяжет язык. Но, как назло, явился Сергей — у него какое-то чутье на это дело,— и языки у них действительно развязались, но о чем они говорили? О своих солдатах, о всяких там танках, окружениях, Ваньках, Петьках,— как не надоело только!

Потом появился Алексей. Николай сразу оживился, стал много говорить, смеяться, совсем как до войны. Шура начала ревновать его к Алексею. Даже хотела, чтоб он скорее от них уехал. Но когда он, получив где-то каморку, действительно уехал, пожалела, — Николай опять уткнулся в книги.

Шура принялась старательно читать газеты. По вечерам рассуждала на международные темы и, как ей казалось, вовсе не так уж глупо. Но Николай только рассеянно подымал голову и говорил: «возможно», «право, не знаю», «да», «нет». Если бы то же самое сказал Алексей, он сразу оживился бы, и, кроме этих слов, у него нашлись бы и другие...

Шура стояла на балконе. Она слышала, как Николай все еще ходил по комнате, звеня мелочью в кармане. Потом вышел на балкон, стал за ее спиной.

— У тебя что, неприятности какие-нибудь? — спросил он.

Шура не ответила.

— По службе, что ли?

— Да... по службе...

— Опять твой Беленький?

— Нет, не Беленький.

— А кто же?

Он наклонился над ней, и Шура почувствовала на шее и затылке его дыхание.

— Кто же? Скажи мне.

Шура не выдержала.

— Ах, господи боже мой... Не все ли равно кто. Как будто это тебя интересует!

Николай взял ее обеими руками за голову и повернул к себе лицом.

— Шура, что это значит?

У нее дрожали губы.

— Уходи,— еле слышно сказала она.— Уходи... Уходи к своей Вале...— и опять расплакалась.

Николай несколько секунд стоял, держась рукой за перила, потом резко повернулся и вышел из комнаты.

10

Экзамены были сданы. Все оказалось совсем не так страшно. Николай получил по всем предметам четверки, а через несколько дней в вывешенном списке обнаружил свою фамилию.

По этому случаю был устроен небольшой пир «в самом тесном кругу друзей». Все держали себя свободно и весело; Ромка Видкуп, забавно перебирая плечами, пел цыганские романсы под гитару; Сергей показывал чудеса жонглирования, разбив всего лишь две бутылки; Алексей прочел «Оду на вступление Николая на учебную стезю».

Назавтра Николай уехал в Черкассы.

За день до того никто об этом даже не думал. План возник случайно, на вечеринке. Оказалось, что у Ромки есть родители — отец и мать, и совсем недалеко, в Черкассах, что до начала занятий осталось больше двух недель и что вообще какого черта, говорил Ромка, околачиваться в городе, когда можно чудесно провести время на Днепре, поправляясь на родительских харчах. Шура и Алексей поддержали его, и на следующий день Николай с Ромкой выехали на старенькой, осипшей «Десне» в Черкассы.

За два дня до начала занятий Николай вернулся домой. Шура, увидев его, всплеснула руками.

— Ой! Какой толстый! — в голосе ее чувствовался даже испуг.— Никогда тебя таким не видела.

Николай рассмеялся.

— Картошка, сметана, спокойная жизнь.

— А почему телеграммы не прислал? Я бы тебе пирог с яблоками испекла. Сейчас столько яблок...

Она побежала на кухню, а Николай, посмотрев ей вслед, подумал: «Ну, вот и все в порядке! Веселая, собирается пирог печь».

Весь вечер они провели вместе. Николай рассказывал о полуметровых сазанах, которых они ловили, о старике Кононовиче — Ромкином отце, по вечерам заводившем бесконечные разговоры с Николаем. Шура делилась своими служебными новостями.

Следующий день было воскресенье. Привыкший к реке, Николай вытащил Шуру на пляж, и хотя был конец августа, Шура даже обожглась. Провели они на пляже целый день. Лежали под грибком, немножко поиграли в волейбол. Потом Николай демонстрировал Шуре прыжки в воду с вышки. Прыгал он хорошо — всякими щучками и ласточками. Шура с удовольствием слушала, как опытные пловцы хвалят ее Николая.

Вернулись последним катером, прошлись по тихому вечернему городу, рано легли спать, усталые от воздуха, солнца, воды,— совсем как в старое доброе время.

На следующий день Николай пошел в институт.

Но, как это всегда бывает, оказалось, что аудитории для первого курса еще не подготовлены и занятия перенесены на завтра, на вторник. Николай списал расписание, потолкался между ребятами в вестибюле. Потом зашел в библиотеку — надо было захватить учебники, пока не поздно.

За столом, у самой стойки, сидела Валя. Наклонившись над книгой, она что-то выписывала из нее в блокнот. Николай прошел мимо (она не подняла головы), попросил нужную ему книгу, полистал ее, потом подошел к Вале. Он не видел ее целый месяц.

— Можешь меня поздравить, Валя,— сказал он негромко, перегнувшись через стойку.

Валя вздрогнула и подняла голову.

— Можешь меня поздравить,— повторил он.—Приняли.

Валя продолжала смотреть на него, повернув голову и прикусив губу. Потом сказала:

— Поздравляю. Я очень рада.

— Я тоже.— Николай почему-то улыбнулся.— Вот я и студент, значит.

— Студент,— повторила за ним Валя и посмотрела куда-то в сторону.

По всему видно было, что она не очень склонна к разговору. Но Николай не отходил. Ему не хотелось уходить. Придвинув ногой стоявший у стойки стул и опершись о него коленом, смотрел на Валю.

— У тебя что, лекция сейчас?

— Да, через пять минут.

Николай помолчал, потом, чувствуя, что пауза затягивается, спросил почему-то о Бэлочке:

— Ну, как Бэлочка? Не родила еще?

— Родила. Двойню.

Он не выдержал и рассмеялся.

— Бедный Муня! И давно?

— Говори тише. Здесь все-таки библиотека.

Николай закрыл ладонью рот, потом вопросительно взглянул на Валю и спросил уже шепотом:

— Вероятно, надо подарить что-нибудь?

— Твое дело.

— Что же?

Валя ничего не ответила. Николай почесал затылок.

— Придется на толкучку сходить.

Он посмотрел на часы — было без пяти двенадцать. Отодвинул стул, выпрямился. Валя кончила писать и всовывала блокнот в полевую сумку.

— Так у тебя, значит, еще лекции? — спросил Николай.

— Да. До трех.

— А после трех?

Валя подняла голову.

— А тебе зачем?

— Просто так... Думал, может, вместе на толкучку сходим. Я ведь в этих вещах не очень...

А я, по-твоему, очень? — Она чуть-чуть улыбнулась, и Николаю сразу стало хорошо, он не видел этой улыбки почти год.

В коридоре задребезжал звонок. Валя перекинула сумку через плечо и сказала:

— Прости, мне надо идти.

Николай до трех часов бродил по городу. Прошелся по садам вдоль Днепра, затем, от нечего делать, зашел на выставку проектов реконструкции города. Ему было весело и хотелось разговаривать. По выставке ходил недовольного вида старик с серебристой бородкой. Николай почему-то решил, что он художник, и завел с ним разговор. Старик оказался не художником, а капельдинером оперного театра, тем не менее критиковал проекты с апломбом старожила и знатока.

— Ну чего это они все придумывают? Удивить хотят.. Строили бы, как оно было, и никто б их не ругал. Разве плохо было? Я вас спрашиваю: разве плохо?

Николай говорил, что не плохо, но сейчас все-таки другое время, и если уж строить заново, так зачем же строить так, как при царе Николае.

Старик качал головой.

— А зачем эти шпили? Не понимаю. Дом должен быть домом с окнами, крышей, честь честью. А они шпили какие-то.

Старик был рад собеседнику и попытался даже перейти с архитектуры на театр, но Николай понял, что это небезопасно, к тому же было уже без четверти три, и, распростившись со стариком, побежал за Валей.

Толкучка отняла у них часа полтора. Несмотря на поздний час, народу было так много, что к концу своего похода Николай с Валей чувствовали себя так, будто их полтора часа молотили цепами. Они долго стояли перед детской коляской на рессорах и резиновых шинах, но она была не по карману, и пришлось, уговорив себя, что младенцы все равно в ней не поместятся, ограничиться покупкой двух чепчиков.

Чепчики были бумазейные — в общем очень некрасивые, с какими-то голубыми бантиками неизвестно для чего,— но молодые родители пришли в восторг. Бэлочка утверждала, что чепчики очень даже к лицу мланденцам. Николай, хотя никак и не мог понять, о каких лицах может быть речь, тоже соглашался и говорил, что очень мило. Муня держал обоих близнецов на руках и смотрел такими счастливо умоляющими глазами, что не хвалить Аркадия и Ларису было бы просто бесчеловечно. И Николай хвалил, и Валя тоже хвалила, и Бэлочка сияла, а Муня просил разрешения распеленать их, чтобы показать, какие у них аппетитные спинки и животики.

Потом пришел Яшка Бортник и стал совать им в рот папиросы. Муня пытался оттащить, Яшка хохотал. Тогда Бэлочка сказала, что она будет сейчас кормить, и все ушли.

Валя отправилась на кухню что-то готовить. Николай зашел к ней в комнату и с детской радостью начал рассматривать знакомые предметы — разбитое пресс-папье, под которым лежали квитанции за квартиру, куски кварца и горного хрусталя. Под чернильницу была засунута старая концертная программа.

Николай вспомнил этот концерт. Анна Пантелеймоновна с Валей заставили его как-то пойти вместе с ними послушать музыку.

— Слух у вас есть, а музыки вы не знаете, — сказала тогда Анна Пантелеймоновна.— Надо приучать себя к хорошей музыке. Идите на кухню почистите сапоги.

Он пошел на кухню, почистил сапоги, а потом битых три часа сидел и слушал какой-то Бранденбургский концерт и еще какие-то классические вещи. В одном месте он, кажется, даже всхрапнул, но ни Валя, ни Анна Пантелеймоновна, к счастью, не заметили.

Обе они были в восторге,— восхищались дирижером, бледным длинноруким человеком во фраке, страшно вспотевшим к концу вечера. Николай говорил, что ему тоже понравилось, но когда ему предложили через неделю пойти опять, он под каким-то предлогом уклонился: музыку он любил, но предпочитал все-таки ансамбль Александрова.

— Ладно, ладно,— говорила Анна Пантелеймоновна, не унимаясь. — Вот приедет Нейгауз, попробуйте тогда у меня отвертеться...

Николай засунул программу опять под чернильницу. Бедная Анна Пантелеймоновна! Так и не дождалась она своего Нейгауза.

В комнату вошла Валя и стала накрывать на стол. Постелила скатерть, расставила тарелочки точно так, как это делалось при Анне Пантелеймоновне, и то, что это было сделано именно Валей, которая этого никогда раньше не делала, особенно как-то тронуло Николая. Вообще Валя держалась спокойно. О матери говорила мало, а когда говорила, то просто и сдержанно. Незнакомый человек мог бы даже подумать, что мать умерла не месяц тому назад, а по крайней мере год. Но в каких-то мелочах — в еловой веточке над последним портретом Анны Пантелеймоновны, снятым перед самой войной, в приколотых булавкой к спин-

ке дивана часах, которые всегда вешала туда Анна Пантелеймоновна, когда ложилась спать, — в этой скатерти и тарелочках чувствовалась вся любовь и большое, настоящее горе дочери.

Она сказала Николаю:

— Ты знаешь, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что мамы нет. Вчера, например, в восемь часов пошла на кухню чайник ставить, чтоб к половине девятого успел закипеть. Ведь мать обычно к половине девятого приходила.

Николай чувствовал себя почему-то виноватым. Весь сегодняшний день ему было как-то особенно радостно и хорошо, и именно поэтому, сидя в комнате, где все напоминало Анну Пантелеймоновну, он никак не мог отделаться от ощущения, что он держит себя не так, как надо, что у него глупо-счастливое лицо и что Валя это видит и ей это неприятно. И все-таки ему было хорошо.

Вернувшись к себе, Николай сказал Шуре, что у него было шесть лекций, потом собрание, что он очень устал, ужинать не будет — он перекусил там с ребятами — и сразу же лег спать.

Это был первый случай, когда Николай солгал Шуре. Первый и последний.

11

Сергей Ерошик больше всего в жизни ненавидел свою службу в Осоавиахиме. Он был, что называется, широкой натурой. Если гулять, так уж так, чтоб чертям тошно было,— с музыкой, песнями, танцами; если работать, так уж работать по-молодецки, с присвистом, чтоб пальцами на тебя указывали: вот, мол, он какой.

О том, что он станет летчиком, Сергей мечтал чуть ли не с семилетнего возраста. Мастерил какие-то модели, вырезал из книг и наклеивал в тетрадку фотографии самолетов и знаменитых летчиков, с одним из них даже познакомился, правда, не знаменитым и не военным, а гражданским, что было, конечно, не то, но знакомством этим горд был невероятно. Увлечение это кончилось тем, что, не закончив десятилетки, он поступил в школу мотористов, а перед самой войной — в летное училище.

Занимался он хорошо, с увлечением, но образцом дисциплины не был никогда. Еще в училище занимал далеко не последнее место по количеству часов, проведенных на

гауптвахте, а в полку чаще других имел не слишком уютные беседы с замполитом. Зато если уж речь заходила о воздушных боях, то чаще и больше всего говорили о паре Шелест — Ерошик. Дрались они оба действительно хорошо. Шелест спокойнее, увереннее. Сергей азартно, отчаянно, и, может, именно поэтому прибывшая из училищ желторотая молодежь не сводила с него влюбленных глаз: «Вот это пилотяга так пилотяга!» Сергей снисходительно улыбался и, рискуя быть опять приглашенным на беседу к замполиту, выкамаривал в небе черт знает что — воевать, так с шиком! Молодежь, не имея возможности походить на него в бою, подбривала на его манер затылки, ходила слегка вразвалочку, сдвинув шлем на макушку.

Но все это было позади. И это и вольная, хотя и тошная, по правде сказать, «доосоавиахимовская» жизнь с деньгами, гульбой. Сиди теперь на колченогом стуле, смотри в чернильницу, вспоминай о прошлом. И Сергей сидел, курил, швырял окурки под стол и ненавидел этот стол, ненавидел бумаги, отчетность, ненавидел своего начальника, подполковника в отставке, приносившего с собой на службу кефир и курившего махорку только потому, что в ней якобы меньше никотина.

— Мухи дохнут от скуки, как только зайдет. Вот так вот, кверху лапками...

Чего он хотел, Сергей и сам не знал. Но только не этого.

Как-то на футбольном матче он встретил майора Анциферова, помпохоза полка, в котором они вместе служили в сорок первом году. Сейчас Анциферов работал в штабе Округа. Тут же, с матча, зашли в ресторан «Динамо». Сергей стал ругать жизнь, работу, начальника с кефиром, Анциферов пил мало — у него было что-то с почками, — сочувственно и немного смущенно смотрел на Сергея, постукивая ножом о стакан, потом сказал:

— А почему бы мне не свести тебя с капитаном Семенко, а?

— Это что еще за капитан?

— Хороший парень. Начальник аэроклуба. На той неделе встретил — говорит, ему люди нужны.

— Куда? В аэроклуб? Чего я там не видел? Пацанов? «Удвешки»?

Анциферов улыбнулся.

— Все-таки свежий воздух, молодежь...

— К чертовой матери! Не хочу. Нашли педагога.

Анциферов все-таки вырвал из блокнота листок и записал на нем свой телефон.

— Заходи. У меня жена хорошая. Вареники с вишнями любишь? Так делает, что пальчики оближешь,— и посмотрел на часы: к девяти ему надо было в штаб.

Сергей проводил его до трамвая.

Аэроклуб?.. На кой дьявол он ему сдался. Смотреть, как другие летают? Анциферов всю жизнь протолокся помпохозом, фрицев только пленными видел... А он истребитель. Плевал он на эти аэроклубы.

Через полчаса он был уже у Славки Игнатюка.

Круглолицый, губастый, с ленивым взглядом из-под полуопущенных век, Славка, увидев Сергея, улыбнулся.

— Жив?

— Как видишь.

— А морда кислая.

— Горькой хочется, потому и кислая.

Славка почесал свою жирную грудь.

— Что ж, можно... Давно тебя не видел.

— Давно.

В прошлом году, разругавшись из-за тапочек, они расстались и не виделись что-то около года. Сейчас Славка работал в райпотребсоюзе.

— Не то, что в прошлом году, но жить можно. А ты? Сколько имеешь?

— Шестьсот пятьдесят.

— Тю-ю... Женился, что ли?

— Нечего мне делать!

— Сдрейфил?

— Вроде.

Игнатюк криво усмехнулся:

— Твое дело... А то мог бы устроить.

Они сидели в подвальчике. Игнатюк лениво поглядывал по сторонам.

— Жизнь, конечно, не фонтан, масштабы другие, но умеючи — можно. На хлеб с маслом и эту штуку,— он щелкал пальцами по бутылке, — хватает.

Сергей молчал.

— Да ты рубай, не стесняйся, — Игнатюк вилкой подвигал тарелку с селедкой и вялыми, серыми огурцами.— Надоело, вижу, бумажки свои писать? Спокойнее, что и говорить, а все-таки... Как это Валька Костюк говорил? Де-

сять тысяч всегда лучше одной. А ну, отец, дай-ка нам еще.

Сергей ковырял вилкой огурцы.

Десять тысяч всегда лучше одной. Смешной парень был этот Валька. Посадили. А Игнатюк — дрянь. Умный, хитрый, но дрянь. Да и он сам, Сергей, тоже дрянь. Разве не дрянь? Хорошо Николаю: Шура, семья, две ноги... У Анциферова тоже жена, вареники с вишнями. Хорошо им...

Вернулся Сергей домой уже ночью. Спал как убитый. На работу опоздал — пришел к двенадцати. Начальник ел кефир и мрачно поглядел на Сергея. Потом спросил:

— Заболели, что ли?

— Да.

В четыре часа Сергей ушел. В пять он условился встретиться с Игнатюком. Надо было только предварительно позвонить по телефону. Стоя в тесной, исписанной со всех сторон будке, долго искал листок с номером телефона. Наконец нашел. Набрал номер.

— Вас слушают, — ответил знакомый, чуть-чуть хрипловатый голос.— Кто говорит?

— Это я, Сергей.

— Алло! Кто говорит? Алло! Да нажмите вы кнопку!

Сергей нажал — какой дурак их только придумал!

— Говорит Ерошик. Мне надо...

— А, Сергей? Привет. Ты сейчас свободен? Заезжай, Чкалова, пятьдесят восемь. Желтый дом с белыми колоннами. Я тебя буду ждать на углу. У меня как раз перерыв.

Сергей повесил трубку. Что за черт? Голос был явно не Славкин... Он стал рыться в бумажках. Ну конечно же, он позвонил Анциферову. Балда! Перерыл все карманы — Славкиного телефона не было.

В стекло уже кто-то стучал монетой. Сергей вышел, порылся опять в карманах, плюнул и пошел на улицу Чкалова, 58. Через час Анциферов знакомил его с капитаном Сененко.

Капитан оказался штурманом бомбардировочной авиации, сбитым в апреле сорок пятого года над Берлином, потерявшим одно ухо и приобретшим шрам от того места, где было это ухо, до самого подбородка. В синем комбинезоне с засученными рукавами и в сдвинутой на затылок фуражке он водил гостей по полю и говорил:

— А вот то ангар.— Он указывал на какой-то полуразвалившийся сарайчик.— А вон там вот, отсюда не видно, за ангаром, наша техника. На прошлой неделе получили.

Из-за сарая выглядывала видавшая виды, насквозь простреленная «удвешка» — самолет «У-2», без мотора. Сергей скептически посмотрел на него, заглянул в сарай, именовавшийся «ангаром», почесал затылок.

— М-да...

— Что поделаешь, война! — Капитан тоже почесал затылок, сдвинув фуражку на лоб.— Обещают помочь.

— Обещают...

Зашли в «ангар». С десяток хлопцев, лет семнадцати — восемнадцати, в одних трусах возились вокруг распиленного на части мотора.

— Учебные пособия,— пояснил капитан.

Ребята, оказывается, разыскали где-то на свалке два старых мотора, притащили их сюда, промыли в бензине, распилили пополам цилиндры, картеры, поршни и теперь красили разрезы красным.

— Все собственными руками, что поделаешь!

Загорелый паренек в изорванной и измазанной суриком майке подошел к Сененко.

— Ездил в горсовет сегодня, товарищ капитан. Опять отказали.

— Опять?

— Опять. Без проекта, говорят, нельзя.

Капитан выругался.

— А ты им говорил...

— Все говорил, товарищ капитан.— Парень кивнул в сторону другого, цыганского типа парнишки, старательно, высунув язык, водившего кистью по разрезу.— Мы вот с Малым вместе ездили. И слушать не хотят.

— А ну их!... — Капитан в сердцах плюнул, глянул на Сергея.— При ребятах не хочется, а то я тебе сказал бы, что за люди там попадаются. Аудиторию надо построить, так проект им подавай. Кирпич достали, лес достали, теперь им проект подавай. Скоро на курятники проекты требовать начнут.— Он хлопнул хлопца по загорелой спине.— Ладно, Костя, завтра вместе двинем.

Анциферов вскоре уехал — перерыв его кончился. Сергей остался. Скинув пиджак, засучив рукава, стал возиться с нераспиленным еще мотором с «фокке-вульф-190». В воздухе он с этим самолетом сталкивался — эти «фокке-вульфы» появились впервые на Курской дуге,— с мотором же до сих пор не встречался.

Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.

— Закругляйся, друг. Девятый час уже. Ребятам завтра на работу вставать.

С поля доносился смех. Ребята смывали с себя краску бензином. Сергей вышел. Помылся. Возился долго — запах бензина его возбуждал. Капитан крутился возле.

— Ну, так как? — спрашивал он уже в пятый или шестой раз.

— Что как?

— Пойдешь к нам?

— К вам?

— К нам.

— А кем?

— Да я же тебе сказал. Инструктором по теории пилотирования.

Сергей рассмеялся, бросил ветошь в стоявший у входа ящик с песком.

— На чем? На том корыте без мотора?

— Смейся. Поедем в Москву, добьемся и с мотором. Было бы желание и люди. Люди — это главное. А то ведь один, совсем один. Разрываешься на части. И то, и се, и пятое, и десятое. Ног не хватает.

— А сколько платить будете?

— Шестьсот. И литерная карточка.

Сергей поморщился.

— Маловато.

— Товарищ капитан! — крикнул кто-то со двора.— Автобус гудит. Опоздаем.

До города было минут тридцать езды. Трясло немилосердно. Ребята хохотали, валясь друг на друга. Капитан сидел мрачный, смотрел в окно.

Прощаясь, протянул Сергею руку.

— Ну так как?

Вопрос был задан, кажется, в седьмой раз, и было ясно, что теперь уже просто для очистки совести.

Сергей искоса взглянул на капитана.

— А гроши е?

— На трамвай, что ли?

— Да при чем тут трамвай? Надо же смочить это дело, как по-твоему? У меня всего десятка.— И слегка толкнул капитана в плечо.— Где у вас тут заправочный пункт?

12

Как-то, вернувшись домой, Шура обнаружила на своей кровати спящего Сергея. Он давно уже не появлялся, чуть ли не с того дня, когда жонглировал бутылками, и сейчас эта распростертая на кровати фигура несколько удивила ее.

Сергей потянулся и зевнул.

— Привет!

Шура подошла к балконной двери и открыла ее. Уходя, она обычно закрывала ее, чтоб не наносило пыли.

— А накурил-то как! Не продохнешь. Ты где пропадал?

— Не пропадал, а работал.

— Рассказывай!..

— А чего мне рассказывать. Только что из Москвы вернулся.

Звучало не очень правдоподобно.

— А чего ты там делал?

— Не гулял, конечно.— Он сел на кровати и протер глаза.— Помыться у вас можно на кухне?

— Да погоди ты! Расскажи сначала толком.

Сергей встал, снял с гвоздя полотенце и перекинул его через плечо.

— Вот какие все женщины любопытные! Ну, сменил я профессию, вот и все.

Шура недоверчиво взглянула на него.

— Опять тапочки?

— Нет, на этот раз не тапочки.

— А жаль,— сказала Шура.— Мои совсем уже кончились.— Она кивнула головой в сторону валявшейся в углу совсем уже растоптанной пары белых тапочек.

Сергей посмотрел в угол. Потом молча подошел туда, наклонился, взял тапочки в руки, несколько секунд внимательно их рассматривал и вдруг, размахнувшись, вышвырнул их в балконную дверь.

— Чтоб больше я их никогда не видел...

Шура улыбнулась.

— Ну, ладно, ладно...— И, чтоб переменить разговор, спросила: — Так какую же ты профессию выбрал?

— Инструктор по теории пилотирования при аэроклубе,— мрачно сказал Сергей.— Хорошо звучит, а? — и вышел на кухню.

— Значит, опять летаешь? — спросила Шура, когда он вернулся из кухни чистенький, с невытертым в ушах мылом.

— Черта с два! Только название, что инструктор. Гоняю по учреждениям, выколачиваю доски, гвозди, цемент. Завхоз, в общем.

Он повесил полотенце на гвоздь, вышел на балкон и развалился в своем любимом плетеном кресле.

— Сидят там эти бюрократы, дюймового гвоздя из них не выколотишь. Животы себе поотращивали, канцелярские души. Хлопцев жаль, хорошие подобрались, а то плюнул бы, ей-богу, и послал бы всех к такой-то матери... Лезешь за шестьсот рублей из кожи вон, а им, начальничкам этим, подавиться бы им на том свете, хоть бы хны...

Он стукнул кулаком по колену. Шура улыбнулась и, зная, что, если вовремя не перебить Сергея, он в своем гневе дойдет до нецензурных слов, спросила:

— А в Москву чего ездил?

— Как чего? Не гулять, я ж тебе сказал. Голоса там лишился, все кулаки о столы оббил, но дело сделал — к весне «удвешка» будет. Покричишь, всего добьешься.

Он стал рассказывать о Москве. До этого он был в ней только раз — в середине октября сорок первого года. Темная, тревожная, с висящими в небе аэростатами, она произвела тогда на него мрачное впечатление.

То были самые трудные дни в жизни Москвы. Учреждения эвакуировались. По пустынным улицам проезжали машины, груженные шкафами, стульями. На окраинах и на самых широких улицах строили баррикады и расставляли в несколько рядов железные ежи. Дома были раскрашены в нелепые яркие цвета. На некоторых нарисованы были деревья и целые рощи. У людей были напряженные лица.

Сейчас не то. Летчицкое сердце Сергея не могло нарадоваться обилию машин. Их было так много, столько их бегало теперь по улицам, что Сергей часами, забыв обо всем, спорил с шоферами о преимуществах тех или иных марок и с упоением возился, уткнувшись вместе с шофером в закапризничавший карбюратор. Ненавистный всем москвичам запах бензина только нравился ему.

Метро ему тоже понравилось. Но не красотой своей — все эти мраморы и граниты на Сергея мало действовали,—а чистотой — спичку даже не уронишь! — и четкостью рабо-

ты. Сергей любил четкость и безотказность механизма, в метро он это нашел.

Кроме того, он был в планетарии и стереокино. Но ни то, ни другое ему не понравилось.

— Большой интерес на звезды смотреть. А в кино этом только шея болит. Ну его!..

Зато ресторан «Москва», куда по деловым соображениям надо было сводить одного товарища, произвел на него сильное впечатление.

— Сидишь себе на крыше, как пан, смотришь на Кремль, пьешь «столичную» с салатиком оливье, а внизу люди бегают, как муравьи. И тарелки подогретые, придумают же только!

Поездкой своей Сергей остался доволен.

Зато когда он вернулся домой и ввалился в свою сырую, засыпанную окурками комнату, ему стало вдруг скучно.

— Берлога, одно слово — берлога. Решил к тебе зайти.— Сергей искоса посмотрел на Шуру.— Дай хоть картинку какую-нибудь на стенку или цветов горшочек.

— Бери,— сказала Шура.

— А тебе не жалко?

— Чего их жалеть? Музейная ценность, что ли?

Сергей посмотрел на Шуру.

— Что-то вид у тебя неважный. Работаешь все?

Шура ничего не ответила.

— Денежки все зарабатываешь? — Он прошелся по комнате.— Так я эту возьму, с волнами, она как будто побольше.— Он влез на стул и снял картину. Тяжело соскочил.— Проклятый протез, опять натирать стал. Газета есть? Старая какая-нибудь.

Шура указала на этажерку. Сергей взял и старательно завернул картину.

— А где благоверный? На занятиях, что ли?

— Очевидно...

— И утром и вечером? В хвост и в гриву? Держись только, попался парень... Кстати, скажешь — из Москвы ему привет от одного парня, с которым воевал. Скажешь — от Матвеева. Где-то они на Украине вместе грязь месили.

Шура кивнула головой.

— Ну, а цветы в другой раз! — Сергей посмотрел на стоящие на окне и балконе кактусы, фикусы, бегонии.— Или к черту! Все равно завянут. Поливать не буду, солнца нет...— Он вздохнул.— Жаль все-таки, что супруг твой

из той жилищной лавочки ушел. Надоела мне что-то моя дыра. Стареть, вероятно, стал. К уюту потянуло.

Он стоял у двери с картиной под мышкой и все почему-то не уходил.

— Пришла бы хоть, прибрала. И вообще, почему ты чаем не угощаешь?

— А ты хочешь? — Шура подняла голову.

— Хочу. Или, вернее, домой не хочу. Поставь-ка чайник.

Шура вышла на кухню, потом вернулась. Сергей опять удобно расположился в плетеном кресле и положил ногу на перила — последнее время она стала у него почему-то отекать.

— Помнишь, как ты меня тогда все обедом угощала? — сказал он смеясь.— А я все отказывался, говорил, что тороплюсь куда-то. А Федя твой все по карте мне показывал, какие города наши заняли. Помнишь?

Шура поставила на стол два стакана, баночку с повидлом. Подложив дощечку, стала резать хлеб.

— А где он сейчас? В Риге все?

— В Риге.

— Пишет?

— Нет.

— А в общем, неплохой парень.— Сергей рассмеялся и подмигнул одним глазом.— Чем он только тебя опутал, никак не пойму. Пацан ведь...

Шура серьезно посмотрела на Сергея.

— Ты знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь. Мне это неприятно.

— Ладно, ладно, не буду,— он опять рассмеялся.— Нельзя уж и подразнить. При Кольке же я не говорю.

— Николай здесь ни при чем,— сказала Шура.

— То есть как это — ни при чем? Муж, и ни при чем? Вот это мне нравится.

Шура подошла к шкафу и, не поворачиваясь, сказала:

— Николай здесь больше не живет.

— Как не живет?

— Очень просто. Не живет, и все.

Сергей свистнул. Подошел к Шуре, потом к столу, опять вышел на балкон.

— Я ему переломаю все кости,— тихо сказал он.— Все до одной. Понятно?

Шура так же спокойно ответила:

— Нет. Ты ему ничего не сделаешь.

— Нет, сделаю.

— Тогда уходи домой. Если будешь так говорить, уходи домой. И не появляйся здесь!

Шура была совершенно спокойна. Немного побледнела, но спокойна.

— Пей чай,— сказала она.— Ты ведь чаю хотел. Сахару только нет. Придется с повидлом.

— А ну его!..

Сергей откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок: большая трещина, начинавшаяся около розетки, извиваясь, ползла от одного угла к другому.

13

Николай сидел в скверике против университета.

В институт он опоздал. Последние спешащие на работу служащие торопливо прошли через сквер. Появились первые няньки с младенцами. Вокруг памятника Шевченко пышно цвели какие-то цветы, ярко-красные и желтые, на длинных стеблях. В прошлом году их не было, тогда только жиденькая трава росла. Университет обносят забором — собираются восстанавливать. С деревьев тихо падают первые одинокие еще листья кленов — верный признак жаркого лета и близкой осени.

Николай на всю жизнь запомнит этот день. И эти цветы. И этого мальчика в штанах из плащ-палатки, старательно лепящего на песке городок возле фонтана. И самый фонтан — гипсовый карапуз с уткой в руках, а у утки отбита голова. И этого медленно бредущего старика с козлиной бородкой — не капельдинер ли это из оперы? Нет, не он... И садовника, волочащего по дорожке кишку...

Второе сентября 1945 года... В этот день кончилось что-то очень большое, очень важное.

И сколько раз уже оно кончалось. Кончалось и начиналось. В сороковом, когда он женился на Шуре, и в сорок первом, когда вспыхнула война, и через три года, когда врачи испытывали его руку электрической машинкой. И потом, когда он вернулся к Шуре, когда стал инспектором, когда поступил в школу. И вот сейчас опять.

Николай сидит на скамейке и старательно ковыряет оторвавшийся кусок коленкора на чемодане. В чемодане

белье, несколько книжек, бритвенный прибор и Шурина карточка, та самая, где они сидят вдвоем. Они снялись перед самой войной. В воскресенье, как раз за неделю до начала войны. И в этом же скверике. Только ближе к бульвару, там была фотография — голубенький павильон с замазанными белой краской окнами.

И все это позади...

Когда год тому назад он пришел к Шуре и увидел ее плачущей, с тряпкой в руках, ему вдруг показалось, что вернулось прошлое и что лучше этого прошлого — дружного, хорошего, о котором так мечталось всю войну,— нет ничего на свете.

Но не получилось это дружное, хорошее, прежнее. Ну вот, живут они в одной комнате, живут тихо и мирно, и Николай старается не думать о Вале. Но ведь все это не так, все это обман: и то, что они живут вместе, что это семья, и то, что он не думает о Вале...

Как трудно было об этом говорить! Шура допивала свой чай, сосредоточенно разглядывая стоящую на столе сахарницу с отбитой ручкой, и только кивала головой — она понимает, она все понимает. И лицо у нее было такое, как всегда, только губы плотно сжаты. И ни одного упрека, ни одной слезинки.

Он проводил ее до трамвая. Потом вернулся, поставил все на свое место, сложил Шурины чертежи на столе. Долго писал записку — глупую записку со словами какой-то благодарности. Зачем? Зачем он ее написал? Разве можно об этом писать? Милая, сдержанная, замкнутая, все понимающая Шура, не читай ты этой записки, не читай слов! Пойми только...

Николай сидит, курит, смотрит на старика садовника, почтительно поливающего большие красные цветы вокруг памятника. Потом встает, берет чемодан и медленно направляется к выходу.

14

Если идти по Андреевскому спуску к Подолу, по правой стороне, чуть ниже Андреевской церкви, стоит дом. Мальчишки, которые приходят сюда со всех окрестных и даже далеких улиц, прозвали его «Замок Ричарда Львиное Сердце». Он действительно похож на замок. Он стоит над самым обрывом, весь в башенках, окруженный подпорными

стенками с бойницами, несимметричный, с маленьким двориком, таинственными лестницами, какими-то ходами, переходами.

Одна из таких лестниц — кирпичная, перекрытая сводом — выводит на прилепившуюся к дому горку. С горки виден Подол со всеми его фабриками, элеваторами, церквушками, виден Днепр, железнодорожный мост, дальние вышгородские леса.

Еще в детстве, когда Острогорские жили неподалеку, на Рейтарской улице, Валя часто приходила сюда, играла здесь с мальчишками в «рыцарей и разбойников», пускала вместе с ними змеев.

Сегодня она тоже пришла сюда.

По расписанию у нее должно было быть четыре часа, но Игнатий Петрович, как всегда, что-то напутал, хотя сидел над расписанием целую неделю, и вторые два часа оказалось проводить не с кем.

Домой не хотелось. Вообще с того дня, как умерла мама, Валя разлюбила свою комнату. Она в ней только ночевала, остальное время возилась с блейбмановскими младенцами, помогала Марфе Даниловне в хозяйстве, часто у Ковровых и обедала.

Но сегодня не захотелось ни к тем, ни к другим. Потянуло на свою горку — давно здесь не была.

День был ясный, чуть-чуть прохладный. Пожилая женщина в очках и накинутом на плечи платке сидела на табуретке и читала книгу. Маленькая девочка в беленькой шапочке на пуговках играла рядом в куклы. Мать,— а может быть, бабушка,— наклонясь, сказала ей что-то. Девочка подбежала к Вале и спросила, который час. Валя ответила, но девочка захотела сама посмотреть на часы. Ей очень не понравилось, что цифры на часах римские; дома у них есть часы, так там цифры настоящие, а сами часы в виде маленького домика, и вверху в домике сидит совсем уже маленькая кукушка, но сейчас она в отпуску и не кукует. Так они разговаривали, пока девочка вдруг не спохватилась и не убежала. Уже пробежав несколько шагов, вдруг обернулась и сказала «спасибо».

Валя подумала, что и у нее могла быть такая же девочка, даже старше. Или мальчик. Бегал бы так же по горке и, как все мальчишки, не слушался бы ее. А может, и слушался бы. Толя Калашников, командир взвода противотанкового дивизиона, ее слушался. Он, гроза всех артилле-

ристов, при Вале смущался, сопел и, краснея, дарил ей какие-то особенные кинжалы с цветными ручками. Это было года три тому назад. Ей было тогда двадцать лет, она ходила в белой мохнатой ушанке, с «вальтером» на боку, и ей очень нравилось, что такой вот большой и сильный Толя при ней теряется и не знает, что сказать.

Это было три года тому назад. А теперь...

Десять месяцев она не видела Николая. И еще один месяц. Бесконечный месяц, когда она думала только о нем, — о нем и о Шуре. Она пыталась себе представить ее. Какая она? Сколько ей лет? Какие у нее глаза? Вале почему-то казалось, что она маленькая, с ямочками на щеках, хохотунья. Валя не выдержала и спросила. Это было вчера. Николай сидел на валике дивана, закинув руки за голову, и грыз мундштук. Она — рядом, поджав под себя ноги, смотрела на его круглую, коротко стриженную голову, на широкий, горьковский, как говорила мама, нос, на маленький мундштучок, который он перебрасывал из одного угла губ в другой. «Спросить или не спросить?» Она спросила.

Он, не поворачивая головы, протянул к ней руку и ощупью поймал ее ладонь.

— Не надо об этом говорить,— сказал он.

— Почему? — И, так как он ничего не ответил, повторила: — Почему не надо?

— А просто так, не надо...

Он повернулся и посмотрел на нее.

— А ты ее любишь?

Валя даже не уверена, спросила ли она его об этом, может быть, только подумала. Вместо ответа он положил свою круглую, колючую, теплую голову к ней на колени. Так ничего и не сказал.

Во дворе «Замка Ричарда» появились ребята с мячом. Сделав из двух кирпичей ворота, стали забивать голы. Мяч часто скатывался с горки вниз, и ребята, препираясь и обвиняя друг друга, спускались за ним и карабкались потом наверх, цепляясь за кусты.

Откуда-то донеслись радиосигналы — проверка времени. Валя встала, надо еще готовиться к вечерним лекциям.

На Владимирской у репродукторов стояли группы людей, ждали какого-то сообщения. Вероятно, о Японии. И, так же как в первые дни мая, когда на углах так же стоя-

ли и ждали сообщения о мире, никакого сообщения не было: передавали обзор «Комсомольской правды».

Валя постояла и пошла дальше.

Завтра она поговорит с Николаем. Она твердо это решила. Хотела вчера, перед его уходом, но не вышло, не смогла. Всю ночь лежала и думала. В институт он не пришел. Она даже в его аудиторию заглянула — его не было. Значит, завтра.

Она ни слова не скажет о его жене,— она только попросит, чтобы он к ней больше не приходил.

Войдя в квартиру, Валя, как обычно, сунула руку под шкаф, по старой привычке она там все еще оставляла ключ. Его не было. Валя почувствовала, как у нее вдруг забилось сердце. Она сделала несколько шагов и вошла в комнату — дверь была не заперта.

Николай сидел на балконе, на ящике из-под картошки, что-то читал. На полу стояла пепельница, набитая окурками. Он не слышал, как она вошла.

Господи, вот оно... Сейчас...

Валя вышла на балкон. Николай поднял голову. Захлопнул книгу, встал. Он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но, увидев ее лицо, ничего не сказал. Молча, как будто спрашивая, смотрел на Валю.

— Ты из института? — спросил он наконец.

— Да, из института.— Вале показалось, что это сказала не она, а кто-то стоящий рядом с ней.

Она подошла к перилам. Виноград уже стал краснеть. Она сорвала листок и растерла его между ладонями. Николай тоже подошел и тоже сорвал листок. Год тому назад они так же стояли на этом балконе, и Валя так же срывала листья. Только тогда был вечер, недавно прошел дождик, пахло свежей землей и отцветающим табаком, и из комнаты доносился грохочущий Яшкин хохот. Сейчас кругом тихо. Только изредка доносится детский писк из Бэлочкиной комнаты.

— Мне надо с тобой поговорить, Николай,— сказала Валя.— Даже не поговорить, а попросить об одном одолжении.

Николай молчит. Может быть, он кивнул головой — Валя не смотрит в его сторону. Она вдруг чувствует, что не находит слов.

— Дай мне папиросу, — говорит она.

Николай вынимает из кармана пачку. Валя на ощупь берет папиросу, спички, закуривает, делает несколько затяжек. Опять закружилась голова, как в тот раз...

— Так вот,— говорит она.— Я думаю, лучше всего будет, если ты... В общем, не приходи больше. Не надо.— И помолчав: — Мне это неприятно.

— Неприятно?

— Да, неприятно.

Молчание. Валя срывает еще несколько листьев и бросает их вниз. Они падают на тротуар.

— Но это же неправда,— говорит Николай очень тихо и раздельно.

— Нет, правда. И если ты честный человек, ты должен сам понять.

Несколько секунд Николай еще стоит. Потом она слышит, как он проходит по комнате, как скрипят половицы. В глубине квартиры хлопает дверь.

Вот и все...

Валя возвращается в комнату, ложится на диван и долго лежит, уткнувшись лицом в подушку.

15

Первый курс любого института всегда самый трудный. Особенно для того, кто попал на него прямо с фронта или почти прямо с фронта.

Первое время кружится голова. В переносном и даже буквальном смысле. Необычная обстановка, непривычные люди — профессора и преподаватели, с которыми не знаешь, как держаться, книги, в которых ничего не понимаешь, логарифмы, интегралы, абсциссы, дифференциалы — сам черт ногу сломит! И многие бросают. Не выдерживают и бросают...

Николай не бросил. Но не потому, что ему было легче, чем другим. Напротив, ему было труднее, чем очень многим. Но, может быть, именно эта трудность и была как раз так необходима ему сейчас.

День загружен до предела. Вставать приходится в половине восьмого. В восемь начинаются лекции, в три кончаются. Вечером иногда бывают семинары, — правда, не часто: два, а то и один раз в неделю. Кроме того, надо готовиться к следующему дню, еще три-четыре часа просидеть

над книжкой и ложиться в два-три, иногда даже в четыре часа ночи. На первых лекциях Николай часто засыпал. Преподаватель о чем-то говорит, Николай слушает и дремлет; потом вдруг видит, что ребята над ним смеются. Впрочем, они тоже часто засыпают. Получается как на фронте — больше всего хочется спать.

Трудно. Трудно вставать в половине восьмого, когда ложишься под утро. Трудно сидеть за партой — в институте почему-то не столы, а узенькие школьные парты, ноги все время во что-то упираются. Трудно следить за тем, что говорит и пишет на доске преподаватель. Еще труднее все это записывать, а потом дома разбирать.

Особенно трудно с математикой. С математикой и начертательной геометрией. Николай до сих пор никогда не чертил и не рисовал (в армии ему всегда доставалось за плохо сделанные схемы), и все эти проекции и аксонометрии никак ему не даются. Но математика хуже всего, хуже «начерталки», хуже физики.

Читает ее профессор Корчагин —тихий, спокойный, никогда не раздражающийся. Он читает аналитическую геометрию. Возможно, это даже и интересно, но когда Николая вызывают к доске, он вдруг чувствует, что весь покрывается потом. Перед командующим армией так не волновался, как перед этим спокойным, с усталыми, никогда не улыбающимися глазами человеком, стоящим у доски.

— Ну что ж, садитесь,— говорит он, печально глядя на гвардейский значок Николая.— Понимаю, что трудно. Садитесь. Просмотрите к следующему разу еще раз материал.

И Николай всю ночь сидит в общежитии над книгой, просматривает к следующему разу еще раз материал, а голова как камень — ничего не понимает.

Кроме этого, приходится еще отвечать за всю группу.

Курс состоит из двух групп. В своей группе Николай самый старший, почти все остальные моложе двадцати четырех лет. К тому же он единственный коммунист, остальные беспартийные, комсомольцы и только три кандидата партии,— поэтому его избирают старостой. Опять стал чем-то вроде командира, многие даже называют его капитаном.

Есть на курсе две девушки — Поступальская и Гарф, ходят всегда вместе, сидят рядом, стесняются. Да и все другие присматриваются друг к другу, держатся пока еще особняком.

Почти треть группы — девять человек из тридцати — не только учится, а еще где-то работает, и это, конечно, отзывается на успеваемости. Секретарь партбюро, не молодой уже, по-чапаевски усатый, спокойный и всех умеющий успокаивать, Хохряков говорит Николаю:

— Знаю, что у тебя многие работают, все знаю. Но те, которые не работают, могли бы получше заниматься. Фронтовички твои как? Не качают?

— Да ничего,— уклончиво отвечает Николай.— Трудновато, конечно, что и говорить, на троечках больше выезжаем.

— Подтяни их, Митясов, подтяни. Не к лицу тебе, чтоб твоя группа отставала. Подтяни!

И Николай подтягивает.

С фронтовиками, за исключением одного, действительно тяжелее всего. На курсе их, не считая Николая, пять человек: Казанцев, Григорчук, Антон Черевичный, комсорг группы Левка Хорол и Громобой. Настоящая его фамилия Громовой, но иначе, как Громобой, на курсе его не зовут.

Казанцев и Григорчук к концу первого семестра «отсеялись» — один не выдержал нагрузки, ушел на работу, другой переехал с семьей в Харьков. Остались трое — Антон Черевичный, Левка Хорол и Громобой. С ними-то Николай и сблизился, сначала с первыми двумя, потом и с третьим.

Левка и Антон очень непохожи друг на друга. Левка то, что называется «интеллигентный мальчик», ходивший до войны в бархатных курточках, собиравший марки, учившийся на скрипке (отец его был довольно известным в кругу музыкантов скрипачом) и неожиданно для всех ушедший вдруг семнадцати лет добровольцем на фронт. Антон, шахтер и сын шахтера, почти всю войну, с сорок второго года, провел в плену и только благодаря своему здоровью смог перенести все то, что он перенес в Германии. Одному двадцать лет, а на вид и того меньше, и только перед самой войной он окончил десятилетку; другому же двадцать шесть, семилетку он кончил более десяти лет тому назад, потом год проучился в железнодорожном строительном техникуме, но вынужден был бросить по семейным обстоятельствам. Один совсем недавно, краснея, впервые побрился в парикмахерской; у другого уже семья и двое детей, которым он регулярно из своей стипендии высылает деньги куда-то в Донбасс. Один по-юношески легок, весел и шутя, не заг-

лядывая в книги, сдает все зачеты; другой молчалив, застенчив, кривоплеч — у него отбито одно легкое, — молча на всех смотрит своими голубыми, ясными, чуть-чуть грустными глазами и с невероятным трудом одолевает премудрости науки.

И тем не менее у них есть что-то общее. На первый взгляд, даже трудно сказать что—очень уж они непохожи. Только потом, значительно позже, Николай понял, в чем было это сходство и почему его потянуло к ним. Оба они были именно такими, какими они были, и ничего не делали, чтоб казаться лучше, чем они есть, а это довольно редкая черта.

Левка Хорол всегда бодр и весел. Это не значит, что он все время смеется или шутит,— и то и другое он делает в меру, не больше и не меньше других. Но достаточно появиться ему, румяному, свежему, всегда почему-то растрепанному, с какими-то вихрами на затылке, в расстегнутой даже зимой рубашке, с забавной свой родинкой на самом подбородке, и сразу всем становится легко и весело. Он плохой рассказчик — после контузии он слегка заикается, но то, что он рассказывает, всегда интересно и, главное, весело. Даже когда рассказывает о войне, и то почему-то получается весело, как будто на войне, кроме забавного, ничего не случалось.

Левка много читал, но он не книжник. Он относится к тем счастливым натурам, у которых на все хватает времени и желания. Он азартно и небезуспешно ухаживает за самой хорошенькой девушкой в институте, третьекурсницей Ксенечкой Антоновской, но если подворачивается веселая мальчишеская компания или чей-нибудь день рождения в общежитии, махнув рукой, идет на день рождения.

Николай смотрит на Левку Хорола и думает: «Вот кому легко в жизни будет! Всем интересуется, все умеет, все схватывает на лету, все его любят, и он всех любит. Станет прекрасным инженером или архитектором — Левка мечтал перевестись на архитектурный факультет,— и будет у него чудесная жена, чудные дети, и жить они будут дружно, весело...»

С Антоном Черевичным Николай сошелся не сразу. Сначала Антон показался ему сумрачным и замкнутым. Он молча приходил на лекции, молча садился за свой стол, молча ходил и курил по коридорам во время перерывов,

и голоса его, за исключением тех случаев, когда его вызывали к доске, никто не слышал. Николаю была понятна эта замкнутость — как-никак столько лет провести в плену,— поэтому он считал неудобным заводить с ним разговоры. Да на первых порах он и сам по горло был занят всякими физиками и математиками — не до Черевичного было.

Потом он понемногу стал присматриваться к нему. Бросались в глаза поразительная трудоспособность и настойчивость Антона. Он мог восемь — десять часов сидеть над учебниками, и это (если не считать двух лет плена и побоев) доводило его иногда до обмороков. Ребята, скинув с него рубашку, растирали его, он вставал и опять садился за учебники.

Присмотревшись к Антону, Николай понял, что он вовсе не сумрачен и не замкнут, а просто очень застенчив. Антону всегда казалось, что он кому-то мешает, что с ним неинтересно, он очень стыдился своих обмороков. Но достаточно было его расшевелить, проявить интерес к нему, к его жизни, как он сразу становился другим.

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.

— В Нью-Йорке,— спокойно ответил Черевичный.

— Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.

— В Нью-Йорке, я ж говорю,— и улыбнулся.— Это в Сталинской области. Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.

— Неужели есть?

Оказалось, что действительно есть.

— Так, может, и Нью-Йоркский райком партии есть?

— Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-Йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.

Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.

Антон много видел и пережил, но держал это в себе и высказывал только случайно, в ответ на какой-нибудь вопрос. Если его, например, спрашивали: «Ну, расскажи, Антон, как у вас в лагере было?» — он пожимал плечами и говорил: «Да как во всех. Не лучше и не хуже».— «Били вас?» — «Били».— «Сильно били?» — «Основательно». Больше из него ничего выжать не удавалось.

Но иногда, если это приходилось к слову, он вдруг начинал рассказывать, и вот тогда-то слушатели сидели молча, раскрыв рты.

Как-то на квартире у Левки Хорола — Левка подтягивал товарищей по математике — произошел такой случай.

Прозанимались весь вечер. В двенадцатом часу сели за стол. Левкин отец — маленький, подвижной, в теплой пижаме, с поблескивающими из-за пенсне глазами, великий любитель поговорить,— развернув газету, стал комментировать заявление нашего посла в Бельгии. В заявлении шла речь о том, что группу советских граждан, вместо того чтобы репатриировать, посадили в тюрьму.

Илья Львович возмущался:

— Подумать только, до чего обнаглели! И кто? Бельгийцы, которые и трех дней не воевали. Им всех их генералов вернули, а они, сукины сыны, людей в тюрьму сажают. И кого — людей, которые столько времени просидели в лагерях, в фашистских лагерях...

Он шуршал газетой и никак не мог успокоиться.

— Где это мы с тобой читали, Левик, о каком-то лагере в Бельгии? Возле Брюсселя, кажется...

— Бреендонк? — сказал вдруг Антон, обычно всегда молчавший и сосредоточенно пивший свой чай.

— Вот-вот, Бреендонк, совершенно верно. Там ведь бог знает что творилось. Где это мы с тобой читали, Левик? — Он повернулся к Антону: — Вы тоже читали?

Тот смутился и поперхнулся чаем.

— Нет, не читал...

— Откуда же вы знаете?

Антон покраснел и, не отрываясь от скатерти, сказал:

— Я в нем сидел, в этом лагере. Это в тридцати километрах от Брюсселя. Потом я бежал оттуда.

Оказывается, он пробыл в этом, одном из самых страшных немецких лагерей около трех месяцев. Потом бежал во Францию, попал к партизанам в Савойе, воевал вместе с ними, потом их отряд накрыли, он через Альпы бежал в Италию, там попался, приговорен был к расстрелу, опять бежал, опять попался, но на этот раз ему повезло: его не расстреляли, а вернули в Германию и бросили в лагерь. Потом освободили наши.

— Вот черт! Так ты пол-Европы, выходит, исколесил?

— Исходил, скорее.

— И в Париже был?

— Был. И в Бельфоре был, и в Милане. Но вообще в городах не очень. Больше в горах и деревнях.

В этот вечер Антон был королем. Вначале он смущался — не привык к такому вниманию к своей особе — и вообще неловко себя чувствовал, но потом как-то окреп, развязался. В этот вечер ему пришлось рассказать о многом. О том, как попал в плен, тяжело раненный на Юго-Западном фронте, как собственными средствами лечился с помощью молоденького фельдшера-казаха, как в первый раз бежал из лагеря (а бежал он шесть раз), как сдружился с французскими партизанами — жителями Савойи, гористой местности на границе Швейцарии и Италии, одной из самых бедных провинций Франции.

В довершение всего оказалось, что он неплохо говорит по-французски.

Софья Петровна, маленькая, живая, говорливая дама, улыбаясь и красиво картавя, задала ему несколько вопросов. И — о чудо! — Антон стал отвечать, не так быстро и не так красиво картавя, но стал отвечать. И так несколько минут они разговаривали и как будто даже понимали друг друга.

— Ну и парень же ты! — говорил по дороге Николай, когда они наконец вырвались от Хоролов.— Могила, а не человек. Я бы на третий день обо всем этом уже рассказал, а ты... Странный парень, ей-богу...

Антон ничего не ответил,— за один сегодняшний вечер он сказал больше, чем за все время своего пребывания в институте.

16

С Громобоем дружба завелась тоже не сразу.

Очень большой, с кажущейся маленькой на его широченных плечах, красивой головой донского казака — коротконосой и чубатой, он всегда ходил, звеня орденами на весь коридор. По натуре своей человек добрый и отзывчивый, он был вспыльчив и крайне обидчив. Ему все время казалось, что чем-то унижается его фронтовое достоинство, что к нему не так относятся, как того требуют его заслуги и ордена, и каждую минуту он готов был любыми средствами защищать свою честь.

Громобой был сталинградцем. В Сталинграде же был ранен, потом воевал в Польше, Германии, Чехословакии, награжден был шестью орденами, из них двумя польскими

и одним чехословацким. Поэтому считал, что многое ему дозволено.

Чуть ли не в первый день занятий у него произошел конфликт с маленьким, тщедушным Куныком из-за того, где кто будет сидеть. Он швырнул книги Куныка в угол, самого его чуть-чуть двинул плечом, так что Куньк полетел вслед за книгами, а сам преспокойно уселся на его место, вытянув чуть ли не до середины комнаты красивые, обтянутые хромовыми низкими сапожками ноги.

Николай подошел к нему и спокойно сказал:

— Подбери книги, извинись перед Куныком, а сам перебирайся туда, к окну.

Громобой взглянул исподлобья.

— А ты кто такой, интересно мне знать?

— Моя фамилия Митясов. С сегодняшнего дня я староста группы и предлагаю тебе сделать то, что я сказал.

Громобой смерил Николая с ног до головы презрительным взглядом и, ничего не сказав, повернул к нему свою могучую, перетянутую портупеей — он до сих пор носил портупею — спину.

Николай молча поднял край скамейки, на которой сидел Громобой, и тот с грохотом, звеня орденами, полетел на пол. Николай положил брошенные книги на стол и сказал Куныку:

— Твое место будет здесь. Ясно? Садись.

В этот момент вошел преподаватель. Громобою пришлось сесть к окну.

В перерыве он подошел к Николаю и, не глядя в глаза, мрачно сказал:

— Хоть ты и староста, а блин я из тебя сделаю. Понял?

— Что ж,— сказал Николай,— можно после лекций выйти прогуляться. Я не возражаю.

Но после лекций Громобой куда-то исчез, а на следующий день подошел как ни в чем не бывало:

— А ты, друг, оказывается, тоже сталинградец. Я и не знал. У кого воевал?

После этого случая некоторое время все шло более или менее нормально. Однажды, правда, Громобой опять завелся с кем-то, но после вмешательства Николая дальнейшие недоразумения, в общем, прекратились. Вообще, как ни странно, Громобой слушался Николая.

Заниматься ему было трудно. Как и Николаю, труднее всего давались математика и физика.

— Не моих мозгов дело. Не переваривают, что поделаешь? Туп.

Николай, по правде говоря, тоже не совсем понимал, почему Громобой не поступил, например, в физкультурный институт, где его мышцы были бы более уместны. Он как-то даже спросил его об этом.

Тот немного удивленно посмотрел на Николая.

— А я знаю? Получилось так, и все. Когда демобилизовался, спросили — хочешь учиться? Хочу, говорю. В военное какое-нибудь техническое училище хочешь? Нет, говорю, не хочу. А куда ж ты хочешь? А бог его знает, вам виднее, в механический, что ли? В механический, говорят, мест нет. Хочешь в строительный? Строительный так строительный, один дьявол. Вот и попал в строительный. Перевестись всегда успею, если надоест.

— А в физкультурный не пробовал?

— Улыбнулся мне физкультурный. Доктора говорят, сердце ни к черту. Война испортила.

— А в военную школу почему не захотел?

— Э-э... Пусть молодежь идет. С меня хватит. Осколков нахватался.—И, засовывая книги за шинель, добавил: — Да, брат, это тебе не фронт, не Сталинград...

А вскоре, на зачете по физике, Громобой опять отличился. Правда, физик был тоже не прав, и, может быть, только это дало Николаю возможность замять поступок Громобоя, который вряд ли закончился бы так благополучно.

Громобой напутал что-то в ответе. Физик, усталый после пятичасового сидения за столом, зевая, посмотрел на его листок и велел подумать еще. Громобой стал думать, но у него ничего не получалось. Тогда физик подошел к нему и, взглянув на его грудь, украшенную орденами, сказал:

— Я бы на вашем месте, молодой человек, имея столько орденов, из армии не уходил бы! — И, наклонившись, взял двумя пальцами висевший на груди Громобоя польский крест «Виртути милитари».— Это какой?

— А ты не лапай! Не тебе дали!

Громобой с силой оттолкнул руку физика и, швырнув на пол листок с задачей, красный, с круглыми от бешенства глазами, направился к выходу. Николай заслонил ему дорогу. Громобой стиснул зубы:

— Пусти!

Николай не сдвинулся.

— Пусти, а то...

Лицо его стало совсем пунцовым. Физик, бледный, дрожащими руками складывал свои тетрадки.

— Ты сейчас же попросишь извинения,— тихо и внятно сказал Николай.— Слышишь? Сейчас же...

Громобой сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Потом повернулся, тяжело шагая, подошел к столу и негромко сказал:

— Извините, я не...

Физик торопливо, не глядя, закивал головой:

— Хорошо, хорошо... Я понимаю. Я поставлю вам удовлетворительную оценку, но...

— А он разве решил задачу? — все еще стоя в дверях, спросил Николай.

— Нет... Но я вижу, что товарищ...

— Тогда ставьте двойку. Товарищ подзаймется и сдаст.

Громобой молча кивнул головой.

Николай попросил физика о происшедшем никому не говорить, а когда тот вышел, подошел к Громобою и сказал резко:

— Солдат тоже... Истерики закатывает. Смотреть на тебя противно. Развесил ордена и пыжишься, как павлин.

Громобой сидел на столе, опустив голову, и смотрел на носки своих начищенных сапог. Потом вдруг поднял свою красивую, чубатую голову. Николаю показалось, что ему чудится,— по щекам его текли слезы.

— Не кричи на меня, Колька... Не кричи...— и запнулся.

Николай опешил. Он всего ожидал, только не этого.

Громобой соскочил со стола, подошел к окну и облокотился о подоконник. Николай обнял его за плечи.

— К черту! Пойду к директору,— по-детски всхлипывая, говорил Громобой.— Пусть отчисляет. Я не виноват, ей-богу не виноват... Ну, не понимаю я. Что я могу поделать? Не понимаю я всех этих, черт его знает, как они называются... Даже названия запомнить не могу... Пусть отчисляет. Я и сам знаю, что мне здесь не место. Пойду вот и скажу.

Николай смотрел на этого большого, сильного, увешанного орденами человека, по щекам которого катились слезы, и все это ему было так знакомо, так понятно...

На следующий день Громобой пришел на лекции без орденов, даже без планок.

Случай этот напомнил Николаю о Сергее.

Не виделись они месяца три, а то и больше — со дня отъезда в Черкассы. Как-то потом Николай заходил к нему,— это было в первые дни ухода от Шуры, когда все было горько и противно,— но не застал. Соседка сказала, что он не то на работе, не то в отъезде — его разве поймешь!

Сейчас, после случая с Громобоем, Николая опять потянуло к нему. Захотелось увидеть его усатую физиономию, узнать, где он, чем занимается, бывает ли по-прежнему у Шуры. Сергей был одним из тех немногих людей, с которыми можно было говорить просто и обо всем. С Алексеем было не просто, да и вообще встречались они теперь мельком, на лестнице, на партсобрании или когда Николай забегал к нему в деканат, так сказать, по долгу службы,— перекидывались двумя-тремя словами и расходились. С Валей встречи происходили тоже на лестнице или на собрании. Когда-то с ней было тоже просто и легко. Сейчас они только слегка кивали друг другу головой и расходились в разные стороны.

Как-то после лекций Николай собрался к Сергею. Захватил с собой Громобоя и пошел. Но и на этот раз их постигла неудача. На дверях Сергеевой комнаты висел замок. Мало того, выглянувшая из соседней комнаты женщина, повязанная платком, сказала, что он здесь уже не живет.

— Выехал. Совсем недавно выехал.

— А куда, не знаете?

— Не знаю, голубчик, не говорил. Теперь здесь бухгалтер один живет. Рублей на сто бутылок вынес, целый мешок. Ей-богу!

Больше ничего узнать не удалось.

— Жаль,— сокрушался дорогой Николай.— Жаль парня. Боюсь, как бы опять с пути не сбился. У него это есть, разгульность такая. Держится, держится, а потом как ахнет — всем тошно станет. А хороший парень, очень даже хороший. Жаль.

Они шли с Громобоем по улице, подняв воротники своих видавших виды шинелей — моросил дождь,— и Николай рассказывал ему о Сергее, об их первой встрече, о сложной, никак не получавшейся жизни его.

— И вот провалился, черт. Был бы Фимка, мы б сразу его нашли, а теперь ни того, ни другого.

Но Николай ошибался. Если бы даже и существовал еще Фимка со своим заведением, Николай не нашел бы там Сергея.

17

Дней через десять после ухода Николая Шура опять поехала в Харьков. Поехала их целая бригада — пять инженеров и две чертежницы,— предстояла срочная работа на месте. Обычно Шура уклонялась от этих командировок, но сейчас ей так вдруг захотелось куда-то вырваться, так неуютно было возвращаться в свою пустую комнату, что она, охотно приняв предложение, в одно прекрасное сентябрьское утро уложила чемодан и отправилась на вокзал.

Сергей тоже приехал на вокзал.

— Ну к чему эти проводы? — говорила Шура, делая вид, что сердится, а на самом деле радуясь приходу Сергея.— Подумают еще, что ты...

— Ну и пусть думают, нам какое дело.

Она взглянула на Сергея. Еще сегодня утром она радовалась возможности хоть на время уехать из своей комнаты, где все напоминало ей об ее одиночестве. И вдруг ей стало грустно. Вот она едет сейчас с людьми хорошими, чем-то даже приятными ей, но ведь они не знают ее жизни, они равнодушны к ее горю. А здесь остается единственный человек, друг Николая, который знает все и после всего этого стал не только не холоднее, а, напротив, ближе, добрее...

Она рассеянно смотрела на подходивший к перрону поезд.

— Не люблю я почему-то Харьков,— сказала она.— Неуютный он какой-то, скучный. И площадь эта с Госпромом. Пустырь, а не площадь.

— Ничего,— сказал Сергей.— Через две недели вернешься домой.

— Это говорится только, через две недели. Раньше октября не вернемся. Я уж знаю. Все цветы мои погибнут за это время. Попросила Ксению Петровну за ними следить, да она и своих-то не поливает.

— Не погибнут. Чего их там поливать особенно?

— Кактусы не погибнут. И плющ, может, тоже. А вот бегонии и олеандры... Ты все-таки иногда заглядывал бы. Будет свободное время — загляни, напомни Ксении Петровне.

— Можно и заглянуть, нам нетрудно.

— Кактусы часто поливать не надо. Они не любят воды.

— Ладно. Не буду.

Помолчали. Потом Сергей спросил:

— А ты зачем в Харьков едешь?

— Как зачем? — удивилась Шура.— Ты же знаешь.

— А все-таки зачем?

Поезд лязгнул буферами. Из вагонов, толкаясь, стали выскакивать провожающие.

— Ну ладно,— сказал Сергей, поднимая Шурин чемоданчик.— Садись, а то останешься.

Шура села в вагон, и поезд почти сразу же тронулся. Сергей помахал рукой и ушел.

На следующий же день он зашел проверить цветы. Выставил их все на балкон — их было так много, что пришлось внести с балкона в комнату плетеное кресло,— и старательно полил их из кувшина. Через день опять зашел, а потом стал приходить чуть ли не каждый день.

За месяц Шуриного отсутствия цветы буйно разрослись, олеандры покрылись розовыми бутончиками, а старый фикус неожиданно вдруг выпустил длинное зеленое острие, которое через день распустилось и превратилось в свежий, ослепительно зеленый листочек. Сергей был очень горд, пригласил даже соседей посмотреть, как весело растут цветы под его «чутким руководством».

Приходил он вечером, после работы, поливал цветы, иногда подметал комнату и вытирал пыль со всех предметов, так как балконная дверь была всегда открыта и с улицы наносило пыль.

Как-то, снимая половой щеткой паутину над голландской печкой, Сергей обратил внимание, что потолок в этом углу от копоти стал совсем черным. Став на табурет, он попытался почистить щеткой, но получилось только хуже — исцарапал весь потолок.

«Надо его просто побелить»,— подумал Сергей и на следующий же день явился с двумя малярами, стариком и вертлявым мальчишкой с бельмом на глазу.

Старик, посапывая, долго смотрел на потолок и стены, потом сказал:

— Что ж тут белить? Тут надо целый ремонт делать. Обои-то еще довоенные. В тридцать пятом такие продавали. Содрать надо. Все равно заляпаем. И двери покрасить.

Сергею эта мысль понравилась. Немногочисленные вещи были вынесены в коридор, старые обои содраны и сожжены на кухне. Через три дня комната была неузна-

ваема. Потолок сверкал изумительной, непередаваемой белизной, розетка посреди комнаты и лепные карнизы покрыты были легкой позолотой, а серебристо-голубые стены усеяны какими-то цветочками, которые, по мнению Сергея, должны были гармонировать с висящим над Шуриной кроватью ковриком.

Ремонт обошелся дешевле, чем в то время мог обойтись,— но, как это всегда бывает, он потянул за собой еще целый ряд дополнительных расходов.

Во-первых, был куплен и повешен большой оранжевый абажур с бахромой, отчего комната сразу приобрела тот уют, которого, как казалось Сергею, ей еще не хватало. Во-вторых, на толкучке была приобретена крохотная настольная лампа с красным пластмассовым абажурчиком, а к кровати проведен специальный штепсель, так что теперь, засыпая, Шура могла не бегать каждый раз к двери тушить свет. Кроме того, на стену был повешен большой портрет Пушкина, паркет начищен до зеркального блеска, стол накрыт новой клеенкой, перила на балконе выкрашены небесно-голубой эмалевой краской, а шарики на перилах — белой.

Все получилось очень красиво, маляры были знакомые и за работу взяли по-божески,— и Сергей с нетерпением стал дожидаться Шуриного возвращения. В письме Шура написала, что приедет пятнадцатого, но приехала только восемнадцатого, и три дня Сергей с непонятным замиранием сердца подходил к Шуриной двери.

«Что за чепуховина? — думал он, поднимаясь по лестнице на пятый этаж.— И с чего бы это я так...»

Он был растерян. Дожив до двадцати четырех лет, он ни разу не влюблялся, с женщинами держался просто и грубо, как с товарищами, но не отдавал им той любви, которую отдавал товарищам. И вот теперь, встретившись вдруг с женщиной, в которой он увидел совсем не то, что видел в женщинах до сих пор, он вдруг растерялся.

Он сам не понимал, что происходит. Ему казалось, что он просто жалеет Шуру, что ему обидно за нее, за то, что Николай ее не понимает, а когда Николай ушел, по-настоящему рассердился на него. Но что все это и есть любовь, этого он не понимал.

Тем не менее, получив от Шуры письмо — несколько строчек о том, что она много работает и, вероятно, раньше чем через две недели не вернется, он столько раз его пере-

читывал, что под конец, кажется, выучил наизусть. Прибирая комнату после ремонта, он по нескольку раз перекладывал Шурины вещи и стащил даже маленькую фотографию, лежавшую на столе под стеклом, на которой Шура была снята на трехколесном велосипеде. На этой карточке Шуре было всего семь лет, но выражение лица было совсем такое, как и теперь, когда она чему-нибудь радуется,— сияющее и чуть-чуть удивленное.

Когда Шура приехала, первыми ее словами было:

— Ну зачем ты это сделал? Зачем, спрашивается?

Сергей мрачно молчал, покручивая ус.

— И во сколько это тебе обошлось?

— Во сколько надо, во столько и обошлось.

— И абажур этот. Он стоит триста рублей, я знаю. И не говори мне, пожалуйста, что тебе его подарили. Ты заплатил за него триста рублей, сознайся!

— Сколько надо, столько и заплатил.

— Сумасшедший, честное слово, сумасшедший! Лишние деньги завелись? Так и знай — буду тебе из каждой получки выплачивать.

— Что ж, выплачивай,— согласился Сергей.

— И буду. А что ты думаешь?

— А я и не протестую. Дело хозяйское.

Потом они пили чай на новой клеенке. Шура все время дразнила Сергея, говорила, что к голубым стенам нельзя было покупать оранжевый абажур, что клеенка пластмассовая и скоро покоробится. Сергей был мрачен и молчалив. Ушел около двенадцати, сказав на прощание:

— О перила пока не облокачивайся. Там краска еще не просохла.

Шура обещала не облокачиваться, проводила Сергея до двери, потом вернулась, зажгла свою новую лампочку с красненьким абажуром и до часу ночи читала. Лампочка ей очень понравилась. Вообще она была рада, что вернулась.

18

Сергей вставал рано. Когда надо было идти ругаться в главк, можно было вставать и попозже — в учреждениях работа начиналась в девять. Но если ругаться было не с кем, вставать приходилось в шесть. Аэроклуб, как и все аэроклубы, находился за городом, возле аэродрома, и

чтоб не канителиться с попутными машинами, Сергей ездил туда автобусом, который отправлялся от Аэрофлота в семь утра.

Большинство ребят днем работало, но те, что были в отпуску, весь день проводили в аэроклубе. К четырем-пяти стекались и остальные. Строительство шло полным ходом. Ребята оказались азартными и предприимчивыми. Чего не могли достать Сергей и Сененко официальным путем, ребята доставали неофициальным. Среди хлопцев оказался и шофер, так что транспортный вопрос тоже решился сам собой. Кое в чем помогли летчики с соседнего аэродрома — здесь уж Сергей проявил инициативу. Одним словом, к первым морозам сарайчик, именуемый ангаром, с двумя пристроенными к нему «аудиториями» был готов, а в скором времени «в аудиториях» появились и первые учебные пособия. Все ходили измазанные маслом и краской. Впереди была зима, но говорили уже о весне и первых тренировочных полетах.

Так проходил день. Часам к семи Сергей говорил: «Ну что ж, пора закругляться. Жучков, покомандуй тут за меня»,— и, скинув комбинезон и помыв руки бензином, отправлялся к Шуре. Правда, случалось это теперь не каждый вечер. Более того, если раньше Сергей приходил «просто так», «от нечего делать», и целый вечер сидел на балконе в плетеном кресле, то теперь он всегда являлся под каким-нибудь предлогом: то ему книжка нужна была — не может ли Шура спросить в своей библиотеке, то вернуть эту самую книжку, то узнать что-то у соседки Ксении Петровны.

Шура всегда была рада его приходу, но почему-то, когда бы он ни пришел, обязательно была чем-то занята: то стирка, то глажка, то недоделанная чертежная работа. Вытянуть ее из дому не было никакой возможности. Вообще с Сергеем она держалась сейчас иначе, чем раньше. Разговаривая с ним, начинала вдруг дразнить его, попрекать разбросанными по всей комнате окурками, смеяться над его привычкой сидеть в плетеном кресле, положив ногу на перила. Сергей огрызался, но чувствовал себя почему-то неловко и, посидев с полчаса, начинал прощаться. Шура его удерживала, но он говорил, что ему завтра рано вставать, да и Шуре тоже, и уходил.

Как-то раз ему все-таки удалось вытащить Шуру в Дом офицера — кажется, в День артиллерии. Сначала все

шло хорошо. Показывали хроникальную картину «Оборона Сталинграда». Сергей с удовольствием узнавал знакомые места и даже стал рассказывать какие-то военные эпизоды, что с ним случалось довольно редко. Но потом, когда начались танцы и какой то молодой человек с подбритыми усиками пригласил Шуру танцевать, Сергей надулся и до самого конца не проронил ни слова.

Больше в Дом офицера он Шуру не приглашал.

И заходить стал реже. Даже аэроклубовские ребята заметили:

— Что-то вы, Сергей Никитич, по вечерам стали задерживаться. Раньше, как только семь часов, сразу за бензинчик, а теперь...

Сергей делал вид, что не понимает намека.

— Да вот мотор этот. Хочу с ним разделаться,— и возился с ним еще добрый час.

Потом возвращался домой, валился на свою койку, смотрел в потолок и курил.

«Черт его знает,— думал он,— вот так вот и околеешь в этой дыре! Собачья жизнь. И выпить даже не с кем. Ни денег, ни компании. Собачья жизнь, одно слово, собачья...»

Правда, случай вскоре подвернулся. Возвращаясь как-то из аэроклуба, Сергей столкнулся на улице со своим старым приятелем еще по авиационному училищу, Толькой Лукониным. Зашли в ресторан. Не виделись они года три, а то и больше. После окончания училища Сергей и Анатолий попали на разные фронты — Сергей на Юго-Западный, Анатолий на Центральный, потом воевал в Польше, Германии. Сейчас вернулся из Австрии, ждал демобилизации.

В училище Луконин был худеньким, прыщавым парнишкой, которого прозвали «голоусик»,— на верхней губе, несмотря на все ухищрения и старания, у него ничего не росло. Сейчас это был рослый, румяный, увешанный орденами детина, поминутно оглядывавшийся на девиц. Заграничную жизнь он ругал, говорил, что скучно, что хочется домой, но время от времени поглядывал на хорошенькие часики на стальном браслете и несколько раз, ища что-то в кармане, вынимал и клал на стол похожую на сигару самопишущую ручку.

Сергей молча слушал и заказывал еще пива. Из ресторана вышли в третьем часу ночи, когда в зале уже потушили свет. Машин на улице не было, пошли пешком. Днем моро-

сил дождь вместе со снегом, к вечеру подмерзло. Сергей поскользнулся, упал и растянул связки на ноге.

Часто потом, вспоминая этот вечер, Сергей, смеясь, говорил, что причиной всех происшедших после этого перемен в его жизни был Толька Луконин. Не встреть он его тогда на улице, он не попал бы под дождь, и не упал бы, и не провалялся бы неделю дома, и к нему не пришла бы Шура, и не заахала бы, в какой дыре он живет, и кто же его обслуживает, кто убирает, кто стирает белье.

Шура пришла к нему на четвертый день его лежания и тут же, в отместку за ремонт, выкинула все окурки из комнаты, достала у соседей ведро и тряпку, вымыла пол, затем всю посуду.

Сергей, лежа на своей скрипучей койке, следил за Шуриными движениями и говорил:

— Бессмысленная трата времени. Все равно завтра опять закидаю.

— А я тебе блюдце для окурков поставлю.

— Привычки нет. Люблю на пол.

— Заберу тогда папиросы.

— Попробуй.

— А чего мне пробовать — заберу и все. Где твое белье?

Белье оказалось под кроватью. Шура вытащила оттуда все рубахи и прочие принадлежности и связала их в небольшой узел.

— И чему вас в армии только учили? Летчик, называется, старший лейтенант.

Через два дня она принесла белье выстиранным, выглаженным и аккуратно, стопочками, уложила его в чемодан. Потом покрыла стол принесенной из дому скатертью и разложила на ней ужин — плавленный сыр и консервированное мясо.

— И это все? — с тоской в голосе спросил Сергей.

— Все.

— Как же это все в глотку без смазки полезет?

— Ничего. С чаем полезет. Господи, неужели у тебя чайника нету?

Шура пошла к соседке за чайником, а Сергей тем временем, порывшись под кроватью, выудил оттуда недопитую четвертинку.

Весь вечер Шура возмущалась, как может Сергей так жить.

— Грязь, сырость, смотреть даже противно! И солнце здесь, наверно, никогда не бывает. Я б с ума сошла в такой комнате...

— В землянках похуже было,— оправдывался Сергей.

— Так то землянки, а то комната. Война уже кончилась.

— Как для кого...

— Не говори глупостей.

— Разве это глупости?

— Конечно, глупости. У тебя есть работа, хлопцы. Хорошие хлопцы. И работа хорошая.

Сергей улыбнулся.

— Ну? Еще что?

Шура вдруг покраснела.

— А чего тебе еще надо? Честное слово, я никогда не видела таких нытиков, как ты. Все ему не нравится. Осоавиахим не нравится, аэроклуб не нравится... Все ему не нравится...

Сергей поморщился, почесал нос и сказал:

— Почему все? Вовсе не все...

Шура старательно вынимала вилкой консервы из коробки.

Сергей вдруг рассмеялся.

— Да выпей ты водки, черт тебя возьми,— и протянул ей свой стакан.

Шура стала протестовать, замахала руками, но выпила.

— И кто ее придумал только... Бр-р...— и тут же стала поносить всех пьяниц, в том числе и Сергея, доказывая, что только непьющие, порядочные люди умеют устраивать свою жизнь, а такие, как Сергей, потому и живут в таких дырах, что думают только о водке.

— Да я вовсе не думаю о ней,— сказал Сергей.— Я просто ее пью.

Шура злилась, а Сергей только улыбался,— ему нравилось, как Шура на него злится.

На следующий день Шура опять пришла, и они опять поссорились, то есть Шура опять его в чем-то обвиняла, а он смеялся и не соглашался.

На третий день произошло то же самое. Уходя, Шура даже хлопнула дверью.

А через неделю Сергей переехал к Шуре, вернее перешел: кроме чемодана с бельем, стакана и двух тарелок, у него ничего не было.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Небольшая, восьмиметровая комната общежития, в которой жил Николай, имела весьма странный вид. Во-первых, она была круглая — первое неудобство, так как разместить в круглой, да еще восьмиметровой комнате четыре койки, стол и стул — минимальное, что нужно четверым живущим в ней студентам,— оказалось задачей почти неразрешимой. Во-вторых, находилась эта сама по себе нелепая комната в еще более нелепой башенке, прилепленной архитектором к углу дома, очевидно, только «для красоты», так как ничего более полезного при всем желании найти в ней нельзя было (чтоб попасть в нее, надо было пройти весь чердак и подняться еще по винтовой лестнице). Наконец, в-третьих, в комнате этой был собачий холод — отопления в ней не было, а три узких окошка, выходивших на восток, юг и запад, с видом на занесенные сейчас снегом крыши, Багринову гору и далекую Шулявку — вид чудесный, ничего не скажешь,— создавали идеальные условия для сквозняков.

Одним словом, комнатенка была среднего качества, и если Громобой, обнаруживший ее во время субботника по чистке чердака, ухватился за нее, так только потому, что у нее было одно неоспоримое преимущество — она была изолированной. В общежитии это кое-что да значит.

После недолгих, но бурных переговоров с комендантом и заместителем директора ломаная мебель и какие-то листы фанеры, бог его знает для чего хранимые там комендантом, были выкинуты на чердак, и в «башне» поселились Николай, Громобой, Антон Черевичный и Витька Мальков — невозмутимый, флегматичный парень, примечательный главным образом тем, что, получая из дому посылки — а получал он их довольно часто,— он сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, съедал половину.

Обстановка «башни», кроме упомянутых уже шести предметов — четырех коек, стола и стула, состояла еще из двух чертежных досок, двух десятков книг и электрической плитки, заменявшей отопление. Против плитки комендант пытался было возражать и даже пригрозил, что перережет проведенную Черевичным по чердаку проводку,

но Громобой просто-напросто выставил его, не вступая в переговоры.

Комендант больше не являлся.

Днем комната пустует. Жизнь начинается ночью. Плитка придвигается поближе к столу, и так как четверым сразу заниматься невозможно, Антон с Мальковым сидят от ужина до двенадцати, Николай — от двенадцати до двух-трех часов ночи, а Громобой — с пяти утра до начала занятий. Днем времени не хватает.

От двенадцати до трех — это самые тихие часы. Громобой и двое остальных похрапывают, в углу скребутся мыши, сквозь полузамерзшее окно видны дрожащие огни вокзала. Накинув на плечи шинель, время от времени грея над плиткой руки, Николай сидит над «Высшей математикой» Привалова, шелестит страницами, курит.

И вот тут-то, где-то между вторым и третьим часом ночи, на смену эллипсам и параболам приходит то, что за последние месяцы отодвинулось куда-то далеко-далеко институтской жизнью, новыми товарищами, новыми интересами, заботами, волнениями.

Почему все так произошло? И кто в этом виноват? И виноват ли вообще кто-нибудь в чем-нибудь? И стоит ли об этом думать, возвращаться к этому?

Стоит или не стоит, но возвращаешься.

Вот жил он когда-то с Шурой. И любил ее. И она его. И ничего им больше не надо было. Потом воевал. Потом вернулся назад. Оказался Федя... Нет, об этом не надо говорить — Федя здесь ни при чем,— просто это было тем первым, что помешало. Именно помешало, осложнило, не больше. Большим было другое. Иногда Николай думает, что причиной всему — три года разлуки. Он воевал, Шура ждала. Сжалась в комочек и ждала. Он узнал что-то новое, большое, настоящее, а Шура только ждала. И, как всякий человек, для которого прошлое лучше настоящего, она мечтала об этом прошлом. А он хотя тоже мечтал о нем, но вдруг, столкнувшись с ним, понял, что оно для него тесно, не хватает воздуха... Нет, и это не то. Чепуха все это, выдумки! Совсем не так это было. Шура за три года поняла не меньше, если не больше самого Николая. Не надо оправдывать себя, придумывать то, чего не было на самом деле.

Шуры больше нет, и не вспоминай о ней. И о Вале не вспоминай. Она тебе прямо сказала — ей неприятно с

тобой встречаться. Ты спрашиваешь — почему? А ты не спрашивай. Не задавай вопросов. Перед тобой Привалов — вот и читай его. Завтра спросят, опять знать не будешь...

Маленькая, совсем крохотная мышка появляется вдруг из-под кровати. Поводит носом, смотрит на Николая. Это старая его знакомая. Она всегда в это время появляется из-под кровати, к чему-то долго прислушивается, потом по одеялу вскарабкивается на кровать, с кровати на окно — к тому месту, где лежит завернутый в газету хлеб и колбаса на завтрашнее утро. Ужинает.

Николай тушит свет. Пришла мышь — пора спать. Поплотнее укутывается одеялом — из окна немилосердно дует,— на какую-то крохотную долю секунды вспоминает, что завтра, до лекций, надо провести политинформацию, а в четыре часа... Но до четырех часов дело не доходит. Николай спит.

2

Кончился первый семестр. С двадцать пятого января начались каникулы. Самое приятное в них то, что можно отоспаться. И все отсыпаются, отсыпаются вовсю.

Отсыпается и «башня». Встают в десять, а то и в одиннадцать, не торопясь умываются, ввели зарядку. Потом не торопясь завтракают, чистят сапоги, пришивают подворотнички. Потом расходятся. Громобой завел себе какую-то даму и по вечерам, а иногда даже и по утрам, пропадает у нее. Витька Мальков поехал домой. Антон тоже было собрался, но потом почему-то раздумал, очевидно из-за денег, и целыми днями занимается благоустройством «башни». Вместо плитки он сделал специальный обогревательный прибор из обмотанной проволокой канализационной трубы, развесил по стенам — «чтоб красивее было» — какие-то плакаты (один из них — колхозник и колхозница, призывающие подписаться на заем,— оказался Муниной работы, и это очень обрадовало Николая), провел настольную лампу и радио — одним словом, целый день был занят. Николай помогал ему — он тоже любил такую возню — или, пристроившись у печки, читал. По вечерам, когда не был занят на агитпункте, ходил в кино, несколько раз был на катке,— зима была сухая, снежная, хорошая.

Не обошлось и без маленького торжества — тридцать первого января, в день третьей годовщины победы под

Сталинградом. Начали дома, потом, как обычно, потянуло в ресторан. Денег не было, но в таких случаях они всегда находятся, нашлись и сейчас, и хотя их было немного и перед заказом пришлось на обратной стороне меню сделать кое-какие подсчеты, время в «Театральном» прошло неплохо. Наперебой вспоминали, немного привирая (по этой части особенно силен был Громобой), потом подсели к каким-то морячкам,— те тоже особой скромностью в своих воспоминаниях не отличались,— вместе с ними заказывали фронтовые песенки, потом танцевали, здесь опять же на первом месте оказался Громобой.

Часов в одиннадцать Громобой заторопился вдруг к своей даме. Антон тоже встал — пора уже. В Николая вцепился лейтенант-моряк.

— Идем ко мне! Я тут недалеко. Комната отдельная. И хозяйка ничего. И патефон есть,— на это он особенно напирал.— И пластиночки...

Пошли. Но хозяйки, которая «ничего», дома не оказалось, пластинки, выяснилось, все старые и наполовину перебитые, да и вообще стало вдруг скучно. Николай посидел минут десять, выслушал довольно скучную историю о какой-то девице, с которой лейтенант недавно познакомился и не знал, что дальше с ней делать, совета никакого не дал, распрощался и ушел.

Вышел на улицу. Кругом пусто. Ветер раскачивает фонари, крутит сухой, рассыпчатый снег. Николай пошел вниз по бульвару. Знакомый бульвар. И дома знакомые. Четырнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый номер. Двадцатый... На ступеньках подъезда стоит парочка — парень в шинели и девушка в короткой жакетке с меховым воротником. Лиц не видно. Целуются...

Уже поздно — в окнах нет света. Только в одном, на пятом этаже, еще светится. Из него, из этого окна, виден почти весь город — от купола музея до колючих башен костела и разбросанных среди Голосеевского леса белых корпусов лесного института. Сейчас построили дом напротив, и костела, вероятно, уже не видно.

Николай стоит и смотрит на светящееся окно. Зачем он пришел? Ведь все кончено. Давно уже кончено. Совсем кончено... И о чем им говорить? Посидят, помолчат, и все... Зачем же он пришел? Вверху, в окне, как будто дрогнула занавеска. Зачем, зачем... Да низачем. Просто так. Просто хочется ее видеть, больше ничего.

Николай проходит мимо парня и девушки — те даже не оборачиваются,— подымается по лестнице, останавливается перед дверью с почтовым ящиком, на котором написаны три фамилии. Нажимает голубенькую кнопочку. Тишина. Потом шаги. «Вам к кому?» Щелкают запоры — крючок, задвижка, цепочка. В дверях Ксения Петровна в накинутом на плечи платке.

— Здравствуйте, Ксения Петровна. Не узнаете?

— Здравствуйте,— говорит она.— Узнаю, почему же? — и больше ничего не говорит.

Николай захлопывает дверь, проходит по коридору, сворачивает направо. Стучит в дверь.

— Да,— отвечает мужской голос.

Николай входит. За маленьким письменным столом, спиной к нему, сидит Сергей. Он полуобернулся, но голова его заслоняет лампу, поэтому лица его не видно.

Николай делает несколько шагов.

— Ты здесь? — говорит он.

— Здесь.

Голос у Сергея глухой, слегка охрипший.

— Садись,— говорит он.

Николай садится. Садится на стул возле стола. На столе новая клеенка. Чайник, покрытый матрешкой, кусок хлеба. Повидло в баночке. На стуле шитье с воткнутой иголкой, моток ниток, ножницы. Совершенно источившийся ножик — жив еще... А этажерка почему-то передвинулась вправо. И Пушкина этого не было.

— Чай будешь? — спрашивает Сергей.

Он встал из-за стола. Стоит, опершись на него, смотрит на Николая. Николай — на него. В глазах Сергея — серых, обычно чуть-чуть хитроватых — недоверие, настороженность. Оба молчат.

Так вот оно что! А он и не знал. Ничего не знал. Не догадывался даже. Эх, Сергей, Сергей...

В комнату входит Шура. На ней вязаная кофточка, на шее сантиметр. Николай пожимает протянутую руку. Рукопожатие очень короткое — Шура сразу разжимает пальцы.

— Ты похудел,— говорит она и смотрит на Николая.

А она нет. Даже пополнела. Немного переменила прическу, сейчас у нее посредине головы ряд. Взгляд совсем спокойный, хотя по плотно сжатым губам Николай догадывается, что она все же волнуется.

Шура берет со стола чайник.

— Будешь пить? Я сейчас разогрею.

— Спасибо,— говорит Николай, хотя ему совсем не хочется.

Шура направляется к двери. В дверях оборачивается.

— Может, есть хочешь?

— Нет, есть не хочу.

Шура выходит.

Сергей топчется на одной ноге вокруг стола, сметает крошки, переставляет зачем-то тарелки. Потом подсаживается к Николаю на кровать. Молчит. Слышно, как в кухне шипят примусы. Потом Сергей говорит:

— Сам не верю, Колька... Не верю, нет! Иной раз...— радостная, растерянная улыбка появляется вдруг на его лице.— Что ни скажет, все делаю. Скажет — не пей, не пью. Ребята приглашали — отказался. Не веришь? — Он обнимает Николая рукой, притягивает к себе, говорит в самое ухо: — А ведь никого на свете не любил, никого...

Несколько секунд они молчат. Потом Николай говорит:

— Я рад за тебя, Сережка. И за Шуру рад... По-настоящему рад.

Он говорит это очень тихо, не глядя на Сергея. В эту минуту ему действительно кажется, что он рад,— рад за Сергея, за Шуру и за себя рад, что видит Сергея, что сидит рядом с ним.

Опять пауза. Обоим немного неловко.

— Ну, а ты как? — спрашивает наконец Сергей.— Ведь мы не виделись с тобой...

— Полгода. С августа. С той вечеринки.

— Да, полгода.

— Я заходил к тебе.

— Туда? В дыру?

— Там бухгалтер какой-то теперь живет.

— Ну и пес с ним... А ты где?

— В общежитии.

— В общежитии? — Сергей слегка отодвигается, внимательно смотрит на Николая.

— В общежитии. Заходи. Ребята у меня хорошие.

Сергей, видимо, хочет еще о чем-то спросить, но не спрашивает.

Возвращается Шура с чайником. Ставит его на стол. Все тот же медный, с припаянным носиком.

— Жаль, вкусного ничего нет,— говорит она.— Халву и то съели. Целую неделю лежала.

Николай по привычке садится на то место, на котором обычно сидел, спиной к двери. Потом пересаживается поближе к балкону. Пьют чай. Разговор самый обыкновенный. Как работа? Как Беленький? Беленького уже нет, на его месте другой, как будто ничего. А работы по-прежнему, даже больше прежнего, много сейчас строится. А Сергей? Все еще в своем Осоавиахиме? Да нет уж, давно расплевался. Молодежь в аэроклубе воспитывает. Смешно? А вот воспитывает. И неплохо воспитывает. Ты не смейся. Спрашивали даже, почему в партию не вступает, да, да, на прошлой неделе Сененко спрашивал.

— Вот каким стал товарищ Ерошик, а ты говоришь! За это и выпить не грех, а?

Но Шура не разрешает. Поздно, нельзя. Завтра вставать в семь.

Сергей вздыхает:

— Видал?

Николай смотрит на часы.

— Ты что смотришь? Не смотри.

— Пора. У нас в двенадцать дверь закрывают. Дисциплина.

— А может, все-таки...— Сергей почесывает шею чуть пониже подбородка.— Сбегать к старику Платонычу? А? У него всегда есть, он ею зубы лечит.

— Никаких Платонычей,— говорит Шура.

Сергей вздыхает.

— Вот она, семейная жизнь...

Николай встает, прощается.

— Заходи,— говорит Шура.

Николай кивает головой: обязательно, как же.

Сергей провожает его до двери.

— Как-нибудь вырвусь к тебе в общежитие. Вечерком как-нибудь, в субботу или воскресенье.— И опять стискивает его за плечи.— Эх ты, студент-одиночка, капитан...

Николай крепко жмет ему руку. Спускается по лестнице. На улице ветер гонит по сухим тротуарам снег. Начинается метель. Николай поднимает воротник.

Ну вот и все. Совсем как тогда на лужайке. А почему у тебя гипса нет, как кормят, как лечат?

А за Сергея он рад. По-настоящему рад. И за Шуру тоже. Ну конечно же тоже...

8

На втором семестре добавляется четыре новые дисциплины. Строительные материалы, теоретическая механика, инженерно-строительное черчение и иностранный язык. По иностранному можно выбрать одну из двух групп — немецкую или английскую. Большинство, в том числе и Громобой с Черевичным, выбирают английскую (немецкий и за войну надоел, ну его!), Николай — немецкую. Английскую ведет Валя.

День уплотняется еще больше. Ни на что уже не остается времени. Даже пообедать и то не всегда успеваешь. А тут еще подошел как-то к Николаю Чекмень и, взяв его за локоть, отвел в сторону и сказал, что хочет рекомендовать его в факультетское партийное бюро. Николай только руками замахал.

— Ты что, спятил? Да где ж я время найду? И кто заниматься за меня будет?

— Ничего, потянешь. Парень ты двужильный. А нам как раз такие, как ты, нужны в бюро — фронтовики, настоящие хлопцы. На кого ж опереться, если не на вас.

Но Николай категорически отказался. До второго курса пусть его не трогают, пусть дадут крепко на ноги стать, нельзя же все сразу...

Чекмень покачал головой, сказал: «Жаль, жаль, а то поддержали б твою кандидатуру»,— и отошел.

Николай немного слукавил. За эти несколько месяцев он, правда, не очень еще прочно, но на ноги все-таки стал. Появилась даже какая-то уверенность. Исчез невольный страх перед логарифмами и интегралами. В том, что совсем недавно казалось случайным набором цифр, стала улавливаться закономерность, стройность, стало даже интересно. На смену вечным тройкам начали появляться первые, не частые еще четверки. Случилась даже одна пятерка. Правда , одна, и то по строительным материалам, самому легкому из всех предметов, но Николай радуется ей не меньше, если не больше любого школьника-четвероклассника. «Ну, как сегодня?» — спрашивают его. «Порядок, на счету уже пятерочка»,— и в голосе его чувствуется та же чуть-чуть небрежная и самодовольная интонация, с которой года три тому назад он докладывал по телефону: «Порядок, товарищ пятый, отвоевали железнодорожную будку, закрепляемся».

Из новых дисциплин больше всего нравится Николаю курс строительных материалов. Может быть, потому, что курс этот нетрудный (слава богу, никаких формул!) и много времени в нем уделяется лабораторным занятиям, которые студенты всегда предпочитают теоретическим, но вероятнее всего потому, что читает его профессор Никольцев.

Высокий, худой, с чуть наклоненной набок головой и копной совершенно белых, отливающих желтизной волос, откинутых назад, в черном, наглухо застегнутом френче, какие носили еще в двадцатых годах, он с немного виноватым видом входил в аудиторию (Никольцев всегда почему-то опаздывал), клал на стол свой до отказа набитый чем-то портфель с оторванной ручкой, подходил к окну, как будто рассматривая что-то на улице, потом поворачивался и начинал читать лекцию. Нет, чтением это нельзя было назвать. Это был разговор. Тихий, спокойный рассказ о том, например, как где-то под Парижем какой-то садовник, делая из цемента кадки для растений, решил для прочности ввести в цемент металлическую сетку. Так родился железобетон — материал, вызвавший в строительном искусстве переворот, равный, как говорил Никольцев, перевороту, вызванному появлением паровой машины и электричества. И тут же вынимались из громадного портфеля фотографии мостов, арок, вокзалов, и оказывалось, что этот мост он строил еще студентом в тысяча восемьсот каком-то там году, а это перекрытие чуть не рухнуло, так как подрядчик торопился и не выдержал положенного срока, а это вот незначительное как будто сооружение выдерживало удары одиннадцатидюймовых японских снарядов. Константин Николаевич указывал длинным подагрическим пальцем на пожелтевшую фотографию, где группа круглолицых, с маленькими закручивающимися усиками солдат, в лихо сбитых набок бескозырках, стояла возле какого-то сооружения, напоминающего капонир. А рядом с ними тоненький офицерик с бородкой клинышком — сам Никольцев.

Оказывается, этот, такой комнатный и мирный на вид старик не только был участником двух войн — японской и немецкой четырнадцатого года, но даже в числе тех немногих офицеров, которые после обороны Порт-Артура отказались дать честное слово не воевать против японцев, более года провел в плену.

Обо всем этом Константин Николаевич не успевал, конечно, рассказывать на лекции, но так как на эти темы, как и всем старикам, ему поговорить хотелось, а ребята не прочь были послушать («старик-то, старик, даже японского императора видел!»), то доканчивать ему приходилось обычно уже на улице, а то и дома.

— Вы не очень торопитесь? — говорил он, останавливаясь у своих дверей, всегда немного смущаясь, наклонив голову набок, глядя на своих попутчиков.— А то, может, заглянете? Попьем чайку, поболтаем.

Многих соблазняло именно это «попьем чайку» (у старика он подавался за маленьким круглым столиком, очень крепкий и всегда с каким-нибудь печеньем или пирогом), но Николай оба раза, которые был у Никольцева, от чая отказывался,— уж очень выразительно подкусывала губы старуха нянька, с которой жил одинокий Никольцев,— и ограничивался воспоминаниями и рассматриванием коллекций, которыми заполнена была вся комната.

Молодежь остается молодежью — над стариком иногда подсмеивались. Он повторялся, по нескольку раз рассказывая одно и то же и часто вставляя одни и те же слова в уста различных людей, но подсмеивались любя, интерес к его лекциям от этого не уменьшался, и только на них (если не считать теоретической механики, но там больше из страха) никто никогда не читал посторонних книг и не играл в самодельные шашки. К тому же у Никольцева была еще одна незаменимая черта, за которую его нельзя было не любить,— он никого никогда не резал. «Дело не в ответе, а в заинтересованности предметом, в том, как вы воспринимаете его»,— говорил он и ставил студенту тройку или четверку, которых, по совести говоря, тот не всегда заслуживал.

Одним словом, старика любили. Поэтому, когда в середине второго семестра по институту поползли вдруг слухи, что профессор Никольцев якобы уходит на покой, что строительные материалы будет читать его ассистент Духанин (он знал свое дело, но был «скучняком», как называли его студенты, и забывал делать перерывы), а кафедра перейдет в руки кого-то, кого — еще неизвестно, но, во всяком случае, Константин Николаевич заведовать ею уже не будет, никто этим слухам не поверил. Чепуха! Какой там покой! Да он без студентов сразу зачахнет. Придумают же еще...

Но через несколько дней слух этот — косвенно, правда,— подтвердился. Произошло это на факультетском собрании. С докладом, подводящим кое-какие, пока еще лишь предварительные, итоги учебного года, выступил Чекмень. В обычной своей полушутливой-полусерьезной манере (он знал, что она нравится студентам, поэтому его всегда и слушают и не выходят в коридор курить) он говорил, что факультет, в общем, «не подкачал», справляется со сложными задачами первого послевоенного года, что успеваемость на факультете не только не осталась на уровне довоенных лет,— «а мы, скажу вам по секрету, боялись мечтать даже об этом»,— но возросла, что первый курс — «опять же по секрету скажу, мы не очень-то в него верили»,— в общем, не так и плох, что надо только не снижать раз набранного темпа и мобилизовать все свои силы, чтобы добиться наилучших показателей.

— Кстати,— заканчивая свое выступление, сказал Чекмень,— воспользуюсь случаем, чтобы обрадовать вас всех приятной новостью. Несколько дней тому назад прибыло новое штатное расписание, и мы имеем теперь возможность расширить и укрепить наши преподавательские кадры новыми, молодыми, вернувшимися сейчас из армии научными силами. Думаю, что все мы будем только приветствовать это новое пополнение.

Он хлопнул папкой по кафедре и, сойдя с нее, сел на свое место возле стола. Предчувствуя скорое окончание, зал оживился.

Николай повернулся к Левке.

— Пахнет Никольцевым. Как по-твоему?

— Ну и бог с ним! — Левка полез за папиросами.— Пошли курить.

Из президиума донесся голос председателя:

— Будут вопросы по докладу декана?

— Все ясно,— проворчал Левка,— кончать пора.

Сзади кто-то сказал:

— У меня есть вопрос. Можно?

— Прошу.

Поднялся тонколицый, бледный парень, кажется со второго курса.

— Мне хотелось бы, чтобы декан уточнил заключительную часть своего доклада,— сказал он, пытаясь перекрыть возникший в зале шум.— И что подразумевает он под словом «пополнение»?

Чекмень встал и, опершись о стол, посмотрел в конец зала, где сидел парень.

— Мне кажется, я достаточно ясно сказал. Руководство предполагает пригласить ряд специалистов, которые пополнили бы наш профессорско-преподавательский состав. Разве это непонятно?

— А кого и по каким дисциплинам? — опять спросил парень.— И думают ли заменить кого-нибудь, или это только пополнение?

В зале стало вдруг тихо. Выходившие остановились в дверях.

Чекмень улыбнулся и немного театрально развел руками.

— Чего не знаю, того не знаю. Но думаю, что всякое пополнение влечет за собой и известное перемещение. И ничего удивительного здесь нет. Я думаю, мне не надо доказывать вам, что преподавание, иными словами воспитание людей, вещь не легкая. Не правда ли? Дело не только в знаниях. Знания знаниями, но нужен еще и известный политический кругозор. Нужно умение отвечать новым требованиям, повышенным требованиям...

— Конкретнее,— раздался сзади чей-то голос.

Чекмень повернулся в сторону крикнувшего.

— Конкретнее, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Чего не знаю, того не знаю,— и сел, давая понять, что с этим вопросом покончено.

Задвигали стульями, стали выходить.

— Никольцев. Факт,— сказал Николай.

Левка пожал плечами.

— Иди разберись,— он посмотрел на часы.— Ты куда сейчас?

— Домой.

— А может, ко мне сходим? Мать там что-то готовит. По случаю шестидесятилетия моего родителя.

В дверях показался Алексей. Увидев Николая, через головы кивнул ему.

— А что, если я у него спрошу? — сказал Николай.— Мне-то он скажет.

— Ничего он тебе не скажет.

Левка оказался прав. Алексей куда-то торопился.

— Прости, дорогой, спешу. Зайди ко мне завтра утречком, перед лекциями, ладно? — и слегка хлопнул Николая по плечу.— Ну и любопытные же вы, черти, спасу нет...

4

С этого, в сущности, все и началось.

Началось то, на отсутствие чего жаловался как-то на одном из партсобраний Хохряков, секретарь факультетского партбюро.

— Замкнулись вы, товарищи, в себе,— говорил он тогда,— замкнулись каждый в своей группе, на своем курсе. Не живете жизнью всего института. Загрузкой оправдываетесь. Но загрузка загрузкой, а жизнь жизнью. Если уж очень нажмешь на вас, выпустите раз в год стенгазету, да и то ее только мухи читают, вызовете кого-то там на соревнование, и точка — никто этого соревнования не проверяет. Нельзя так, товарищи, надо шире жить. Большой институтской жизнью жить.

Трудно сказать, что подразумевал Хохряков, когда говорил о «большой институтской жизни» — то ли, что надо выпускать стенгазету, которую не только мухи читали бы, то ли систематически проверять соцсоревнование,— одним словом, никто так и не понял, на чем он настаивал. Но в одном он был безусловно прав: группы действительно жили обособленно, каждая внутри самой себя.

Николай, например, кроме своей, знал еще параллельную группу и кое-кого со второго курса, знал своих преподавателей, Хохрякова и четырех членов бюро, знал Чекменя и его секретаршу Софочку — миловидную блондиночку, у которой всегда можно было узнать, что происходило на деканате,—и этим, собственно говоря, и ограничивался круг людей, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Где-то там «наверху», за обитой клеенкой дверью директорского кабинета и в кабинетах его заместителей, составлялись какие-то планы, происходили совещания профессорско-преподавательского состава, кто-то с кем-то иногда там не ладил, о замдиректоре говорили, например, что он боится как огня главного бухгалтера, а тот, в свою очередь, зависит целиком от своего старшего бухгалтера, но все это на первых порах было где-то далеко «наверху», и говорилось об этом главным образом в очередях за получением стипендии. Жизнь же в основном проходила в маленькой аудитории на втором этаже, с балконом, выходящим в сад, в кабинетах — физическом и строительных материалов, да на лестнице, куда выходили покурить. Головы забиты были формулами реверберации звука, сроками схва-

тывания цемента и ненавистными Николаю немецкими спряжениями.

Дурно это или хорошо, это уж другой вопрос,— но так было.

С этого же дня — самого обыкновенного, ничем не отличающегося от других дней, когда Чекмень выступил со своим докладом,— начались в институте события, которые вовлекли Николая в орбиту «большой институтской жизни».

Потом уж, много времени спустя, вспоминая эти дни, Николай, со свойственной ему привычкой обдумывать прошедшее, часто спрашивал себя: что было толчком ко всему тому, что произошло? И почему вдруг именно он оказался в центре этих событий, которые в конце концов могли пройти и мимо него?

Часто случается так, что событие — важное, серьезное событие — проходит мимо нас, а потом мы только ахаем и охаем: вот если б нам вовремя сказали!.. Возможно, такой зацепкой в этом деле послужил мимолетный разговор Николая с Алексеем после собрания. Правда, на следующий день, когда Николай зашел к нему, он оказался чем-то занят, и, может, на этом и закончилось бы участие Николая, а вместе с ним и Левки, и Громобоя, и Черевичного во всей этой истории, затерлись бы в своих делах, но тут, как нарочно, подвернулся Хохряков, и, вероятнее всего, если уж искать первопричину, именно с этой встречи все и началось.

Встретились на улице. Хохряков с корзиной в руках, слегка прихрамывая — у него была прострелена левая нога,— торопливо переходил мостовую. Николай догнал его.

— Ты это куда с корзиной?

— В больницу, к жене.

— Больна, что ли?

— Третий месяц уже.

Они подошли к трамвайной остановке. Николай поговорил о жене и ребенке, потом спросил:

— Скажи, а что это за разговоры насчет Никольцева? Он что, действительно уходит от нас?

— А ну их всех...— раздраженно сказал Хохряков.— С трамваями вместе. Опять передачу не примут. Шестой час уже.

Николай удивленно посмотрел на Хохрякова — он таким его никогда не видел. Тот, по-видимому, почувствовал какую-то неловкость. Перехватив корзину в левую

руку — трамвай, сплошь обвешанный людьми, появился уже из-за угла,— сказал, точно оправдываясь:

— Ничего не успеваешь за день. Как белка в колесе.— И уже из трамвая, из-за чьих-то спин, крикнул: — Вечером в партбюро буду, заходи.

А часа через два, на семинаре по марксизму, Левка Хорол сообщил Николаю:

— А ты, кажется, прав. Чекмень-то твой целый день сегодня с каким-то типом возился. С низеньким таким, в очках. Заходил в лабораторию стройматериалов, осматривал там все. Очевидно, на место старика.

— А тому известно?

Левка пожал плечами:

— Вероятно.

Сидевший впереди Быстриков, всегда все знавший раньше всех, повернулся и подмигнул хитрым голубым глазом.

— Точно. Старика побоку. Молодым кадром заменяют.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю,— загадочно улыбнулся Быстриков и отвернулся.

После семинара Николай зашел в партбюро.

Хохряков, стоя у шкафа, складывал какие-то бумаги. Увидев Николая, кивнул головой: заходи, мол.

Хохрякову было уже сильно за тридцать. В институт он поступил, когда тот находился в эвакуации, прямо из госпиталя. Сейчас учился на третьем курсе. Это был на редкость спокойный (поэтому-то Николай и удивился сегодняшней его раздражительности), сильно окающий волжанин, с большими, как у Чапаева, усами и серьезными, немного утомленными глазами. Разговаривая, он всегда тер пальцами нос или лоб и, глядя куда-то в сторону, очень внимательно слушал. На лоснящемся от ветхости пиджаке его, над левым кармашком, приколот был орден Красного Знамени, полученный еще за Халхин-Гол. Других орденов он не носил, хотя имел их, кажется, не один.

Николай сел на стоящий в углу несгораемый ящик — стульев в комнате не было, унесли на какое-то собрание и, как обычно, не принесли обратно.

— Что это за тип с Чекменем ходит? — спросил он.— В очках, лысый. На место Никольцева, да?

— А почему это всех вас так интересует? — вопросом на вопрос ответил Хохряков, продолжая рыться в шкафу.

— Кого — вас?

— Ну, тебя.

— Потому, что в институте упорно говорят, что старика убирают, поэтому и интересуюсь.

— Никто никого не убирает. Разговоры.

Хохряков вынул из шкафа папку и положил ее на стол.

— А что это за человек? — спросил Николай.

— Какой человек?

— Который с Чекменем все ходит? Ты его знаешь?

— Ну знаю. Супрун его фамилия, доцент. Чекмень его очень хвалит.

Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула бритая голова Кагальницкого, председателя профкома.

— Напоминаю о чехословаках, Хохряков.

— Помню, помню. Завтра?

— Завтра, в четыре часа. Не забудь.

Бритая голова исчезла. Хохряков посмотрел на Николая.

— Тебе тоже надо будет. Чехословацкие студенты приезжают. Надень ордена и тому подобное.

— Это зачем?

— Да так уж, для парада. Чтоб видели, кто у нас учится.

— У меня лекции.

— Лекции в четыре кончаются. А они после четырех придут.

Николай ничего не ответил. Хохряков складывал какие-то бумаги в папку.

— Ну, так как же? — спросил Николай.

— Это полчаса займет, не больше. От тебя требуется надеть ордена и побриться. И ребятам скажи. А то ходят, как обезьяны.

— Нет, я не об этом. Я о Никольцеве.

Хохряков сел, вздохнул, почесал пальцем нос.

— Ну, что Никольцев? Хороший старик Никольцев, знаю...

Николай молчал. Хохряков опять вздохнул.

— Но все вы забываете, что ему все-таки семьдесят лет.

— Иными словами...

— Иными словами...— Хохряков опять почесал нос.— Трудно ему все-таки. И кафедра и лекции. Семьдесят лет все-таки, не двадцать.

— Иными словами, старика убрать, а на его место этого очкастого.

— Почему? Старик будет по-прежнему читать лекции, а на кафедру... Ты сам понимаешь, трудно ему и то и другое...

— А с ним говорили?

— Чекмень, кажется, говорил.

— Кажется, кажется... Ничего он не говорил.

Николай почувствовал, что начинает раздражаться. Ну чего он мнется? Нос чешет, перебирает бумаги.

— Ничего он не говорил. Ручаюсь тебе! Хочешь, давай сходим к нему?

Николай встал. Хохряков глянул на часы.

— Сейчас не могу. У меня в девять бюро райкома.

— Вот всегда у вас так. Обязательно что-нибудь должно помешать.

Николай посмотрел на Хохрякова. У того был очень усталый вид — худой, осунувшийся, под глазами мешки.

— Ладно,— сказал Хохряков, вставая.— Поговорим. Вот в четверг бюро будет, тогда и поговорим.— Он опять посмотрел на часы.— А теперь, прости, мне надо еще протоколы и ведомости проверить. Мизин такого там наворачивает...

5

Бюро назначено было на шесть, но Чекмень опоздал. Минут двадцать все сидели, разговаривая преимущественно о погоде: зима, мол, закругляется, и если пойдет так дальше, то чего доброго через недельку можно будет уже и без пальто ходить.

Громобой, тоже вызванный на бюро — у него появились двойки,— сидел мрачный у окна и курил. Из членов бюро, кроме Хохрякова, за столом сидели Мизин, ассистент Никольцева Духанин и заместитель секретаря Гнедаш — бледный, с тонкими, совершенно бесцветными губами. На заседаниях он всегда сгибал и разгибал какую-нибудь проволочку или рвал лежавшую перед ним бумажку на мелкие клочки.

Потом прибежал запыхавшийся Левка Хорол, как всегда расстегнутый, красный, в сдвинутой на затылок кепке. На его присутствии, как комсорга группы и кандидата партии, настоял Николай, хотя сам Левка этого совсем не требовал.

— Ну на кой дьявол я там нужен? Без меня, что ли, не обойдутся? Затеял ты эту канитель, ну и ходи, а я тут при чем?

И стал вдруг доказывать, что вообще все это дело яйца выеденного не стоит. Он, мол, хорошо знает профессорскую среду, всегда они чем-то недовольны и на что-нибудь обижаются.

По этому поводу они с Николаем вроде как даже поссорились, и сейчас, придя на собрание, Левка прошел мимо него, сел в угол и, не глядя ни на кого, принялся листать журналы.

В половине седьмого пришел Чекмень.

— Прошу простить за опоздание,— весело, как всегда, сказал он, здороваясь за руку со всеми.— Ованесов задержал. Болтли́в все-таки невероятно.— Он посмотрел на окно.— Может, откроем? Денек сегодня — май просто...

Но окно оказалось замазанным, и он просто скинул пиджак и повесил его на спинку стула.

— Ну что ж, начнем, пожалуй?

— Начнем.— Хохряков зашелестел бумагами.— Мизин, веди протокол.

Николай взял папироску, протянутую ему через плечо Громобоем, и стал слушать.

Все шло, как и положено на любом собрании, обсуждающем повседневные, очередные дела. Кто-то говорит, остальные слушают, что-то рисуют, записывают; председатель время от времени постукивает карандашом по столу, чтоб не шумели.

Говорил Чекмень. Опершись коленом о стул и держась рукой за его спинку, он говорил, как всегда, легко и свободно, весело оглядываясь по сторонам, точно в кругу своих друзей. Вряд ли он может сообщить что-нибудь новое по сравнению с тем, что он говорил на собрании. Пока еще никаких окончательных решений не принято, еще все находится в подготовительной стадии, в стадии переговоров. Тем не менее, поскольку бюро пожелало выслушать его информацию, да и — чего греха таить! — в институте и так уже слишком много говорят, он скажет то, что ему известно.

Он улыбнулся и заговорил о том, что профессора Никольцева все хорошо знают, что он крупный специалист, человек с большими знаниями, воспитавший не одно поколение инженеров, и вряд ли найдется в институте кто-нибудь, кто так ценил и уважал бы Константина Николаевича, как сам Чекмень...

Тут он сделал небольшую паузу.

— Но есть одно маленькое «но». Противное маленькое «но», с которым всем нам раньше или позже придется столкнуться.

Он заговорил о том, что Константину Николаевичу, к сожалению, не тридцать и не сорок лет, а целых семьдесят, если не больше, и, что там ни говори, это, конечно, чувствуется. Сколько бы старик ни молодился,— а этот грешок за ним есть,— ему все-таки трудновато. И незачем закрывать на это глаза. Нет-нет да и напутает что-нибудь в плане, часто допускает неточности в своей работе, не всегда умеет уловить потребности жизни. А жизнь не стоит на месте, жизнь движется вперед.

— Константин Николаевич прекрасно знает предмет...— негромко перебил Духанин, подняв голову. Он сидел рядом с Николаем и сосредоточенно чистил бритвенным ножичком какое-то пятно на брюках.

— Знаю, знаю, Всеволод Андреевич.— Чекмень рассмеялся.— Кто же этого не знает? Но согласитесь сами: знание предмета и умение руководить — вещи все-таки различные. И если первого у Никольцева никто не отнимает — что есть, то есть,— то второе у него — ну, скажем так — не всегда получается. Короче, товарищи, чтоб вас не задерживать, я просто задам вам один вопрос: имеем ли мы право взваливать на плечи одного, притом, мягко выражаясь, пожилого, человека непосильное для него сейчас бремя, и не правильнее ли будет от какой-то части этой нагрузки его освободить, переложив ее на более молодые плечи?

Николай подумал: «Что ж, как будто и верно; вероятно, действительно трудно и тем и другим заниматься...»

— Вы кончили? — спросил Хохряков.

— Кончил.

Мизин, писавший протокол, спросил:

— А кто эти молодые плечи?

— Молодые плечи — это Супрун Александр Георгиевич. Хохряков знает, я его знакомил с ним.

Кто-то из членов бюро спросил, знает ли Чекмень лично этого самого Супруна. Чекмень ответил, что знает, вместе с ним воевал, что человек он толковый, энергичный, напористый, дело знает. Потом задали еще несколько малозначащих вопросов. Чекмень ответил. Мизин старательно все записывал; он умудрился уже заполнить три тетрадные страницы и вопросительно оглядывался, не задаст ли еще

кто-нибудь вопроса. Духанин оторвался от чистки своих брюк и спросил:

— А с Константином Николаевичем вы говорили об этом?

— О таких вещах обычно говорят, когда уже принято определенное решение.

— Значит, оно еще не принято?

— Насколько мне известно, решение принимает не декан, а директор. Это уж его прерогатива. Мне пока ничего не известно.

Духанин опять принялся за свои брюки.

— Ну что, будут еще вопросы? — спросил Хохряков.— Или все ясно?

Николай поднял руку. Хохряков кивнул головой.

— У меня к тебе два вопроса, Алексей Иванович,— сказал Николай, вставая.— Не можешь ли ты сказать, какие именно неточности и погрешности допускает Никольцев в своих планах, и что ты имел в виду, когда говорил, что он там чего-то не улавливает в жизни?

— Совершенно верно,— кивнул головой Чекмень.— Не всегда может уловить потребности жизни.

— Это первый вопрос. И второй: нормально ли, по-твоему, то, что до сегодняшнего дня об этом деле знает весь институт и не знает один только Никольцев?

— Что ж, могу ответить.— Чекмень встал.— На второй вопрос я ответил, по-моему, достаточно ясно, а на первый... Видишь ли, если говорить уж начистоту, то дело, конечно, не в этих погрешностях и неточностях в планах. Дело в другом.— Он слегка поморщился, как это делают всегда, когда говорят о том, о чем говорить не хочется.— Я знаю, что мне сейчас скажут. Скажут, что студенты, мол, любят старика, что он пользуется у них авторитетом и что нельзя, мол, его обижать, пусть уж дотягивает до конца. Ведь ты об этом думал, Митясов?

Николай кивнул головой.

— Так вот что я могу ответить на это,— продолжал Чекмень.— Авторитет и любовь — вещи, бесспорно, хорошие, но — давайте говорить прямо — важно еще и другое. Важно, какими путями этой любви и авторитета добиваются. Мы с вами, товарищи, не в игрушки сейчас играем. Мы заняты работой. И нелегкой работой. Не за горами конец года. Через каких-нибудь два месяца, даже меньше,— экзаменационная сессия. Одним словом, работы по горло, успевай только. И особенно тебе, Митясов, это должно

быть понятно. Последнюю работу по химии еле-еле на тройку вытянул. Да и с «Основами марксизма» могло быть получше.

Николай отвел глаза. Чекмень выдержал паузу, потом продолжал:

— Одним словом, на всякого рода развлечения и шуточки у нас времени не хватает. Надо нажимать, нажимать вовсю. И вот это-то, к сожалению, не всегда доходит до сознания нашего уважаемого Константина Николаевича. Старик стал болтлив. К сожалению, это так. Говорят, болтливость — удел всех стариков. Возможно. Но когда она начинает переходить определенные границы, это, знаете ли, уже...— Чекмень развел руками, будто не находя подходящего слова.— Ну, скажите мне сами: к чему эти бесконечные паломничества к нему на квартиру? Сейчас, когда так дорога каждая минута. К чему все это? — Чекмень недоумевающе пожал плечами.— Старик ищет популярности у студентов. Ставит направо и налево четверки и пятерки, либеральничает, затаскивает людей к себе, угощает чайком с печеньем. Засоряет головы студентов всякой ерундой. А на это у нас нет ни времени, ни охоты. Одним словом, товарищи,— Чекмень заговорил совсем серьезно,— при всем уважении к профессору Никольцеву мы вынуждены сейчас отказаться от его услуг как заведующего кафедрой. Как руководитель он сейчас не годится. Это ясно. Нужен сейчас человек более энергичный, волевой, напористый, скажем прямо — с перспективами на будущее, а не в прошлое. Мы не собираемся отстранять его совсем, какие-то часы консультаций у него останутся, но... — Чекмень опять развел руками.— Мне кажется, все достаточно понятно.

Он сел на свой стул и, как всякий человек, привыкший часто выступать, посмотрел на часы. Он говорил недолго — минут семь-восемь, не больше.

Несколько секунд все молчали. Гнедаш сгребал ладонью клочки разорванной бумаги и делал из них маленький холмик. Мизин все писал и писал протокол.

И тут вдруг заговорил Левка Хорол. С того самого момента, как Чекмень упомянул о паломничестве студентов к Никольцеву, он отложил журнал в сторону, вытащил папиросу, закурил, потом стал грызть ноготь — первый признак беспокойства.

— Можно мне? — глухо спросил он, вставая и подходя к столу.

Краска сошла с его лица,— он был бледен, сосредоточен, от этого казался старше.

— Простите меня, товарищи, но я не понимаю, что сейчас происходит,— негромко, сдержанно начал Левка, глядя поочередно то на Хохрякова, то на Чекменя.— О чем в конце концов идет речь? О том, что профессору Никольцеву трудно в его возрасте руководить кафедрой, или о том, что он разлагает молодежь? Простите, Алексей Иванович, но я именно так вас понял. И вообще, какое отношение к заведыванию кафедрой имеет хождение студентов к Никольцеву на дом? И почему это хождение рассматривается как некий криминал?

Громобой, пересевший поближе к Николаю, задышал ему в ухо:

— Что это — криминал?

— Молчи — потом.

Левка посмотрел на Громобоя — тот улыбнулся и закрыл рот рукой,— потом перевел взгляд на Чекменя и, глядя ему прямо в глаза, продолжал:

— Вот вы говорили про чаек с печеньем. С какой-то брезгливостью говорили. Зачем? Зачем вы об этом говорили? При чем тут чай с печеньем? Сначала вы упоминаете о каких-то погрешностях в планах, потом о неумении идти в ногу с жизнью — это все-таки какие-то доказанные или недоказанные, но, во всяком случае; обвинения,— и вдруг все упирается в чай.— Он огляделся по сторонам — Вы что-нибудь понимаете, товарищи? Я — ничего.

Все молчали. Чекмень иронически улыбнулся

— Да! Еще одна деталь. Весьма любопытная деталь. Что значит, что за Никольцевым останутся какие-то часы консультаций. А лекции? Вы, значит, его и с лекций собираетесь снять? А кто их читать будет? Супрун? Все тот же Супрун, напористый и энергичный, о котором вам, очевидно, больше нечего и сказать. А мы ведь не футбольную команду подбираем.

Он посмотрел на Чекменя, и в светло-голубых, обычно веселых глазах Хорола появилось выражение, которого Николай до сих пор никогда у него не замечал — пренебрежительно-брезгливое.

— И неужели вам не стыдно, Алексей Иванович? Неужели вы не испытываете неловкости, когда обо всем этом говорите? Трудно даже поверить.

Он кончил как-то неожиданно, на полуслове, провел

рукой по торчавшим во все стороны волосам и вдруг направился к своему месту.

Чекмень улыбнулся. Он сидел на стуле, свободно перекинув руку через спинку. Хохряков вопросительно взглянул на него, но Чекмень только кивнул головой и повел бровями, что должно было обозначать, что, когда все выступят, он скажет свое слово. Хохряков посмотрел на Николая.

— Ты?

Николай встал. Как ему казалось, говорил он очень плохо. Почему-то волновался, не находил нужных слов, перескакивал с одного на другое, и все это слишком громко, возбужденно. В двух или трех местах запнулся. В основном он пытался объяснить, почему студенты любят Никольцева. Говорил о том внимании и интересе, с которым студенты слушают его, об умении его к концу лекции все сжато суммировать, облегчая составление конспекта. Говорил — и понимал, что все это не то, что надо о чем-то другом, а другое не получалось.

Чекмень спокойно слушал, изредка иронически поглядывая на Николая.

Потом выступил Духанин. Высокий, нескладный, в узкоплечем пиджаке, измазанном мелом, он говорил сдержанно, не полемизируя с Чекменем, давая оценку Никольцеву как своему руководителю. О «чае с печеньем» тоже упомянул, сказав, что не видит в этом ничего дурного: «Почему студентам и не провести вечер у старика и не послушать его рассказов? Видел он много и рассказать об этом умеет».

Когда он кончил и, неловко цепляясь за стулья, вернулся на свое место, поднялся Чекмень.

— За какие-нибудь двадцать минут слово «чай» было повторено по крайней мере раз десять,— поправляя часы на руке, начал он.— Согласен с вами, дело, конечно, не в этом напитке. И когда я говорил о нем, я говорил, конечно, фигурально. Меня не поняли. Придется, очевидно, поставить точки над «i». Об этом не хотелось говорить, но, видимо, придется. Товарищ Хорол,— он сделал легкий поклон в его сторону,— очень темпераментно здесь выступил, обвиняя меня в нелогичности, в каком-то, очевидно, передергивании, озлобленности. Одним словом, не декан, а зверь. Нет, товарищ Хорол, я не зверь, а именно декан. И, как декан и как коммунист, отвечаю за студентов. Целиком отвечаю. И вот когда эти самые студенты, люди молодые, во многом

еще не устоявшиеся, проводят целые вечера у человека, который... Не будем закрывать глаза — мы знаем профессора Никольцева как хорошего специалиста, но грош цена этому специалисту, если он не умеет строго, по-деловому подойти к студенту. Бесконечные пятерки Никольцева только разбалтывают людей, отбивают у них охоту заниматься, рождают недоучек. А то, что вместо знаний преподносит он им у себя дома, все это — ну, как бы сказать точнее... Человек все-таки — вы все это прекрасно знаете — два с половиной года провел в оккупации. Два с половиной года! Говорят, что он, мол, отказался от какой-то должности, которую ему предлагали в Стройуправлении. Может, это и верно. Но почему он отказался? Кто это знает? Кто может об этом рассказать? Люди, остававшиеся при немцах? Простите меня, но я таким людям не верю. А на какие средства он жил? Говорят, продавал книги? Простите меня, но я и этому не верю. На одних книжечках два с половиной года не проживешь. Да еще в таком возрасте. И вообще...— В голосе Чекменя послышалась вдруг резкая, несвойственная ему интонация.— И вообще, чтоб прекратить этот затянувшийся, бессмысленный спор, должен вам сказать...

Но сказать ему не удалось. Громобой вдруг поднялся и, упершись руками в спинку стула, перегнувшись через нее, весь красный, с надувшимися на шее жилами, не сказал, а выпалил:

— Старика прогнать хотите? Да?

Хохряков стукнул кулаком по столу.

— Громобой, Громобой! Спятил, что ли?

— Не спятил, а... Пусть только попробует старика убрать. Пусть только...— Он хотел еще что-то сказать, но подходящих слов не нашел. Покраснел еще больше и сел на свое место.

6

Весь вечер в «башне» только и разговора было, что о бюро. Громобой, красный и возбужденный, расхаживал в тесном пространстве между четырьмя койками и столом, грозился расправиться с Чекменем («по-нашему, по-ростовски, чтоб охоту отбить»), порывался куда-то идти. Николай сначала слушал, потом разозлился и прикрикнул на него. Громобой обиделся, надулся, лег на кровать и мгновенно

заснул. Левка прикрыл его одеялом. В противоположность Громобою, он не так возмущался Чекменем, как Хохряковым.

— Чекмень — понятно,— говорил он, стоя в пальто и шапке в дверях и все не уходя.— Он корешка своего устраивает. И вообще у него что-то там, кажется, с Никольцевым из-за кафедры произошло...

— Ну, это со слов Быстрикова,— перебил Николай. — Источник не слишком верный.

— Ну и бог с ним, я не о нем сейчас, я о Хохрякове. Вот кто меня удивляет. Секретарь бюро называется!.. На его глазах обливают грязью человека, а он, вместо того чтобы встать и стукнуть кулаком по столу, сидит и рисует что-то на бумажке. А потом унылым голосом заявляет, что Чекмень, мол, дал не совсем правильную оценку Никольцеву. Не совсем...

Антон, завернувшись в одеяло (знаменитый его обогревательный прибор из канализационной трубы вдруг вышел из строя), сидел на кровати и, как человек мирный, больше всего в жизни ненавидевший скандалы, только сокрушался, глядя на всех своими печальными, всегда немного удивленными глазами.

— Кому все это нужно? Неужели нельзя жить мирно, дружно? Кончилась война, а тут, пожалуйста, между собой грызню заводят. Непонятные люди...

Витька Мальков в споре не принимал участия. Человек он был флегматичный, в высшей степени трезвый и на вещи смотрел с чисто философским спокойствием.

— И охота вам нервы портить,— говорил он, заворачивая остаток сала в бумагу.— Первый час уже. А завтра контрольная. Тушите свет. Хватит!

Свет в конце концов потушили. Легли спать.

Николай долго еще ворочался. Даже сейчас, после всего, что произошло на бюро, он пытался найти какое-то оправдание Алексею. Ведь, что ни говори, он знает его лучше, чем другие. Алексей упрям, не переносит, когда ему перечат, в пылу спора может брякнуть лишнее, но чтобы он был способен на подлость... И из-за чего? Из-за того, что, по словам этого трепача Быстрикова, старик отказался принять его к себе на кафедру? Чепуха! На Никольцева это, правда, похоже, старик упрям, как пень. Но чтоб Алексей из-за этого стал обливать его грязью — не может быть! Этот Быстриков всегда все раньше и лучше других знает...

Но тут же всплывали в памяти последние слова Алексея, грубые, резкие и, если уж говорить то, что есть, смахивающие просто на ложный донос. «На одних книжечках два с половиной года не проживешь». Что ж, Никольцев в гестапо служил? Это он хотел сказать? И неужели он сам этому верит? Ведь все знают, что старик при немцах чуть не умер с голоду — последние месяцы пластом лежал, об этом и Степан, институтский сторож, рассказывал,— но работать к немцам не пошел. И вообще, почему все приняло такой нелепый оборот? Не из-за Левки же! Левка правильно говорил. Ерунда какая-то...

После лекции Николай зашел к Алексею.

Тот стоял над своим столом в накинутой на плечи шинели — очевидно, собирался уже уходить,— складывал какие-то бумаги в папку. Увидев Николая, мрачно посмотрел на него.

— Хорошо, что пришел. Поговорить надо.

— Для того и пришел,— так же мрачно ответил Николай.

Алексей старательно завязывал шнурки папки.

— Ты можешь мне объяснить вчерашнее твое поведение? — спросил он, не глядя.

— А ты свое — можешь? — в тон ему спросил Николай.

— Могу.

Алексей сунул папку в ящик, щелкнул замком и подошел к Николаю.

— Могу! А вот ты — не знаю. Все-таки можно было догадаться, что когда выступает член бюро, то делает он это не только за свой страх и риск. И если выступает, то, очевидно, перед этим все-таки кое с кем проконсультировался, поговорил. Неужели это так трудно понять?

— Очевидно, трудно,— сказал Николай.

— Я думал, ты умнее.

— Как видишь, нет.

Алексей вдруг рассмеялся.

— Ох, Николай, Николай!.. Смешной ты все-таки парень. Иногда вот смотрю я на тебя — жаль, что редко теперь видимся,— и думаю: парень как парень, а чего-то в тебе не хватает.

— Ума, очевидно. Сам сказал.

— Нет, не ума. Перень ты неглупый. А чего-то вот нет. Сам не пойму чего. Жизнь прожил нелегкую, воевал,— что к чему как будто должен знать. А вот...

Он, точно оценивая Николая, прищурил один глаз и посмотрел на него. Тот молча сидел на подоконнике и внимательно разглядывал кончик папиросы.

— Вот заступаетесь вы за старика. Похвально, ничего не скажешь. Со стороны смотреть, даже приятно. Старика, видите ли, обижают, а мы вот его в обиду не даем. Вот мы какие! А спросить вас, для чего вы это делаете, вы толком и не ответите. Ну, я понимаю еще, Хорол, интеллигентский сынок. Тянется к профессорам. Кастовое, так сказать. Но ты — простой парень, фронтовик... Погоди, погоди, не перебивай!

Алексей присел к Николаю на подоконник, поставил ногу на стул.

— Ну, посуди сам. Старику семьдесят лет. Многого он не понимает, что поделаешь? Девятнадцатый век... Иногда такое ляпнет на совете, что мы только переглядываемся. Говоришь ему: нельзя, Константин Николаевич, двоек не ставить, за это нас тягают. А он только брови поднимает: люди, мол, только с фронта пришли, нельзя их сразу же и резать. И упрется, как бык, с места не сдвинешь.

— Все это я прекрасно понимаю,— сказал Николай, поднимая голову.— Но если уж...

— Нет, не понимаешь. Не понимаешь самого простого. Сел бы на мое место и сразу понял бы. Самые элементарные вещи до старика просто не доходят. Отстал от жизни по меньшей мере на пятьдесят лет, если не на все сто. Забывает, что сейчас все-таки сорок шестой год, а не какой-нибудь там шестьдесят шестой прошлого века — Алексей хлопнул Николая по коленке, словно ставя точку.— Так что напрасно вы, друзья, в бутылку лезете. Поверь мне, в этих вопросах нам все-таки кое-что виднее, чем вам.

Николай рассеянно смотрел в окно. Казалось, его больше всего интересуют сейчас гонявшиеся друг за другом по улице мальчишки.

— Хорошо, — сказал он наконец, повернувшись.— Допустим, что так. Ответь мне тогда на такой вопрос. Правда или нет, что Никольцев отказался принять тебя к себе на кафедру?

Алексей соскочил с подоконника, сунул руки в карманы шинели. Рассмеялся неестественным, деревянным смехом, каким смеются, когда смеяться совсем не хочется.

— Понятно... Нашли уже, значит, причину. Ну что ж, пусть будет так...

Он подошел к столу, поискал ключ, один за другим запер все ящики, проверил их, снял с вешалки свою ушанку.

— Ну, а ты как? — сказал он, подходя к Николаю.— Рад уже? Развесил уши?

Николай смотрел куда-то мимо него.

— Нет, не рад, Алексей. Совсем не рад.

— Чему не рад? Ну вот скажи мне, чему не рад? — Алексей стоял,засунув руки в карманы шинели и позванивая ключами.— Тому, что мы хотим укрепить наш институт? Этому ты не рад? Тому, что из армии наконец возвращаются люди — настоящие, крепкие, наши люди, люди, на которых можно опереться, люди, которым мы верим. Верим потому, что рядом с ними воевали, за одно воевали. Этому ты не рад? Что ж, твое дело, а мы будем драться за них. И если надо, пожертвуем даже никольцевыми, несмотря на все их знания и прочие там заслуги. Пожертвуем, потому что самое важное для нас сейчас — это сделать побольше инженеров,— из вас сделать, из тебя. И сделаем, поверь мне. Только делать будем своими руками. Не чужими, а своими, понял?

Алексей большими шагами ходил по комнате, задевая шинелью какие-то лежащие на столе чертежи, роняя их на пол, но не обращая на это внимания.

— И то, что ты сейчас защищаешь Никольцева, хочешь ты этого или не хочешь, но этим ты только оказываешь нам медвежью услугу. Неужели ты этого не видишь? Удивляюсь, честное слово, удивляюсь! Ведь он не наш человек, пойми ты это, не наш!

Алексей остановился вдруг перед Николаем — тот все еще сидел на подоконнике,— несколько секунд молча глядел на него, потом сказал с легкой усмешкой:

— Ты думаешь, я не понял, почему ты о кафедре заговорил? Не пускает, мол, туда, вот я и мщу ему за это. Так ведь? Думаешь, я не понял, к чему это? Все понял. И, если хочешь знать, плевал на это. Чего надо, я добьюсь, поверь мне! Но раз уж заговорили, так давай говорить. Ведь не пускает же, факт. Окопался на своей кафедре и сидит, как медведь в берлоге.

— А Духанин? Как-никак он все-таки член бюро.

Алексей только рукой махнул.

— Член бюро... Горе он наше, а не член бюро. И как его только выбрали? Черт его знает. Судак вяленый. Погряз с потрохами в своей лаборатории, клещами не выта-

щишь. Потому его Никольцев и терпит. Ученый, видите ли! Сидит сутками над иглой Вика и растворами. И никуда носа не сует. А мы суем. Вот в чем загвоздка. Мы таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их, мы им чужие. Понимаешь — чужие...

— Кто это мы? — тихо спросил Николай.

— Мы? — Алексей, сощурившись, посмотрел на него.— Мы, это мы, советские люди.

Николай поднял голову и посмотрел Алексею в глаза.

— А они, значит, не советские? Так, по-твоему? И поэтому их надо поливать помоями?

Алексей резким движением запахнул шинель и прошел к двери.

— Знаешь что? Если ты уж действительно так глуп, то говорить мне с тобой не о чем. Уходи!

Глаза его стали совсем маленькими, колючими. Лицо покраснело.

— И вообще можешь меня не учить. Обойдусь как-нибудь и без тебя. Лучше своих болтунов поучил бы, как на бюро себя держать. Того истерика давно уже пора гнать из института. И держим-то только из-за тебя. Чтоб не срамить тебя и твою группу. Думаешь, я не знаю, что у него там с физиком произошло? Все знаю. Тоже герой нашелся. Защитник угнетенных.

Николай молча, не мигая, смотрел на Алексея. Потом сказал очень тихо:

— Я не о нем говорю... Я о Никольцеве.

— А при чем тут ты в конце концов?

Алексей стоял красный, в расстегнутой шинели, в сдвинутой набок ушанке.

— А при том, что я коммунист и был на бюро и слыхал, что ты там говорил,— делая ударение на каждом слове, сказал Николай.

— Что? Ну, что говорил?

— Ты лучше меня знаешь. Про оккупацию, про чай с печеньем. Зачем?

— А что, неправда? Не проторчал он три года в оккупации? Как миленький просидел. И черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки продавал! Знаем мы эти книжечки. Статейки в газетах их сволочных небось пописывали, большевиков ругали, а потом, как наши стали приближаться, сразу вот такие вдруг оказались борцами за советскую власть. Врут они все! Все, кто в оккупации был...

— И Шура была. И Черевичный был. Они, по-твоему, тоже врут?

— Это какой же Черевичный? Припадочный твой, долговязый? — Алексей рассмеялся.— Не лучше других, поверь мне. И обморокам его не верю. Липа все. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдавались. Те, кто хотел...

Докончить ему не удалось. Николай соскочил с подоконника, схватил Алексея за грудь, за гимнастерку, рывком потянул к себе и с размаху ударил его по щеке — раз и два...

7

Когда Николая спрашивали, что он собирается сейчас предпринять, он отвечал:

— Ничего.

— То есть как это ничего?

— А вот так, ничего.

— И в райком не ходил?

— Не ходил.

— Странный ты человек. Что за пассивность?

— Пассивность или не пассивность, а ходить никуда не буду.

Спрашивающий пожимал плечами и отходил. Человека собираются исключать из партии, а он ходит себе по-прежнему в институт, готовится к лекциям. Чудак человек!

Громобой из-за этого даже разругался с Николаем, а Левка сказал, что если Николай не пойдет в партком, то он сам отправится к Курочкину и поговорит с ним обо всем. Даже тихий, мирный Антон удивлялся:

— Не понимаю я тебя, ей-богу, не понимаю.

Николай отмалчивался. Ему не хотелось спорить.

Внешне он был совершенно спокоен. В перерывах между лекциями разговаривал о стипендии, о Софочке, о первых троллейбусах, пошедших по городу, даже о Никольцеве, о котором рассказывали, что он подал заявление об уходе и по одной версии директор его подписал, а по другой — отказался. Но это не было спокойствием. Не было даже той внешней сдержанностью, которой пытаются часто скрыть горечь, или обиду, или злость. Это нельзя было назвать ни горечью, ни обидой, ни злостью. Ничего этого не было. Было что-то другое. Что-то более всего похожее на то, что

ощущает человек, когда его ранят. Николай, например, когда его подстрелили в Люблине, не испытывал ни боли, ни страха, ни даже слабости (он сам дошел до медсанбата, находившегося в пяти километрах от города), просто было чувство какого-то недоумения. Вот была рука, и нет ее — висит как плеть. Даже пальцами не пошевельнешь. Так вот и сейчас.

Впрочем, не совсем так...

Когда на партбюро, созванном по настоянию Чекменя в тот же день, через час после всего случившегося, Николая спросили, осуждает ли он свой поступок, он сказал: «Нет». И сказал это после того, как Хохряков, отведя его перед бюро в сторону, посоветовал осудить свой поступок и извиниться перед Чекменем. Ребята потом говорили Николаю, что он вел себя неправильно, что в конце концов хотя Чекмень и получил по заслугам (Николай в подробности не вдавался, сказал, что ударил за Никольцева, и все), но лицо он все-таки официальное, декан, член бюро, и настаивать на том, что именно так надо было поступить, просто глупо. Но разве Николай настаивал? Просто не осудил. Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо.

И вот именно в этом «дал и дал, так ему, мерзавцу, и надо» заключалось отличие от ощущений после ранения, если уж продолжать эту параллель. Там он совершенно точно знал, что поступил опрометчиво: незачем было перебегать площадь, когда на чердаках сидят автоматчики. Поступил глупо, по-мальчишески. А сейчас? Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо. Николай не испытывал никакого раскаяния.

Это было первой, непосредственной реакцией. Потом все пошло вглубь.

Ну хорошо, думал Николай, допустим, он виноват. Даже не допустим, а действительно виноват. Он ударил человека и за это должен понести наказание. Какое — другой вопрос, должен, и все. Но почему же, черт возьми, никто на бюро не поинтересовался, за что он ударил Чекменя? Сам он не мог об этом говорить. Не мог и не хотел. Свидетелей при их разговоре не было, доказательств того, о чем они говорили, тоже нет, поэтому он и говорить об этом не будет. Пусть Чекмень расскажет, если ему не стыдно. Так он и сказал на бюро. Но Чекмень промолчал. Сидел в углу и молчал. Духанин, правда, попытался что-то спросить, но Гнедаш его сразу обрезал: «Что и отчего, нас сейчас не

интересует. Речь идет о хулиганском, безобразном поступке, несовместимом с высоким званием члена партии. Вот об этом и будем говорить». Бельчиков и Мизин его поддержали. Хохряков тоже выступил против, хотя потом, когда голосовалось предложение Гнедаша — исключить из партии, не поддержал его, а голосовал за строгий выговор с предупреждением. Духанин тоже был за выговор. Чекмень в голосовании участия не принимал.

Потом, после бюро, Хохряков подошел к Николаю.

— Сходил бы ты все-таки в партком к Курочкину, поговорил бы... Видишь, как дело повернулось. Нехорошо повернулось.

— Больше, чем на бюро, не скажу. Пусть собрание решает.

Ребята за это тоже на него злятся. Уперся, мол, гордость свою показывает. Чудаки! А при чем тут гордость? Никакой гордости нет. Захочет Курочкин — вызовет, а раз не вызывает — что ходить.

На следующий день совершенно неожиданно подошла к нему в коридоре Валя. С таким же лицом, какое у нее было на балконе в последний раз, спокойно сказала:

— Я слыхала о том, что вчера было. Надеюсь, ты не будешь оправдываться?

— Не собираюсь,—ответил Николай и тут же спросил:— А если б стал?

— Это уж твое дело. Я бы не стала. Тебе не в чем оправдываться.

— То есть как не в чем? — Николай даже улыбнулся.— Ведь я, в некотором роде, все-таки...

Валя сердито на него посмотрела.

— Ничего смешного тут не вижу,— повернулась и пошла.

Вечером того же дня он опять встретил ее. При выходе из института. Но она прошла мимо, даже не посмотрев на него.

Партийное собрание, на котором должен был обсуждаться поступок Николая, назначено было сначала на четверг, а потом по каким-то причинам перенесено на пятницу.

В этот день Николай не пошел в институт. К десяти ему надо было на ВТЭК для очередного переосвидетельствования, а после ВТЭКа какие уж там занятия! Да и вообще захотелось побыть одному. Стала вдруг тяготить участливость товарищей. Трогала и в то же время тяготила. Левка

приглашал на какой-то вечер в педагогический институт, Антон прибил набойки к сапогам и попришивал все пуговицы на шинели, на что у Николая за зиму не нашлось времени. Даже Витька Мальков и тот вдруг стал угощать салом. О собрании все молчали, как сговорились. Один только Громобой подмигнет иногда и скажет:

— Да, брат, переиграл тебя Чекмень,— и вздохнет.

Николай и сам понимал это. Понимал, что всей этой историей он нисколько не помог Никольцеву, напротив — он отвел внимание на себя, на свой поступок, и теперь, вместо того чтоб нападать, вынужден сам держать ответ, ответ перед партсобранием...

В институте многие оборачиваются на Николая. Что и говорить, популярность не слишком соблазнительная. Николай с особой остротой почувствовал это сейчас, когда страсти несколько поулеглись и случившееся стало видно в какой-то перспективе. И то, что Курочкин, секретарь парткома, не вызвал его к себе, тоже тяготило. Ни Курочкин, ни директор, хотя в решении бюро есть пункт: «поставить вопрос перед дирекцией о возможности дальнейшего пребывания Митясова в институте». Но вот не вызывает... И хотя Николай по-прежнему своего решения ни к кому не ходить не менял, сейчас это уже было только упрямством.

Ребята, как всегда, к девяти ушли в институт. Николай до их ухода лежал, делая вид, что спит, хотя проснулся часов в шесть, когда было еще совсем темно. Никто его не будил, ходили на цыпочках, говорили шепотом. Потом ушли. Николай встал, сбегал за теплой водой, побрился. Потом подшил свежий подворотничок, начистил сапоги. Подсчитал деньги — на баню и стрижку хватит.

В бане повезло. Парилка работала, и Николай вместе с каким-то кряхтевшим от наслаждения стариком поддавали пару, а потом растирали друг другу спины. Старик похлопывал себя по животу и долго потом, красный как рак, сидел в раздевалке и вспоминал с таким же, как он, стариком банщиком в клеенчатом переднике, как банились в старину и почем было мясо, почем пуд овса.

После бани, посвежевший и немного расслабленный, Николай отправился на комиссию.

В поликлинике, как всегда на ВТЭКе, толпилось несметное количество народу. Слонялись по коридорам, курили, в который уже раз рассказывали друг другу, где кого ранило.

Только к двум часам Николай попал в кабинет. Старенький, подслеповатый врач-невропатолог, в белой шапочке и очках полумесяцем, заставил его несколько раз сжать и разжать кулак, пощупал кисти, потом бицепсы на обеих руках.

— Любопытно, даже травматической атрофии нет. Физкультурой, что ли, занимаетесь?

— Вроде как,— ответил Николай.

— Небольшой тендовагинит на правой кисти еще есть, но это пройдет.— И взглянул на Николая поверх очков.— Ничего не скажешь,— годен. Что ж, можете опять воевать, молодой человек. — Он улыбнулся.— Надеюсь только, что не скоро придется.

Николай тоже улыбнулся, подумал: «Не дальше, как сегодня вечером, придется»,—застегнул гимнастерку, ремень и вышел.

Стоял первый по-настоящему теплый весенний день, какие бывают на Украине в марте месяце,— ясный, ослепительно голубой, с веселыми ручейками вдоль тротуаров, первыми подснежниками и таким одуряющим воздухом, что в голову начинают лезть всякие глупые мысли и меньше всего хочется думать об институте и о всем с ним связанном.

Николай давно так не гулял — просто так, без дела. Нижняя часть бульвара Шевченко, против крытого рынка, обнесена забором. Возводится пьедестал для памятника Ленину. Николай подумал, что место не очень удачное: вот бы где-нибудь над Днепром, чтоб отовсюду видно было! Он пошел в сторону Днепра. Вдоль всей улицы разбирали завалы. Вокруг экскаватора — они недавно только появились — стояли толпы и смотрели. Николай тоже постоял. Потом смотрел, как устанавливают фонари. О них, об этих фонарях, очень высоких, на гранитных постаментах, много говорили в городе. Говорили, что каждый из них стоит не то двадцать, не то сто двадцать тысяч и что лучше б вместо них построили несколько домов. Но Николаю фонари понравились — сразу стало как-то похоже на улицу.

Горластый мальчишка в отцовской ушанке с примятым мехом на месте бывшей звездочки, надрываясь, предлагал всем крохотные букетики подснежников. Стоили они по рублю. Николай порылся в карманах и нашел сорок копеек.

— Ладно, берите...

Николай понюхал букетик. Пахло травой. Весна... Скоро лед тронется. И саперы будут его взрывать. И, как

в прошлом году, все будут прислушиваться к взрывам, и каждый что-нибудь скажет о войне. В прошлом году в это время она еще громыхала. Где-то в Польше, в Германии. А сейчас вот фонари ставят, натягивают троллейбусный провод, садовники ходят с кривыми ножницами на длинных палках и обрезают ветки на молоденьких липах. Их посадили прошлой осенью. Привезли в ящиках и посадили.

Весна...

А за весной лето. В июне экзамены. Потом практика, каникулы. Совсем недавно еще строили планы, как и где их проводить. Антон приглашал к себе — у него там домик, Донец недалеко; Левка соблазнял Кавказом, мешки за плечи — и куда глаза глядят. На прошлой неделе еще говорили...

Дойдя до площади Сталина, Николай пошел вверх, мимо Верховного Совета, Арсенала, по разрытой Никольской, где перекладывали трамвайные пути, потом повернул налево, вниз по тополевой аллее, к Аскольдовой могиле. Здесь пахло землей, древесной корой и еще чем-то, вероятно просто весной. Сквозь деревья белеет скованный льдом Днепр. Но по тропинкам на льду никто уже не ходит — запретили, видно.

Морячок в кургузом, в обтяжку, бушлате фотографирует девушку. Девушка облокотилась о гипсовую вазу, повернув голову в сторону: очевидно, считает, что в профиль она лучше. В руках у нее такой же, как у Николая, букетик подснежников. Волосы медно-рыжие, совсем как у Вали. Только Валя красивее — улыбкой, взглядом, черт его знает чем. Особенно когда смеется — раскраснеется вся, и волосы как будто ярче становятся. И в последний раз она тоже была красивая, хотя и не смеялась. Серьезная такая, брови сдвинула, и только чуть-чуть губы дрогнули, когда сказала: «Ничего смешного тут не вижу...»

Милая Валя... Милая, смешная Валя, сержант рыжий... Была б ты сейчас здесь! Сейчас, сегодня...

Морячок подошел к Николаю и попросил щелкнуть их вдвоем с девушкой. Показал, куда надо смотреть и где нажать. Потом отошел и ловко вскочил на вазу. Девушка у его ног. Николай щелкнул, морячок поблагодарил.

— А день-то какой, а? Всем дням день.

И улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, весенняя, такая же, как день.

Да, всем дням день. Солнечный, ясный, прозрачный. А вечером соберутся в физической аудитории,— в ней всегда проводят собрания,— и Мизин будет вести протокол, Гнедаш рвать бумажки, Бельчиков сумрачно на всех смотреть, а Хохряков...

8

Вчера у Николая произошел разговор с Хохряковым. Разговор довольно странный и неожиданный. Встретились они в коридоре поздно вечером. Все уже спали. Хохряков на корточках сидел возле «титана» и подбрасывал сырые щепки. Щепки шипели, трещали, горели плохо.

— Как жена? — спросил Николай.

— Ничего, спасибо,— ответил Хохряков, выгребая из поддувала золу.— Дома уж. Вчера перевез.

— Ну вот и хорошо,— сказал Николай и подсел.

Несколько минут оба молчали, глядя на огонь. Потом Хохряков спросил, не поворачивая головы:

— Так и не ходил к Курочкину?

— Нет.

— Напрасно. Он парень хороший.

Николай мрачно улыбнулся.

— Да, по-твоему, и Чекмень хороший.— И вдруг, глядя прямо на Хохрякова, спросил: — А чего вы все его боитесь?

— Боимся? Кто боится?

— Да все вы. И ты, и Гнедаш твой, и Мизин, и Бельчиков. Все боитесь. Смотреть стыдно было. На ваших глазах с человеком расправляются, а вы рисуночки на бумажках рисуете...

Хохряков молчал. Сжав губы, смотрел на огонь. Николаю вдруг показалось, что Хохряков может расценить его внезапно вспыхнувшую злость как обиду.

— Ты не думай, что я из самолюбия,— сказал он.— Расчехвостили, мол, меня, вот я и обиделся. Нет. Ей-богу, нет! Просто понять тебя не могу. Ну вот не могу... Непонятный ты для меня человек.

Хохряков помолчал, очевидно ожидая продолжения, потом, поскольку его не последовало, сказал:

— Может, объяснишь все-таки.

Николай пожал плечами. Ему вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого он был год тому назад, когда работал еще в райжилуправлении. Этот случай его тогда поразил,

и он долго потом о нем думал. Сейчас он опять всплыл в памяти.

В райжилуправлении их было тогда всего два члена партии. Прикреплены они были к довольно большой партийной организации Музфабрики. И вот на одном партийном собрании обсуждалось неэтичное поведение коммуниста Серебрякова, бухгалтера из управления фабрики. Николай, как сейчас, помнит этого маленького, неказистого человека, в синей застиранной рубашке и потрепанном пиджаке, стоявшего на трибуне, бледного, взволнованного, поминутно пьющего воду. Его обвиняли в том, что он бросил жену с тремя детьми, отказывается платить алименты, а сам женился на другой и живет с ней припеваючи. Здесь же была и жена — толстая, краснолицая женщина в пуховом платке, говорившая жалобным голосом на одной ноте и рисовавшая своего бывшего мужа как изверга, тирана, мота и распутника. Глядя на самого Серебрякова — маленького, растерянного, в оборванном своем пиджачишке, трудно было поверить всему тому, что говорила бывшая супруга о его прошлой разгульной жизни и о том, что он теперь, мол, живет припеваючи. Но и она, и роскошный громогласный мужчина в очках — заместитель директора Калюжный, и еще два-три человека поменьше калибром с таким азартом доказывали вину Серебрякова, что у присутствовавших на собрании начинало складываться впечатление, что Серебряков действительно распутник, изверг и негодяй.

Рядом с Николаем сидел голубоглазый малый в военной форме без погон, с бесчисленным количеством планок на груди. Он внимательно слушал, поминутно закуривал, а один раз у него даже вырвалось:

— Свернут-таки ему шею, сволочи...

В перерыве Николай подошел к нему. Он с ним был уже знаком по предыдущим собраниям, как-то раз даже распил бутылку пива, и парень, в общем, понравился Николаю — воевал в Севастополе, несколько раз был ранен.

— Ты хорошо знаешь этого самого Серебрякова? — спросил его Николай.

— Серебрякова? Конечно, знаю. Мухи не обидит.

— Значит, все, что здесь говорят...

— Чепуха! Сплошная чепуха. Счеты сводят... Грязная, в общем, история.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что не Серебряков бросил жену, а она его, потому что он не захотел

помогать замдиректору в его комбинациях, которые должны были принести определенные выгоды и замдиректору и бухгалтеру, а заодно и его жене. Оказалось, что деньги он регулярно пересылает жене без всякого суда, по доброй воле, но он мешает замдиректору, и тот хочет от него избавиться и вот привлек даже бывшую жену. Об этом мало кто знает, но он, Кудрявцев,— так звали парня — в курсе всего и...

— Одним словом, ополчилась вся эта шайка на беднягу Серебрякова, и будет ему крышка. Факт.

— Так чего ж ты молчишь? Выступи и скажи.

Парень удивленно на него посмотрел.

— Спасибо тебе в шапочку. С Калюжным только спутайся... Нет уж, как-нибудь без меня обойдется. Если хочешь, можешь выступить — ты здесь человек чужой, а я тебе все рассказал.

Дело, правда, кончилось и без вмешательства Николая, кончилось довольно плачевно для Калюжного: ему влепили строгий выговор и сняли с работы, но Николай на всю жизнь запомнил этого красивого голубоглазого парня с его планками на груди, парня, который, видно, неплохо воевал и так искренне удивился предложению Николая.

Вот этого-то парня невольно и вспомнил сейчас Николай, глядя на Хохрякова, на его орден боевого Красного Знамени, на орден, который не так просто было получить.

Николай не рассказал этой истории Хохрякову — пожалел его. Он только сказал:

— Не понимаю я тебя. Войну провоевал, и как будто не плохо провоевал, а сейчас...

— Что сейчас? — тихо спросил Хохряков.

— Другие, когда надо, воюют и сейчас. А тебя я что-то не пойму.

Прошел мимо, шлепая надетыми на босу ногу калошами, маленький Кунык из Николаевой группы, потом вернулся обратно.

— Беседа у костра, да?

Хохряков молча кивнул головой и, только когда в конце коридора хлопнула за Куныком дверь, заговорил:

— Непонятный, значит, человек? Да? Кто его знает, может, и так, не знаю. Но как подумаешь... Иной раз лежишь вот так дома... И всякие мысли лезут. С проектом не ладится, и по статике тройку получил. С других требуешь, а сам — вот в глаза людям стыдно смотреть. Прожил ты тридцать восемь лет, и за эти тридцать восемь лет в

четырех войнах участвовал, и шесть раз был ранен, и черт его знает, сколько осколков в тебе еще сидит. А живешь дурак дураком, дубина неотесанная. И читать надо. И в райкоме нажимают...— Он протянул руку: —Дай-ка я докурю. И вот лежишь так, в темноте, и голова трещит от всего этого. А утром встанешь — и начинается. То то, то се, то пятое, то десятое... Ты не думай, что я оправдываюсь. Просто так, прорвалось как-то. Обидно...

Хохряков говорил медленно, глухим, усталым голосом. Говорил о войне. Почти всю жизнь он провоевал. С двенадцати лет, когда потерял отца и мать, прилепился к проходившей части. Почти до самой Варшавы дошел. Потом коллективизация, кулачье. Две пули заработал, сюда и сюда. Рано женился, дети, жена все болеет. Потом Халхин-Гол, Финляндия, три года сейчас. Мирной жизни почти не видел. Воевал и думал: вот кончится все это, и тогда-то... Хоть бы теперь передохнуть, институт кончить, человеком стать...

Хохряков посмотрел на Николая.

— Вот я на тебя гляжу. Тоже трудно. Как и мне. Привычки нет. Все с бою берешь, с бою. Сдашь сопромат или статику — и лоб вытираешь, точно высоту штурмом взял.— Он поковырял в печке валявшимся рядом старым штыком.— Силенок не хватает, вот и бережем.

Титан давно уже кипел. Дрожал, фыркал, переливался через верх. Хохряков подставил чайник. Кран был неисправен, и большой жестяной чайник наполнялся долго. Наконец наполнился.

— Ты в Берлине был? — спросил он вдруг.

— Нет, не был. Я в сорок четвертом кончил.

— Я тоже не был.

— А что?

— Да так... Рассказы слыхал. Говорят, последние дни трудно воевать было.— Он сунул еще одну чурку в огонь и закрыл дверцу. — Знали, что завтра-послезавтра мир, и не хотели умирать. Никто не хочет. Но люди все-таки воюют... А были и такие. Человек в Сталинграде воевал, в Севастополе, ничего не боялся, а тут вдруг прижимается к земле... Слыхал про такое?

— Слыхал.

Висевшие на стене часы прохрипели что-то неопределенное: то ли час, то ли два. Хохряков поднялся.

— Ну, да что говорить! Всего не выговоришь. Спать пора.

И они разошлись.

Откуда-то, неизвестно откуда, набежали тучки и закрыли собой солнце. Все вдруг стало серым, плоским. Поднялся ветер.

Николай запахнул шинель и пошел.

Шел и думал о вчерашнем разговоре. Вот тебе и Хохряков... Хороший как будто парень, а вот ведь как скрутило, к земле прижало. И тут же подумал: «А тебя не прижало? А? Вспомни-ка прошлый год, позапрошлый. Вспомни госпиталь, шестнадцатую квартиру с вечерними ее чаями, разговорами, Валерьян Сергеевичами? Может, потому и ушел оттуда, что почувствовал приближение этого самого? Может, потому и тянуло на фронт? А может, и сама эта тоска по фронту была тем же прижиманием к земле?»

Николай шел по дорожке вдоль днепровских обрывов. Откуда-то снизу, с набережной, доносились автомобильные гудки. Ветер стих. Опять появилось солнце. Николай расстегнулся — жарко.

Да, но все это уже позади. Преодолел все-таки! Преодолел это проклятое чувство, это самое хохряковское «силенок не хватает, бережем». А для кого бережем? Для себя, только для себя, чего уж тут скрывать? И кто это говорит? Человек, у которого вот здесь вот, в боковом кармане, маленькая красненькая книжечка, такая же самая, как та, которую хотят отнять сегодня у Николая. И за что? Именно за то, что в ту минуту он меньше всего думал о себе.

Николай в десятый, в сотый раз представил себе, как будет проходить сегодня собрание, как Гнедаш, поджав губы, внимательно будет слушать всех ораторов, кивая головой, а потом встанет и, сказав что-нибудь вроде того, что партию надо очищать от балласта, что никто не дал права Митясову позорить высокое звание коммуниста, предложит своим тихим скрипучим голосом отобрать у него партийный билет, и бюро его поддержит.

Отобрать? Черта с два! Попробуйте только! Не вы давали, не вам и отнимать. Не те вы люди, товарищи Гнедаш и Мизин. Посмотришь на вас: все у вас чистенько, гладенько, ни к чему не придерешься. План работы есть — всегда под рукой, в шкафу, в папочке, говорить вы умеете, очень даже убедительно умеете, заседания проводите, протоколы пишете, в райком относите их без опоздания, стенгазету выпускаете регулярно, отчеты парторгов заслушиваете. Что еще надо? Со стороны посмотреть — полный порядок. А копнешь поглубже — и страшно становится. Что Чек-

мень хочет, то и делается. Мешает Никольцев — пожалуйста, поможем избавиться. Понравился Супрун — тоже поможем, подскажем дирекции. Чекмень — хозяин. Он умен, он умеет выступать, он всегда знает, чего хочет, и всегда добьется этого. Так и сказал: «Чего надо, я добьюсь, поверь мне»,— и добьется любыми средствами. Людей он знает. И на кого опереться — тоже знает. Хохряков, Гнедаш, Мизин, Бельчиков. Духанина к черту — мешает. Другого подберем. А «подбирать» — навязать, протащить он умеет. Ох, как умеет! Вот и Николая чуть так не «подобрал». Когда в бюро его сватал. «Нам как раз такие, как ты, и нужны — фронтовики, настоящие хлопцы!» Теперь все понятно. Понятно, какие хлопцы ему были нужны. Холопы, а не хлопцы.

И вот эти люди, эти чекмени и гнедаши, будут пытаться решать его судьбу — быть ему в партии или нет. Правда, не только они будут решать. Будут и другие. Люди, которым он верит. Будет Левка. Ему он верит. И не потому, что он его товарищ, а просто потому, что он честный, настоящий коммунист. И Антону он верит. И Громобою верит. Даже Сергею, забулдыге Сергею, будь он сегодня на собрании, и то...

Николай вдруг остановился.

Сергею... Забулдыге Сергею... Почему он так подумал?

Вот Алексей говорит: мы настоящие, крепкие, хорошие, мы — советские... Сергей такого никогда не скажет. Ни настоящим, ни хорошим он себя не называл. Наоборот — дрянью, пьяницей, бузотером. Но это ж не так! Неправда это! Все это наносное, прилипшее, чужое.

«Хочется мне, чтоб у тебя все хорошо было»,— вот где весь Сергей. Это тогда ночью он говорил, у себя на койке. «Иди к ней, иди к Шуре. Она тебя ждет. Тут что-то не так, я знаю». Сидел красный, злой, кулаком по коленке стучал. О себе, что ли, тогда думал? Или тогда, в первый раз, после разговора на лужайке, когда у Николая вдруг прорвалось все наружу? Кто Сергея просил к Шуре ходить? Никто. А он вот побежал. Для себя, что ли?

Потому-то и тянутся к нему люди. Потому и Николая потянуло. Когда все вверх тормашками полетело — к кому он побежал? К Сергею. К нему потянуло. Потянуло же! И не только его. Вот и Шуру потянуло. И Ваську его тянуло. Наверное же тянуло... А вот теперь и ребят аэроклубовских. Шура рассказывала: дня без него прожить не могут,

оторвать от него нельзя. И Николай знает, что это так. Он видит Сергея среди этих мальчишек, видит влюбленные их глаза,— влюбленные потому, что для Сергея люди и работа, настоящая, живая работа — это все. Потому, что он умеет увлекаться. И не только увлекаться, но и увлечь других. Потому, что ему, как и самим этим мальчишкам, хочется сейчас, чтобы они скорее, как можно скорее стали летчиками, смелыми, сильными, которыми могла бы гордиться вся Советская страна. У него появилась цель — а без этого в жизни очень трудно,— и ради этой цели он ничего не пожалеет... И когда первый из его мальчишек поднимется в воздух на старенькой, собранной собственными руками «удвешке», он будет стоять на поле, задравши голову, и сердце у него будет сжиматься, но уши он уже затыкать не будет.

Эх, Сережка, Сережка, счастливый ты человек... И плюнь ты той цыганке в глаза, которая нагадала тебе какую-то ерунду — все, мол, у тебя будет: любовь, друзья, деньги, а счастья не будет. Дура она, твоя цыганка. Есть оно у тебя. И я рад за тебя, ей-богу же, рад. И за Шуру. Ей будет хорошо с тобой. Я по глазам ее понял. В тот самый вечер, в последний раз, когда был у тебя.

И не смей ты называть себя дрянью, пьяницей, бузотером. Слышишь — не смей! Совсем ты не такой. Вот сказал бы мне сегодня: «Не прав ты, Митясов, кругом не прав»,— и я б поверил тебе. Но ты не сказал бы так, я знаю.

9

В президиум избрано было семь человек — Хохряков, Гнедаш, Мизин, два студента со второго курса, председатель профкома Кагальницкий и — Николая это удивило и обрадовало — Левка Хорол. Председательствовал один из второкурсников, спортивного вида, подстриженный под бокс парень в клетчатой ковбойке.

Николай забрался на самый верхний ряд — собрание было в физической аудитории, расположенной амфитеатром,— и просидел там до самого конца, не выходя даже покурить,— курил в кулак. Рядом сидел Черевичный и еще несколько ребят из его группы. Громобой не пришел. «Не пойду,— сказал он,— в пузырь еще полезу. Скажете, что болен».

Против обыкновения, открытая часть собрания тянулась очень долго. Бельчиков, шурша бумагами и без конца перечисляя фамилии лучших агитаторов, подводил итоги прошедшим выборам в Верховный Совет. Потом двух человек принимали в партию.

Закрытая часть началась уже около девяти.

Хохряков кратко сообщил о случившемся и прочитал по бумажке решение бюро: «За хулиганский, антипартийный поступок, выразившийся в нанесении побоев декану факультета ПГС тов. Чекменю А. И. при исполнении им служебных обязанностей, рекомендовать партсобранию тов. Митясова Н.И., 1919 года рождения, члена ВКП(б) с 1942 года, русского, учащегося, из партии исключить».

«Мизинский язычок,— подумал Николай.— Бумажная душа...»

Председатель вопросительно посмотрел на Хохрякова, кашлянул, поправил лежавшие перед ним на столе бумаги.

— Так что ж, товарищи, предоставим, так сказать, слово...

— Разрешите мне,— раздалось откуда-то справа, снизу; Николай узнал голос Алексея.

Председатель посмотрел на Хохрякова. Тот кивнул головой.

— Пожалуйста,— сказал председатель.

Алексей подошел к кафедре.

— Буду краток,— твердо и громко сказал он.— Я нарочно взял слово первым, чтобы сразу внести ясность во все это дело. Не буду останавливаться на подробностях и оправдывать Митясова, но скажу прямо: кое-какие основания для его, выражаясь формулировкой решения бюро, хулиганского поступка были. Я незаслуженно оскорбил его товарища. Это раз. Второе. На заседании бюро я не голосовал, но если бы и голосовал, то воздержался бы. И не только потому, что я в этом деле лицо, так сказать, не совсем объективное, а потому, что считаю меру наказания — исключение из партии — слишком суровой. Думаю, что, учитывая фронтовое прошлое Митясова, можно ограничиться строгим выговором, а может, даже и выговором.

Антон толкнул Николая в бок. Видал, куда завернул? Николай пожал плечами. На бюро Алексей не говорил, сидел и молчал.

Слово взял Гнедаш. Бледный, худой, с поджатыми бескровными губами, стуча в такт своим словам карандашом по кафедре, он говорил, что удивлен выступлением

Чекменя. К чему это благородство? Митясов совершил хулиганский, антипартийный поступок, совершил в стенах института. И совершил ли он его, обидясь за своего товарища, или по какой-либо другой причине, это никого не интересует. Он его совершил. Но и это не все. Митясов до сих пор считает, что поступил правильно. Он и на бюро так сказал. Вот до чего дошел! Интересно, что он сегодня скажет. Короче, Гнедаш считает, что резолюция бюро абсолютно правильная: из партии сключить (он так и сказал «сключить») и из института тоже, не нужны нам такие студенты. И коммунисты тоже.

Стукнув в последний раз карандашом по кафедре, он сел. Выступивший вслед за ним Мизин повторил в других выражениях то же самое. Он, как и Гнедаш, не согласен с Чекменем. Незачем оправдывать хулиганский, антипартийный поступок Митясова какими-то былыми его фронтовыми заслугами. Заслуги заслугами, но тем-то и позорна вся эта история, что затеял ее человек, для которого, как для члена партии, понятие дисциплины должно быть абсолютно святым. Что ж это получится, если каждый студент станет доказывать свою правоту (допустим даже, что Митясов был в чем-то прав) таким способом. В армии за это трибунал — и точка. И Митясову это известно лучше, чем кому-либо другому. И вообще зачем доказывать то, что и без доказательств ясно? Митясов своей выходкой и своим дальнейшим поведением на бюро запятнал весь факультет, весь институт. Он заслуживает самого сурового наказания, поэтому Мизин голосовал и будет голосовать за исключение из партии.

Выступление Бельчикова ничем не отличалось от двух предыдущих. Он, так же как Гнедаш и Мизин, настаивал на исключении.

Духанин — четвертый член бюро — заявил, что считает меру наказания слишком суровой. Он и на бюро голосовал против исключения. И вообще он считает вопрос недостаточно разобранным. Пусть и Митясов и Чекмень выступят и скажут, что в конце концов между ними произошло и что послужило причиной конфликта. Он предлагает выслушать сейчас Митясова, тем более что полагается с этого начинать, а потом уже выступать другим товарищам.

Предложение это было принято.

Николай спустился по лестнице и подошел к кафедре. Он не совсем ясно представлял себе, о чем будет говорить.

Он вообще не умел говорить. Особенно когда перед ним столько людей. Сидят и смотрят на него: а что он скажет? Левка нахмурился, грызет ноготь, тоже смотрит. Хохряков чинит карандаш. Откуда-то взялся Громобой. Уселся в первом ряду и тоже уставился. А ведь сказал, что не придет.

Спускаясь по лестнице, Николай встретился взглядом с Алексеем. Алексей сидел во втором ряду, прямо против трибуны. Когда Николай проходил мимо него, он поднял голову и снизу вверх посмотрел на Николая. В маленьких, чуть-чуть раскосых глазах его не было сейчас обычной иронии. В них было другое — и Николай успел это увидеть: я заступился за тебя, учти это. Ему вспомнился вдруг старенький врач в белой шапочке и очках полумесяцем: «Годен, ничего не скажешь. Можете опять воевать».

Что же, повоюем. Николай поднялся на трибуну.

Присутствовавшие на собрании говорили потом, что никто из них не подозревал, что Николай умеет выступать. Сначала говорил он тихо, в последних рядах даже плохо слышно было, но постепенно разошелся, а к концу, по выражению Громобоя, «рубанул правильно, на всю железку». Но Николай ничего этого не помнил. Он помнил только Громобоя, сидевшего перед ним в первом ряду,— его глаза, напряженно прикушенную губу, его «правильно!» в каком-то месте. Впоследствии выяснилось, что это испытанный ораторский прием — выбрать кого-то из публики и обращаться именно к нему. Николай этого не знал, но поступил именно так. И, может, именно это помогло ему собраться и преодолеть охватившее его волнение.

Витька Мальков, трезвый, в любых обстоятельствах совершенно трезвый и в этой трезвости доходивший до цинизма, перед самым собранием сказал ему, криво усмехаясь:

— Спокойствие прежде всего. Запомни это. И признание ошибок. Вот и все. Как в том анекдоте — лучше пять минут быть трусом, чем всю жизнь покойником,— и отошел, весьма довольный сказанной гадостью.

Но признания, о котором говорил Витька и на которое, очевидно, рассчитывали Гнедаш и Мизин, не получилось. Получилось совсем иначе. Николай говорил не долго, минут пять, не больше. Дело партийного собрания оценить его поступок, сказал он. Если виноват, надо осудить. Мера

осуждения — как совесть подскажет присутствующим. Что касается самого Николая, то он, не оправдывая своего поведения, может сказать только одно — чувства вины, большой, непоправимой вины перед партией, которую хотят сейчас освободить от него, он не чувствует. На бюро он не говорил о причинах, заставивших его поступить так, как он поступил, не говорил потому, что у него не было доказательств. У него и сейчас их нет. Чекмень в любой момент может встать и сказать — «неправда», и ему нечем будет ответить. Единственное его доказательство — это честное слово коммуниста.

Николай сделал паузу, отпил воды из стакана.

— Я не буду оправдываться. И не хочу. Я ударил человека и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, знаю, но я не смог. Не смог потому, что когда в твоем присутствии...

Николай повернулся к Алексею. Тот сидел прямо перед ним, подперев руками щеки, и, не мигая, глядел куда-то в пространство между трибуной и президиумом.

— Вот он говорил сегодня, что оскорбил моего друга. Нет, ты не друга моего оскорбил. Ты оскорбил тех, кому, может быть, тяжелее всего пришлось в эту войну. Ты оскорбил всех, кто попал в плен, в фашистские лагеря, в оккупацию. Всех, без разбора... Мы знаем — там были разные люди. Были среди них и сволочи и предатели — все это мы знаем. Но сколько их было? И кто они? Кучка негодяев? А народ ждал нас. Кто мог — убегал в лес,партизанил. Да что говорить!.. Нужно быть последней сволочью, чтобы... Простите меня, товарищи, но я прямо скажу: я не знаю еще, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если б в его присутствии человек, да еще коммунист,— нет, не коммунист, он только билет в кармане носит,— словом, если б такой вот человек сказал вам, что три четверти людей, попавших в плен, пошли туда добровольно, что все, кто под немцами были,— все, без разбора, подлецы и мерзавцы... Не знаю, что б вы сделали... Я ударил. Не выдержал и ударил. Вот и все...— Николай через плечо взглянул на Алексея.— Теперь можешь ты говорить. Если у тебя совесть еще есть. Я все сказал.

Когда Николай вернулся на свое место, Антон молча, не поворачиваясь, взял его руку, чуть повыше локтя, и крепко сжал. Только сейчас Николай почувствовал волнение — во рту пересохло, неистово заколотилось сердце.

В зале — тишина. Только с улицы в открытое окно время от времени доносится скрежещущий звук заворачивающего на углу трамвая.

Председатель долго просматривает лежащие перед ним на столе бумаги, перекладывает их с места на место, наконец отрывается от них и вопросительно смотрит на Чекменя:

— Вы будете?

Чекмень, не вставая с места, говорит:

— Я думаю, пусть товарищи сначала выскажутся. Я подожду. Вот товарищ Хорол, я вижу, хочет.

Левка поднимает голову. Он бледен, он всегда бледнеет, когда волнуется.

— Хочу,— говорит он.— Вы не ошиблись,— и встает.

Говорит он негромко, с тем подчеркнутым спокойствием, которое бывает у людей, хотящих скрыть свое волнение.

— Я не собираюсь оправдывать Митясова,— начинает он.— Свое отношение к его поступку я ему уже высказал. И совершенно прав был Мизин, когда сказал, что будь ты даже тысячу раз прав, нельзя таким способом, как Митясов, доказывать свою правоту. Но дело сейчас не в этом, товарищи...

— А в чем же? — вставляет сидящий на краю стола Мизин.— Ведь мы, по-моему, дело Митясова рассматриваем, а не кого-либо другого.

— Вот об этом-то я и хочу сказать, товарищ Мизин. О том, что хотя мы и рассматриваем дело, но не совсем то дело и не совсем так рассматриваем. Самое простое, товарищи, судить человека так, как мы его сейчас судим. Оскорбил? Оскорбил. Виноват? Виноват. Исключить? Исключить. Записали в протокол — и по домам. Просто и ясно. Нет, не просто и не ясно. С другого конца начинать надо. Оскорбил? Да, оскорбил. Виноват? Да, виноват. Но он ли один? Вот тут-то и заковыка. Кто больше виноват — Митясов или Чекмень? Митясов в том, что ударил, или Чекмень в том, что довел его до этого. А почему довел — вы знаете. Знаете и молчите...

— Кто это — вы? — перебивает Гнедаш. Он сидит рядом с Хоролом и старательно сворачивает из бумаги фунтики.

— Кто? Хотя бы вы, уважаемый товарищ Гнедаш. И вы, и Мизин, и Бельчиков, и Хохряков, все те, кто пре-

красно знает, в чем дело, и молчит. Все вы молчите. Все, кроме Духанина. Молчите, потому что куда проще расправиться с Митясовым, чем не угодить Чекменю. Чекмень все-таки декан, все мы под ним ходим...

Кто-то из президиума — Николай не разобрал, то ли тот же Гнедаш, то ли Бельчиков — возмутился:

— Выбирайте свои выражения...

Председатель, явно растерявшись, постучал стеклянной пробкой о графин.

— Товарищи, товарищи, порядочек! — И взглянув на Левку: — Вы кончили?

— Нет, не кончил.— Левка поднял руку, словно успокаивая зал. Но в зале тишина. Напряженная тишина. Никто даже не кашляет.— Мы обсуждаем сейчас персональное дело Митясова. Но есть и другое дело, не менее, а, может быть, даже и более важное, чем это. Дело, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Я говорю о поступке товарища Чекменя, который на позапрошлом бюро пытался очернить и оклеветать профессора Никольцева, при полном попустительстве членов бюро, виноват, большинства членов бюро. Я считаю, что партсобрание должно разобрать этот случай, тем более что, судя по всему, кое-кто из сидящих здесь заинтересован в том, чтоб сегодняшним митясовским делом отвлечь внимание от другого дела, куда более важного,— никольцевского, вернее чекменевского,— Левка вытер ладонью вспотевший лоб.— Короче. Вношу предложение: в повестку дня, после пункта: «Персональное дело товарища Митясова», внести еще один пункт: «Персональное дело товарища Чекменя».

Сказал и сел.

Тишина кончилась. Зал загудел. Председатель попытался поставить предложение Хорола на голосование. Гнедаш запротестовал — в ходе собрания нельзя менять повестки дня, это надо было делать вначале, когда председатель спрашивал, будут ли у кого-нибудь дополнения. Кто-то крикнул: «Формальный подход!» Тогда вмешался Мизин. Покрывая своим могучим басом шум, он стал доказывать, что всякий вопрос, прежде чем его поставить на партсобрание, должен быть заслушан на партбюро и что поскольку вопрос о Чекмене до сих пор никем не поднимался, то...

— Испугались? — крикнул кто-то из зала.— Ставь на голосование!

Поднявшемуся на трибуну Бельчикову не дали говорить. Махнув рукой, он сошел с трибуны.

— Голосую предложение Хорола,— с трудом перекрывая шум, объявляет председатель. Сразу становится тихо.— Кто «за»? — Поднимаются руки.— Большинство. Ясно. Кто «против»? Раз, два, три, четыре, пять... Десять против. Кто воздержался? Три. Предложение принято.

Опять шум. Хлопки. Кто-то с места просит слова и, когда ему наконец дают, спрашивает, почему на собрании нет секретаря парткома.

— Курочкин болен! — выкрикивает с места Гнедаш.

— А почему из райкома никого нет? Вы райком-то поставили в известность?

Мизин наклоняется к Хохрякову, потом встает и дает путаное объяснение: должен был быть инструктор райкома, но его куда-то срочно вызвали, а когда позвонили в райком, оказалось, что там никого уже нет. Ответ этот вызывает еще больший шум. С разных концов зала доносятся выкрики: «Чекмень! Чекмень! Пусть Чекмень выступит!»

Чекмень через плечо оборачивается, оглядывает зал и медленно поднимается, упершись руками в парту. Сразу становится тихо.

— Что ж,— говорит он, полуобернувшись к залу,— могу сказать. Первое. Все, что говорил здесь Митясов,— ложь и клевета!

Николай, не отрываясь, смотрит на него. Ложь и клевета! Так. То, чего он ждал и чего боялся, произошло. Ложь и клевета! Как докажешь, что это не так? Как докажешь, что это не ложь и не клевета? Как? Доказательств нет... Ну и пусть... Важно другое, важно, что Чекмень испугался. Побоялся признаться. Вот что важно — не может признаться в том, что сказал...

Николай что-то пропустил. Чекмень стоит все так же, полуобернувшись к залу и слегка постукивая ладонью по парте.

— ...не мне этим заниматься, и не мне оправдываться. Я обвиняю Митясова в клевете. Нет, не только в клевете,— в желании подорвать мой авторитет как декана и как члена бюро. Но не выйдет, товарищ Митясов, смею вас уверить. И вы, Хорол, тоже учтите это. Учтите хорошенько, потому что мы еще поговорим на эту тему. И о вас поговорим, товарищ Хорол, и о Митясове, и о вашем подзащитном, главном вдохновителе всего вашего антипартийного поведения.

Но не сегодня, и не здесь поговорим, а в другой раз и в другом месте... Вот тогда я уже все скажу...

Он хлопнул крышкой парты и сел.

— Видал, каков? — дышит в самое ухо Николаю Антон.— Оттянуть хочет, оттянуть, черт, хочет, подготовиться...

Зал, точно очнувшись, опять начинает гудеть. Откуда-то с самого верха доносится: «В каком это месте? Сегодня, сегодня пусть говорит...» И вот тут-то среди общего гула слово берет наконец Хохряков.

Он медленно выходит из-за стола в своем поношенном пиджаке, с орденом на груди, поднимается на кафедру, осматривает всех своим грустным, как всегда усталым, взглядом (в аудитории сразу становится опять тихо), проводит рукой по волосам.

— Совершенно ясно, товарищи,— говорит он, откашливаясь,— что провели мы это голосование или не провели, но рассматривать вопрос о товарище Чекмене мы не можем.

— Можем! Можем! Опять сдрейфили!

Хохряков поднимает два пальца, дожидается, пока опять не становится тихо.

— Повторяю, товарищи,— очень тихо, но твердо, глядя куда-то поверх голов, говорит он,— повторяю, рассматривать его мы сейчас не будем. Не будем, потому что с кондачка такие вопросы не решаются. На то вы и избрали нас в члены бюро. («Напрасно избрали!» — голос Громобоя.) Это уж другой вопрос — напрасно или не напрасно, но пока что нас никто не переизбирал, и я до сих пор еще секретарь.— Он делает паузу, точно ожидая возражений. Но все молчат.— И, как секретарь, заявляю: ни один неподготовленный вопрос на стихийное обсуждение мы ставить не будем. Ясно или не ясно? («Не очень!» — Хохряков пропускает реплику мимо ушей.) И по этой же причине, товарищи, мы не будем рассматривать сейчас дело Митясова. Не будем, потому что...— Опять пауза, глоток воды из стакана.— Просто потому, что оно не подготовлено, товарищи.— В зале шепоток.— Более того, скажу и другое. Во всей этой истории, которая произошла между Митясовым и Чекменем, я, в первую очередь, виню нас, бюро (голос Гнедаша: «Ого!») и себя особенно, как его секретаря. В подробности — отчего и почему — вдаваться сейчас не буду. Вношу предложение: вопрос отложить, бюро разо-

браться во всем этом деле и поставить его на следующем собрании. Прошу проголосовать мое предложение.

Предложение принимается. Против трое — Гнедаш, Мизин и Бельчиков. Воздержавшийся один — Алексей.

На этом собрание кончается.

10

Валя сидела в библиотеке и читала «Кентервильское привидение». Она знает его наизусть, но ничто другое в голову сейчас не лезет. К тому же в библиотеке, кроме этого томика, из английских книг есть только технические журналы и Диккенс, которого Валя не любит.

В десять часов библиотека закрывается, но библиотекарша что-то возится с каталогом, значит можно еще посидеть. Валя сказала ей, что дома у нее дымит печка и невозможно работать.

В половине одиннадцатого на лестнице раздается топот. Валя торопливо сует книжку на полку («Что-то подозрительно рано кончилось!») и, забыв даже попрощаться с библиотекаршей, выходит в вестибюль.

В раздевалке уже толпится народ. Из разговора трудно что-либо понять. Сумбур какой-то. Валя подходит к одному из первокурсников и, хотя знает, что не положено осведомляться о том, что было на закрытом партсобрании, спрашивает, будто между делом, натягивая пальто: «Ну, как?» Парень весело улыбается: «Дали дрозда!» — и убегает. Ничего не понятно. Кто, кому?

За спиной Вали слышен голос Николая: «И мое возьми, Антон, я сейчас». Валя оборачивается. Николая уже нет. Группа студентов, человек в десять, стоя у барьера раздевалки, подсчитывает деньги. Увидев Валю, один из них — он из Валиной группы, громогласный, всегда о чем-то спорящий Громобой, весело подмигивает ей:

— Ресурсы подсчитываем. Выходной завтра.

Кто-то говорит:

— Почему выходной? Суббота завтра.

— Ну, не выходной, суббота. Один черт.

Откуда-то появляется Николай. Гимнастерка на нем расстегнута. Вытирает шею платком.

Зажав между коленями планшетку, он влезает в шинель. И в этот момент глаза их встречаются. Они смотрят друг

на друга поверх чьих-то голов и спин. Николай улыбается. Моргает глазами. Потом подходит и, продолжая натягивать шинель, говорит:

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуй,— говорит Валя.

Ночь. Мартовская ночь. Темная, почти без звезд, мартовская ночь. Иногда поднимается ветер. Он несет откуда-то из-за города запах полей, леса, земли, талого снега. Шумит ветвями, срывает с головы шапку, забирается в расстегнутый ворот, в уши, в ноздри. И вдруг прекращается. Так же неожиданно, как начался.

Чуть-чуть морозит. Подмерзли ручейки вдоль тротуаров. На улицах пусто. Только сторожа у магазинов. Который же это час? Час, два, три?

— ...и самое странное то, что я знал, что так будет. То есть не так, не так именно, как было, и не то что знал... Ну, как бы это сказать? Вот на фронте, например, так бывало. Иной раз кругом тихо-тихо, ни одного выстрела, как будто и войны нет, а внутри, вот здесь, что-то сжимается, тоска... А другой раз, наоборот: ад кромешный, голоса своего не слышишь, земля дрожит, а ты вот спокоен, уверен как-то. Бывало у тебя такое? У меня —да. И сейчас вот так было. Ну, не то, чтоб совсем спокоен был,— волновался, конечно, особенно когда на трибуну вышел, а кругом головы, головы, головы... Но посмотрю на Громобоя — он как раз передо мной сидел,— да ты его знаешь, в твоей группе учится, красивый малый такой, в портупее ходит, посмотришь на него, и сразу легче становится. Вот он сидит, думаю, а там наверху Антон, и Петровский, и Сагайдак. И за спиной Левка. Ты знаешь Левку? Хорола? Растрепанный такой. Не можешь не знать. Его все знают. Ну, я познакомлю. И с Антоном, и с Громобоем, и с Куныком нашим маленьким, со всеми познакомлю. Да ты застегнись. Фронтовичка фронтовичкой, а март месяц, знаешь, какой? Нет, самое важное не это. Я о чем-то другом хотел. Вот черт... Ага! Помнишь, когда я с комиссии вернулся и мы пили с Яшкой, а Муня дрых? И ты тут пришла. И мы немножко поцапались. А потом сидели с мамой и чай пили. Потом спать разошлись. Я долго тогда не спал. Тоска напала. По фронту, по хлопцам. И потом бывало, часто бывало. Тоскуешь, грустишь: один, мол, остался, нет хлопцев, нет

солдат твоих... А ведь за них отвечать надо было. У каждого жена, ребята, мамаша. И задание выполнять надо. И вот посылаешь на смерть. Тяжело. А вот как не стало всего этого, еще тяжелее стало. Почему? Ну вот скажи мне — почему? Да застегнись ты, Христа ради, вот упрямая! В отца, что ли? Анна Пантелеймоновна совсем не такая была.

Они идут по пустынным, затихшим улицам, сворачивают направо, налево, проходят через какие-то пустыри, мимо заборов новостроек, опять выходят на улицу, опять налево, направо — куда их черт занес? А не все ли равно...

— Вот ты объясни мне, Валя... (Господи, как он много сегодня говорит!) Объясни мне, почему люди такие разные? Нет, не то... Ты не смейся, я не то хотел сказать... Не умею я говорить, что поделаешь. Начнем с примеров, это легче. Вот три человека — Алексей, Хохряков и Левка. И Сергей — четвертый. Ты его не знаешь,— подбитый летчик, безногий, чудесный парень. Только в водке чуть не утонул. Чего ты смеешься? Чудесный, да. И ничего смешного тут нет. Познакомишься, сама поймешь... Так вот, все четверо они воевали. И каждый из них узнал на войне то, что и все узнали. И страх, и усталость дикую, когда ни о чем думать не хочется, и то, что кровь из носу, а надо выполнять приказ, и что сидишь вот ты с человеком и покуриваешь, а через минуту от этого человека, может, ничего не останется. И не останется потому, что ты ему сказал — «иди». И сказал ему это потому, что он лучше других, а не хуже. В общем, ты все знаешь... Так вот четыре человека, и все четверо воевали. И остались живы. Но ведь каждый остался жить по-своему. Вот в чем загвоздка. Один только для себя, а другой... Это очень важное в жизни— уметь жить не для одного себя. А то уставишься в собственный пуп и смотришь. Или, как страус, голову под крыло. Я долго так же сидел. И, знаешь, казалось даже, что хорошо. Потом выглянул. Повертел головой — направо, налево. Кинулся в институт. Зарылся в книжки. С головой зарылся. Книжки, книжки, книжки... И стало легче. Ну, чего ты смотришь? Как будто не знаешь, почему тяжело было. Знаешь же, все знаешь! Сколько раз я хотел подойти к тебе. Но посмотришь — идет, брови сдвинула, не подходи! — и не подходишь. Чем я хуже ее? Да, так о чем это я? О книжках? Да, так вот, так и получилось. Забивал ими

голову, чтобы о другом не думать. Вроде как Хохряков. Ну, не совсем вроде, у него по другой причине, но оба мы уши заткнули. Вот это самое страшное. Не знаю, что страшней: Алексей или это... Черт его знает... А я ведь верил ему, понимаешь, верил Алексею. Даже завидовал в чем-то. Умный, образованный, что еще надо. А вот сегодня смотрел я на него... Ты б видела, как он себя держал! Глазом не сморгнул. От всего отрекся. В другом месте, мол, поговорим. Черта с два! Мы там тоже поговорим. Посмотрим еще, кто — кого... Господи, до чего же все-таки ошибаешься в людях. Вот Левка, например. Каким я его считал? Хороший, ничего не скажешь. Веселый, неунывающий, всегда рад помочь. Но вот посмотришь на него и думаешь: все у тебя гладко, хорошо, слишком хорошо. Даже разозлился на него как-то: утруждать, мол, себя не хочешь, гладенькую жизнь эту свою портить. А вот, оказывается, ошибся. И в Сережке ошибся. Нет, не ошибся,— не понял просто. С первого взгляда его не сразу поймешь. Ворчит, ругается, всем недоволен. А присмотришься, подойдешь поближе, и вдруг, оказывается... Ну, что ты смотришь на меня? Надоел? Заговорил тебя? Ну ладно, помолчу. Говори ты...

И опять говорит. Говорит, говорит, говорит... А Валя слушает. Прижалась к нему — так тепло с этой стороны, и рука его — большая, теплая, она сквозь перчатку чувствует. Идет рядом и слушает. Ему хочется выговориться — она понимает, у него сегодня такой день, но все-таки... Ну да ладно, говори, говори, о чем хочешь.

Ведь прошло столько времени — сентябрь, октябрь, ноябрь... Господи, почти семь месяцев!..

— А вот и то место, где мы с тобой лазили, помнишь? — Они у решетки Ботанического сада.

— Перемахнем, а?

— Погоди. Пусть милиционер отойдет.

В саду темно-темно — на улице хоть фонари,— под ногами грязь, скользко.

— Держись за меня, крепче держись!

Опять поднялся ветер. Деревья шумят.

— Ты любишь, когда они шумят?

— Люблю.

— А еще что?

— Что что?

— Еще что любишь?

— Еще что? Когда паровозы так гудят. И почему ночью всегда так слышно?
— Не знаю. А еще что?
— Слушай, я куда-то провалилась.
— Ну вот, говорил тебе — держись крепче. Фронтовичка...
— Здесь, по-моему, болото.
— Какое тут может быть болото?
— А я говорю — болото. У меня полон сапог воды.
— Давай тогда сюда. Держись за шею. Раз...
— Ну и хватит. Дальше я сама пойду. Ну вот, до того дерева, и хватит. Там уже сухо.
— Сухо, сухо... Тебе только по асфальту ходить.
— Ну и ладно.
Пауза.
— А который это час, интересно?
— Черт его знает. Не все ли равно?
— А ребята?
— Что ребята?
— Ведь они ждут тебя.
— Не ждут. Они все понимают.
— Что — все?
— То, чего ты не понимаешь.
— Ох, и глупый же ты...
Пауза.
— Слушай, а зачем ты тогда подошла?
— Когда? Во вторник?
— Да.
— Просто так...
— И действительно считала, что не надо оправдываться?
— Не знаю, может, и думала. А потом рассердилась на тебя.
— Почему?
— Почему, почему... Сам догадайся.
— Не могу. Я поглупел. Ну вот совсем поглупел. И вообще давай сядем на эту скамейку.
— Она мокрая.
— Ну и ладно. Мы все равно на нее сядем. Сядем, и я тебе расскажу об одном товарище.
— Опять о Левке или Сергее своем? («Господи, опять о смысле жизни?»)
— Нет, не о Левке. О другом. Ты его не знаешь. Так

себе, рядовой товарищ. Жил-был, потом воевал, потом попал в госпиталь. Вот здесь вот этот госпиталь был на горе. Потом познакомился он с одной девушкой. А девушка была глупенькая, ничего не понимала. Потом они поссорились...

— По его вине...

— А ты ее разве знаешь?

— Встречала...

— Тогда ты должна знать, чем у них все кончилось. А?

— А разве кончилось?

Но на этом поставим точку. Хватит. На вокзальных часах уже четверть пятого. И на востоке уже стало светать — видны трубы, антенны. И вообще ничего умного эти товарищи сегодня уже не скажут. Не будем их винить в этом...

1954

Рассказы

СЕНЬКА

1

В первой половине дня Сенька кое-как еще держал себя в руках, но когда после небольшого перерыва самолеты стали заходить не только со стороны солнца, а сразу со всех четырех сторон, он почувствовал, что больше не может. Тело дрожало мелкой противной дрожью, и, если он чуть-чуть ослаблял челюсти, зубы начинали стучать друг о друга совсем так, как это было, когда он болел малярией. В животе что-то замирало. Во рту было сухо и горько от табачного дыма. Утром у него был еще полный мешочек табаку, сейчас осталась одна пыль — трехдневную норму он искурил за полдня.

«На две штуки осталось,— подумал Сенька, насыпая смешавшуюся с хлебными крошками пыль на бумажку,— а потом...»

Но он так и не успел додумать, что случится потом. Целая куча («Штук сто»,— мелькнуло у Сеньки в голове) самолетов с красными лапами стали пикировать прямо на него. Он выронил мешочек, бумажку, засунул голову меж колен, стиснул зубы и, крепко зажмурив глаза, сидел так, пока не прекратились взрывы. Потом осторожно приоткрыл глаза и высунул голову из щели. Сквозь несущийся куда-то влево дым мелькнуло черное крыло самолета с черным крестом. Сенька опять закрыл глаза. Но ничего не случилось. Самолет улетел.

«Господи боже мой... Да что же это такое... Господи боже мой...»

Сенька стал искать бумажку, потом мешочек с табаком, потом скрутил цигарку, но пальцы дрожали, табак рассыпался, и цигарка получилась тоненькая и жалкая.

Мимо прополз Титков — пулеметчик второго взвода. Лицо у него было все мокрое, с прилипшей ко лбу и щекам землей. Правая рука болталась, как тряпка, и волочилась по земле. Он на минутку задержался у Сенькиной щели, затянулся его цигаркой и пополз дальше.

«Отвоевался»,— подумал Сенька, и ему сразу представилось, как Шура-санинструкторша перевязывает Титкову руку, как трясется он на подводе в медсанбат, как лежит там на соломе.

Над рощей опять появились самолеты. Проходившие мимо Сенькиной щели какие-то бойцы, увидав самолеты, рассыпались во все стороны. Кто-то тяжелый и горячий вскочил прямо на Сеньку и прижал его к земле.

Бомбы рвались долго, совсем рядом, а когда перестали рваться, Сенька попытался разогнуться. Но тяжелое лежало на нем и не хотело сползать. Сенька выругался, но тяжелое все лежало. Он уперся руками в землю и свалил тяжелое в сторону. Здоровенный боец в расстегнутой, совершенно мокрой от пота гимнастерке лежал рядом и смотрел на Сеньку остановившимися, немигающими глазами.

Сеньке стало страшно.

Вчера, когда они на машинах ехали на передовую, он видел только лошадей — вздутых, с раскоряченными ногами лошадей, валявшихся на дороге. Людей, вероятно, убрали. А вот этот лежал совсем рядом, большой, теплый еще... И рука за голову закинута.

Мимо щели один за другим, обвешанные минами и котелками, согнувшись, волоча за собой пулеметы, перебегали бойцы. Самолеты делали второй заход.

«Опять, сволочи...»

Грохот укатился куда-то в сторону. Густая, удушливая пыль стелилась по земле. Ничего не было видно — ни неба, ни рощи,— ничего, только тускло поблескивал затылок винтовки на бруствере. Сенька со злобой посмотрел на нее.

«Палка»,— подумал он и протянул к винтовке руку. Он не принимал никакого решения, он просто снял винтовку с бруствера, зажал ее меж колен, взвел курок, положил руку на дуло, зажмурил глаза и нажал крючок.

Он не услыхал выстрела. Что-то сильно толкнуло и обожгло ладонь. И сразу все тело охватила слабость. Пальцы

беспомощно повисли. Тоненькими ручейками по ним текла кровь и капала на штанину. Большое красное пятно расплывалось по колену.

Кто-то крикнул над самым ухом:

— Какого черта стреляешь, дурья голова!

Сенька поднял голову. Перед ним сидел командир взвода. Сенька безразлично посмотрел на него, потом на руку, потом опять на него. Лейтенант, кажется, что-то кричал, но Сенька ничего не слышал. Он смотрел на серое от пыли, небритое лицо, видел, как шевелятся губы, блестят злые, колючие глаза, но слов не слышал. Он знал только одно: сейчас он вылезет из этой щели и пойдет туда, назад, к речке, где нет самолетов, нет этого бойца с остановившимися глазами, нет всего этого... И он сидел и слушал и ничего не говорил, а потом,— он даже не помнит, лейтенант ли ему приказал или сам так решил,— напялил скатку, затянул и перекинул через плечо мешок и, опершись о винтовку, вылез из щели. Боли в руке не чувствовал никакой.

Откуда-то появился младший сержант — Сенька забыл его фамилию. Сидел тут же на корточках.

— Отведешь его к командиру роты, а потом в медсанбат...

Младший сержант что-то ответил и ткнул Сеньку в бок прикладом автомата.

— Пошли...

И они пошли — он и младший сержант.

Командира роты не застали, а заместитель по строевой приказал прямо в медсанбат вести — там уж знают, что с такими делать.

— Пристрелил бы на месте, да патрона жалко...

Только когда они отошли шагов на сто, содержание этой фразы дошло до Сенькиного мозга. Он обернулся, но лейтенанта уже не было. Они пошли дальше. Впереди маячили телеграфные столбы с оборванными проводами.

2

В медсанбате у большой, забросанной ветками палатки толпились бойцы. Лежали, сидели, просто так слонялись. Забегали и выбегали из палатки сестры в грязных пятнистых халатах. Большие крытые машины пятились и урчали вокруг палаток. Двое бойцов без рубашек, ругаясь, выно-

сили и клали на машины носилки с ранеными. Раненые молчали и с тревогой смотрели на небо. Там, над передовой,— отсюда до нее было километров шесть-семь,— опять пикировали самолеты. Самой передовой не было видно — мешал кустарник, но распускавшиеся над ней букеты разрывов были видны отчетливо, и Сенька почувствовал, как поползли мурашки у него по спине. Он отвернулся и стал смотреть на машину, которую грузили.

Младший сержант сидел рядом и молча курил. За всю дорогу он не сказал ни слова. Сеньке хотелось попросить у него закурить, но он не решился.

«Откажет, должно быть»,— подумал он и проглотил слюну.

Мимо пробежал маленький черненький человечек в халате и больших круглых очках. Он приостановился на секунду и торопливо, не глядя бросил:

— Леворучник?

— Леворучник,— ответил младший сержант и встал.

— Давай сюда...— И человек в очках забежал в палатку.

В палатке было душно и пахло чем-то резким и неприятным. Вдоль стен сидели раненые бойцы. Посредине стояло два белых стола, покрытых клеенкой. На одном лежал боец с закинутой назад головой. Был виден только шершавый, небритый подбородок. Он тихо, монотонно стонал. Одной ноги у него не было, а вместо нее было что-то красное, с завернутой кожей и куском торчащей кости. Высокий человек, тоже в халате, наклонившись, ковырялся в этом красном чем-то очень блестящим.

«Господи...— подумал Сенька,— что же это такое?..» — и почувствовал, что его начинает тошнить.

— Рубашку скинь... и сюда садись...

Маленький в очках коленом пододвинул табуретку. Сенька с трудом — левая рука стала тяжелая и неповоротливая, хотя и не болела совсем,— снял через голову скатку, потом стал стягивать гимнастерку и нательную рубаху. Рука никак не вытягивалась и путалась в рукаве.

«И зачем это? — подумал Сенька.— Ведь у меня все цело, рука только... А он рубаху заставляет...»

— На табуретку садись. Сколько раз говорить надо?

Сенька сел и положил руку на колено ладонью кверху. Кровь перестала идти, но где, собственно говоря, рана, он так и не мог понять — все залепилось, покрылось грязью.

— Сколько лет? — спросил маленький в очках, должно быть доктор.

Сенька не понял, о чем его спросили.

— Ну, какого года?

— Я? С двадцать четвертого,— нерешительно ответил Сенька.

— Двадцать четвертого, а как бык здоровый,— сказал доктор и пощупал тугие Сенькины бицепсы.— И не стыдно тебе?

Сенька ничего не ответил.

— Одной рукой двух фрицев задушишь, а ты вместо того...— Доктор не договорил и быстрым движением ущипнул Сеньку за живот, оттянул кожу и всадил в нее большую иглу с чем-то стеклянным посредине. Сенька вздрогнул, но не от боли, а от неожиданности.

Потом доктор мокрой ваткой долго мыл его ладонь, и это уже было больно. Потом кому-то, не оборачиваясь, крикнул: «Сухо...» — и сестра в блестящих щипчиках принесла бинт, и доктор туго обмотал ладонь.

— Все... Одевайся.

Сенька натянул рубаху, гимнастерку и, не зная, можно ли садиться на табуретку, отошел немножко в сторону и стал смотреть, как со стола снимают раненого без ноги.

— Ну, чего тебе еще?

Доктор снизу вверх смотрел на него, и Сеньке стало вдруг неловко.

— Где твой... что привел тебя?

— Там... на дворе.

— Скажи, чтоб в четвертую палатку отвел.

Сенька вышел.

В четвертой палатке оказался только один раненый. Он спал на соломе, раскинув ноги и положив белую, перебинтованную руку на живот. У входа стоял часовой.

Сенька взбил солому, положил в голову скатку и растянулся рядом с раненым. Со двора доносились гудки автомашин. Где-то совсем недалеко все еще громыхало. Сенька лежал и смотрел на зеленое, свисающее над его головой полотно палатки. Потом закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами...

...Подбежал старый, одноглазый, с облезлым хвостом Цыган. Повилял хвостом, лизнул руку и побежал дальше... Потом появилась большая миска с пельменями. Они были очень горячие, а мать подкладывала еще и еще. Из-за окна

доносилась гармошка. Он торопился доесть пельмени, чтоб пойти с ребятами на Енисей, но вспомнил, что отец велел починить крыльцо. Стал искать топор...

Кто-то вошел и вышел из палатки. Сенька открыл глаза, но в палатке уже никого не было. Только пола палатки слабо раскачивалась. Спящий рядом боец что-то бормотал во сне. Сенька опять закрыл глаза.

...Енисей — широкий-широкий. И маленькая лодочка на нем. В ней отец. Здесь таких рек нет. Все маленькие какие-то, закисшие, желтые. И лесов здесь нет. Разве это леса? Дубки, осинки...

И вообще ни черта не поймешь.

Сказали, немца приехали бить... А где немец? Привезли с вечера, велели окопаться. Сказали, что это уже передовая и за той вот сопочкой первый эшелон находится. Но ни эшелона, ни немцев Сенька не увидел. Поужинал сухарями из мешка — кухня где-то застряла сзади,— стал копать себе окопчик. Грунт был мягкий, хороший. Сенька быстро выкопал окопчик на всю длину лопаты, сделал бруствер в ту сторону, где сказали — немцы, замаскировал бурьяном, на дно положил мягкой пахучей травы и лег спать — до утра командир взвода разрешил спать. И Сенька заснул, пристроив винтовку между коленями.

А утром... Как началось... Как началось...

Политрук все говорил, что немец штыка боится. И Сенька так научился работать штыком, что чучело из земли чуть ли не с корнем вырывал. И гранату во всем батальоне дальше всех бросал, дальше командира батальона даже... Но вот бросал, бросал, два месяца бросал — а что толку? Немец вовсе в воздухе оказался — ни штыком, ни гранатой не достанешь.

Лежавший рядом боец зашевелился, перевернулся в сторону Сеньки, почмокал губами и проснулся. Некоторое время он лежа смотрел на Сеньку, потом сел, поджал ноги и спросил:

— Из тридцать седьмого?

— Из тридцать девятого.

— Это что во втором эшелоне лежит?

Сенька кивнул головой. Боец улыбнулся. У него черные редкие зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глазки с короткими, прямыми ресницами. Левая ладонь так же, как и у Сеньки, была перевязана и подвязана к шее.

— Сам? — боец глазами указал на Сенькину руку.

Сенька почувствовал, что уши у него становятся горячими, и ничего не ответил.

— Ты не бойся... Говори.

Сенька переложил руку на другое колено — она стала вдруг ныть — и уставился в кончик своего сапога.

— Да ты что — немой? Или контузило? Звать тебя как?

— Сенькой.

— Семен, значит. А фамилия?

— Коротков фамилия.

— Ну, а меня Ахрамеев — Филипп Филиппович Ахрамеев. Будем знакомы.— И он протянул руку.

Сенька пожал сухую, горячую ладонь.

— Боишься, что ли? — боец криво улыбнулся и похлопал здоровой рукой Сеньку по колену.— Зря... Зря боишься. Сойдет. С месячишко отдохнем, а там... мало-мало заживет и стрекача дадим. До излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю,— он потянулся и зевнул.— А может, и отбрешемся еще.

Сенька молчал.

Боец вытащил из-под соломы плоскую железную коробочку, в которой немцы носят ружейные принадлежности, и ловко одной рукой и губами свернул цигарку.

— Тебе, правда, маленько хужей. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас, в тридцать девятом, кроме бомбежки, ни черта... Пулевое ранение. Начнутся вопросы, расспросы... Ты через котелок стрелял?

— Через какой котелок? — не понял Сенька.

— Через котелок, спрашиваю, стрелял или через мокрую тряпку?

— Нет. Просто так...— Сенька опять почувствовал свои уши.

— Эх, голова ты...— вздохнул боец.— Разве делают так? Котелок, тряпка — они ж ожог скрывают. А ожог — что? Первая улика,— и он опять зевнул.— А в общем, ни хрена, драпанем, не тужи...— Он вытянулся на соломе и молча стал курить, сплевывая в сторону крошки махорки.

Сенька взял «сороковку», докурил ее до самых пальцев и вскоре заснул.

8

Вечером принесли пшенного супа с куском хлеба, а потом пришел полковой химик — старший лейтенант,— вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где он родился, сколько ему лет, где учился и еще много вопросов. Сенька на все отвечал, а старший лейтенант записывал. Потом старший лейтенант прочел записанное и велел подписаться на каждом листочке. Сенька подписал. Старший лейтенант аккуратно сложил листочки пополам, всунул в планшетку и, ничего не говоря, ушел.

«За человека не считает»,— подумал Сенька и вспомнил, как он когда-то угощал этого самого старшего лейтенанта домашней, крепкой махорочкой и как тот после этого всегда при встрече с Сенькой весело говорил: «Ну как, орел, покурим, что ли, твоей сибирской, крепенькой?»

Сейчас о махорке он даже не заикнулся.

— Дознаватель,— сказал из своего угла Ахрамеев,— ерундовина... Вот когда следователь будет, тогда узнаешь.

— А что, еще и следователь будет? — спросил Сенька.

— А как же! Он-то уж поговорит, будь уверен,— сказал Ахрамеев и встал.— Выйдем-ка посмотрим, что на божьем свете делается.

Они вышли. Сели у входа в палатку.

У перевязочной все так же толклись бойцы — запыленные, в выцветших гимнастерках, черных от грязи бинтах.

Мимо прошел боец, опираясь на палочку.

— Ну, как там, браток? — спросил Ахрамеев.

— Не видишь, что ли...— Боец кивнул головой в сторону передовой и спросил, где регистрируют.

Над передовой один за другим пикировали немецкие самолеты. Какие-то новые, не похожие на утренние — маленькие, двукрылые, точно бабочки. Они долго кружились один за другим, потом камнем, совсем отвесно падали вниз.

— Хозяева... Хозяева в воздухе... Ты только посмотри.— Ахрамеев в сердцах сплюнул.— Что хотят, то и делают.

Сенька ничего не ответил. Он посмотрел на желтоватое облако, плывущее над передовой, и у него опять мурашки по спине пошли.

— Пойди вот потягайся с ними. Сегодня утром один наш «ястребок» в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли, так гоняли... А потом сбили. Туда куда-то, за лес

упал.— Ахрамеев протяжно вздохнул.— Не война, а убийство сплошное.

Сенька, скосившись, посмотрел на Ахрамеева. Тот сидел, поджав к подбородку колени, и тоже смотрел туда, где бомбят. Потом взглянул на Сеньку:

— Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый — кровь с молоком. Тебе жить надо. Жить. А тебя под бомбы, как скотину, гонят. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота! Да по-бестолковому еще... Мясорубка — вот что это, а не война.

— Нельзя так говорить,— сказал Сенька, не поворачиваясь.

Ахрамеев даже рассмеялся мелким, сухим смешком.

— Нельзя, говоришь? А руку зачем продырявил? Чтоб немца сдержать, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И правильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился, или вот так, как этого, на носилках приволокли бы.— И он подбородком указал на раненого на носилках.

Это был тот самый без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и еще гуще обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.

«Что теперь парень делать будет? — подумал Сенька.— Ни пахать, ни плотничать... Сиди весь век и на других смотри...» Или без руки... Сенька видел одного — обе руки оторвало. По локти. По малой нужде и то сам ходить не мог — просил, чтоб помогли.

Сенька сжал кулак. Посмотрел на него. Хороший кулак. И рука хорошая. Крепкая. Сеньке вдруг ужасно захотелось поработать топором. Отец говорил, хороший плотник из него получится — и сила есть, и точность, и глаз хороший. Руки — это все. Нельзя без рук жить... И Сенька опять сжал кулак и посмотрел на него.

Ахрамеев что-то говорил. Сенька поймал только конец фразы:

— ...За месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть. Вот что надо. А там...

Сенька посмотрел на Ахрамеева. Тот по-прежнему сидел, поджав ноги к подбородку. И Сенька вдруг почувствовал, что еще минута, и он ударит кулаком по этому желтому, морщинистому лицу. Он даже не знал, почему и за что,

Ахрамеев ничего ему не сделал. Он так же, как и Сенька, выстрелил себе в ладонь, чтобы...

Сенька встал и пошел в палатку. Стоявший у входа часовой пристально посмотрел на него.

«Чего он смотрит? Людей, что ли, не видел. Его бы туда, к бомбам поближе...»

Когда Ахрамеев зашел в палатку, Сенька сделал вид, что спит.

4

Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы.

С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из пятой и шестой роты. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, за кустарник, где клубилось и громыхало небо, где остались Тимошка и Синцов, и командир взвода, и еще человек двадцать ребят, с которыми он вместе жил, и из одного котелка ел, и впятером один бычок курили.

А может, их уже и в живых нет. А те, что живые, увидят его, Сеньку, и...

На третий день в перевязочной он увидел старшину своей роты. В Татьяновке, под Купянском, они жили с ним в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил — хороший, желтый, совсем новый. Неплохой был старшина. Бойцы всегда были сыты. А что еще бойцу от старшины надо? Чтоб кормил хорошо и белье чаще менял. А что ругается, так это уж им, старшинам, так положено. А Пушков хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко.

После перевязки Сенька подошел к Пушкову. Он стоял у стола и ждал, пока фельдшер напишет ему какую-то бумажку.

— Здравствуйте, товарищ старшина,— негромко сказал Сенька и поднес руку к пилотке.

Старшина оглянулся и посмотрел на него, потом на его руку.

— Тоже ранило? — спросил Сенька и стал глазами искать, куда же старшину ранило.

— Нет,— коротко ответил тот и отвернулся.

Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на такую знакомую, широкую спину, на свой постаревший ремень и опять спросил:

— Ну, как там?.. На передовой...

Старшина ничего не ответил, стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку: тот быстро-быстро водил пером по ней.

«Не расслышал»,— подумал Сенька и опять собрался задать тот же вопрос: уж очень ему хотелось знать, живы ли Тимошка и Синцов. Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него.

«Сейчас облает»,— подумал Сенька. Но тот не облаял, даже слова не сказал, а, засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел.

Старшина стоял у подводы и, насвистывая, взбивал сено.

«Подойти к нему, попроситься — возьмет, может...»

Старшина снимал с лошадей мешки с овсом и вставлял мундштуки.

«Так прямо и скажу. Что угодно пускай делают. Гранаты могу бросать. Патроны подносить...»

Он вытер выступивший вдруг на лбу пот и подошел к повозке. Старшина уже сидел в ней, умащиваясь.

— Товарищ старшина...

Пушков повернулся.

Лицо у него было усталое и какое-то старое. Он здорово похудел за последние дни.

— Чего тебе?

— Возьмите меня, товарищ старшина...

Больше он ничего не смог сказать.

— Тебя?

Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, и язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой.

— Пошел, Сирко...— и дернул вожжи.

Подвода затряслась по ухабам, подымая тучи пыли, потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому.

Больше он ни к кому уже не подходил.

5

На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась. В рощицу и вокруг нее сначала редко, а потом все чаще и чаще начали падать снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но раскладывали их прямо на земле в кустах. Док-

тора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без всякого перерыва. Возле нее вырастали горы бинтов и ваты, и над ними тучами роились зеленые жирные мухи, и два раза в день эти горы куда-то выносили, а через час-два они опять вырастали.

— Плохо дело,— говорили бойцы.— Авиация одолевает, дохнуть не дает...

Бойцы были из разных полков, из разных дивизий, но все говорили одно — жмут немцы, спасу нет.

Рядом с Сенькой положили худенького с наголо выбритой круглой головой сержанта-разведчика. У него были большие, черные, вероятно когда-то очень веселые глаза. Ранен он был в обе ноги. Четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал и не жаловался, только воды все просил — у него был жар.

— Где это тебя так разделало? — насколько мог, участливо спросил Сенька,— ему очень жалко было худенького сержанта.

— На мине подорвался, в разведке,— сказал сержант и, тяжело дыша и поминутно кашляя, стал рассказывать, как он с тремя разведчиками,— командира взвода убило, и он его заменил,— пошел за «языком», как они достали этого «языка», а на обратном пути сбились, попали в минное поле, и вот только он один и остался жив — всех четверых, с фрицем вместе, на клочки разорвало.

Сенька молча слушал и сочувственно смотрел на сержанта.

«Какой он худенький, совсем пацан»,— думал он и сравнивал свою мускулистую жилистую руку с тоненькой, совсем как у девочки, рукой сержанта, выглядывавшей из рваного рукава.

— Повезло тебе,— сказал Сенька.

— Повезло,— улыбнулся сержант.

— А ты давно воюешь?

— Я? Дай бог. С первого дня. От самой границы. Третий раз вот уже ранен.

— Третий раз? — удивился Сенька.

— Третий. Под Смоленском, под Ржевом и вот здесь теперь.

— И все живой остаешься?

— Как видишь,— сержант медленно, с натугой улыбнулся, ему, по-видимому, трудно было улыбаться.— Водички нету?

— Я сейчас принесу,— сказал Сенька и побежал на кухню.

Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.

— Жар, должно быть,— сказал Сенька и поднес кружку к сухим, потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад и слабо выругался.

— Обидно, черт возьми! — он опять выругался.— Не увижу больше ребят. Перебьют всех, пока выздоровею.

— Может, и не всех,— сказал Сенька.

— Да и в полк другой пошлют. Все равно не увижу.

— Тебе что — кости перебило?

— Кости. На обеих ногах кости.

Сенька смотрел на его ноги — обмотанные во всю длину, толстые и какие-то квадратные, только кончики пальцев выглядывали.

— Да, долго тебе лежать.

— Долго,— вздохнул сержант и опять попросил пить.— С полгода проваляюсь. Как колода. А ребята воевать будут...

Больше он ничего не сказал. Закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал.

«Как бы не помер»,— подумал Сенька, и ему еще более жалко стало худенького сержанта. Он осторожно приподнял бритую голову его,— она была горяча, как огонь,— и подложил свою скатку.

Ночью сержант стал бредить — вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину,— и Сенька всю ночь менял ему холодную, мокрую тряпку на лбу. К утру бред прошел, жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул.

Только утром заметил Сенька, что у сержанта на груди Красная Звезда. На одном уголке эмаль облупилась. «Такой молоденький — и уже орден»,— подумал Сенька и побежал за завтраком.

— За что это ты орден получил? — спросил потом Сенька, кормя сержанта с ложечки.

— За что дают, за то и получил,— уклончиво ответил Николай,— сержанта звали Николаем,— и облизал ложку.

— И давно получил?

— Давно.

«Смелый, должно быть,— подумал Сенька.— По морде видать, что смелый. А ведь такой худенький, хлипкий».

После завтрака Николаю захотелось оправиться, и Сенька бегал за судном,— оно было одно на весь санбат, и на него была очередь,— и помогал Николаю с ним сладить.

— Ты мировая няня,— сказал Николай, и Сеньке это было ужасно приятно.

Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежей травы и подложил под плащ-палатку, на которой Николай лежал. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса, но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.

— Аппетитец у тебя — дай бог,— улыбнулся Николай.

Сенька смутился и отставил котелок.

— А мне вот не лезет ничего. Тошнит чего-то.

— Это от жару.

— А вот пить... Ведро бы зараз выпил.

— Дать? — спросил Сенька и потянулся за кружкой.

— Дай.

Николай, морщась от боли, но с аппетитом выпил поллитровую кружку, откинулся на скатку и стал смотреть на голубой ослепительный кусок неба, видневшийся в отверстие палатки.

Часам к трем, когда солнце стало особенно припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор,— палатка накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил у лейтенанта, лежавшего в углу, плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам он пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух, скручивал ему папиросы,— он довольно ловко научился это делать рукой и коленом,— и бегал на кухню прикуривать.

Над головой время от времени пролетали самолеты и бомбили большой кудрявый лес километрах в пяти отсюда — там стояла артиллерия и какая-то кавалерийская часть.

Так они лежали — Сенька на животе, Николай на спине — и говорили о «юнкерсах», об артиллерии, о кавалерии, о том, как плохо приходится ей в эту войну. Николай здорово разбирался во всех видах самолетов, учил Сеньку, как отличать «юнкерс» от «хейнкеля» и «мессершмитта-110», как надо стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом

им надоело разговаривать, и они просто лежали и смотрели на небо, следя за косяками летящих бомбардировщиков.

Подъехали две машины с ранеными. Их быстро разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто, только часовой у палатки ходил взад и вперед, перекладывая винтовку из руки в руку.

— И чего это он все ходит и ходит? — спросил вдруг Николай, смотря на часового.— На передовой людей не хватает, а он здесь торчит.

— Положено так, должно быть,— уклончиво ответил Сенька и стал возиться с плащ-палаткой.— Перетянуть, что ли, а то солнце заходит.

— Может, дезертиры тут с нами лежат? А? Как ты думаешь?

Сенька ничего не ответил. Стоя на коленях, он натягивал плащ-палатку.

— А ты знаешь,— помолчав, сказал Николай,— по-моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой...

— Может быть,— неопределенно ответил Сенька.— Тебе воды не принести? — Сенька встал.— Там, на кухне, свежей, кажется, привезли.

— Не стоит, не хочется. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат чего-то их, возятся. Кому это надо? Люди там,— он кивнул головой в ту сторону, где день и ночь громыхало,— из кожи вон лезут, держат, а эти сволочи о шкуре своей только думают... Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю.

Сенька протянул окурок.

— И, знаешь,— Николай с трудом повернул голову, чтоб увидеть Сеньку,— их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свою, гады,— он вдруг засмеялся.— Вот у тебя тоже левая ладонь — совсем самострельщик. Тебя чем это? Пулей или осколком?

— Пулей,— чуть слышно ответил Сенька и побежал с котелком на кухню.

6

Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька сам устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. Николай лежал у самой кабины, там меньше трясло. На ухабах он

крепко хватал Сенькину руку, но ни разу не пикнул. Дорога была отвратительная.

На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, командиром батальона, но те даже и слушать не хотели, отмахивались — дел и так по горло: машина с инструментами застряла в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только под самое утро Сенька договорился с каким-то фельдшером, и Николая положили в Сенькину палатку, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только «черепники».

Весь следующий день они спали.

Вечером пришел старший врач, грузный, с сонными маленькими глазами армянин, посмотрел на Сенькину руку, сказал, что недельки через две выписывать уже можно, а Николая велел записать в список для эвакуации.

— Придется поваляться, молодой человек. Боюсь, как бы легкое не было задето.

Николай только вздохнул.

Но прошел день, и еще день, и еще один, а Николая все не эвакуировали. Машин было всего три — две полуторки и одна трехтонка — и в первую очередь отправляли «животиков» и «черепников». Раненых с каждым днем становилось все больше и больше. Фронт медленно, но упорно двигался на восток. Круглые сутки гудела артиллерия. Над передовой висела авиация.

Дни стояли жаркие. Одолевали мухи. По вечерам — комары. Раскаленный воздух дрожал над потрескавшейся землей. Серые от пыли листья беспомощно висели над головой. Медленно ползло по бесцветному от жары и пыли небу ленивое июльское солнце.

Сеньку в палатке прозвали Николаевым адъютантом. Он ни на шаг не отходил от него — мыл, кормил, поил, выносил судно. Спер на кухне большую медную кружку, чтоб у Николая все время под руками была холодная вода, приносил откуда-то вишни, усиленно пичкал где-то раздобытым стрептоцидом, отдавал свою порцию водки, говоря, что не может в такую жару пить, и Николай с трудом, морщась, глотал ее, хотя ему тоже не хотелось,— просто чтоб не обижать Сеньку.

Николаю становилось лучше. Температура упала — выше 37,5 — 37,6 не подымалась. По вечерам, когда все в палатке засыпали и только наиболее тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу.

Сенька полюбил эти вечера. Где-то над самой головой успокоительно стрекотали ночные «кукурузники», а они лежали и перемигивались папиросами.

— Ты за лисицами охотился? — спрашивал Сенька.

— Нет, не охотился,— отвечал Николай.

— А за медведями?

— И за медведями не охотился.

— Приезжай тогда после войны ко мне. Я тебя научу охотиться. У нас там горностаи, куницы есть, а белок...

И Сенька со всеми подробностями рассказывал, как он с отцом на охоту в тайгу ходил на целую неделю, и как медведь чуть не оторвал хвост Цыгану, и с тех пор шерсть из него стала вылезать и хвост совсем стал голый.

Николай слушал, иногда покашливая, потом спрашивал:

— А за кукушками ты охотился?

— Кто ж за ними охотится? Кому они нужны? — смеялся Сенька.

— А я вот охотился.

— Врешь.

— Зачем вру? Они там большие, жирные, пуда в три-четыре весом.

— Где ж это такие кукушки?

— В Финляндии такие кукушки.

— А ты и в Финляндии был?

— Был. Кякисальми — слыхал? Нет? Тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти два пальца отморозил тогда. И на ноге, на левой, четыре.

— Ты и орден там получил? — спросил Сенька.

— Там...

Сенька выждал немного, думая, что Николай еще что-нибудь скажет, но Николай ничего не говорил. Тогда Сенька спросил:

— А за что ты его получил?

— Чудак ты, Сенька. За что да за что. За войну, конечно.

— Нет... За что именно?

— Черт его знает. В разведку ходил. «Языка» ловил.

«Врет,— подумал Сенька,— наверное, танк подбил или генерала в плен взял...»

Некоторое время они лежали молча, прислушиваясь к звону ночных кузнечиков. Полы палатки были приподняты, и над головами видны были звезды. Где-то сверкали зарницы.

— Эх, Сенька, Сенька...— тихо сказал Николай.— Жаль, что не в одной части мы с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик из тебя получился. Раз охотник — значит, и разведчик. Помкомвзводом бы назначил.

— Я карту не умею читать,— сказал Сенька.

— Научился бы.— Николай, помолчав, вздохнул.— А завтра меня эвакуируют. Это уже точно. Доктор сказал. В тыл повезут. Ты воевать будешь, а я месяца четыре бока отлеживать где-нибудь в Челябинске,— и опять помолчал.— А до чего не хочется, Сенька, если бы ты знал...

Сенька ничего не ответил.

Больше всего в жизни ему хотелось сейчас быть у Николая помкомвзводом. Ох, как бы он у него работал... И обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское. Так, чтоб все о нем заговорили. И орден бы ему дали. И чтоб обязательно геройский этот поступок на глазах у Николая был сделан. Или нет, наоборот. Он придет потом, после геройского поступка к Николаю, а на груди — орден. Все равно какой — Красная Звезда или Красное Знамя,— Красное Знамя, конечно, лучше. И Николай спросит его: «За что орден получил, Сенька?» А он небрежно так, закуривая, скажет: «За что дают, за то и получил». И сколько бы Николай ни допытывался, ни за что бы не сказал...

На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Где-то разбомбили мост, и машины стали ходить вкруговую. К тому же одна поломалась, и работали теперь только две.

Целый день шел дождь. Палатка была дырявая — посечена осколками,— и дождь тоненькими струйками, точно душ, орошал бойцов. Но никто не ворчал — уж больно жара надоела.

— Да и ребята на передовой отдохнут малость,— смеялись раненые,— меньше будут головы кверху задирать.

Сенька достал в соседней палатке потрепанную, без начала и конца книжечку — пьесу Гоголя «Женитьба» — и, водя пальцами по строчкам, читал вслух. И хотя читал он медленно, запинаясь — мешали какие-то незнакомые буквы,— всем очень нравилось, и смеялись дружно и весело.

Как раз когда Сенька дошел до того места, где Подколесин в окно выскочил, в палатку вошел красноармеец.

— Тебе чего? — строго спросил Сенька, не отрывая пальца от книги, чтоб не потерять места.— Видишь, заняты люди.

Красноармеец равнодушно посмотрел на Сеньку, прислонил винтовку к подпиравшему палатку шесту и стал искать что-то в кармане.

— Ну, долго искать будешь?

Красноармеец нашел наконец нужную бумажку и таким же равнодушным, как и глаза его, голосом сказал:

— Самострельщики тут которые? На двор выходи. Следователь вызывает...

У Сеньки запрыгали буквы перед глазами. Он даже не расслышал, как произнесли его фамилию. Он встал и, ни на кого не глядя, вышел из палатки.

Потом он стоял перед каким-то лейтенантом с усиками. Лейтенант что-то спрашивал. Сенька отвечал. Потом лейтенант велел ему сесть. Он сел и стал вырывать из бинта белые ниточки одну за другой. Голос у лейтенанта был тихий и спокойный, но говорил он очень по-городскому, и Сенька не все понимал. Слова лейтенанта как-то не задерживались в нем, проходили насквозь. Он сидел на траве, поджав по-турецки ноги, смотрел на круглое, розовое, чисто выбритое лицо лейтенанта, на тоненькие, как две ниточки, усики и ждал, когда ему разрешат уйти. И когда лейтенант встал и стал застегивать планшетку, Сенька понял, что разговор кончился, что ему можно идти, и тоже встал.

В палатку он не вошел. Он лег на траву под расщепленным дубом и пролежал там до самого вечера. Несколько раз подходил к нему Ахрамеев. Сенька делал вид, что спит. В последний раз Ахрамеев пришел и уселся рядом. Сенька лежал с закрытыми глазами, слушая, как возится и покряхтывает рядом Ахрамеев, потом повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.

— Чего тебе надо от меня?

Ахрамеев пожевал губами и криво улыбнулся.

— Как чего? Время настало...

— Какое время?

Ахрамеев опять криво усмехнулся.

— Какое время... Драпать время... Часа через два стемнеет... А тут село в трех километрах. Найдем дуру какую-нибудь — и...

Сенька почувствовал, как лицо, уши, шея его заливаются кровью.

— Иди ты к...— и сжал кулак.

Ахрамеев что-то еще хотел сказать, но запнулся, искоса как-то посмотрел на Сеньку, встал и, стряхнув с колен землю, быстро зашагал к палатке. Сенька перевернулся на живот и уткнулся лицом в согнутые руки.

Когда совсем стемнело, Сенька вернулся в палатку. Он долго стоял у входа, прислушиваясь, что делается внутри. Потом вошел. Николай уже спал, закрывшись шинелью. Сенька принес свежей воды из кухни, лег на свою солому и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Под утро он все-таки заснул.

Проснулся поздно, когда все уже позавтракали. У изголовья стоял котелок каши, Николай лежал и смотрел куда-то вверх. Сенька встал. Николай даже не пошевельнулся. Сенька вышел и принес чай. Потом тихо спросил Николая:

— Кушать будешь?

Николай ничего не ответил. Лежал и смотрел вверх.

Целый день Сенька пролежал под дубом. Когда вернулся, Николая уже не было. На его месте лежал другой. Котелок с остывшей кашей, нетронутый, стоял на прежнем месте.

7

До сих пор в палатке не знали, что Сенька самострельщик. То ли часовые об этом никому не говорили, то ли открытое, ясноглазое, с редкими оспинками лицо его не внушало подозрения, то ли просто каждый занят был самим собой и своими ранами,— в палатке были в большинстве тяжело раненные,— но только никто ничего не знал. И даже сейчас, когда тайна его раскрылась, нельзя было сказать, чтобы обитатели палатки обижали его или как-нибудь по-особенному относились к нему. Нет, этого не было. Но что-то неуловимое, какая-то невидимая стена выросла между Сенькой и окружающими. На вопросы его отвечали сдержанно и кратко. Сами в разговор не вступали. Раньше по вечерам бойцы просили, чтоб он спел что-нибудь — у него был несильный, но чистый, приятный голос,— и он пел им негромко, чтобы не мешать особо тяжелым, старые русские

песни, которым отец учил его. Сейчас его не просили уже.

А как-то раз долго искали нож, чтоб нарезать хлеб, и хотя все знали, что у Сеньки есть замечательный охотничий нож с костяной ручкой в пупырышках, никто у него не попросил, а взяли у часового.

И Сенька молча лежал в своем углу, смотрел на ползающих по парусиновым стенам мух и прислушивался к все более приближающейся артиллерийской канонаде. Прибывшие раненые говорили, что немец будто где-то прорвался.

Вечером немецкий «кукурузник» сбросил на рощу несколько «трещоток». Раненые стали выползать из палатки. Сенька не шелохнулся.

Всю ночь мимо рощи тянулась по дороге артиллерия. Сначала тяжелая на тракторах, потом поменьше, но тоже тяжелая. Сенька лежал на животе и смотрел из-под завернутой полы палатки, как ползут, громыхая, по дороге пушки, плетутся одна за другой подводы. Пехоты не было. Шла артиллерия. Всю ночь шла.

К утру какая-то часть завернула в рощу. Комбат и старший врач, потные и злые, бегали взад и вперед, ругались с артиллеристами. Но артиллеристы не слушали их и расставляли свои пушки вокруг палаток, забрасывая их ветками. Артиллеристы тоже были потные и злые, голоса были у них хриплые.

Целый день где-то совсем недалеко стреляли пушки. Немецкие самолеты бомбили дороги и леса. По дороге шли раненые. И уже не одиночками, а группами — по два, по три, пять человек. Некоторые заходили в рощу — на дороге стоял указатель с красным крестом,— другие шли дальше, грязные, оборванные, с волочащимися по земле винтовками.

К вечеру медсанбат стал сворачиваться. Сняли палатки и сложили их на опушке. Откуда-то приехали большие, крытые брезентом машины.

Сенька взял свою скатку, котелок и, стоя у дороги, смотрел, как укладывают ящики в машину. Артиллеристы одну за другой вытягивали свои пушки на дорогу.

Кто-то с большой сумкой на боку — кажется, фельдшер из третьей палатки — пробежал мимо Сеньки.

— А ты чего, красавец, стоишь? Давай к большому дубу.

— А там что?

Фельдшер крикнул что-то непонятное и побежал дальше.

Сенька пошел к большому дубу. Там стояла шеренга человек в двадцать красноармейцев, и низенький майор в выцветшей солдатской пилотке и с большой рыжей, набитой бумагами полевой сумкой на боку говорил им что-то.

— На левый фланг... На левый фланг,— замахал он рукой Сеньке, направившемуся было к нему.

Сенька стал на левый фланг, рядом с долговязым, длинноусым бойцом. Голова у бойца была перевязана. Все стоявшие в шеренге были легко раненные: у кого рука, у кого голова, шея.

Майор прошел вдоль строя и записал в маленькую книжечку фамилию и имя каждого и из какой кто части. Последним он записал Сеньку и сунул книжечку в карман.

— Зачем это он записывает? — спросил Сенька длинноусого.

Тот осмотрел его с ног до головы.

— Первый день, что ли, в армии? Не знаешь, зачем записывают?

«Неужели кончать уже будут? — подумал Сенька, и что-то тоскливое подступило к сердцу. Большая, забрызганная грязью машина, фыркая, выползла из кустов и остановилась под дубом. Все начали залезать в нее. Сенька тоже влез.

Майор выглянул из кабины и спросил:

— Все?

— Все...— ответило сразу несколько голосов из кузова.

— Поехали...— Майор хлопнул дверцей.

Машина тронулась.

— Куда это нас везут?— спросил Сенька кого-то, сидящего рядом на борту,— стало совсем уже темно, и лица превратились в белые расплывчатые пятна.

— На передовую, куда ж...—коротко ответил совсем молодой голос.

— На передовую? — Сенька почувствовал, как все в нем замерло.

— Не слыхал, что ль, что майор говорил? В полк там какой-то. Пополнение. Всех ходячих...

Сенька схватил соседа за руку. У того даже хрустнуло что-то.

— Врешь...

Сосед выругался и попытался отодвинуться.

— Пьяный, что ли? На людей бросаешься...

Сенька ничего не ответил. Он увидел вдруг над собой небо, страшно большое и высокое, увидел звезды, много-много звезд, совсем таких же, как дома, на Енисее, и ему вдруг страшно захотелось рассказать кому-нибудь, как хорошо у них там, на Енисее, гораздо лучше, чем здесь, как проснешься иногда утром и двери наружу не откроешь — все снегом замело...

Он ткнул соседа в бок.

— Ты откуда сам?

— Чего? — не расслышал сосед.

— Сам откуда — спрашиваю.

— Воронежский. А что?

— Да ничего. Просто так... А я вот из Сибири, с Енисея...— он сделал паузу, ожидая, что сосед что-нибудь скажет, но тот молчал, держась обеими руками за борт.— Река такая есть — Енисей. Не слыхал? Весной разольется — другого берега не видно, совсем море. А когда лед трогается, вот красота. Тут небось и реки не замерзают вовсе...

Боец ничего не ответил. Машина круто повернула, и все навалились на правый бок. Сенька плотнее надвинул пилотку, чтоб не снесло, расстегнул гимнастерку и вдохнул полной грудью свежий, напоенный запахом меда ночной воздух.

— Холодок, хорошо...

— Через час согреешься,— мрачно буркнул сосед и отвернулся.

Машина прибавила скорость.

Они ехали среди высоких нескошенных хлебов, сворачивая то вправо, то влево, через разрушенные села, через рощи и лесочки, наклоняя головы, чтоб ветки не били по лицу. Ветер свистел в ушах, и где-то впереди, точно зарницы, вспыхивали красные зарева и медленно всплывали вверх, и затем падали ослепительно яркие ракеты.

Потом они долго сидели у стенки какого-то полуразрушенного сарая, и где-то совсем рядом строчил пулемет и рвались мины, и курить им строго-настрого запретили, а немного погодя пришли какие-то двое и раздали им винтовки и гранаты.

Сенька винтовки не взял, только гранаты — шесть «ли-

монок» и две «РГД». Растыкал по карманам и повесил на пояс.

Потом повели куда-то через огороды к речке. Посадили в траншеи. В траншее было пусто. Это были старые траншеи, они успели уже обвалиться и заросли травой.

«На той стороне, верно, немцы»,— подумал Сенька и спросил у сержанта, который их вел, немцы ли на той стороне.

— Немцы, немцы, а то кто ж. Вчера мы там были, а сегодня немцы. Вот сидите и не пускайте их сюда. Понятно?

И Сенька сидел и смотрел на тот берег и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой.

В груди его что-то дрожало, он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он и сам еще не знал, но что-то очень, очень важное...

8

Под утро на той стороне реки что-то заурчало, будто тракторы ехали. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Заквакали лягушки. Выползла луна. Где-то сзади, в траншее, послышался разговор. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.

— Какой роты, боец?

— А мы не с рот... Мы с медсанбата,— ответил Сенька и вытянул руки по швам.

— А-а-а...— неопределенно протянул хромой и, помолчав, спросил.— Танки где гудели?

«Значит, танки, а вовсе не тракторы».— Сенька указал рукой в ту сторону, откуда доносился звук.

— К мосту прут, сволочи,— сказал хромой.

Другой командир выругался. У него был хриплый, простуженный голос.

— А куда ж? Конечно, к мосту.

За рекой опять заурчало. Сначала тихо, потом громче и громче. Хромой облокотился о бруствер и приложил руку к уху.

— Штук десять, никак не меньше.

— Часа через три рассветет.

— Часа через три, а то и раньше.

— Ч-черт...

— Синявский что — убит?

— Убит.

— А Крутиков?

— И Крутиков... Эх, был бы Крутиков... К самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.

— И бутылки ни одной со смесью?

— Будто не знаешь...

Они помолчали.

— Пройдем во вторую... к Рагозину.

Они ушли.

Сенька проводил их глазами — некоторое время еще было видно, как мелькали их головы над траншеей,— и облокотился о бруствер. Луна взошла уже высоко, и на той стороне был виден каждый домик. Они смешно лепились по самому откосу — берег был крутой. Чуть левее виднелась церковь. Из густой зелени выглядывала только маковка с крестом. Правее, вверх по течению, через реку тянулось что-то черное и плоское — должно быть, мост. Из-за домиков то тут, то там, осыпаясь золотым дождем, взвивались вверх ракеты и, осветив, как днем, белые домики и купы деревьев над рекой, шипя, гасли в камышах. Лениво строчили пулеметы. Красные и зеленые точки, догоняя и перегоняя друг друга, терялись где-то на этой стороне. Иногда около церкви начинал щелкать миномет, а потом откуда-то сзади доносились разрывы мин. С нашей стороны никто не отвечал.

Один раз, когда взлетела ракета, Сенька увидал трех человек, бегущих к реке, и понял, что это и есть немцы. Он чуть-чуть не бросил в них гранату,но вовремя спохватился— речка была широкая, метров восемьдесят, никак не меньше.

Опять послышались чьи-то шаги по траншее. Сенька обернулся. Те же двое, что проходили недавно.

— Ну как? — спросил один из них, останавливаясь около Сеньки.

— Да ничего. Стреляют помаленьку, товарищ...— Сенька запнулся, не зная, как обратиться.

— Лейтенант,— докончил за него командир и спросил, нет ли у него спичек.

— «Катюша» только,— ответил Сенька.

— Давай «Катюшу».

Сенька порылся в кармане, вытащил длинный, с полметра, фитиль, кремень, металлическую пластинку для высекания огня — все аккуратно завернутое в тряпочку — и протянул лейтенанту.

— Мы здесь рядом будем,— сказал лейтенант и прошел немного дальше по траншее.

Сенька опять облокотился о бруствер и стал смотреть на противоположный берег. Слышно было, как командиры долго высекали огонь — очевидно, не зажигался фитиль,— потом один из них спросил, который час.

— Тридцать пять второго.

Помолчали.

— Надо решение принимать, Ленька... Через час будет поздно...

— Надо...

— Кого ж послать? У меня три человека всего. Два из них раненые, а Степанов... да что о нем говорить...

— А гранат сколько?

— Гранат хватит. С гаком хватит. Ящиков пять. Да бросать их надо умеючи... Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает.

— А медсанбатовские?

— Что медсанбатовские... Одни калеки. С них спросить-то не спросишь. Подведут только.

Они долго молчали. Было видно только, как вспыхивают папиросы. Потом тот, которого звали Ленька, сказал:

— Значит... кому-то из нас. Или мне, или тебе.

— Куда тебе. С ногой-то...

— Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левой и на десять метров не кинешь.

— Кину или не кину — другой вопрос, через час танки уже здесь будут.

И в подтверждение его слов за рекой опять заурчало.

Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало, ничего не увидел, собрал с бруствера гранаты, подтянул потуже ремень, расправил складки спереди, надел скатку через плечо и, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам.

Где-то вдалеке пропел петух.

Первый танк неуверенно как-то вылез из-за полуобвалившейся хаты и, точно поколебавшись, идти дальше или не идти, медленно, переваливаясь с боку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял. Пушек в полку уже не было.

Танк медленно подполз к мосту. Остановился. Сделал три выстрела,— снаряды разорвались где-то совсем недалеко, за спиной у Сеньки,— и пошел по настилу. Из-за хаты появился другой танк.

Сенька взял связку гранат и взвел центральную. Три другие связки лежали рядом на траве.

Танк медленно полз, громыхая гусеницами. Он был серый, и на боку у него был черный крест, обведенный белой краской. Рядом с крестом ярко-красным пятном выделялся какой-то нарисованный зверь с задранными лапами.

«Совсем как на картинке,— вспомнил Сенька изображение танка, которое ему показывали в землянке.— Вот там баки с горючим, там мотор... Первую, значит, под гусеницы, вторую в баки, а дальше...»

Сенька стал на одно колено. Другой ногой уперся в какой-то корень. Мешали ветки кустарника. Сенька осторожно обломал их, потом взял связку гранат и проверил взвод.

Танк полз по мосту. Мост изгибался под ним, и, если б не грохот гусениц, вероятно, было бы слышно, как он скрипит.

Танк проехал три пролета. Осталось еще два. Сзади на мост въезжал уже другой. Третий полз по берегу.

Сенька посмотрел на небо — оно было чистое-чистое, без единого облачка,— на берег, на кусты, на ослепительно желтый песок у воды, стиснул зубы, размахнулся как можно сильнее и бросил связку прямо под гусеницы. Потом вторую. Потом встал во весь рост и бросил третью.

Гигантский клубок пламени взметнулся к небу.

С того берега застрочил пулемет.

Сенька припал к земле, нащупал рукой четвертую связку, взвел ее и тоже бросил. Она не долетела до моста, попала в воду. Громадный фонтан воды взвился к небу, и под Сенькой задрожала земля.

Танк горел, пуская клубы густого, черного как сажа дыма. Какие-то люди бежали по мосту в обратную сторону. Второй танк пятился назад.

Сенька надвинул на брови пилотку и, согнувшись, побежал к видневшемуся сквозь сосенки белому домику.

Когда он подбегал уже к самому домику, сзади что-то оглушительно грохнуло. Сенька на бегу обернулся. Два пролета моста охвачены были огнем.

Танка больше не было видно.

Клубящийся черный столб дыма медленно расползался по ослепительно голубому небу.

1950

РЯДОВОЙ ЛЮТИКОВ

Как-то ночью я возвращался с передовой после какой-то проверки. Устал как черт. Мечтал о сне — больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь... Но вышло не совсем так.

Спускаясь в наш овраг на берегу Волги, я еще издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять — пятнадцать бойцов сгрудились около входа в блиндаж.

— Чего толпитесь?

— Да заболел тут вроде один,— ответил кто-то из темноты.

— В санчасть отправить, значит, надо. Что стоите? Пополнение, что ли?

— Пополнение.

Получали мы его тогда (дело было в Сталинграде в конце января сорок третьего года) не часто и не густо, человек пятнадцать — двадцать в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же в овраге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые зеленые рукавицы, оружие и отправляли на передовую.

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев, мой связной.

— Симулянт...— Терентьев всем всегда был недоволен, на всех ворчал и всех осуждал.— Нажрался чего-то и в Ригу поехал. Напачкал только.

— Ладно. Позови Приймака. А бойцов... давайте-ка к штабу... А то подорветесь здесь еще на капсюлях. Живо...

Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю.

— Что с тобой?

Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило.

— Заведи его в землянку,— сказал я Терентьеву.— А я в штаб — и сейчас же назад. Приймаку скажи, чтоб градусник захватил.

Когда я вернулся из штаба, Приймак — фельдшер — сидел уже в землянке, и Терентьев поил его чаем.

— Ну что у него?

— А бог его знает,— отхлебывая горячий чай, сказал Приймак.— Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орел.

Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастерок и телогреек хрупкую стеклянку. Вид у него был плохой — лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.

Приймак глянул на градусник и встал.

— Тридцать восемь и пять,— поморщился.— Пускай полежит пока... После посмотрим.

Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку.

— Давно заболел? — спросил я.

— С утра.

— А чем кормили?

— Горох, консервы. Что еще...

— А раньше болел?

— Да как сказать... не очень.

Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас.

— Что же ты на том берегу не сказал, что болен? — спросил Приймак.

Боец поднял глаза — черные, усталые, лишенные веселого блеска глаза ничем не интересующегося человека,— но ничего не сказал.

— Симулянт, одно слово,— пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахара со стола в консервную банку.— Набил градусник, и все.

Приймак цыкнул на Терентьева:

— Много понимаешь ты в медицине,— и повернулся ко мне.—Консервы. Факт, что консервы. Пускай полежит денек.

Но Лютиков — фамилия бойца была Лютиков — пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня — в блиндаж моих саперов угодила мина, и пришлось его чинить,— лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел, не мигая, в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, без умолку ворчал и швырял предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита.

— Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, а так только...

— Хлеба, что ли, жалко?

— Хлеба-то не жалко, хай ест, но бодрости от него никакой. И вопросы всякие задает. Глупые...

— Вопросы глупые?

— Очень даже. На прошлой политинформации, например. Спрашивает, почему сахару не дают. Он, мол, видел на станции, когда ехал сюда, три вагона с сахаром разбомбленные. Почему, говорит, не дают? Куда он девается? Или про второй фронт. Почему второй фронт не открывают? В общем, сами понимаете... На фронте не был. Не обстрелянный. На «Красном Октябре» бомбят, а он вздрагивает...

— А ты отвечать умей. На то и замполит. А то спихнуть хочешь. Хитер больно. Впрочем, скажи помкомвзводу, чтоб направление ему в санчасть дал.

Помкомвзвод направление написал, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж.

Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека и осталось четыре вместе с помкомвзводом. Командир взвода две недели уже как лежал в медсанбате. А работы как раз подвалило. Немцы разбили НП, и надо было в одну ночь его восстановить. Помкомвзвод, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришел ко мне и говорит:

— Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся.

— А он что, выздоровел?

— А бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил. А раньше не курил. И обедать вставал.

— Что же, попробуй.

Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки.

— Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз, в обрез.

Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился.

— Никак. Возьмет бревно, полсотни метров перетащит — и как паровоз дышит.

— Завтра же в санчасть отправить. Пускай там решают. Толку не будет.

— М-да... Сапер не стоящий. Жидок больно.

На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона — начался утренний обстрел. Решили пересидеть.

Здоровенный, краснолицый, в кубанке набекрень, Никитин, комбат-три, распекал своего начальника штаба:

— Начальник штаба называется. Адъютант старший... Бумажки все пишешь, донесения. Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит — пушку эту сволочную подавить. Под мостом. А он и в ус не дует. Бумажки все пишет. Я целый день на передовой, Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле да по телефону только: «обстановочку, обстановочку». Вот тебе и обстановочка... Дохнуть не дает пушка окаянная.

Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы каким-то чудом втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днем и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось. Боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил никакого вреда — стреляла себе и стреляла. Только сейчас Никитин вернулся от командира полка после солидной головомойки и не знал, на ком сорвать злость. А начштаба сидит себе и крестики рисует.

Никитин набросился на меня:

— Тоже инженер называется... В газетах про вас, саперов, всякие чудеса пишут — то взорвали и то подорвали, а на деле что? Землянки начальству копаете.

Он встал, выругался и зашагал по блиндажу.

— Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними... Снимут три-четыре мины и сейчас же домой.

Он остановился, сдвинув кубанку с одного уха на другое.

— Ну ей-богу же, инженер... Помоги чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка,— он хлопнул себе по шее.— Долбает, долбает, спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем... Ну, посоветуй хоть что-нибудь.

— А что я тебе посоветую?

— Ну взорви ее, сволочь проклятую. Ты же сапер. Дохнуть ведь не дает. Честное слово...

В голосе его проскочили какие-то даже жалобные нотки.

— У меня всего три человека, сам видишь. Пропадут — что я делать буду? Ты ж мне не пополнишь...

— Ну одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное.

— Где я тебе этого одного достану? Трех вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь.

— А эти? — Он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили саперы.

— Эти мне самому нужны. Один — минер, другой плотник, третий печник. Вот и все.

— А четвертый? Связной, что ли?

— Не связной, а так... Консервами отравился.

— Знаем мы эти консервы.— И повернувшись к саперам: — Кто объелся, сознавайся!

Лютиков встал.

— Подойди, не бойся.

Лютиков подошел. Нескладный, неестественно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитиным, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги, и ковырял лопатой землю.

— Что же у тебя болит? А?

Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимал, чего от него хотят, и тихо сказал:

— Нутро.

— Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите.

Лютиков поднял голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал.

— Ну, а пушку подорвать можешь?

— Какую пушку? — не понял Лютиков.

— Немецкую, конечно. Не нашу же...

— А где она?

— Ты мне скажи, можешь или нет. Чего я зря объяснять буду.

— Ладно,— перебил я Никитина.— Хватит жилы тянуть из человека. Поправится, тогда... Да он к тому же и не сапер. А если тебе действительно саперы нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных саперов вызвать.

— А ну их к дьяволу. С ними мороки больше, чем с твоими. Скажу майору — он тебе прикажет, вот и все.

— Посмотрим, все ли это.— Я встал.— Казаковцев, поднимай людей.

Саперы зашевелились.

Лютиков стоял и ковырял лопатой землю.

— Давай, Лютиков,— крикнул Казаковцев,— без нас тут справятся...

Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться.

* * *

Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится.

— Кто там? — буркнул из своего угла Терентьев.

— Старший лейтенант спят уже? — раздалось из-за двери.

— Спят.

— Кто это? — высунул я голову из-под шинели.

— Да все этот... Лютиков.

— Чего ему надо, спроси.

Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал.

— Спят старший лейтенант. Понятно? Утром придешь. Не горит.

Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, перевернулся на другой бок и заснул.

Утром, за перловым супом, Терентьев сообщил мне, что Лютиков раза три уже приходил и все спрашивал, не проснулся ли я.

— Позови-ка его.

Терентьев вышел. Через минуту вернулся с Лютиковым.

— В чем дело, рассказывай.

Лютиков замялся, неловко козырнул.

— Разрешите обратиться.

— Чаю хочешь? Налей-ка кружку, Терентьев.

— Спасибо, пил только что...

— Садись тогда, чего стоишь.

Лютиков сел на самый краешек лежанки.

— Чего же тебе надо от меня?

— А насчет этой...— с трудом выдавил он из себя.— Пушки той.

— Какой пушки?

— Что комбат давеча говорил.

— Ну?

— Подорвать, говорил комбат, ее надо.

— Надо. Дальше.

— Ну, вот я и того... решил, значит...

— Подорвать, что ли? Так я тебя понял?

— Так,— еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы.

— Ты что, в своем уме? Ты и тола-то живого не видел, зажигательной трубки. А еще туда же, взрывать.

— Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал,— в голосе его послышался упрек.— Обидел он меня сильно.

— Кто обидел?

— Комбат.

— Комбат?

— Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуетесь, когда воевать не хочете.

Я рассмеялся.

— Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдешь. Скажешь Казаковцеву, у него направление есть.

— Не пойду я в санроту...

— То есть как это не пойду?

— Не пойду,— еле слышно сказал Лютиков и встал.

— А ты не рассуждай и выполняй приказание. Кругом, шагом марш. Чтоб через час ты был в санроте.

Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня исподлобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел.

— А ты, Терентьев, мотай к Казаковцеву и передай ему мое приказание. Через полчаса доложишь об исполнении.

Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым.

— Чего ты тут?

— Трубы майору чинил. Печка дымит.

— Исправил?

— А как же.

— Меня майор не спрашивал?

— Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин. Вас ругает, что пушку не хотите подорвать.

— Плевать я на него хотел. Лютикова отправил?

Казаковцев только рукой махнул.

— Его отправишь. Не пойду, говорит, и все... Выздоровел я уже. Совсем выздоровел.

— Вот еще несчастье на нашу голову.

— Я его и так и этак, и добром и угрозами — ни в какую.

— Бойцы в расположении или на задании?

— Во втором батальоне, колья заготовляют.

— Вернутся — пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет.

Разговор на этом и кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубахе и разговаривал с Никитиным.

— Вот жалуется на тебя комбат,— сказал он, показывая мне кивком на табуретку — садись, мол.— Пушку подорвать, говорит, не хочешь.

— Не не хочу, а не могу, товарищ майор.

— Почему?

— Людей нет.

— Сколько их у тебя?

— Трое и помкомвзвод.

Майор почесал рыхлую голую грудь и вздохнул.

— Маловато, конечно.

— Не три у него, а четыре,— резко сказал Никитин, не смотря на меня.

— Четвертый не сапер, товарищ майор.

Майор искоса посмотрел на меня.

— А тут твой помкомвзвод усатый говорил, что этот самый не сапер сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?

— Так, товарищ майор.

— Почему не докладываешь? А? — И вдруг разозлился: — Надо подорвать пушку, и все! Понял? А ну зови его сюда. Скажи часовому.

Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам — поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков горластого задиру,— а тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим набок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой.

Майор встал, застегнул подтяжки и подошел к Лютикову.

— Вид почему такой? Обмотки болтаются. Ремень на боку... Щетина на щеках.

Лютиков густо и сразу как-то покраснел. Наклонился, чтобы поправить обмотку.

— Дома поправишь,— сказал майор.— А ну-ка посмотри на меня.

Лютиков выпрямился и посмотрел на майора.

— Я слыхал, что пушку берешься подорвать? Правда?

— Правда,— совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора.

— А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты саперного дела не знаешь.

Лютиков чуть-чуть, уголками губ улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице.

— Плохо, конечно.

— Плохо или совсем не знаешь?

— Сказал, что подорву. Значит, подорву.

Даже Никитин засмеялся.

— Силен мужик...

— Ну, а ползать ты умеешь? По-пластунски?— спросил майор.

Лютиков опять кивнул головой.

— Покажи, как ты ползаешь. Кровать вот видишь мою — это пушка.

Лютиков укоризненно посмотрел на майора и тихо сказал:

— Не надо смеяться... товарищ майор.

Майор смутился — насупился и зачем-то стал натягивать на себя гимнастерку.

* * *

Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых толовых шашки в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур.

Он даже осунулся за эти несколько часов.

В два часа ночи Терентьев меня разбудил и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает.

Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел на двор. Лютиков ждал уже у входа с мешком за плечами.

— Готов?

— Готов.

Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетавшей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалась.

Никитин ждал нас на своем КП.

— Водки дать? — с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой.

— Не надо,— ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка.

— И нетерпелив же ты, дружок,— засмеялся Никитин.— Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой. Непоседа...

Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтоб обмотать его.

— Ты дырку в мешке сделай,— сказал я,— и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь.

Лютиков отколупнул от полена щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно и положил около печки. Надел белый маскхалат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. Запасную в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно.

В блиндаже было тихо. Даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка за затяжкой, докуривал цигарку. За столиком трещал сверчок, мирно и уютно, как будто и войны не было.

— Ну что, пошли? — спросил Лютиков.

— Пошли.

Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень далеко испуганно фыркнул пулемет и умолк.

Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался.

Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.

— Здесь,— сказал Никитин.

Лютиков скинул мешок.

Впереди ровной белой грядой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят — семьдесят.

— Смотри внимательно,— сказал я Лютикову.— Сейчас она выстрелит.

Но пушка не стреляла.

— Вот сволочи! — выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротой.

— Видал где?

Лютиков пощупал рукой бруствер, натянул рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вышел из окопа.

— Ни пуха ни пера,— сказал Никитин. Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова.

Некоторое время ползущая фигура его еще была видна, потом слилась с общей белесой мутью.

— Хорошо, что ракет здесь не бросают,— сказал Никитин.

Пушка выстрелила еще раз. Потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина. Подошел какой-то боец и спросил, нету ли у нас спички или «катюши».

Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще три, еще две...

Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху посыпались комья мерзлой земли.

— Молодчина,— сказал Никитин.

Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри.

Немцы открыли лихорадочный, беспорядочный огонь. Минут пятнадцать — двадцать длился он. Потом стих. Часы показывали половину четвертого. Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно: бело и мутно. Опять сели на корточки.

— Накрылся, вероятно,— вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер.— А пушка-то молчит. Ничего не видно...

Я тоже встал — от долгого ожидания замерзли ноги.

— А ну-ка, посмотри, инженер,— толкнул меня в бок Никитин.— Не он ли?

Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось — неясное и расплывчатое. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам.

— Послать бы кого-нибудь.

Но поблизости никого не было.

— Черт с ним, давай сами...

Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было. Рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка вывалилась из кармана и валялась рядом.

Мы втащили его в окоп.

* * *

Лютиков умер. Три малюсеньких осколка — крохотные, как сахарные песчинки, я видел их потом в медсанбате — попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер.

За день до его смерти я был у него. Он лежал, бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты. Но он не спал. Когда я подошел к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня.

— Ну?..

В голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал,— какая-то острая, сверлящая мысль.

— Все в порядке! — нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я.— Подлечишься мала-мала и обратно к нам.

— Нет, я не об этом...

— А о чем же?

— Пушка... Пушка как?

В этих трех словах было столько тревоги, столько боязни, что я не отвечу на то, о чем он все эти дни думал, что, если б он даже и не подорвал пушку, я б ему сказал, что подорвал. Но он подорвал ее, и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не могли установить там.

И я ему сказал об этом.

Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая тогда, у майора в землянке, вторая — сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой — чуть-чуть только приподнимались уголки губ,— в этой улыбке было столько счастья, столько...

Я не выдержал и отвернулся.

* * *

Через несколько дней немцы оставили Мамаев Курган. Их загнали за овраг Долгий.

Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника

поставили взорванную им немецкую пушку — вернее остатки покореженного лафета — и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у него в бумажнике.

В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили на Украину.

У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, если я не ошибаюсь, до сих пор хранится в полку.

1950

АВГУСТ-ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ

Король — это звучит гордо.

Шекспир, «Король Лир».

Случай, или точнее, знакомство это произошло в Дрездене в мае сорок пятого года, через несколько дней после капитуляции Германии. Вернее, даже не в Дрездене — он весь был разрушен американской авиацией,— а в шести километрах от него, в очень живописном городишке Пильнице, на берегу Эльбы, где расположился наш батальон.

Жили мы в замке, принадлежавшем когда-то саксонским королям, в их летней резиденции. Кругом был парк, какой и должен быть вокруг замка, с древними липами, тенистыми аллеями и задумчивым прудом, по которому, вероятно, когда-то плавали лебеди. Общее впечатление портил только дворец — нелепейшее сооружение с колоннами, носившее претенциозное название «Хинезишес Палэ» — «Китайский дворец», хотя китайского в нем, кроме каких-то нарисованных, якобы в китайской манере, фигурок на карнизе, не было ничего.

В замке жили престарелые художники, целыми днями где-то пропадавшие и приходившие поздно вечером с наполненными до отказа рюкзаками. Жили они в правом флигеле дворца, я со своим батальоном — в левом.

Война кончилась, но работы было много. Ежедневно приходилось ездить в Дрезден и заниматься там разминированием и приведением города в порядок. Ночевать возвращались в Пильниц.

И вот, как-то вечером, возвращаюсь я из города, усталый и голодный,— по дороге еще произошла авария с машиной,

задержавшая нас на добрых полтора часа,— и встречает меня во дворе дежурный по батальону — хитроглазый сержант Черныш.

— Вас там, товариш капітан, якийсь старичок, німець, дожидаеться.

— А что ему нужно? — спрашиваю.

— Не знаю, не каже.

— «Лебенсмиттель», должно быть. Направил бы прямо к старшине.

«Лебенсмиттель» — продукты питания — облеченная в приличную форму просьба поесть — первая фраза, которой научились наши бойцы от немцев.

— Ні, вас, каже, треба.

— А где он?

— Там, у залі сидить.

Старичок оказался маленьким, сухоньким, на вид лет шестидесяти, но еще подвижной и довольно сохранившийся, с обвислыми, как у породистой собаки, щеками, довольно бодро торчащими подкрашенными усами и невероятно аккуратно причесанными, вернее расчесанными, реденькими волосиками на голове. Одет он был, несмотря на жару, в пальто с потертым бархатным воротником, из которого выглядывал другой — стоячий, крахмальный. Брюки были узенькие, в полоску, на руках лайковые перчатки кремового цвета, за спиной, как у всякого добропорядочного немца в то время, болтался, точно горб у голодного верблюда, полупустой рюкзак.

При моем появлении лицо старичка приняло смешанное выражение удивления, восторга и горделивого достоинства — весьма сложное и неожиданное сочетание чувств.

— О-о-о! — сказал он и, слегка склонив голову набок и вперед, сделал несколько мелких шажков по направлению ко мне.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал я.

— О-о-о! — Старичок ловким, привычным движением скинул рюкзак и уселся в кресло. Я тоже сел.

— Чем могу быть полезен?

Старичок скрестил ноги, соединил кончики пальцев и приятно улыбнулся.

— Я чрезвычайно рад, герр оберст (я был только капитаном, но старичок возвел меня почему-то в полковники), чрезвычайно рад, герр оберст, что имею дело с таким высококультурным и образованным человеком (опять-таки я

не совсем понял, какие у старичка были основания сделать этот вывод, но возражать не стал, бог с ним). Мне также весьма приятно приветствовать в вашем лице человека, который, став, так сказать, хозяином этого прекрасного дворца, сумел, невзирая на трудности и сложности военного времени...

— Если можно, покороче. У меня мало времени, к тому же я очень устал.

— О да, да. Я понимаю.— Он быстро и сочувственно закивал головой.— У вас много работы. Американцы разрушили город. И мне говорили, что вы приводите его в порядок. Это очень порядочно с вашей стороны. После того, что...

Я взглянул на часы. Было около восьми, а встали мы в четыре.

— Ближе к делу? Понимаю. Русские — деловые люди. Они не любят терять время даром.— Он сделал паузу и, наклонившись слегка вперед, заговорил вдруг конфиденциальным тоном: — Поэтому я и пришел к вам, как к деловому человеку. Деловой человек к деловому человеку. Война войной, а дело делом. Не правда ли?

Он галантно улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. У него было невероятно подвижное лицо, как у актера или приказчика галантерейного магазина. Чувства, которые он в данный момент испытывал, сменяли друг друга с непостижимой быстротой. Иногда отыгравшее уже чувство не успевало еще сойти с его лица, как появлялось новое, и тогда они наслаивались одно на другое. Черныш, как-то потом уже, сказал, что старичок очень забавно «мордой хлопочет», и нам всем очень понравилось это выражение.

Я сидел, смотрел на этого «хлопочущего мордой» старичка и невольно ловил себя на том, что куда внимательнее слежу за его мимикой, чем за ходом его мысли.

А он тем временем продолжал:

— Я пришел поговорить с вами, герр оберст, по очень важному и существенному для меня делу. Я пришел поговорить об этом дворце, об этой усадьбе, так сказать. Видите ли, герр оберст, этот дворец и эта усадьба принадлежат мне.

При этих словах он встал и не без изящества отвесил легкий поклон.

— Вы хотите сказать, принадлежали?

В глазах старичка мелькнула и сразу же исчезла настороженность, уступив место обезоруживающей, невинной улыбке.

— Как вам сказать... Принадлежали, принадлежат... Это в конце концов...

Он не закончил фразы, пожал плечами и, усевшись опять в кресле, выжидательно стал смотреть на меня, скрестив по-прежнему ноги и соединив кончики пальцев.

Я ему сказал, что, насколько я знаю, этот дворец принадлежал когда-то саксонским королям, где они сейчас — неизвестно, да и в конце концов не очень интересно, что в доме этом живут теперь престарелые художники, что выселять их никто не собирается и что вообще все будет в порядке. К концу разговора я осведомился, с кем имею честь беседовать.

Старичок встал. Мне даже показалось, что он стал немного выше.

— Меня зовут Август-Фридрих-Вильгельм Четвертый. До ноября 1918 года я был королем Саксонии.

Он опять поклонился, и в поклоне этом, кроме изящества, была уже и некая торжественность.

Не буду врать — я опешил. Я ожидал чего угодно, только не этого. Я никогда в жизни не встречал королей. Разве что Людовика XIII и Ричарда Львиное Сердце в романах Дюма и Вальтера Скотта. Да иногда в старой «Ниве» мелькнет фотография: «Престарелый шведский король Гаокон такой-то на отдыхе в Ницце» или Альберт бельгийский, в каске и обмотках, награждающий каких-то солдат. Вот и все. Одним словом, представление об этой категории лиц я имел довольно туманное. Но все-таки имел. Туманное, но имел. То же, что сейчас сидело передо мной,— суетливое, с фиолетовыми усами и бесконечными «герр оберст» — рушило все мои представления о тех, кто в книгах именовался августейшими монархами.

Я предложил папиросу. Август-Фридрих-Вильгельм IV с охотой взял. Похвалил табак. Я предложил ему пачку. Он сказал «о-о-о» и спрятал ее в рюкзак.

Заговорили о жизни — так надо было, очевидно, из вежливости, прежде чем опять приступить к делам. Старик жаловался на американские бомбежки, на Гитлера (это специально для меня), на нелегкую жизнь. Когда восемнадцатый год — «ох, этот тяжелый, невеселый восемнадцатый год!» — лишил его короны, он решил посвятить себя искусству.

— О! Искусство! Единственно святое, что осталось еще в жизни. Оно над всем. Оно не знает войн и революций.

Оно парит над нами как... как...— глаза его слегка увлажнились, и он не закончил фразы.

— Вы художник? — спросил я его.

— Нет, к сожалению, я не художник. Бог не наделил меня талантом. Но я помогаю художникам. Я помогаю бедным старым художникам.— В этом месте его голос слегка дрогнул.— Я даю им кров, которого они лишены.

— Вы им сдаете комнаты? — уточнил я.

— Да. Я им даю кров, которого они лишены. И они очень мне благодарны.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что у короля таких дворцов, как в Пильнице, еще три и что все четыре он сдает, вернее, сдавал, и вот теперь его очень интересует— «ведь мы с вами, герр оберст, люди деловые»,— у кого он должен получить разрешение, «или как это у нас называется», одним словом, где он может оформить свои права на владение этими четырьмя дворцами.

В самых вежливых выражениях я ему дал понять, что этот вопрос пока еще не решен и что, когда он будет решен, его, Августа-Фридриха-Вильгельма, об этом поставят в известность, а пока, если он не возражает, я могу его снабдить кое-какими «лебенсмиттелями».

О, бедный, бедный король! С каким видом он укладывал в свой рюкзак консервы и хлеб, выданные ему моим старшиной Федотиком. Он все время повторял свое «о!», причем каждый раз на более высокой ноте, и на лице его можно было прочесть весьма длинную фразу, обозначавшую приблизительно следующее: «О, как это все тяжело! Но что поделаешь— жизнь, увы, устроена так, что иногда и венценосцам приходится прибегать к услугам добрых людей. Это горько, очень горько, но отнюдь не постыдно, и вы понимаете меня, герр оберст».

Когда мы шли по двору, он указал на дворец и сказал:

— Не правда ли, прекрасное сооружение? Оно обошлось моему отцу в...— и он назвал какую-то значительную сумму, бесспорно доказывавшую художественные качества дворца.

Он стал довольно часто заходить ко мне. Он приезжал на стареньком велосипеде, оставлял его около ворот и, любезно приподымая котелок, шел через весь двор к моему флигелю. Черныш, сияя, докладывал: «До вас опять цей

самий, король їхній...» —а из-за его спины уже выглядывал, тоже сияющий, Август-Фридрих-Вильгельм со своим неизменным рюкзаком.

— Морген, герр оберст. Сегодня чудная погода.

Он садился в кресло, закуривал папиросу и каждый раз восторгался русским табаком.

— Прима, прима!

Насчет дворца и усадьбы он уже не говорил. Его интересовало другое.

— Вот вы скажите мне, пожалуйста, герр оберст, как, наваш взгляд, могли бы отнестись ваши власти к тому, чтобы я открыл, например, небольшое дело. Ну, совсем пустяк какой-нибудь... Дрезденские дамы, например, очень страдают сейчас из-за отсутствия шляпок. Дама всегда остается дамой. Что поделаешь. Война войной, а дама дамой,— он игриво улыбался и слегка хлопал меня по колену.— Вот и хочется как-то помочь им...

— Так же, как вы в свое время помогали художникам?

Он делал вид, что не понимает моей шутки, а может, и действительно не понимал.

— Вот именно, вот именно. Нас четверо — я, моя супруга, дочь и ее муж, очень приличный, воспитанный господин, не нацист и никогда им не был. Вот и все. Никакой наемной силы, никакой эксплуатации, так что с вашей точки зрения,— он опять очень мило улыбался,— никаких, так сказать, нарушений...

Я ничего не мог ему посоветовать, так как был несведущ в этих вопросах, и каждый раз он очень огорчался.

Как-то раз он явился со своей супругой, такой же, как он, сухонькой, тоже в каком-то крахмальном воротничке, в кружевных перчатках и с громадным старомодным зонтиком с крючком. Звали ее как-то очень длинно, но я запомнил только одно имя — Амалия. Она вздыхала и ахала, осматривала комнаты и даже где-то пощупала обвалившуюся штукатурку. К концу разговора она спросила, не знаю ли я, будут ли брать с них налоги, и если да, то какие. Я сказал, что не знаю. Она была явно разочарована.

А как-то он притащил в своем рюкзаке два громадных семейных альбома. Это были пудовые фолианты, тисненные золотом, с гербами на переплетах и массивными застежками. Внутри было сборище королей, принцев и курфюрстов со всеми их семействами. Сам Август-Фридрих-Вильгельм изображен был более чем в двадцати видах — пухлым младенцем

с задранными кверху ножками, отроком в бархатных штанишках и с кружевным воротничком, усатым буршем в корпоративной шапочке, еще более усатым офицером какого-то кавалерийского полка и, наконец, в королевском облачении — в мантии, короне, весь усыпанный орденами. Усы у него торчали почти как у Вильгельма, и в глазах было что-то такое монаршье.

Уходя, он подарил мне большую фотографию, где были изображены он и его Амалия: он — в безукоризненном фраке, она — в подвенечном платье. Оба были молоды, красивы и в руках у обоих — большие букеты роз.

— Это когда я еще был кронпринцем,— пояснил Август-Фридрих-Вильгельм.— Мне было тогда двадцать четыре, а Амалии двадцать один. Не правда ли, она здесь очень мила? Совсем грезовская головка. Кайзер Вильгельм Второй, когда увидел ее — мы уже тогда соединились, так сказать, узами Гименея,— погрозил мне пальцем и сказал: «У тебя есть вкус, Август». А он был большой знаток женщин. Кстати, она из очень хорошей фамилии. Отец ее, младший сын великого курфюрста...

И он начал рассказывать одну из обычных бесконечных историй, которыми буквально вгонял меня в гроб. Он знал все, что происходило при дворах германских княжеств и герцогств с начала XX века. Он знал родословные всех монархов и их приближенных, знал все тайны и интриги дворов, с точностью очевидца мог рассказать все связанные с ними альковные секреты, помнил все парады и торжественные обеды, гербы и туалеты, манеры и моды — одним словом, это был король-энциклопедия.

Сначала меня это забавляло, потом стало несколько утомлять, а когда визиты участились чуть ли не до ежедневных, я велел Чернышу направлять старика прямо к Федотику за продуктами.

За день или два до того, как наш батальон должен был совсем покинуть Дрезден, я, совершенно случайно, опять столкнулся с «поверженной династией».

Я шел по одной из разрушенных улиц города, когда за моей спиной раздался знакомый голос:

— Герр оберст, герр оберст!

Я обернулся. Август-Фридрих-Вильгельм приветливо махал мне рукой и подзывал к себе. Он выглядывал из ка-

кой-то щели полуразрушенного дома, а над головой его красовалась вывеска: «Шляпное дело м-ме Амалии». Вывеска была красивая — слева нарисована дамская шляпка и ленты, а над именем мадам Амалии лев и единорог, с закрученными хвостами и высунутыми языками, поддерживали корону.

— Прошу, прошу, герр оберст, заходите.

Я зашел. Внутри было очень чистенько и уютно. На стенах висели картинки каких-то замков с башнями, в крохотном, выходящем на улицу, оконце стоял пышногрудый бюст улыбающейся дамы в кокетливой шляпке, а сама фрау Амалия, помолодевшая и посвежевшая, по-моему даже подкрашенная, в светлом передничке и светлой наколочке, любезно улыбалась из-за прилавка. Рядом стояла поблекшая, с поджатыми губами, обиженного вида особа, очевидно дочь, и время от времени появлялся какой-то молчаливый субъект с висячими губами — по-видимому, тот самый, очень приличный, воспитанный господин, не нацист, муж дочери. Заказчиков и покупателей я что-то не заметил.

— Как идут дела? — спросил я.

— Средне, герр оберст, весьма средне,— Август-Фридрих-Вильгельм покачал головой.— Сами понимаете, покупательная способность у населения невелика. И с материалом к тому же трудно. Хочется, чтобы все было все-таки первосортное, а время такое, что первосортное, сами понимаете, не всегда удается достать. Трудно, в общем, трудно. Думаем вот, параллельно, начать открытки продавать. Старый, так сказать, Дрезден и Новый. До и после. Вы меня понимаете? Любопытно? А? Как на ваш взгляд — спрос будет?

Он отошел к своей Амалии и о чем-то с ней зашептался. Потом неожиданно спросил меня:

— Ваша жена, герр оберст, блондинка или брюнетка?

— Шатенка, а что?

Они опять пошептались. Потом поблекшая дочка куда-то вышла и вернулась с большой круглой коробкой.

— Так вы говорите, шатенка? — опять спросил меня старик.

— Шатенка.

— Тогда вот, прошу. От меня и,— он сделал жест в сторону своей супруги,— фрау Амалии. Это носит сейчас вся Европа.

Он протянул мне коробку. В ней оказалась очень большая и уродливая шляпа розового цвета, с голубыми банти-

ками и какими-то букетиками, приколотыми к разным местам. Я был очень тронут и поблагодарил.

Я пробыл еще минут десять в их магазинчике. Старик успел рассказать мне очередную историю о какой-то принцессе, пожаловаться на свой ревматизм, осведомиться, не знаю ли я, где можно достать пирамидон — у фрау Амалии по ночам страшные головные боли. Потом я попрощался и направился к выходу.

— Айн момент, герр оберст,— фрау Амалия любезно кивала мне из окошка кассы.— С вас пятьсот марок, герр оберст.

— С меня?..

— За шляпку. Вы нигде в городе так дешево не найдете.

Я вынул пятьсот марок и заплатил.

— Ауф видерзейн, герр оберст,— сказала фрау Амалия, протягивая мне чек.

— Ауф видерзейн,— как эхо, повторили дочка и зять.

— Ауф видерзейн,—сказал Август-Фридрих-Вильгельм, открывая передо мною дверь.— Заходите, не забывайте. На днях уже открытки будут. Старый Дрезден и Новый. Разрешите вам оставить серию?

Шляпку я подарил нашей поварихе — она осталась очень довольна, свадебную же карточку — ее сынишке. Он пририсовал обоим — и Августу-Фридриху-Вильгельму IV и Амалии — роскошные усы и бороды, щеки раскрасил красным карандашом и утверждает, что оба они от этого стали намного красивее.

1955

ВАСЯ КОНАКОВ

Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. Участок его обороны находился у самого подножья Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее ожесточенные бои.

Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищенный, а главное с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. Днем пятая рота была фактически отрезана от остального полка. Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. Все это очень осложняло оборону участка. Надо было что-то предпринимать. И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. Расстояние между ними было небольшое, метров двадцать, не больше, но кусочек этот был так пристрелян немецкими снайперами, что перебегать его днем было просто немыслимо. В довершение всего был декабрь, грунт промерз, и лопатами и кирками с ним ничего нельзя было поделать. Надо было взрывать.

И вот тогда-то — я был в то время полковым инженером — мы и познакомились с Конаковым, а позднее даже и сдружились. До этого мы только изредка встречались на совещаниях командира полка да во время ночных проверок обороны. Обычно он больше молчал, в лучшем случае вставлял какую-нибудь односложную фразу, и

впечатления о нем у меня как-то не складывалось никакого.

Однажды ночью он явился ко мне в землянку. С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. Смуглый кудрявый парень, с густыми черными бровями и неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. Просидел он у меня недолго — выкурил цигарку, погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чертов грунт сломал».

— Ладно,— сказал я.— Присылай солдат, я дам сколько надо.

— Солдат? — Он чуть-чуть улыбнулся краешком губ.— Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперед. Давай мне, сам понесу.— И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок.

На следующую ночь он опять пришел, потом его старшина, потом опять он.

— Ну, как дела? — спрашивал я.

— Да ничего. Работаем понемножку. С рабочей-то силой не очень, сам знаешь.

С рабочей и вообще с какой-либо силой у нас тогда действительно было «не очень-то». В батальонах было по двадцать—тридцать активных штыков, а в других полках, говорят, и того меньше. Но что подразумевал Конаков, когда говорил о своей роте, я понял только несколько дней спустя, когда попал к нему в роту вместе с поверяющим из штаба дивизии капитаном. До сих пор я не мог никак к нему попасть, подвалило работы с минными полями на других участках, и до пятой роты как-то руки не дотягивались.

Последний раз, когда я там был,— это было недели полторы тому назад, — я с довольно-таки неприятным ощущением на душе перебегал эти проклятые двадцать метров, отделявшие окопы от насыпи, хотя была ночь и между ракетами было все-таки по две-три минуты темноты.

Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулеметы и полковая сорокапятка, шел не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят не больше, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.

Конакова в его блиндаже мы не застали. На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой

шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись, с подвешенной к уху трубкой молоденький связист.

— А где командир роты?

— Там...— куда-то в пространство, неопределенно махнул головой связист.— Позвать?

— Позвать.

— Подержите тогда трубку.

Вскоре он вернулся вместе с Конаковым.

— Здорово, инженер. В гости к нам пожаловали? — Он снял через голову автомат и стал расталкивать храпевшего старшину: — Подымайся, друг. Прогуляйся малость.

Старшина растерянно заморгал глазами, вытер рукой рот.

— Что, пора уже?

— Пора, пора. Протирай глаза и топай.

Старшина торопливо засунул руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. Мы с капитаном уселись у печки.

— Ну как? — спросил он, чтобы с чего-нибудь начать.

— Да ничего.— Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ.— Воюем помаленьку.

— И успешно?

— Да как сказать... Сейчас вот фриц утих, а днем, поганец, два раза совался.

— И отбили?

— Как видите,— он слегка замялся.— С людьми вот только беда...

— Ну с людьми везде туго,— привычной для того времени фразой ответил капитан и засмеялся.— За счет количества нужно качеством брать.

Конаков ничего не ответил. Потянулся за автоматом.

— Пойдем, что ли, по передовой пройдемся?

Мы вышли.

И тут-то выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемета на флангах — одним словом, все то, что и положено быть на передовой. Не было только одного — не было

солдат. На всем протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. Только старшину. Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам.

Потом уже, много месяцев спустя, когда война в Сталинграде кончилась и мы, в ожидании нового наступления, отдыхали и накапливали силы на Украине, под Купянском, Конаков рассказывал мне об этих днях, когда они вместе со старшиной держали оборону всей роты.

— Трудновато было, что и говорить. Сам удивляюсь, откуда нервы взялись... Тогда еще, когда ход сообщения рыли, в роте было человек шесть бойцов. Потом один за другим все вышли из строя. Немец каждый день по три-четыре раза в атаку ходит, а пополнения нет. Что хочешь, то и делай. Звоню комбату, а он что? — сам солдат не родит. Жди, говорит, обещают со дня на день подкинуть. Вот мы и ждали — я, старшина и пацан, связист Сысоев. Сысоев на телефоне, а мы со старшиной по очереди на передовой. Постреливаем понемножку, немцев дурачим, пусть думают, что нас много. А как атака... Ну тут нас пулеметчики и артиллеристы вывозили. На насыпи, под вагонами, два станковых стояло и одна сорокапятка. Вот они и работали... Но вообще, что и говорить, приятного было мало. Особенно когда старшина на берег, на кухню ходил. Бродишь один-одинешенек по передовой, даешь редкие очереди — много нельзя, патроны для дела беречь надо — а сам как подумаешь, что вот ты здесь один, как палец, да в блиндаже Сысоев с трубкой, а впереди перед тобой, метров за пятьдесят каких-нибудь, немцев черт его знает сколько. Сейчас вот вспоминаешь, улыбаешься только, а тогда... Ей-богу, когда старшина с берега приходил с обедом, расцеловать его готов был. А когда через три дня пять человек пополнения дали, ну, тогда уж ничего не страшно стало.

Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. На Донце я был ранен. Когда вернулся в полк, Конакова в нем уже не было — тоже был ранен и эвакуирован в тыл. Где он сейчас, я не знаю. Но когда вспоминаю его — большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за

счет количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоем со старшиной отбивал по нескольку атак в день и называл это только «трудновато было»,— мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен никакой враг. А ведь Конаковых у нас миллионы, десятки миллионов.

1956

СУДАК

1

Вергасов выехал из орешника, и впереди под холмом показалась Гусинка, село, в котором расположилась третья рота. Серко, избавясь наконец от непрестанно стегавших его по глазам ореховых веток, сразу прибавил шагу.

Было жарко, как и положено на Украине в июле месяце, солнце стояло почти над самой головой, но Вергасов только что выкупался, дважды переплыл речку туда и обратно и чувствовал себя сейчас свежо и бодро. Собственно говоря, и без купания у него не было оснований чувствовать себя иначе — ему было двадцать пять лет, здоровьем природа его не обидела, в полку его любили, в штабе дивизии считали одним из лучших командиров батальона. Вчера к тому же закончились инспекторские занятия, к которым готовились чуть ли не месяц, закончились неплохо, даже хорошо — комдив отметил батальон Вергасова в своем заключительном слове,— и теперь, после месяца напряженной работы, можно было, в ожидании отправки на фронт, немного отдохнуть.

Правда, в армии отдых — понятие условное, особенно на переформировке,— что бы там ни было, надо копать траншеи и вообще заниматься каким-то делом,— но все-таки это не тактические занятия.

Сейчас Вергасов объезжал роты, хотя большой надобности в этом не было,— просто захотелось прогуляться.

Проехав мостик, Віргасов перешел на галоп и, разгоняя во все стороны неистово кудахтавших кур, вихрем пронесся по улице. Стоящий у штабной хаты часовой, еще издали завидев комбата, сразу же отвернулся от хозяйской дочки Мариси, чистившей во дворе картошку, быстрым движением поправил пилотку, гимнастерку и ремень и застыл с безразличным выражением лица, которое считается почему-то необходимым для часового.

Вергасов осадил коня.

— Где старший лейтенант?

— У себя, товарищ капитан,— не меняя выражения лица, ответил боец.— Позвать?

— Позвать.

— Дежу-у-рный!

В дверях показался молодой, круглолицый, дожевывавший что-то сержант. Увидав комбата, он скрылся, почти тотчас появился опять и рысцой, застегивая на ходу ремень, подбежал к Вергасову.

— Спал небось?

— Никак нет, товарищ капитан.

— А чего физиономия помятая?

Сержант пощупал ладонью лицо, словно проверяя, действительно ли оно помятое,— на самом деле оно было по-молодому свежим и гладким — и сказал:

— А это так, товарищ капитан... от усталости.

— От усталости. Знаем мы вашу усталость. Спать по ночам надо, сержант. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан.— Сержант понимающе улыбнулся и зачем-то даже козырнул. Часовой тоже ухмыльнулся.

— Позови-ка старшего лейтенанта.

Сержант сорвался с места и, придерживая рукой звенящие на груди медали, побежал звать командира роты.

Вергасов полез за портсигаром, раскрыл его и протянул часовому.

— Закурим, что ли?

— Мне нельзя, товарищ капитан,— лицо часового приняло опять безразличное выражение.

— А ты на после-обеда. Бери, бери, не бойся. «Казбек», в штадиве вчера давали.

Боец осторожно, точно боясь запачкать другие папиросы, вынул одну и сунул за ухо.

— А тебе можно? — Вергасов повернулся к сидевшей на крылечке хитроглазой, краснощекой Марисе.

— Смиетесь, чи шо?

— Боишься, что румянец потеряешь? А?

Вергасов въехал в калитку и остановился над Марисей.

— А ну вас, товарищ капитан! — Марися притворилась, что испугалась лошади, и слегка отодвинулась.

Вергасов наклонился и шутливо пустил ей дым в лицо.

— Замуж тебя, Марися, отдать надо, вот что. А то вот уйдем скоро, совсем скучно станет.

Марися прыснула и уперлась ладонью в потную лошадиную грудь — не подходи, мол.

— И не соромно вам, товарищ капитан!

— Ну ладно, принеси тогда водички.

Марися ловко повернулась на пятках и побежала в хату.

В калитку входил командир роты, любимец Вергасова, старший лейтенант Коновалов. Сталинградец, в прошлом моряк, до безрассудства смелый и прекрасно знавший, что за это ему многое прощается, он давно уже был бы в дивизионной разведке, если бы не Вергасов, который не отпускал его от себя. Коновалов был катастрофически ряб, что нисколько не мешало ему быть «первым парубком на селе» благодаря силе, ловкости и твердой вере в свою неотразимость.

— Старший лейтенант Коновалов прибыл по вашему приказанию,— отчеканил он, неторопливо поднося согнутую ладонь к правой брови и щелкнув шпорами, с которыми никогда не расставался, так же как и с тельняшкой и морским ремнем,— сочетание несколько забавное, но и девушкам и самому Коновалову весьма нравившееся.

Вергасов глянул на тельняшку.

— Опять?

— Поправился на деревенских харчах, не застегивается,— одними глазами улыбнулся Коновалов, показывая, что пытается, но никак не может застегнуть пуговицу воротничка.

— И бляха флотская.

Коновалов снова улыбнулся.

— Что поделаешь, не выдает ОВС ремня, сколько раз просил.

— А люди где?

— Работают люди.

— Работают?

— А как же. Вторую линию обороны делают. Я им лоботрясничать не разрешаю.

— И этот тоже работает? — Вергасов показал на проходившего по соседнему участку солдата с двумя ведрами в руках.

— Этот? — Коновалов стрельнул глазами в сторону солдата.— Так это же Качура. Вчера консервами отравился. Я ему освобождение дал.

— Ну смотри.— Вергасов наклонился к Марисе, которая давно уже стояла с кружкой в руке.

— Пойдешь за Коновалова, Марися? А?

— От пристали. Да берите вже воду...

Капитан с аппетитом выпил холодную воду и, возвращая кружку, сделал вид, что хочет схватить и посадить Марисю в седло. Марися расхохоталась и отбежала к крыльцу.

— Ох, боюсь, Коновалов, не вырвешься ты отсюда,— рассмеялся Вергасов и дружелюбно сбил пилотку с его головы.— Так, говоришь, работают?

— Работают.

— Пойдем, что ли, посмотрим? — Вергасов сделал движение, будто хочет соскочить с коня.

— Пойдем, чего же,— невозмутимо ответил Коновалов.

На самом деле коноваловская рота после тактических занятий поголовно отдыхала. И Вергасов знал это — он только что проезжал мимо второй линии обороны, и там ни души не было — и Коновалов тоже знал, что капитан обо всем догадывается, и оба они сейчас играли в игру, и обоим она доставляла удовольствие, так же как и без конца повторявшийся эпизод с тельняшкой и бляхой.

«Комроты — дай бог! — подумал Вергасов, глядя на подтянутую, но не слишком, а в меру, как и положено настоящему офицеру-фронтовику, фигуру Коновалова.—С ним бы до Берлина...»

А Коновалов, в свою очередь, подумал: «И повезло мне, черт, на комбата. За ним как за стеной каменной...»

Вергасов посмотрел на часы.

— Нет, не успею, третий час уже. Надо еще во вторую съездить. Отремонтировали там мостик?

— Так мимо мельницы скорей,— ответил Коновалов.

Вергасов понял, что мостик как был, так и остался, но ничего не сказал и тронул поводья.

— Бувай, Марися. Подумай, о чем говорили,— и выехал за калитку.

2

Ильин — недавно прибывший в полк командир второй роты — сидел на завалинке и писал. Он не заметил, как подъехал Віргасов.

— Прохлаждаетесь? — спросил Віргасов.

Ильин вздрогнул и встал.

— Письмо пишу.

— Письмо пишете. А люди где?

— Люди отдыхают.

— Отдыхают?

— Отдыхают.

Віргасов оглядел Ильина с головы до ног — всю его тощую фигуру в широкой, вылезшей сзади из брюк выцветшей майке.

— Приведите себя в порядок, товарищ лейтенант.

— Простите...— сказал Ильин и, заправляя майку в брюки не в том месте, где она вылезла, пошел к хате.

Он почти сразу опять вышел, в гимнастерке и пилотке. Гимнастерка была коротка и с заплатой внизу, пилотка же сидела ровно посреди головы, как носят только люди, никогда не бывавшие на фронте.

— Теперь объясните мне, почему у вас рота отдыхает, а не работает?

— Вчера кончились тактические занятия,— сказал Ильин,— люди устали. Вот я и решил...

— Я не спрашиваю вас, что вы решили. Я спрашиваю, почему люди не работают.

— Я объясняю. Вчера кончились тактические занятия...

— Это было вчера. А я вас спрашиваю, почему люди сегодня не работают? Вы понимаете? Не вчера, а сегодня.

Ильин, очевидно, не понял, так как молча пожал плечами.

— И не пожимайте плечами, когда вас спрашивают. В армии плечами не пожимают. Вы сейчас в армии, а не у себя дома. Ясно?

— Ясно,— не глядя на капитана, ответил Ильин, и некрасивое, с близорукими глазами и слишком большим лбом лицо его покраснело.

«И чего это он всегда в сторону смотрит? — подумал Віргасов.—С ним говоришь, а он всегда куда-то в сторону».

— Выстройте-ка людей,—Віргасов посмотрел на часы.— Пять минут сроку даю.

Капитан соскочил с лошади, не глядя кинул поводья солдату и зашагал по двору.

Ильин попал к нему в роту каких-нибудь две недели тому назад. Попал на место подорвавшегося на мине Кузовкина, опытного, боевого командира, с которым Вергасов провоевал весь Сталинград. Вергасов собирался заменить его Сергеевым, толковым парнишкой из командиров взводов, но ему прислали этого Ильина, который и пороху-то никогда не нюхал,— вот и воюй с ним.

Собственно говоря, пока Вергасову особенно нечего было жаловаться на Ильина. Рота от других не отставала, на тактических занятиях прошла тоже неплохо, но при чем тут Ильин? Вытянули командиры взводов и сами солдаты. А Ильин? Как все здоровые и веселые люди, Вергасов любил таких же веселых и здоровых, как он сам. Поэтому он любил Коновалова, с которым и воевать хорошо, и выпить можно, и песню лихую спеть. Парень как парень. А этот? Подойти отрапортовать и то не может. Руки как грабли, ноги журавлиные, голенища болтаются. С солдатами разговаривает, точно одолженья у них просит. Рыба какая-то малокровная, а не командир...

Ильин вернулся и доложил, что рота сейчас будет выстроена.

— А документация и отчетность у вас в порядке? — спросил Вергасов.

— В порядке,— сказал Ильин.

— Покажите-ка.

— Ильин направился в хату.

— Вы заместителя пришлите,— крикнул Вергасов вдогонку.— Чего вы сами все бегаете?

— Он болен, товарищ капитан. Приходится самому.

«Конечно ж, самому. А другого на его место временно назначить не додумается».

Документация оказалась в полном порядке. Все было написано чернилами, четким красивым почерком.

— Вы что же, и на передовой собираетесь чернилами писать?

— Если не будет чернил, буду карандашом,— попытался улыбнуться Ильин.

Вергасов, почти не держась рукой, вскочил в седло и вполоборота кинул Ильину:

— Позанимайтесь сейчас строевой. Лично вы. Ясно? Завтра приду проверю.

За воротами он свернул влево и направился к Коновалову, но на полпути вспомнил, что в 18.00 нужно отправить в штадив карту обороны батальона, и, выругавшись про себя, затрусил рысцой в сторону мельницы.

«Куда б его сплавить, черт возьми? — думал он дорогой.— Поговорить, что ли, с Петрушанским? Наверно, им в штабе такой тип нужен. Геморройной работы у них хватает. А я бы Сергеева на его место поставил. Ей богу, поговорю с Петрушанским».

3

На другой день Вергасов приехал все-таки во вторую роту. Зачем — он и сам точно не знал. Проверять строевую подготовку не было никакого смысла— люди готовились не к параду, а к войне, да и батальон по строевой считался первым в полку, но погода стояла хорошая, проехаться верхом приятно, а на обратном пути можно и к Коновалову заглянуть. Одним словом, поехал.

Ильина он застал в поле. Человек десять солдат, без рубашек и совсем коричневые от загара, сидели вокруг него кружком, а он что-то рассказывал.

Когда Вергасов приблизился, все встали, и командир роты отрапортовал, что в таком-то взводе идут политзанятия. Голос у Ильина был глухой, тихий, и, когда он докладывал, казалось, что он в чем-то оправдывается. В одном месте он запнулся и, наклонив голову и наморщив брови, три раза повторил одно и то же слово.

— Вольно,— сказал Вергасов и соскочил с коня.— Стреножьте-ка его, ребята! — И, повернувшись к Ильину, спросил: — Какая тема?

— Занятий? — спросил Ильин.

— Конечно, занятий. А чего ж?

— Французская революция.

— Какая, какая революция?— не понял Вергасов.

— Французская.

— Почему французская?

— Просто заинтересовались бойцы, я вот и решил...

— Опять решили. Все вы решаете. Вчера отдохнуть решили, сегодня заниматься историей. А воевать кто будет? А?

Ильин, по своему обыкновению, смотрел через плечо комбата куда-то в пространство.

— Воевать кто будет, я вас спрашиваю? Дядя?

Вергасов прошелся взад и вперед. Столдаты стояли и молчали.

— Гранаты есть учебные?

— Есть,— ответил Ильин.

— Будем гранаты бросать. Пошлите за гранатами.

Пока один из солдат бегал в село, Вергасов шагал взад и вперед и ни с кем не разговаривал. Бойцы молча курили. Солдат вернулся, Вергасов взвесил на руке деревянные чурки, скинул ремень, выбрал гранату потяжелей и, разбежавшись, кинул ее в небо.

— Вот это да!..— вырвалось у кого-то из солдат.

Граната упала далеко за кустами. Отмерили, вышло шестьдесят восемь шагов.

Потом по очереди кидали солдаты, кидали неплохо, но ни один не докинул до того места, куда упала граната капитана. После каждого броска мерили расстояние шагами, и Ильин записывал в записную книжку. Скованность и неловкость первых минут рассеялись сами собой. Солдаты, как всегда во время физических упражнений, веселились, смеялись, по нескольку раз «перебрасывали», желая побить комбата, но побить так и не смогли. Вергасов бросил еще раз, но уже поближе, все на него дружески зашикали, а он, потирая плечо, сказал:

— Без тренировочки, братцы, и водки больше стакана не выпьешь.

Все расхохотались.

Вергасов поднял с земли ремень, затянул его потуже — он гордился своей тонкой талией — и поправил портупею.

— Что ж... Неплохо. Думал, что хуже,— и, будто только сейчас заметив стоявшего в стороне с записной книжкой Ильина, спросил его:

— А вы что же?

Ильин глянул на капитана и стал засовывать записную книжку в боковой карман. Он был туго набит, и книжка никак не хотела влезать. Солдаты сразу умолкли. Вергасов выбрал из гранат одну и подал ее Ильину.

— Прошу.

— Тот взял и отошел на несколько шагов.

— Ремешок бы скинули...— посоветовал вполголоса кто-то из бойцов.

Ильин торопливо снял ремень и вдруг побежал и бросил гранату. Бросил неловко, как-то по-женски, через голову.

Она медленно и словно нехотя завертелась в воздухе, упала шагах в тридцати и откатилась в сторону.

Солдат сбегал и принес ее. Расстояния никто не мерил. Ильин, долго и ни на кого не глядя, застегивал ремень.

4

В коноваловской хате, самой просторной и удобной, праздновалась годовщина вступления Вергасова на должность командира батальона. На торжество приглашены были даже командир полка, замполит и начальник штаба. Они, правда, посидели недолго: у майора Филиппова, съевшего что-то жирное, начался обычный приступ печени, и замполит увел его, а начальника штаба вызвали срочно по телефону, и он больше не вернулся.

Осталась одна молодежь: комбат-1, хохотун-сибиряк Платонов, знаменитый на весь полк тем, что после бани всегда выбегал на снег; маленький, похожий на цыгана Хейломский — командир второго батальона; командиры рот, за исключением Ильина — он дежурил по батальону,— и человек пять командиров взводов.

С уходом начальства стало проще и веселей. Скинули ремни, а затем и гимнастерки, затянули «Хмелю», «Йихав козак на вийноньку», «По долинам и по взгорьям», а когда надоело петь, начали бороться, делать стойки, мосты и, упершись на углу стола локтями, с налитыми кровью лицами пытались отогнуть друг другу руки. Коновалов, не упускавший любого предлога, чтобы показать свою мускулатуру, снял майку и даже в минуты отдыха принимал напряженные позы, которые наиболее выгодно показывали его лятусы, бицепсы и грудные мышцы.

Потом пошли купаться — ночь была теплая и лунная — и Вергасов с Коноваловым плавали наперегонки, ныряли, фыркали, брызгались; Платонов, закинув руки за голову, лежал без движения на воде, выставив свой громадный живот, и говорил, что может так даже спать; Хейломский изображал, как плавают женщины, гребя сразу двумя руками и шумно хлопая ногами по воде. Одним словом, веселились вовсю.

Часам к двенадцати все устали и постепенно разбрелись по домам. Вергасов пошел ночевать к Коновалову. Они разделись, стали укладываться, и оказалось, что ни тот, ни другой спать не хотят.

— Может, еще по маленькой?

Коновалов подошел к столу и налил по полстакана.

В окно постучали.

— Кто там?

— К вам можно, товарищ капитан? — донесся снаружи голос Ильина.

— Заходи.

В сенях хлопнула дверь, что-то упало, закудахтала курица. Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, вошел Ильин.

— Чего там? — недовольно спросил Вергасов.

— Из «Гранита» звонили.

— Ну?

— К семи ноль-ноль к тридцать первому вызывают.

— И это все?

— Все.

— И для этого вы специально пришли?

— Да.

Вергасов протяжно свистнул и отодвинул ногой стоявший у стола табурет.

— Садитесь-ка, раз уж...— и не закончил.

Ильин снял пилотку и сел.

— Водку пьете?

Ильин пожал плечами.

— Я ж дежурный, товарищ капитан...

Вергасов потянулся за бутылкой.

— Ничего, я разрешаю. Сегодня разрешаю.

Вергасов налил, и Ильин, не отрываясь, выпил весь стакан.

У него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он низко наклонился над тарелкой. Коновалов весело рассмеялся.

— Сильна, брат?

— Сильна...— с трудом ответил Ильин, поперхнулся и вдруг закашлялся. Кашлял он долго, всем телом, и на лбу у него надулись жилы. Коновалов перестал смеяться и смотрел на него с удивлением и даже с интересом.

— Ты что, болен? А?

Ильин махнул рукой.

— Не в то горло попало. Бывает...

Коновалов снял со стены кобуру, вынул оттуда наган — он презирал пистолеты и свой старенький наган не менял ни на что,— уселся на кровати, поджав ноги, и, сказав: «Оружие прежде всего любит чистоту»,— начал его разбирать.

Вергасов доедал винегрет. Ильин сосредоточенно ковырял ножом край стола. Руки у него были большие, белые, с длинными красивыми пальцами и тонкими, совсем не мужскими запястьями.

— Вы играете на скрипке? — неожиданно спросил Вергасов.

— Нет.— Ильин как будто удивился.

— А я думал, играете.

— Нет, не играю.

— На чужих нервах только,— откликнулся с кровати Коновалов и рассмеялся.

— А кем вы до войны были? — спросил Вергасов.

— Ихтиологом.

— Кем?

— Ихтиологом. Ихтиология — это наука о рыбах.

— О рыбах? — задумчиво сказал Вергасов.— Институт, значит, кончали?

— Кончал.

— А мне вот не пришлось... Все с винтовкой больше...

— Успеете еще,— улыбнулся впервые за все время Ильин, посмотрел на висевшие на стене голубенькие ходики и встал.

— Я пойду, товарищ капитан. Пора.

Вергасов потянул его за рукав.

— Успеете еще. Садитесь.

Вергасов исподлобья взглянул на Ильина и неожиданно почувствовал, что ему хочется с ним разговаривать. Он был в той приятной стадии опьянения, когда хочется разговаривать — не петь, не буянить, не показывать свою силу, а именно разговаривать. Причем, как это ни странно, именно с Ильиным. Он не понимал этого человека, не понимал, как, чем и для чего тот живет. Молчаливость и замкнутость Ильина он принимал за гордость, неумение — за нежелание или скорее даже за лень, застенчивость — за презрение к окружающим,— в общем, он не понимал его да, по правде говоря, не очень до сих пор и интересовался им. Теперь же в нем заговорило любопытство. Подперев рукой голову— она стала вдруг тяжелой и не хотела сама держаться,— он смотрел на Ильина, на его длинное, почему-то всегда усталое лицо, на большой, с залысинами, от которых он казался еще большим, лоб, на его белые, с длинными пальцами руки. И Вергасову захотелось сказать что-нибудь приятное этому человеку, не слыхавшему от него до сих пор ни

одного теплого слова — только замечания и указания. Сидит вот и бумажку какую-то на мелкие клочки рвет.

— Вы откуда родом? А? — спросил он, не зная с чего начать.

— Из Ленинграда,— не подымая головы, ответил Ильин.

— Красивый город. Я там был. В тридцать девятом году, когда на Финскую ехал. Очень красивый город, ничего не скажешь.

— Красивый,— подтвердил Ильин.

— Один только день был. Петропавловскую крепость, Невский проспект видал. И коней этих знаменитых. Забыл, как тот мост называется.

— Аничков мост.

— Красивые кони. Здорово сделано. Совсем как живые.

— Красивые...— согласился Ильин, сгребая разорванные клочки бумаги в кучку на край стола.

Оба помолчали. Коновалов протяжно зевнул.

— Я, кажется, спать буду, капитан. Не собираешься?

— Оставь мне тюфяк. Я на тюфяке лягу.

— Ты начальник,— Коновалов аппетитно потянулся,— тебе нельзя. Тебе кровать полагается.

Через минуту он уже храпел.

— Хороший парень,— сказал Вергасов.— И офицер толковый.

Ильин посмотрел на спящего Коновалова, кивнул головой и встал.

— Я пойду, товарищ капитан. Третий час уже.

— Да куда вы рветесь? Садитесь. Кто там с вами дежурит?

— Кривенко, командир взвода.

— Вот пускай и посидит за вас. А мы с вами еще по одной.

— Спасибо, мне не хочется.

Вергасов, ничего не сказав, разлил остаток водки в стаканы и протянул один Ильину.

— Нельзя отказываться, когда начальство предлагает. Валяйте.

Ильин покосился сначала на стакан, затем на Вергасова, вытер зачем-то тыльной стороной руки рот, сделал несколько глотков и снова поперхнулся.

— Не могу больше...— Он сконфуженно улыбнулся.

Воцарилась пауза. В сенях завозились и закудахтали куры.

Вергасов прошелся по комнате, вернулся к столу, заткнул пустую бутылку пробкой и зачем-то поставил ее за комод. Ильин искал свою пилотку.

— Вот она, ваша пилотка, на кровати.

Ильин надел пилотку, помялся.

— Так не забудьте, в семь ноль-ноль.

— Не забуду.

Ильин козырнул и вышел.

Вергасов несколько минут ковырял вилкой винегрет, потом, подойдя к окну, распахнул его. На дворе светало, хотя солнце еще не взошло. С речки тянуло сыростью. Широкая деревенская улица была пуста, и только в самом ее конце, около церкви, маячила долговязая фигура Ильина, которого за километр можно было узнать по смешной, подпрыгивающей походке.

«Завтра же схожу к Петрушанскому»,— решил Вергасов.

Он посмотрел на стол, который не хотелось сейчас убирать, прикрыл его газетой и, не раздеваясь, растянулся на кровати.

5

Это была последняя мирная ночь батальона. На следующую он выступал на фронт. А еще через две оказался на передовой.

Шла самая напряженная фаза боев. После долгого затишья наши войска форсировали Донец, захватили плацдарм и теперь расширяли его. Сплошной линии фронта не было. Была река с понтонными мостами, которые нещадно бомбились немцами, было одно накрепко захваченное большое село Богородничное, а остальное — рощи, лесочки, овраги, высотки, балки — заполнили передвигающиеся в разные стороны и часто находящиеся друг у друга в тылу части немцев и наших, которые то сталкивались, и тогда начиналась перестрелка, то расходились и опять сталкивались, только уже с другими отрядами, окапывались, потом получали приказ и куда-то перебрасывались, опять натыкались на противника — одним словом, обстановка складывалась не слишком ясная, хотя и довольно обычная для первых дней боев на незнакомой местности.

Вергасов получил приказание захватить рощу «Тигр», в двухстах метрах западнее дороги Богородничное — Голая

Долина, окопаться там, занять оборону и силами батальона разведать противника в районе высоты 103,2 и Г-образного оврага.

Вергасов больше всего в жизни любил такого рода операции, когда надо что-то искать, хитрить, когда нету этих чертовых, развитых в глубину оборон, с их бесконечными минными полями и заранее пристрелянными огневыми точками, когда авиация противника ничего не может сделать, так как сама не знает, где мы, где они,— короче, когда есть простор для тебя и для твоей инициативы.

Однако с первых же шагов Вергасова постигло разочарование. Тщательно продуманный план захвата рощи применить не пришлось — немцев в ней не оказалось, и, кроме полусожженного «Бюссинга» и десятка ящиков со сгущенным молоком, трофеев тоже не было. Ну что ж, тем лучше. Вергасов в темноте занял оборону и тут же выслал разведку на высотку и в овраг. Разведчики вскоре приволокли языка — молоденького, очень хорошенького белобрысого мальчика — ефрейтора, подстриженного под бокс, который сказал, что немцы и не подозревают, что у них совсем под боком наш батальон, и даже считают, что Богородничное опять, мол, занято ими. В овраге, по его словам, не было никого, а на высоте 103,2 стоят только два пулемета — самый правый фланг правофлангового батальона 136 пехотного полка. Что находится правее, он не знает,— кажется, ничего. Парень говорил охотно и как будто не врал — у комбата был наметанный глаз.

Вергасов сразу же, еще на допросе немецкого ефрейтора, решил: высотку, пока темно, захватить, не дожидаясь приказания, а о результатах разведки и о принятом решении донести в штаб полка связным.

— Фрицёнка накормить и в штаб полка. Слышишь, Пастушков? А командиров рот ко мне.

Пастушков — пожилой и самый мудрый в батальоне, а может быть и во всем полку, солдат-ординарец — молча встал и шлепнул пленного пониже спины — пошли, мол.

Вергасов посмотрел на часы. Одиннадцать. До начала рассвета три часа. Успею. Он растянулся на мягкой пахучей траве. Роты хватит. Да какое там роты — двух взводов хватит. Даже одного, если б с Коноваловым послать. Но на такую мелочь Коновалова не стоит. В самый раз Ильина

попробовать. Пускай привыкает. С места в карьер. Операция несложная, людей у него пока много, командиры взводов толковые — сами за него все сделают. Раз уж не удалось его Петрушанскому спихнуть, пускай помаленечку привыкает. А тут все-таки хотя задача ерундовая, но есть какая-то ответственность, да и вообще лучше учиться воевать, держа инициативу в своих руках, чем подчиняясь воле противника. Вергасов не был сторонником того, что новичку надо вживаться в войну постепенно. Нет, как учить плавать — толкнуть в воду и все, только на мелком месте, чтобы не захлебнулся. А сейчас такое мелкое место как раз и подвернулось.

Пришли командиры рот. Вергасов перевернулся на живот.

— Ложись, хлопцы!

Командиры растянулись. Лиц их не было видно, лишь у Коновалова, как у кошки, глаза при каких-то поворотах головы отсвечивали красным.

— Дело, значит, такое,— начал Вергасов.— Будем сопку захватывать. Ту самую — 103,2. Фрицёнок говорит, там всего два станковых пулемета. Желательно захватить их так, чтобы они ни одного выстрела не сделали. Утром фрицы проснутся, а мы по ним — из их же пулеметов. К тому времени и о дальнейших действиях дам знать, с хозяином свяжусь,— Вергасов развернул карту и, присвечивая фонариком, показал на ней высоту, овраг и предполагаемое расположение противника.— На всю операцию даю три часа. К двум, когда начнет светать, все должно быть кончено. Ясно?

— Чего же неясно? Конечно, ясно,— процедил сквозь зубы Коновалов.— Я тебе и к часу кончу.

— К часу мне не нужно. А к двум. И поручаю я это второй роте, лейтенанту Ильину. Вы поняли задачу, Ильин?

— Понял,— тихо ответил Ильин.

— Если есть вопросы, прошу.

— Нет, вопросов нет.

— Насчет огня. В случае недоразумений поддерживать огнем будет Круглов, первая рота. Слышишь, Круглов?

— Поддержим, а как же.

— Ну вот и все.

— Разрешите идти тогда? — Ильин встал.

— Валяйте. Световые сигналы прежние, но старайтесь ими не пользоваться. О захвате высотки донесите связным. Идите.

Ильин, хрустя ветками, направился к опушке.

— Завалит, как пить дать! — проворчал Коновалов.

— Почему завалит? спросил Вергасов.

— Вот увидишь.

— Не обязательно,— вставил Круглов, постоянный оппонент Коновалова. Достаточно одному из них сказать «да», как другой сейчас же говорит «нет».

— А я говорю — завалит.

— А ты не каркай.

— Я не каркаю, просто говорю. Нельзя давать человеку, да еще такому, первое задание ночью. Первое задание и засветло завалить ничего не стоит. А тут... Да он вместо высотки нашу рощу опять захватит.

— Чепуха,— сказал Вергасов.— У него Сергеев, у него Жмачук, ребята все опытные.

— Ну, это твое дело,— сказал Коновалов.— Ты комбат, а не я. Не мне отдуваться. Можно идти спать?

— Иди.

— Бувайте. Авось ты меня своими пулеметами не разбудишь.

Звякнув шпорами, он пошел. Круглов тоже отправился. Вергасов остался лежать.

А может, Коновалов и прав, черт его забери? Может, лучше было Круглову поручить? Напутает там Ильин, растеряется, подымет трескотню, и вся затея с сопкой провалится. Ведь это у них первая стычка после Сталинграда, первая после пятимесячного перерыва. И вдруг в грязь лицом. Не скажешь потом, что не ты, а командир роты виноват...

Вергасов поднялся и начал вытряхивать забравшегося под рубаху муравья.

Ну да черт с ним. Раз отдал приказ — значит, отдал. И он опять стал убеждать себя, что процентов двадцать роты как-никак сталинградцы, что там Сергеев и Жмачук, что вообще не держать же роту в конце концов все время в резерве, раньше или позже придется и ей вступить в бой. Но веселое и приподнятое настроение пропало. Когда начальник штаба пришел доложить, что связной в штаб полка послан, Вергасов долго его отчитывал, придравшись к тому, что послали не Агеева, а Силина, хотя никакой разницы между Агеевым и Силиным не было — оба были исполнительными, хорошими связными.

6

Всю дорогу от села Червонотроицкое, где находился на формировке батальон, до Донца, сначала в вагонах, а позже на марше, Ильин думал об одном. Все его мысли сводились к одному слову — началось! И с каждым днем, каждым часом, каждой минутой это начало неизбежно приближалось. И вот подошло вплотную.

Ильин знал, что молодым, веселым ребятам и обожженным фронтовикам, как Вергасов и Коновалов, он — молчаливый, застенчивый, не привыкший к военным условиям комнатный человек, мог быть просто неприятен. Но оттого, что он понимал это, ему не было легче. Не было потому, что и Вергасов и Коновалов ему нравились, нравились своей веселостью, способностью всегда и везде чувствовать себя свободно и ловко, не унывать при любых обстоятельствах, ясно и просто относиться друг к другу. Солдаты их любили, уважали и немного побаивались. Начальство тоже любило, и они знали, как себя с ним держать,— не слишком развязно и не слишком вытягиваясь, спокойно, с достоинством офицеров, знающих себе цену. Между собой же, когда оставались одни, дурачились, как мальчишки,— возились, хохотали, ссорились из-за всякой ерунды и тут же мирились. Одним словом, хорошие и простые ребята. Он сам хотел быть таким, но знал, что никогда таким не будет.

В полку — Ильин сразу это понял — он никому не пришелся по душе. Он не умел, да и не хотел, скрывать свою робость, и это определило отношение к нему окружающих. Офицеры полка — в основном молодежь, со всеми присущими ей слабостями — после двух-трех попыток к сближению, из которых ничего не вышло, потеряли к нему интерес. Кто-то в шутку прозвал его «Судаком», и это прозвище настолько прочно к нему прилипло, что за глаза его иначе и не называли. На совещаниях он сидел всегда в стороне, молча, и к нему никто не подходил. С солдатами он не мог найти общего языка — так ему, во всяком случае, казалось. Приказывать и требовать он не умел, никак не мог отделаться от «пожалуйста» и «попрошу вас», а в отношениях со старшиной — хитрым и оборотистым малым — просто становился в тупик.

И только с одним Сергеевым, командиром первого взвода, он чувствовал себя более или менее свободно. Это был молоденький — лет на шесть моложе самого Ильина — пар-

нишка, с девичьим розовым личиком, без малейших признаков усов и бороды, что доставляло ему немало огорчений, но неглупый, смелый, дважды раненный и имевший уже орден за Сталинград. В полку с ним считались, и, если бы не отсутствие офицерского звания — он был сержантом,— его бы назначили командиром роты, о чем он давно мечтал. Однако, несмотря на то что место это досталось не ему, а неопытному и необстрелянному Ильину, он, увидев его неприспособленность, взял его под свою защиту, хотя был и подчиненным и младшим по возрасту. И, нужно сказать, сделал он это очень деликатно.

Самое важное было — поддержать авторитет командира, причем командира, который авторитетом своим не очень дорожил и, пожалуй, не понимал всей его необходимости на фронте. Сергеев видел, что Ильин в военно-профессиональных вопросах разбирается так же плохо, как в военно-бытовых, но ни самому Ильину, ни солдатам этого не показывал. Он просто приглашал Ильина к себе на занятия, для проверки, мол, как они идут, и на этих занятиях учил командира вместе с солдатами.

Ильин это понимал, но словами благодарность свою никогда не выражал. Бойцы же, быстро раскусившие хитрость сержанта, сначала немного посмеивались и недоумевали, а потом привыкли и даже полюбили нового командира роты. Они, впрочем, не очень верили в его военные таланты и на любое задание предпочли бы идти с Сергеевым, Жмачуком или даже с Вовком — третьим командиром взвода, крикуном, хотя и опытным командиром. Но мягкость Ильина и его справедливость не могли им не нравиться.

Первая черта, впрочем, не очень нравилась Сергееву. Он воевал уже третий год и считал себя — и это так и было — хорошим и умеющим разбираться в бойцах командиром. Он любил своих солдат, и они его; зато, когда надо, мог и прикрикнуть, и отчитать, и дать, как говорится, чесу. Ильин ничего этого не умел. Но не в этом беда — есть командиры, которые никогда не повышают голоса и которых солдаты боятся как огня. У Ильина было другое — самое опасное для него, как для командира. С солдатами он держался даже не как ровня, а как младший со старшими. Ну, не знают они там математики или еще чего-нибудь, половина из них не очень грамотны, но они хорошо стреляют, бросают гранаты, ползают по-пластунски, могут в пять минут выкопать щель, развести костер, поставить заплату, могут

спать в любых условиях и даже на ходу — иными словами, делать все то, что нужно на войне. И, разговаривая с солдатами, Ильин всегда невольно думал: «Ну, чего я его учу, ведь он в десять раз лучше меня все это знает».

Сергеев как-то не вытерпел и сказал ему:

— Товарищ лейтенант, очень прошу вас, есть у вас какое-нибудь сомнение, обращайтесь ко мне, а не к солдатам. Вот сегодня опять что-то у Сидорчука спрашивали. А вы его командир, вы для него должны быть богом, не он для вас, а вы для него. А получается наоборот.

— Ну какой же я бог,— конфузился Ильин,— когда бойцу показываю, как чучело надо колоть? Нет уж, бога из меня не получится, как хотите.

Так и не удалось Сергееву убедить Ильина. Он остался таким же, каким был.

И вот Ильин получил свое первое задание. К двум ноль-ноль его рота должна захватить сопку. Его рота. Даже как-то странно звучит — рота Ильина. Ему к этому так же трудно было привыкнуть, как и к тому, что солдаты ему козыряют и стоят перед ним навытяжку. Кстати, тут тоже была заслуга Сергеева, который неукоснительно требовал этого от бойцов, особенно по отношению к командиру роты. А командир только смущался и первое время тоже вытягивался перед бойцами, как они перед ним.

Так вот, к двум ноль-ноль высота 103,2 должна быть взята.

7

Ильин шел по лесу от комбата к себе, и в голове его неотвязно вертелось:

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны...

Он не помнил, откуда это, и чье это, и как оно ему в голову попало — стихов он не любил и знал их мало,— но вот лезут навязчиво строчки, и никак нельзя от них избавиться.

Где-то, совсем недалеко, справа, мигнул красный огонек цигарки, и невидимый в темноте часовой обругал курившего, тот что-то пробурчал в ответ и повернулся, очевидно, на другой бок — огонек погас.

Ильин на кого-то наткнулся.

— Кого ищете, товарищ лейтенант?

— Сергеева или Жмачука. Не знаете, где они?

— Так Жмачук же дежурный сегодня по батальону,— ответил голос снизу.— Его тут нет.

— А Сергеев?

— Сергеев? — Боец сел на корточки.— Во-он, видите, дуб здоровый. Если присмотреться, видно. С развилкой. Так от него шагов двадцать правее. Только у них малярия опять. С вечера еще затрясло.

— У кого, у Сергеева?

— Ага...

— Вот черт — Жмачука нет, Сергеев болен. А Вовк где?

— Там же, у дуба. Палатка там у них. Позвать, что ли?

— Нет, нет, не надо. Я сам.

— А то я мигом.

— Спасибо, не надо.

Вовка пришлось долго трясти, пока он не проснулся.

— Ну, чего? — он приподнялся на локте и приблизил свое лицо к лицу Ильина.— Это кто? Это вы, товарищ лейтенант?

— Я, я. Поднимайтесь.

— А что?

— На задание надо идти.

— На какое еще задание? — в голосе Вовка не слышалось ни малейшего азарта.

— Сейчас узнаете. Вставайте.

Вовк, ворча, стал искать сапоги.

— Тюлька! — заорал он на весь лес.— Куда ты сапоги дел, чертова голова?

Никто не ответил, и Вовк опять стал шарить вокруг себя.

— А о каком это задании вы говорите, товарищ лейтенант? — раздался вдруг слева голос Сергеева.

— Спите, спите, Сергеев. Я не к вам.

— А какое задание?

— Я не к вам, я к Вовку. Вергасов приказал высоту одну тут захватить. Вот и...

Сергеев сразу сел.

— Какую? 103,2?

— 103,2.

— Сейчас мы ее возьмем. Одну минуточку.

Сергеев оперся о плечо Ильина и встал. Даже сквозь гимнастерку чувствовалось, что рука у него горячая.

— Слушайте, у вас же это самое, куда вам,— запротестовал Ильин.

— А у вас — первое задание,— шепотом в самое ухо сказал Сергеев, и на Ильина пахнуло жаром.— Что важнее? А? Вовк все равно до утра сапоги искать будет.

Высота 103,2 находилась в полукилометре от занимаемой батальоном рощи. Попасть на нее можно было или прямо, перейдя дорогу, по равнине, или же слева, по так называемому Г-образному оврагу. Решили, что один взвод ударит в лоб, другой из оврага. Сергеев настаивал, чтобы удар прямо поручили ему, но Ильин заупрямился. Он считал, что по оврагу идти менее опасно, и ему было неловко посылать на более трудный участок Сергеева. Тому пришлось подчиниться.

В обороне остался взвод Вовка. Ильин взял солдат Жмачука, Сергеев пошел со своими.

Было около часа, когда оба отряда двинулись к высотке. Темень стояла адова. Небо с вечера затянуло тучами. Ильин к тому же был близорук, поэтому старался держаться Кошубарова, сержанта из взвода Жмачука, хвалившегося, что видит ночью как кошка. И действительно, он полз так быстро и уверенно, как будто по крайней мере раз десять здесь ползал и знает каждую кочку.

Ильин запыхался, с трудом поспевая за Кошубаровым, и все боялся, что солдаты потеряют направление или отстанут. Но солдаты не терялись и не отставали. Во время небольших передышек — пятьсот метров да еще в темноте, в один прием не проползешь — Ильин слышал, как рядом с ним кто-то дышал, отряхивался, тихо сплевывал. Потом почудилось, что они не туда поползли, что высота осталась где-то значительно левее, что Сергеев давно сидит на исходной и нервничает и не может понять, что же случилось в конце концов. Условлено было начать бросок без всякого сигнала ровно в час сорок пять, но в последнюю минуту Ильин забыл поменяться с Кошубаровым часами (у того были светящиеся), и сейчас ему казалось, что положенный срок прошел и что ползут они никак не меньше часа.

Кошубаров неожиданно остановился и, когда Ильин к нему подполз, вытянул руку вперед.

— Видите?

Ильин напряг зрение, но ничего не увидел.

— Высотка,— задышал ему в ухо сержант.— Метров полтораста осталось.

Ильин опять посмотрел, сощурил даже глаза, но так ничего и не увидел.

Снова поползли. Местность стала подниматься. Изредка попадались кустарники. Впереди вырисовывался гребень высотки — очевидно, взошла луна или тучи поредели, а может быть, просто потому, что подползли ближе.

Когда же до исходного для броска рубежа осталось каких-нибудь десять — пятнадцать метров, до слуха Ильина донеслась чья-то речь. Ее услышали все: движение разом прекратилось. Кошубаров прижался к земле и застыл.

Говорили немцы. Говорили вполголоса, но без всякой опаски,— они не подозревали, что противник может оказаться так близко.

Ильин напряг слух.

— Сколько там осталось? — донеслась сверху, чуть-чуть слева, гортанная немецкая речь.

— Штук десять,— ответил кто-то справа.

— А у Хельмута?

— У Хельмута не знаю. Штук пять, вероятно.

Немного погодя донесся и третий голос:

— Кончили первый ряд?

— Кончаем,— ответили справа.— Минут через пять кончим.

«Минируют...— мелькнуло у Ильина в голове.— Вот черт...» Он подполз к Кошубарову и в темноте нащупал его руку. На часах было четверть второго. Неужели так мало ползли?

— Минируют, сволочи...—еле слышно выругался Кошубаров; он тоже понял или догадался, о чем говорили немцы.— Что будем делать?

— Что будем делать?

Ильин впервые понял, вернее даже не понял, а почувствовал, что сейчас именно от него, а не от кого-либо другого зависит все дальнейшее. От того, как быстро он сообразит, и от того, как быстро принятое решение будет осуществлено, зависит не только его жизнь — как ни странно, сейчас он меньше всего думал о ней,— а жизнь двадцати человек, устами Кошубарова спросивших его: «Что будем делать?» От этого зависит успех всей операции. Там, в лесу, у комбата, и позже, когда они с Сергеевым собирались, он ловил себя на том, что больше всего ему хочется не подкачать,

показать всем: Вергасову, Коновалову, майору Филиппову и даже милому, трогательному Сергееву, что вот он — шляпа, мямля, а тоже может кое-что делать. Детская черта, но что поделаешь, она была и проявилась у него здесь, на фронте, как невольный ответ на отношение к нему окружающих. Однако теперь, на склоне высотки, которую ему, лейтенанту Ильину, поручено было захватить, он и не думал об этом.

Он ощущал на себе взгляд Кошубарова и еще двадцати лежащих рядом с ним человек, понимал, что они с Сергеевым плохо условились, чего-то не учли, что-то прошляпили, понимал, что задача таким образом значительно усложнилась, но также понимал и то, что оправданием это служить не может. Приказано захватить высотку, и он должен ее захватить.

Он опять посмотрел на часы. Двадцать три минуты второго. Осталось двадцать две минуты... Он мысленно представил себе карту предполагаемой немецкой обороны, которую показывал в лесу Вергасов. Белый кружок от фонаря, коричневые горизонтали, двигающийся по ним палец. В кружке — высотка, слева овраг, справа нечто вроде ложбинки и за ней пологий длинный подъем. Высотка стоит как прыщ. Надо ее обогнуть и, пока не поздно, в условленный с Сергеевым час, ударить по немцам с тыла. Это единственный выход... Ударить с тыла.

— Хельмут. Алло, Хельмут! — донеслось сверху.

Ильин вздрогнул и зашептал Кошубарову:

— Пошли вправо. Ударим с тыла. Осталось двадцать минут.

Кошубаров энергично закивал головой и пополз. Гребень высотки остался слева.

8

— Ну, как наш Судак? Не присылал еще связного?

Коновалов подсел на корточки к Вергасову и пощекотал ему травинкой ухо.

— Рано еще. А ты чего не спишь?

— Не спится.

— Волнуешься?

— Что мне волноваться?

— Врешь, волнуешься. Я вот волнуюсь.— Вергасов сел и почесался, муравьи не давали покоя.— Черт его знает, может и вправду не надо было посылать.

— Я ж говорил.

— Говорил, говорил... Все вы только говорите.—Вергасов поймал муравья и со злобой втоптал его каблуком в землю.— Командиры называется. Никогда ничего поручить нельзя. Все комбат сам должен делать, за всех отдуваться.

Вергасов встал.

— Пойди узнай, нет ли связного?

Коновалов отошел и почти сразу же вернулся. Связного не было. Вергасов посмотрел на часы — семь минут третьего — и пошел к опушке. Как будто немного посветлело, но высоты еще не было видно. Стояла тишина, чуть-чуть только шумели верхушки деревьев.Со стороны немцев не доносилось ни звука. Вергасов постоял несколько минут и пошел назад. Коновалов лежал на шинели и курил в кулак.

— Ну?

— Что ну? Сам не видишь, что ли? Третий час, а от него ни звука.

С опушки донесся хруст веток, словно кто-то ломал кусты.

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свои. Лещилин со второй роты. Где комбат?

— Здесь, здесь,— приглушенно крикнул Вергасов.— Давай сюда.

Подошел запыхавшийся боец.

— Взяли сопку?

— Нет еще. Вам записка от лейтенанта Ильина.

— Сопка мне нужна, а не записка. Записки еще пишет.— Вергасов выругался.— Ну, чего ты там возишься? Коновалов, посвети-ка.

В записке, написанной крупным кривым почерком с налезающими друг на друга словами,— писалась она второпях и в темноте, —было сказано:

«Поймал языка. Выяснилось, что важнее захватить не 103,2, а следующую за ней. 103,2 блокирую. Захватываю следующую. *Ильин*».

— Видал?— Вергасов затряс листком перед носом Коновалова.— Видал? Ему приказано взять сопку, взять, а он... «блокирую», понимаешь ли!

Вергасов скомкал листок и швырнул его наземь.

— Важнее другую брать... Он знает... Тоже полководец нашелся. И дернул меня черт посылать его.— Вергасов круто повернулся к бойцу.— Что это еще за сопка? Ты видел ее?

— Ага.

— Ты не агакай, а отвечай толком. Что это за сопка?

— Так за первой другая, поменьше.

— Ну?

— Лейтенант Ильин и решили ее взять...

— А кто ему разрешил? Кто разрешил, спрашивается? Кто? Русским языком было сказано —103,2, а он...

— Так мы ж на мины напоролись,— оправдываясь, сказал боец.

— Какие там еще мины?

— Да фрицы ставили. Мы полезли, а они как раз ставят.

— Ну?

— Вот лейтенант Ильин и решили обойти их, с тыла ударить. А там как раз фриц связь тянул. В ложбинке, между большой и малой сопкой. Совсем случайно напоролись. Так он, этот самый фриц, сказал, что на той сопке оборону их солдаты роют...

— Ну и что? — перебил Вергасов.— Пускай себе роют.

— Так фриц же сказал, что там сейчас никого нет. А на этой, как ее, 103, что ли, рота саперов. НП делают. Так лейтенант решили...

— А ну его, твоего лейтенанта! Какие-то саперы, НП... Чего он воду мутит? — Вергасов осмотрелся по сторонам.— Поведешь меня туда. Пастушков! Тащи автомат! И Шутовых ко мне. Живо!

Через минуту явились Шутовы — батальонные разведчики, с которыми Вергасов всегда ходил на задания. Шутовы были близнецами, причем до того похожими друг на друга, что одному пришлось отпустить усы. И все знали: Борис с усами, а Глеб бритый. Все же остальное было одинаковым, даже татуировка одинаковая: на левой руке, немного выше запястья, у обоих были наколоты женские головки.

— Диски полные? — спросил Вергасов.

— Полные,— в один голос ответили Шутовы.

— Пошли тогда. Где этот, из второй роты?

Лещилин — самый быстроногий и толковый боец второй роты, всегда используемый как связной,— повел не прямо, а через Г-образный овраг. Вергасов заметил это не сразу, а уже около самой высоты и, несмотря на то что крюк отнял каких-нибудь пять лишних минут, пришел в еще большую ярость. Но они были под самой сопкой, и давать волю своей ярости никак нельзя было. Пришлось сдержаться, хотя Вергасов дошел, как говорится, до точки. Он даже не предста-

влял себе, как будет говорить сейчас с Ильиным. Человеку в первый раз в жизни дают задание, ответственное задание, а он, вместо того чтобы его выполнять, пишет записки, теряет время. А через час-полтора будет уже совсем светло. Струсил, и все. Роты саперов испугался.

Вылезли из оврага и поползли — идти было опасно — по обратному скату холма. Сверху доносились приглушенные голоса и стук топора. Потом свернули налево и поползли в высокой, мокрой от предутренней росы траве. Вскоре наткнулись на окапывающегося солдата, затем на второго, третьего. «С ума спятил, ей-богу с ума спятил»,— думал Вергасов, быстро пробираясь вслед за Лещилиным. Высотка осталась позади, и оттуда изредка доносился только стук топора, голосов расслышать было нельзя.

— Сюда, товарищ комбат, сюда,—шепотом сказал Лещилин и пропустил Вергасова вперед.

— Кто это? — раздался голос Сергеева. Он сидел на дне ямы или воронки от бомбы — в темноте не разобрать.

Вергасов спустился туда же. Несколько секунд он молчал, тяжело дыша.

— Где Ильин? — спросил он сдавленным шепотом, переводя дыхание.

— Там.— Сергеев махнул рукой куда-то в пространство.

— Вы мне не рукой машите, а объясняйте толком. Где Ильин, я вас спрашиваю?

— На той сопке, где немцы оборону роют,— спокойно ответил Сергеев.— Вы разве не получили записку?

— Кой черт мне ваша записка нужна! Мне сопка нужна, понимаете, вот эта вот, что у вас под самым носом, а не какая-то там... Почему вы ее не взяли, а?

Сергеев открыл было рот, чтобы ответить, но Вергасов не дал.

— Чтобы через пять минут Ильин был здесь. Ясно?

— Ясно,— ответил Сергеев.— Разрешите сначала объяснить?

— Ты сначала Ильина мне доставь, понятно? Очень мне нужны ваши объяснения. Испугались роты саперов — вот и все объяснение. Вояки называется!..

Вергасов отвернулся, давая понять, что ни в какие объяснения вступать не собирается.

Сергеев подозвал Лещилина и отправил его за Ильиным. Потом повернулся к комбату.

— Зря вы его за командиром роты послали.

— Почему зря?

— Честное слово, зря. Во-первых, пока он будет его искать, они уже там начнут...

— Я им дам начать!..

— А во-вторых,— продолжал Сергеев,— ведь все думали что на этой высотке 103,2 только два пулемета и что их можно будет тихо снять. А оказывается, там НП строят. Чуть ли не рота саперов. Пришлось бы ввязываться в бой. А от пленного — товарищ лейтенант вам писал об этом, связиста тут одного поймали, он связь тянул — узнали, что основная оборона немцев проходит совсем недалеко отсюда...

Сергеев торопился изложить план Ильина. Он сидел на корточках рядом с Вергасовым на дне воронки и говорил, как всегда, очень сдержанно — это была его отличительная черта,— но внутренне волновался, боялся, что говорит недостаточно убедительно и что раздраженный Вергасов не даст ему договорить.

А план Ильина заключался в следующем.

Из показаний пойманного связиста — он сидел тут же, скрученный по рукам и ногам, с кляпом во рту — выяснилось, что метрах в ста пятидесяти — двухстах от высоты 103,2 есть еще одна, в районе которой немцы сейчас лихорадочно роют оборонительный рубеж. Пока он еще не занят пехотой, но через час будет поздно. Захватив вторую сопку, рота Ильина вклинится в немецкую оборону и парализует ее, одновременно отрезав от нее высоту 103,2. Если же атаковать саперов, это привлечет внимание противника, и он, спешно заняв оборону, не даст в нее вклиниться. Поэтому Ильин, боясь упустить время, самостоятельно принял решение — взвод Сергеева оставить для блокировки высоты 103,2, которую впоследствии нетрудно будет захватить, так как немецкие пулеметы этот скат не простреливают, а самому со своим взводом занять вторую высоту.

Таков был план. Со стороны он выглядел стройно и логично, придраться было не к чему. Но, если говорить прямо, Сергеев мало верил в его благополучный исход. Он боялся за Ильина, боялся, что тот с ним не справится. В таких делах нужен прежде всего военный опыт, а у Ильина его нет. Сергеев потому и пошел сам с командиром роты, что хотел, как всегда, быть при нем и так же, как на занятиях, незаметно руководить им.

Получилось иначе. Мало того, что Ильин придумал план — он взялся лично руководить самой его ответственной

частью. Вот этого-то Сергеев и опасался. Но сейчас, когда Ильин с ротой находился на исходной и план фактически начал осуществляться, Сергеев понимал, что изменить ничего нельзя. Он считал своим долгом защищать принятое его командиром решение и делал это со всей убежденностью, на которую был способен.

— Вы понимаете, товарищ капитан, насколько мы выигрываем,— говорил он все тем же внешне спокойным тоном.— Надо только, чтобы оставшиеся две роты закрепили успех. У лейтенанта с собой всего два пулемета, а немцы, как увидят, сразу же начнут отбивать высотку. Ведь правда же?

Вергасов ничего не ответил. Он почти не слушал Сергеева. Ему ясно было, что возложенное на командира роты задание не выполнено, высота не взята, то, о чем он писал в своем донесении командиру полка, не сделано. А все, что говорит Сергеев, чепуха. Выгораживает своего командира, который вообразил себя полководцем... Да что говорить! Это хороший урок Вергасову, чтобы знал, кого можно, а кого нельзя посылать на задания. Надо отстранить Ильина от командования ротой. Не его это дело. А теперь надо брать сопку.

Вергасов посмотрел в сторону уже отчетливо видневшейся высоты, соображая, как и откуда лучше всего нанести по ней удар. Потом повернулся к Сергееву:

— Отсюда ударишь, видишь? А Ильин оттуда, из оврага. В пять минут с этой петрушкой покончим,— он глянул на часы.— Куда он провалился, твой связной, черт бы его забрал...

Сергеев не успел ответить. Где-то совсем недалеко раздался выстрел. За ним второй, третий...

Оба переглянулись. Ильин начал свою операцию.

9

Когда Ильин писал записку Вергасову, он приблизительно догадывался, как она будет встречена комбатом. Вергасов самолюбив и не терпит, когда нарушают или изменяют отданные им распоряжения. То же, что собирался делать Ильин, можно было назвать и тем и другим. Правда, выражаясь уставным языком, это было скорее «самостоятельно принятым решением в связи с изменившейся обстановкой». Но как отнесется к этому самостоятельно

принятому решению Вергасов, было более или менее ясно.

Еще по институту Ильин помнил, что экзаменующие предпочитают, чтоб им отвечали именно так, как они читали на лекциях. Отклонение отнюдь не всегда повышало отметку — чаще всего результат оказывался как раз противоположным.

Когда Ильин писал записку, Сергеев ему сказал:

— А может, не стоит, товарищ лейтенант? Все-таки ваше первое задание...

Но он записку все-таки написал и на задание пошел сам: Сергеев остался блокировать сопку.

Ильин лежал на животе, сжимая руками автомат, и ждал, когда вернутся двое разведчиков, которых он на всякий случай послал проверить, нету ли и здесь минного поля. Восток заметно посветлел, и Ильин ясно различал фигуры двух бойцов, лежавших правее его. «Вот они лежат, эти двое бойцов,— думал он,— а за ними еще восемнадцать человек лежат и ждут сигнала. А когда будет сигнал,— и сигнал этот даст именно он, Ильин,— они вскочат и побегут вперед, и кто-то из них, возможно, будет ранен или убит, и они это знают и, конечно, волнуются, хотя все они стреляные-перестреляные. Волнуются и в то же время спокойны — у них есть приказ, и от них требуется только одно — выполнить его. Но достаточно ли этого? Ведь они знают,— а солдаты всегда все знают,— что комбат приказал брать другую высоту. И, может, этот вот боец из новичков, лежащий в десяти шагах от него,— Ильин почему-то хорошо запомнил его круглую, коротко остриженную голову, по которой так и хотелось провести ладонью, такая она была мягкая, точно плюшевая,— может, он лежит сейчас и думает: «И что это лейтенант мудрит»?— короче, не верит ему. А солдат в первую очередь должен верить командиру, верить, что не зря пойдет под пули...»

Самое трудное на фронте — принять решение, иными словами, взять на себя ответственность за все последующие события, за то, что люди, судьба которых в твоих руках, если даже и погибнут, то погибнут выполняя задачу, в правильности которой ты, во всяком случае ты, абсолютно уверен.

Да, это и есть самое трудное на войне — принять решение, а приняв, твердо выполнять.

Впереди что-то задвигалось. Разведчики? Так и есть. Митрохин и Андронов. Запыхавшись, давясь от шепота,

докладывают, что мины не обнаружены. Так... Ясно. Ильин посмотрел на часы — он взял на время атаки у Кошубарова его, светящиеся. Вот когда минутная стрелка доползет до цифры три, он даст сигнал...

— Товарищ лейтенант...

Ильин вздрогнул. Рядом с ним лежал Лещилин.

— Комбат вас к себе вызывает.

— Где он? — еле слышно спросил Ильин.

— У нас. В воронке, где командир взвода,— так же тихо ответил Лещилин.

Ильин понял все. Случилось то, чего он больше всего боялся. Вергасов пришел, чтобы отменить его решение. Он, вероятно, в бешенстве. Ильин даже представил себе лицо комбата — побледневшее, с сжатыми губами, сощуренными, колючими глазами. Сейчас еще не поздно. Можно вернуть назад бойцов и ударить по 103,2. Но нужно ли? Правильно ли это будет?

Ильин закрыл глаза — он всегда так делал, когда хотел сосредоточиться. Открыл их. Восток посветлел, тучи рассеялись, и слева, на чуть-чуть порозовевшем небе, можно было различить очертания небольшой рощицы.

Правильно ли это будет?

С точки зрения дипломатической, чтоб не обострять отношения с начальством,— да, правильно. С точки зрения военной, тактической целесообразности — нет, не правильно...

Минутная стрелка проползла через тройку и медленно приближалась к цифре четыре. Ильин наклонился к Лещилину и сказал ему в самое ухо:

— Через минуту я подымаюсь в атаку. Скажи комбату, надо прислать для закрепления роту Коновалова. Беги...

В тот момент, когда он подносил свисток к губам, чтобы дать сигнал, он почувствовал, как сердце его на мгновение остановилось.

Потом он бежал по склону сопки, сжимая в руках автомат, и ему было почему-то легко и весело, и, пробегая мимо солдата с плюшевой головой, он не выдержал и крикнул:

— Давай, друг, давай!

И тот дружелюбно откликнулся:

— Даем, лейтенант, даем!

10

Вечером того же дня Вергасов возвращался из штаба дивизии. Его вызывали, чтобы он нарисовал точную картину операции, которая расстроила всю немецкую оборону, дала возможность дивизии продвинуться вперед чуть ли не на шесть километров и захватить три дальнобойных батареи противника, не успевшего их эвакуировать. В штабе все жали Вергасову руки, поздравляли, хлопали по спине, приговаривая: «Наш Вергасов не подкачает»,— и только начальник штаба, толстенький, с бритой, чтобы не видно было лысины, головой, проницательный полковник Шаронов, отвел его в сторону и сказал: «Все очень хорошо, капитан, но сообщить надо было не тогда, когда уже взял высоту, а когда решил ее брать. Сюрпризы на войне дело опасное, даже хорошие».

Командир дивизии тоже поздравил Вергасова, а на слова Вергасова, что основная заслуга в этой операции принадлежит командиру роты лейтенанту Ильину, комдив только улыбнулся:

— Не скромничай, Вергасов, тебе не идет. Комроты комротой, а комбат комбатом. Не первый день все-таки воюю.

И то, что Вергасов не нашелся, что ответить, и не только комдиву, а и всем остальным, и то, что он нес сейчас в левом кармане гимнастерки приказ, в котором ему выносилась благодарность «за блестяще проявленную инициативу в сложных условиях ночного боя, приведшую к значительным тактическим успехам», а Ильину только «за хорошо выполненную операцию по захвату высоты Безымянной»,— было ему неприятно.

Только сейчас до Вергасова дошло, что случилось там, у подножья сопки. Он был взбешен, а значит, и слеп. Он не хотел вникать в план Ильина, он расценивал его как бессмысленную, глупую затею. И попадись ему под горячую руку Ильин, бог знает что бы могло произойти. Но Ильин, к счастью, не подвернулся, а Вергасов был прежде всего командиром, то есть человеком, для которого важнее всего исход операции, поэтому, хотел он этого или не хотел, в сложившейся обстановке он вынужден был подчиниться инициативе своего командира роты. Выход остался один — подтянуть батальон, помочь второй роте закрепиться, попытаться ликвидировать собственными силами сопротивле-

ние высоты 103,2 и немедленно, самым срочным образом донести обо всем командиру полка. Так он и сделал.

Результаты превзошли все ожидания. Ильин захватил сопку, не потеряв ни одного человека, хотя небольшого боя избежать не удалось — на сопке оказалась группа ничего не ожидавших связистов. К моменту, когда противник, услышав перестрелку, стал лихорадочно перебрасывать свои батальоны, чтобы занять оборону в приготовленных траншеях, на помощь Ильину подоспела рота Коновалова. Гитлеровцы были встречены пулеметным огнем, растерялись и побежали. В образовавшийся прорыв ринулся батальон Вергасова, два других ударили с фланга. Только-только намечавшаяся на этом участке фронта оборона немцев была прорвана, дивизия продвинулась на всей полосе почти на шесть километров. Это был большой успех.

Вергасов медленно ехал по лесу. Он устал. Устал от бессонной ночи, от обильного событиями дня, от бурного приема в штадиве. Ехал не торопясь, по реденькому лесочку, лениво похлопывая Серко прутиком. Ему не хотелось в батальон. Он знал, что увидит там Ильина, которого не видел с тех пор, как отправил его на задание, знал, что придется с ним разговаривать, но не представлял себе — как и о чем, и вообще черт его знает, как себя с ним держать.

Вергасов сделал крюк, заехал зачем-то на высоту 103,2 забрался на Безымянную. В немецких окопах толкались чужие артиллеристы, устанавливали орудия, весело переругивались. Пробегавший мимо солдат, чему-то смеясь, спросил его: «Вы кого ищете? Не Титова, часом?» Вергасов ничего не ответил и поехал дальше.

Батальон расположился в крохотной курчавой рощице, в брошенных немцами землянках. Его перевели во второй эшелон, и бойцы, чувствуя солдатским чутьем, что ночью их никуда не двинут, слонялись, несмотря на усталость, по роще, латали обмундирование или просто валялись, собравшись группами, о чем-то вспоминая и весело хохоча.

На опушке уютно дымила походная кухня, и кто-то кричал, что кухня их демаскирует, а повар Севрюк, как всегда, не обращал на это внимания. На ветках сохли портянки. Комсорг Межуев выпускал боевой листок — десятый за последнюю неделю, больше, чем во всех других подразделениях полка. Около кухни бренчала гитара, и по тому, что бренчала она невероятно фальшиво, можно было догадаться, что занимается этим Коновалов. В воздухе пахло смешанным

запахом потревоженного прелого листа, конского навоза и сохнущих портянок. Из-за соседней рощи медленно на светлое еще небо вылезал совсем молоденький месяц, и казалось, что, зацепившись нижним рогом за деревья, он никак не может из них выбраться.

Вергасов подъехал к штабной землянке — аккуратному немецкому блиндажу с нарисованной черной краской на двери летучей мышью. Это был опознавательный знак стоявшей здесь немецкой части—мышь наляпана была буквально на всем, даже на уборной.

У блиндажа на корточках сидел Пастушков, рассматривая разложенные на земле штаны и, очевидно, обдумывая, как поставить заплату. Увидев комбата, он не спеша встал и свернул штаны.

— Серка расседлывать? — спросил он, и в самом тоне вопроса, и в том, что за ним не последовало обычных других, Вергасов отметил что-то новое, не такое, как бывало всегда.

Сидевший в землянке за очередным донесением писарь посмотрел на него тоже как-то необычно, боком, начштаба же поднял лишь голову и спросил: «Ну, что там нового?»— повернулся на другой бок и сразу же захрапел.

Вергасов молча вышел. У входа, уткнувшись лицом в сумку от противогаза, спал батальонный почтальон. Вергасов остановился над ним.

— Другого места не нашел? Под самым штабом развалился.

Солдат суетливо встал, одергивая гимнастерку. Взгляд Вергасова скользнул по его растерянному, не проснувшемуся еще лицу и упал на летучую мышь на дверях.

— Сотри ее... К чертовой матери! — и посмотрел опять на почтальона.— А то дрыхнут, дрыхнут, круглые сутки дрыхнут.

Вергасов прошел на кухню, в обоз, забраковал кашу, отчитал помпохоза за неподкованных до сих пор лошадей, вернулся в рощу, постоял над Межуевым, который рисовал карикатуру на потерявшего лопату бойца третьей роты — лопата была почему-то в два раза больше бойца, но солдатам карикатура нравилась, и они весело над ней смеялись,— и лишь тогда направился к Ильину.

Ильин сидел на патронном ящике и брился. Увидев комбата, встал.

— Продолжайте, продолжайте,— сказал Вергасов и после небольшой паузы добавил: — Красоту наводите?

— Тороплюсь, пока совсем не стемнело.

Вергасов сел на пенек. Ильин, сморщившись, брил губу.

— Вы безопасной бреетесь? — спросил Вергасов.

— Угу,— не открывая рта, ответил Ильин.

Больше они не произнесли ни одного слова до самого конца бритья. Когда бритье кончилось и кругом на полверсты запахло тройным одеколоном, Вергасов вынул из кармана сложенный вчетверо листок и протянул его Ильину.

— Прочитайте.

Ильин развернул листок. Это был приказ по дивизии. Он читал его долго, все время кивая головой, видимо одобряя.

— Что ж, очень приятно. Ничего не скажешь, очень приятно,— он даже слегка покраснел.— Только вот машинистка у них не очень-то. Ваша фамилия разве через «ы», Выргасов?

Вергасов, не глядя, положил в карман приказ. Долго застегивал пуговицу. Потом сказал:

— Я не буду его зачитывать перед строем.

— Почему же?—удивился Ильин.— Такой приказ и не зачитать? Ведь солдаты...

— Вам должно быть ясно, почему я не могу его читать.

— Нет, не ясно.

Вергасов исподлобья посмотрел на Ильина.

— Я хотел вас отстранить от командования ротой,— глухо сказал он.— Знаете вы это или нет? И именно за то, за что вы... и я,— добавил он совсем тихо,— получили сегодня благодарность.— И помолчав: — Теперь ясно?

— Если из-за меня,— тихо сказал Ильин,— то не стоит. Я не придаю этому никакого значения. Я понимаю, что...

— Нет, не понимаете. В том-то и дело, что не понимаете. И очень многого не понимаете.— Вергасов искоса, не поворачиваясь, глянул на Ильина.— А я, оказывается, и того больше...

Он наклонился, поднял с земли гильзу от патрона, некоторое время ее разглядывал, потом размахнулся и запустил ее.

— Когда бросаешь, надо бросать всем телом. Ясно? И вообще... Пошли ко мне, а?

Ильин сразу даже не понял:

— Куда?

— Ко мне. У меня коньяк трофейный есть.

Ильин сконфуженно улыбнулся.

— Я же, вы знаете, товарищ капитан, не очень-то...

— А кофе вы пьете? — перебил Вергасов, и в глазах его появилось то веселое, мальчишеское выражение, которое так нравилось всегда Ильину.

— Кофе пью.

Вергасов рассмеялся.

— Севрюк-то наш, повар, целый мешок кофейных зерен раздобыл. И не знает, что с ними делать. Целый час, говорит, варю, варю, и ни черта не получается. Сергеев! — крикнул вдруг Вергасов так, что сидевший неподалеку солдат испуганно обернулся.— Или кто это там сидит? Будут спрашивать командира роты, скажешь, что у комбата, коньяк пьет...

1958

Путевые заметки

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

(Из зарубежных впечатлений)

В одно прекрасное солнечное утро, в последних числах апреля 1957 года, трое полицейских, несших службу на набережной Сены в районе дворца Шайо, обратили внимание на подозрительного субъекта, который, прохаживаясь вдоль устоев моста Иена, время от времени приседал на корточки и что-то фотографировал.

Полицейские окликнули его. Он не расслышал (или сделал вид, что не слышит), застегнул футляр фотоаппарата и быстро, через одну ступеньку, взбежал вверх по каменной лестнице.

Старший из полицейских сделал знак своим товарищам и устремился за ним. Только у входа на мост ему удалось задержать незнакомца.

Последовал диалог:

— Почему вы не откликаетесь, когда вас зовут?

— Как?

Полицейский повторил свой вопрос.

— Я не расслышал,— ответил незнакомец на плохом французском языке.

— Но я достаточно громко крикнул.

— Я не расслышал,— повторил незнакомец.

— Вы иностранец?

— Да.

— Ваш документ.

Незнакомец полез в боковой карман. К этому времени подошли двое других полицейских. Начало не предвещало ничего

хорошего. В руках полицейских болтались дубинки, взгляд их был строг и неумолим. Прохожие стали оборачиваться.

Но, увы, любителей поглазеть на уличные происшествия вскоре постигло разочарование. Подозрительному субъекту не скрутили за спину руки, не надели на них наручников, не отвезли его в черной машине в полицию, в вечерних газетах не появилось ни одной заметки о поимке шпиона.

Все кончилось идиллией. Трое полицейских, расправив плечи, выстроились в ряд, а иностранец, отойдя на несколько шагов, запечатлел их на пленке своей «экзакты».

В тот же вечер иностранец был уже в Москве, а еще через несколько дней показывал друзьям и знакомым свеженапечатанную фотографию троих парижских «ажанов» на фоне Эйфелевой башни.

Вся эта столь многообещающе начавшаяся история произошла со мной весной прошлого года в Париже, за два часа до вылета самолета на Прагу,— иными словами, как раз в тот момент, когда меньше всего хочется быть задержанным полицией. История, как уже знает читатель, закончилась весьма мирно, но начать свой рассказ я решил именно с нее. Во-первых, чего греха таить, хочется сразу же заинтересовать читателя, столкнув его с полицейскими, да еще парижскими, да еще кого-то задерживающими; во-вторых, очень уж не хочется начинать с традиционного самолета, отрывающегося от взлетной дорожки Внуковского аэродрома; и в-третьих, наконец, потому, что столь миролюбивым окончанием этого происшествия я обязан в первую очередь маленькой книжечке с золотым гербом на обложке.

Книжечка эта, тоненькая и, кстати, вовсе не красная, а синяя, действительно обладала какой-то магической силой. (И хотя об этом писалось и говорилось бесчисленное количество раз, я совершенно сознательно иду на риск быть обвиненным в повторении уже известных истин.) В Италии она открывала нам двери закрытых музеев, раза в два убыстряла и без того быстрое обслуживание в тратториях, рождала улыбки на обычно хмурых лицах привратниц и швейцаров — самой, пожалуй, неприветливой и подозрительной категории людей, с которыми нам приходилось встречаться.

И только однажды (объективности ради надо и об этом сказать) в маленьком, прилепившемся среди скал домике каприйского извозчика Винченцо Вердолива паспорт мой потерял свою силу. Впрочем, как потом оказалось, дело было не в нем, а во мне самом. Я не понравился хозяйке дома.

С первой же минуты она как-то очень подозрительно стала присматриваться ко мне. Когда же я, разместив все семейство (отца, сына, дочь, зятя, невестку и многочисленное черномазое их потомство) на ступеньках крыльца, приготовил свой аппарат и пригласил хозяйку занять свое место в центре группы, она наотрез отказалась. И вот тут-то даже торжественно вытащенный из кармана паспорт не возымел своего обычного действия. «Нет и нет... Ни за что...»

Только потом уже, прощаясь, милый, старый, словоохотливый Винченцо, смущаясь и не глядя в глаза, раскрыл мне тайну. Жена приняла меня за «еттаторе». Я понял: тут ничего уже не поделаешь. «Еттаторе» — это человек с дурным глазом, человек, приносящий несчастье, с ним ни при каких обстоятельствах нельзя иметь никакого дела. «Ну, что с ней поделаешь? Уперлась, и все...»

Впрочем, как потом выяснилось, супруга нашего милого Винченцо, отказавшись фотографироваться, ничего не потеряла: аппарат мой в тот день испортился, и все тридцать шесть снимков я снял на один кадр. Уж не сама ли старуха была «еттаторе»?

Но вернемся на набережную Сены, где трое полицейских с нескрываемым любопытством изучали мой паспорт — щупали позолоту, герб, разглядывали фотографию. Наконец старший из них, немолодой уже и весь какой-то очень добротный в своем синем, аккуратно сидящем на нем мундире, вернул мне его назад.

— Красивый,— любезно сказал он и одновременно профессиональным взглядом оглядел меня с ног до головы.— Из Москвы?

— Нет, из Киева!

— Из Киева? О! Красивый, говорят, город.

— Красивый.

— Красивее Парижа?

— Ну, как вам сказать... Я слишком мало пробыл в Париже. Всего лишь сутки.

— Сутки? Это никуда на годится. Париж — и сутки! Да в Париже...

Лед был сломан. Вежливо сдержанных полицейских сменили веселые, словоохотливые, любезные парижане.

— Чем вы занимаетесь в Киеве?

— Пишу.

— Что?

— Разное.

— Вы писатель?

— Писатель.

— И пишете на русском языке?

— На русском.— И тут же я непроизвольно похвастался, что моя повесть совсем недавно переведена на французский язык.

Все трое вытащили записные книжки и убедительнейшим образом заверили, что обязательно найдут и прочтут ее.

Вот уж никогда не приходило мне в голову, что написанное мною будет читать парижский полицейский. Придет домой, снимет свою пелеринку и, растянувшись на диване, начнет листать книгу о судьбе вернувшегося с фронта, тобой придуманного героя. Забавно...

К тому же полицейский, приятно улыбнувшись, вдруг сказал:

— Русская литература... О-о! Толстой, Достоевский...

Я взглянул на его круглое, в общем довольно интеллигентное лицо.

— Вы читали?

— А как же... И в кино смотрел. Сейчас на всех экранах идет «Война и мир». Превосходный фильм!

Тут я вспомнил, что Жерар Филипп знаком парижанам не только по Фанфан-Тюльпану и Жюльену Сорелю, но и по князю Мышкину из «Идиота», что знаменитая Мария Шелл — об этом писали сейчас все журналы и газеты — снимается в «Братьях Карамазовых», и, чтоб не разочаровываться в дальнейшем, поспешил переменить тему.

— Вы курите? — Я вытащил из кармана пачку «Беломора», припасенную специально для таких случаев.

Три осторожно вынутые папиросы перекочевали в боковые карманы темно-синих мундиров.

— Это на вечер, после ужина,— улыбнулся самый молодой из троих и со слегка извиняющейся интонацией добавил: — Нам не разрешается курить во время исполнения служебных обязанностей.

Весь этот не слишком сложный разговор велся, само собой разумеется, на французском языке. Говорил я, правда, преотвратительно, оперируя преимущественно существительными и глаголами в неопределенном наклонении, и все же меня похвалили (французы остаются французами)— похвалили за произношение.

— У нас тут русские живут по сорок лет, а говорят куда хуже, чем вы.

Другой добавил:

— Гарантирую — три месяца в Париже, и вы будете говорить не хуже нас.

Я был польщен. Как-никак похвалили. И не кто-нибудь, а настоящие парижане.

Мы поговорили еще несколько минут о московской милиции («правда ли, что туда берут самых здоровых ребят? А мы подошли бы?»). Потом я сфотографировал всех троих, а на прощание не вытерпел и спросил:

— А почему вы все-таки меня задержали? Разве нельзя фотографировать Эйфелеву башню?

— Почему нельзя? Можно. У нас все можно снимать.

— Почему же тогда задержали?

Старший несколько смутился.

— Видите ли, мы вообще задерживаем всех подозрительных.

— ??

— Ну, а вы... Мы кричим, а вы убегаете... И вообще...— Все трое переглянулись: — Тут всегда много спекулянтов. Обменивают валюту, ну и... тому подобное. В этом месте особенно.

— Что и говорить, удачное местечко я выбрал для моих съемок.

— Зато познакомились — подмигнул мне более молодой (тот самый, который особенно интересовался, вышел ли бы из него московский милиционер) и, чтоб окончательно скрасить неприятное начало нашего знакомства, вырвал из своего справочника маленький план Парижа с указанием всех линий метро.— На память о Париже. Бон вояж![1]

— Спасибо.

— И приезжайте еще.

— Только не на сутки.

— Мы вам весь город покажем...

И мы расстались.

Теперь я спокоен — в Париже я не пропаду...

Через час в аэропорту стряслась другая беда. Выручил на этот раз не паспорт, а билет.

Молодой, весьма расторопный служащий, оформлявший багаж, взглянул на весы, где стояли мои чемоданы, и как бы между делом сказал:

---

[1] Счастливого пути!

— Лишних десять килограммов. Доплата восемь тысяч франков.

Я обомлел. В кармане у меня только тысяча. К тому же сегодня воскресенье, посольство закрыто. Шофер (наш, русский, из посольства) наскреб у себя около двухсот франков. С минуты на минуту объявят посадку. Что делать?

Я снял с весов туго набитый портфель и тут только вспомнил, что в Риме (билет у меня был прямой: Рим — Москва, через Париж — Прагу), когда взвешивали мой багаж, я преспокойно держал портфель в руках. А здесь, дурак, бросил на весы. С грустью вручил я шоферу роскошное издание Микеланджело, подаренное в Риме, папки с увражами равеннских мозаик, альбомы репродукций итальянских музеев — авось посольство когда-нибудь перешлет. Большую бутылку Лакрима-кристи, которую я вез домой по специальному заказу, решено было распить тут же, на ходу.

И вдруг голос:

— Мсье летит в Москву?

Испугавший меня восемью тысячами молодой человек весело смотрел на меня.

— В Москву.

— В портфеле книги?

— Книги.— В руках я держал бутылку вина.

Молодой человек закрыл ладонью глаза.

— Все в порядке.

Я стал лихорадочно, пока он не передумал, запихивать книги и бутылку назад в портфель.

— Дайте ему двести франков,— сказал шофер.

Я положил несколько монет на стойку, но молодой человек с такой укоризной посмотрел на меня, что я тут же спрятал их в карман.

— Бон вояж,— сказал он.— Салю а Моску![1]

По приезде в Москву заграничный паспорт я сдал. А билет сохранил — какое-то чувство благодарности не позволило мне его выкинуть.

Но не пора ли все-таки приняться за начало? Еще Чапек в своих «Английских письмах» рекомендовал: «Начинать — так начинать сначала». Я не последовал этому совету. Поэтому, чтобы искупить свою вину, начну даже немножко раньше начала.

---

[1] Привет Москве!

Поездка за границу — уточню, первая поездка — сложна тем, что еще задолго до того, как ты получил паспорт, сотни друзей и знакомых начинают давать тебе советы (о поручениях я уже не говорю).

— Ходи только в белой рубашке, цветных там теперь не носят. И трикотажных тоже.

— Помни о ноже и вилке... Ешь двумя руками.

— Этот пиджак слишком короток. О нем не может быть и речи.

— Не пей много...

— Смотри не протягивай даме руку первым.

— Если будешь в Помпее, не забудь о лупанарии. Это, говорят, самое интересное.

— Везде и всюду давай чаевые, не жмись.

— Смотри не пей много.

— Не забывай на ночь выставлять ботинки в коридор. Самое важное за границей — начищенная обувь.

— Побольше папирос и марок. Там все собирают марки.

— Джоконда и Венера Милосская... Не посмотришь их, можешь не возвращаться.

— Главное — не пей!

— А где черный костюм? У тебя нет черного костюма? Можешь тогда не ехать. Вечером тебя никуда не пустят.

Черным этим костюмом меня так замучили, что в конце концов я его купил. С трудом, в «комиссионке» — кто у нас теперь носит черные костюмы? Потом перешивал. Потом покупал серый в полоску галстук. Потом черные носки и туфли...

Все это стоило много времени и забот, чтобы мирно провисеть около полугода в шкафу — поездку нашу отложили — и наконец, попав в Италию, так же мирно пролежать в чемодане. Да, в Италии, оказывается, так же как и у нас, никто не носит черных костюмов. Надевают только в исключительных случаях, на официальные рауты и приемы, которые, бог миловал, программой нашей поездки предусмотрены не были. Я воспользовался этим и упрятал костюм на самое дно чемодана, а чемодан оставил в Риме, когда мы поехали на север Италии. И был наказан за свое легкомыслие — не попал в театр Ла Скала. Билеты так и пропали. Не попал, потому что сидеть в партере в мосторговском цветном, пусть даже и полуторатысячном, костюме категорически запрещено. Возможно, в тот вечер правило это соблюдалось с особой строгостью — на спектакль дол-

жен был пожаловать президент республики, специально приехавший на открытие Миланской ярмарки.

Бедные наши миланские друзья! Вконец огорченные, ринулись они к телефону, пытались дозвониться до какого-то прокатного ателье, но было уже поздно, и мне ничего не оставалось делать, как отложить свое знакомство с первым театром и первым «гражданином Италии» до следующего раза.

Попутно и чтоб не возвращаться больше к этому вопросу — не слишком ли много внимания мы уделяем своей экипировке? В Италии, например, никто не интересовался покроем и фасоном моего костюма. Важно было другое: достаточно ли ты естественно и непринужденно себя в нем чувствуешь. Ходи как тебе удобно, как ты привык. Главное, не тужься, не глотай аршина, будь самим собой. И никто не осудит тогда твои недостаточно узкие брюки или не в меру атлетические плечи пиджака.

А черный костюм? Что ж, кто любит оперу, пусть захватит его с собой.

Но довольно об одежде. Пора и в путь...

Паспорт в кармане. Билеты тоже. Отдельным багажом — подарки: книги, какие-то шкатулочки, безделушки, икра, папиросы в красивых коробках, ну и, конечно, водка.

Бедняжка! Везли мы ее нашим будущим итальянским друзьям, но, не в обиду им будь сказано, большинство из них определенно предпочитало ей свое любимое кьянти или, в лучшем случае, коньяк. Пили же нашу «Московскую» главным образом, чтоб сделать нам приятное. Причем не до, а после обеда, давясь маленькими глотками и все же сквозь слезы улыбаясь и одобрительно кивая головой: «Буоно, буоно». Нашей русской, советской братии в Италии она, безусловно, доставила куда больше удовольствия. Еще большее доставила бы вобла. Но мы были еще неопытны и не догадались захватить ее с собой. Читатель, если ты поедешь за границу, вези воблу, и побольше. Ты многим доставишь удовольствие.

Итак, мы летим в Рим. Летим по приглашению общества «Италия — СССР». На паспортах — визы итальянского посольства: «Пересечь границу 3 апреля, обратно 24 апреля».

Но до Рима еще Париж...

«Пассажиров, следующих по маршруту Москва — Париж, просят выйти для посадки на самолет».

Великолепная машина самолет, ничего не скажешь. Быстрая, удобная. В дальних полетах к тому же и кормят, причем бесплатно, это входит в стоимость билета. И все же по чужой стране куда интереснее ехать поездом. А может, даже и в дилижансе. Вышел, потоптался, поглазел, зашел в буфет — интересно, чем кормят... А тут за какой-нибудь час отмахал всю Западную Германию. И ничего не увидел. Внизу вата.

Но есть в этой обидной быстроте и своя прелесть.

Три дня тому назад я бродил еще по окрестностям Ленинграда. Стоял яркий солнечный день, но снег в лесу был крепок и глубок. Тропинка как траншея. Под ногами скрипит. То тут, то там следы зайчат. Сосульки длинные, крепкие, чуть-чуть покапывают. Все блестит — глаза зажмуриваешь...

А вот сейчас вынырнул из туч — и под тобой все зелено. Поля, луга, рощицы, парки — прозрачные, нежные, словно пух. И много-много красных, оранжевых крыш среди маленьких зелененьких огородиков. Неужели весна?

А еще через три дня — кто бы мог подумать! — мы лежали на пляже в Остии, в тридцати километрах от Рима. И даже купались. И ничего. В Крыму иногда и летом вода бывает куда холоднее.

«Медам э мсье, Пари...»

Как? Уже? Где?

В окошке проносятся разноцветные, все в стрелах, полосах и надписях, длиннющие, прижавшиеся к земле самолеты. А вдали что-то плоское, белое, стеклянное, с надписью «Орли́». Аэропорт Орли.

Париж?

Париж.

...Ровно в семь утра его можно было видеть в Булонском лесу, совершающим свою утреннюю верховую прогулку...

...В фиакре с задернутыми на окнах занавесками она приезжала каждый вечер в его холостяцкую квартиру на Рю де ла Пэ...

...По приезде в Париж они сняли себе под самой крышей три маленькие комнаты, из окон которых хорошо видны были Сен-Сюльпис и купол Пантеона...

...Тут он вскочил на своего желто-рыжего коня, который без дальнейших приключений довез его до Сент-Антуанских ворот Парижа...

...Спустившиеся на город сумерки застали нашего героя все еще роющимся в книгах букинистов на набережной Сены...

...На башне Сен-Жак пробило двенадцать...

Что это? Откуда?

Да ниоткуда. Я просто придумал все это. Даже не придумал, а вытащил откуда-то из памяти. Оно застряло там, а когда вылезает наружу, кажется знакомым, как знакомы открытки с видами Эйфелевой башни, Нотр-Дам или пересеченной мостами Сены. Как фотографии из старой «Нивы» или французского «Иллюстрасьон». Президент Пуанкаре и Георг V в ландо на Елисейских полях... Генерал Жоффр принимает парад у Триумфальной арки... Все это с детства врезалось мне в память. А когда подрос, узнал Утрилло, Маркэ, Клода Монэ, Тулуз-Лотрека, Ван-Гога — художников, которые любили или не любили этот город, но не могли не писать его.

Париж — самый «литературный», самый «художнический» из всех городов мира.

И вот я стою у окна. И подо мной улица. И называется она Рю Монталламбер. И внизу машины. А передо мной крыши. С мансардами, трубами, котами. А за всем этим — Эйфелева башня... Кусочек ее, верхняя часть, и ту плохо видно — сейчас туман,— но это она.

И мы уже два часа как в Париже. Мы пронеслись в машине по его улицам. Мы видали уже бельфорского льва и роденовского Бальзака. (Где? Где? Вот это? — и уже скрылся.) И первых живых «ажанов», и мальчишек-газетчиков («Франс-суар! Франс-суар!» — хоть уши затыкай), и маленького лифт-боя с золотыми пуговицами, которому я дал свои первые заграничные чаевые («давай чаевые, не жмись...»). А сейчас я стою и смотрю на верхушку Эйфелевой башни из окна Пон-Рояль-Отеля, расположенного, как сказано в проспекте, «в самой деловой и в то же время здоровой части города, в районе министерств и посольств, по соседству с Лувром, Тюильри и Северным вокзалом...»

По соседству... И Нотр-Дам и Дом инвалидов тоже, оказывается, по соседству! И Сена и Марсово поле! А у меня только вечер, ночь и утро...

Мы идем по набережной Сены. Уже зажглись фонари, отражаются в Сене. И окна домов отражаются. И каштаны.

Нас трое. Известный академик, раз двадцать уже бывавший в Париже, переводчик — молодой парень, впервые попавший за границу, и я, в Париже бывавший и даже живший. Да, да, целых четыре года проживший. Было это, правда, давно — лет сорок с лишним тому назад, еще «до той войны», как у нас говорят, — и все-таки это давало мне право считать себя старожилом и время от времени мимоходом бросать: «А вот за этим мостом будет площадь Согласия. А если свернуть налево и пойти по Елисейским полям, мы попадем на площадь Этуаль...»

И, как ни странно, перейдя громадную, в этот час довольно пустынную площадь Согласия с ее вывезенными из Египта обелисками, с ее фонтанами и скульптурами городов Франции (одна из них — «Страсбург» — в войну 1914 года в знак траура была скрыта от глаз черным покрывалом) и свернув налево, мы действительно попали на Елисейские поля.

Кажется, им нет конца. Только где-то очень-очень далеко, на самом горизонте, точно крохотная безделушка (а сколько их в Париже, этих безделушек,— металлических, пластмассовых, стеклянных), озаренная прожекторами Триумфальная арка.

Идем, идем, очень долго идем, а она все такая же маленькая.

Кончился бульвар — тихий, пустынный (Париж рано ложится спать), начались витрины. Сплошное стекло, гектары стекла, и за ним, в пустоте закрытых магазинов, медленно вращаются умопомрачительно сверкающие, сверхобтекаемые восьми,- десяти- и двенадцатицилиндровые лимузины, кабриолеты и что-то, чему я не могу даже дать название,— такое оно длинное и ни на что уж не похожее. А рядом, в витрине поменьше, порхает какая-то искусственная блестящая птичка, а под ней лениво переливаются на бархате кольца, браслеты, диадемы и, по-моему, даже короны. Я никогда не думал о том, как короли и королевы приобретают короны. Получают по наследству, или им тоже хочется иметь новые, по последней моде? Постоит вот так, вроде меня, у этой витрины какое-нибудь королевское величество, потом зайдет внутрь и спросит: «Мужские, пятьдесят второй размер есть?»— «Пожалуйста».

Но о витринах и магазинах потом. Успеем.

Триумфальная арка приближается. Осталось только прорваться сквозь водоворот машин. Здесь их много.

Кажется, что они кружатся так сутки напролет без всякой цели.

Триумфальная арка. Под аркой могила. В ней лежит человек, которого никто не знает. В дни национальных торжеств здесь произносят речи. Все произносят. И Петэн произносил. Только он, лежащий в могиле, молчит...

Триумфальная арка. Памятник великих побед. Двенадцать авеню, расходящихся во все стороны звездой, напоминают о них. Авеню Ваграм, Иена, Великой Армии, Фридланд. Авеню Марсо, Ош, Клебер, Карно — великих полководцев Франции. И менее великих — Мак-Магона и Фоша. Нет только побед и героев последней войны...

А может, о них, о победах и героях этой последней войны, могут рассказать те двое парней в коротеньких курточках, подпоясанных ремнями? Они застыли у изголовья чугунной плиты, на которой написано: «Неизвестному солдату Франции». Лица их озарены пламенем, горящим на могиле солдата. Один постарше, другой помоложе — курчавый, черноглазый, очевидно южанин. Оба, не мигая, смотрят куда-то вперед, мимо нас. Я не помню, было ли у них в руках оружие. Кажется, нет. Но по всему чувствовалось, что когда-то было и что они умели с ним обращаться.

Кто они? У того, что постарше, синие точки на лице. Не шахтер ли? Но с ними нельзя разговаривать: они в почетном карауле. А как хотелось бы поговорить. Мне кажется, они могли бы кое-что рассказать. О днях Сопротивления, о спущенных под откос эшелонах, о взорванных мостах, о маки, о франтирерах — о том, о чем молчат двенадцать авеню.

Но не только с ними хотелось бы мне поговорить. Хотелось бы поговорить и с другими людьми, теми, которые не в этот день, а в другой, через две недели — 19 апреля, стояли у этой же могилы. С теми, другими, мне легче было бы говорить — они знали русский,— но, вероятно, куда труднее было бы найти с ними общий язык. Этих, других, я так и не увидел. Я о них прочел в эмигрантской газете «Русская мысль», которую купил в киоске на бульваре Сен-Жермен,— она висела рядом с московской «Правдой». В небольшом объявлении на шестой странице сообщалось, что «на торжественную церемонию возжения пламени на могиле Неизвестного солдата приглашаются Преображенцы, Измайловцы, Егеря — офицеры и солдаты 3-го Его Императорского Величества стрелкового полка, стрелки Император-

ской фамилии, кавалергардская семья, все члены Союза русских офицеров — участников первой мировой войны на французском фронте, в парадной форме, при всех орденах...»

Именно о них я невольно вспомнил ровно через полгода, стоя над другой могилой, в другом городе, в моем родном городе.

Восемь генералов бережно и неумело опустили в могилу совсем легонький гроб. Припали к земле знамена. Грянул салют. О крышку гроба ударились мерзлые комья земли.

Над крутым днепровским обрывом высится сейчас обелиск — стремительный, немногословный. У подножия трепещет пламя. Гранитная плита. Под ней солдат. Никто не знает, кто он. Простой солдат. Тот, что вытянул войну. Месил фронтовую грязь сапожищами, бил немца, грел озябшие руки у печурки, стучал в «козла», материл нерадивого старшину, брал города, форсировал реки. Может, ты с ним и воевал вместе, лежал в одном окопе, докуривал его цигарку...

Ветер рвет пламя над могилой. Кругом венки — большие, торжественные, с красными лентами. И маленькие трогательные букетики. Стоит паренек, рыженький, в ремесленной курточке. Двое морячков в коротеньких бушлатах. Женщина с ребенком. Стоят, молчат... Каждый думает, вспоминает свое.

Хотелось бы знать, о чем думали и о чем вспоминали измайловцы, преображенцы, егеря и кавалергарды, стоя в парадной форме, при всех орденах, над могилой французского солдата.

Если выйти из станции метро Порт-Орлеан и пойти налево, то минут через двадцать вы дойдете до парка Монсури́. В этом парке прошли первые четыре года моей жизни. Мать, окончившая в свое время Лозаннский университет, работала тогда в одном из парижских госпиталей, я же в компании двух других русских мальчиков (родители их эмигрировали из царской России) пасся в парке Монсури.

И вот спустя сорок два года я иду на встречу со своим детством.

Вышли из метро — я и Лев Михайлович, наш переводчик,— свернули налево.

Я проверяю свою память.

— Вот дойдем до конца парка и свернем налево. И сразу же направо будет коротенькая улица в несколько домов — Рю Роли.

— Вы это по плану определили,— говорит Лев Михайлович.

— Ладно, определил. Но то, что угловой дом — одиннадцатый, на плане не сказано. И то, что на углу был магазинчик, тоже не сказано. А в этом магазинчике продавались леденцы. И там был очень высокий прилавок. Приходилось становиться на цыпочки и куда-то очень высоко тянуть руку с монетой...

Проклятая память! Почему она сорок лет хранит в себе магазинчик, где продавались леденцы, и выбрасывает вон куда более важное, происшедшее пять, десять, пятнадцать лет тому назад?

Угловой дом оказался одиннадцатым. И на углу был магазинчик. Он был закрыт, но я посмотрел сквозь витрину. Вон и прилавок. Но тогда он, ей-богу же, был гораздо выше.

— А теперь пойдем вдоль этой ограды. Пройдем — ну, сколько мы там пройдем, я не знаю,— но будут ступеньки и вход в парк.

У матери сохранилась моя фотография тех лет. Я круглолиц и коротконос. В каком-то офицерском мундирчике, с саблей на боку, стою на скамейке. Сейчас скамеек в парке нет. Какие-то складные стулья. Но почему не считать, что эта скамейка стояла именно тут?

Встречи с прошлым...

...Школа, в которой ты учился. Дом, в котором жил. Двор — асфальтовый пятачок среди высоких стен. Здесь играли в «коцы», в «сыщиков и разбойников», менялись марками, разбивали носы. Хорошо было. И, главное, просто. Носы быстро заживали...

Но есть и другие встречи. Куда менее идиллические. Встречи с годами войны; с дорогами, по которым ты отступал, с окопами, в которых сидел, с землей, где лежат твои друзья. Но и в этих встречах — суровых и скорее печальных, чем радостных,— бывают такие, что вызывают улыбку.

Я долго бродил по Мамаеву кургану. Прошло восемь лет с тех пор, как мы расстались со Сталинградом. Окопы заросли травой. В воронках квакали лягушки. На местах, где были минные поля, мирно бродили, пощипывая траву,

козы. В траншеях валялись черные от ржавчины гильзы, патроны...

Обойдя весь курган, я спускался вниз по оврагу к Волге. И вдруг остановился, не веря своим глазам. Передо мной лежала бочка. Обыкновенная железная, изрешеченная пулями бочка из-под бензина.

В октябре — ноябре сорок второго года передовая проходила по этому самому оврагу. С одной стороны были немцы, с другой — мы. Как-то мне поручили поставить минное поле на противоположном скате оврага. Поле было поставлено, а так как вокруг не было никаких ориентиров — ни столбов, ни разрушенных зданий, ничего,— я на отчетной карточке «привязал» его к этой самой бочке, иными словами, написал: «Левый край поля находится на расстоянии стольких-то метров по азимуту такому-то от железной бочки на дне оврага». Дивизионный инженер долго потом отчитывал меня: «Кто же так привязывает минные поля? Сегодня бочка есть, а завтра нет... Безобразие!..» Мне нечего было ответить.

И вот давно уже прошла война, и нет в помине ни Гитлера, ни минного поля, и мирно пасутся по бывшей передовой козы, а бочка все лежит и лежит. (Только год спустя ее убрали, когда делали генеральную чистку Мамаева кургана).

И еще одна встреча. Тоже с прошлым, но вдруг ожившим.

В Сталинграде снимали картину «Солдаты». Снимали на тех же местах, где шли когда-то бои. Опять вырыли окопы, понастроили землянок в крутом волжском берегу (куда им было до тех, настоящих, обжитых!), закоптили сохранившиеся руины — а их совсем не легко было найти сейчас,— словом, по мере сил восстановили недавнее, ставшее уже довольно давним, прошлое.

Как-то ночью шли съемки высадки батальона в городе. Старенький, видавший виды катер «Ласточка» (он воевал и в гражданскую и в эту войну и все-таки остался жив) тащил за собой баржу. Кругом, вздымая столбы воды, рвались снаряды, метались по небу прожектора, шипя, падали в воду ракеты. Солдаты прыгали с баржи и по пояс в воде выбирались на берег. Все до жути было похоже на то, что происходило на этом же берегу четырнадцать лет тому назад. Но, как ни странно, не это, а другое особенно как-то подействовало на меня.

В перерывах между съемками солдаты приданного нам полка отходили в сторону и, расположившись на железнодорожных путях, отдыхали, приводили себя в порядок. На них было старое обмундирование, без погон, с отложными воротничками, у сержантов с треугольничками, у офицеров с кубиками в петлицах. Они лежали в темноте, перемигиваясь цигарками, позвякивая котелками, негромко окликали друг друга. Кто-то уже храпел. Кто-то затянул песню, тихую, ночную...

И вот тут-то нахлынули воспоминания — самые, может быть, дорогие, самые близкие...

Но сейчас мы в Париже и будем говорить о Париже.

Самое, пожалуй, поразительное в этом городе то, что он совсем не кажется чужим. Даже не зная языка, ты как-то сразу и легко начинаешь в нем ориентироваться. У него, правда, очень компактная и легко запоминающаяся планировка — кольцо бульваров, два взаимно-перпендикулярных диаметра (один: Елисейские поля — улица Риволи — площадь Нации; другой: бульвары Сен-Мишель — Севастопо́ль — Восточный вокзал) и лучший из всех существующих ориентиров — река Сена, проходящая через самое сердце города. Но дело не в этом. И не в том, что он знаком тебе по прочитанным книгам или виденным картинам. Просто это свойство самого города. В этом его обаяние.

И второе. По Парижу не только легко ходить (кстати, этому помогают громадные планы города, расположенные у входов и в туннелях метро), по нему приятно ходить. Город, по которому хочется гулять. Не ездить, а именно гулять. По Берлину, например, гулять не хочется. По Ленинграду, по Праге — хочется. А по Парижу еще больше.

Когда я летел из Рима в Париж, в самолете нам вручили маленькие брошюрки «Эр де Пари» («Воздух Парижа»), изданные авиационной компанией «Эр-Франс». В подзаголовке на обложке было написано: «Ваш гид на неделю. 24—30 апреля. Куда пойти в Париже? Спектакли, музеи, рестораны, шопинг» («шопинг» — забавное слово, обозначающее хождение по магазинам, от английского «шоп» — лавка, магазин).

Лишенный возможности из-за туч разглядывать с высоты шести тысяч метров проплывающие под нами Монблан и Женевское озеро, я листал брошюру. От обилия пред-

лагаемых пассажиру парижских достопримечательностей и развлечений разбегались глаза. Рекомендовалось, например, осмотреть один из двадцати девяти музеев или шестнадцати салонов-выставок, посетить один из пятидесяти пяти театров, послушать знаменитых «шансонье» в четырнадцати предлагаемых местах или повеселиться в одном из пятнадцати мюзик-холлов. Если вы любитель кино, на ваш выбор давалось шесть французских, четырнадцать американских, три английских, один испанский, один итальянский, один греческий и один советский фильм («Ромео и Джульетта»). Не забыты были портные, парикмахерские и даже аптеки. О ресторанах и магазинах я уже не говорю.

Полистав более или менее внимательно брошюру, я мог составить себе примерно такой план времяпрепровождения в Париже, учитывая, что я пробуду там только сутки.

От десяти до восемнадцати часов — музеи. Лувр, выставка «От импрессионизма до наших дней» в галерее Андрэ Мориса, Музей восковых фигур Гревэн, аквариум Трокадеро (рыбы французских рек), выставка, посвященная Наполеону и Римскому королю в Доме инвалидов, или другая— «Французский костюм с 1725 по 1925 год» в Мюзэ д'ар модерн. В восемнадцать часов музеи закрываются. Обедать! Где? В «Мануар норман» («Нормандский замок») или «Бутей д'ор» («Золотая бутылка»). Первый славится громадным, всегда пылающим камином и знаменитыми цыплятами на вертеле, изготовленными мсье Бюролла, великим специалистом этого дела; второй — тем, что существует с 1630 года, расположен против Нотр-Дам и что кормят там каким-то особенным фрикасе из провансальского цыпленка. После цыплят — театр. На мое усмотрение — «Фауст» в Гранд-Опера́ (теперь она называется почему-то просто Опера́), нашумевшее «Яйцо» Фелисьена Марсо в Ателье или чеховский «Иванов» в Театр д'ожурдюи. На закуску — Мулен-Руж, Фоли-Бержер, Альгамбра или Казино де Пари.. .Программа прелестная. День заполнен до предела. По приезде домой есть о чем рассказать.

Составляя этот план, я испытывал неизъяснимое наслаждение. Прилетев в Париж, я сунул брошюрку в чемодан и никуда не пошел, даже в Лувр.

Это — преступление, я знаю. Быть в Париже и не взглянуть на Венеру Милосскую и Монну Лизу равносильно тому, что побывать в Риме и не увидеть папу. Но поскольку в Риме я с папой так и не встретился, я позволил себе и

вторую вольность — променял сокровища Лувра на парижские улицы.

Парижские улицы... Узенькие, кривые, с забавными названиями — улица Шпор, Хороших мальчиков (Bons-garçons), Кошки, удящей рыбу (Chat-qui-pêche), Двух кузенов, Трех сестер, Четырех воров, и широкие, обсаженные каштанами авеню и бульвары... Улицы «высокой парижской коммерции» (du haut commerce parisien) в районе Мадлен, Сент-Огюстен, бульвара Мальзерб, средоточие самых великолепных и дорогих в мире магазинов-люкс. Всемирно известные площади — большие и маленькие, с памятниками и без памятников, размахнувшиеся среди тенистых парков и сжатые высокими стенами домов, они особенно хороши ночью, когда гаснут огни реклам и фонари, изящные парижские фонари с металлическими абажурчиками в виде шлемов, мягко освещают нижние этажи домов. И, наконец, набережные — может быть, самое прекрасное во всем городе. Внизу — пустынные, с покосившимися, глядящими в Сену столетними вязами и молоденькими, двадцатилетними парочками, примостившимися на ступеньках у самой воды; вверху — оживленные, заполненные людьми, куда-то спешащими, бегущими, что-то разгружающими из громадных тупорылых машин или, наоборот, фланирующими, фотографирующими, разглядывающими у прилепившихся к каменному парапету букинистов пожелтевшие от времени книжки.

По ним только и бродить, по этим площадям, набережным и улицам, идти куда глаза глядят, сворачивать направо, налево, петлять, кружить, спуститься в метро, проехать сколько-то там станций и выйти на какой-нибудь особенно улыбнувшейся тебе — Ваграм или Пигаль — и опять куда ноги понесут, если они еще не отказали.

Гостиница Каирэ́ находится в самом центре, на бульваре Распай. Я вышел из нее, дошел до угла и, остановившись у светофора, почувствовал себя точно витязь на распутье. Пойдешь налево — Национальное собрание и дворец президента, направо — площадь Бастилии, прямо — сад Тюильри, назад — Марсово поле и Эйфелева башня. Я пошел направо — не знаю почему.

Ты один, дел и обязанностей никаких, деньги кое-какие еще есть, не густо, но есть, погода чудесная — что еще надо? Идешь по бульвару Сен-Жермен и глазеешь по сторонам. Симпатичная девушка продает цветы — перед ней

полная корзина цветов, каких-то голубеньких и розовых, незнакомых тебе, и сама она похожа на цветочек. Старик в клеенчатом фартуке приставил лесенку к афишной тумбе и наклеивает что-то очень большое — пока что я вижу на афише только длинные-предлинные ноги в ажурных чулках и туфельках на неправдоподобно высоких и тонких каблучках. А вот на таких же каблучках-гвоздиках пробежали две девушки с хвостатыми прическами, и двое молодых ребят с пестрыми платочками на шее, сидящие за столиком у входа в кафе, точно по команде повернули в их сторону головы. Пожилой господин с болтающейся за спиной тросточкой тоже проводил их взглядом и опять принялся разглядывать выставленные в витрине гипнотически притягивающие к себе сногсшибательными обложками выпуски «библиотеки ужасов».

Бульвар Сен-Жермен — самый книжный из всех бульваров. Здесь можно купить все или почти все, начиная от баснословно дорогих, в тисненых переплетах, нумерованных изданий для знатоков и любителей и кончая грошовыми, запрудившими рынок миллионами экземпляров выпусками, которые так пленили господина с тросточкой. Книги по живописи, архитектуре, музыке, фотографии, спорту, туризму, телепатии, автомобилям. Книги о том, как дружно жить с женой, не отказывая себе в других развлечениях, как вылечить рак в два месяца, как заводить нужные знакомства. Специальный магазин самоучителей всех языков мира, вплоть до какого-то таинственного бринчи-бринчи. Магазин словарей и справочных изданий. В нем я встретил своего друга детства, тоже повзрослевшего, как и я,— маленький иллюстрированный словарь Ларусс, в котором было столько картинок, что от них оторваться нельзя было. И сейчас я тоже никак не мог от них оторваться, пока любезное «Вам завернуть?» не прекратило это занятие.

В маленьком скверике у церкви Сен-Жермен-де-Прэ я присел на скамейку. Позднее я узнал, что это самая древняя в Париже церковь, что построена она в 557 году и находилась тогда за пределами городских стен (отсюда и название: Сен-Жермен-на лугу), что норманны неоднократно разрушают ее, тем не менее колокольне за моей спиной минуло недавно тысяча четыреста лет. А в трех шагах от нее другая достопримечательность Парижа, чуть помоложе, носящая то же название «Сен-Жермен-де-Прэ»,— знаменитое кафе экзистенциалистов.

Садясь на скамейку, я ничего этого не знал и мирно покуривал, глядя на азартно строивших какое-то сооружение из песка и веток ребятишек. Рядом со мной сидел старик, читавший «Монд». У него было чисто выбритое, все в морщинах и складках пергаментное лицо старого учителя. Я почему-то решил, что он преподает или преподавал когда-то математику. Прочитав газету, старик аккуратно сложил ее, положил в карман, вытащил трубку и долго набивал ее табаком из маленькой плоской коробочки с большой буквой «N» на крышке. Потом долго рылся в карманах в поисках спичек. Я предложил ему свои. Он закурил и, возвращая мне спички (они были итальянские, в плоской зелененькой коробочке), спросил, не португалец ли я. (Кстати, на следующий день в аэропорту какой-то очень смуглый, невероятно черноволосый субъект, суетливо бегавший и искавший кого-то, подбежал вдруг ко мне и, радостно улыбаясь, спросил: «Это вы летите в Лиссабон?» После этого мне очень захотелось увидеть живого португальца, я их никогда не видел.) Старик, узнав, что я русский, недоверчиво посмотрел на меня.

— Русские — большие, широкоплечие и светлые,— сказал он.

Я удивился. В Париже много русских, неужели они все большие, широкоплечие и светлые? Старик ничего на это не ответил и спросил, какой я русский, старый или новый,— очевидно, эмигрант или советский? Мой ответ он попросил подтвердить доказательством. Я вынул рубль. Он долго его рассматривал, потом вернул — в Италии его ни за что не отдали бы, а попросили бы еще расписаться на нем.

Вдруг без всякой логической связи с предыдущим старик заговорил о Наполеоне. Какой это был император, какой полководец! Только одну ошибку он совершил — поздно начал русский поход. Надо было начинать не в июне, а по крайней мере в апреле или в мае. Тут же он, правда, оговорился, что к русским относится хорошо, что они неплохие солдаты — он видел их в первую войну — молодцы, красавцы! — что у него есть приятель русский, истопник, очень порядочный человек.

Из дальнейшего выяснилось, что старик служит в Доме инвалидов, где погребен Наполеон, то ли гардеробщиком, то ли в охране (говорил он быстро, и я не все понимал, но слово «garde» — охрана, стража, караул — он повторил несколько раз), и тут мне стало ясно, что все интересы ста-

рика сводятся в основном к тому, что имеет какое-либо отношение к великому императору (иначе он Наполеона не называл). На пальце у него был перстень с буквой «N», на часах брелок с буквой «N», и даже крохотные запонки на воротничке были украшены малюсенькой буквой «N». Когда мы заговорили о днях оккупации, он сказал, что немцев не любит, но многое им прощает за то, что они перевезли в Дом инвалидов прах Римского короля, сына Наполеона.

Потом старик вдруг обиделся и замолчал, узнав, что я не поклонился праху великого императора и вряд ли успею это сделать. Сидел, попыхивая трубкой, не глядя на меня, потом, по-видимому, ему это надоело, и он ворчливо спросил, знаю ли я, у стен какого древнего сооружения сижу. И тут же рассказал историю Сен-Жермен-де-Прэ.

Дальнейшему разговору помешала его жена. Толстая, оживленная и сердитая, значительно моложе его, она как-то неожиданно появилась перед нашей скамейкой и сразу стала в чем-то упрекать его. Старик виновато смотрел на нее снизу вверх, потом встал и, несколько сконфуженный своим слабым сопротивлением, попрощался со мной, успев сообщить жене, что я «симпатичный молодой человек из Москвы, к сожалению, не интересующийся историей Франции». Жену это нисколько не тронуло, она решительно взяла его под руку и, продолжая отчитывать, повела к выходу. Старик на ходу обернулся, посмотрел на меня и беспомощно развел руками: «Что поделаешь. Такова жизнь...»

К сожалению, кроме этого старика и трех «ажанов», в Париже мне больше ни с кем не удалось поговорить, если не считать приказчиков и таможенных чиновников. Впрочем, вру — с одной парижанкой я довольно долго разговаривал. Мы сидели с ней в кабинете нашего посла, у великолепного высокого окна, выходящего в небольшой уютный садик. Она пришивала мне оторвавшийся карман на пиджаке, а я слушал ее приятную, не так часто встречающуюся теперь, сохранившуюся только у стариков московскую речь.

— Ну что ж, живу... Уборщицей работаю. Второй год уже. И никак не привыкну. Город большой, красивый, очень даже красивый, вы же видели. Да больно уж суетливый. Суетливее, чем Москва. А может, та суета своя, привычная... А может, просто по детям скучаю...

И она повела обычный и всегда чем-то трогающий рассказ матери о своих детях, привычно и ловко орудуя иглой («а теперь и пуговицы укрепим...»), и от всего этого сразу стало как-то тепло и уютно в этом громадном кабинете с торжественной мебелью, в котором сидели когда-то чрезвычайные и полномочные министры Российской империи, а теперь, пока не пришел еще наш посол, тетя Маша, оторвавшись от пылесоса «Ракета», пришивала мне карман.

Ей нравился Париж. И парижане нравились. А думала она все о Москве. «И суета там своя, привычная».Кстати, эта черта свойственна всем русским, живущим за границей. Наши корреспонденты в Италии, с которыми я провел довольно много времени, с улыбкой слушая мои излияния по поводу красот Рима, Флоренции, Венеции, говорили:

— Мы, брат, тоже первые два-три месяца вот так вот бегали высунув язык. Ах, музеи! Ах, руины! Ах, траттории! Ах, дороги! А вот поживи здесь с наше, года три-четыре, так поймешь, что значит для тебя Сивцев Вражек или какая-нибудь твоя киевская, идущая в гору улица. Иной раз даже по милиционеру соскучишься...

И все это говорили русские, которые знали, что через месяц, два, три, шесть, максимум год они вернутся домой на свои Сивцевы Вражки и Николо-Песковские. А что говорить о тех, кто никогда уже не вернется на родину?

Я много видел таких. Разных, очень разных. В Равенне рядом со мной за столом сидела девушка, специально приехавшая за сто километров повидать земляка с Украины. Попала она в Италию во время войны. Сама из Днепропетровска. Вспоминала родные места, плакала и просила, чтобы я обязательно прислал ей шевченковский «Кобзарь». «Вы не представляете, что это для меня значит, нет, вы не можете этого понять».

Во Флоренции старушка, библиотекарша общества «Италия — СССР», энергичная и подвижная, с жаром рассказывала, как расширяется круг читателей советской литературы, а вечером («нет, я не хочу вина, я хочу русской, настоящей русской водки!») тоже расчувствовалась и все вспоминала, расспрашивала, расспрашивала, расспрашивала.

Ирина Ивановна Доллар, преподавательница русской литературы в Венецианском университете, не плакала. В Италии она очутилась совсем еще маленькой девочкой;

Россию почти не помнила, но все русское ей по-настоящему дорого.

Я сидел среди ее студентов в маленькой университетской аудитории, и как же приятно было слушать все, что говорили и расспрашивали о русской и советской литературе все эти молодые венецианцы и венецианки, из которых многие приезжают на лекции за десятки километров.

Все они мечтали попасть на фестиваль. Собрали деньги и теперь ждали — разрешат университетские власти или нет? Несколько месяцев спустя я получил от Ирины Ивановны открытку: «Едем на фестиваль!» Как жаль, что я не был тогда в Москве...

Приятно сейчас вспомнить и о Юрии Крайском, вдвоем с которым мы бродили по безмолвным улицам Помпеи и пили вино в уютном домике нашего каприйского гида Винченцо Вердолива, и о Джордже Фолиато, показывавшем нам Флоренцию (кстати, он тоже побывал на фестивале), и о старом флорентийском враче, трогательно приглашавшем нас к себе домой, чтобы показать нам, как чисто по-русски обставлена у него квартира, словом, о всех тех, для кого слово «Россия» обозначало пусть далекую, пусть даже чем-то чуждую, но все-таки родину.

Но были и другие.

Был немолодой уже содержатель одного из флорентийских ресторанов, который подсел к нам и с грустью заговорил о том, что в Россию ему никогда уже не вернуться.

— Да и стоит ли? Мы теперь уже не нужны друг другу. Ни я ей, ни она мне. Отвыкли друг от друга. Скучать, конечно, скучаю, но возвращаться... И не примут, и делать мне у вас теперь нечего. Здесь у меня семья, никаких особых планов на жизнь я уже не строю, к Италии привык, хоть не все мне здесь по душе.— Он вздохнул, потер ладонями лицо.— Приходите завтра, я вам что-нибудь русское сделаю — борщ со сметаной, блины...

А в маленьком городке Ивреа, недалеко от Турина, на фабрике пишущих машинок Оливетти (о ней речь будет особая) нас сопровождала немолодая и очень словоохотливая дама, имя и отчество которой я сейчас забыл. Фабрика сама по себе, конечно, очень интересна, но дама восторгалась и захлебывалась с таким усердием, что мы, слушая ее, невольно начинали подвергать сомнению все, что она говорила. Рабочие, мол, и массу денег зарабатывают, и каждый свою машину имеет, а если не машину, то

мотороллер, и квартиры у них отдельные («вот и у меня две комнаты, кухня, ванная, а в Москве, я видела, всё еще по углам жмутся...»), и рабочая столовая здесь лучшая в Италии, и сам Оливетти такой бессребреник, всем раздает деньги, а сам в стареньком пальтишке ходит.

Во всем этом, возможно, и была доля истины — не знаю, проверить то, что нам говорили, мы не могли, а фабрика, со стороны, действительно поражает своим благоустройством и рациональностью,— но когда обо всем этом говорится с таким неумеренным восторгом, невольно закрадывается сомнение.

Попутно о нас самих. Не напоминаем ли мы иногда эту самую даму, когда показываем иностранцам свои достопримечательности? Мне вспоминается скорбный взгляд итальянского писателя Карло Леви, когда три года тому назад в Киеве я спросил его, как ему понравилось Московское метро.

— Господи, и вы об этом? — сказал он с укоризной.— Нет человека, который не задал бы мне этого вопроса. Даже в Италии... В вашем посольстве, в Риме, я спросил молодого человека, выдававшего мне визу,— кстати, неглупого, начитанного,— что самое интересное он порекомендует посмотреть мне в Москве. Он подумал-подумал, наморщил брови и сказал: «Метро!» — то же, что я уже раз двадцать слышал от русских. И, может быть, именно поэтому я в нем не был. А ведь, вероятно, оно действительно хорошее...

После оливеттиевской дамы я понял, что у Карло Леви были основания так говорить.

Но это к слову. Возвращаюсь к тому, с чего начал,— к «другим». С наиболее ярко выраженной категорией этих лиц (хотя далеко не самой многочисленной) я столкнулся в одном из римских ресторанов, носящем название «Библиотека», очевидно, потому, что бутылки с вином стоят на полках вдоль всех стен от земли до потолка. Нас было шестеро: мы с Львом Михайловичем и четверо наших корреспондентов. На правах старых, опытных римлян они угощали нас изысканными итальянскими блюдами и винами, наперебой расспрашивали, что нового дома, в Москве, в Ленинграде, Киеве. Потом откуда-то появился фотограф, щелкнул аппаратом и через двадцать минут принес наши изображения, наклеенные уже на паспарту. Одним словом, все шло гладко и мирно. И только под самый конец мы обратили внимание на соседний столик. Там сидела женщина

и еще двое: один постарше, другой лет двадцати, совсем мальчишка. Мальчишка был бледен и пьян. Уставившись в пространство, не глядя ни на нас, ни на своих собутыльников, он не очень громко, но достаточно, чтобы мы расслышали, произносил слова:

— Продали Россию... Загадили, запаскудили. Кровью залили. Великие преобразователи человечества. По заграницам теперь разъезжают. Учить нас хотят. А Россия с голоду дохнет. Продали ее...— И так далее, и так далее.

Судя по глазам и сжатым кулакам моих друзей, вся история могла закончиться в полицейском участке. Но благоразумие взяло верх. Мы расплатились и ушли. В гардеробе опять столкнулись с этой тройкой. Явно пытаясь затеять ссору, старший из них, проходя мимо нас, кинул:

— Не понравилось? А? Струсили?

В ответ ему с достаточной ясностью было сказано, что его ожидает, если он сейчас же не скроется. Нас было шестеро, их трое, вернее двое. Больше мы их не видели.

Кто они? Чем занимаются? Не встречались ли мы с ними (с мальчишкой нет, а с тем, постарше) где-нибудь на полях Отечественной войны? Не было ли на нем тогда серо-зеленого мундира?

Немало русских разбросано сейчас по земному шару. В Италии, Франции, Южной Африке, Австралии... Сколько среди них мечтает о «Кобзаре», сколько среди них обманутых, хотящих и боящихся вернуться домой, но сколько среди них и ненавидящих. Их меньшинство, но они есть.

Чем же они живут?

Мне трудно судить об этом: кроме той тройки в римском ресторане, мне больше ни с кем не пришлось встречаться. Разве что с «Русской мыслью», с которой столкнулся в Париже. Существует эта газета уже десять лет, редактирует ее некий Серж Водов. Я с интересом полистал ее. С интересом потому, что, во-первых, никогда до сих пор не читал белоэмигрантских газет, во-вторых, просто потому, что захотелось узнать, чем же живут ее издатели и читатели.

И оказалось — ничем. Ненавистью? Но одной ненавистью не проживешь. А кроме нее, ничего нет. Пустота, безысходность, отсутствие цели, хотя о ней и говорят и пишут. Но верят ли в нее?

Трудно без улыбки, например, читать о том, как какой-то господин Болдырев, деятель Национально-трудового союза, обещает произвести в Советской России переворот, если у

него будет сто миллионов долларов. Над этим смеется даже А. Жерби, сотрудник «Русского слова», статью которого «Несколько слов по поводу Конгресса за права и свободу России» я прочел в номере газеты за 23 апреля 1957 года. Я не знаю, кто такой А. Жерби, приславший в «Русскую мысль» свою статью из Нью-Йорка, но, прочитав ее, я окончательно понял всю трагическую и смешную безысходность существующего еще до сих пор «белоэмигрантского движения». Есть еще какие-то партии, союзы, объединения, движения, институты, ассоциации, комитеты, общества — галлиполийцев, кубанцев, витязей, алексеевцев, русских комбатантов, русской православной молодежи и т. д. и т. п., есть собрания, конференции, балы, матине, thé-dançant'ы (чай с танцами), съезды, конгрессы. Нет только одного — цели. Цели, в которую бы верили.

«Мое отрицательное отношение к созываемому в Гааге на 25—27 апреля «Конгрессу за права и свободу России»,— пишет автор статьи,— является последствием печального опыта с несколькими съездами эмигрантских организаций, созывавшимися за последние десять лет. Ничего, кроме склоки, из этих попыток, начатых с самыми лучшими намерениями, не вышло». И дальше: «Лично мне не известен ни один человек из передовых слоев эмиграции, не только левых, но просто прогрессивных, кто признал бы целесообразность собираться в настоящее время и обсуждать нечто, не поддающееся обсуждению».

Картина более или менее ясная. Остаются только матине и thé-dançant'ы в Русском доме. Об открытии одного из них, в Брюсселе, сообщается в том же номере газеты:

«Дом сверкает чистотой, на стенах красуются царские портреты и портреты вождей Добровольческой и Освободительной армий, знамена, гербы, девизы... Имеется зал для конференций, салон для бриджа, русский бильярд, библиотека, читальня».

Вот и нашлось, где посидеть, побеседовать, повспоминать прошлое, полистать свеженькие журналы. Ну хотя бы этот, о выходе которого сообщается все в том же номере:

Вышел из печати № 24 журнала
«ВОЕННАЯ БЫЛЬ».
Издание
Общекадетского объединения
под редакцией А. А. Геринга.

В номере: Д. А. «День в Морском корпусе (посвящается выпуску 1915 г.)»; Вл. Третьяков. «Первые добровольцы на Кубани и кубанцы в первом походе»; В. Каминский. «Производство в офицеры»; Л. Беляев. «Офицерские гимнастические фехтовальные курсы в Киеве и 1-я Российская олимпиада»; Анатолий Марков. «Гвардейская юнкерская школа»; В. Богуславский. «75 лет с поступления в Воронежскую военную гимназию», и т. д. и т. д.

Есть еще о чем вспомнить, сидя под портретами вождей «Добровольческой» и «Освободительной» (читай — власовской) армий!

Ну, а тем, кто помоложе, кому нечего вспоминать? Чем им заняться? Оказывается, кроме бриджа и бильярда, есть еще и ипподром. В том же номере газеты некто Н. Нелидов дает дельные советы, как там вести себя, чтобы не оказаться в проигрыше.

«Если у вас попросят прикурить в промежутке между скачками, не играйте: о выигрыше не может быть и речи. Если вас все время толкают — проиграете. Уронили деньги — наступите на них: выиграете. Если вместо кассы, где покупают билеты, по ошибке встанете у кассы, где получают,— выигрыш обеспечен. Это приметы французских игроков. О русских приметах напишу после».

Ну, а если никуда не хочется идти, хочется сидеть дома? И на этот случай газета дает совет в своем отделе «На досуге»:

ПАСЬЯНС «КОМЕТА»

Возьмите колоду в 52 карты и расположите ее в 8 вертикальных рядов следующим образом: в первых 4 рядах по 6 карт, из коих 5 закрытых, а 6-я открытая, а в последующих 4 рядах — по 7 карт открытых. Пасьянс состоит в том, что...»

И дальше шестьдесят строк объяснения, как скоротать время, если не хочется ни на съезд, ни в библиотеку, ни на ипподром.

Но это еще не все. Газета дает ответы и на более существенные вопросы устами сотрудницы «Женского уголка», всезнающей Натали. Она все знает, на все может ответить: и сколько стоит билет на самолет до Лондона, и где находится Баньер-де-Бигорн и дорого ли там лечение, и что делать Марии Ивановне (Мозель), пятнадцатилетний сын которой в ее отсутствие приходит домой завтракать, но слишком

мал, чтобы самому себе приготовить завтрак, и слишком велик, чтобы оставаться одному с прислугой, которой уже семнадцать лет.

«У меня есть подруга француженка,— спрашивает у Натали Петр Иванович,— и у нас вечно недоразумения. Сейчас обиделась, что я не сделал ей подарка на Пасху. Сами знаете, времена тяжелые,— я ей это сказал. А она мне: «Ведешь себя, как будто ты мой законный муж». Что это она хотела сказать, уважаемая Натали?»

И Натали отвечает. На все отвечает. Вот это газета!

Пусто, безысходно, бесконечно тоскливо. Где выход? Кто ответит?

«МАЛЕНЬКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
LES PETITES ANNONCES

Ясновидящая КАЛЬ. Отвеч. на задуман. вопросы, угад. имена и предсказываю будущее. 3—7 час. 70 bis, Av. Clichy, 1-er étage».

Пятнадцать лет тому назад закончились бои в Сталинграде. В течение нескольких часов, даже минут, мы оказались вдруг тыловиками. Фронт был далеко, где-то на Дону. На пушки натягивали чехлы. Из пистолетов и автоматов расстреливались последние патроны. Все небо было в ракетах с утра до поздней ночи. А потом пили.

В перерыве между концом боев и началом празднования я отправился на Тракторный завод. Весь сентябрь я просидел на нем — с 23 августа до 3 октября. Мы должны были взорвать его. В цехах под машинами лежали мешки аммонала. От мешков шли провода в щели — убежища. В щелях мы жили. Там же были и маленькие рубильники, которые надо было включить, как только получим сигнал. Но сигнал так и не дали. В последних числах сентября пришел приказ — взрывчатку из цехов убрать и закопать поглубже. Мы это сделали и ушли на левый берег. Вскоре немцы захватили Тракторный.

Прошло четыре месяца. И вот в первый же мирный день, вернее даже час, я отправился на Тракторный, чтобы показать, где зарыта взрывчатка. Потом я долго бродил по разрушенному заводу, зашел в ТЭЦ (вместо нас ее разрушили немецкие бомбардировщики), разыскал щель, в которой, не раздеваясь, прожил сорок два дня,— в нее попал

снаряд, и она превратилась просто в засыпанную снегом яму. Потом пошел в свою часть.

Не доходя километра три-четыре до нашего штабного оврага, я догнал небольшую группу пленных, которую вел командир роты третьего батальона Стрельцов.

Мы пошли вместе. Немцев было человек восемь. Сумрачные, замерзшие, закутанные в одеяла, с громадными рюкзаками за плечами (немцы не расставались ни с чем, что в силах были поднять), они шли молча, не глядя по сторонам. Только один был без рюкзака — маленький, весь посиневший, с густой черной щетиной, доходившей ему почти до глаз.

— Говорит, что француз,— сказал Стрельцов.— Ругает фрицев на чем свет стоит.

«Шкуру спасает»,— подумал я и задал ему несколько вопросов. Это был первый в моей сознательной жизни француз, если не считать мсье Картье, преподавателя курсов иностранных языков, на которых я когда-то недолго учился.

Француз оказался эльзасцем из города Мюлуз. Имя его я сейчас забыл. До войны работал спортивным обозревателем в местной, а затем в страсбургской газете. Там, в Страсбурге, у него семья: отец, жена и двое мальчиков — Селестэн и Морис.

— Мо́риц? — не выдержал и съязвил я.

— Нет, Мори́с! — Он даже обиделся.— Ударение на «и». Мори́с. И говорят они у меня оба по-французски. Дома только по-французски. Старшему, Селестэну,— десять, Мори́су — шесть...

Мы шли по разъезженной танками и машинами дороге. Кругом в снегу валялись подбитые немецкие пушки, обломки самолетов, ветер гнал вороха немецкой штабной писанины (в те дни Сталинград буквально утопал в ней), а он, маленький, в надвинутой на уши пилотке, с трудом двигая замерзшими губами, рассказывал о своем отце, кавалере ордена Почетного Легиона, полученного за Верден, о матери-парижанке («она умерла еще до войны, и, может, это даже хорошо, она не увидела меня в этом позорном обмундировании»), о своей жене, родом из Лотарингии («у меня сейчас руки замерзли, а то показал бы вам ее фотографию»), опять о своих детях, потом вообще о французах — какие они всегда веселые, остроумные, неунывающие, как ценят они свою свободу.

Недели через две я опять встретился с ним. Он шел с большой партией пленных, которых уводили за Волгу.

Увидев меня, он помахал рукой и что-то крикнул. Мне послышалось что-то вроде: «До встречи в Париже!..»

Тогда, в сорок третьем году, на берегу замерзшей Волги, пожелание это звучало по меньшей мере смешно. Но вот случилось так, что через пятнадцать лет я действительно попал в Париж. Эльзасца своего я, конечно, не встретил, но, глядя на парижан, невольно вспомнил его слова о веселых, неунывающих французах. Как ни странно, мне они такими не показались. Суждение очень общее и поверхностное, но и в метро, и на улицах, и в магазинах они не производили на меня впечатления людей веселых, неунывающих. Особенно в метро. Сидят молчаливые, сосредоточенно глядящие перед собой или уткнувшиеся в газету, усталые, невеселые люди.

Мне говорили потом, что французы, мол, после войны очень изменились. Стали угрюмее, замкнутее, сидят больше по домам. Так ли это? Не знаю. На Монмартре, например, мне удалось все-таки увидеть веселых парижан. Это были толстые немолодые люди в расстегнутых рубашках, с увлечением катавшие какие-то шары — французская игра, смысл которой я не совсем понял. Дело происходило на маленькой уютной площади у входа в кафе. Какие-то туристы фотографировали играющих, но те не обращали на них внимания и, весело перекрикиваясь, катали свои шары. Я тоже постоял, посмотрел, потом свернул в переулочек и тут обнаружил другую категорию людей, которые тоже ни на кого не обращали внимания. Они сидели за мольбертами и все рисовали одно и то же — яйцевидный купол Сакрэ-Кёр, господствующий над всеми крышами Монмартра. Одни делали его голубым, другие желтым, фиолетовым, а маленький сухонький старичок с профилем и волосами Листа, в длинной блузе с бантом — таких я видел только на картинках,— изображал его розовым на фоне белесого неба, хотя на самом деле купол был как раз белесым, а небо розовым.

Но не это меня удивило. Удивило то, что такие же точно пейзажи именно этого купола и именно с этого места висели в большом количестве чуть ли не во всех магазинах, торгующих сувенирами, открытками и картинами. Неужели этого количества не хватает, нужно его пополнять? И тут у меня мелькнула нехорошая мысль: а что, если старичок с бантом и его коллеги просто-напросто необходимый аксессуар, без которого Монмартр не был бы Монмартром? Но

что это за Монмартр, без художников! Потом мне говорили, что это так, мол, и есть — все они живут за счет туристских компаний, кто ж этого не знает? А веселые толстяки с шарами? Может, они тоже... Но нет, это уже слишком. Да и про художников, по-моему, тоже все придумано. Не хочется этому верить, хотя, в общем, и непонятно, зачем все-таки столько сакрэ-кёров.

На той же маленькой уютной площади, где катали шары, увидал я и других художников — разновидность наших, вырезывающих из черной бумаги профили в парках и фойе кинотеатров. Но эти не вырезывали, эти просто рисовали. Один из них, молодой, рослый парень, судя по всему — по клетчатой навыпуск рубахе с засученными рукавами, по шкиперской русой бородке, которая сейчас в моде у парижской богемы,— должен был быть заядлым абстракционистом. Но это течение, по-видимому, не в большой чести у рядовых заказчиков. Парень самым честным образом, с растушевочкой, с бликами в глазах, очень быстро и ловко рисовал маленькую девочку, сидевшую перед ним на стуле и мучительно старавшуюся не засмеяться. Родители одобрительно кивали головами — им нравилось.

Тут же рядом другой художник, тоже молодой (не студенты ли они?), но менее эффектный, без бородки, писал сразу двоих — жениха и невесту. Она была в подвенечном платье с флердоранжем, он — молодой офицер в кокетливо сдвинутом набок берете. Друзья их, молодые люди в таких же беретах и девицы с распущенными, точно непричесанными волосами, усиленно помогали художнику советами, но, в общем, были довольны его работой. На приколотом к дощечке листе ватмана под разноцветными мелками быстро возникали розовые и очень привлекательные молодожены, может быть даже несколько более привлекательные, чем на самом деле.

Потом вся компания, а вслед за нею и я отправились к Сакрэ-Кёр и там несколько раз сфотографировались на широкой лестнице, идущей к собору. Тут же, на лестнице, фотографировалось еще несколько пар. Почему их было так много, не знаю. Одну из групп — папу, маму, жениха, невесту и мальчика с голыми коленками — удостоился чести снять и я. Мне дали аппарат и попросили запечатлеть всех пятерых вместе, но так,чтобы попали и собор, и конная статуя, и, главное, высоченная колокольня, которая никак не вмещалась в кадр. Не знаю, что у меня получилось,

но в благодарность я заслужил прелестную улыбку невесты и веточку флердоранжа. Вслед за этим все пятеро степенно проследовали в собор.

Собор Священного сердца — Сакрэ-Кёр — самое, пожалуй, некрасивое и непарижское сооружение во всем Париже. Я не видел церкви Сен-Фрон и Перигэ, формы которой вдохновили творцов Сакрэ-Кёр, но эта многокупольная, пышная, непонятно в каком стиле сделанная громада, строившаяся тридцать четыре года (1876—1910), кажется каким-то посторонним, инородным телом среди монмартрских улочек, переулочков и лестниц. Только низкий, благородный звон «Савояра», самого большого в мире колокола, плывущий над крышами Монмартра, несколько искупает громоздкость и пышную эклектику архитектуры.

Но место, на котором стоит собор,— лучшего не найти. Пристроившись на парапете, окружающем небольшую площадь перед собором, я долго сидел и смотрел на погружающийся в вечерние сумерки громадный город. Быть может, вид, открывающийся на Флоренцию с Пьяццале Микеланджело, или всемирно известный ландшафт Неаполитанского залива с пинией и Везувием сами по себе красивее. Возможно, это и так, но в той красоте есть какая-то открыточная законченность, самой природой придуманная композиция. Здесь же просто город: крыши, крыши, крыши, и первые огоньки в окнах, и светящиеся изнутри перекрытия вокзалов — правее Сен-Лазар, левее Гар дю Нор и Гар де л'Эст,— а дальше купола, колокольни, совсем розовая сейчас лента Сены и все та же Эйфелева башня, которую так ненавидел Мопассан и которая так прочно овладела силуэтом Парижа.

Я сидел на каменных перилах и думал о том, что за те три с чем-то десятка часов, которые я в нем пробыл, я увидел максимум того, что можно было увидеть, я обегал десятки улиц, площадей и парков, ноги у меня болели так, как не болели с лета сорок второго года, когда приходилось проделывать по сорок — пятьдесят километров в сутки, и все-таки я города совсем не знаю. Я видел дома, но что за их фасадами скрывается, я не знаю. Я фотографировал папу, маму, жениха, невесту и мальчика с голыми коленками, но кто они такие, о чем они думают,— я не знаю. Единственный парижанин, с которым по сути я поговорил, рассказывал мне о Наполеоне, а ведь он, вероятно, мог и кое о чем другом порассказать. Я покупал книги, открытки,

билеты в метро, маленькие сувениры, но кто те люди, которые мне их продавали, где они живут, как живут, что делают после шести часов вечера, какие газеты читают и читают ли вообще, а если читают, то почему именно эти, а не те,— ничего этого я не знал. Я всего лишь несколько минут постоял над тем парнем в клетчатой рубашке, со шкиперской бородкой, а мне хотелось бы с ним посидеть в каком-нибудь бистро́ до двух часов ночи и задать ему тысячу вопросов и ответить на две тысячи его.

Трое «ажанов» на набережной Сены мило мне улыбались и передавали привет Москве. А год спустя эти же «ажаны», возможно, разгоняли на Елисейских полях демонстрации, шедшие с лозунгами «Да здравствует Республика!», и, может быть, били даже дубинкой по голове того самого парня в курточке, который стоял в почетном карауле у могилы Неизвестного солдата. А может быть — уж больно разнородным по составу было французское Сопротивление,— может быть, этот самый парень в майские дни 1958 года сам кричал у стен Бурбонского дворца: «Министров в Сену!» Все может быть...

Париж... Парижане... Я видел их, но я не знаю их. А как хотелось бы знать. И не только знать, но и подружиться с ними, теми, чьи предки защищали Великую французскую революцию и Парижскую коммуну, кто сами выходят на улицу с «Марсельезой» на устах, когда свободе Франции грозит опасность. И тогда я понял бы, что настоящие парижане совсем не такие, какими я видел их в метро. Они другие — веселые и неунывающие, любящие и ненавидящие, поющие, танцующие и заразительно смеющиеся, но умеющие, кроме того, и бороться, и драться, и отстаивать свои права, кто бы и под какой бы маской на них ни посягал, одним словом, такие, какими описывал их маленький эльзасец в Сталинграде, какие они есть, какими они не могут не быть.

Третьего апреля в половине четвертого мы прибыли в Рим, а в пять был уже прием, или, как он был назван в газетах, «коктейль», устроенный обществом «Италия — СССР». Так началась наша жизнь делегатов, жизнь, в которой завтраки, обеды и ужины являются, пожалуй, самой тяжелой и трудоемкой частью и без того перегруженного расписания.

— Ну что ж, пойдем позавтракаем,— с этих слов обычно начинался наш день.

В час, оказывается, надо уже обедать. Итальянцы обедают в час, и тут уже ничего не поделаешь — надо идти. Обед продолжительный, обязательно с вином — после него, кроме сна, трудно о чем-либо другом мечтать. Но о каком сне можно говорить, когда в четыре нас ждут там-то, в шесть конференция, потом визит к тому-то и конечно же небольшой ужин, а до четырех надо успеть побывать в галерее Уффици, или в Национальном музее, или во Дворце Дожей, или в Ватикане, или... Словом, какой сон в Италии? Спали по четыре-пять часов, и то обидно было.

За двадцать три дня я побывал в семи городах — в Риме, Турине, Милане, Венеции, Равенне, Флоренции и Неаполе,— и только в Неаполе не было никаких «мероприятий». И во всех семи — музеи, галереи, выставки, церкви, руины, замки, дворцы, театры, гробницы, памятники. Один только поверхностный осмотр не оставил бы ни минуты времени для чего-либо другого. А мы, собственно говоря, и приехали для этого «другого»: как в старину говорилось, «людей посмотреть и себя показать», а на современном языке — для налаживания контактов.

И тут-то хочется сказать о том, что особенно затрудняло это налаживание. Незнание языков — вот в чем наш грех. Средний итальянский интеллигент, кроме своего родного, обязательно знает или французский, или немецкий, или английский, а то и все три. В любом ресторане, музее, гостинице, на почте, в поезде тебя всегда поймут, если ты заговоришь на одном из этих языков. Италия — страна туристов (двенадцать миллионов туристов в год, оставляющих соответственное количество долларов) — этим многое объясняется. Возможно, это не лучший стимул для изучения языков, но, что там ни говори, важен результат. А мы, в большинстве своем, немы и глухи. Мы прикованы к переводчику. Мы не можем читать газеты. Мы бродим по улицам, сидим в тратториях и остериях и не понимаем, о чем вокруг нас говорят, чему радуются, смеются, чем возмущаются. А это, может быть, самое интересное: сидеть вот так вот, в углу за столиком, и слушать, наблюдать, а потом и самому взяться затеять какой-нибудь спор — итальянцы любят это, моментально подхватят.

Всего этого я был лишен. На конференциях я говорил под переводчика. А как это нарушает непосредственную

связь со слушателями! В простом разговоре пропадает окраска речи, смысл интонации — перевод, как бы он ни был хорош, все-таки только подстрочник.

Итальянцы со свойственной им восторженностью и деликатностью говорили: «О! Синьор прекрасно объясняется по-французски». Но, простите, что это за разговор, когда, пытаясь, например, высказать свою точку зрения на современную итальянскую архитектуру, я с трудом, мучительно подбирая слова и морща лоб, выжимал наконец из себя: «Вокзал, стадион, аэропорт — хорошо... Дом, где люди живут, хорошо и не хорошо... Один другой похожи, скучно...» В дальнейшем я попытаюсь написать об архитектуре так, чтобы читателю стало понятно, что я хотел этим сказать, но тогда мне хотелось, чтобы меня поняли мои собеседники, а получалось черт знает что, детский лепет.

Второй наш грех. Мы почти не знаем современной итальянской культуры (да и только ли итальянской?). Мы говорим о Данте, Петрарке, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, а нас спрашивают о Коррадо Альваро, Чезаре Павезе, Умберто Саба, Элио Витторини, Эудженно Монтале. Увы, мы их не знаем. С Моравиа, Леви, Пратолини мы познакомились каких-нибудь два-три года тому назад, а ведь это крупнейшие писатели с европейскими именами, печатающиеся много лет. Нас спрашивают, какого мы мнения о романах Фолкнера, Саган,— мы разводим руками. Помню, как неловко нам было, советским писателям, когда в Ленинграде, года полтора тому назад, Альберто Моравиа спросил нас что-то о Кафке. Мы переглянулись, мы никогда не слыхали этой фамилии. Возможно, на Западе этому писателю придают больше значения, чем он заслуживает (говорю «возможно», так как до сих пор его не читал,— опять же язык!), но слыхать-то о нем все-таки не мешало бы — его книги переведены чуть ли не на все языки мира.

И третье, о чем я уже вскользь упоминал: не надо глотать аршин, он мешает двигаться и говорить, надо быть самим собой. Мы советские люди, к нам присматриваются, стараются нас понять, раскусить, и вот тут-то мы не всегда находим правильную линию. С одной стороны, мы начинаем расхваливать все свое, с другой — так же неумеренно подлаживаемся под обычаи и привычки той страны, в которую попали. Ни того, ни другого не надо — это только мешает. Не надо всем и каждому говорить, что у нас лучшее в мире метро, что Сталинград был переломным моментом в

разгроме гитлеризма, что Эйзенштейн «Броненосцем «Потемкиным» сделал переворот в мировой кинематографии, что многие писатели Запада учились у Льва Толстого, а режиссеры у Станиславского,— все это известно, и повторение этих несомненных истин вызывает только улыбки. Не надо думать, что, покритиковав картины, например, Александра Герасимова или архитектуру нового Крещатика, мы наносим удар своей родине, роняем ее достоинство. Мы вовсе не обязаны краснеть за это, как и за то, что на нас не перлоновая рубашка, а простая бумажная, ботинки не узконосые, а тупые: что ж, они носят такие, а мы — такие...

И еще одно: часто мы удручаем своей серьезностью (ах, как мы ее любим!) и забываем, что шуткой можно иногда куда скорее приобрести друга, а если надо, то и отбрить недоброжелателя.

Первый итальянец, с которым я познакомился, был опять-таки, как и француз, военнопленный — веселый, быстроглазый сицилиец Джулиано. Он попал к нам под Одессой, сразу как-то прижился к батальону, сначала помогал повару, затем ходил даже в разведку, сменив петушиные перья своего головного убора на нашу прозаическую пилотку, и вообще стал батальонным любимцем.

Со вторым итальянцем я познакомился через десять лет. Это был Карло Леви — писатель и художник, книги которого «Христос остановился в Эболи» и «Слова — камни» широко известны теперь советскому читателю. В 1955 году он приезжал в Киев, и мы долго бродили с ним по надднепровским садам и паркам. Вернувшись в Италию, он написал книгу о своем путешествии по Советскому Союзу,— она выдержала пять изданий и много сделала для ознакомления широких итальянских кругов с нашей страной.

Оба они — Джулиано и Леви — совсем не были похожи друг на друга. Один — сын палермского шапочника, двадцатилетний разбитной парень, покорявший своим голосом (впрочем, не только голосом) девушек тех сел, где мы стояли. Другой — человек уже немолодой, прославившийся своими книгами и картинами в Европе и далеко за океаном. Короче, люди они были разные. Но обоих объединяло одно качество, вернее, три: радушие, приветливость и доброжелательность — качества, присущие, как я потом увидел, большинству встречавшихся мне итальянцев.

Джулиано в сорок пятом году отправили на родину. Прощаясь, он записал чуть ли не десяток адресов, но ни одного письма я от него так и не получил. В утешение себе, объясняю это его врожденной ненавистью к перу и бумаге. К сожалению, во время нашей поездки по Италии мы не попали в Палермо, на родину Джулиано, и я не увидел ни его, ни его красавицы жены, ни маленького бамбино Пьетро, о которых он столько нам рассказывал. А жаль, очень хотелось бы их повидать...

С Карло Леви встретиться оказалось куда проще. Он был одним из двух знакомых мне людей на том самом «коктейле», на который мы попали в первый же час своего пребывания в Риме. Вторым был Джованни Пирелли, знакомый мне еще по Киеву, куда он приезжал в составе делегации сторонников мира, сын знаменитого каучукового короля и составитель нашумевшей в свое время книги «Письма приговоренных к смерти», предисловие к которой написал Томас Манн.

Как гостеприимный хозяин, Леви водил нас по залу и знакомил с людьми, чьи имена давно уже стали известны нам по литературе и кинофильмам: с Данило Дольчи, ныне лауреатом Ленинской премии мира, триестинским архитектором, переехавшим в Сицилию, чтобы жить и работать среди крестьян и рыбаков этого многострадального острова, с Ренато Гуттузо (его картины выставлялись в Москве и Ленинграде), с Чезаре Дзаваттини, автором покоривших весь мир фильмов «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», с Эдуардо де Филиппо, которого я совсем недавно и с не меньшим интересом вторично смотрел в «Неаполе — городе миллионеров», с Альберто Моравиа, автором широко известных у нас «Римских рассказов» и великолепного романа «Чочара», и многими другими, чьи руки приятно было пожать.

Потом мы ездили с Леви на его машине по городу, побывали в маленьком кафе, где когда-то сиживали Гоголь и Александр Иванов (их портреты висят там до сих пор), и закончили день — иначе в Италии нельзя — в одном из ресторанов на площади Навонна. Леви знакомил нас с итальянской кухней и учил, как надо справляться со спагетти, ловко наворачивая эти бесконечно длинные макароны на вилку и не менее ловко отправляя их в рот.

Впрочем, с настоящей итальянской кухней мы познакомились несколько дней спустя, побывав в гостях у Линуччи

Саба, дочери знаменитого, ныне покойного, итальянского поэта Умберто Саба. Я не помню точно, чем нас там угощали, помню только, что все было очень вкусно — Линучча Саба славится своими изысканными обедами. Но вечер, проведенный у нее, запомнился не столько кушаньями, которые там подавали, сколько тем, что было после того, как мы с ними покончили.

Небольшая заметка, написанная нашей гостеприимной хозяйкой и опубликованная в газете «Пунто», начиналась так:

«— Русские приглашены на обед? — спросила меня моя кухарка, и в ее глазах появился страх.

— Сегодня у вас действительно будут русские? — спросила привратница, и ее глаза загорелись фанатическим блеском».

Очевидно, этот интерес испытывали не только кухарка и привратница синьоры Саба, так как к концу обеда в маленькой уютной квартирке на шестом этаже трудно было повернуться, столько появилось там гостей.

Среди них был и Васко Пратолини, автор чудесной книги «Повесть о бедных влюбленных», спокойный, сдержанный, с немного печальным взглядом из-под очков, и Джованни Пирелли, и Анджело-Мариа Рипеллино, совсем еще молодой, свободно говорящий по-русски литературовед, составитель довольно полной антологии русской поэзии. Был, конечно, и сам Карло Леви, улыбающийся и приветливый, главный вдохновитель всей этой встречи. Остальных я не знал.

Расположились в небольшой, очень просто, но со вкусом обставленной комнатке. И вот тут-то завязался спор, закончившийся около трех часов ночи.

Не скажу, чтобы эти несколько часов были самыми легкими в моей жизни. Дело в том, что, хотя с октября 1956 года прошло почти полгода, все, связанное с Венгрией, было еще очень свежо. Мои собеседники, усевшись вокруг на диванах, креслах, столах и просто на полу, в течение по крайней мере двух часов подвергали меня перекрестному обстрелу. Не мне судить, насколько удачны и убедительны были мои ответы (Пирелли, в частности, сказал, что он не считает наш спор законченным и рад был бы его продолжить в другом, менее многолюдном месте,— к сожалению, осуществить это не удалось), но часа в два ночи мы сошлись на том, что никому не удастся поколебать дружеские отношения, установившиеся между нами, и что нет лучшего спо-

соба укрепить их, как говорить, что думаешь, отстаивать то, во что веришь, прямо, искренне и до конца.

Месяца два спустя, уже в Киеве, я не без улыбки прочел в архибуржуазной итальянской газете «Мондо» нечто вроде отчета об этом вечере. О статье этой мы слыхали еще в Италии, но найти ее почему-то не могли. Итальянские друзья наши, очевидно боясь испортить нам настроение, говорили: ерунда, не стоит и читать! А Карло Леви, считавший себя до какой-то степени ответственным за этот вечер, чуть смутившись, сказал:

— И никто ее не приглашал, эту даму, хотя она и подписалась «Приглашенная». Просто пронюхала и явилась. Нельзя ж было не пустить.

Вероятно, действительно нельзя, да, вероятно, и незачем было, хотя, попадая на званый обед, приятнее находиться в кругу людей, которые не сидят в углу с блокнотом. Впрочем, у «Приглашенной», возможно, блокнота и не было, его с успехом заменила собственная фантазия. Сужу по тому, что моя персона в статье наряжена была почему-то в солдатскую гимнастерку, а сам я изображен в виде «сицилийского крестьянина с жилистыми руками и словно высеченным из камня лицом с густыми бровями над черными глазами». Откровенно говоря, мне очень понравился этот приписываемый мне экзотический облик, но, увы, он так же далек от истины, как и утверждение, что на вечере присутствовали «двое из русского посольства». Ну что ж! Так интереснее.

Смысл статьи сводился к тому, что под градом сыпавшихся на него вопросов «бедный русский писатель» вспотел, скинул пиджак, оставшись в солдатской гимнастерке, и, исчерпав запас хвалы по адресу своей страны, перешел в контратаку, обвиняя итальянцев в том, что у них демонстрируются антисоветские фильмы американского производства, и ни о чем другом говорить уже не хотел. Кончилось все тем, что только на улице сопровождаемому все теми же загадочными «представителями посольства» бедному писателю удалось наконец свободно вздохнуть.

Что ж, почти правда. И пиджак снимал, и о стране своей не так уж плохо говорил, и действительно огорчался тем, что на итальянских экранах демонстрируется антисоветский (кстати, настолько бездарный, что я и получаса не высидел) фильм «Железная юбка». Все это было. Но было и другое — то, чего «Приглашенная» не захотела увидеть.

Был громадный интерес друг к другу, желание познакомиться, подружиться, разобраться во всем том, что подчас еще мешает этому. В маленькой комнатке на шестом этаже собрались представители двух различных миров, которым не так часто приходится встречаться и которые, к сожалению, еще так мало знают друг о друге.

«Может быть, в глазах наших гостей мы кажемся марсианами? Не думаю, но верно то, что в наших глазах они ими не являются»,— так закончила свою статью в газете «Пунто» наша гостеприимная хозяйка.

Пользуясь случаем, чтобы заверить Линуччу Саба, что и мы (переводчик и я) не приняли их за марсиан, что вечер, проведенный у нее, был очень интересен и что если мы действительно вздохнули, выйдя на улицу, то просто потому, что на ночной улице дышать куда легче, чем в пятнадцатиметровой комнате, набитой по меньшей мере двадцатью курильщиками.

Возвращаясь же к статье в «Мондо», скажу только одно: статья эта была единственной недоброжелательной из всех, которые появились тогда в итальянских газетах по поводу нашего приезда.

Откровенно говоря, отправляясь в Италию, я ожидал эксцессов покрупнее. Известно, что осенью пятьдесят шестого года по Италии прокатилась волна антисоветских демонстраций. Позднее я узнал, что демонстрации эти инспирированы были правительством, что основная масса участников состояла из школьников старших классов и что в эти дни занятия в школах начальством были отменены. Картина ясная.

Нет, итальянский народ не удалось поколебать в эти тяжелые для всех нас осенние дни 1956 года. Тяга к Советскому Союзу осталась прежней. Мы ощущали это везде — и на конференциях, и при встречах с рабочими, и за чашкой густого сладкого кофе, без которого итальянцы не могут прожить и часа, и просто на улице, сталкиваясь с людьми.

Перед первой нашей конференцией я порядочно-таки волновался. Это было в Турине. Впервые в жизни я должен был выступить перед людьми, не знающими моего языка, живущими в чужой стране, перед людьми, образ мыслей которых мне незнаком и чей круг познаний о нашей стране тоже неизвестен.

Зал небольшой, но народу много. Старые, молодые, мужчины, женщины. У некоторых в руках блокноты, тетради,

у других фотоаппараты. Все молчат, ждут. Кто они? Не знаю. В основном, понимаю, что люди, симпатизирующие нам, но вот там, у колонны, несколько ребят в коротеньких курточках о чем-то все время перешептываются — чувствую, что молчать они не будут.

Тема лекции — советская литература, пути ее развития. Попутно — театр, живопись, архитектура, кино. Говорить приходится по две-три фразы, потом включается переводчик. Это раздражает, мешает и мне и слушателям. Но слушают внимательно, не перебивая. Длится это около часа. Потом вопросы.

И вот тут-то, во время вопросов,— а недостатка в них не было — атмосфера сразу прояснилась. И в Турине (мальчишки в курточках) и потом в Милане, Венеции, Флоренции обязательно находились один-два человека, которые пытались подкуснуть, пустить шпильку, задать каверзный вопрос. И нужно сказать, в этих случаях я сразу же чувствовал поддержку зала. Кстати, мальчишки в курточках, задавшие столько многословных и туманных вопросов, что зал в конце концов взбунтовался, оказались очень неплохими ребятами. После конференции мы разговорились в коридоре. Все трое — студенты театрального училища. Узнав, что и я в свое время закончил нечто подобное, они моментально забыли все свои туманные, «умные» вопросы и превратились в обыкновенных, славных, любознательных студентов. «Вы видели живого Станиславского? И разговаривали с ним? Какой он? А где достать его книги? А как вы относитесь к Мейерхольду? А почему вы бросили театр?..» Расстались мы друзьями.

Повторяю, задающих всякие каверзные вопросы было мало, и каждый раз зал дружно встречал их в штыки. Но были и другие вопросы и высказывания — дружеские, но такие, с которыми нельзя было не поспорить.

Среди итальянской интеллигенции распространено мнение, что до XX съезда партии наша военная и послевоенная литература была исключительно «лакировочной» и лишь после XX съезда стали появляться правдивые, реалистические произведения, первым из которых была эренбурговская «Оттепель». Согласиться с этим, конечно, нельзя. Пришлось напомнить о Пановой, Казакевиче, Симонове, Беке, Гроссмане, к сожалению итальянскому читателю мало знакомых. Много спрашивали о нашей живописи, театре, архитектуре. И здесь тоже можно было рассказать

о том, что, кроме высотных зданий, у нас появились очень интересные архитектурные ансамбли в Ереване, где очень тактично и умело использованы национальные элементы древней армянской архитектуры, что, кроме помпезных «официальных» полотен, на выставках появлялись работы Сарьяна, Чуйкова, Яблонской, Пророкова, Пластова, Шмаринова, Сойфертиса, Кончаловского, Гончарова, Фаворского — художников, очень разных по своей манере, по умению видеть и воспроизводить окружающее, но всегда твердо стоявших и стоящих на реалистической основе.

Говорил я и о партийности нашей литературы, о том, что это вовсе не значит — пиши только о партии и партийцах, причем преимущественно хороших, а не плохих, что это — понятие гораздо более широкое, вытекающее из нашего мировоззрения, того самого мировоззрения, которое многие из нас защищали с оружием в руках. Надо было сказать и о сознательной тенденциозности нашей литературы, и о народности ее, и о ее воспитательной роли, которой мы придаем большое значение, и о том вреде, который ей нанес «культ личности», и о тех перспективах, которые действительно раскрылись перед нами после XX съезда.

Все это выслушивалось с большим вниманием, иногда вызывало полемику, споры, но во всем чувствовался неподдельный интерес к нашей стране, к ее людям, к ее культуре.

Особую радость доставил мне маленький эпизод, разыгравшийся в одной венецианской остерии. Мы гуляли по городу. После Дворца Дожей, площади Сан-Марко и Виа-Скьявонни — центральной набережной с лучшими кафе и отелями — мы, переправившись через канал Гранде, попали из Венеции туристской в Венецию рабочую, трудовую. Проголодавшись, решили зайти куда-нибудь закусить. Ирина Ивановна Доллар — наш верный чичероне в Венеции — предложила зайти в ближайшую остерию, или, как иногда их в Италии называют, вини-кучине,— небольшую таверну, «забегаловку», посещаемую рабочим людом близлежащего квартала.

Зашли. Помещение небольшое, одна комната. Деревянные столы, скамейки. У входа стойка, за стойкой попеременно то хозяин, то хозяйка. Народу немного — сегодня воскресенье. Через два столика от нас четверо стариков играют не то в домино, не то в кости. Посетители (все они друзья или знакомые хозяев) заходят — «чао! чао!» («привет!»), — выпивают стаканчик вина̀, не

присаживаясь, пожуют что-то, перекинутся двумя-тремя фразами и — «чао! чао!» — уходят.

Мы сели в дальнем углу. Ели что-то острое, приправленное обязательным оливковым маслом. Мы чужие, поэтому хозяин — приветливый и радушный, как итальянцы вообще, а содержатели остерий и тратторий особенно,— подсел к нам. И тут-то начался разговор, чем-то очень напомнивший мне беседу с парижскими «ажанами». Вернее, в Париже я вспомнил этот разговор.

— Чао! Приятного аппетита.

— Спасибо.

— Вкусно?

— Вкусно.

— Ну, я очень рад... Кушайте, кушайте. Это, конечно, не то, что на Пьяццетта Сан-Марко, но зато и лир больше в кармане останется.

Он знал, что говорил. Мы с Львом Михайловичем уже попались: выпили по стакану кофе за столиком прямо на площади против Дворца Дожей и оба похолодели, когда пришлось расплачиваться.

Мы налили хозяину стаканчик.

— Ваше здоровье! — Он с аппетитом выпил собственное вино.— Так вы, значит, русский? Очень приятно. Инженер, артист? Писатель, говорите? О! Манифико! Я читал кое-что. И видал даже. В прошлом году. Приезжали сюда на конгресс два русских писателя — синьор Полевой и другой, пожилой уже, седой, красивый...

— Не Федин ли?

— Да, да, Федин. Очень красивый старик. Мне показывали их обоих на улице. А ну, Лючия, дай-ка нам еще бутылочку. Нет, нет, разрешите. Это уж я угощаю... И заодно принеси книжку, как ее?.. Забыл фамилию. Мы тут прочли недавно одну вашу русскую книжку, как человек вернулся с фронта, жена ему изменила, а он... как его звали, Лючия? Митиясов?

Я обомлел. Я не верил ушам своим. Речь шла о моей книге. Может ли это быть?

Начались поиски книги. Лючия, оказывается, отдала ее кому-то почитать. За ней посылается шустрый мальчонка, пришедший за вином для отца. Через минуту он возвращается: никого не застал, уехали к родственникам в Мурано.

— Вот всегда так. Ни на кого положиться нельзя...

На столе появляется еще одна бутылка, такая же пузатая, оплетенная соломой, как и две предыдущие. Подсаживается и Лючия — полная, крепкая, вероятно крикливая и добрая, словом, очень знакомая нам по неореалистическим фильмам. (В Италии мне все время казалось, что я встречаюсь с героями «Рима в одиннадцать часов» или «Полицейского и вора». Кстати, не в этом ли секрет их успеха?) Разговор довольно быстро перешел с литературы на цены, на дороговизну жизни. Щупаются наши пиджаки, разглядывается обувь — сколько же это в переводе на лиры? Кончается все тем, что приходится расписаться на партбилете хозяина — он, оказывается, коммунист. Между прочим, в Италии это почему-то очень распространено — расписываться на партбилетах. В магазинах, например, если хозяин-коммунист (а и таких немало) узнает, что ты русский, он чуть ли не за полцены отдаст тебе товар, а потом торжественно вытащит откуда-то из ящика маленькую книжечку ИКП и попросит оставить на ней свой автограф.

Когда мы распрощались, я был на седьмом небе от счастья. Подумать только, такая встреча с читателем! Никем не организованная как «очередное мероприятие», а случайная, в тесной вини-кучине на берегу рио Санта-Мариа Маджоре или рио Кармини, среди грузчиков, штукатуров и забежавших по пути выпить стаканчик вина почтальонов.

Правда, несколько дней спустя во Флоренции, на одном из заводов, куда мы попали во время обеденного перерыва, нас постигло разочарование. Ни один из рабочих, с которыми мы встречались, оказывается, русских книг не читал. А как приятно было бы сказать потом — так, между делом, или поддерживая свою точку зрения: «А вот один парень из Флоренции, токарь завода «Галилео», считает, что четвертая часть «Тихого Дона» самая сильная», — или что-нибудь в этом роде. Но что поделаешь, нельзя этого сказать — не читали. Просто времени нет. «Свою собственную «Унита» или «Аванти» и то не всегда успеваешь перелистать, а вы говорите — книги...»

И тут же посыпались вопросы.

Интересно, что тут, на заводе, где, кроме коммунистов и социалистов, были и беспартийные и даже члены правительственной христианско-демократической партии, нам не задали ни одного каверзного вопроса. Очень много спрашивали о XX съезде, об изменениях, которые он принес, ну и конечно же об уровне жизни.

И это понятно. Говорят о том, с чем чаще приходится сталкиваться (итальянец и в книгах ищет близкое ему, современное, знакомое). О ценах говорят много и с большим знанием дела. И о своих и о наших. Любят проводить параллели — где же лучше, где дешевле жить? Занятие это очень увлекательное (оно увлекло и нас), но отнюдь не легкое.

Установить сравнительную шкалу благосостояния не так-то просто. Ясно только, что одеться в Италии легче, чем у нас, прокормиться же труднее. Очень дорого лечение. Итальянцы так и говорят: болеть нельзя, разоришься. Сложен и квартирный вопрос. В Италии квартиры очень дороги — на это жалуются все, но так или иначе средний интеллигент, например, в жилищном отношении живет вполне благоустроенно. Коммунальных квартир я не видел нигде. Как минимум две-три комнаты со всеми удобствами, причем в крупных городах на смену газу уже пришло электричество. Зато и трущоб, подобных итальянским, я у нас не встречал. Об этом столько уже писалось, что как-то неловко повторять, но все-таки даже Сталинград первого послевоенного года бледнеет, например, перед районом Сан-Биаджио деи Либрари в Неаполе. Не в обиду Сталинграду будь сказано, район этот куда живописнее. От его полутора-двухметровых в ширину, завешанных бельем кривых уличек, переулочков, тупичков, от всех этих лестниц, арок, ходов и переходов оторваться невозможно. Но жить там...

Район Сан-Биаджио деи Либрари, или, как его еще называют, Куорпо е'Наполи (Тело Неаполя), расположен в самом центре города. Он чудом сохранился после опустошительной эпидемии холеры, охватившей город в 1884 году, после которой много строений было снесено до основания. И сохранился почти в неизменном виде. Высокие мрачные дома тесно прижались друг к другу. Дворы — колодцы, улицы — щели. Сырость, грязь. Чудесное неаполитанское солнце не в силах пробиться на дно этих ущелий. А на дне в мусорных кучах с веселым криком копошится черноглазая, курчавая, на все плюющая ребятня, стучат молотками сапожники, бондари, лудильщики, слесари, сидят на низеньких табуретках шляпники, портные, часовщики, а рядом, о чем-то переругиваясь, жарят что-то на жаровнях их жены. И все это у входов в собственные жилища, мрачные, лишенные света комнаты, четвертая стена которых просто дверь на улицу. И тут же, прямо на улице, на прилавке

горы апельсинов и гроздья бананов, облепленных мухами, а рядом на стене печальная Мадонна с младенцем, и лампадка, и свечи, и цветы, а в пяти шагах дохлая кошка, которую никто не убирает, а над всем этим в два-три яруса сохнущее белье, и где-то в недосягаемой вышине крохотный клочок неба. И как-то нелепо на фоне всей этой мрачной, хотя и живописной, а на наш взгляд, театрально-декоративной, антисанитарии выглядят прислоненные то тут, то там к стене мотороллеры «Веспа» — мечта каждого итальянца.

По этому «Телу Неаполя» нас водил неаполитанский художник Паоло Риччи.

— Дайте мне ваш фотоаппарат и не раскрывайте рта,— предупредил он меня.— Здесь не любят иностранцев.

К концу нашей прогулки, когда наиболее «опасные» места остались позади, он разрешил мне заснять несколько кадров.

Мы зашли в небольшой дворик. От обилия галерей, веранд, лесенок и развешанного белья мое фотолюбительское сердце замерло. Тут была и детвора, и примостившийся в неизвестно откуда взявшемся луче солнца старик с газетой, и грудастые, громогласные женщины в окнах. Но мне не удалось сделать ни одного кадра. Только я достал аппарат, как сначала старик, а потом и сбежавшие вниз грудастые, громогласные женщины обрушились на меня со всей силой своего южного темперамента. Кричали громко, неистово, закрывая глаза, вздымая к небу руки. Мы обратились в бегство.

— Видите, я был прав,— отчитывал меня потом Риччи.— Между собой они могут ругать все что хочешь — и этот двор, и соседей, и лавочника, который их обирает, и полицию, и мэра, и все правительство вместе взятое, и самого президента. Но чтобы видели их нищету — не хотят. А того более, чтоб фотографировали. Не хотят, и все!

Итальянцы... Нельзя не влюбиться в этот народ. Веселый, радушный, непосредственный, вспыльчивый, нежный и грубовато-фамильярный, увлекающийся, часто наивный и очень красивый.

Простите, скажут мне итальянцы, но мы вовсе не так однородны. Миланцы и римляне, римляне и неаполитанцы, неаполитанцы и сицилийцы —между ними пропасть. Может быть, не спорю. Не всякого римлянина поймут в

Неаполе — я сам это видел. И все-таки для меня итальянцы — это итальянцы, будь они из Турина, Болоньи или Палермо.

В одном из интервью перед самым отъездом меня спросили: кого и что вы больше всего полюбили в Италии? Вопрос, сами понимаете, нелегкий — я многое видел за эти быстро пролетевшие три недели, со многими по-настоящему сдружился,— и все-таки я твердо ответил: Марчелло. Марчелло — шофер. Мы исколесили с ним весь Рим. Он знал десятка два русских слов, я — десятка два итальянских, и оба мы — с полсотни французских.

В Риме, как и везде, дел было по горло. Но все-таки иногда появлялись «окна». И вот тогда я выходил из гостиницы на узенькую, бурлящую машинами и мотороллерами Корсо, и сразу же вырастал передо мной Марчелло — черноглазый, чернобровый, черноволосый, улыбающийся.

— Чао, синьор Виктор!

— Чао, Марчелло.

— Свободен?

— Свободен.

— Поедем?

— Поедем.

Я садился к нему в машину, он вопросительно смотрел на меня, я произносил: Санта-Мариа Маджоре, или Сан-Пьетро, или Джаниколо, или Вилла Боргезе (от одних названий захватывало дух!) — и начинался наш стремительный, чисто итальянский бег по Риму.

Привыкнув в Москве и Киеве к светофорам и грозным регулировщикам, я никак не мог сначала понять, как передвигаются по буквально битком набитым и, в общем, неширокими римским улицам итальянские шоферы. И тут есть светофоры, и тут есть постовые (правда, не много и не везде), но на них как-то никто не обращает внимания. Едут впритирочку, срезают, где хотят, махнув рукой — сойдет! — проезжают заградительные знаки, неожиданно, так что прикусываешь себе язык, со страшным скрежетом тормозят, выезжают на улицу пошире и несутся со скоростью ста километров в час. Несчастный пешеход! Но и он, оказывается, не унывает. Лезет в самую гущу потока, помахивает рукой — стоп, мол, пропусти! — и спокойненько себе идет, не прекращая разговора. И машины притормаживают, и никто не ругается, и шофер в своей машине также ни на минуту не прекращает разговора. Непостижимо...

— А как у вас с авариями, Марчелло? — спрашиваю я его на нашем с ним франко-русско-итальянском наречии.

— Обыкновенно.

— То есть?

— Много.

— Зачем же вы так ездите?

— А как же? Все торопятся.

— На тот свет?

Марчелло смеется, сверкая зубами.

— Не беспокойся, не убью... Это на автострадах много аварий, а здесь нет. Здесь больше воруют.

— Что? Машины?

— Еще как! — И опять смеется.

Оказывается, в Италии действительно довольно бойко воруют машины. Их много — я не помню точно цифру, да это и не существенно,—а гаражей мало, не хватает. Машины оставляют прямо на улице. Когда идешь по ночному Риму, видишь бесконечные их вереницы всех марок и возрастов, выстроившиеся вдоль тротуаров. Есть, правда, сторожа. Днем, например, если тебе надо где-то на какое-то время бросить машину и после долгих поисков удается наконец найти свободное местечко у тротуара, к тебе сразу же подбежит разбитной парень и выдаст квитанцию: за столько-то лир он будет следить за машиной. Иначе могут спереть — и не только ночью, а и днем.

Итак, мы мчимся, лавируя среди «фиатов», «доджей» и «студебеккеров», мимо дворцов и развалин, мимо всего того, чем славен Рим, и на каждом шагу хочется остановиться, вылезть и немножко побродить, но нельзя — к такому-то часу надо быть дома.

Время от времени Марчелло кивнет в сторону какой-нибудь пролетевшей мимо нас церкви и скажет: «Бабушка». Это значит, что церковь старинная. В одну из таких «бабушек» мы зашли. Она была на ремонте, но Марчелло моментально нашел задний вход, и мы через горы мусора, балансируя по доскам, в полумраке добрались до того, о чем я с давних лет мечтал. Мы были в базилике Сан-Пьетро ин Винколи у гробницы папы Юлия II. Перед нами на невысоком постаменте, освещенный падающими откуда-то тусклыми лучами солнца, могучий и задумчивый, сидел Моисей.

«Трагедия надгробия» — так выразился об этом шедевре Микеланджело его биограф Кондиви. Сорок лет, почти полжизни, отдал гениальный мастер этому грандиозно заду-

манному произведению, от которого остались только три фигуры — Моисей, Рахиль и Лия.

А скольких волнений, скольких страданий, оскорблений и унижений стоило оно ему! Пожалуй, ни одно из его произведений не отняло у него столько энергии, сил, крови. За сорок лет сменилось трое пап, и у каждого был свой вкус, четыре раза перезаключался договор, четыре раза предъявлялись новые требования, и в результате от первоначального замысла — обособленно стоящей, открытой взору со всех четырех сторон, украшенной более чем сорока статуями гробницы — осталось скромное, опертое о стену надгробие и семь статуй, из которых только три принадлежат резцу Микеланджело.

Но и этого вполне достаточно.

Описать впечатление, которое производят творения Микеланджело, невозможно. Мне выпало великое счастье увидеть Пиету, Давида, гробницу Медичи, Сикстинскую капеллу. Я не буду повторять то, что всем известно. Скажу только одно, хотя и это известно,— от общения с настоящим искусством становится и радостно и грустно. Радостно за человека, который мог это сделать, и грустно за человека, который многое позабыл.

Особенно остро почувствовал я это во Флоренции. Нам захотелось посмотреть оригинал Давида (на площади Синьории стоит великолепно сделанная мраморная, но все-таки копия). Оригинал находится в Академии искусств. Пришли мы туда за пять минут до закрытия. Билеты уже не продавали, но старичок служитель разрешил нам приоткрыть тяжелые, массивные двери. В глубине зала, в нише, прямо против нас стоял тот самый большеголовый, сильный, грациозный юноша с пращой на плече, которого мы столько раз видали и рисовали в Музее имени Пушкина в Москве.

— Простите, синьоры, четыре часа...

Дверь закрылась.

— А вы сходите на второй этаж, вот по этой лесенке. Там небольшая, но очень интересная выставка. Последние работы итальянских художников.

Мы пошли.

Выставка действительно оказалась небольшой — всего три комнаты. Были на ней и интересные работы — Ренато Гуттузо, Карло Леви,— но первая премия (миллион лир) присуждена была художнику Пиранделло, потомку знаменитого писателя. На громадном, чуть не во всю стену холсте

были смешаны без всякой системы и, по-моему, даже без участия кисти все существующие и не существующие в спектре цвета. Внизу стояла подпись, не помню уже какая, то ли «Восторг», то ли «Медитация», то ли «Заход солнца на Адриатическом море» (нет, ту делали ослиный хвост и сахар),— одним словом, подпись была. И перед этим холстом стояли люди, самые обыкновенные люди, в пиджаках, галстуках, и никто не улыбался... Нет, не надо было нам перед приходом сюда приоткрывать тяжелую, массивную дверь. А может, наоборот, автору премированной картины надо было бы почаще это делать.

Искусство идет своими очень сложными путями. Можно спорить о том, что лучше — Акрополь или здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Андрей Рублев или Ван-Гог, Виа Аппиа или автострада Милан — Турин,— все это не на ровном месте родилось, во всем есть своя закономерность. Но что поделаешь, если после Давида, взглянув на удостоенную миллионной премии картину, становится как-то очень уж грустно?

Объективности ради, не могу не сказать, что подобного рода ощущения возникали у меня не только во Флоренции. Нечто подобное испытывал я, увы, и в нашем Манеже, стоя перед некоторыми картинами и скульптурами, вернее быстро проходя мимо них, так как стоять не хотелось. А таких произведений, где сердце заменено темой, поэтическое мастерство — размерами, мысли — болтовней, музыка — треском,— ох, сколько их еще и у нас! И, минуя их, с какой благодарностью останавливаешься в этом же Манеже перед картиной, ну, допустим, Неменского, где молоденький солдатик проснулся и увидел весну.

Я не беру на себя смелость судить, так ли только надо писать, как пишут Неменский, или Пластов, или еще кто-нибудь другой. Более того, я не сомневаюсь, что и «абстрактная» живопись имеет право на свое место под солнцем. Конечно, не в музее, где ее выдают за картину, претендующую на какое-то высшее содержание, а в соответствующем интерьере, как цветовое пятно, как составная часть общей архитектурной композиции, или как рисунок ткани, как узор ковра. Всему свое место, свое назначение. Обидно другое. Обидно, что, стоя перед некоторыми полотнами в Манеже, я вспоминал Пиранделло и думал: да, конечно, выдавливать тюбики на холст, делая вид, что пишешь картину,— занятие бессмысленное, но плохая картина так и останет-

ся плохой картиной, хотя бы она называлась даже «Залп «Авроры»... А ведь глядя на эту последнюю, становится просто больно за великого человека, изображенного на ней.

Залп «Авроры». Когда его давали, мне было шесть лет, жил я в далеком от Петрограда Киеве, учился писать первые буквы и не имею права как очевидец говорить о том, правильно или неправильно изобразил художник знаменательное событие. Но раз уж я позволил себе заговорить о правде изображаемого, не могу не сказать несколько слов об изображении того, свидетелем чего я был.

Значительно позже своей поездки в Италию — примерно через год — я попал в тот самый полк, в котором пятнадцать лет тому назад мне пришлось воевать в Сталинграде. Никого из «стариков» я уже там не застал. У командиров на груди академические значки, у солдат, молодых, здоровых двадцатилетних хлопцев, за спиной уже восемь, девять, а то и десять классов. Я смотрел на эту молодежь, и сердце радовалось — вот какая у нас теперь армия.

Мне показали новый танк. Я влез внутрь, и совсем юный деревенский парнишка, чьих щек еще не касалась бритва, стал объяснять мне его устройство — вот это то-то, а это для того-то. Половины слов, которые он без запинки произносил, я, получивший в свое время высшее образование, просто не понимал. А он, безусый мальчишка откуда-то из вологодской глухой деревни, не только понимал, что они означают, но так же уверенно и спокойно мог привести в действие все эти непонятные мне механизмы... Дай ему бог никогда в жизни не применять их всерьез, но, глядя на него, я знал, что, если потребуется, он сможет сделать это так, как надо. И это не могло не радовать.

Пятнадцать лет тому назад, когда в Сталинграде приходило к нам пополнение, я главным образом щупал мускулы у новичков — выдержит или не выдержит двенадцать часов земляных работ? А сейчас? Я попал в саперный батальон, в котором был когда-то заместителем по строевой (он даже прежний свой номер сохранил!), и со стыдом убедился, что не только командиром, а простым рядовым не мог бы теперь в нем быть. Техника...

И вот я смотрел на эту молодежь и думал — а знаете ли вы, как воевали ваши отцы, ваши старшие братья? Знаете ли вы, что в Сталинграде было время, когда в державших оборону частях каждая лопата ценилась на вес золота, а о

киркомотыгах и говорить уже нечего? Знаете ли вы, что в батальонах у нас бывало по тридцать, а то и по двадцать человек? Что командир пятой роты нашего полка, Вася Конаков, вместе со своим старшиной в течение трех дней держал оборону целой роты? А когда старшина уходил на берег за обедом,— то и один. Разложит автоматы по брустверу, а по флангам — два легких пулемета Дегтярева и бегает от одного к другому, создает иллюзию полноценной роты. Знаете ли вы обо всем этом? Нет, не знаете. Кто должен вам об этом рассказать? Ветераны полка? Где их сейчас найдешь? Писатели и художники — вот кто должен вам рассказать о ваших отцах и братьях, о том, как они воевали в труднейшее время своей боевой жизни.

Как же мы об этом рассказываем?

Я зашел в комнату Боевой славы. Во всю стену и очень красиво изображен был боевой путь дивизии. От Сталинграда до Берлина. Кругом развешаны были фотографии тех дней — драгоценные реликвии, которым нет цены. Глядишь на них и вспоминаешь — да, вот так оно и было. Вот командир дивизии на своем НП, вот командир полка, вот Василий Зайцев, прославленный снайпер, вот наша передовая... И, глядя на это, чувствуешь, как сильнее начинает биться сердце, как застревает комок в горле.

Но, простите, а что вот это вот — большое, красивое, многокрасочное, висящее посреди всех фотографий? Неужели Мамаев курган? Ну да. Конечно же это он. Вон и водонапорные баки, из-за которых велись кровопролитные бои, вон и знакомые овраги, вон вдали и город, разрушенный, мертвый. Но откуда же столько солдат, танков? И наших и немецких? Никогда их столько там не было. Ничего не пойму...

Подпись под картиной гласила: «Штурм Мамаева кургана советскими войсками 26 января 1943 года». Это была копия диорамы, выставленной сейчас в Музее Советской Армии в Москве. На основе этой диорамы предполагается соорудить в Сталинграде, на Мамаевом кургане, панораму наподобие севастопольской. И вот будут приходить экскурсанты, туристы, многочисленные делегации, и экскурсовод будет им говорить, что вот такого-то числа такого-то года наши войска штурмом овладели водонапорными баками и водрузили на них красное знамя. И зрители будут смотреть на все эти лихо изображенные рукопашные схватки, на ползущие танки, на сдающихся немцев, на минные и

прочие разрывы, на все то, что делает войну эффектной, удобной для живописи.

Но ведь ничего этого не было!

Я знаю, участники событий далеко не всегда бывают объективны. «Врет, как очевидец»,— говорим мы в шутку. Поэтому и мои слова могут быть подвергнуты сомнению. И все-таки, поверьте мне, на самом деле было куда менее эффектно. Просто никакого штурма не было. Была мучительная пятимесячная, стоившая многих жизней борьба за баки, но штурма не было. Просто в ночь на 26 января немцы тихонько ушли с Мамаева кургана и окопались за оврагом Долгим. А через пять дней капитулировали. Вот и все.

Спрашивается: зачем нужно изображать то, чего не было? Героизм наших солдат был вовсе не в том, что они с развевающимися знаменами, с винтовками наперевес прорвались к бакам. Героизм их был в другом: они не подпустили немцев к Волге. Не хватало оружия, боеприпасов, танков, самолетов, не хватало людей — а это главное,— и все-таки непобедимая армия, покорившая всю Европу, прошедшая от Перемышля до Сталинграда, всю зиму протопталась у его стен и сдалась. Героизм был в буднях, в тяжелом солдатском труде, в умении не терять веру и самообладание в самые тяжелые минуты, в спокойствии Васи Конакова, не перестававшего воевать, когда он потерял всю свою роту, в маленьком, с привязанной к голове телефонной трубкой курносом связисте, не помню уж из какого батальона, с увлечением читавшем истрепанную «Войну и мир» в каких-нибудь пятидесяти метрах от противника.

Зачем же этот треск, эта фальшь? Для красоты? А нужна ли нам такая красота? И красота ли это?

От Микеланджело до Васи Конакова, который, возможно, никогда и не слыхал о нем... Не хватанул ли я? Но в этом, очевидно, и есть влияние, сила настоящего искусства — в умении взбудоражить, всколыхнуть тебя с головы до ног, в бесконечных ассоциациях и мыслях, которые оно вызывает...

Марчелло слегка прикоснулся к моему локтю.

— Пойдем?

Я вздрогнул.

— Пойдем.

Тем же путем, перебираясь через кучи щебня и штукатурки, осторожно ступая по вделанным в мраморный пол чугунным надгробиям, мы вышли на свежий воздух.

Кругом весело, шумно. Не по-весеннему жарко светит солнце. Кричат продавцы каких-то сладостей, кричат мальчишки-газетчики, кричат друг на друга шоферы такси на стоянке — вероятно, просто так, от нечего делать, от излишка темперамента. А там, позади, в прохладном полумраке пустынного храма, спокойный и величественный, с запущенными в бороду пальцами, сидел одинокий безмолвный пророк, которому четыре века тому назад его творец крикнул, ударив молотком по мраморному колену: «Почему же ты не говоришь?»

И опять мы с Марчелло мчимся по суматошным улицам, и опять останавливаемся, заходим в какой-нибудь храм, потом возвращаемся и опять несемся куда-то, пересекаем Тибр, взлетаем на холмы, опять спускаемся и опять несемся по улицам до следующей «бабушки».

Мы побывали с ним в Пантеоне, поклонились праху Рафаэля. На надгробии (справа и слева от него короли— Умберто I и Виктор-Эммануил II) надпись — «Здесь покоится Рафаэль: при его жизни великая мать вещей боялась быть побежденной. После его смерти она поверила и в свою». Побывали в Джаниколо, откуда открывается чудесный вид на весь город и где недалеко друг от друга стоят два памятника — мужу и жене — Джузеппе и Аните Гарибальди. Были и в Пинчио, другом парке над Римом, над Пьяцца ди Пополо. Тысячи студентов заполнили его в тот день. Это был их день — день новичков, первокурсников, только что поступивших в высшее учебное заведение. Сегодня им разрешалось все. В забавных шляпах, с вытянутыми, точно клюв, козырьками, увешанные значками и жетонами, с гроздьями разноцветных детских шариков в руках, они толпами носились по всем улицам, крича, свистя, улюлюкая, останавливая движение, всем мешая и никого не раздражая. Многие на машинах, за которыми на веревках прыгали и грохотали по мостовой пустые железные банки, канистры, бидоны. Шум, гам, крики, песни — и ни одного пьяного, ни одной драки...

Побывали мы и в Форуме, и в Капитолии, и в Колизее. Взбирались по мраморным ступеням самого большого и самого уродливого в мире памятника — Виктору-Эммануилу II. Трудно понять, кому пришло в голову соорудить это страшилище, это удручающее нагромождение портиков, колоннад, скульптур, барельефов, лестниц, квадриг, среди которых теряется фигура короля; кому пришло в голову

всю эту безвкусицу соорудить (а сооружалась она двадцать шесть лет — с 1885 по 1911 год) в самом центре города, на площади Венеции, в двух шагах от Форума и Капитолия, на том месте, где был когда-то двухэтажный, с башней, домик Микеланджело. Пожалуй, только детям этот памятник доставляет удовольствие: как угорелые носятся они по бесчисленным лестницам и галереям, с визгом загоняя друг друга, в пылу азарта иногда чуть не сбивая с ног двух застывших в своих касках с петушиными перьями берсальеров, стоящих у могилы Неизвестного солдата.

И опять вперед, по уличкам и переулочкам, пока, изнемогающие и голодные, не устраиваемся за маленьким мраморным столиком под полосатым тентом. Едим невероятно жирный бычий хвост (а я-то думал, что там только кожа да кости), запивая его обязательным везде и всюду кьянти, и Марчелло, улыбаясь своей милой улыбкой, что-то мне рассказывает, а я ничего или почти ничего не понимаю (понял только, что вскорости семейство его должно увеличиться), и мне как-то удивительно легко и просто с ним. Мы не подымаем тостов друг за друга и за укрепление нашей дружбы— зачем, и так все ясно,— мы просто сидим вдвоем за прохладным столиком, жуем хвосты, цедим сквозь зубы кисленькое вино, и обоим нам почему-то весело — ему, вероятно, просто потому, что он молод, мне же потому, что я сижу в дешевенькой остерии в Трастевере [1], и в теле приятная усталость, и кругом яркое южное солнце, и какие-то мальчишки резвятся на фонтане, обливая друг друга водой (потом мы с ними снимемся, и они моментально сделаются серьезными), и какой-то субъект в поношенном плаще подсаживается к нам, предлагает купить путеводитель по Риму, и Марчелло отчаянно с ним торгуется (кажется, они сейчас убьют друг друга), а потом с укоризной качает головой, когда я кладу путеводитель в карман, дав на пятьдесят лир больше, чем того хотелось Марчелло.

— Нельзя так, синьор Виктор. Ведь он грабитель...

— Ну и черт с ним, что грабитель.

— Нет, не черт... — Марчелло вдруг спохватывается.— А план он тебе дал? Нет? А ну, покажи.

---

[1] Трастевере — «Затибрье», римское Замоскворечье, наиболее демократический район Рима, расположенный на правом берегу реки Тибр. *(Прим. автора.)*

Плана нет. Марчелло исчезает. Через минуту возвращается не только с планом, но и с субъектом в плаще. Они уже друзья.

Ну как не полюбить Марчелло — всегда веселого, неунывающего, настоящего сына своего города!

И сейчас, когда я разглядываю фотографии Марчелло на фоне чуть ли не всех достопримечательностей города,— а позировал он всегда охотно, но с непринужденным достоинством истинного римлянина,— я мечтаю о том, что когда-нибудь, когда я опять попаду в Рим и, оторвавшись от дел, встреч и обедов, выйду на Корсо, передо мной вырастет улыбающийся черноглазый Марчелло.

— Свободен, синьор Виктор?

— Свободен.

— Поедем?

— Поедем.

И я сяду в его машину, и мы опять заколесим по древним улицам Вечного города. Но по дороге к Сан-Паоло Фуори ле Мура или Термам Каракаллы мы обязательно на минутку заедем к нему домой и выпьем там за здоровье его жены и наследника (а может, наследницы), которому к тому времени, надеюсь, будет еще очень-очень мало лет.

С Марчелло было легко и весело, часы, проведенные в его обществе, были самыми непринужденными из всех, которые я провел в Италии. Поэтому я и называл его имя, когда меня спрашивали, кто мне больше всего понравился в Италии.

По этой же причине и на другой вопрос, какой город мне больше всего понравился, я отвечал: Флоренция. Вряд ли кого удивит этот ответ — не так уж много в мире городов, которые так притягивали бы к себе туристов и любителей искусства. Но не Палаццо Уффици и не Палаццо Питти заставили меня полюбить этот город. Просто мне удалось, как позднее в Париже, побродить по нему несколько часов в одиночестве.

За день до этого мы осматривали город по-туристски. Для этого было отведено полдня, до часу, когда, по итальянским правилам, пусть под тобой хоть земля разверзнется, а надо идти обедать. Скажу прямо — это были ужасные полдня. От девяти до часу, за четыре часа, мы должны были осмотреть то, на что по-настоящему надо потратить по мень-

шей мере дней десять, если не больше. За четыре часа мы осмотрели (какое чудовищное слово!) галерею Уффици, Музей Барджелло, Палаццо Веккио и Сан-Лоренцо. По плану предполагалось побывать еще в Палаццо Питти, но это было уже свыше наших сил.

Да, это были ужасные четыре часа. Мы носились по залам, боясь что-нибудь пропустить, поминутно смотрели на часы, боясь куда-то опоздать, лихорадочно покупали каталоги, чтоб потом, на досуге, разобраться в том, что же мы в конце концов видели.

Вообще, на мой взгляд, музеи — страшная вещь. Их всегда «надо» посетить. В Ленинграде Эрмитаж, в Москве Третьяковку, в Париже Лувр, в Риме Ватикан, во Флоренции Уффици и т. д. и т. п. И это «надо» убивает то, ради чего ты их посещаешь. Теоретически считается, что, прежде чем пойти в музей, необходимо подготовиться к этому —почитать книги, ознакомиться с художниками; не следует осматривать музей целиком, надо выбрать отдельные залы и спокойно, не торопясь, знакомиться с тем, что там выставлено. Но разве когда-нибудь так получается? Бегаешь, задыхаясь, по залам, что-то еще соображая в первых, преимущественно читая таблички в последующих и уже ничего не соображая в последних.

Нет, так искусство не поймешь. Это только для того, чтоб сказать потом: «А я вот видел настоящего Джотто...» А разве я его видел? Ничего я не видел. Стоял перед ним, и все...

Как же и где воспринимать искусство?

Это я понял на следующий день, когда бесцельно (нет, не бесцельно — в этом и была цель!) бродил по Флоренции. Походив по узеньким и кривым уличкам (одна из них оказалась Виа дель Корно, та самая, которую мы так полюбили, прочитав «Повесть о бедных влюбленных»), я неожиданно для себя оказался на площади Синьории. Было солнечное, прозрачное утро. Суровая и воинственная, такая знакомая по бесчисленным изображениям, четко вырисовывалась на голубом небе квадратная башня Палаццо Веккио. Увешанная флагами по случаю пасхи, она казалась сейчас не такой воинственной и неприступной, как обычно. Вечером я увидел ее другой. Снизу доверху освещенная неверным, колеблющимся светом мигающих плошек, поставленных на окнах и карнизах, она приобрела какой-то сказочный средневековый вид. По площади проходили отряды чего-то

вроде гвардии с развевающимися знаменами в пестрых полосатых костюмах времен расцвета и могущества Флоренции, и от этого дворец-крепость казался еще сказочнее, еще средневековее. Но сейчас, освещенный солнцем, расцвеченный флагами, он как-то повеселел и подобрел. Весело было и вокруг. Еще не заполнили площадь туристы — было совсем рано,— пустовали кафе, но уже расставляли свои столики продавцы открыток, уже появились первые гиды, которых к полудню будет не меньше, чем туристов.

Я присел на ступени лоджии Деи Ланци, громадной аркады, замыкающей одну из сторон площади. Чуть правее, на серо-коричневом фоне гранитных стен Палаццо Веккио, сиял белым мрамором с желтоватыми потеками микеланджеловский Давид. Правее его — Геркулес Бандинелли, немного дальше, у самого угла дворца, фонтан — могучий Нептун Амманати в окружении бронзовых коней и наяд, а за моей спиной, в тени лоджии,— прославленный Персей Бенвенутто Челлини, «Похищение сабинянок» Джованни ди Болонья.

И все эти творения замечательных мастеров жили не в тесных, замкнутых пространствах музейных залов, а под открытым небом, озаряемые солнцем, обвеваемые ветром, свободные и вольные, среди людей, для которых они созданы.

И именно здесь, на ступенях орканьевской лоджии, я понял всю красоту Давида. Нет, тысячу раз неправ Вёльфлин, писавший в своем «Классическом искусстве», что скульптура эта «изумительна каждой деталью, поражает упругостью тела, но, говоря откровенно, безобразна». Да, голова у этого юноши, может быть, несколько и великовата, и кисти рук тоже, но сколько в этой мальчишеской несоразмерности красоты, изящества, грации!

У нас почему-то сейчас забыто это слово — грация, грациозность,— но ведь без этого слова просто немыслимо говорить о Микеланджело. В его фигурах — и в скульптуре и в живописи — мощь, движение, страсть, мысль; но сколько в их позах, поворотах, изгибах, сколько в них изящества и грации! Я не говорю уже об Адаме, или Рабах Сикстинской капеллы, или о Джулиано и Лоренцо Медичи, но взгляните на мраморных Пленников, предназначавшихся для надгробия папы Юлия II, и вы поймете, что не было на земле художника, умевшего показать силу не в силе покоряющей, побеждающей, а в силе могучей, но не грубой, не напряженной, спокойной, хотя слово это как будто, на

первый взгляд, и не вяжется с Микеланджело. Таков и Давид. Нет, он не изображен здесь перед боем, как это многие считают. Я никогда не метал камня из пращи и не знаю, как ее держат до и после боя, но, глядя на бесконечно спокойную фигуру Давида, на его слегка задумчивое прекрасное лицо, я не обнаружил в нем ни напряжения бойца, готовящегося к схватке, ни торжества победителя. Если он и победитель, то не ликующий. А может, это и не Давид? Может, это просто юноша, флорентийской юноша XVI века...

Я сидел на ступенях и смотрел на Давида, и меня нисколько не раздражало, что у ног его суетятся и бегают люди, не возмущал и парень, бесцеремонно развалившийся и дремавший у постамента Персея. Все это так и должно быть. Не специально ходить и смотреть на Давида, Персея или «Похищение сабинянок», а жить вместе с ними и, может быть, иногда даже не замечать. И, главное, чтоб не было возле тебя экскурсовода, в руках — путеводителя, а рядом с тобой людей, записывающих что-то в блокноты и пришедших сюда только потому, что так положено, иначе нельзя...

Площадь постепенно оживлялась, наполнялась людьми. Как всякий чужестранец, впервые попавший на нее, я конечно же думал о том, что вот по ней, по этой самой площади, почти такой же, какая она сейчас, ходили когда-то Данте, Саванарола, Леонардо, Микеланджело (на стене Палаццо Веккио показывают высеченный в граните его профиль, который он якобы сам высек, отвернувшись от стены и держа за спиной молоток и резец), проезжали в каретах грозные Медичи, а позднее бродил одинокий Достоевский (здесь, во Флоренции, он написал своего «Идиота»), гулял в перерывах между работой над «Пиковой дамой» Чайковский.

Вспоминалось мне и другое — более близкое и в то же время для меня далекое. Наши жаркие споры в заставленных досками институтских чертежках. Было это давно, четверть века тому назад, когда в архитектуре безраздельно господствовал конструктивизм — стиль, искавший красоту в полезности, экономичности и рациональности. Мы были молоды, полны веры в себя, в конструктивизм и его бога — Ле Корбюзье. И по поводу всего спорили — с азартом, пылом, неукротимостью. Особенно жарко — о синтезе искусства, о месте, которое должны в архитектуре занимать живопись и скульптура. Не найдя решения, написали письмо самому Ле Корбюзье. И получили ответ,

подробный ответ на шести страницах. Они хранятся у меня до сих пор, эти странички, приведшие нас тогда в неописуемый, бурный восторг.

Ле Корбюзье писал:

«Я не признаю ни скульптуру, ни живопись как украшение. Я допускаю, что и то и другое может вызвать у зрителя глубокие эмоции, подобно тому, как действуют на нас музыка и театр,— все зависит от качества произведения,— но я определенно против украшения. С другой стороны, рассматривая архитектурное произведение и, главным образом, площадку, на которой оно воздвигнуто, видишь, что некоторые места самого здания и вокруг него являются определенными интенсивными математическими местами, которые оказываются как бы ключом к пропорциям произведения и его окружения. *Это места наивысшей интенсивности*, и именно в этих местах может осуществиться определенная цель архитектора — то ли в виде бассейна, то ли глыбы камня, то ли статуи. Можно сказать, что в этом месте соединены все условия, *чтоб была произнесена речь*. Речь пластического характера со всем тем, что пластика может проявить возвышенного и субъективного».

Да, Ле Корбюзье прав, когда говорит о местах, созданных как бы для произнесения речи. Элементарнейший пример — Александровская колонна на Дворцовой площади в Ленинграде. Не будь ее, площадь распалась бы. Это безусловно верное, но, в общем, довольно простое, само собой напрашивающееся решение. Принцип организации пространства на площади Синьории куда сложнее. И принцип этот если и не опровергает, то, во всяком случае, значительно расширяет положения Ле Корбюзье. Здесь нет определенного узла, созданного для произнесения речи, здесь вся площадь, все ее дворцы, лоджии, фонтаны и как будто случайно (а в этой случайности и таится великая закономерность) расставленные скульптуры, вся она — речь, песня. И то, что скульптура так прочно вошла в архитектурный ансамбль (то есть является составной частью его и в то же время воспринимается как нечто самостоятельное),— это и делает эту площадь прекраснейшей в мире, если не считать афинского Акрополя.

И все-таки даже эта площадь бледнеет, если говорить о синтезе двух искусств, перед самым совершенным произведением в этой области — капеллой Медичи в церкви Сан-Лоренцо. Здесь в одном лице слились великий архитектор

и великий скульптор. И, вероятно, именно поэтому даже такие рискованные приемы, как несоразмерность и неустойчивость фигур «Дня», «Ночи», «Утра» и «Вечера», которые, кажется, вот-вот скатятся с крышек саркофагов, и то, что головы их бесцеремонно пересекают карниз стены,— даже это не может нарушить общую гармонию, а может быть, наоборот, и создает ее. Микеланджело не суждено было завершить это свое творение — капелла обязана своим теперешним лицом Вазари,— и, возможно, доведи он ее собственноручно до конца [1], она стала бы еще прекраснее и законченнее. Но и в нынешнем своем виде капелла Медичи являет собой одно из величайших святилищ искусства, бесконечно радостного по совершенству своих форм и бесконечно грустного по мысли — ведь это памятник не двум великим полководцам, Лоренцо и Джулиано Медичи, какими они, увы, никогда не были, это памятник горю и страданию истерзанной Италии, страшным годам тирании Медичи, о которых великий художник сказал в четверостишии, написанном от имени «Ночи»:

Отрадно спать, отрадней камнем быть?
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить.

В Сан-Лоренцо Микеланджело — архитектор и скульптор — создал нечто совершенное. Вряд ли можно найти пример более полного слияния архитектуры и скульптуры. Тем поразительнее Сикстинская капелла, где Микеланджело убил архитектуру.

Трудно понять, что руководило художником, когда он приступил к росписи потолка. Известно, что он долго отказывался от этой работы. «Я не живописец, я скульптор»,— говорил он. И все-таки, вероятно благодаря полной свободе, которую предоставил ему в этой работе Юлий II, он принялся за этот титанический труд.

Не существует в истории искусства произведения, столь трудного для восприятия. Смотреть его — мука. От обилия повернутых в разные стороны фигур и картин мельтешит в глазах, невыносимо болит шея, так как все время приходится задирать голову кверху. Но муки эти стократ

---

[1] В «Письмах» Микеланджело упоминается о четырех фигурах рек, которые должны были лежать на земле и тем самым, очевидно, остановили бы скольжение фигур на саркофагах. *(Прим. автора.)*

искупаются тем наслаждением, которое ты, преодолев их, испытываешь.

Но какой ценой это достигнуто? Ценой сознательного умерщвления архитектуры.

В своем письме Ле Корбюзье писал:

«Вы обладаете в Москве наиболее прекрасной монументальной живописью, о какой можно только мечтать. Это великие иконы XI, XII, XIII иXIV веков. Они независимы от архитектуры, они заключают эмоциональную энергию в самих себе и могут быть приставлены к стене любой эпохи. Как чистые произведения искусства, они живут сами по себе и сами собою.

Вы имеете в Москве, в кремлевских церквах (и в других местах СССР), великолепные византийские фрески. В редких случаях они не вредят архитектуре. Я не уверен, что они прибавляют что-нибудь к ней. В этом и таится драма фрески. Я допускаю фреску не для того, чтобы увеличить ценность стены, а, наоборот, как средство бурного ее уничтожения, отнятия у нее всякого представления о стабильности, весе и т. д.

Я признаю «Страшный суд» Микеланджело в Сикстинской капелле, уничтожающий стену, признаю и потолок в той же капелле, уничтожающий самого себя.

Дилемма проста — если хотели сохранить форму стены Сикстинской капеллы и форму ее потолка, не надо было расписывать их фресками. Расписав же, у них отняли навсегда их архитектурное происхождение и сделали из них нечто другое, что тоже допустимо.

Для чего же расписали стены капеллы, убив тем самым архитектуру? Преследовалась другая цель — *рассказать проходящей толпе историю*, написать книгу языком живописи.

Я с трудом допускаю, что эти истории можно рассказать языком станковой живописи, и, напротив, я убежден, что стены зданий могут, *принося себя в жертву*, принять на себя фрески, если эти последние представляют существенный интерес с точки зрения рассказываемой истории. *Надо только, чтобы они были хорошо написаны*».

Да, глядя на потолок и стены Сикстинской капеллы, нам нисколько не жаль архитектуры. Истории, рассказанные Микеланджело, оказались сильнее ее.

Почему?

Не только потому, что они «хорошо» написаны, а потому, что они написаны кровью сердца. Это невеселые истории.

и истории не только о сотворении мира и предках Христа, начиная с сыновей Ноя. Вглядываясь в печальные, задумчивые, настороженные фигуры пророков и сивилл, вглядываясь в жанровые картинки люмьеров над окнами, которым приданы библейские имена, но для которых до сих пор тщетно ищут в библии соответствующих текстов, мы читаем другую историю. Историю замученной, залитой кровью страны, от которой четыре года художник фактически был оторван. Четыре года он пролежал с кистью в руках на высоких лесах. Но ни на минуту не забывал он о народе, о стране, раздираемой войнами и междоусобицами. Потому так невеселы его сивиллы и пророки — они думают о том же. И о том, что это-то и есть жизнь. Тяжелая, жестокая, безрадостная. Об этом и рассказал Микеланджело.

Но не только об этом. Если б только об этом, мы вправе были бы отнести его гениальное произведение к разряду наиболее пессимистических в мировом искусстве. Но это не так. В творчестве Микеланджело нет пессимизма. В нем трагедия. Человек и жизнь... Рожденный для жизни Адам и нагие юноши вокруг него (нет, не рабы, тысячу раз не рабы!)— это хвала человеку, прекрасному, сильному, гордому, перед которым открыто всё, все пути!

И, сидя с задранной головой на скамейке, забыв о том, что у тебя невыносимо болит шея, ты прощаешь художнику смертельный удар, нанесенный им архитектуре, прощаешь и то, что рядом, на алтарной стене, уже на закате своей жизни, он позволил себе изобразить «Страшный суд» — фреску, которая не может существовать по соседству с плафоном. Все это ты прощаешь ему потому, что перед тобой творение великого художника, гражданина, гуманиста, который в жизни бывал и робок, и завистлив, но в искусстве, как и должно художнику, всегда был смел, правдив и непоколебим.

Я прошу прощения у читателя. Я несколько отклонился в сторону, заговорил о том, о чем гораздо полнее и с большим знанием дела написано в обширной литературе об итальянском Возрождении. Но что поделаешь, если, увидев раз Микеланджело, нельзя о нем не говорить. А заговорив, трудно остановиться. К этому принуждает его искусство.

Мысли мои об искусстве были прерваны маленьким, сухоньким старичком, который подошел ко мне и вежливо поздоровался.

— Я позавчера присутствовал на вашей лекции в Палаццо Парте Гвельфе,— сказал он на ломаном французском

языке.— Мне было очень интересно. И сейчас мне хочется поблагодарить и приветствовать вас и, если разрешите, показать достопримечательности нашего города. Это моя специальность. Денег я с вас не возьму.

Я был тронут и в то же время несколько раздосадован — мне вовсе не хотелось знакомиться сейчас с достопримечательностями города. Но отказать было неловко.

С профессиональной бойкостью, засыпая меня именами и годами, старик стал водить меня от статуи к статуе, отнюдь не избегая в своем рассказе пикантных подробностей, касающихся их авторов. Сразу стало скучно.

Обошли всю площадь. Старик ринулся было в открытые двери Палаццо Веккио, но я вовремя удержал его за локоть.

— А не выпить ли нам по стаканчику винца?

Старик даже не попытался сопротивляться.

— Только не здесь, только не здесь...— сразу как-то оживился он.— С нас здесь шкуру спустят. Я знаю где.

Он повлек меня куда-то, и через несколько минут мы оказались на площади у Сан-Лоренцо. За столиком, который мы заняли в узенькой, похожей на щель, траттории, зажатой между двумя лавчонками, торгующими сандалиями, сразу же появилось сначала два, потом четыре, а потом бог его знает сколько человек. Пришлось сдвинуть несколько столиков.

Старик не умолкал ни на секунду.

— Знакомьтесь. Это мой друг, замечательный русский писатель. Скритторе совьетико. Ты читал его книги? Нет? И тебе не стыдно? Обязательно прочти, обязательно. Ну разве так можно?

Старик, как потом выяснилось, не прочел ни одной строчки из наших писателей — ни старых, ни новых, но сейчас он говорил с такой убежденностью и азартом, что на первых порах я даже поверил. Поверили и устыдились своей неосведомленности и остальные — вытащили блокноты, и начались обмен адресами и запись русских книг, которые надо прочесть.

Почти сразу, как и везде в Италии, разговор с литературы перескочил на что-то другое. На что, я никак не мог уловить, так как ничего не понимал, а собеседники мои, с милой итальянской непосредственностью, увлекшись спором, совсем забыли обо мне. Только стакан мой не забывали наполнять, и время от времени кто-нибудь хлопал меня по плечу и весело подмигивал:

— Каро! Каро руссо!

И опять мне было легко и весело. Я сидел, чуть хмельной, смотрел сквозь открытую дверь на ободранный фасад Сан-Лоренцо (у папы не хватило денег, и так эта церковь и стоит четыреста лет без фасада), и все как-то не верилось, что я сижу вот здесь, а если захочу, встану, пересеку залитую солнцем площадь и окажусь перед мраморной мадонной с младенцем, который, оседлав колено матери, повернулся и тянется к ее груди. Сон или не сон?

Все вдруг как-то хором встали и заторопились. Встал и я. Но это было еще не все. Собеседники мои, в основном владельцы крохотных лавчонок, которыми впритирку друг к другу окружена площадь Сан-Лоренцо, заявили, что у каждого из них я должен что-нибудь купить.

— Не бойтесь, они сделают скидку,— успокоил меня, заговорщицки подмигивая, мой старик.— Для русского обязательно...

Я мерил туфли, сандалии, пиджаки, брюки, плащи. Вокруг меня кипели страсти. Чьи-то руки натягивали, застегивали и обдергивали на мне пиджаки, потом срывали, бросали на прилавок, натягивали другие. Меня заставляли приседать, наклоняться, вытягивать руки, крутиться на одном месте, а они, мои новые друзья, толкаясь и ни на минуту не умолкая, отходили на несколько шагов, наклоняли головы, щурились, подносили к глазу кулак, как это делают, рассматривая картину, и с азартом плевались или хором кричали: «Манифико!» («Великолепно!»)

Ни одну из покупок, даже самых мелких, взять в руки мне не позволили.

Вечером я обнаружил их все аккуратно сложенными на кровати в моем номере.

Кончилось все тем, что мы опять хлопали друг друга по плечам и спинам и долго трясли друг другу руки. Слегка подвыпивший и возбудившийся, старик старался затянуть меня к себе домой — «совсем близко отсюда, три квартала, а какая внучка у меня...»,— но, что поделаешь, моя «увольнительная» кончилась, пора было приступать к работе.

Все это происходило в страстную субботу, день, когда во Флоренцию съезжаются тысячи туристов, специально чтобы присутствовать на «Скоппио дель Карро» («Сожжение колесницы»), традиционном пасхальном празднестве.

Еще днем, проходя мимо Дуомо, купол и кампанилла которого господствуют над всем городом и запечатлены на тысячах открыток, мы видели, как снимают троллейбусные провода и воздвигают деревянные трибуны у входа в собор.

Вечером мы сидели на одной из них. Попасть туда оказалось делом нелегким. Все прилегающие к площади улицы на протяжении нескольких кварталов забиты были плотной, плечо к плечу, кричащей, веселящейся, мерно раскачивающейся толпой.

— Берегите карманы и часы,— шепнул мне Джорджо, один из наших флорентийских друзей, очень славный парень, русский по происхождению.— Сегодня во Флоренцию съехались все воры Италии. А они свое дело знают.

Не менее получаса пробивались мы сквозь сплошную массу людей. Протиснулись, размахивая пригласительными билетами, сквозь два кордона полиции и один солдатский, взобрались на заполненную до предела трибуну и устроились в одном из последних рядов у подножия башни Джотто.

Перед нами была оцепленная солдатами площадь с черно-зелено-белым Баптистерием — гордостью Флоренции — посредине. «Мой милый Сан-Джованни»,— прозвал эту крестильную церковь, древнейшую в городе, Данте. Тончайшие рельефы Пизано и Гиберти украшают ее бронзовые двери. Сейчас они были раскрыты, и перед центральным входом возвышалось какое-то странное сооружение, нечто среднее между повозкой и храмом, которое и было центром сегодняшнего праздника. От него внутрь собора тянулась по воздуху проволока, и по ней ровно в полночь должен был пролететь механический голубь, зажечь ракеты, вставленные со всех сторон в «карро», и вернуться обратно. Если голубиное путешествие пройдет благополучно, это — хорошее предзнаменование, если нет — жди каких-нибудь неприятностей.

Как выполнил свою миссию наш голубь, я так и не понял. Увидеть его нам не удалось. Мы только услышали крики: «Коломбо! Коломбо!» («Голубь! Голубь!»)— и увидели, как застреляла во все стороны нелепая «карро». Стреляла она недолго и довольно вяло, а потом вдруг вспыхнула. Стоявшие вокруг пожарные бросились тушить. Толпа была в восторге. Тщетно пытались солдаты, взявшись за руки, удержать ее — она прорвалась, захлестнула площадь и с чисто

итальянской экспансивностью стала помогать пожарным тушить пылающую «карро» под мощный гул пасхальных колоколов.

Напрасно пытался я узнать потом, насколько удачно справился голубь со своей задачей и что нас ждет — счастье или горе, никого это уже не интересовало. «Скоппио дель Карро», весь этот, в общем, довольно бедный фейерверк, был просто предлогом, чтобы собраться на площади, потолкаться, пошутить, завести новые знакомства. Религиозного в этом не было ничего. И это напомнило мне русскую заутреню, где тоже в толпе много молодежи, пришедшей просто так — развлечься и повеселиться в теплую апрельскую ночь.

Впрочем, не надо преуменьшать. Веселье весельем — итальянцы народ веселый,— но религия религией. В Италии церковь еще очень сильна не только на сельскохозяйственном юге, но и на промышленном севере. Крохотное государство Ватикан, занимающее площадь в сорок четыре гектара и охраняемое двумя сотнями крепких молодцов, одетых в шлемы и панцири времен Юлия II, во много раз сильнее и влиятельнее иного государства, вооруженного пушками и танками. Небольшие мраморные и бронзовые таблички у роскошных подъездов с надписью «Банко ди Санто-Спирито» («Банк святого духа»), которые мы видели во всех городах, говорят об этом с достаточной убедительностью. Газеты, журналы, радио, кино (папа понял всю силу их воздействия) — все брошено на то, чтобы удержать свою власть в мире, далеко не таком покорном, как когда-то. Содействует этому и партия крупного капитала — христианско-демократическая, которая и сейчас осталась у власти.

На улицах итальянских городов, особенно Рима, поражает обилие служителей церкви. Особенно монахов. В черных, коричневых, белых сутанах, подпоясанные широкими поясами или простой веревкой, в ботинках или сандалиях на босу ногу, молодые и старые, толстые и поджарые — все эти францисканцы, доминиканцы, иезуиты, паулины, бенедиктинцы, картезианцы, бернардинцы, кармелиты, цистерцианцы, камальдулы, марианы, премонстранты, госпитальеры св. Антония и св. Иоанна, августинские братья, минимы, капуцины, реколлекты (а всего в Италии свыше восьмидесяти орденов) — все эти монахи всех цветов кожи (я видел среди них много негров, китайцев и японцев) запол-

няют улицы, трамваи, автобусы, правят машинами, несутся стремглав на мотороллерах. Особенно забавно, когда на таком мотороллере восседает монашенка. В громадном, похожем на парус, накрахмаленном головном уборе, она лихо обгоняет мужчин и так же лихо тормозит на перекрестках, упершись ногами в землю. В здоровом теле здоровый дух — так, что ли?

Кстати, о спорте. Он тоже взят папой на вооружение.

Как-то, улучив свободную минуту, мы отправились посмотреть Форо Олимпико, в прошлом Форо Муссолини, грандиозный спортивный комплекс, сооруженный для предполагавшейся в Риме, но не состоявшейся из-за войны олимпиады. О нем еще будет речь впереди, сейчас же — не о нем, а о некоем молодом пловце. Мы невольно залюбовались им, глядя, как он четко и красиво прыгал с вышки в воду. Ласточкой, сальто, со стойки на руках, стройный, хорошо сложенный, мускулистый, он врезался в воду бассейна, почти не подымая брызг. Один раз мы даже зааплодировали, и он, вылезая из бассейна, улыбнулся и, слегка смутившись, поклонился нам.

Потом мы зашли в ресторанчик перекусить. Через несколько минут быстрым, легким шагом зашел в ресторан и наш прыгун. На нем была светлая коротенькая замшевая курточка, в руках спортивный чемоданчик. Не знаю почему — может, потому, что мы ему похлопали,— он подсел к нам, заказал ризотту. У него было очень приятное, открытое, интеллигентное лицо с высоким лбом, живыми глазами и тонкими ироническими губами. Он прекрасно, почти без всякого акцента, говорил по-французски, что итальянцам далеко не всегда дается. Вообще впечатление производил он очень приятное — вежливый, сдержанный, внимательный. Каково же было мое удивление, когда из дальнейшего разговора выяснилось, что он принадлежит к ордену иезуитов.

Я не верил своим глазам. Вот этот вот молодой, здоровый, красивый парень — иезуит? Я задал несколько вопросов, но он, очевидно, узнав, что я русский (так, во всяком случае, мне кажется), от ответа уклонился.

— У нас настолько различное с вами мировоззрение,— мягко улыбнувшись, сказал он,— что за те пятнадцать — двадцать минут, которые мы проведем вместе за этим столиком, вряд ли нам удастся до чего-нибудь договориться. Давайте лучше поговорим о спорте.

Оказалось, что, кроме плавания и прыжков в воду, он занимается еще греблей, гимнастикой, а зимой лыжным спортом. Собирался выступать даже в Кортино д'Ампеццо, но не добился нужных результатов. Незаметно я перевел разговор на литературу, не сообщив ему, правда, своей профессии, и был поражен, узнав, что он неплохо знает Толстого, Тургенева, Достоевского — то, что было переведено на итальянский язык; читал Блока, много слышал о Есенине, но, к сожалению, мало его знает. Из советской прозы читал Эренбурга (на французском языке, старые его вещи), первые две части «Тихого Дона», который ему не очень понравился («Дело, очевидно, в переводе»,— деликатно сказал он), и «Волоколамское шоссе» Бека.

Вопросов он почти не задавал, спрашивал преимущественно я. Но перед тем, как расстаться, он все-таки спросил меня, правда ли, что где-то под Москвой есть монастырь и духовная семинария. Я сказал, что правда, и не только под Москвой, но, например, и в Киеве есть монастырь, даже, кажется, два — мужской и женский,— и духовная семинария.

— Очень интересно,— сказал он, вставая и протягивая мне руку.— Если у вас будет свободное время и желание, я к вашим услугам. Вот мой телефон. Был бы рад с вами поговорить не только на спортивные и литературные темы. Думаю, что они нашлись бы...

Мы пожали друг другу руки — ладонь у него была жесткая, мозолистая, очевидно от весел и турника,— и, взяв свой чемоданчик, он тем же быстрым, спортивным шагом направился к двери.

Это был первый и пока последний иезуит, с которым мне пришлось разговаривать.

Так вот они, оказывается, какие, члены этого важнейшего и страшнейшего католического ордена, учрежденного более четырех столетий тому назад Игнатием Лойолой, призвавшим их на борьбу против «адских чудовищ и порождений сатаны», на служение богу, на свершение подвигов, «ad maiorem Dei gloriam» («к вящей славе божьей»). Вот, значит, они какие, члены «общества Иисуса», воля, сила и совесть которых переданы в руки их генерала, «черного папы», на которого они должны смотреть, «как на самого Христа, должны повиноваться ему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях, как палка, которая повинуется всякому движению, как шар из воска,

который можно видоизменять, растягивать во всех направлениях».

Четыреста двадцать четыре года существует этот орден, возведший в добродетель взаимный шпионаж, лицемерие, подозрительность, ханжество, подобострастие к старшим, разрешающий своим членам все — донос, клятвопреступление, лжесвидетельство,— все, вплоть до «смертного греха», если прикажет старший.

Иезуит отрекается от всего — от своих родителей, от собственных мыслей, желаний, воли, отрекается от имущества, отрекается от родины. Беспрекословное подчинение начальству. Ни одного письма без его разрешения. Ни одного сочинения без иезуитской цензуры. Все помыслы и искушения должны быть раскрыты перед духовником. Обо всем подмеченном у собрата по ордену немедленно докладывать начальству. Во всем суровое обезличение. Все индивидуальные стремления и силы подчинены интересам целого. Цель оправдывает средства.

Так гласят правила ордена, которые не помешали, а, может, именно и помогли ему сосредоточить в своих руках несметные богатства и основать во всех странах банкирские конторы и торговые дома.

Четыреста двадцать четыре года существует этот орден, миссионеры которого проникли во все страны света. Его поддерживали и возвеличивали папы, потом запрещали и разгоняли, снова разрешали, опять поддерживали. Сотни учебных коллегий во всех странах развращали молодые головы и сердца юношей, развивая в них честолюбие и тщеславие, убивая товарищескую солидарность взаимными доносами и слежкой, превращая их в жестокое, немое орудие. И все это сохранилось до сих пор. Около двадцати восьми тысяч иезуитов рассеяно сейчас по всем концам света. В Европе, Азии, Африке — всюду расставлены их сети лжи, обмана и лютой ненависти ко всему передовому, прогрессивному, свободомыслящему. Трудно поверить, но это так...

Я глядел из окна ресторана на быстро удаляющуюся высокую и такую ладную фигуру только что сидевшего здесь пловца и задавал себе вопрос: неужели и он, этот двадцатитрехлетний, так мило улыбавшийся молодой человек в замшевой курточке, а вовсе не в черной сутане (потом я узнал, что иезуитам разрешается ходить в любом одеянии и даже, если хотят, не посещать богослужения), неужели

и он труп, палка, восковой шар? Страшно подумать. А если да, то что его толкнуло на это? И много ли таких, как он? Откуда они берутся? И кто он сам? К какой из степеней ордена относится? Выжидающих (indifferentes), испытуемых (novitii) или уже схоластиков, давших обет бедности, целомудрия и послушания? Коадъютором он еще не может быть, ему нет тридцати лет, тем более профессом — тем, кто достиг высшей степени посвящения и дал, кроме обычных трех монашеских обетов, еще и четвертый — особого повиновения папе.

У меня был его телефон. Я мог ему позвонить. И тогда, возможно, я многое узнал бы. А если и не многое, то хотя бы кое-что. Но я не позвонил — на следующий день я уехал в Неаполь.

Неаполь, Помпея, Капри... Это была уже увеселительная поездка. В награду, так сказать, за труды.

Поехали мы туда вместе с Юрием Крайским. Познакомились мы с ним за день до этого в римском отделении общества «Италия — СССР». Высокий, сутуловатый, в очках, спокойный и уравновешенный, он мне сразу очень понравился. Русский по происхождению, он попал в Италию еще ребенком, потом объездил полсвета, жил некоторое время в Бразилии, затем вернулся назад, в Италию. Член Итальянской компартии и общества «Италия — СССР», журналист, пишет по вопросам театра, кино. Когда ему предложили поддержать мне компанию для поездки в Неаполь (академик и переводчик уехали в Советский Союз, я остался один), он охотно согласился. И я был очень рад его обществу, нам не скучно было друг с другом.

Выехали мы после полудня. За час сорок пять минут, покрыв без остановки расстояние в двести двадцать километров, пятивагонный электропоезд «рапидо» доставил нас в Неаполь. Поезда в Италии ходят быстро и хорошо. Для меня даже слишком быстро. Почти всю дорогу я метался от окна к окну, пытаясь сфотографировать живописно громоздившиеся по уступам скал городишки и селения, но ничего путного из этого не получилось. На обратном пути я уже и не пытался.

В три мы были в Неаполе. Кто не мечтал побывать в этом городе песен, синего моря и жаркого солнца, городе рыбаков, торгующих на набережной «фрутти ди маре» — плодами моря: всевозможными креветками, каракатицами и прочей морской живностью, городе знаменитого «дольче

фарниенте» («блаженного ничегонеделания»),— уже давно, к сожалению, не блаженного: в Италии сейчас более двух миллионов безработных,— в городе шумном, веселом, крикливом, удивительно грязном и неправдоподобно красивом? В нем бы пожить, погулять, потолкаться по рынкам, познакомиться с героями фильмов Эдуардо де Филиппо. Но в нашем распоряжении два дня, всего лишь два дня. А тут еще Помпея, Капри... О Сорренто и не мечтай.

Первый день, вернее полдня, мы просто бродили по городу. Прошлись сначала по центру, потом попали на грязные, пыльные окраины, после которых пришлось немедленно прибегнуть к услугам чистильщика башмаков. Занятие это мне очень понравилось — сидишь на величественном золоченом троне с львиноголовыми подлокотниками и слушаешь неаполитанского «айсора» — очередную историю о делах местного синдика, фашиствующего градоначальника Лауро, или захватывающий рассказ о таинственном убийстве на Виа Карачиоло. Потом, усевшись в маленький дребезжащий трамвайчик, мы поехали на эту самую Виа Карачиоло. Широкая, с тенистым бульваром, залитая огнями, она плавно изгибается вдоль залива. За нею Ривьера ди Чиана — бесчисленные отели, один роскошнее и дороже другого, мигающие рекламы (в Риме это запрещено, как у нас гудки, чтобы не раздражать), залитые светом витрины, вереницы лимузинов, молча застывших у мраморных подъездов. Все это производит сильное впечатление. Богатство, роскошь, красота... От витрин оторваться невозможно. Сделаны они с таким вкусом и умением, что просто обидно за художников, которые этим занимаются.

Витрины не загромождены товаром, но вещи на них разложены и преподнесены так, что тут же, немедленно, хочется войти и купить. Останавливают обычно только маленькие этикетки, прикрепленные к этим вещам: на них столько нулей, что ноги сами несут тебя от этой витрины.

Реклама. Броская, лаконичная, остроумная, запоминающаяся. На дорогах, на крышах, на стенах. Покрышки Пирелли, кондитерские изделия Мотто, Чинзано (настойки, ликеры), пишущие машинки Оливетти, и везде, от предгорий Альп до скалистых берегов крохотной Пантеллерии: «Шелл! Шелл!» — ярко-желтый призыв заправить машину американским бензином. И все это кричит, мигает,

требует себя запомнить и — запоминается. Надоедает, раздражает, но запоминается. И в этом есть логика. Конкуренция. Покупайте у Мотто, а не у такого-то, покупайте у Пирелли, а не там-то... Ясно и просто.

Но бог с ней, с рекламой. Это не самое интересное, не самое характерное для Италии.

Когда я вернулся домой, не было человека, который не спросил бы меня: «Ну как там, в Италии, поют?» И я вынужден был отвечать: «Нет, не слышал».

Да, как это ни странно, но Италия не поет. Даже Неаполь — город, родивший неаполитанскую песенку. Не знаю, может, мне просто не повезло, но я не слышал песен. Впрочем, вру. Один раз слышал. Даже два раза, и оба в Неаполе. Но от песен этих мне стало только грустно.

Мы возвращались — я, Крайский и Паоло Риччи, художник, о котором я уже говорил,— поздно вечером после длительного блуждания по тупичкам и закоулкам «Куорпо е'Наполи». Усталые и голодные, вышли на какую-то площадь. На противоположной ее стороне виднелась толпа. Доносились звуки гитары.

— О! Это интересно,— оживился Риччи.— Это теперь не часто увидишь.

Мы подошли. В небольшом кругу людей стояли трое. Невеселые, бледные, потрепанные. Один, высокий, в черном свитере, пел, держа перед собой микрофон. Другой играл на гитаре. Третий сидел на ящике и курил. Зрители молча, не улыбаясь, слушали.

Пел человек в свитере неплохо, скорее говорил под музыку, хриплым, но приятным голосом. Когда он кончил, раздались жидкие хлопки. Певец непринужденно раскланялся и, взяв кружку, пошел по кругу. Зрители бросали в нее монеты вяло и неохотно. Тогда с натужно-бодрым видом, потряхивая кружкой, он сказал:

— Если соберем еще столько же, Пьетро нам станцует. Правда, Пьетро? А он умеет это делать, поверьте мне.

И опять пошел по кругу. В кружку упало еще несколько монет. Их было совсем мало, но Пьетро встал — невысокий, рыхлый, очень бледный — и, так же не улыбаясь, как и зрители, затанцевал. Это был странный, очень пластичный и неприятный танец. Пьетро изображал женщину — вилял бедрами, изгибался, делал волнообразные движения руками. И от всего этого — от молчаливой публики, от микрофона

в руках певца, от его песни и от женоподобного рыхлого танцора — стало как-то тяжело и грустно.

А потом, когда мы зашли в кафе, нас услаждал там пением — и тоже под гитару — еще один певец. У этого не было ни голоса, ни слуха, и, хотя он пытался петь бодрые и веселые песенки, нам стало еще тоскливее. А может быть, мы просто устали...

Но не все неаполитанцы такие. Утром того же дня нам встретился настоящий неаполитанец, такой какими мы себе их и представляем. Звали его очень звучно — Данте-Буонаротто. Он подошел к нам, когда мы, спугнутые толпами нахлынувших туристов, распрощались с Помпеей и шли к вокзалу. Спортивного вида, лет двадцати с небольшим, очень смуглый, в накинутом на плечи пиджаке, в расстегнутой рубахе и с маленьким золотым крестиком, поблескивающим на крепкой загорелой шее, он с очаровательной бесцеремонностью взял меня за локоть, отвел в сторону и из-под полы пиджака показал какой-то альбомчик-гармошку.

— Две тысячи лир...

В альбомчике оказались фотографии помпейских фресок, которые обычно не входят в путеводители.

За пять минут, которые мы шли к вокзалу, цена сбавилась до семисот, потом до пятисот лир.

— Подумайте, вы нигде этого не достанете,— с обезоруживающей убедительностью говорил он, не выпуская мой локоть,— ни в Риме, ни в Париже, ни в Нью-Йорке. Только здесь. И всего за пятьсот лир. А что такое пятьсот лир? Даже пообедать прилично нельзя...

Когда дело дошло до трехсот лир, мы сдались. Но не сдался он. Из кармана его появился крохотный брелок для часов, в высшей степени непристойный.

— Две тысячи лир...

Брелок был очень изящен, ничего не скажешь, непонятно было только, что с ним делать,— не носить же. Мы наотрез отказались. Данте вздохнул, сплюнул, сунул брелок в карман и тут же спросил:

— Вы в Неаполь?

— Да.

— Торопитесь?

— Торопимся.

— Тогда я вас отвезу. Поезд будет только через сорок минут. Вон моя машина.

В трех шагах от нас стоял «фиат». Его «фиат». Он его купил месяц тому назад. Машина подержанная, но, в общем, приличная. На одних альбомчиках и брелоках не проживешь. Приходится соперничать с поездом. За пять-шесть туристских месяцев можно подработать на зиму. А с альбомчиками дело дрянь. Туристы, правда, охотно их покупают, но за это преследуют. Недавно шестерых арестовали. Он сам чудом уцелел, выкрутился. Судили. Долго судили. Адвокат был хороший. Очень убедительно доказывал, что за торговлю фотографиями произведений искусства (а это же настоящее искусство, а не порнографические открытки) судить нельзя. И все-таки засудили. По шесть лет дали. Очень уж там, на суде, кипятился и возмущался один поп. Потом сам сел. За растление малолетних. Такие-то дела...

Он лихо вел машину, одной рукой придерживая руль, другой отчаянно жестикулируя, ни на секунду не умолкал, время от времени весело переругивался с шоферами обгоняемых им машин. Держался он просто, естественно, ничуть не заискивая и не подлаживаясь, с достоинством человека, честно зарабатывающего себе на хлеб. Узнав, что я русский, он стрельнул в меня веселым глазом, хлопнул по плечу, сказал по-русски «привет!» и опять заговорил о своем: о машине, бензине, туристах — презрения к которым, несмотря на наше присутствие, нисколько не скрывал,— о заработке, семье, дороговизне.

У станции канатной дороги, ведущей на Везувий, притормозил.

— Подыметесь?

— Времени нет.

— Нет так нет. Заедем тогда в музей.

Сказано это было с такой определенностью, что мы даже не пытались сопротивляться.

Музей оказался при фабрике, изготовляющей сувениры — очень милые маленькие копии помпейских и римских статуэток, камей, гемм, всякой старинной утвари. Тут же, на твоих глазах, они делаются и тут же продаются. Мы походили-походили, ничего не купили и вернулись в машину. Проходя мимо какой-то женщины у входа, наш Данте состроил кислую физиономию и развел руками. Потом мы узнали, что он получает проценты с каждой вещи, проданной пассажирам, которых он привез.

— Ну что ж, на сотню лир меньше, не пропаду! — Он беспечно махнул рукой и погнал машину дальше.

Расстались мы друзьями.

— Приезжайте еще,— сказал он на прощание.— Я покажу вам такие месте в Неаполе, в которых никто не бывает, даже наш хваленый художник не был. О, я знаю Неаполь! И Сорренто, и Капри... И не на катере мы туда поедем, а под парусом. С Джованнино поедем, не пожалеете.— Он протянул свою широкую ладонь с тоненькой золотой цепочкой на запястье: неаполитанцы любят украшения.— Жаль, поздно я к вам подошел. В Помпее есть такие местечки... Э-э...

Он махнул перед лицом рукой и побежал к машине.

Недавно, в четвертый или пятый раз, я смотрел один из обаятельнейших итальянских фильмов (кстати, в Италии многие критики со мной не согласятся, считая его сентиментальным): «Два гроша надежды». И опять увидел этот жест, услышал это «э-э...», знаменитое неаполитанское «э-э...»— философически-скептическое междометие, в зависимости от интонации обозначающее все на свете. И сразу же вспомнился наш предприимчивый продавец альбомчиков, наш неунывающий Данте-Буонаротто. Он чем-то даже похож на героя картины: такой же крупный, такой же у него притаившийся смех в глазах, такая же походка — быстрым шагом, размахивая руками,— такой же крестик на шее. Когда я спросил его, верит ли он в бога,— «э-э...» ответил он и махнул рукой. Я понял, что это значило. «Ну что вы меня спрашиваете? Разве я об этом думаю? И что изменится от того, есть бог или нет? Важно, чтоб тут было, в кармане... А крестик? Пусть висит, он не мешает. Может, бог все-таки есть...»

Э-э...

Я не знаю, что подразумевал наш Данте, загадочно намекая на какие-то местечки в Помпее, но, при всей моей симпатии к нему, я не очень огорчен, что его с нами не было.

Поехали мы туда первым поездом, чтобы избежать туристов. Помпея требует пустоты, безлюдья. На улицах ее не хочется разговаривать, не хочется слышать человеческую речь. Как нигде в другом месте, здесь хочется молчать.

Длинные прямые улицы. По сторонам — полуразвалившиеся стены. Мостовая из крупных камней, остатки лавы. Еще видны колеи от колес, следы подков. Пробивается мо-

лоденькая травка. Кипарисы, дикий виноград. А вверху утреннее, но уже жаркое небо и Везувий, молчаливый, притаившийся и такой мирный-мирный — два года как он не дымит.

В руках у нас путеводители, но мы не заглядываем в них. Сейчас не хочется знать никаких деталей, никаких названий, дат. Мы знаем только, что две тысячи лет назад здесь была жизнь. Вот здесь вот, в этом замкнутом дворике с изящной колоннадой, именуемом перистилем, сидел какой-нибудь патриций, возможно даже и сам Цицерон (здесь есть и его вилла), и рабы подносили ему вино со льдом, а в этой вот комнате, стены которой украшены фресками, изображающими сатиров и силенов, шел пир горой, а где-то там, на арене амфитеатра, сражались гладиаторы. И вдруг всего этого не стало. Потоки лавы, пепел, смерть.

Трагедия, длившаяся около полутора суток, похоронила не менее двух тысяч человек. Но только благодаря ей, благодаря семиметровому слою пепла, полтора тысячелетия скрывавшему от глаз результаты этой трагедии, мы знаем теперь, как жили когда-то патриции, рабы, гладиаторы, ремесленники, лавочники, воины. Именно, как жили. В каких домах, на каких улицах, из какой посуды ели и пили, как выпекали хлеб, выжимали оливки и виноград. Помпея, Геркуланум и Стабия — только эти три города могут рассказать нам во всех подробностях о жизни, привычках, обычаях тех, кто жил за девятнадцать столетий до нас. Мгновенная смерть сохранила их для истории.

Маленькая девочка, лет десяти, тоненькая, хрупкая, в светленьком платьице, с глиняным кувшином в руках, деловито пересекла дворик и скрылась в атриуме. И почти сразу же вернулась. Полила цветы, какие-то очень нежные розовые цветы вокруг пустого сейчас бассейна, что-то поправила, подстригла ножницами и так же деловито, даже не взглянув на нас, ушла.

На какое-то мгновение нам, ей-богу же, показалось, что на ногах у нас ременные сандалии и сами мы завернуты в тоги, а голоса, доносящиеся откуда-то снаружи,— это голоса носильщиков, которые доставили нас сюда.

Нет, то были не носильщики. То были туристы. Прибыла первая партия автобусов.

Апрель — это еще не туристский сезон. Начинается он позже, в мае. Разгар — июнь, июль август. Это — время американцев. Сейчас же, в апреле, больше всего почему-то

немцев из Федеративной Республики Германии. Есть и французы и англичане, но больше всего немцев.

Не знаю, что происходит здесь летом, но сейчас, при виде этого потока людей, нам сразу же, немедленно, захотелось бежать из Помпеи. Точно плотина прорвалась. С обязательными фотоаппаратами, все как один в громадных черных очках, лишающих лица какого-либо выражения, шумные, крикливые, вездесущие, они как-то сразу заполонили весь дворик, все его закоулки. И тут же начали сниматься — по двое, по трое, группами.

Мы обратились в бегство. Мы не заходили уже ни в Форум, ни в театры, ни в цирк — мы бежали. Помпея кончилась, начался музей.

Я не буду подробно рассказывать о нашей поездке на Капри. Мы пробыли там всего несколько часов. Сели на таратайку того самого Винченце Вердолива, чья жена приняла меня за еттаторе, и не торопясь, трусцой, объехали весь остров.

Этот островок — один из самых фешенебельных теперь уголков отдыха на земном шаре. Он похож на Крым. Такие же, как в каком-нибудь Гурзуфе, крутые, взбирающиеся в гору улички, и сложенные из рваного камня стены, увитые глицинией, и кипарисы, и кокетливо белеющие среди густой и суховатой зелени виллы и дачи. И такое же солнце, такое же синее-синее, сливающееся с небом море.

Когда мы торговались с Винченце на шумной набережной Марино-Гранде, «главного порта» острова, он, чтобы отбить нас от других извозчиков, соблазнял нас бесчисленнейшим количеством чудеснейших мест, которые он нам покажет, и всего за каких-нибудь полтора-два часа.

— Все увидите. И Капри, и Анакапри, и Лазурный грот, и дачу Горького, все...

Последнее нас особенно тронуло (ведь он не знал, что мы русские), поэтому, отвергнув все другие предложения, мы взгромоздились на его таратайку.

Ни в Лазурный грот, ни на дачу Горького (она, оказывается, заколочена, в ней никто не живет) мы так и не попали. Зато мы видели ссору двух каприянок (так, что ли, они называются?), которые, вцепившись одна другой в волосы, лупили друг друга снятыми с ног туфлями; видели и деревенскую свадьбу, где невесту осыпали при-

горшнями конфет, но, главное, мы познакомились с Винченце.

Подхлестывая больше по привычке, чем по надобности, кнутом свою жалкую, лениво перебиравшую ногами кобыленку, время от времени поворачиваясь в нашу сторону, он неторопливо — так же как мы ехали — рассказывал нам о житье-бытье.

— Вот так вот и езжу. Вверх и вниз, с горы да на гору. И так всю жизнь. Впереди хвост, сзади пассажир. А иногда один только хвост, а сзади никого... Было нас когда-то много, а теперь семь человек осталось. Автобусы... А что за интерес на автобусе? Что увидишь? Вот мы с вами едем, а захотим — остановимся, выйдем, посидим, посмотрим на море, вы что-нибудь поснимаете. А там? Три минуты — и Капри, еще три минуты — Анакапри. Завалятся в ресторан и пьют. «Ах, как красиво, ах, как красиво!»— а из ресторана ни на шаг. Выскочат на минутку, купят сувениры — и назад. Тьфу!..

Видно, автобусы крепко насолили нашему Винченце. К тому же и «овес подорожал» — вечная жалоба всех извозчиков мира.

— А Горького вы возили когда-нибудь, синьор Винченце?

— А как же! Очень часто. И его, и жену его — красивая такая была, артистка, кажется,— и сынишку. Всех возил.

— А Ленина не возили? Он тоже тут жил.

— И Ленина возил,— без запинки ответил Винченце.

И то и другое было, конечно, чистейшей фантазией — вряд ли он занимался своим ремеслом раньше десятилетнего возраста. Мы с Крайским только перемигнулись: старику просто хотелось доставить нам удовольствие, а заодно и повысить себе цену в наших глазах.

— Тут вообще много русских было. И школа у них здесь партийная была. Вон там вот, видите, среди зелени? Там теперь ресторан. Вообще хороший народ, не скупой...

Мы поняли намек и, прощаясь со стариком, постарались поддержать в нем его мнение о натуре русского человека.

Поговорив о русских, Винченце опять вернулся к своей излюбленной теме: и гудят эти чертовы автобусы непрестанно, и разъехаться с ними на улицах невозможно, и воняют немилосердно.

— Ну что это за воздух? Разве такой раньше был? Как вино был — пьешь и не пьянеешь. А теперь? Вон прется сатана, кур только давит...

Громадный, желтый, тупорылый автобус, подымая тучи пыли, пронесся мимо нас, и старик долго после этого отплевывался, вытирал шею и лицо платком, потом показал нам его — совсем черный, как будто в этом виноват был только автобус.

Вообще старик всю дорогу ворчал и чем-то возмущался. После автобусов — ресторанами, туристами, своим хозяином, падением нравов, погодой. И все вдруг переменилось, когда мы сказали, что хотели бы посетить его дом и приветствовать его семью.

Он сразу как-то просветлел и весело прищелкнул бичом.

Домик у него оказался небольшой, на косогоре, окруженный такими же прилепившимися друг к другу домиками. От входа к улице террасами спускается садик — в основном подпорные стенки и каменные ступеньки. Полощется на ветру белье, торчат из земли круглые, как блины, кактусы. Несколько деревьев — то ли оливы, то ли миндаль. И тут же куча детворы. Посмотрели на нас мельком и опять погрузились в свои заботы — что-то мастерить из старого безногого стула. Потом появились черноглазые растрепанные девицы всех возрастов, очень тоненькие и смущающиеся, за ними какие-то парни. Я так и не понял, кто из них сыновья и дочери, а кто зятья и невестки; но, когда собрал всех, для того чтобы сфотографировать, их оказалось так много, что пришлось разбить на две партии.

Как и всегда перед съемкой, началась легкая суматоха. Стали переодеваться, вынимать что-то из сундуков, причесываться, вставлять в волосы цветы. Я тайком снял эту сутолоку и уверен, что, не испортись, как назло, в этот день мой аппарат, все получилось бы очень весело и хорошо. Но он и испортился-то, я уверен, потому, что все эти славные, живые, улыбающиеся лица, увидев перед собой объектив, стали такими вдруг скучными и тусклыми.

К слову, почему все так любят сниматься? И без особой даже надежды получить карточку. В Неаполе, например, к нам пристал какой-то парень. Он силком забрал у Крайского чемоданчик, который тот с собой носил, и несколько часов таскал его вслед за нами. И все это для того, чтобы попасть ко мне на пленку. Каждый раз, когда я что-нибудь фотографировал, он спрашивал разрешения, становился

где-нибудь вдали и подымал руку со сжатым кулаком. Кажется, у меня нет ни одного неаполитанского снимка, где то ли на фоне церкви, то ли просто в уличной толпе не маячила бы его тщедушная фигурка с рот-фронтовским приветствием. И в этом сжатом кулаке было что-то очень трогательное — парню хотелось отблагодарить меня, доставить мне удовольствие.

Мы недолго пробыли в гостях у Вердолива — через час должен был отойти наш катер,— но все-таки успели посмотреть фотографии всех родственников, развешанные по стенкам и заключенные в альбом, и конечно же попробовать каприйского вина.

Старик был весел и горд. От его дурного настроения и воркотни не осталось и следа. Даже инцидент со старухой, которая отказалась фотографироваться, не очень огорчил его.

— Ну что с ней поделаешь! Такая она уж у меня. Не переделаешь.

Мне жаль, что не получились карточки, но память о нашей прогулке на тряской таратайке я сохранил и без нее: плоский колючий кактус, вырванный мной из каприйской земли и брошенный в чемодан, мирно растет у меня теперь на окне.

Кто-то из наших писателей, побывав в Италии, писал потом в газете о прелести коллективных поездок. Стоишь, например, над Флоренцией, на Пьяццале Микеланджело, а вокруг тебя русская речь. Как приятно...

Не знаю, может, это и так. Но я тоже стоял на Пьяццале Микеланджело, и вокруг меня была только итальянская речь — и меня это нисколько не огорчало, хотя я тоже люблю русский язык.

И все же, когда со мной в Неаполь поехал Крайский, я этому обрадовался. Обрадовался именно потому, что рядом со мной оказался русский. Правда, не только русский, а одновременно и итальянец. Русский по происхождению, по какому-то чисто русскому образу мышления, итальянец — по месту и образу жизни, по воспитанию, а в чем-то даже трудно уловимом и по духу.

Мы много с ним говорили. И в поезде, и, надев от солнца газетные колпаки, на пароходике, и блуждая по ночному Неаполю, и потом в гостинице, растянувшись, усталые, на кроватях, докуривая последние перед сном папиросы.

Мне интересно было его слушать, ему — меня. Мы оба коммунисты, и на основное, на главное, взгляды у нас одинаковые. Но мы живем в разных странах, окружены разными людьми, подчиняемся разным законам, и что-то нам нужно было разъяснять друг другу.

Кое-что я все-таки знаю об Италии. Немного знаю — к сожалению, гораздо меньше, чем хотелось бы,— литературу, чуть побольше искусство, имею какое-то представление об истории страны. Но народа — его мыслей, надежд, интересов, его жизни, его души — я не знаю. Крайский, возможно, в несколько лучшем положении, чем я,— как активный член общества «Италия — СССР», он внимательно следит за нашей литературой, читает газеты, журналы. Но в России он, в сущности, не жил и народа ее тоже не знает. Поэтому и у него и у меня вопросов было столько, что, пробыв вместе три дня, мы и половины их друг другу не задали.

Он любит русских, тянется к ним, любит нашу страну, радуется каждому нашему успеху и потому с особой болезненностью реагирует на то, что считает нашими ошибками. Между прочим, эта черта свойственна не только ему одному. Она свойственна многим коммунистам (и литераторам и нелитераторам), с которыми я встречался, да и не только им, а всем, кто симпатизирует нам, хотя и не во всем соглашается с нами.

Мы много и горячо спорили с одним вспыльчивым, экспансивным миланским литератором-социалистом. Далеко не во всем нам удалось убедить друг друга. Но последняя его фраза, заключившая наш спор, на мой взгляд, очень характерна.

— Вы делаете большое дело,— сказал он.— Не все мне в нем понятно, многое просто чуждо. Но учтите одно: нет дня, чтобы мы о вас не говорили. Честное слово! И когда мы думаем, что вы делаете ошибки, нам тяжело и больно. Но, так или иначе, жить без вас мы не можем. Учтите это.

И это действительно так. Интерес к нашей стране огромный. Наши газеты, журналы читают очень внимательно. О статьях, о корреспонденциях с мест (особенно если они подписаны известными итальянцам именами), о самой манере подачи материала много говорят, спорят, критикуют, и, нужно сказать, иногда довольно метко.

В Турине у меня произошел любопытный разговор в редакции местного издания газеты «Унита».

Показав нам редакцию и типографию, заместитель

редактора, молодой, хитроглазый и, как я из дальнейшего разговора понял, весьма колкий Джанни Рокка, пригласил нас в свой кабинет и, присев на край стола, сказал, как обычно в таких случаях бывает, что, если есть какие-нибудь вопросы, он с удовольствием ответит.

Я задал обычный вопрос: как и где они берут международную информацию? Рокка хитро взглянул на меня и ответил:

— «Юнайтед Пресс», «Ассошиэйтед Пресс», «Франс Пресс»...

— А наши газеты?

— Нет.

— Почему?

— У нас нет времени ждать. Мы окружены буржуазными газетами. Если мы хоть на час опоздаем с каким-либо сообщением, нас не станут покупать. А вас, к сожалению, в излишней оперативности никак не обвинишь. У нас особый читатель, нелегкий. Если экспресс Рим — Париж сошел с рельсов, он хочет знать все подробности. И сколько убитых, и сколько раненых, и чтобы очевидец все сам рассказал, и чтобы фотография разбитых вагонов и паровоза была. А у вас,— он опять лукаво взглянул на меня,— у вас ведь, судя по вашим газетам, даже стихийных бедствий не бывает, я не говорю уже о железнодорожных катастрофах.

Он внимательно выслушал мои возражения, сводившиеся в основном к тому, что мы против дешевых сенсаций, против щекотания нервов, что в задачи газеты входит не только сообщение о тех или иных событиях, но и вмешательство в некоторые из них. Я говорил о большой и нелегкой работе отделов писем, куда за советом и помощью обращаются тысячи читателей. Он все это терпеливо выслушал и сказал:

— Все это очень хорошо, не спорю, и этому мы у вас учимся — активному вмешательству газеты в жизнь. Но ведь мы говорили о другом, мы говорили об информации. И тут мы с вами не в одинаковом положении. И кто в более трудном — не знаю. Если я не буду писать о катастрофах и убийствах, или, по вашему выражению, щекотать нервы, у меня упадет тираж, а у какого-нибудь «Джорно» повысится. У вас тираж не упадет, но, наверно, появится то, что во всех странах заменяет отсутствующую информацию,— появятся слухи. А с ними нелегко бороться. Кроме того, вы чудовищно многословны,— продолжал он.— Выходите вы на четырех, максимум шести — восьми полосах — по

сравнению с нашими, особенно богатыми буржуазными, газетами это очень мало,— а сколько лишних слов у вас. Читая ваши подвалы, пока доберешься до основной мысли, надо прорваться сначала сквозь дремучий лес общих фраз. Очень уж вы неэкономны. И это, на мой взгляд, один из основных ваших грехов. Второй — чрезмерная скупость информации и непозволительное запаздывание ее. Не слишком ли долго вы обдумываете каждый идущий в газету материал? Оперативность в газетном деле — всё. Вчера в шесть часов вечера произошло какое-то событие — выступил Хрущев или Эйзенхауэр, где-то состоялась демонстрация, или, наоборот, ее разогнали,— в шесть утра рабочий должен уже об этом прочесть, и не только сообщение, а и нашу оценку самого события. Опаздывать я не имею права ни на час, ни на минуту. Прогонят...

Увы, как прав во многом Рокка! Как скучны подчас наши газеты, как неповоротливы, неоперативны. Как поздно они приходят — иной раз у нас, в Киеве, приносят их в час, и в два, а то и вечером. А в Риме в четыре утра уже открыты все киоски, покупай что хочешь, от официального «Мессаджеро» до «Унита» и «Аванти».

И все это Рокка говорил вовсе не потому, что он хотел похвастаться,— нет, просто ему, как коммунисту и газетчику, хотелось бы, чтоб наши газеты были для них во всем примером. В этом он был таким же, как многие другие передовые итальянцы, иногда и некоммунисты.

— Ведь мы хотим у вас учиться,— говорят они.— Хотим. Но не всегда получается. И не всегда по нашей вине.

Верно и это. Мы недооцениваем тягу рядового итальянца к нам. Недооцениваем то влияние, которое оказывает на итальянца наша культура, искусство, литература, кино. Нам жаловались на то, что в Италии не знают советских фильмов. Почему? А потому, что в Италии существует кинематографическая цензура. Она против наших фильмов. Но, оказывается, ее легко обойти, нисколько не уклоняясь от строгой легальности. Как? «Присылайте фильмы на узкой пленке. Они не считаются коммерческими, их можно показывать в любом рабочем клубе». Почему же мы их не посылаем? Не посылаем, и все...

В городе Фаэнца есть крупнейший в мире музей керамики. Это очень интересный музей. В нем представлены художественные изделия — вазы, посуда, скульптура — из фарфора, фаянса и прочих видов керамики. Представлены

все страны мира. Нет только Советского Союза. Почему? Дирекция музея неоднократно обращалась к нам, в Академию наук, Академию художеств, Эрмитаж. Ответа не последовало. Почему? А кто его знает почему...

Так было год тому назад, в апреле 1957 года. Хочется верить, что за год кое-что изменилось. В Советском Союзе организовано теперь общество «Италия — СССР». Будем же надеяться, что с появлением его эти, назовем их мягко, досадные шероховатости исчезнут.

Итак, Неаполь, Помпея, Капри уже позади... За широкими окнами нашего «рапидо» проносятся селения и городишки с обязательными башнями и колокольнями, с пиниями и кипарисами, с прижавшимися друг к другу среди скал домишками. Путешествие мое приближается к концу. Завтра в это время я буду уже в самолете, по пути в Париж.

До Рима еще час с небольшим, и я стараюсь использовать эти последние спокойные минуты, чтобы расспросить Крайского о том, что по-настоящему не успел узнать за эти три недели.

Как живут рабочие — вот что меня интересует.

Собственно говоря, только во Флоренции и Ивреа мне удалось столкнуться с рабочими. Именно столкнуться, не больше, так как на заводе Галилео во Флоренции мне удалось поговорить с ними не более получаса, во время обеденного перерыва, а на фабрике пишущих машинок Оливетти я видел их стоящими за станками, и даже так поговорить с ними мне не удалось.

Фабрика Оливетти — интересное явление. Ее всегда приводят в пример, когда хотят доказать, что в капиталистическом мире рабочим может житься очень хорошо.

Внешне все действительно производит большое впечатление. Фабрика находится в пятидесяти пяти километрах от Турина, в небольшом городишке Ивреа. Архитектура здания выдержана в самом что ни на есть ультрасовременном стиле. Светло, удобно, рационально распланировано, красиво — и вокруг здания (подстриженные газоны, цветники), и в цехах (где все время слышны звуки тихой, приятной музыки), и в просторном, удобном конструкторском бюро, и в рабочей столовой, где максимум за двадцать минут рабочий может недорого и довольно сытно пообедать. Тут же рабочий поселок — большие и маленькие очень уютные

домики, квартиры в рассрочку. Есть и медицинское обслуживание. Рабочие получают оплачиваемые отпуска. Средний заработок — пятьдесят тысяч лир в месяц, вообще же в Италии — тридцать — сорок тысяч. Рабочий день — семь часов. Два дня в неделю выходные—суббота и воскресенье.

— Что? Поражен? — улыбнулся Крайский.— А Оливетти на это и бьет. Он незаурядная фигура. И дело знает. Собирается на выборах выставлять свою кандидатуру. В парламент попадет, уверяю тебя. Кроме того, он любитель искусств, знаток архитектуры. Ты сам архитектор, понимаешь — построено все толково. Есть у него и собственное издательство. Выпускает книги по искусству. Привлек хороших специалистов, издает специальный архитектурный журнал. В общем, дело поставлено на широкую ногу, да и реклама незаурядная. Но ведь все это уже давно знакомо... И Фордом в свое время кое-кто восхищался. Ах-ах, вот это да!.. Сам старик ходит по цехам, ручки рабочим жмет. «Привет, Джон! Привет, Боб! Как там твоя жена, поправилась уже?» Но дело ведь не в журнальной рекламе, не в мелодиях вальса, даже не в квартирах в рассрочку и оплачиваемом отпуске. Все это очень хорошо. Важно другое — важно то, что от этого больше всего выгадывает все-таки сам Оливетти, хотя он и пытается изобразить себя отцом рабочих. Даже слово такое придумано: «патернализмо»— отцовство...

Как мне позднее рассказали, этот новейший вид патриархальности допускает слежку «отцов» за «детьми», за их убеждениями и даже за их домашней жизнью...

Жаль, что у меня просто не хватило времени поподробнее разузнать об Оливетти, о его системе производства и способах увеличения прибылей. Конечно же это один из «культурных» способов усиленной эксплуатации рабочих посредством повышения интенсивности труда. Но, так или иначе, явление это в плане новейшей капиталистической демагогии весьма любопытное. Эта фабрика — нечто вроде маленького государства в государстве. Существует даже собственное «движение», возглавляемое Оливетти,— «Общность». Партия эта, если ее можно так назвать, выдвигает своих кандидатов на выборах и во многих местах близ Ивреа одерживает даже победу. На последних выборах ей удалось провести в парламент нескольких своих членов и, как я узнал позже, в их числе самого Оливетти. Объясняется это, в частности, тем, что Оливетти организовал в этой

довольно бедной сельскохозяйственной провинции большое количество поддерживаемых им артелей, изготовляющих футляры для машинок и прочую нужную для производства мелочь. В сущности, это нечто вроде зачаточной мануфактуры, домашней промышленности, которой окружает себя современнейшее капиталистическое предприятие, не упуская возможности извлечь прибыль отовсюду, где можно. Но все это создает Оливетти определенную популярность. А деньги? Прибыль? Что ж, в Италии он монополист. Монополистом был уже его отец. Даже Ремингтон не в силах с ним конкурировать. У Ремингтона портативная пишущая машинка стоит семьдесят пять тысяч лир, а у Оливетти — от тридцати восьми до шестидесяти тысяч. Да еще в рассрочку.

За окнами, обгоняя нас, то есть со скоростью не менее ста тридцати километров в час, пронесся маленький, последнего выпуска «фиат».

— Хорошая машина,— сказал Крайский.— Экономная, недорогая. Ты не был в Турине на заводе Фиат? Жаль. Оливетти все-таки остров, вернее островок, а Фиат, Монтекатини, Ансальдо, Бреда — автомобили, химикалии, суда, электровозы — это океан, бушующий океан. Там журнальчиков уже не издают и по пятьдесят тысяч рабочим не платят. Дело крепко завинчено. Если ты коммунист—к чертовой матери! Или — или. Или работа, или билет ИКП. А если ты все же нужен,тебя засекречивают, лишая права общения с другими. А коммунистов у нас в стране все-таки два с лишним миллиона. И еще одна цифра, которую нельзя забывать,— два миллиона безработных. Вон они, видишь?

Я глянул в окно. Мы проезжали мимо древних полуразрушенных акведуков. У подножия их лепился целый город крохотных лачужек — из фанеры, досок, проржавленного кровельного железа. Пыль, грязь, ни одного деревца. Здесь жили безработные, городская беднота.

Поезд стал сбавлять ход. На смену хибаркам появились громадные, похожие, как близнецы, массивы многоквартирных домов. Окраина Рима. Еще несколько минут — и вокзал...

Я давно уже ищу случая сказать несколько слов о Римском вокзале. А зацепившись за него, и вообще о современной архитектуре Запада. Наконец этот случай подвернулся, расскажу об архитектуре.

Крайский пошел куда-то звонить, а я стал прогуливаться взад и вперед по вестибюлю. К слову сказать, французы остроумно называют вокзальные вестибюли «salles des pas perdus» — «залы потерянных шагов», как в свое время был назван огромный зал в Palais de Justice, здание судебных учреждений, где часами прогуливались, ожидая вызова.

Итак, о Римском вокзале. О нем стоит поговорить.

Когда обтекаемый курьерский поезд, несущийся со скоростью ста двадцати километров в час, сбавив ход, въезжает под гулкие своды — нет, не этого, не Римского, а, допустим, Миланского вокзала,— сразу становится как-то не по себе. Из мира целенаправленной, удобной, красивой, я бы сказал даже изящной, техники, из мира легких электромачт, ажурных мостов и строгих, но великолепно гармонирующих с окружающим пейзажем железобетонных виадуков ты попадешь вдруг во что-то такое громадное, тяжелое, каменное, мрачное и безвкусное, что я понимаю, например, миланцев, когда они не могут без содрогания говорить о своем вокзале.

И тот же поезд, въезжающий на центральный вокзал Рима — «Стационе Термини» («Конечная станция»), приезжает точно к себе домой.

Еще по пути сюда — в Праге, а потом в Париже — прежде всего бросилась мне в глаза, а потому и запомнилась архитектура аэропортов. Особенно Орли́. Невысокое, подчеркнуто горизонтальное, растянутое по земле, чисто утилитарное здание. Внутри очень светло и как-то все насквозь видно. Украшений никаких. Много надписей, указателей, стрелок. Это не музей и не памятник архитектуры. Рассматривать тебе здесь нечего. Тебе надо знать, где касса, прием багажа, выход на летное поле. Ты торопишься, и изучать рисунок карнизов и капителей у тебя нет времени. Аэропорт — ворота города, сквозь них проходят. Важно, чтобы они были широки и удобны. И второе: архитектура аэропорта близка по своим формам, по своему характеру к самолету — машине, на которой нет ни одной лишней детали и которая, может быть, именно поэтому так красива в своей логической законченности. И хотя красота самолета рождена законами аэродинамики, а зданию аэропорта лететь некуда и незачем, логичность форм того и другого создает необходимую для архитектуры гармонию.

Принцип вокзала тот же, что и аэропорта. Те же ворота города. Только народу здесь проходит больше, поэтому и габариты побольше. Римский вокзал — одно из крупнейших и совершеннейших сооружений этого рода в Европе. Строили его долго, двенадцать лет: мешала война. В 1950 году он вступил в строй.

Я не буду говорить об удобствах планировки самого вокзала — он тупиковый, а это очень облегчает работу архитектора: не надо думать о туннелях и переходах через пути. Но хочется сказать об архитектуре, об общем впечатлении.

В аэропорте Орли архитектуру почти не замечаешь, настолько она утилитарна. Здесь же не только замечаешь, здесь покоряешься ею. Железобетон и стекло — больше ничего. Но все таящиеся в них возможности использованы как только можно. Ничего дробного, мелкого, отвлекающего внимание. С первой же секунды охватываешь все целиком. И происходит это потому, что мало составных элементов. По сути два: легкое остроумное перекрытие над всеми залами в виде плавно изгибающихся параллельных арок, переходящих в консоли козырька, и стеклянные стены. Просторно, светло, много воздуху, никаких столбов, колонн, украшений. Даже торопясь со своим чемоданом на поезд, ты успеваешь запомнить вокзал. Не частности, а весь целиком, так как частностей нет, только киоски и кассы. В этом сила архитектуры, в этом ее логика, а значит, и красота.

Вспоминается Казанский вокзал в Москве. Строил его ныне покойный Щусев, один из лучших архитекторов своего времени, автор множества архитектурных памятников, в том числе и Мавзолея Ленина. Построен Казанский вокзал давно — в 1910 году. Это крупнейший в нашей стране вокзал, если не считать Новосибирского. Он тоже тупиковый, поэтому параллель с Римским вокзалом — правда, выстроенным на сорок лет позднее — вполне уместна. Что же поражает в нем, кроме размеров? Архитектура. За основу взята башня Суюмбеки в Казани — очень любопытный и характерный памятник архитектуры XVIII века. Мысль, значит, такая: ты едешь в Казань — вот она тебе уже здесь, в Москве. Мысль, не лишенная остроумия, но, в общем, довольно нелепая. Над всем зданием господствует сделанная с большим вкусом, но абсолютно ненужная уступчатая башня, вариация на тему Суюмбекиной. Фасад здания раздроблен, внутренность перегружена архитектурными,

лишенными конструктивного значения деталями. Громадные балки на потолке зала ожидания ничего не несут, они подвешены к потолку, они только украшение в угоду стилю, вернее стилизации.

Общее впечатление: грандиозный терем, сказочный дворец, казанский кремль — все что угодно, только не вокзал. То же впечатление и внутри. Здесь все рассчитано не на спешащего на поезд пассажира, приходящего за пять минут до его отхода, а на пассажира, ожидающего часами. Для него-то, очевидно, и расписаны талантливой кистью Лансере плафоны и стены вокзала. Именно для него, сидящего на своих тюках и чемоданах. А так — начнешь рассматривать и на поезд опоздаешь.

Другой невольно вспоминающийся пример — Киевский вокзал (не в Москве, а в Киеве). Когда-то, лет тридцать тому назад, я работал на его постройке техником-стажером, и тогда он казался мне верхом совершенства. Это было первое железобетонное здание в Киеве. Автором его был профессор А. М. Вербицкий. Позднее, в институте, под его руководством я сделал два курсовых проекта вокзала. Поэтому-то, да простят меня, я и застрял сейчас на вокзалах несколько дольше, чем, возможно, этого хотелось бы читателю.

Если не ошибаюсь, в 1932 году строительство закончилось. Вокзал получился большой и не очень красивый. Перед автором поставили довольно сложную задачу — сочетать конструктивизм с мотивами украинского барокко. В результате центральный вестибюль снаружи был украшен упрощенно-стилизованным барочным «кокошником», внутри же все выдержано было в конструктивистском духе. Повторяю, все это получилось не слишком красиво (конструктивизм требует первосортных отделочных материалов и деталей, которых у нас тогда не было), но с точки зрения архитектурной логики придраться особенно было не к чему.

Несколько лет тому назад кому-то в голову пришло «обогатить» внутренность вокзала. Слишком, мол, скучно в нем сидеть в ожидании поезда и рассматривать голые арки. И вот обогатили! Появились пилястры, карнизы, капители, вся та мраморная и «под мрамор» мишура, якобы прикрывающая наготу, а на самом деле разрушающая форму. Не напоминает ли это историю, со «Страшным судом» в Сикстинской капелле, где по велению Павла IV обнажен-

ные фигуры были «задрапированы» рукой Даниеле да Вольтерра — живописца, с того времени и до конца дней своих носившего прозвище «Исподнишника», il Brachettone?

Нет, что касается меня, я за Римский вокзал.

Мы часто и много спорим об архитектуре. Иной раз в троллейбусе, проезжая мимо только что отстроенного или еще строящегося дома, среди оживленных разговоров о размахе нашего строительства слышишь реплики: «И зачем вдруг башню здесь посадили? Кому она нужна? А колонны эти? Целый лес. Только окна загораживают».

Требовательность эта понятна. Архитектура рядом с нами. Хочешь или не хочешь, но общаться с ней приходится ежедневно, ежечасно. Книгу можно прочесть или закрыть на любом месте, радио, телевизор выключить, но закрывать глаза, проходя мимо того или иного дома, все-таки трудно. А иногда, ох, как хочется...

Не будем идеализировать современную архитектуру Запада. Там всякого хватает. Я долго ходил вокруг строящегося здания картинной галереи в Турине, подходил вплотную, отходил на противоположную сторону улицы и так и не понял, где же вход, где выход, где крыша и есть ли она вообще. Год спустя в Западном Берлине, в Тиргартене, я не без труда пытался разгадать замысел нового «Конгрессхалле», построенного американцами для международной строительной выставки 1957 года («Интербау»). В высшей степени странное сооружение. Стоишь, смотришь на него и только плечами пожимаешь.

Но, пожалуй, больше всех озадачил меня кумир моих юных лет — Ле Корбюзье. В маленьком французском местечке Роншан, недалеко от швейцарской границы, неугомонный семидесятилетний архитектор соорудил церковь. О ней много сейчас пишут и спорят на страницах архитектурных журналов. Скажу прямо, ничего подобного ни сам Ле Корбюзье, ни кто-либо из существовавших до сих пор архитекторов не создавал. Мы как-то привыкли к тому, что все созданное Ле Корбюзье, как правило, зиждется на определенных законах архитектурной и конструктивной логики. В этом его сила. Здания его могут нравиться или не нравиться — это другой вопрос, но мысль автора, цель, к которой он стремится, всегда была ясна и понятна. В церкви же Роншан понять что-либо без специальных комментариев просто невозможно. К сожалению, я не видел этой церкви в натуре; но, разглядывая фотографии ни на

что не похожего строения, состоящего из столбов, башен, балконов, навесов и изогнутых, извивающихся стен, испещренных какими-то прямоугольными отверстиями, становишься просто в тупик. И невольно, глядя на это здание самого передового из западных архитекторов, на эту церковь (и почему это церковь? Ах да, там крест наверху...), задаешь себе вопрос: а не зашла ли и архитектура в тупик?

К слову сказать, в 1932 году на наш вопрос, как Ле Корбюзье относится к современной церковной архитектуре, которая на Западе уже тогда подпала под влияние самых модных течений, он нам ответил: «Какое мне дело до церквей! Проблемы архитектуры в другом. Они в строительстве городов!»Верно!Именно в этом. Сам Ле Корбюзье за прошедшие с тех пор двадцать пять лет немало потрудился в этой области. Далеко не все, правда, ему удалось осуществить (проекты реконструкции Алжира, Страсбурга, Сен-Назера и многих других городов так и остались на бумаге), но строящийся сейчас по его проекту правительственный центр в Чандигархе, новой столице Восточного Пенджаба, в Индии, безусловно заслуживает самого пристального внимания. Здесь Ле Корбюзье удалось очень интересно и, главное, конструктивно, а не только декоративно сочетать присущий современной архитектуре рационализм с элементами национальной индийской архитектуры. И вот наряду с этим церковь в Роншан — на мой взгляд, венец архитектурной алогичности и иррациональности.

Повторяю, западную архитектуру нетрудно обвинить во многом — и в чрезмерном оригинальничанье, и в кокетничанье причудливыми формами или, напротив, в стандартности и однообразии многоэтажных жилых корпусов. Но одного никак нельзя у нее отнять — ее современности.

Можно спорить, что красивее — яснополянская усадьба Толстого или ультрасовременная вилла «холлидей-хауз» где-нибудь на Ривьере (мне, например, больше по сердцу первая), можно без конца дискутировать о роли и месте классики в современной архитектуре, но, когда проходишь мимо строящегося здания, нижние этажи которого облицовывают гранитом, невольно отворачиваешься. Стыдно смотреть на то, как во второй половине двадцатого века рабочие вручную обрабатывают гранитные плиты, а потом впятером, орудуя ломиками, поднимают их по сходням наверх.

Парфенон и Реймский собор совершенны не только благодаря своим пропорциям или мастерству скульпторов и

каменотесов, но и потому, что в их основу положены самые передовые для того времени достижения строительного искусства. Греция знала только колонну и балку и довела их сочетание до совершенства. Рим нашел купол — и родился Пантеон. Стрельчатые своды, аркбутаны и контрфорсы готики — результаты математического расчета, давшие возможность создать совершенно новый, небывалый стиль, в котором конструктивные, строительные и архитектурные проблемы слились воедино в совершеннейшем синтезе. Строителям Нотр-Дам или Кельнского собора даже в голову не приходило использовать колонны, как это сделано в Акрополе. Они познали тайну распора и, вынеся конструкцию наружу, создали нечто новое, не менее прекрасное, чем храмы Акрополя или римского Форума.

Почему же сейчас, в век железобетона, стекла и стали, в век, когда можно решить любую, самую на первый взгляд фантастическую конструктивную задачу, мы стыдимся красоты самой конструкции, скрываем ее за допотопной гранитной облицовкой и декоративной мишурой «красивых» фасонов бесстильного начала двадцатого века?

Первые железнодорожные вагоны делали похожими на дилижансы, паровозы украшали металлическим кружевом, на первых небоскребах где-то на тридцатом — сороковом этаже ставили греческие портики. Все это вызывает у нас сейчас улыбку. Но не повторили ли мы то же самое, построив высотную гостиницу «Ленинградская», в которой, когда входишь, невольно, как в храме, хочется снять шапку перед золотым алтарем, оказывающимся, к величайшему твоему удивлению, просто входом в лифт.

К счастью, это уже позади. Стадион в Лужниках, брюссельский павильон, проекты перекрытия стадиона «Динамо» в Москве, здание панорамного кинотеатра — это уже ростки нового. И в этом больше следования традиции великих эпох архитектуры прошлого, чем в простом, а еще хуже — модернизированном воспроизведении старых фасадов.

И все-таки стадионы и выставочные павильоны — это еще не решение проблемы. Вряд ли можно утверждать, что мы нашли образ жилого здания, хотя сдвиги в этой области уже заметны — в Юго-Западном районе Москвы, например. Еще сложнее со зданиями административных или культурно-общественных учреждений, с теми зданиями, которые требуют, как у нас часто говорят, «парадности»,— слово не очень удачное, поэтому заменим его и скажем иначе:

которые требуют наиболее яркого выявления своей общественной сущности.

Последний конкурс на проект Дворца Советов показал, что хотя образ его еще не вполне определился, но в некоторых проектах явно уже видно стремление авторов говорить языком простым и ясным. Ведь в самой основе советской архитектуры заложены принципы простоты, демократичности, ясности замысла, опирающегося на достижения современной техники. Пышная тяжеловесность и ложная величественность ей враждебны.

И наоборот, именно по пути этой псевдомонументальности и якобы суровой и простой величественности развивалась архитектура муссолиниевской Италии. Я видел в Риме эти грандиозные, напыщенные, полные риторики сооружения.

Величие древнего Рима — вот что должно было вдохновлять художников и архитекторов самого невеличественного периода в истории Италии. Императорский Рим, но осовремененный, стилизованный, втиснутый в рамки железобетона. Наиболее характерный пример — ансамбль Всемирной выставки в Риме (которой, правда, так и не суждено было открыться). Архитектурным центром ее является громадный белый параллелепипед, каждый этаж которого состоит из сквозной аркады. Этажей шесть, в каждом из них со всех четырех сторон тридцать шесть арок, в каждой из них должно было быть по скульптуре — итого двести шестнадцать арок, двести шестнадцать скульптур. Все скульптуры поставить не успели, но, судя по надписи на этом непонятном здании, которое, как мне сказали, задумано было как модернизованный парафраз Колизея, они должны были изображать великих сынов Италии. Надпись гласит: «Народ поэтов, артистов, героев, святых, мыслителей, ученых, мореплавателей и переселенцев».

Не правда ли, величественно? И «народно»... И многозначительно...

Не отстал от выставки по своей напыщенной многозначительности и гигантский Форум Муссолини, именуемый теперь нейтрально «Форо Олимпико». Опять та же торжественная симметрия, и мужественная якобы простота геометрических объемов, и не менее мужественные лаконичные надписи — только на этот раз не на стенах домов, а выложенные из мрамора у тебя под ногами: «дуче, дуче, дуче, дуче, дуче...» — через всю аллею от одного здания к другому,

или более чем странные лозунги, вроде: «Чем больше у тебя врагов, тем ты сильнее». И венец всей этой патетики — гигантские мраморные скульптуры, растыканные в великом множестве по всему стадиону,— низколобые атлетические молодцы с могучими челюстями и «устремленными в будущее», «волевыми» взглядами. Особенно хорош один из них, встречающий тебя у входа,— десятиметровый, решительно шагающий, с противогазом на голове, покоритель Абиссинии, нет, не Абиссинии — всего мира...

За двадцать с лишним лет своего господства фашизм успел испоганить множество итальянских городов. Особенно обидно, что это коснулось и площади св. Петра. Удивительный ансамбль ее поражал в свое время, кроме всего, еще и тем, что ты попадал на просторную, охваченную знаменитой берниниевской колоннадой площадь, пройдя сквозь замысловатую путаницу близлежащих кварталов. Контраст узеньких кривых улочек и неожиданно распахивавшейся пред тобой площади подчеркивал ее величие. Теперь от набережной Тибра до собора пробита широкая Виа делла Кончиляционе (улица Примирения — очевидно, государства и церкви), завершенная, кстати, уже после войны, прямая, широкая, с двумя рядами тяжелых каменных фонарей. С точки зрения эвакуации многотысячных толп, заполняющих площадь в дни религиозных празднеств, может быть, это и разумно, с точки же зрения архитектурной — это бесцеремонное вторжение в художественно законченный ансамбль, созданный величайшими мастерами Возрождения.

К счастью, фашизму не удалось исказить истинный облик итальянских городов, как ни старались архитекторы «имперского» стиля во главе с Пьячентиной. Сохранившиеся еще кое-где ликторские пучки и топорики на пустынных плоскостях стен бывших фашистских учреждений только подчеркивают красоту и изящество старинных площадей и дворцов, которыми так богата Италия.

Но не будем все сваливать на период фашистского господства — послевоенная архитектура тоже далеко не всегда хороша. Когда речь шла о ее современности, подразумевалось умение выразительно использовать все неограниченные возможности последних достижений строительной техники. Но когда эти достижения становятся самоцелью, когда в трех шагах от Палаццо Реале (королевского дворца) в Турине, памятника архитектуры XVII века, вырастает

двадцатиэтажная башня каких-то конторских учреждений, это — кощунство, ничуть не меньшее, чем Виа Кончиляционе в Риме. Такое же страшилище построено и в Милане, на площади Республики, с той только разницей, что в нем не двадцать, а тридцать этажей. В капиталистическом мире участки продаются и покупаются, и, если ты его и купил, можешь на нем строить, что тебе заблагорассудится, плюя с высоты тридцати этажей на все окружающие тебя дворцы и замки. Хорошо еще, что в Венеции все так тесно застроено или просто грунт ее островов непригоден для небоскребов, а то бедной кампанилле на площади Сан-Марко пришлось бы совсем плохо. Повезло и Флоренции. А ведь мог же найтись какой-нибудь богатый любитель высотных зданий, который воздвиг бы свою махину где-нибудь возле знаменитого моста Понте Веккио, благо война позаботилась о том, чтобы расчистить от зданий берега реки Арно. Но, к счастью, не нашелся, а набережные уже отстроены.

А вот Римский вокзал нашел свое место, вписался в город. И очень мирно сосуществует с каменными остатками вала Сервия Туллия, которым в этом году минуло ни больше ни меньше как две тысячи триста лет. Есть даже какая-то внутренняя гармония в этом соседстве изъеденного временем камня с белоснежными гранями стен и стеклянными лентами окон нового вокзала. Авторы его — Лео Калини, Массимо Кастелацци, Васко Фадигати, Эудженио Монтуори, Ахилле Пинтонелло, Аннибале Вителоцци.

И не только Римский вокзал нашел свое место. Я видел много зданий — и вокзалов, и стадионов, и рынков, и промышленных и конторских сооружений,— в которых очень ярко выражена современность и которые великолепно уживаются со своими соседями прошлых веков. Ведь войти в существующий ансамбль вовсе не значит подражать ему. Надо просто найти свое место и, обосновавшись на нем, заговорить своим собственным языком, не стараясь перекричать соседей. А язык этот — логика, экономичность и красота, рожденная не слепым повторением прошлого, но выражением твоего отношения к миру, а в данном случае, когда речь идет о Римском вокзале, в первую очередь умением использовать все то, что дает нам сейчас строительная техника.

Всему свое время. Время колонн и пилястр кончилось. Поблагодарим же их за большую проделанную ими работу

и оставим их в покое. Настало время сводов-оболочек, органического стекла, пластмасс, которое требует возобновления дружбы архитектора и инженера. Поверим же этой дружбе и не будем украшать электровозы кружевами.

Разговор об архитектуре, кажется, несколько затянулся. Чтобы как-то искупить свою вину, расскажу о вещах более живых.

Расскажу о двух встречах, которые особенно запомнились мне, вероятно, потому, что обе они какие-то очень уж итальянские.

Первая из них произошла на дороге из Рима в Альбано — живописный городок на берегу озера, место многочисленных экскурсий, куда по воскресеньям, кроме туристов, съезжаются в большом количестве и римляне, просто так, вырваться из города, отдохнуть, полюбоваться природой, подышать воздухом.

Заранее оговорюсь, что действующие лица этой маленькой истории, само собой разумеется говорили по-итальянски — другими словами, я ничего или почти ничего не понимал из того, что они говорили. Но самые события и участники их были настолько выразительны, что общий ход происшедшего я уловил сразу, а позднее мои спутники помогли мне восстановить и словесную ткань этих событий.

Итак, в один из воскресных дней мы — я, переводчик Лев Михайлович и еще несколько человек из нашей советской колонии — поехали в Альбано. Поехали на двух машинах. Примерно через час одна из них испортилась. Началась обычная возня с мотором, поиски пропавшей искры, беганье куда-то за недостающим инструментом.

Кто-то предложил, пока тянется вся эта волынка, пройти по дороге вперед. Пошли. Метров через двести натолкнулись на хибарку, почти совсем скрытую зеленью. Оказалось, что это винный склад, довольно грязный и неуютный, но всем нам очень понравившийся. Вернее, не он, а само местоположение его — дорога здесь шла над крутым обрывом, а по другую сторону заросшей густым кустарником теснины, на еще более крутом каменистом обрыве, лепился небольшой городишко, названия которого никто из нас не знал.

Мы заказали вина. Хозяин — очень толстый, в широченных парусиновых брюках и рваной красной майке,

сквозь которую пробивалась густая черная шерсть, а голова была голая, как бильярдный шар,— долго выяснял, какое вино нам нужно, потом принес его в двух больших стеклянных кувшинах. Тут же возился с велосипедом долговязый парень с бельмом на глазу. Хозяин что-то ему крикнул, парень оторвался от велосипеда, скрылся в складе и через минуту вышел, неся четыре стакана, которые старательно вытирал собственной рубашкой.

Мы расположились на бочках у входа в сарай. Потягивая холодное кисленькое вино, любовались пейзажем — каменистым обрывом, громоздящимися друг на друга домиками с черепичными крышами и обязательной над всем этим колокольней. Парень возился со своим велосипедом. Хозяин куда-то исчез. Было тихо и мирно, только цикады без умолку звенели, совсем как у нас в Крыму.

Вскоре где-то на дороге послышался звук мотора, и к сараю подкатил на ярко-красном мотороллере солдат. Еще издали завидев его, долговязый парень бросил свой велосипед и поспешно скрылся в сарае.

Солдат прислонил свой мотороллер к дереву, вытащил из кармана пачку сигарет и, усевшись на бочке невдалеке от нас, закурил. Это был красивый, статный парень, очень смуглый, в кокетливо сдвинутой на затылок красной берсальерской феске с длинной синей кисточкой, небрежно переброшенной через плечо на грудь.

Через минуту возле него оказался хозяин с таким же, как у нас, кувшином в руках, на который солдат даже не взглянул.

— Чао, Пепино,— сказал хозяин.

Солдат ничего не ответил. Хозяин расстелил на одной из бочек чистенькую салфетку (нам он этого не предложил) и ловко, одним коротким движением, наполнил до самых краев стакан, не пролив ни капли. Все это сопровождалось веселым смешком и какими-то возгласами, в которых сквозило явное заискивание. Долговязый парень, забыв о велосипеде, стоял, прислонившись к косяку двери, и с любопытством за всем следил, слегка приоткрыв рот.

Солдат залпом осушил стакан и, так и не взглянув на хозяина, спросил:

— Где Розина?

В то же мгновение долговязый парень был послан куда-то на велосипеде, очевидно за Розиной, а толстяк, все так же дружелюбно похохатывая, подсел к солдату и налил на

этот раз не один, а два стакана вина. Но солдат, ни слова не сказав, встал, взял свой стакан, ловко подкатил ногой маленький пустой бочонок и сел рядом с нами, обхватив бочонок ногами.

— Выпьем за любовь,— коротко сказал он и обвел нас всех своими красивыми, черными, злыми глазами.— За любовь, которой нету на земле.

Становилось интересно. Мы выпили за любовь, которая все-таки есть на земле. Солдат отрицательно качнул головой.

— Нету ее на земле. Нету!

Тут он вдруг решительно засучил рукав и обнажил до локтя волосатую, загорелую, мускулистую руку с вытатуированным на ней именем «Розина».

— Джироламо! — крикнул он.

Хозяин рысцой подбежал.

— Ты видишь, что тут написано?

— Вижу,— ответил хозяин.

— Что?

— Розина.

— Чье это имя?

Толстяк миролюбиво улыбнулся.

— Ты же знаешь, чье это имя, Пепино, зачем же ты спрашиваешь?

— А синьоры не знают. Скажи им!

— Ну, это имя моей дочери. Младшей дочери...

— А сколько мне было лет, когда я это имя на своей руке написал? А?

Пепино не сводил теперь своих черных злых глаз с толстяка, но тот все так же дружелюбно улыбался.

— Семнадцать, Пепино.

— А теперь мне сколько?

— Двадцать один.

— Так...— Пепино еще выше засучил рукав и, согнув руку в локте, заставил толстяка пощупать бицепс.

Тот с готовностью потрогал вздувшийся под коричневой кожей шар и, одобрительно хлопнув солдата по спине, сказал:

— Молодец, Пепино, молодец...

Нам тоже предложено было удостовериться в крепости Пепининых мускулов, после чего он, старательно застегнув рукав, спросил:

— Можно на эту руку опереться, а?

Мы дружно сказали, что можно.

— А вот меня заставляют вместо этого сжимать ее в кулак. Вот что меня заставляют делать.— Он сжал кулак так, что косточки на сгибах побелели.— А что делают кулаком, Джироламо? Знаешь ты это или нет? Отвечай!

Джироламо понимающе кивнул головой — знаю, мол, очень даже знаю,— а у Пепино, рука которого могла служить опорой любой женщине, у нашего бравого Пепино на глазах появились вдруг слезы, самые настоящие слезы.

Засунув пальцы в густую черную шевелюру, он несколько секунд молча просидел так, подергивая подбородком, потом вдруг заговорил,сначала тихо, потом все громче, громче.

Он говорил о том, что лучшего, чем он, шофера в Сессино нет, что за три года у него не было ни одной аварии, хотя меньше чем по сто километров в час он не ездит, что вот он купил мотороллер, а через год, когда уйдет из армии, продаст его и купит «фиат», что Розина все это знает, как и то, что он ни разу, ни в чем ее не обманул и с семнадцати лет, когда в первый раз поцеловал ее, ни на одну девушку не взглянул, и что вот теперь, когда до его возвращения домой остался какой-нибудь год, она, воспользовавшись его отсутствием, стала засматриваться на парней, он это точно знает, и даже знает, на кого именно, и так далее, в том же духе...

Монолог этот произносился довольно долго, сначала сидя, потом стоя, прерываемый только для того, чтобы осушить очередной стаканчик вина, и кончился неожиданно вдруг тем, что Пепино полез в боковой карман, вытащил бумажник, из него конверт, а оттуда фотокарточку. На карточке была изображена прекрасная блондинка с мокрой, по-модному вывернутой нижней губой, томным взглядом и поразительных размеров грудью.

— На, взгляни,— кинул он карточку толстяку Джироламо. Тот внимательно стал ее рассматривать.— А теперь переверни.

На обороте был написан какой-то адрес — нам тоже его показали.

— Ясно? — Пепино взял карточку, положил ее обратно в конверт, конверт — в бумажник, бумажник — в карман и застегнул пуговицу — Лили Брэдли! Миллион долларов за картину!

А может, он назвал и другую фамилию, сейчас не помню, но, в общем, речь шла о какой-то знаменитой американской

киноактрисе, которая, как выяснилось из дальнейшего рассказа, явно была расположена к нашему Пепино. А рассказ заключался в следующем. Дней десять тому назад они с Джованни Кастеллани — все его знают, сын мельника из Гроттаферратта, великий бабник — стояли в почетном карауле у могилы Неизвестного солдата. А нужно сказать, что берсальеры — род войск, в которых служил Пепино,— это нечто вроде гвардии, в функции которой входит охрана президентского дворца и прочих парадно-официальных мест. И вот стоят они уже полчаса у венка, как вдруг подъезжает длинная белая машина и из нее выходят две красавицы.

— Одна, вот эта вот, Лили Брэдли, я ее сразу узнал, другая, поменьше, черненькая, все время куталась в меха. Вышли, постояли, посмотрели, потом взяли из машины фотоаппарат и сфотографировали нас с Джованни. Потом подошли ближе, опять постояли, и тут Лили Брэдли, посмотрев на меня, сказала что-то своей приятельнице, и обе рассмеялись. Потом Лили Брэдли вынула из сумочки эту самую карточку, написала на ней свой адрес — вы его прочли: отель Плацца — лучший отель на Корсо,— подошла ко мне и как ни в чем не бывало расстегнула вот этот самый карман и сунула карточку туда. Потом сама застегнула карман, улыбнулась так, что я чуть сквозь землю не провалился, а Джованни весь позеленел от злости, взяла подругу под руку и села в машину. На прощание еще помахала ручкой... Ну, что скажешь, Джироламо?

Джироламо ничего не сказал, а Пепино хлопнул себя по карману.

— Миллион долларов за картину! В Голливуде. Она снимается, а я только в постели работаю. Неплохо, правда?— Он весело засмеялся, сверкая белыми крупными зубами, среди которых один был золотой, вставленный, по-видимому, из кокетства, что делают часто и у нас лихие хлопцы, потом сразу вдруг умолк, расстегнул воротник, вытащил оттуда крохотный медальон на цепочке и, раскрыв его, перекрестился и поцеловал.— И вот не пошел! Святая мадонна, не пошел!

На этом разговор прекратился, так как на дороге показался велосипед с долговязым парнем и очень хорошенькой белокурой девушкой, сидевшей перед ним на раме.

Пепино встал. Поправил свою красную феску над курчавым чубом, перекинул синюю кисточку на грудь и, засунув руки глубоко в карманы, стал ждать. Велосипед

подъехал, девушка легко соскочила с него и сказала улыбаясь:

— Здравствуй, Пепино! Как хорошо, что ты приехал.

Пепино ничего не ответил. Стоял, засунув руки в карманы, и молчал, глядя куда-то в сторону.

Розина была удивительно хороша. Невысокая, очень стройная, с поразительно приятным нежно-розовым цветом лица, голубоглазая и золотоволосая. Сейчас, чуть зардевшись, она стояла перед нами, сжимая в руке носовой платочек, и немного растерянно смотрела то на отца, то на Пепино, то на нас.

— И надолго ты приехал? — спросила она.

Пепино вынул из кармана пачку «Национали», долго вставлял сигарету в мундштук, потом щелкнул зажигалкой и только тогда посмотрел на Розину.

— Карло? — спросил он.

Розина опустила глаза.

— Карло? — повторил Пепино.

Розина молчала. Пепино перевел взгляд на отца — тот старательно отколупывал что-то на своей рваной майке.

— Карло? — в третий раз спросил Пепино и, так как Розина продолжала молчать, вопросительно посмотрел на долговязого парня, очевидно ее брата. Тот слегка наклонил голову.

Дальнейшее произошло с какой-то невероятной быстротой. Пепино сделал шаг вперед, дважды очень быстро и звонко ударил Розину по щекам и, ни на секунду не задерживаясь, побежал к оврагу. У каменного парапета, отгораживавшего дорогу, остановился, быстро вдруг вернулся, вынул из кармана складной нож, бросил его на бочку и, ловко перепрыгнув через парапет, скрылся в овраге, успев по пути дать две не менее звонкие затрещины Розининому брату.

Мы четверо, признаться, настолько опешили и растерялись, что буквально не успели вмешаться в эту мгновенную расправу. Бедная Розина, пунцовая и мокрая от слез, стояла все на том же месте, опустив руки, боясь поднять глаза. Старик толстяк тоже был растерян, потирал свою ставшую вдруг красной лысину и молчал. Потом сорвался с места и сразу же вернулся еще с одним кувшином вина.

Странное дело, вино в Италии не возбуждает, а успокаивает. А может, то было какое-то особое вино, вроде валерьянки. Но так или иначе к моменту, когда к хибарке подъ-

ехали наши машины, Розина совсем успокоилась и стала даже волноваться, почему так долго нет Пепино.

До этого она тихо плакала, кусая свои хорошенькие губки, потом начала, вытирая платочком слезы, причитать:

— Я так и знала, так и знала... Он такой вспыльчивый, такой горячий... Я ему говорила — только не в берсальеры, только не надевай этой проклятой красной фески... Терпеть ее не могу. И перья эти на касках тоже... Как попугаи... А римские женщины с ума по ним сходят. Дуры!.. Я говорила, есть тут рядом зенитный полк, полтора километра. Приходил бы каждое воскресенье. А тут одно пропустил и другое, а потом говорит — в карауле был. Знаю я эти караулы... Вот и пошла назло ему с Карло... Ну и что? Нельзя уж и в кино пойти? Я вас спрашиваю, а с кем я пойду, если его нет? С кем? С безногим Курцио? Или с косоглазым Витторио, от которого круглые сутки вином разит? Вот и пошла с Карло, назло ему...

И тут же забеспокоилась:

— Сколько уже времени прошло? Посмотрите на ваши часы. Двадцать минут? Ну что он там делает? Я знаю, Пепино сильный парень, сильнее всех в Сессино. Вы не видали его мускулы? Во какие! А когда разденется... Вы попросите его раздеться, он охотно это сделает. Тут один художник приезжал, рисовал его, ему тогда еще восемнадцати лет не было. Очень его хвалил. По двести лир в час платил. Советовал даже в Рим поехать, там еще больше, говорил, платят. Но тут подвернулись курсы шоферов, и я очень рада. Ну его, этот Рим... И чего он всем так нравится? Святая мадонна, уже полчаса прошло, а его все нет... И чего я только с Карло пошла? Он кузнец, как буйвол здоровый, кулаком в висок — и все...

Но тут появился наконец Пепино. Веселый, смеющийся, перескочил через ограду и сразу же потребовал вина.

— А ты почисть меня, Розина. Малость все-таки испачкался. И подлатай.

Он был в песке и мелу, левый рукав до локтя разорван, под глазом синяк. Розина моментально стащила с него его защитную, американского покроя куртку, принялась зашивать, а он в одной майке, поигрывая бицепсами, с деланной неохотой стал рассказывать, как он отделал Карло, который, вероятно, в это же время где-нибудь в кабачке в Сессино, за стаканом же вина, хвастался, как он расправился с этим берсальерчиком из Рима.

Розина была в восторге, глаза ее блестели: «Так ему и надо! Молодец! И ты ему еще дашь, если подвернется, правда?» Толстый Джироламо тоже сиял и только подливал вина. Подсел и брат, которому также налили.

— Хотя и не стоило бы! — Пепино хлопнул его по шее.— Хорош брат, на сестру доносить. В следующий раз зубы выбью.

И все расхохотались этой милой шутке.

Вскоре мы уехали. Все четверо участников этой маленькой, разыгравшейся на наших глазах драмы махали нам руками, а Пепино, у которого, как у всякого итальянца, было развито чувство красивого, требующего какой-то законченности, последней точки, крепко поцеловал свою Розину в губы. Она была на седьмом небе от счастья.

Не знаю только, что сказала бы она и с каким Карло пошла бы на следующий день в кино, если бы узнала, что в тот же самый вечер, в Альбано, мы опять встретились с Пепино. Он ехал на своем ярко-красном мотороллере, а за его спиной, крепко уцепившись за него, сидела огненно-рыжая премилая толстушка, и все это вместе — красное и рыжее — было очень даже красиво. Увидев нас — мы обогнали его на своей машине,— он весело помахал нам рукой, а потом многозначительно приложил палец к губам. И тут я невольно и, по-видимому, не без основания подумал, что там, у винного склада, когда он так мило целовал изображение мадонны на своем медальоне, он слегка покривил душой. Да простит ему это пресвятая дева! И Розина тоже...

Место действия второго рассказа — Венеция, Пьяццале. Я сижу на каменных ступенях набережной, в нескольких шагах от колонны Льва св. Марка и курю.

Согласитесь, очень приятно начинать свой рассказ именно с этих слов — Венеция, Пьяццале, Лев св. Марка... В детстве у меня была книга «Таинственная гондола». Кто ее автор, не помню, содержания тоже не помню. Помню, что издание было Гранстрема, обложка красная, тисненная золотом, и что на первой цветной картинке было изображено венчание дожа с морем — громадный величественный корабль «Буцентавр», и на носу его в забавном колпачке маленькая фигурка дожа, бросающего перстень в воды Адриатики.

Тогда — мне было лет восемь или девять — я написал свой первый рассказ. До конца я его не довел — то ли

надоело писать, то ли получил «неуд» по арифметике и было уж не до рассказа, а может, просто потому, что начинать всегда легче, чем кончать,— словом, до конца не довел. Помню только, что принимали там участие и дож, и «Буцентавр» и что начинался он на Пьяццале у колонны Льва св. Марка.

И вот сейчас, почти через сорок лет, я вернулся к тому же месту.

Итак, Пьяццале, Лев св. Марка и я, сидящий и курящий на ступенях набережной. Раннее утро. Туристов еще нет. Передо мной сверкающая на солнце лагуна и остров Сан-Джорджо с колючей кампаниллой.

Десятка полтора гондол — черных, длинных, изящных— покачиваются на волнах, ждут пассажиров. Тут же, шагах в десяти от меня, гондольеры, рассевшись на ступенях покуривают и о чем-то, как мне кажется, спорят, хотя, вероятнее всего, это обычная утренняя беседа. Один из них, пожилой, в выцветшем пиджаке с залатанными локтями, старательно моет свою гондолу щеткой. Что-то мурлычет себе под нос.

Хорошо. Солнышко припекает, голуби воркуют. Сижу себе и курю. На Пьяццале, в Венеции...

И вдруг — я не верю своим ушам — кто-то выругался по-русски. По всем правилам. Здесь, в десяти шагах от Палаццо Дожей. Неужели этот самый пожилой гондольер в выцветшем пиджаке? Ну да, уронил щетку в воду и сейчас, засучив рукав, пытается ее поймать А она, проклятая, мирно себе покачивается, не дается в руки.

Я не выдержал, подошел и спросил что-то по-русски. Он выпрямился, улыбнулся, ответил. Так и состоялось наше знакомство.

Больше часа провели мы с Сильвано Инкорпоре (сначала я никак не мог понять, что это его фамилия) в его ветхой, вот уже тридцать лет бороздящей венецианские каналы гондоле. Объехали остров Сан-Джорджо, потом по каналу Гранде добрались до вокзала, повернули обратно, стали кружить по бесчисленным узеньким, довольно грязным каналам.

Сильвано неторопливо греб своим единственным веслом, стоя на корме в характерной для его профессии позе, чуть наклонившись вперед. Он совсем не был похож на гондольера, какими мы их себе представляли,— не стройный, молодой, с жгучими глазами и пленительным тенором, а

пятидесятилетний, коренастый, лысеющий, беззубый, с хриплым голосом, к тому же глухой на одно ухо. Только глаза были у него хороши — спокойные, умные, какие бывают у людей, которые не только много видели, но и многое поняли из того, что видели.

А Сильвано видел много.

Конечно же мы вскоре обосновались с ним в маленькой остерии, в которую шагнули прямо с его корабля. И тут же за тарелкой чего-то — чего, я так и не мог понять,— очень острого и скользкого, за стаканчиком все того же кьянти я многое узнал о его жизни.

Он неплохо говорил по-русски. Оказалось, что в сорок втором году мы воевали с ним в одних и тех же местах — в районе Купянска, потом в Сталинграде. Он был сначала конюхом, а когда начались перебои с горючим, подвозил боеприпасы для дальнобойной артиллерии. Как и все итальянцы, он нещадно ругал немцев, покряхтывал при воспоминании о русской зиме, на память о которой у него остались синие, всегда шелушащиеся уши. В январе сорок третьего он попал в плен. Отсидел восемнадцать месяцев в лагере, из них полгода проработал штукатуром (он это тоже умеет), в августе сорок четвертого возвращен был на родину.

По-русски говорил он довольно бойко, только часто путал местоимения, а о себе говорил преимущественно в третьем лице женского рода: «Она очень соскучилась по своей жене, почти три года не видела...»

Был он и в Киеве, когда служил связным и поваром какого-то штабного артиллерийского «тененте» — лейтенанта.

— Хороший город. Как Италия. Каштанов много. Больше нигде Россия не видела каштанов... Где жила? Садик, памятник, мужчина, большие усы вниз. (Я понял, что возле университета, где памятник Шевченко.) Потом Полтава. Большая деревня, названия не помню.

Об этом периоде своей злополучной военной жизни он вспоминал с удовольствием. Все восхищался, как там красиво,— и леса, и поля, и речки, и девушки...

Я вспомнил, что население тех сел, где стояли итальянцы, не очень на них обижалось. Веселые, мол, славные, хорошо поют, немцев не любят, только с курами неладно — на улицу не выпускай, всех покрадут.

Так мы сидели с Сильвано за маленьким столиком в уголке; он рассказывал, я слушал. Потом он как-то странно, с

улыбочкой, взглянул на мою почти не тронутую тарелку, затем на меня и сказал:

— Невкусно, а? Тогда я знаю что. Моменто...— и скрылся.

Он довольно долго отсутствовал, наконец появился, все в том же выцветшем пиджаке, но уже в светлой рубахе и с галстуком. С торжественным видом вытащил из кармана самую что ни на есть настоящую пол-литровку и, смеясь до ушей, сказал:

— Белая голова! Прима!

Я попытался вынуть деньги (бутылка эта стоила ему заработка двух с половиной часов работы), но он даже обиделся.

— Нехорошо... Не надо. Для русской человек подарок. А ты в России мне кьянти. Хорошо? — И рассмеялся своей шутке.

Хозяин принес две рюмочки, но Сильвано потребовал третью.

— Сын придет. Аугусто. Никогда не пил.

Пока мы дожидались сына, Сильвано принес большую луковицу и стал нарезать ее тоненькими, аккуратненькими ломтиками. Резал и все головой качал.

— А черный хлеб нет. Нет в Италии.

Потом пришел сын Аугусто, рыжий круглолицый парень с большими красными руками, все время смущавшийся и молчавший и только после водки несколько оживившийся.

Вообще же с Аугусто дело было плохо. С детства правая рука у него была сухая, поэтому стать гондольером, как отец, он не мог. Сильвано очень этим печалился, так как у Аугусто был хороший слух и низкий красивый голос, который во много раз увеличивает чаевые гондольеров. Но что поделаешь, рука сухая. А парню уже восемнадцать лет. Пытался петь в одном ресторанчике на Рива Скьявони, но джазовые песенки у него не получаются,— рассчитали. Учиться пению нет денег. Работает сейчас продавцом на мосту Риальто — всякие там венецианские сувениры и безделушки. Все-таки хоть какая-то,да работа.

После второй рюмки Сильвано покраснел, оживился и стал убеждать сына, чтобы тот пошел за гитарой и что-нибудь нам спел. Но Аугусто засмущался и сказал, что на гитаре лопнула струна, а без гитары он петь не может.

Потом за нашим столиком появилась до неправдоподобия тоненькая девушка с копной густых, черных, перевязанных красной ленточкой волос, и мне ее представили как невесту Аугусто — Лючию. Тут Аугусто повеселел, они с Лючией о чем-то, перебивая все время друг друга, бойко заговорили и вскоре ушли, преувеличенно вежливо с нами простившись.

Старик вдруг загрустил. Вот, пожалуйста, любят друг друга, и девушка она хорошая, скромная, работящая, хозяйственная — работает на том же мосту, в магазине открыток и альбомов с видами Венеции,— и через годик можно было бы уже пожениться. А на что жить? Сам Сильвано с трудом сводит концы с концами. Семья небольшая, но все-таки пять человек: он, жена, мать жены — старая больная женщина, печень, почки и вообще восемьдесят лет. И двое детей. Аугусто, правда, зарабатывает, а Джузеппе всего семь лет, в этом году должен в школу пойти.

Выпив еще рюмку, он заговорил о том, что вот уже и старость подошла и на гондоле своей он уже больше тридцати лет работает, а вот теперь на него начали косо посматривать: туристы, особенно англичанки и американки, любят гондольеров молодых, красивых, а он... Но тут он вспомнил молодость. Какой он был парень! Когда ему было столько же, сколько теперь Аугусто, он работал у одной богатой женщины, жены банкира. У тех был собственный палаццо на Канале Гранде и две гондолы — его и ее — с коврами, подушками, все как полагается. Банкир был стар, жена — молода. И Сильвано был молод. Волосы у него были черные, кудрявые, зубы белые, и ходил он тогда в белой рубахе с раскрытым воротом и в черных узких штанах, подпоясанных красным поясом. Петь он не пел, голоса у него никогда не было, но зато... В общем, хозяйка была им вполне довольна. Около года он у них проработал. Как сыр в масле катался. А потом... Что ж, потом — обычная история. Богатым синьорам быстро все надоедает. Появился Гульельмо — наглый, нахальный парень, бывший матрос, на голову выше Сильвано. Вот его и рассчитали... Но зато год пожил. Потом на заработанные деньги купил себе эту старушку гондолу, отремонтировал ее и вот живет до сих пор. Ну, а потом женился, пошли дети...

Тут он тяжело вздохнул.

Пока он говорил о той счастливой поре, когда ходил подпоясанный красным поясом и зубы у него были белые,

а волосы черные, весь он как-то преобразился, подтянулся, даже вроде помолодел. Глядя на него, смело можно было поверить, что лет этак тридцать, даже двадцать тому назад он довольно-таки бойко покорял женские сердца. Но когда рассказ дошел до женитьбы и детей, он стал серьезен и даже грустен.

Посмотрев на меня, спросил:

— Дети есть?

Я сказал, что нет.

— Правильно! — Он кивнул головой, но, заметив мое недоумение, добавил: — Хороший сын — хорошо, плохой— плохо.

Я удивился: Аугусто произвел на меня очень приятное впечатление, да и сам старик, по всему видно было, гордился им. Но выяснилось, что, кроме Аугусто и Джузеппе, у него был еще один сын, старший,— Микеле.

— Микеле, Микеле...— с грустью сказал он.— Такой хороший был. Когда пикколо, маленький,— хороший-хороший. Как анджело. Глазки — небо. И волосы — тонкий-тонкий, золотой, до сих пор,— он коснулся плеча.— Картинка, анджело! И добрый-добрый. Целовал много. Потом — больше, больше, больше...— Сильвано встал и показал, каким большим стал Микеле, на голову выше его.— Шестнадцать лет. Очень красивый, большой, и много-много девочек.

Но девочки — это было бы еще полбеды. Микеле вступил в организацию «авангардистов» — молодежную фашистскую организацию. Тогда все, или почти все, подростки состояли в «авангардистах» — иначе нельзя было, но Микеле увлекся этим и в двадцать лет стал заправским фашистом. Ходил в черной рубахе с черепом, чем-то там командовал, на всех наводил страх. Стал пить, по ночам пропадал в ресторанах. Потом, в тридцать четвертом, отправился в Абиссинию; вернулся оттуда весь в крестах и медалях. Повесил в комнате громадный портрет Муссолини, стал приводить своих товарищей — наглых крикунов, которые целый вечер пили вино, хвастались и распевали фашистские песни. Дошло до того, что как-то вся эта пьяная компания, напившись, пристала к Сильвано, чтобы он вступил в фашистскую партию — из-за него, мол, Микеле не повышают в должности,— и когда он отказался, говоря, что в политику никогда не вмешивался, они так избили его, что он до сих пор на одно ухо не слышит.

В этом месте Сильвано часто-часто заморгал глазами, потом, взяв нож, долго что-то вырезывал на столе.

— А сорок четвертый год убили Микеле. В Анцио, англичане, десант. Командир батальона был. Бомба — тр-рах! — ничего не нашли. Нет могила...— И, помолчав, добавил: — И не надо. Такой сын не надо могила.

Тут он заплакал.

Потом вынул из бокового кармана ветхий бумажник и показал мне фотографию Микеле. С небольшой, помятой от долгого ношения, потрескавшейся карточки, сощурив глаза, смотрел на меня красивый белокурый парень с маленькими черненькими усиками, в фашистской форме, весь украшенный знаками отличия. Взгляд был веселый, тонкие губы чему-то улыбались. Рука лежала на пистолете.

— В Сталинграде,— сказал Сильвано, пряча карточку,— сержант, русский, очень похож Микеле. Высокий, волос длинный, усы маленький, но белый. Валя. Фамилия не помню. Конвой. Чай, хлеб, табак давала. Уши морозил, перевязывала... А Микеле уши бил...

Больно было смотреть на этого несчастного отца. Ведь он любил своего сына. И конвоира Валю поэтому полюбил. Не только потому, что тот ему чай и хлеб давал и уши перевязывал,— он был лицом похож на его сына.

Сильвано встал, разлил остатки водки, старательно, капля за каплей, потом попросил у хозяина лист бумаги, аккуратно завернул бутылку и запрятал ее в карман.

— Тебя помнить... Цветы туда,— он поднял свой стакан,— Россия помнить!

Я никогда не забуду этих слов, сказанных Сильвано Инкорпоре, венецианским гондольером, пятнадцать лет тому назад подвозившим на своей кляче снаряды, один из которых, возможно, когда-нибудь пролетел и над моей головой, а может быть, разорвался где-то совсем рядом и убил моего друга.

«Россия помнить! Тебя помнить! Цветы туда...»

Повествование мое подходит к концу. А о многом еще не рассказано. Говоря о Капри, я забыл рассказать о нашем визите к старому писателю Эдвину Чекио, у которого мы просидели не меньше часа, и пили кофе, и рассматривали книги, и слушали его воспоминания о Горьком, а потом сломя голову мчались по запутанным каприйским уличкам,

сбивая прохожих, боясь опоздать на последний отходящий катер. Не рассказал я и о поездке в Джендзано, где на улице встретился нам мэр города, который с увлечением стал показывать «свои» владения, а потом завел в какое-то глубокое винное подземелье и заставил пробовать вино из каждой бочки. Не рассказал и сотой доли того, что хотелось бы рассказать о произведениях итальянского искусства. О том, например, как стояли мы перед леонардовской «Тайной вечерей» и я впервые подумал, что бог, вероятно, все-таки существует где-то там, высоко, за облаками: американская бомба прямым попаданием угодила в трапезную, где находится это величайшее произведение искусства, разрушила все стены, а самой фрески даже не поцарапала.

Но разве обо всем расскажешь?

И все же я не могу не сказать хотя бы несколько слов о тех, кто так внимательно и дружелюбно встречал нас, кто сопровождал в поездках по стране, показывал города и музеи, кто заботился о том, чтобы нам везде было удобно и весело, знакомил со страной, ее людьми и нравами, водил по траттoриям, кормил макаронами с сыром и сногсшибательными «бистекке дьяболике», поил вином...

Поил вином... О, итальянское вино!

Просмотрев написанное, я с ужасом обнаружил, что ни одна из описанных встреч не обошлась без него. Что поделаешь, такова уж судьба членов любой делегации, особенно в этой стране, которая стоит на втором месте после Испании по потреблению алкоголя, если верить данным Интернационального бюро по борьбе с алкоголизмом, опубликованным в «Статистическом ежегоднике» за 1936 год.

В Италии нас поили и кормили как на убой (на это, кстати, жалуются и итальянцы, побывавшие у нас в Союзе). Блюда — одно вкуснее и аппетитнее другого. И все так красиво, с таким изяществом приготовлено. Подвозят к тебе столик на колесах, а на нем громадные, шевелящие клешнями омары или трепещущая еще рыба... Вот эту, пожалуйста! И через минуту рыба уже перед тобой. А за рыбой — мясо, за ним еще что-то, и еще, и фрукты, и сыр, а до этого был еще суп, и ко всему вино...

И так по три раза в день. И каждый день. И в каждом городе. Я до сих пор холодею при воспоминании о тех минутах, когда наши друзья, взглянув на часы и весело улыбнувшись, говорили: «Ну, а теперь делу конец, пора обедать... Куда пойдем?»

Равенна. Чудесный город, византийское искусство, мавзолей Теодориха и Галлы Плацидии, церкви Сант-Аполинаре ин Классе и Сан-Витале, всемирно известные мозаики и саркофаги, кружевная резьба капителей, могила Данте... Все это я видел, но, когда сейчас при мне произносят слово Равенна, я в первую очередь вспоминаю лукулловские обеды и смеющиеся лица равеннцев, или, как они по-итальянски себя называют, равеннатов.

— Есть никогда не вредно,— хохотали они, наливая бог уж знает который стакан вина.— И пить тоже. Посмотрите на нас, какие мы толстые и веселые. Ну, давайте, давайте...

Но я уже ничего не мог — ни давать, ни принимать.

Увы, далеко не каждому итальянцу подвозят на столике трепещущую рыбу, и далеко не все так уж толсты и веселы, но когда я сидел за столом в Порто-Корсини, где равеннцы особенно постарались не ударить лицом в грязь, мне пришло в голову, что в той надписи на главном здании Всемирной выставки в Риме о народе поэтов, святых, ученых и так далее явно не хватало каких-то слов о кулинарии.

Но хватит об этом. Вернемся к хозяевам.

Их было много, очень много. И в Риме, и в Турине, и в Милане, и в Венеции и в Равенне, и во Флоренции. С одними мы проводили много времени, с другими — поменьше. С одними ездили по стране и разговаривали о разных разностях, с другими больше сидели за столами и произносили тосты.

Мне очень жаль, что с Чезаре Дзаваттини, большим художником, одним из вдохновителей, создателей и теоретиков итальянского неореализма, с которым мы сидели совсем рядышком на прощальном вечере, мы обменялись только тостами и несколькими словами через чье-то плечо. То же произошло и с Альберто Моравиа, и с Пратолини, и с Эдуардо де Филиппо. Меньше, чем того хотелось бы, виделся я и с Карло Леви. Мне удалось, правда, побывать в его мастерской, посмотреть его работы, но и это было в какой-то спешке, нужно было торопиться на поезд в Неаполь. Не состоялась и автомобильная поездка по Сицилии с Данило Дольчи и Пирелли, а как бы это было интересно! Не удалось повидаться и с Джанни Родари. Время, время! Никогда его не хватало.

Прощаясь, Карло Леви все качал головой.

— Напрасно, напрасно вы уезжаете. Остались бы еще на месяц-полтора. Я позвоню в министерство иностранных

дел — вам сразу же продлят визы. Поживите, приглядитесь. Ведь вы фактически ничего не видели. Носились по стране как угорелые. А я вас устрою где-нибудь на частной квартире. Хотите — в городе, хотите — в деревне. Ведь вы деревни-то и не видали. А итальянскую деревню надо знать, обязательно надо. Ну? Звонить в министерство?

Как дьявол-искуситель, стоял он передо мной, невысокий, полный, улыбающийся, и рисовал картины, одну соблазнительнее другой. Маленькая деревушка где-нибудь в Кампани. Козы, виноградники, обед в тени олив, стаканчик холодного вина из погреба. Или Сицилия — страна серных рудников, полуфеодальных латифундий, разбойников и таинственной Маффии. Или небольшой городок, вроде тех, которые мы видели, пересекая Апеннины по дороге из Флоренции в Рим, где тихо, спокойно, только колокольный с утра до вечера звон. Или, наоборот, Турин, Милан, Генуя — большие промышленные города, заводы, фабрики...

Я только слушал и качал головой: дела, дела, что поделаешь, домой надо...

И все же, как ни мало я пробыл в Италии, а увидать кое-что удалось. И все это благодаря нашим друзьям, нашим хозяевам.

Пьетро Цветеремич, высокий, чуть сутулый, всегда усыпанный пеплом от не покидающей рот сигареты, неунывающий и мило рассеянный, сопровождал нас по Турину и Милану. Он один из редакторов журнала «Реальта Совьетика», кроме того, занимается переводами, в частности перевел и мою книгу на итальянский язык. С ним весело и просто. К тому же он неутомим. На крышу Миланского собора — пожалуйста, на ярмарку — с удовольствием, поехать куда-нибудь в машине — сам поведет. Только через каждые полчаса надо обязательно выпить чашечку кофе «эспрессо» — без этого он не может.

Когда мы расставались с ним в Милане — он срочно должен был выехать в Болонью, где печатается его журнал,— я даже взгрустнул. Но на смену ему приехал Умберто Черрони, так же как и Цветеремич, активный член общества «Италия — СССР», юрист, преподаватель Римского университета,— маленький, живой и ничуть не менее веселый. С ним мы ездили в Венецию, Равенну, Флоренцию. По-русски говорит он не слишком бойко и почему-то заливается хохотом, когда слышит русское слово «похороны» («ну, до

чего же смешное слово!»), но это нисколько не мешало нам подружиться.

Подружились мы и с Орацио Барбьери, генеральным секретарем общества «Италия — СССР», депутатом парламента от компартии, щуплым, подвижным флорентийцем, в квартире которого на самом почетном месте висит русская балалайка, и с видным критиком Карло Салинари, одним из редакторов журнала «Контемпоранео», и с молодым симпатичным Антонио Лавакки из Флоренции, и с миланцем Криппа, который так мучился, когда не мог достать нам черных костюмов для посещения Ла Скала, и с веселыми, приветливыми римлянками Лизой Фоа и Ледой Предиери.

Никогда на забуду день нашего отъезда из Рима в Турин. В этот день мы ездили в Джендзано, потом мотались целый день по городу и в гостиницу свою прибыли за полчаса до отправки на вокзал. Поднялась обычная предотъездная суета. Лиза лихорадочно пришивает пуговицу, Леда гладит на столе рубаху. Везде раскрытые чемоданы, разбросанные по кровати брюки, что-то укладывается, что-то, самое важное, не могут найти, поминутно звонит телефон.

И во всем этом, во всей этой веселой, бестолковой суете, было так много чего-то родного, близкого, русского, что на какую-то долю секунды мне показалось, что мы сейчас едем не в Турин читать лекции о путях развития советской литературы, а просто куда-то в Славянск или Краматорск на очередную студенческую практику...

Простота, естественность, веселость, умение сразу стать человеком, которого, кажется, ты уже давно знаешь,— вот отличительная черта итальянца, будь он с севера или юга, писатель или чернорабочий, старик или совсем молодой парень.

Я знаю, итальянцы со мной не согласятся, начнут говорить что-то о ломбардцах и сицилийцах, которые ни в чем, мол, не схожи друг с другом. Может, это и так, не спорю, но я говорю сейчас о своем впечатлении, а у меня оно именно такое.

Есть, правда, и исключения, без этого не бывает. Итало Кальвино, например, или Витторио Страда.

Итало Кальвино — молодой, но уже достаточно известный в Италии, да и за ее пределами, писатель. Познакомились мы с ним в Турине. Он председательствовал на нашем вечере. Очень бледный, худой, интеллигентный, немного грустный и иронический, он сидел рядом со мной в ресто-

ране, и мне как-то особенно обидно было, что я не умею говорить по-итальянски, что не читал его книг и что через какой-нибудь час мы расстанемся, так ни о чем толком и не поговорив. А он один из талантливейших, интереснейших писателей современной Италии. У нас были напечатаны две-три его новеллы. Неужели же для того, чтобы с ним по-настоящему познакомиться, надо специально изучать итальянский язык? Неужели нельзя прочесть его книг по-русски?

Кстати, именно поэтому — потому, что мы мало еще знакомы с современной итальянской литературой,— я не позволил себе коснуться в этом очерке сложного пути ее развития за последние годы.

С Витторио Страда я познакомился заочно. Он перевел мою книгу для издательства Эйнауди, и на этой почве у нас завязалась переписка. Меня всегда поражали его письма. Поражали не только хорошим русским языком, но и прекрасным знанием русской литературы, особенно XIX века. Он литературовед и критик, статьи его часто появляются в римском «Контемпоранео».

Встретились мы с ним в Милане. Подошел ко мне высокий, сутуловатый, коротко остриженный человек в очках— это было, кажется, в помещении общества «Италия — СССР» — и отрекомендовался. Я обрушился на него с объятиями и какой-то тирадой. Он несколько испуганно посмотрел на меня и не без труда проговорил: «Медленно, медленно...» Выяснилось, что он, человек книжный, словарный, почти совсем не понимает живой русской речи. Он много, очень много читал (я это понял, когда попал к нему на квартиру и увидел сотни русских книг и журналов, расставленных на полках), но никогда не разговаривал по-русски.

Сейчас Страда живет в Москве, он аспирант Московского университета и не только прекрасно понимает, что ему говорят, но и сам очень неплохо говорит. Жалуется только, что в Москве слишком много итальянцев, с которыми приходится часто встречаться, а он хочет говорить по-русски.

Витторио совсем не похож на итальянца, во всяком случае на итальянца из фильмов де Филиппо. Он спокоен, сдержан, немногоречив, обстоятелен, вдумчив. Он любит рыться в книгах, часами сидеть в библиотеках. Книги для него — все. Когда он впервые попал в СССР, на фестиваль, он первым же делом отправился к букинисту и на все скопленные деньги купил «Литературную энциклопедию». А

потом не хватало денег на трамвай. Книги — его страсть. Он страстный человек. И в этом он итальянец.

Все, о ком я сейчас пишу,— наши друзья. Все они члены общества «Италия — СССР», в их симпатиях к нашей стране ничего удивительного нет. Но, оказывается, не только члены общества, не только коммунисты тянутся к нам.

Как раз когда я был в Италии, в одной из римских больниц умирал Курцио Малапарте — крупный итальянский писатель, публицист, журналист. Путь Малапарте не прост и, может быть, даже не совсем понятен. При фашистском режиме он много писал. Его знал и почитал Муссолини. Во время войны Малапарте (настоящая его фамилия Зуккерт, он немец по происхождению, но итальянец по языку и культуре) был корреспондентом фашистской газеты на русском фронте. Впрочем, статьи его не пришлись по вкусу Муссолини, и Малапарте вынужден был покинуть Россию. Но, так или иначе, обвинить его в особой симпатии к ней и к строю ее довольно трудно. Не знаю, что послужило толчком или поводом, но в последние годы в писателе произошел какой-то перелом. Будучи уже стариком, к тому же очень больным, он поехал в Китай. Это было в 1956 году. В Китае болезнь его обострилась, и он должен был спешно, в сопровождении врачей, самолетом вернуться в Италию. По дороге в Китай и на обратном пути, совсем уже больным, он на несколько дней задержался в Москве.

Сейчас он лежал в одной из лучших римских больниц. Он умирал.

Мне сказали, что визит к нему может его обрадовать, и, хотя все это не совсем мне было понятно, мы отправились к нему в больницу.

Он лежал в отдельной просторной, светлой палате, почти недвижимый, бледный, худой, подтянув к самому подбородку одеяло. Сестра, впустившая нас, сказала, что для нас сделано исключение, и просила дольше пяти минут у больного не сидеть, он очень слаб.

Да, он был слаб, очень слаб. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось говорить. И он говорил. Говорил с жаром, горячностью, с трудом переводя дыхание, часто прерываясь.

— Ведь вы не читали меня. Наверное даже не читали... А может быть, это даже и хорошо, что не читали... Тогда послушайте... Вы человек молодой и писатель молодой, а я старый, очень старый. Я многое видел. И многих видел. Раз-

ных людей, очень разных. Всех национальностей, всех рангов, всех положений... Сейчас я был в Китае. Я не буду о нем рассказывать. Я напишу книгу. Обязательно напишу! Я видел Мао Цзэ-дуна. Я хочу добиться того, чтобы народный Китай был признан.— Тут он мучительно улыбнулся.— Я знаю, что вы думаете: он умирает, ему жить всего неделю, а он хочет книги писать... А вот хочу. И напишу. И не умру... И не одну, а две. О Китае и о вас... Я был в Союзе дважды — во время войны и вот сейчас, всего несколько дней. И я хочу — я не имею права о вас не написать. Вы понимаете, не имею права... Потому что у вас, ну как бы об этом сказать, у вас другие люди. И у вас и в Китае. Не такие, как мы. Таких я еще не видал. Теперь я их увидел. Я их еще не знаю, я их только видел, но не узнать их нельзя... Поэтому я и не имею права умирать... Ведь правда, не имею?

Глаза его блестели, он покрылся испариной, он задыхался, но говорил, говорил, говорил. Мне даже стало страшно при виде этой энергии, этой страсти, этой жажды жизни, которой через несколько недель суждено было оборваться.

Малапарте умер. Последние дни в маленькой приемной у его палаты бессменно дежурили сановнейшие духовники Ватикана — он был протестантом, а они хотели, чтобы он умер католиком. Но он умер не католиком и не протестантом, он умер коммунистом — за несколько дней до смерти он вступил в компартию.

Километрах в пятнадцати от Равенны, на берегу лагуны, есть местечко Сан-Альберто. Попали мы туда вечером: рано утром мы выехали из Венеции, в девять были в Ферраре, а еще через час — в Равенне. Как нас встречали в Равенне, я уже говорил, поэтому объяснять, почему мы попали в Сан-Альберто, вряд ли стоит. Просто равеннцам по каким-то только им известным причинам показалось, что кормить нас ужином надо именно в Сан-Альберто.

Покормили, потом вышли на улицу. И тут кто-то сказал: «А не зайти ли нам в Народный дом?» Зашли, а там как раз собрание пенсионеров.

Сидели пенсионеры в довольно большом, заставленном скамейками зале. Сцена с провисающей проволокой от занавеса. Справа и слева по нескольку ступенек. На сцене стол. На столе графин и стакан. За столом человек пять —

президиум. Все как-то очень напоминало наши колхозные собрания. И люди вроде похожи — простые лица, тяжелые руки, на женщинах платки.

Как и всегда, я мало что понимал из того, что говорилось. По очереди кто-то подымался на сцену и начинал говорить, и его перебивали из зала, и председатель стучал стаканом о графин, и в зале было накурено, и кто-то против этого протестовал, а курение все продолжалось — одним словом, все было совсем так, как и у нас на многих собраниях.

К концу его, когда кое-кто уже стал выходить, как-то совсем неожиданно для нас выяснилось, что надо выступить. Просто так, поприветствовать стариков пенсионеров.

Было поздно, мы дико устали, и вообще от одного слова «выступление» меня уже начинало бросать в дрожь. Но что поделаешь — надо.

Я вышел на сцену. После бесчисленных сегодняшних встреч, обедов и тостов мой словесный запас настолько истощился, что я решил ограничиться обычным приветствием, начинающимся со стандартного «разрешите...» Но уже на четвертой или пятой фразе я заметил, что зал постепенно начал наполняться. И не только стариками. Появились люди и помоложе, в основном крестьяне, рыбаки, появилась и совсем юная молодежь — парни и девушки.

Я смотрел на лица сидевших передо мной людей, обветренные, морщинистые, не по-итальянски суровые, очень внимательные и сосредоточенные, и вдруг почувствовал, что у меня нашлись слова.

Во втором ряду передо мной сидел худой горбоносый крестьянин лет сорока, в сдвинутом на ухо берете, с незажженной сигаретой во рту. Слегка наклонившись вперед, сдвинув брови, он внимательно слушал. Лицо его казалось мне знакомым. Но нет, я его нигде не видел. Просто оно было похоже на лица тех партизан — такие же горбоносые и в таких же беретах,— фотографию которых мне показывали сегодня в Альфонсино, небольшом городке километрах в десяти западнее Сан-Альберто.

В годы войны область Эмилия прославилась своими партизанами. Альфонсино был центром этого движения. Здесь шли упорные бои. Ровно двенадцать лет тому назад, 10 апреля 1945 года, город был освобожден от немцев. Освобожден партизанами. Обо всем этом нам рассказали сегодня утром, когда мы проезжали через Альфонсино по пути из Феррары в Равенну.

Мы недолго там пробыли. Нас провели на кладбище, где находится монумент погибшим в боях альфонсинским патриотам, а на прощание вручили несколько партизанских медалей с просьбой передать их кому-нибудь из наиболее отличившихся советских партизан, что мы по приезде домой, конечно, и сделали.

Сейчас же я смотрел на сидевшего передо мной горбоносого крестьянина, на его соседа, седого бородатого старика, с лица которого, по-видимому, никогда уже не сходит загар, так прочно он к нему пристал, на другого, с костылями, зажатыми меж колен, на десятки молодых и старых лиц, мужских и женских, в большинстве своем серьезных и даже немного напряженных. Смотрел на них и понимал, что передо мной сидят не просто пенсионеры, собравшиеся для того, чтобы отстоять какие-то свои, неизвестные мне, права, а сидят люди, многие из которых двенадцать лет тому назад сжимали в своих руках автоматы. И именно поэтому так внимательно слушали они перевод слов о том, как воевали наши солдаты в Сталинграде. И хотя, возможно, среди присутствовавших находились отцы, матери и жены тех, кто погиб под Сталинградом, мне было ясно, что город этот стал символом победы не только для нас.

Я это с особой силой понял, когда вспыхнули вдруг аплодисменты, когда я пожимал твердые, огрубевшие ладони, когда слушал сбивчивые, горячие слова немолодого, с засунутым в карман пиджака рукавом крестьянина, который говорил о русских военнопленных, сражавшихся плечом к плечу с партизанами бригад Гарибальди — «Марио Джордини», «Романья», «Аурелио Тарони» и многих, многих других.

А на следующий день в старинной базилике Сант-Аполинаре ин Классе среди гранитных и мраморных надгробий я увидел высеченную на камне надпись: «Wladimir Peniakov (1896—1944)». Откуда он, кто он, этот Владимир Пеняков, я не знаю. Знаю только, что он русский, сражался на итальянской земле за то же, за что мы сражались на своей. Его похоронили далеко от его дома, в базилике Сант-Аполинаре, возле Равенны. И, стоя над его могилой, я невольно вспомнил слова безрукого крестьянина из Сан-Альберто: «Нас и сыновей наших гнали в Россию убивать русских, а русские защищали нас. И в Сталинграде и здесь, в Эмилии».

Двадцать седьмого апреля истек срок моей визы. В этот день, до полудня, как написано было римской квестурой в моем паспорте, я должен был пересечь государственную границу. Я пересек ее около девяти часов утра где-то между Аостой и Моданой, в районе Альп. На следующий день в 16.45 я был уже в Москве.

С того дня прошел год с небольшим. За этот год произошло много событий — и у нас, и в Италии, и во Франции, и вообще во всем мире. Я не буду о них говорить, они всем известны. Они на многое влияют — и на то, что ты можешь сегодня купить, и о чем будешь думать и говорить, и насколько спокойно будешь спать. Никак не утихомирится наша планета. Но сейчас, год спустя, когда я вспоминаю то небольшое количество дней, которые я провел в Италии, когда вспоминаю людей, с которыми встречался, будь то во дворце партии Гвельфов, под сенью старинных цеховых знамен, или в дешевой остерии, насквозь пропитанной запахом оливкового масла, или в уставленной книгами квартире писателя, или в накуренном зале Народного дома, или просто на улице, какой-нибудь Виа дель Корно, я вижу лица этих людей, вижу их глаза — весело улыбающиеся или сосредоточенно что-то соображающие, слышу их голоса, и мне трудно поверить, что есть на свете такая сила, которая могла бы поссорить людей, хотящих дружить. Нет такой силы! Даже Гитлер и Муссолини не могли этого сделать, а они были мастерами своего дела.

Когда на римском аэродроме я прощался с провожающими, меня спросили, не забыл ли я бросить монету в фонтан Треви,— верный способ еще раз побывать в Италии. Я этого не сделал. Тогда, осуждающе покачав головами, мне дали монету в пятьдесят лир.

— Ухитритесь как-нибудь из самолета ее выбросить, иначе...

И я ухитрился. Монета упала где-то в районе Чивитавеккиа, на северо-запад от Рима. Авось ветер не отнес ее в море, и мне суждено еще побывать в Италии и увидеть и узнать то, крохотную долю чего я увидел и узнал в дни первого знакомства в апреле прошлого года.

1960

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Рассказы

Путевые заметки

Виктор Платонович
Некрасов
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор *И. Карпунин*

Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *Н. Соколова*

Корректор *Т. Лукьянова*

☆

Сдано в набор 26/IX 1960 г. Подписано к печати 28/III 1962 г. А02067. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$—21,5 п. л.=35,26 усл.-печ. л. 36,84 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Зак. 981. Цена 1 р. 26 к.

☆

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

